

РУССКИЕ МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА И МАТЕРИАЛЫ

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ В ЖИЗНИ

СОСТАВИЛ И СНАБДИЛ ПРИМЕЧАНИЯМИ
А. С. ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

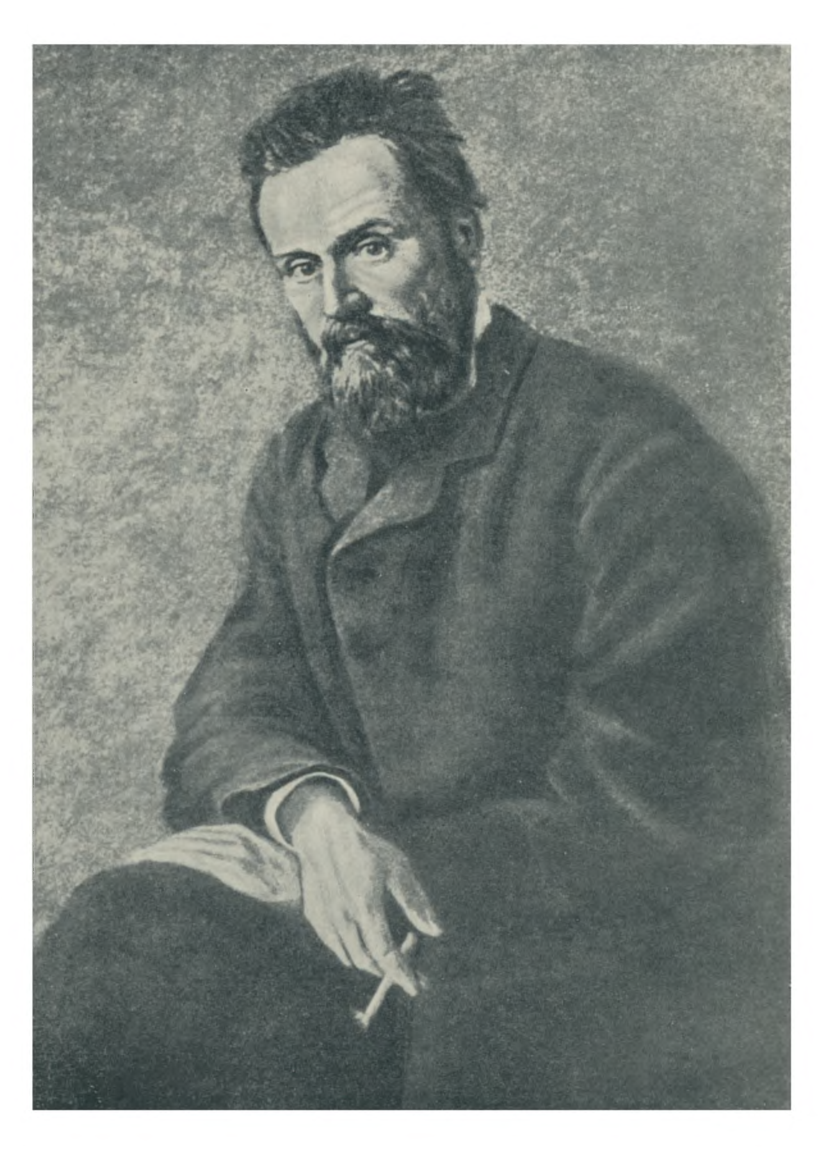
ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ В ЖИЗНИ

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ, ПЕРЕПИСКЕ И ДОКУМЕНТАМ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Н. МЕЩЕРЯКОВА

ACADEMIA
1935

Суперобложка и переплет по рисункам
художника М. Вл. Ушакова-Поскочина



Г. И. Успенский
С портрета маслом Ярошенко

О ДУШЕВНОЙ ДРАМЕ ГЛЕБА УСПЕНСКОГО

Глеб Успенский — талантливый, чуткий, наблюдательный и вдумчивый писатель-беллетрист, выдвинутый революционной демократией в период шестидесятых и семидесятых годов. Успенский по тонкости своих наблюдений и по глубине своего анализа стоял неизмеримо выше всех других беллетристов шестидесятников и семидесятников этого времени, за исключением, конечно, Щедрина и Некрасова. Но Успенский был глубоко несчастным человеком. Это несчастие состояло не только в том, что в жизни его преследовал ряд невзгод и самую жизнь свою он окончил сумасшествием, а и в том, что после его смерти его писательская работа не привлекла внимания литературоведов.

Успенского рассматривали как беллетриста-народника. Плеханов в своей статье «Беллетристы-народники» во многом ограничил эту точку зрения. Но и статья Плеханова в настоящее время сильно устарела. К Успенскому нужно подойти с новой точки зрения, — с точки зрения всех уроков, которые мы пережили и в революции 1905—1906 года и особенно в период 1917 и последующих годов.

Бесспорно, что в очерках Гл. Успенского второй половины семидесятых годов мы найдем многие характерные черты миросозерцания народничества. Но характерно уже то, что и марксисты всегда очень ценили Успенского и в своей борьбе с народниками часто пользовались его наблюдениями *для опровержения* народнических иллюзий. Было, значит, в Успенском и что-то другое — не от народничества. Надо определить это «другое» и затем выяснить, в каком соотношении находится оно к народническим его высказываниям.

Книга, составленная А. С. Глинкой-Волжским, не ставит себе задачи выяснения этого вопроса характеристики Успенского.

А. С. Глинка-Волжский чрезвычайно любовно собирает весь тот биографический материал, который он находит у других. Он не вносит от себя никакого толкования драмы Успенского. Он переносит, таким образом, в свою книгу все те взгляды, которые сложились в народническом и либеральном окружении семидесятых и восьмидесятых годов на личность Успенского.

Приятели Успенского рассматривали его и его личную драму очень просто. Это был необыкновенно чуткий, впечатлительный, глубоко искренний и еще более глубоко непрактичный человек. По своей кристальной душевной чистоте он был «праведником». И вот

этот «праведник» столкнулся с грубо материальным, греховным миром. Грубые требования жизни, ее жестокость, которую так чутко подмечала художественная натура Успенского, резко царапали его психику и доставляли ему непрерывные нравственные мучения. В этом — вся драма жизни Успенского,[1] в этом — основная причина и того что он кончил сумасшествием. Таковы высказывания друзей Глеба Ивановича.

Бесспорно, что указанные выше черты — чуткость, впечатлительность, доброта, искренность, непрактичность — у Успенского действительно существовали и при столкновении с жизнью доставляли ему не мало неприятностей. Но не это было в нем самое главное, не в этом происхождение драмы Успенского. Главный корень таился в *общественных* условиях того времени, когда жил и писал Успенский.

Успенский родился в 1843 г. Интеллектуально он формировался в первой половине шестидесятых годов, т. е. в период деятельности Чернышевского и Добролюбова. Успенский обладал не только чуткостью художника, но и большим умом. Идеи революционной демократии шестидесятых годов оказали на него очень сильное влияние. Успенский вместе с лучшими представителями русской революционной демократии шестидесятых годов понял, что Россия стоит на пороге не жалких либеральных реформ, а на пороге крупной революции — «всемирного потопа», как он выражался. Успенский видел, что «потоп» этот идет из города, и что развитие капитализма играет и будет играть в «потопе» большую роль. Этот капитализм он изображал в виде железной дороги («чугунка»). Надо было найти те общественные слои, которые при «потопе» сыграли бы активную роль. Успенский начал искать их в городе. «Нравы Растеряевой улицы», «Разорение» и ряд последующих очерков, примерно до второй половины семидесятых годов, посвящены изображению различных слоев городской бедноты. Но наблюдения Успенского приводили его к самым пессимистическим выводам: все изображаемые им слои городского населения находились в крайне тяжелом положении, и все их внимание было направлено не в сторону «потопа», а на то, как бы прожить; все их заботы ограничивались погоней за куском хлеба. Никакого намека на готовность к борьбе он в них не видал. Единственное исключение — рабочий Михаил Иванович в «Разорении». Михаил Иванович видит «прижимку», от которой страдает бедный человек, и он

---

[1] До последних крайностей проводит эту точку зрения В. Е. Чешихин-Ветринский. Вот как характеризует он Глеба Успенского: «Успенский не художник-общественник, не «передвижник» (беря термины из истории русского искусства), не радикал, не социалист того или другого направления, а прежде всего и больше всего моралист и художник, ко всему подходящий с точки зрения требований совести и человеческого и личного достоинства» (Гл. Ив. Успенский. Биографический очерк, стр. 11).

хочет бороться против этой «прижимки». Но для успеха в борьбе ему нужно найти бывшего семинариста Максима Петровича, который открыл ему эту «прижимку». К сожалению, Максима Петровича нет рядом с Михаилом Ивановичем: он уехал в Петербург. Найти его можно будет только после того, как построят «чугунку». В «чугунке» Михаил Иванович видит даже не главную, а единственную силу, которая поможет ему — рабочему — найти революционера (Максима Петровича) и создаст условия, чтобы освободиться от «прижимки». Добравшись, однако, при помощи «чугунки» до Петербурга, Михаил Иванович не мог найти Максима Петровича. Так и не сомкнулся в шестидесятых годах тянущийся к революции русский рабочий с революционером-интеллигентом.

Пролетариат России в шестидесятых и семидесятых годах был еще слишком слаб для того, чтобы он мог один составить опору революции, взять на себя ведущую роль. Других элементов в городской среде, которые могли бы стать его союзниками, наблюдения Успенского не обнаружили. Революционные мечты шестидесятников при этих условиях в глазах Гл. Успенского повисали в воздухе, в то время как развитие капитализма на первых порах показывало его резко отрицательные стороны: разорение крестьянства, безмерную нужду пролетаризированных крестьян, развращение их капиталом, рост индивидуалистических стремлений. Особенно ярко Успенский дает эту картину действия «чугунки» в очерке «Книжка чеков».

Одного этого обстоятельства довольно, чтобы составить глубокую драму для такой чуткой, искренней, впечатлительной натуры, каковым был Успенский.

Во второй половине семидесятых годов Успенский обращает внимание на деревню. Здесь — под влиянием Михайловского и народников-революционеров — он пытается найти крепкую опору для революции.

Начинается народнический этап работы Успенского. В нем борются с одной стороны надуманная народниками идеализация крестьянства, а с другой стороны — его верный глаз тонкого наблюдателя. Сквозь весь туман народнической идеализации Успенский прекрасно видит процесс разложения крестьянства, гибель общины и других институтов, которые народники хотели положить в основу развития России — в сторону социализма. И здесь у революции, которой так глубоко был предан Успенский, по его наблюдениям не оказывается слоя, на который она могла бы опереться.

Это еще более углубляет душевную драму писателя. Она достигла крайней заостреннности и не могла не сломить этого чуткого, впечатлительного и искреннего человека.

Трагедия Успенского состояла в том, что он, ученик великих русских демократов революционеров — Чернышевского и Добролюбова — жил и работал тогда, когда пролетариат, этот единственный класс,

который мог обеспечить победу революции, был еще слишком слаб. Менее глубокие люди — Михайловский и прочие народники — удовлетворялись народническими иллюзиями. Ум и острая наблюдательность Успенского не давали ему покоя. Он видел и понимал призрачность народнических мечтаний. Такую же, вернее еще более скептическую, позицию по отношению к народничеству занимали еще два ученика Чернышевского и Добролюбова — Щедрин и Некрасов. И они переживали глубокую драму, но, как более крепкие натуры, перенесли ее не столь болезненно, а нежная, женственная натура Успенского пала под ударами жестокой действительности.

Я набросал здесь беглыми штрихами общий ход глубокой душевной драмы Успенского. Задача нашего марксистско-ленинского литературоведения показать в Успенском подлинного ученика Чернышевского и Добролюбова, соратника Щедрина и Некрасова — одним словом, по-новому осветить жизнь и деятельность революционного демократа.

Необходимо внимательно изучить не только все напечатанное Успенским, но и его переписку, воспоминания о нем лиц его знавших и т. п. Как пособие для такого изучения тщательно составленная книга А. С. Глинки-Волжского окажет большую услугу.

Н. Мещеряков

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Книга о жизни Глеба Успенского составлена без всякого опосредствующего текста, из подлинных биографических материалов, напечатанных в разных изданиях. Частично использованы также некоторые еще не опубликованные рукописные данные. Биографические материалы, взятые полностью или в существенных извлечениях, расположены в книге в хронологическом порядке, по основным периодам жизни писателя (главам книги), к которым они по своему содержанию по преимуществу относятся: одни целиком, другие с разделением на отдельные отрывки. Однако хронологический порядок монтирования биографических подлинников не мог быть выдержан со всею строгостью. Некоторые документы, взятые даже в отрывках, — особенно мемуарного характера, — нередко захватывают различные периоды жизни писателя и не поддаются раздроблению в силу связности повествования. В таких случаях их приходилось помещать в той главе книги, для которой они наиболее определительны по своему содержанию; внутри каждой из глав, охватывающих тот или другой период жизни Успенского, календарное размещение отрывков также не проведено со всей строгостью. Осложняющим моментом явилась здесь неустановленность точных дат тех или других фактов жизни Успенского. При многочисленных и частых разъездах по весьма разнообразным местам России, нередко одним и тем же в разные годы, при неупорядоченности общего уклада жизни Г. И. Успенского, чрезвычайной его подвижности, летописное выявление разных фактов его жизни, установление времени, к которому должны быть отнесены те или другие сообщения современников и даже многие собственные его записки и письма, встречает исключительные, часто непреодолимые трудности из-за отсутствия достаточных и твердых данных. Весьма показательно в этом отношении наличие в эпистолярном наследстве Г. И. Успенского чрезвычайно крупного процента недатированных писем (не менее половины их). Нередки случаи крупных ошибок в датировке таких писем при публикациях их. В ошибки не раз впадали самые близкие к покойному писателю люди и даже жена его. Ближайший друг Успенского, Н. К. Михайловский, нарочито отказывался от датировок фактов жизни и писем Глеба Ивановича. Имеются нередкие случаи публикаций его писем без всякого даже относительного датирования их. В указателе писем Глеба Успенского, составленном Р. П. Матори-

ной (см. сб. «Глеб Успенский, Сочинения и письма в одном томе», Госиздат, 1929—1930), среди 422 зарегистрированных здесь писем (включая отрывки их) имеется 52 письма, даже год написания которых не установлен. Сюда не вошли 11 писем к Н. А. Некрасову, пропущенные в упомянутом выше указателе (см. В. Евгениев-Максимов, «Русские записки», 1915, № 11, стр. 25—51), а также некоторые мелкие записки Успенского, публикация которых производилась в составе мемуаров, напечатанных в газетных заметках. Означенные письма к Некрасову также без твердых дат. Кроме того, среди писем Успенского, хранящихся в настоящее время в разных архивах в ожидании их публикации, очень много недатированных и даже таких, которые пока не поддаются правильному датированию (особенно в составе семейного архива, среди многочисленных писем Г. И. к А. В. Успенской, сданных в начале 1934 г. Б. Г. Успенским в архив Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики в Москве, папка 1256/18). Все эти обстоятельства вынуждали при составлении нашей книги о жизни Глеба Успенского не только изменять неправильные датировки, но в некоторых случаях, за отсутствием вполне твердых и точных данных для этого, допускать условную датировку писем и тех или других фактов жизни Успенского, сообщенных авторами мемуаров.

При монтировании книги о жизни Глеба Успенского были использованы следующие основные группы материалов по его биографии:

I. Воспоминания, дневники и переписка современников Успенского, находившихся с ним в той или иной степени близости или просто встречавших его. Сюда относятся также и устные сообщения знавших Успенского лиц, записанные кем-либо из его биографов или вообще писавших о нем. Группа этих материалов, поскольку удалось их с возможной полнотой собрать из различных изданий (журналов, книг, газет), — весьма разносоставная по характеру, степени показательности и достоверности сообщаемых сведений, — не оказалась по объему своему особенно большой, что дало нам возможность вместить ее почти всею полностью в рамки нашей книги, за немногими исключениями лишь определенно недостоверных сообщений или же тех частей в составе мемуарных записей, в которых их авторы, не давая уже никаких сведений об Успенском, предаются общим рассуждениям «по поводу» своих сообщений о жизни писателя. Этот факт использования нами *почти полностью всей мемуарной литературы* об Успенском вместе с тем свел к минимуму возможность произвола *в выборе* материалов, неустранимого при использовании мемуарной литературы о писателе, чаще всего значительно превышающей по своему размеру допустимый объем книги такого типа.

Нелишне остановиться здесь на некоторой, хотя бы самой общей характеристике состава мемуарной литературы по Глебу Успенскому,

весьма различной по своему характеру, тону, содержательности и, так сказать, степени зоркости ее авторов. Существенны и различия социально-психологического и идеологического облика авторов воспоминаний, дневников и переписки. Различия эти поддаются дифференцирующей их группировке, необходимой для критического осознания степени достоверности, реальной значимости и социальной обусловленности свидетельских показаний всех этих современников Глеба Успенского о его жизни и личности. Для уяснения правдивости вырисовывающегося из мемуарных записей облика писателя в жизни, писателя-человека разумеется, не безразличен облик самих воспринимавших факты и события его жизни лиц.

Среди мемуаристов Успенского преобладающей по объему записей и содержательности сообщений является группа ближайших к Глебу Ивановичу друзей и товарищей, спутников его жизни в различные ее периоды, принадлежащих в большинстве к народнической интеллигенции 70 — 80-х годов. Все они были или считали себя почти полными единомышленниками Успенского. Это — Михайловский, Иванчин-Писарев, Скабичевский, Кривенко, Короленко, Елпатьевский, Русанов-Кудрин и др. По форме повествования в этой группе воспоминаний, поскольку ядро этой группы составилось из беллетристов и полубеллетристов, преобладает живописный стиль художественного рассказа с зарисовками впечатлений от личности Г. И., от его поступков, слов, встреч с ним и разных случаев из его жизни. В беллетристическом жанре этой мемуарной группы неустраним творческий момент со всеми его преимуществами и опасностями сравнительно с протокольно-летописным фотографированием конкретных биографических данных. При этом следует отметить, что в процессе создания этих мемуарных зарисовок имело место прямое влияние или бессознательное воздействие одних записей (предшествовавших) на другие (позднее написанные). Например, многое из воспоминаний Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевского так или иначе сказалось на мемуарах, написанных значительно позднее: А. И. Иванчина-Писарева, А. М. Скабичевского, Н. С. Русанова-Кудрина, О. В. Аптекмана и пр. Отсюда некоторая ограниченность тем и мотивов в изображении личности и жизни Г. И. Успенского, монотонность записей, переходящая порою в прямое повторение одних и тех же анекдотов, определенность установок в подходах к зарисовкам отдельных штрихов личности Г. И. Успенского и всего его облика в целом. Здесь, в силу образовавшейся традиции стиля, действовала как бы некая инерция. Поэтому широко применяемый авторами мемуаров в разной степени успешности и уменья живописный стиль подчас получает уже как бы иконописный уклон житийного повествования с неизбежным привкусом затвердевшего шаблона, обращающего подчас биографию Успенского в житие некоего праведника-интеллигента в ущерб правде передачи фактических сведений.

Однако, при наличии общности форм и установок в подходах к изображению жизни и личности Успенского, здесь наблюдаются и существенные различия индивидуальных особенностей рассказчиков. Красиво набросанный мягкой тушью задумчивый рисунок В. Г. Короленко у А. И. Иванчина-Писарева заменяется грубоватыми линиями безудержного рассказчика, захваченного обаянием собственного рассказа порою до полного непонимания его аляповатой упрощенности. А. М. Скабичевский имел склонность к развязности литературного обывателя. Михайловский в своих записях идет все время в строгих шорах, всегда туго стянутых собственными дипломатическими соображениями высокого порядка. Н. С. Русанов увлекается передачей прямой речи Успенского до полной потери ощущения ее подлинного строя и музыкальности, до утраты всякого не только слуха, но и вкуса, и никак при этом не может отделаться от особого внимания к самому себе и т. д. Независимо, однако, от тех или других индивидуальных особенностей авторов, в этой группе мемуаров Г. И. Успенский зарисован со стороны будней литературного быта ближайшими спутниками своего жизненного пути. Авторы воспоминаний, действительно, близко видели *Успенского в жизни*, и близостью их к писателю, житейской и вместе идеологически-классовой, определяется и степень достоверности и самый характер их свидетельств. Несмотря даже на условность стиля этих воспоминаний, сквозь узоры и краски этого стиля — все же явственно проступает подлинное живое лицо Г. И. Успенского, выявляется фактическая правда его действительной биографии.

Эту группу мемуарных записей дополняют женские мемуары близких знакомых и хороших приятельниц Глеба Ивановича. Это интеллигентные девушки и женщины, дружившие с Успенским в разные периоды его жизни: сотрудница «Русской мысли» и других изданий, Е. С. Некрасова, встречи с которой Г. И. относятся к первой половине 80-х годов, В. В. Тимофеева, познакомившаяся с Успенским еще в начале 70-х годов и позже ставшая особенно близкой его жене и всей их семье, Е. П. Леткова, беллетристка, приятельница Н. К. Михайловского, и другие. Все они относились к Г. И. Успенскому с некоторым благоговением, не ослабевавшим в буднях частого общения.

Поскольку эти воспоминания — женские, не исключается здесь набегающая, хотя бы и отдаленно, еле слышно, тень влюбленности: в писателя или в человека Глеба Успенского — это не всегда можно и нужно разгадывать. Во всяком случае это повышало силу впечатлений от жизни и личности Успенского, раскрывая какие-то новые стороны в картине жизни писателя, невидные или не так видные друзьям-единомышленникам. В этой группе мемуаров, как и в первой, имеется стремление охватить своеобразие сложной личности Глеба Ивановича в целом, обрисовать его особенности. Имеются попытки — хотя бы с оговорками о трудностях и бессилии, — все же дать неко-

торый набросок художественного портрета писателя-человека Успенского, прекрасного и в простоте житейских будней, среди всяких неурядиц и тревог.

Следующую группу мемуарной литературы о Глебе Успенском, наиболее значительную, если не по общим размерам записанного, то по числу авторов, по количеству отдельных записей, составляют воспоминания лиц, стоявших к Успенскому сравнительно в более отдаленных отношениях, а если и близких к нему, то лишь на протяжении отдельного, часто небольшого периода времени и всегда на значительно ограниченном участке общения, встреч и интересов. Общей особенностью этих мемуаристов, дающих основание для выделения их в особую группу, является по преимуществу случайный, узкий, отрывочный характер их наблюдений, при отсутствии попыток и самой возможности очертить образ Успенского в целом. Они являлись свидетелями лишь отдельных моментов или периодов жизни писателя, известных им в силу родственного, житейского, делового общения или даже близкого знакомства, но на небольшом отрезке времени. Преобладают в этой группе мемуаристы-бытовики в узком значении слова. Это — родственники Успенского, сообщавшие те или другие данные из его биографии, по преимуществу фактического характера (Д. Г. Соколов-Васин, П. К. Кузьмин, сестры Г. И.), школьные товарищи (Петрункевич и др.), или лица, собравшие какие-либо сведения о годах ученья Успенского, учительства его в г. Епифани и т. п., дальше — знакомые Г. И. в различные периоды его жизни, сообщившие впечатления случайных встреч с ним (судебный следователь Я. Л. Тейтель, учительница А. С. Степанова, сосед по комнате в одной из петербургских квартир С. Н. Дрентельн, доктора, лечившие Успенского, и многие другие). Однако большое количество записей и в составе этой группы приходится всетаки на долю писателей или лиц, близких к литературным кругам, — из пишущей интеллигенции. Их никак нельзя назвать ни единомышленниками, ни друзьями Успенского, но в некоторых отдельных идеологических моментах они соприкасались с ним или тяготели к Успенскому, как писателю. Состав этой группы очень разнообразен: П. Д. Боборыкин и И. И. Ясинский, Леонид Оболенский и Д. П. Сильчевский, С. С. Окрейц, В. М. Михеев, М. К. Цебрикова, Х. Д. Алчевская, В. А. Гиляровский, Де-Воллан, Туманов и очень многие другие. Это буржуазно-демократическая интеллигенция разных оттенков и толков. Специфические черты революционной или сочувствовавшей революции интеллигенции 70-х годов сказались в этой среде гораздо слабее. В лице же отдельных мемуаристов эта группа нисходит даже подчас к совершенно обнаженному мещанству и обывательщине, бессмысленно глазеющей на Глеба Успенского-писателя. Именно о таких говаривал Г. И., что на него «пялят глаза». В отличие от мемуаров первой группы, эти воспоминания и сообщения весьма разностильны и пестры. Многое в этих мемуарных записях резко детонирует психологически.

поскольку изобразительные силы их авторов слишком явственно не отвечают тонкости черт самого зарисовываемого объекта — душевного строя такого человека, каким был Глеб Успенский. Тем не менее ни в коем случае не приходится игнорировать показания даже и таких свидетелей. Кроме различных фактических сведений здесь имеется много данных о различных особенностях Г. И., часто мелких, но ценных для характеристики его личности и жизни, тем более, что записывались они нередко без какой-либо определенной тенденции, в наивной обывательской бесхитростности. Характерны для изучения личности и жизни писателя показания всяких лиц, в том числе и просто «мимоходящих», «глазеющих». К тому же, среди этих воспоминаний не встречается таких, которые вызывали бы определенные сомнения в их фактической достоверности. Попадаются лишь отдельные неточности, которые во всех случаях в комментариях оговариваются. Оговорены также и возбуждающие сомнения сообщения Н. Я. Николадзе, А. С. Пругавина и др. К разряду определенно недостоверных сведений относятся рассказы Н. В. Успенского. Поэтому из его воспоминаний включены в текст книги лишь некоторые сообщения, не вызывающие прямого отвода, — о школьных годах Г. И. и некоторые другие.

Особое место занимают воспоминания А. С., написанные в полемической форме, как доказательство тезиса о близости Г. И. Успенского к народовольцам.

II. Переписка Глеба Успенского, его письма и письма к нему разных лиц включены в нашу книгу, разумеется, далеко не полностью, только в наиболее ярких, характерно-показательных отрывках и лишь в отдельных случаях — целыми письмами. Наряду с письмами, отосланными в свое время по их адресам, использованы также сохранившиеся в архиве Успенского письма к тем или другим лицам, не отправленные адресатам или сохранившиеся в черновиках, иной раз в незаконченном виде. Публикация писем Глеба Успенского производилась неряшливо, случайно, часто неполностью, в отрывках и даже просто кусочках их (часто в тексте статей или мемуарных записок), подчас с пропусками слов и искажениями текста (письма к В. А. Гольцеву и др.), есть случай соединения частей из двух писем в одно и т. п. Как указывалось выше, письма Успенского в большей части им не датированы вовсе или датированы без указания года. При публикациях писем датировка производилась небрежно, наспех, нередко с крупными ошибками. Общее же количество писем Успенского, как опубликованных, так и остающихся до настоящего времени в архивах, довольно значительно. Кроме указанных выше 433 опубликованных писем (включая в это число и эпистолярные отрывки), имеется много неопубликованных писем в рукописном отделении библиотеки им. Вл. Ленина в Москве, в архиве ИРЛИ в Ленинграде, Государственного литературного музея в Москве,

а также и у частных лиц. Так, у дочери В. М. Соболевского, Н. В. Поповой, имеется 109 писем Успенского, из которых 55 совершенно не публиковались и 37 публиковались лишь в тех или других отрывках.[1]

Значительный эпистолярный материал, который можно было использовать при составлении книги о жизни Г. И. Успенского, очень неравномерно размещен по периодам его жизни. Так, в числе 370 опубликованных писем и как-либо датированных наибольшая масса падает на десятилетие 1880—1890, всего около трех четвертей их (280), при этом и здесь на первую половину 80-х годов приходится относительно небольшая часть (80) и наибольшая (200) — на 1886—1890 гг. К десятилетию 1870—1880 относится всего лишь 40, к 1864—1870 гг. — 20, остальные относятся к 90-м годам. За некоторые годы жизни Успенского не зарегистрировано ни одного письма (1873, 1877 и 1878), за 1879 — лишь два, причем в отношении года одного из них остается сомнение; на 1870 и 1871 годы приходится тоже по одному письму. Известные нам неопубликованные письма относятся в большей части к 80-м годам и даже — главным образом — ко второй половине их (письма к В. М. Соболевскому, А. С. Посникову, А. В. Успенской, Е. П. Летковой). Здесь также значительно количество писем периода болезни (1892 год и далее) — к жене, детям и разным другим лицам. В силу этой неравномерности распределения сохранившихся эпистолярных текстов Успенского по различным годам и периодам его жизни, некоторые из этих периодов остаются весьма недостаточно освещенными, особенно, когда при отсутствии собственных показаний о себе писателя в его письмах не имеется достаточного мемуарного и документального материала. В таком положении оказывается эпизод поездки Г. И. в Лондон во время первого его путешествия за границу (1872), период после возвращения из второй поездки за границу, до отъезда в деревню Сколково Самарской губернии (1877—1878), самая жизнь в Сколкове и особенно в Новгородской губ. в имении А. В. Каменского Лядно (1879) и очень многое другое. Кроме того, особый характер писем Г. И. Успенского, — всегда спешащих, всегда озабоченных, денежных, будничных, деловых, — мало оставляет места принципиальным высказываниям, «большим темам» и особенно вниманию к самому себе. Зато много места уделяется разным частностям расчетного, денежного порядка, по преимуществу просьбам об авансах и обоснованию их, разным сметам и финансовым планам, включать которые в нашу книгу не было ни возможности, ни необходимости. Однако характерные отрывки взяты и из этой бюджетной сферы жизни писателя. Особенно ограничительно использованы нами многочисленные письма Г. И. периода болезни.

Включенные в книгу отрывки из напечатанных уже писем проверены там, где представлялась эта возможность (в немногих случаях,

---

[1] В настоящее время эти письма сданы в архив ИРЛИ.

главным образом письма к В. М. Соболевскому и др.), по рукописям и частично восполнены. Из писем разных лиц к Г. И. Успенскому, сохранившихся в ограниченном количестве, взяты лишь немногие, главным образом наиболее близких ему лиц, игравших заметную роль в его жизни: письма жены, М. Е. Салтыкова, В. Г. Короленко и некоторые другие. Даты писем, не датированных при публикации их или датированных в источнике неправильно, поставлены в скобках, в последнем случае в измененном виде. При этом в примечаниях даны необходимые пояснения. В скобках поставлены и даты писем, хотя и датированных при публикации, но с прямым указанием, что датировка не принадлежит самому Успенскому.

Из отмеченного значительного количества неопубликованных писем Глеба Успенского в книгу включены лишь немногие: главным образом, из архива В. М. Соболевского и, частично, некоторые эпистолярные отрывки из архива Государственного литературного музея.

При датировании некоторых писем Успенского были также использованы весьма ценные данные паспорта его за 1880-е годы, подлинник которого приобретен Государственным литературным музеем, а также данные Департамента полиции (1883—1900 г.) по негласному надзору за Г. И. Успенским, извлеченные из Музея революции Н. Ф. Бельчиковым и любезно предоставленные составителю настоящей книги.

III. Автобиографические записки, отрывки воспоминаний, хотя бы написанные в пору развивающейся болезни, но касающиеся существенных моментов пережитого. Автобиографические показания Успенского немногочисленны, о характере их подробнее сказано в комментариях к включенным в нашу книгу текстам.

IV. Документы официального характера, характеризующие те или другие стороны жизни Г. И. Успенского. Документы этого рода немногочисленны. Кроме уже опубликованных документов, в нашу книгу включены еще некоторые извлеченные из архива «Государственного литературного музея» в Москве (свидетельство на звание уездного учителя, копия предварительного договора с И. М. Сибиряковым на право издания всех сочинений Успенского).

Произведения Успенского с теми или иными автобиографическими чертами и даже отрывки из них явно автобиографического характера в текст книги вовсе не вводятся. Это раздвинуло бы ее рамки. Однако в комментариях в необходимых случаях сделаны соответствующие указания и ссылки. Также во всех случаях, где в мемуарах и собственных письмах Успенского идет речь о каком-либо из его произведений, часто без точного обозначения его, — в комментарии к тексту, по мере возможности, выявлено, какое именно это произведение и где оно было напечатано. Вообще библиографическим указаниям в комментариях составителем уделено особое внимание с тем расчетом, чтобы те или другие факты и моменты жизни Успенского могли быть поставлены в связь с его литературно-творческой работой.

В отношении самой техники печатания отрывков в тексте нашей книги необходимо оговорить нижеследующее:

1) Текст писем, мемуаров, официальных документов и прочих биографических материалов печатается без сохранения орфографии и пунктуации подлинников.

2) Курсивы (подчеркивания) сделаны только в случае наличия их при самой публикации текстов писем, мемуаров и других материалов.

3) Сокращения имени Успенского — Гл. Ив., Г. И. сделаны в соответствии с источниками, из которых взяты включенные в нашу книгу материалы.

4) При печатании текста абзацы не везде выдержаны в полном соответствии с источниками и, в целях экономии места, во многих случаях, где они не вызываются необходимостью, устранены.

5) В некоторых (единичных) случаях при монтировании биографических материалов приходилось вставлять необходимые пояснительные слова. Во всех таких случаях эти вставки отдельных слов заключены в прямые скобки.

6) Ряд крупнейших по размерам воспоминаний об Успенском использован в разных своих частях во многих местах книги, поэтому в видах экономии места для этой группы мемуаров условно введены обозначения лишь имени их автора без повторения каждый раз наименования источника, из которого сделаны извлечения, времени и места напечатания и пр. При приведении отрывков воспоминаний Михайловского, Иванчина-Писарева, Скабичевского, В. В. Тимофеевой, Некрасовой и Короленко упоминается только имя автора. Работы перечисленных сейчас мемуаристов, из которых взяты наши отрывки, указаны ниже:

Н. К. Михайловский, Воспоминания об Успенском и материалы его биографии, появившейся ранее в журналах («Русская мысль» 1891, № 4, «Русское богатство» 1892, № 11—12, 1897, № 2, 1902, № 3—4), вошли в сборник сочинений Михайловского «Литературные воспоминания и современная смута» 1900, т. I, стр. 53 и 504, 505, «Отклики» 1904, т. II, стр. 38, «Последние сочинения» 1905, т. I, стр. 417—418, и т. II, стр. 173—225. Позже все это (однако не полностью) было включено Н. К. Михайловским в его статью «Г. И. Успенский как писатель и человек», вошедшую в I т. Собр. соч. Г. И. Успенского, изданного в 1903 г. Фуксом, а в 1908 г. — А. Ф. Марксом (главы V—VII).

А. И. Иванчин-Писарев, «Глеб Успенский и революционеры 70-х годов», «Былое» 1907, № 10; «Кое-что из жизни Успенского», «Заветы» 1914, № 5; «Из жизни Г. И. Успенского, «Северные записки» 1915, № 5—9 (перепечатано в «Красной Нови» за 1925 г.). Затем все это вошло в книгу А. И. Иванчина-Писарева, «Хождение в народ», М. 1929. Небольшой отрывок воспоминаний А. И. Иванчина-Писарева, не вошедший в указанную книгу, появился в сборнике «Невский Альманах». П. 1915 г.: «Из жизни Г. И. Успенского»,

А. М. Скабичевский, «Г. Успенский из личных воспоминаний)», «Новости» 1902, № 109 от 29 апреля; «Первое 25-летие моих литературных мытарств», «Исторический вестник» 1910, март). Включено (не полностью) в изданные после смерти автора «Литературные воспоминания А. М. Скабичевского», с предисловием Б. П. Козьмина, М., ЗИФ, 1928.

В. В. Тимофеева (Починковская), «Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские (воспоминания и впечатления)», «Минувшие годы» 1908, № 1 и 2.

Е. С. Некрасова, «Г. Успенский, его беседы и письма», «Русская мысль» 1902, № 9.

В. Г. Короленко, «О Глебе Ивановиче Успенском (черты из личных воспоминаний)», «Русское богатство» 1902, № 5; «Отошедшие» П. 1908.

Печатая книгу «Глеб Успенский в жизни», составитель ее считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность всем лицам и учреждениям, оказавшим ему то или иное содействие в работе над биографическими материалами и способствовавшим их выявлению.

Особенно полезное содействие было оказано семьей Г. И. Успенского — дочерью его Марией Глебовной Кричинской, сыном — Борисом Глебовичем Успенским и братом — Иваном Ивановичем Успенским. Также директором Государственного литературного музея в Москве, Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем была предоставлена возможность использования для нашей работы хранящихся в музее весьма ценных материалов по Г. И. Успенскому, в большей своей части еще не опубликованных. Всяческое содействие, в процессе работы было оказано также научным сотрудником музея Филиппом Петровичем Швальбе. Дочерью В. М. Соболевского, Наталией Васильевной Поповой, любезно предоставлены были для пользования при составлении нашей книги письма Г. И. Успенского к ее отцу и некоторым другим лицам (109 писем).

Кроме того, любезное содействие при некоторых справках оказали Н. Н. Гусев, Б. П. Козьмин, Р. П. Маторина, Н. Ф. Бельчиков и многие другие.

19 июня 1934 г.

А. С. Глинка-Волжский

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ В ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ ГЛЕБА УСПЕНСКОГО

1843 — 1868

ГЛАВА I

Родовое гнездо.—Успенские и Соколовы.—Родители.—Семейная обстановка.—Детские и гимназические годы жизни (1843—1861).

Мои [1] детские воспоминания рисуют мне следующую картину: прямо, вдали, какой-то сарай, крытый соломой; рядом с ним, вправо, плетень с досчатою дверцею посредине; через плетень выглядывают несколько тощих фруктовых деревьев. Это, однако, не сад, а пчельник. От плетня, вправо, в направлении к зрителю, тянутся два-три причетнических, крытых соломой, дома. В одном из них, первом от пчельника, жил диакон Яков Дмитриевич Успенский. С левой стороны, ближе к зрителю, небольшой лесок, около которого стоит маленькая деревянная церковь. Около церкви и в лесу видны могилы с водруженными на них крестами.

Про одну могилу, расположенную в лесу и без креста, рассказывали, что по ночам в ней появляется в виде огонька чья-то неправедно загубленная душа. Рассказывали также легенду о каком-то разбойнике «Чулке», отличавшемся при крайней жестокости в отношении богатых, великодушием и добротою к бедным.

Диакон Яков Дмитриевич Успенский — худенький, низенький, лысенький и какой-то угнетенный старичок. Ему более подходило быть священником, чем диаконом, с представлением о котором всегда связаны сила и громогласие. Яков Дмитриевич, напротив, говорил тихо и всегда с хрипоткою, словно страдал легкой простудой. Эта хрипотка, страдальческое выражение лица и вся миниатюрная фигура делали его одновременно как-то и жалким, и симпатичным.

Церковь и причт находились при селе Богоявление Тульской губ[ернии] Епифанского уезда.

У диакона Я[кова] Д[имитриевича] Успенского, кроме дочерей, было пять сыновей. Двое из них, Никанор и Григорий, учились в Московской духовной академии... Никанор по окончании курса постригся в монахи под именем Амвросия. Он был баккалавром, впоследствии магистром и инспек-

тором Тверской (кажется) семинарии. Григ[орий] Я[ковлеви]ч назначен профессором греческого языка в Тульскую семинарию.

Григорий Яковлевич, при обширном уме и знаниях, был бесконечно добр и снисходителен. Эта редкая, в то суровое время бурсы, гуманность заставляла семинаристов любить его до обожания.

Не имея сил ужиться с окружавшею его средою и не видя исхода из своего положения, он, по примеру многих из своих сослуживцев, впал в пьянство. В этот период угара он влюбился в одну малоизвестную провинциальную актрису, женился на ней, бросил пьянство, хотел было зажить по-человечески, но было уже поздно: перенесенные нравственные страдания, притупляемые стаканчиками пенного, так пошатнули его здоровье, что он вскоре и умер.

Третий сын, Василий, прекрасно окончил курс семинарии, сделался сельским священником в Ефремовском уезде Тульск[ой] губ[ернии]. Это — отец известного писателя, Николая Успенского.

Затем — Иван, отец Гл. Ив. Успенского, окончил курс одним из первых (если только не первым) учеников в той же семинарии, мог бы, конечно, по примеру своих братьев, поступить в духовную академию или в священники, но не сделал этого по обстоятельствам, о которых будет сказано ниже.

Семен, младший из сыновей, не кончив курса семинарии, поступил на гражданскую службу писцом и по своей неспособности и несклонности даже к канцелярскому труду не пошел далее журналиста, с жалованием 12—14 рублей в месяц. Он был высокого роста, крепкого сложения и ему сподручнее было бы ходить за сохой, чем корпеть за канцелярским столом. . . [2] Таково родство со стороны отца Глеба Ивановича Успенского.

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское Богатство» 1894, № 6, стр. 46—47.

Мать Гл. И-ча, Надежда Глебовна, была дочерью управляющего Тульскою палатою государственных имуществ Глеба Фомича Соколова.

Глеб Фомич хотя и был чиновником и впоследствии получил потомственное дворянство, но происходил также из духовного звания. Прадед Гл. Ив-ча по матери был священник села Мичкова Тверской губ[ернии], Фома Львович Соколов. От этого-то Фомы Львовича родился Гл[еб] Ф[оми]ч.



Г. Ф. и Л. А. Соколовы, дед и бабка Гл. И. Успенского.
С фотографии.
Гос. литературный музей в Москве.

Гл. Фомич учился в Тверской семинарии, по выходе из которой назначен учителем греческого и латинского языков в Тверское духовное училище. Языки эти он знал так основательно, что покойный митрополит московский Филарет, бывший однажды у него на уроке в качестве ревизора (в то время он, вероятно, не был еще митрополитом) и убедившись из беседы с Гл. Ф-чем в превосходном знании им этих языков, выразил удивление и неудовольствие начальству семинарии за то, что учитель этот не был своевременно направлен в академию.

Гл[еб] Ф[оми]ч не долго, однако, учительствовал. Крайне скудное содержание и ничего лучшего в будущем заставили его перейти из духовного ведомства на гражданскую службу, в которой он разновременно занимал всевозможные должности: был и смотрителем воспитательного дома, и чиновником особых поручений при губернаторе, служил в дворянской опеке, в Палате государственных имуществ и т. д. Женат он был на дочери чиновника московской сенатской типографии, Людмиле Ардалионовне Темской, чрезвычайно кроткой, терпеливой и глубоко сердечной женщине.

У Гл[еба] Ф[оми]ча было три сына и четыре дочери.

Получив место управляющего Палатою государственных имуществ, Гл. Ф-ч, благодаря дешевизне в то время жизни и хорошему сравнительно содержанию, жил скорее как помещик, чем чиновник. На конюшне у него стояла всегда пара заводских выездных лошадей, была карета, был повар, горничная и даже экономка. Еды было сколько угодно, тем не менее жизнь семьи его была крайне тяжела и скучна. Это происходило от того, что сам Гл. Ф-ч был совершенно чужд интересов семьи. Он жил как-то особняком. Никто из детей не мог быть с ним откровенен; он не терпел никаких возражений; все сказанное им должно было считаться аксиомой; поэтому при его появлении все смолкало, и говорил он один. Говорил о вопросах мало интересных для молодых девиц и юношей: он громил на чем стоит свет русскую политику, ругал Австрию за ее двуличность и измены; доставалось немало и Наполеону III. Увлекался до того, что благоразумие жены требовало закрывать окна на улицу.

В доме Гл[еба] Ф[оми]ча находили пристанище погибавшие от разных неудач и нищеты артисты. В числе их бывали и скрипачи, и виолончелисты, и флейтисты, и живописцы. Насколько было возможно, их кормили, одевали и даже угощали водкой...

У Гл[еба] Ф[оми]ча была, повидимому, от природы склонность к музыке. В бытность свою еще в семинарии он

выучился кое-как играть на скрипке и любил время от времени наигрывать на ней русские песни.

Там же, стр. 48—49.

Сыновья Гл[еба] Ф[оми]ча, ... в противоположность детям Якова Дмитриевича, тяготели не к наукам, а к искусству. Старший сын, Владимир, обладал прекрасными способностями к живописи. Хотя он был самоучка, но заезжавшие иногда в провинцию художники удивлялись верности и чистоте рисунка. Его апостолы, Петр и Павел, писаные масляными красками, экспонировали даже на одной провинциальной выставке, и за эти картины был присужден Влад[имиру] Гл[ебови]чу похвальный лист. Допустим, что за отсутствием надлежащей экспертизы получить похвальный лист было в то время не особенно трудно, но дело-то собственно не в этом, а в склонностях и любви к искусству. Живопись действительно и была его призванием.

У второго сына, Михаила, были замечательные способности к музыке. Не видавши никогда оперы, не слыхав даже порядочного оркестра, он написал прекрасную увертюру к рисовавшейся в его воображении опере «Князь Серебряный». Увертюра эта с большим успехом была играна под дирижерством самого композитора в г. Туле, в одном из концертов. . . .

Третий брат, Дмитрий, [3] далеко не обладавший способностями своего брата Михаила, совершенно по случайным причинам поступил в Петербургскую консерваторию. Там он хотя и прошел весь курс, но перед выпускными экзаменами серьезно заболел и хотя остался на второй год, но не в силах был уже окончить курс, так как, по недостатку средств и при слабом еще здоровье, ему приходилось играть в театре и одновременно с тем учиться в консерватории. С выходом из консерватории он лишился и этого заработка. Не зная, как и чем существовать, он ухватился за литературу. Писал, конечно, куда попало, лишь бы приняли и поскорее выдали гонорар. От этого рассказ «Подьячий», принятый уже редакцией журнала «Дело», был оттуда взят и передан в «Будильник», где его можно было напечатать скорее, а, следовательно, скорее получить гонорар. Рассказ «Сарыч», впрочем, был помещен в «Современнике» (1865). Другие небольшие рассказы и очерки разбросаны кое-где.

Как бы то ни было, сыновья Гл[еба] Ф[оми]ча были, так сказать, незримыми служителями искусства, не перешедшего, к сожалению, пределов дилетантизма. Произошло это глав-

ным образом от того, что их отец, Гл[еб] Ф[оми]ч, хотя и любил искусство, но смотрел на него как на забаву, как на развлечение в часы досуга и не заботился о развитии так ясно и определенно выразившихся способностей своих детей. Владимир и Михаил были пристроены на коронную службу и превратились в коллежских регистраторов. Художник кое-как справился с этой ломкою и дослужился до статского советника, но музыкант решительно не мог сжиться с ужасной средой тогдашнего провинциального чиновничества. Он умер после многолетних самых тяжелых нравственных и физических страданий. Биография его художественно изображена Гл. Ив. Успенским в «Наблюдениях Михаила Ивановича».

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское богатство», 1894, № 6, стр. 49—50.

Утром, сейчас после завтрака, он самым простым и толковым образом, по собственной инициативе, сообщил мне о своем происхождении. Отец его из духовного звания, мать из рода Соколовых. Семья отца обилует сумасшедшими. Один брат был архимандритом и умер сумасшедшим. Другой брат отца кончил самоубийством. Вообще с отцовской стороны много ненормальностей (и, повидимому, больному несимпатичных). Со стороны матери все народ даровитый: один был живописцем, другой музыкантом, многие писателями и сотрудничали в «Современнике». Повидимому, симпатии его лежат всецело на стороне материнской линии. [4]

Запись в дневнике д-ра Синани от 22 сентября 1892 г., на другой день после поступления Г. И. Успенского в Колмовскую психиатрическую больницу (приведено у *Н. К. Михайловского*).

Отец Глеба Ивановича был среднего роста, с светлорусыми волосами на голове и светлозолотистыми бакенбардами. Голубые глаза, замечательно нежный цвет лица с здоровым румянцем, всегда ровное, спокойное состояние духа, беспредельное добродушие делали его чрезвычайно симпатичным.

Превосходные успехи Ивана Яковлевича в семинарии давали ему полное право мечтать быть посланным, подобно своим братьям, на казенный счет в духовную академию, а там, в будущем, получить или архиерейский клобук, или кафедру, но рок судил иное. По рекомендации ректора семинарии Иван Яковлевич был приглашен давать уроки детям

Гл[еба] Ф[оми]ча Соколова, служившего в то время советником Тульской палаты государственных имуществ. В числе учащихся была девочка-подросток, Надя. При ее кротости и уме, она была не безынтересна и по внешности. Она была несколько смугловата, с лицом слегка покрытым румянцем; черные волосы и черные блестящие глаза.

Незаметно пробежало время, как учитель окончил курс семинарии, а ученица из девочки в коротком платьице сделалась прелестной девушкой. Ничего нет удивительного, если юноша учитель полюбил свою ученицу, и все его планы и мечты о кафедре и клобуке рухнули, уступив место иным чувствам и желаниям. К тому же отец Нади предложил ему у себя, в палате, место столоначальника. Предложение это, конечно, было тотчас же принято Ив[аном] Я[ковлеви]чем. Оно было тем более для него лестно, что место это обыкновенно получалось после многих лет службы, а не сразу, как было в данном случае. Удачное местечко давало повод думать и о быстрых повышениях в будущем: служба Гл[еба] Ф[оми]ча, вышедшего также из бурсы, была живым для него примером. Наконец, с получением места столоначальника, брак с Надею являлся вполне возможным, а это для молодого Ив[ана] Я[ковлеви]ча было едва ли не самым главным.

Идеалы жизни Ив[ана] Я[ковлеви]ча были самые светлые, чистые. И какие же иные они могли быть у этого юноши, жизнь которого до сих пор протекала или за книгою, в семинарии, или за полевыми работами, в деревне, у бедного отца-причетника?! Но Ив[ан] Я[ковлеви]ч, поступая на государственную службу, не знал, что в то время не было ни одной должности, ни одного места в казенных учреждениях (частных тогда совсем не было), которое не было бы связано с доброхотными даяниями. Это открытие должно было темною дымкою покрыть его идеалы. Предстояло одно: или плыть по течению, или бросить службу. Последнее, однако, было уже невозможно: корабли сожжены, а покинутый берег далеко.

Сослуживцы Ив[ана] Я[ковлеви]ча были большею частью все люди «низменные», малограмотные, недоучки; физиономии их были какие-то особенные: у одного, помнится мне, был громадный нос темнофиолетового цвета, весь испещренный маленькими жилками, и к этому, едва глядящие на свет божий, какие-то сальные глазки, говорил он как-то крякая, словно с вами говорила утка; у другого — все лицо плоское, как деревянная лопата, с круглыми, стеклянными, без всякого выражения глазами. Лопата эта,

однако, подобострастно улыбалась, была чисто выбрита и в верхней ее, узкой, части красовался заботливо причесанный хохол; третий — полный, круглый, как глобус, с круглою лысою головою, похожей на клеща, упившегося кровью, и т. п. Таких типов тогда было повсюду, впрочем, очень много. Должно быть, полное отсутствие мысли, страх перед начальством и водка выработали в поколениях такие физиономии. Ив[ан] Я[ковлеви]ч выделялся между ними и по уму, и по образованию, и по внешности.

Скоро он был назначен секретарем. Должность эта в то время представляла массу труда и ответственности. Ежедневно, с раннего утра и до конца занятий, Палата государственных имуществ осаждалась толпами мужиков с самыми разнообразными просьбами и заявлениями. Они толпились в передней присутственного места, стояли и сидели на ступеньках каменной лестницы и, наконец, просто на улице. Все это шло к Ив[ану] Я[ковлеви]чу. «Что можно, так сделаю, чего нельзя, так и не хлопочи», — обыковенно говорил Ив[ан] Я[ковлеви]ч и делал все, что было возможно сделать по точному смыслу закона...

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское Богатство», 1894, № 6, стр. 52—54.

Я знал Глеба Ивановича с самого раннего его возраста благодаря тому простому обстоятельству, что «привожусь» ему двоюродным братом. Я был смиренный бурсак, воспитывавшийся на «медные деньги» и содержавшийся в «черном теле», он проходил гимназический курс и пользовался всеми земными благами от трапезы «богатого Лазаря» — своего отца, который занимал должность секретаря в Палате государственных имуществ и имел возможность не только жить на барскую ногу, но и благодетельствовать своим «присным» (а их был целый легион), выдавая замуж какую-нибудь родственницу за сельского учителя, дьякона или «палатского» чиновника, снабжая советами и деньгами сомнительного вида «погоревшего» пономаря, который являлся к нему в качестве «земляка», односельца или товарища по семинарии, из которой он, якобы по недостатку средств, возвратился вспять... На дворе Ивана Яковлевича (отца Глеба Ивановича) ежедневно толпилась масса народу, в которой можно было встретить и цыгана, продающего лошадь, и сельского «голову», увешанного медалями и державшего в руках обширную лохань с живыми карпиями и баснословной величины налимами, равно как и целое полчище дьячих,

пономарей, семинаристов и даже спившихся с круга профессоров семинарии, преподавателей «герминевтики и обличительного богословия», неверными шагами пробиравшихся сквозь толпу народа в прелестный сад с клумбами цветов, беседкой, на куполе которой эффектно оттеняемые голубым фоном мерцали яркие звезды, и наконец скромно ютившейся у забора баней, где обыкновенно находили себе безмятежный покой все полупьяные родственники Ивана Яковлевича, не исключая лиц «сладкой породы» в образе какого-нибудь геркулесовского телосложения протодиакона, напоминавшего своей ужасающей персоной мифического Полифема, который некогда хотел с аппетитом поужинать Одиссеем и его спутниками.

Преобладающий состав контингента посетителей отца Гл. Иваныча составляли крестьяне-«однодворцы», стоявшие на очереди «отбывания воинской повинности» и сгоравшие непреодолимым желанием, чтобы им «выстригли затылок», а не «лоб», причем каждый из них запасался известным приношением. Почти все они сплошной массой толпились в длинном и просторном коридоре, который представлял из себя подобие вокзала железной дороги...[5]

Н. В. Успенский, «Из прошлого», М. 1889, стр. 130—133.

Иван Яковлевич был альтруист в полном и высоком значении этого слова. Несмотря на то, что у него у самого было большое семейство, он щедро помогал не только всем бедным и захудалым своим родственникам, но и посторонним и делал это именно так, что левая рука не знала, что делает правая. Делал не из расчета, не из тщеславия, а просто потому, что по свойству своей природы не мог *не* делать. В пример коснусь... Ник[олая] Вас[ильевича] Успенского. В семинарии он находился на самом плохом счету; он ходил по трактирам, пил, играл на биллиарде и плохо учился; ему предстояло исключение из семинарии, и затем, самое большее, место дьячка или пономаря какой-нибудь сельской церкви, но Ив[ан] Я[ковлеви]ч не допустил до этого. Он понял, что Николай — человек во всяком случае не глупый, и из него при лучших условиях жизни может выйти толк, а потому, не обращая внимания на все его проступки и худые о нем отзывы, отправил его на свой счет в Петербург, для поступления в медико-хирургическую академию. Ник. Успенский действительно оправдал надежды Ив[ана] Я[ковлеви]ча: он прекрасно выдержал экзамен и поступил в число



И. Я. Успенский, отец Г. И. Успенского.
С портрета маслом неизвестного художника.
Гос. литературный музей в Москве.

студентов-медиков. Через год на каникулы он приехал в Тулу, и мы, дети, были просто изумлены его перемене. Обыкновенно он являлся к своему дядюшке в рваных сапогах, таком же картузе, в таком же нанковом длиннополом сюртуке... Это был тип самого отчаянного бурсака... и вдруг!.. каска, мундир, погоны... Всем этим он был обязан единственно только своему дяде, которого он так старался облить помоями в своих воспоминаниях «Из прошлого».

Эти-то добрые качества — отсутствие корыстолюбия и любовь к ближнему — Гл. И—ч унаследовал от своего отца.

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка), «Русское Богатство», 1894, № 6, стр. 54—55.

В копии метрики, выданной из Тульской консистории, читаем:

«День рождения сына его, Глеба, по метрическим книгам города Тулы, Успенской (что в Повшинской слободе) церкви, *за тысяча восемьсот сорок третий* год записанным значится следующим образом: октября 13 числа у служащего в Палате государственных имуществ коллежского регистратора Ивана Яковлевича Успенского и законной жены его Надежды Глебовны (оба православного исповедания) родился сын Глеб, крещен 17 числа священником Алексеем Федотовым Вележевым, с причтом; при крещении восприемниками были: служащий в той же палате Глеб Фомич Соколов и титулярная советница Александра Викторовна Белова».

Метрическое свидетельство выдано консисторией 4 августа 1853 г. за № 6223, за подписью помощника секретаря Мерцалова и столоначальника Сахарова.

В. Парадиев, «Когда родился Гл. Ив. Успенский (архивная справка)», «Голос минувшего» 1913, № 12, стр. 269.

В начале сороковых годов в Тульской палате государственных имуществ служил советником некто Глеб Фомич Соколов. На Роговой улице у него был небольшой дом, в четыре окна на улицу и со светелкою во двор. Во дворе — баня, глубокий колодезь и флигель с кухней и столовой. Кроме того, каретный сарай и конюшня, в которой стояла лошадь Звездочка, названная так потому, что на лбу у нее было белое круглое пятно, напоминающее звездочку.

Из этого дома была выдана замуж старшая дочь Соколова, Надежда, за чиновника той же палаты, Ивана Яковлевича Успенского (отца Глеба Ивановича).

Молодая чета поместилась в том же доме, и здесь 13 октября 1843 года родился от них сын Глеб, известный писатель.

Вскоре Иван Яковлевич Успенский купил себе дом на Барановой улице и переехал туда.

В 1848 году дедушку Гл. И. перевели в г. Калугу, в ту же палату, а зять его остался в Туле.

Близость расстояния Тулы от Калуги давала возможность частых свиданий. Благодаря тому, что тесть очень любил своего внука, и потому, что Глеб, оставаясь в Туле один, скучал без товарищей, он жил почти постоянно в Калуге, тем более, что у него здесь был советник, Соколов Дмитрий.

Надо сказать, что у Соколовых жила мать жены Соколова Татьяна Григорьевна Темская — глуховатая, близорукая и с не сходящею никогда с ее старческого лица улыбкою.

Эта бабушка, бывало, целые дни занимала Глеба и его сверстника сказками о спящей царевне, о Кащее бессмертном, об Иване-царевиче, наконец целою сериею сказок Шехеразады, а также рассказывала она по картинкам «Не любо не слушай, а врать не мешай» и т. п.

Сказки эти она говорила отчасти со слов других лиц, придавая им своеобразный характер, а, отчасти, может быть, и вычитывала их.

Как бы то ни было, но только рассказывала она их так увлекательно, что дети готовы были не спать целые ночи, лишь бы слушать эту приветливо улыбающуюся старушку-бабушку, с каждым словом которой открывались все новые, чудные картины...

Кроме бабушки у Соколовых жил некто Алексей Михайлович Орехов. Этот Орехов был когда-то богатым хлебным торговцем. Дела его почему-то пошли плохо: он обанкротился и остался без средств и кредита. Этому, полагать надо, не мало помогла его «приверженность к зелену вину». Не зная, куда голову приклонить, он пристроился к семейству Соколовых, у которых жил до самой своей смерти.

Дедушка Глеба Ивановича, Глеб Фомич Соколов, любил певчих птиц, и у него в каждой комнате были какие-нибудь птицы: у бабушки висел щегол, в столовой стоял прихотливый замок с ученым чижом, в гостиной — канарейки, в зале — соловей и, наконец, в передней, около кабинета дедушки — снигирь.

Кроме того была еще комнатная собачка, умевшая танцовать вальс.

Такое изобилие животных дало повод дедушке Гл. Успенского называть его дом «Ноевым ковчегом».

Скучая без дела и не зная, чем наполнить день, Орехов прежде всего принял под свою опеку и попечение птиц... Но так как это занятие могло наполнить лишь незначительную часть дня, то, чтобы быть и остальное время при деле, он приладился, по-своему, конечно, почину, к Глебу и сыну Соколова, его сверстнику, в качестве дядьки, чем был, кажется, вполне доволен.

Сначала он вздумал было учить их грамоте, но, чувствуя, вероятно, себя к этому делу неспособным, он, выучив их писать какую-то вычурную букву А, на том и покончил.

Надо сказать, что Михалыч, как все его звали, любил музыку и самоучкой играл на скрипке. И вот, бывало, когда дедушка уходил на службу, а на дворе стоял мороз, препятствовавший детям выйти во двор, чтобы строить из снега воображаемые дворцы, крепости и пещеры, Михалыч брал обыкновенно свою скрипочку, садился в зале на стул и начинал играть плясовые: «бычки», «барыню», «камаринскую», «спирю» и т. п.

Под эту музыку у детей шел своеобразный пляс, беганье, кувырканье до девятого поту или, лучше сказать, до тех пор, пока в передней не раздастся визг и вой комнатной собачки, чуявшей приближение дедушки. Действительно, как только мать снимала крючок с дверей, дедушка уже входил на крыльцо и направлялся в переднюю.

С его приходом все стихало. Переодевшись, он звал в кабинет Михалыча, выпивал с ним по стаканчику травничку из целебных трав, и затем все чинно садились обедать.

В то время Глеб Фомич соблюдал все посты, не исключая среды и пятницы, так что большую часть года все питались постною пищею, состоявшею из винегрета, супов, оладий, левашников, блинов и т. п. Несмотря на преклонный возраст, он не пропускал ни одной обедни в праздники, а под праздники всенощной. Ходил также и к заутрене в одну из ближайших церквей.

Чтобы дети не болтались и не проводили праздно времени, к ним нанят был учитель семинарист из окончивших, кажется, курс семинарии, так как уроки он давал им по утрам, когда в семинарии шли занятия.

Вначале ученье шло последовательно и в должном порядке. Каждый день к приходу учителя раскрывался ломберный стол, ставилась на нем чернильница, укладывались гусиные перья, перочинный нож, карандаш и пр., а также

учебники — церковно-славянский букварь и, впоследствии, «Начатки христианского учения».

Сердобольная бабушка Гл. И. (жена Соколова), не касаясь платы за ученье, находила невозможным отпускать детей без закуски, тем более что время ученья приходилось между 11 и 1 часом дня, когда детям давали завтрак.

Этот учитель оказался добрейшим человеком и обращался с детьми как родной брат. Особенно он полюбил Глеба. Глебушка был худенький, ма́ленький, но всегда очень подвижной мальчик, понятливый и весьма способный к ученью.

Возьмет, бывало, его учитель подмышки своими могучими руками и начнет поднимать к потолку, а потом посадит к себе на плечи и ходит по комнатам.

Эта поездка верхом на учителе так понравилась Глебушке, что он стал забираться на плечи учителя не только тогда, когда был антракт для завтрака, но и во время ученья.

Такой маневр не особенно возмущал учителя, так как он, побоовшись для виду с своим учеником и сделав для очистки совести несколько наставлений, что «за уроком, мол, так не сидят», что «на все свое время» и т. п., все-таки поднимал его к потолку, сажал на плечо и, прогулявшись несколько раз по комнатам, сажал на стул, нежно приговаривая: «Ну, вот теперь покатался и садись учиться...»

Такое благодатное ученье продолжалось почему-то очень недолго, вероятно, учитель получил место и уехал, так как потом его уже никогда не видали.

После отъезда учителя дедушка отдал внука и сына к одному диакону. Хождение к диакону в его школу внесло в их жизнь значительное разнообразие; самое путешествие, без провожатых, через какой-то пустырь, давало им сознание о самостоятельности.

Зимой, как было сказано, дети учились, дурачились под скрипку Михалыча и в хорошую погоду копались в снегу на дворе и строили из него городки. С наступлением же лета, Михалыч водил их гулять за город. Утром их снабжали обыкновенно вареными яйцами, солью, хлебом и они отправлялись или в Лаврентьевский монастырь или в Подзаводье, гуляли в сосновом бору или на берегу р. Яченки.

Несколько раз всем семейством совершали, например, путешествие в Калужку, где находилась чудотворная икона Калужской божьей матери, и это расстояние, помнится, считали 7 — 8 верст от города.

В это лето их дядька, Михалыч, заболел и вскоре умер. За несколько минут до смерти, когда дедушка Глеба И—ча



Н. Г. Успенская, урожденная Соколова,
мать Г. И. Успенского
С портрета маслом неизвестного художника.
Гос. Литературный музей в Москве.

спросил его о здоровьи, он нашел еще возможным пошутить и сказал:

Худо, сударь, без дуды (скрипки),
Ноги едут не туды.

И это были его последние слова.

Д. Васин, «Детство Глеба Ивановича Успенского», «Новости и Биржевая газета» 1902. № 109, (5 мая). 22 апреля.

Глеб Иванович Успенский родился в Туле, в 1843 году, 14 ноября.[6] Семейство его состояло, — большая часть, — духовного звания, отец Ивана Яковлевича, а мать моя была из семейства Глеба Фомича Соколова — это семейство по тому времени было образованное. Глеб Фомич происходил едва ли не из крестьянского сословия,[7] видел на своем веку много, пережил также много, видел аракчеевские времена, бунт в Новгородской губернии аракчеевских крестьян.[8] Первые воспоминания о себе, 9 лет, относятся к жизни у деда Г[леба] Фомича, куда[9] отец и мать отвезли меня гостить и учиться. Глеб Фомич любил меня и хотел оторвать от семейства. Там я учился в школе у вдового диакона. В Туле семейство Соколовых по приезде из Калуги поселилось в собственном доме, так как Г[леб] Ф[омич] получил место управляющего Тульской палатой государственных имуществ.

Гр[аф] Л[ев] Н[иколаевич] Толстой сносился письменно с Г[лебом] Ф[омичем] о разных предметах, касающихся крестьянского быта. В детстве я много пережил и перевидал крестьянских бедствий и взяточничество царило повсюду, рекрутские наборы, волостные старшины, писаря и вся тяжебная волокита мне хорошо известны...

«Из архива *Г. И. Успенского.* Отрывок из автобиографии», «Былое»,[10] 1907, № 10, стр. 59

Ив[ан] Я[ковлеви]ч, заваленный работою по должности секретаря, не водил ни с кем знакомства, вследствие чего дети его вращались исключительно только в своей среде, не зная, как живут в их возрасте другие дети, другие люди.

Как в семье Гл[еба] Ф[оми]ча находили пристанище разные музыканты и другие искусники, так и у Ив[ана] Я[ковлеви]ча пользовались приютом, кроме многочисленных родственников, еще такие субъекты, как, например,

Еремей Юродивый, правдиво и художественно описанный Гл. И — чем в растеряевских типах и сценах под названием Парамона юродивого, [11] богомолки Панкратьевны (Авдотья, помнится) также верно описанная в «Зимнем вечере» [12] под именем Федосьи Гавриловны и другие.

Еремей (Парамон) был религиозный фанатик. Мне и Гл. И—чу пришлось однажды мыться с ним в домашней бане и здесь-то мы увидели воочию врезавшиеся в его тело вериги. Полез он на полок, рассчитывая попарить свое зудившее от поту и грязи тело, но железные вериги до того накалились, что он прямо так-таки и загремел сверху по ступеням полка и в изнеможении упал на пол, прося поливать его холодною водою, что, конечно, и было нами исполнено... Сверх вериг он носил еще власяницу (длинную рубашку, сотканную из черного конского волоса). Его действительно арестовала полиция, и с тех пор мы его не видали.

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское Богатство» 1894, № 6, стр. 55.

Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит.

Глеб Успенский «Автобиография», Собр. соч. изд. 1908 г.

«У Глеба глаза на мокром месте», — беспомощно говорила его мать. [13]

Из письма Елизаветы Ивановны Марченко (сестры Г. И.) В. Е. Чешихину (*В. Е. Чешихин,* «Г. И. Успенский (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 21).

С раннего детства Глеб Иванович был окружен любовью и нежными заботами родителей. Несмотря на суровые приемы того времени в деле воспитания, он не терпел никаких наказаний как дома, так равно впоследствии и в гимназии (Тульской), где он учился первое время. Благодаря своим способностям, и отчасти прилежанию, он был первым учеником, и имя его всегда красовалось на так называемой золотой доске. [14]

... Тульская гимназия, в которой учился Гл. И—ч, находилась на так называемой Хлебной площади, где, время от времени, воздвигался эшафот для конфирмаций и наказания кнутом преступников. Окна нашего первого класса выходили

как раз на площадь, и из окон, вдали, можно было видеть всю процессию и экзекуцию, производившуюся обыкновенно около 12 часов, то есть в то время, когда у нас была «большая перемена». И вот в это-то время легко можно было отличить мальчика, знакомого с розгою, от его товарища, которого таким способом не наказывали. Те, которые не были подвергаемы этому истязанию, в числе их и Гл. И—ч, с ужасом отбегали от окна, боясь услышать страшный крик преступника, раздававшийся, после каждого удара палача, по площади, над заледеневшею от ужаса толпою. Напротив, мальчики, испытавшие розгу, с каким-то особенным любопытством выскакивали за ворота, карабкались на наваленные на площади доски и бревна, чтобы лучше видеть эту кровавую расправу.

Дом, где жили Успенские, находился на Барановой улице. В конце этой улицы, несколько в сторону, стоял острог, из которого, в известные дни, при странной какой-то трескотне расстроенного барабана, *гоняли* обыкновенно *этап* арестантов. По этой же улице возили на мрачной колеснице преступников, приговоренных к наказанию... [15]

Успенские и Соколовы были люди религиозные; они соблюдали все посты и аккуратно посещали церковь. Ближайшая к их домам церковь была церковь в остроге. Благодаря своему общественному положению и знакомству с смотрителем острога, доступ в острог был довольно свободен: родители с детьми подходили к острожным воротам, и, после соблюдения весьма несложных формальностей со стороны военного караула, их пропускали на арестантский двор, по которому они и шли в церковь. Наши посещения, полагать надо, были приятны арестантам, во-1-х, потому, что они несколько разнообразили их мрачную обстановку, во-2-х, мне кажется, им лестно было также видеть то доверие к ним, — ворам, поджигателям и разбойникам, — с которым относились Успенские и Соколовы, приведшие в их среду своих маленьких детей, то есть не чуждались их, а в 3-х, посещения эти обыкновенно сопровождались, особенно со стороны Гл. И—ча, щедрою милостынею арестантам.

Мы, дети, не боялись арестантов, но впечатление, производимое на нас звяканьем кандалов, полубритыми головами, тупыми, а подчас и действительно какими-то зверскими лицами, было удручающее. В впечатлительном же и наблюдательном Гл. И—че такие мрачные картины вызывали, быть может, и нравственные страдания.

Вырвавшись наконец, по отходе церковной службы, из этой подавляющей обстановки, мы опрометью бежали домой

и находили отдых и успокоение за кипевшим уже на столе самоваром, а потом в молодом еще тогда саду Ив[ана] Я[ковлеви]ча, далеко не представлявшем, впрочем, особенной роскоши...

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (био графическая заметка)», «Русское Богатство», 1894, № 6, стр. 55—58.

Мое отрочество и детство Глеба Иваныча Успенского представляли собою два радиуса, центром которых служил нам общий дедушка, пономарь Чернского уезда, имевший счастие принимать в своей скромной хижине И[вана] С[ергеевича] Тургенева. Направление упомянутых радиусов выражалось в том, что я, несмотря ни на какие метеорологические пертурбации, совершал путешествие в семинарию пешком, а юный Глеб Иваныч ездил в гимназию на щегольской пролетке и прилежно учился, ежедневно отдавая строгий отчет в своих успехах родителю. Я всячески старался уклониться от слушания лекций семинарских профессоров и возвращался из рассадника благочестия в свою квартиру, встречаемый известием кухарки, что руководители моего умственного и нравственного развития все, без исключения, разошлись по трактирам. Глеб Иваныч как ученик был образцом трудолюбия и прилежания, а мое имя было синонимом упорной лености, не поддающейся никаким мерам, в числе которых первенствующее место занимала экзекуция...

Как городской житель и сын «делопроизводителя» Палаты государственных имуществ, Глеб Иваныч должен был volens-nolens[16] ежедневно выслушивать беседы «палатских» чиновников о повышении, понижении, награждении, перемещении, о годовых отчетах и прибавке жалованья, о забритых лбах и затылках, не имея ни малейшей возможности составить себе хотя бы приблизительное понятие о том, какой эффект производят эти «забритые лбы и затылки» в действительной жизни и какими потрясающими душу сценами они сопровождаются при своем появлении в крестьянских избах.

Н. В. Успенский, «Из прошлого», М. 1889, стр. 134—136.

...Несмотря на дороговизну в то время книг, отец Гл. И—ча составил у себя маленькую библиотеку. В ней были сочинения Пушкина, Лермонтова, Карамзина и др. Благодаря, быть может, этой библиотеке, любознательный от

природы Гл. И—ч рано стал читать книги. В то время, когда литературные познания его сверстников ограничивались лишь знакомством с баснею «Чиж и голубь» и «Птичка божия», Гл. Ив—ч давно уже знал все сказки Пушкина и с особенною, бывало, таинственностью и вдохновением декламировал:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том..., и т. д.

В Тульской гимназии Гл. И—ч учился только до четвертого класса, и затем, с перемещением его отца в Чернигов, поступил в тамошнюю гимназию, где и окончил курс.

... О жизни Гл. И—ча в Чернигове я знаю только из рассказов его близких, — сам он очень мало об этом говорил. Там, освободившись окончательно из-под ферулы своего тестя и получив новое, лучшее положение по службе, отец Гл. И—ча зажил по-своему: дочерей отдал учиться в одном из лучших пансионов, приобрел знакомства, дети уже стали вращаться в соответствующем их возрасту обществе, у Гл. И—ча явилось много товарищей. Книг для чтения было достаточно и дома и в «читальнях». Гл. И—ч затеял даже издавать там, при участии гимназистов, рукописный журнал. Это время было самое лучшее для детей Ив[ана] Я[ковлеви]ча. Надо, однако, заметить, что из этого периода Г. И—ч не внес в литературу ни единой черты.

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское богатство», 1894, № 6, стр. 55—59.

Как известно, из Тульской гимназии Гл. Ив. Успенский перевелся в четвертый класс Черниговской, вследствие перемещения отца по службе. В архиве Черниговской гимназии хранится прошение Ивана Яковлевича Успенского к директору гимназии А. М. Богаевскому:

«По воле его сиятельства господина министра государственных имуществ, будучи перемещен на службу из Тульской в Черниговскую палату государственных имуществ и для сего приехав с своим семейством на жительство в Чернигов, я в необходимости нахожусь перевести для дальнейшего прохождения учения в Черниговскую губернскую гимназию сына моего, ученика Тульской гимназии IV класса Глеба Успенского». Датировано прошение 9 августа 1856 года.

В. Парадиев, «Когда родился Гл. И. Успенский (архивная справка), «Голос минувшего», 1913, № 12, стр. 268—269).

На прошении имеется резолюция: «На принятие испросить разрешения начальника округа». От 13 августа 1856 года директором гимназии послано на имя попечителя Киевского учебного округа представление о разрешении принять Г. И. Успенского в IV класс гимназии. При бумаге были представлены: «свидетельство о науках и поведении Глеба Успенского, метрическое свидетельство о рождении и крещении и копия с формуляра о службе его отца». Разрешение на принятие от попечителя последовало 20 августа (получено, как видно из пометки на бумаге, в гимназии 27 августа). В архиве сохранилось следующее медицинское свидетельство, выданное от 9 августа 1853 года тульским губернским врачом ведомства министерства государственных имуществ г. Троицким: «Сим свидетельствую, что сын коллежского секретаря Ивана Яковлевича Успенского по моему осмотру оказался совершенно здоровым и не одержимым никакими болезнями, могущими препятствовать принятию его в какое-либо учебное заведение, и что оспа на нем привита».

Н. Бирский, 17 «Некоторые черты из жизни Глеба Ивановича Успенского», «Русские ведомости» 1903, № 217, от 8 августа.

Как видно из материалов, собранных в архиве Черниговской гимназии П. М. Добровольским, Успенский родился 13 октября 1843 года (а не 1840, который до сих пор многими, в том числе и самим Гл. Успенским, принимался за год его рождения), в Черниговскую гимназию перевелся из Тульской в августе 1856 года и окончил ее в 1861 году.

... П. М. Добровольский в своем сообщении о пребывании Успенского в Черниговской гимназии, со слов сестры покойного писателя Александры Ивановны, дает такую картину гимназической жизни Глеба Ивановича: первые шаги в Черниговской гимназии были для него чрезвычайно трудны, товарищи относились к нему враждебно и иначе не обращались к нему, как с кличкой — «кацап», что на него действовало крайне болезненно; мальчик часто неудержимо плакал, нервничал и даже болел. Но уже в пятом классе гимназии Глеб Иванович стал популярен как поставщик обязательных сочинений, чуть ли не для всего класса. В старших классах у него устанавливаются хорошие отношения не только с товарищами, но и с некоторыми педагогами.

У Глеба Ив. бывают вечеринки... Мы ничего не знаем об этих вечеринках, кроме того, что на них часто пели, пели иногда «Зибралися всі бурлаки»... Окончательный вывод

тот, что Глеб Иванович вынес из Чернигова самые тяжелые, впечатления мрачные, угнетающие.

М. Могилянский, «Глеб Иванович Успенский в Черниговской гимназии (очерк) «Всемирный вестник», 1904, № 4, стр. 42—46.

По словам сестры, в годы гимназической жизни в Чернигове Глеб Иванович плакал так часто и так много, плакал иногда беспричинно, что мать часто говорила: «У Глеба — глаза, видно, на мокром месте»...

Там же, стр. 47

Отец, по словам Александры Ивановны, чрезвычайно любил Глеба. Например, только благодаря заступничеству и хлопотам отца, Глеб однажды избежал телесного наказания за потерю нумера от шинели.

Там же, стр. 48.

По справке, приведенной П. М. Добровольским, оказывается, что в Черниговской гимназии, в первый год своего там пребывания, Глеб Иванович учился так плохо, что даже остался на второй год в классе, следующие годы учился лучше, но до конца курса не учился блистательно.

... Вот таблица баллов Глеба Ивановича за первый год [18] пребывания в Черниговской гимназии:

Закон божий = 2.3.4.4.3.4.—	средний	вывод	= 3
Немецкий яз. = 2.2.2.1.1.4.3.2.2.2.3.2	„	„	= 2
Французский = 2.1.2.2.1	„	„	= 2
Алгебра = 1.1.2.2.2.2.2½.2.2	„	„	= 2
Русская история	„	„	= 3
Всеобщая история = 4.3.3.3.2½.3.3	„	„	= 3
Славянский яз. = 2.3.3.2.2.2.2	„	„	= 2
География = 1.3.3.3.2.2½	„	„	= 3
Русский яз. = 3.3.2½.2.2.2½	„	„	= 2
Латинский яз. = 1.1½	„	„	= 1
Геометрия = 1.1.2	„	„	= 1
Естественная история = 3	„	„	= 3

В пятом, шестом и седьмом классах он идет ровнее и на второй год нигде не остается, но идет именно так, чтобы не остаться. Пятерок за это время нет совсем, четверки редки, преобладают тройки, но единицы и двойки сопровождают его до конца курса гимназии. Все время он идет в числе предпоследних учеников, без отличий и наград, и таким же образом оканчивает гимназический курс, как видно

из гимназической таблицы того выпуска, к коему принадлежал Глеб Иванович, — по всем предметам гимназического курса в его графе поставлены отметки «удовлетворительно», исключая русской словесности, против которой стоит «весьма удовлетворительно».

Там же, стр. 49.

... В классном журнале с 5 декабря ежедневно во все часы занятий проставлено, вплоть до рождественских праздников, «не был» ... После рождественских праздников он на уроки явился 8 января. За все остальное время пребывания в гимназии Глеб Успенский посещает уроки очень аккуратно и усердно... Только с 11 августа 1858 года встречаются отметки «не был» по отдельным дням и предметам, что продолжается до 18 августа, а с 18 августа по 25 августа Г. И—ч не ходит в гимназию совсем...

... Поведение Г. Успенского, как гласят отметки классных журналов, было всегда «отличное».

Н. Бирский, «Некоторые черты из жизни Глеба Ивановича Успенского», «Русские ведомости», 1903, № 217.

Часто, рассказывает сестра, приходил Глеб домой в одних обрывках рубахи, изорвав ее всю на перевязки какому-нибудь больному нищему... В воспоминаниях Александры Ивановны[19] интересен следующий эпизод: в числе товарищей Глеба Ивановича по классу был один — некто Р., не любимый товарищами за склонность к доносам «по начальству». Этот Р. ходил почти босой, и вот Глеб Иванович пристает к своей матери с просьбой: «закажи сапоги для Р.» Мать удивлена, она помнит, что Р. и на Глеба как-то «докладывал» директору, и она высказывает сыну свое удивление. «Ну, что же, — отвечает Глеб, — да ведь теперь он босой ходит» ... За забором семьи Успенских помещался «пансион для девиц». Девиц в этом пансионе плохо кормят, они почти постоянно голодны, и Глеб Иванович спешит на помощь: он упрашивает мать сварить для пансионерок каши. Мать исполняет просьбу сына, и тот тащит горшок каши и передает его через забор полуголодным пансионеркам.

М. Могилянский, «Глеб Иванович Успенский в Черниговской гимназии», «Всемирный вестник», 1904 г., № 4, стр. 56.

В гимназии я учился с 1852 года до 1856, когда моего отца перевели в Чернигов. Настало новое время. Меня

кацапа приняли так, как следовало, поляки, малороссы — вообще люди, не застоявшиеся на одном месте и имеющие историческую биографию. Первый год я сидел на последней скамейке, но летом мне предложил брать уроки учитель французского языка... появились товарищи из лучших учеников. Ив[ан] Ил[ьич] Петрункевич, М[ихаил] И[льич] Петр[ункевич] и их отец были мне знакомы. С Ив[аном] Ил[ьичом] и М[ихаилом] И[льичом] я впоследствии жил в Петербурге в доме Штрауха (когда уже работал в «Русском слове») и потом постоянно имел знакомство.

«Из архива *Г. И. Успенского.* Отрывок из автобиографии», «Былое», 1907, № 10. стр. 60.

М[ихаил] И[льич] Петрункевич передавал, что в Черниговской гимназии, куда он поступил с братом осенью 1861 года в один из старших классов, хорошо знали о склонности Глеба Успенского к литературе и говорили, что его гимназическими набросками пользовался для своих рассказов Николай Успенский. Позднее, когда М[ихаил] И[льич] жил с Глебом Успенским, прямые вопросы об этом, — понятно почему являвшиеся: Николай Успенский ценился в эти годы необыкновенно высоко благодаря известной статье о нем Чернышевского, [20] — прямые вопросы Г. И. обходил, как вещь, не стоящую внимания, хотя и не отрицал этого. [21]

Сообщение *М. И. Петрункевича,* В. Е. Чешихину, *(В. Е. Чешихин* «Г. И. Успенский. (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 39—40.

ГЛАВА II

Юность (1861—1868). — Университет. — Начальный период литературной работы. — Занятие корректурой. — Учительство. — Попытка „служить"

По окончании гимназического курса Глеб Иванович поступил в Петербургский университет, на юридический факультет. Затем, живя некоторое время в Москве, по недостатку средств он занимался в качестве корректора в университетской типографии, а затем сотрудничал в журнале «Зритель», [1] издававшемся Калошиным (1861—1862). Из университета вышел в 1863 году и занялся исключительно литературою.

Вскоре умер его отец. Смерть была внезапною. Это так поразило Глеба Ивановича, что он, несмотря на трудность и дороговизну пути, немедленно уехал в Чернигов... Глеб Иванович как молодой, начинавший еще в то время писатель не мог решительно ничем помочь горю, так что семейству Ив[ана] Я[ковлеви]ча оставалось одно: кое-как собраться и ехать на родину, в Тулу, «на старое пепелище». [2]

Они приехали туда тогда уже, когда там началось «разорение». [2] Отец Над[ежды] Гл[ебов]ны (матери Гл. И—ча) вышел в отставку и жил на своей маленькой пенсии. Он стал хворать; в то время умирал его сын, Мих[аил] Гл[ебович] [3] (музыкант Ваня). Сестры Гл. И-ча, чтобы как-нибудь прокормиться, стали давать уроки. Уроки были, конечно, грошовые, к тому же и тех-то было очень мало. Впоследствии одной из сестер посчастливилось сделаться начальницей прогимназии в одном уездном городе...

Сознание полной невозможности помочь таким близким, дорогим людям, как мать, братья и сестры, заставило Гл. И—ча обернуться на прошлое; взвесить и рассмотреть все то, что прошло за период от раннего детства до возвращения его матери с семейством на родину; заставило задуматься над этими грустными результатами времени и создать «Нравы Растеряевой улицы» и «Разоренье». [4]

Дм. Васин, «Глеб Иванович Успенский (биографическая заметка)», «Русское богатство» 1894, № 6, стр. 59.

...[5] В Черниговской гимназии я кончил курс в 61 году (В 61 году я присутствовал на похоронах Н. А. Добролюбова. Речи говорили Чернышевский и Некрасов). 19 февраля[6] в соборе, где мощи Феодосия, служили благодарственный молебен об освобождении крестьян 19 февраля... Из Чернигова я уехал в Петербург. Произошли студенческие беспорядки — началось новое время... Я выехал в Москву и поступил на 2-й курс.[7] Здесь долго голодал. Отец мой разорился, семья была большая, но я получал 25 рублей.[8] Летом я поехал в Чернигов, и тогда дилижанс ходил от Москвы, через... до Чернигова. Ехал я, однако, в летнем пальто, а рядом сидела дерев[енская], баба прислон[илась] и пригрела меня. В Чернигове отец мой чувствовал себя плохо и очень жалел, что я плохо учился и истратил и заложил золотые часы, шубу. Он горько страдал. В дилижансе я выехал осенью опять в Москву и приехал в 62 году (осенью) и здесь тогда я стал писать в раз[ных] журналах («Зритель»), служил в типографии Каткова... Затем я перешел в типографию, где печатался «День».[9] Жил я у одной m-me, где были швеи. Один из рассказов касался этого времени. В конце 63 года я выехал в Петербург и, приехав туда, остановился у Я[кова] В[асильевича] Успенского. Был со мной рассказ «Старьевщик»,[10] который я отнес в «Б[иблиотеку] дл[я] [чтения]», издав[авшуюся] Боборыкиным.

В июле 64 года я получил известие о смерти отца. В то время жил у Н. В. и М. В.[11]

У меня знакомый ректор Петербургского университета Рождественский; одна из дочерей его была женой Андреевского, через него мне удалось выхлопотать в Мин[истерство] государственных и[муществ] на четыре года[12] по 400 рублей пенсию матери на обучение детей. Получив бумагу об этом, я возвратился опять в Чернигов, был на могиле отца. Семья жила в том же доме и в это время. Оставя деньги, я тогда опять возвратился в Петербург в дилижансе, который шел через Овруч. Польское дело продолжалось и в Овруче[13] я должен был испрашивать особого разрешения у исправника. У Яма стояли жандармы. Приехав в Петербург, поселился в доме, где жил во время студенческих беспорядков, а в 64 году помещалась редакция Благосветлова. Остановясь у В., я несколько времени пробыл у него и, печатаясь у Благосветлова,[14] переехал на Николаевскую, где и писал в «Русскую мысль».[15] Писал целый год. Летом опять был в Чернигове, взял мать, привез ее в Тулу, куда раньше приехали мои сестры, — Александра, Лизавета,

Маня[16] — всех их перевез приехавший в Чернигов брат моего отца Михаил Яковлевич.[17] Из Тулы я, прожив несколько дней, писал в «Искре» и затем выехал опять в Петербург, в «Русском слове». 65 г.[18] — прошел в писании, где придется. У кого часто я работал? У Генкеля, в «Неделе», в «Русском базаре» и друг. [В] 65 году я отдал Некрасову «Дер[евенский] дневник», — он рассердился[19]... Я уехал в Тулу, жил на Большой улице и писал здесь. 66 — покушение на государя.[20] Приехал в Петербург; застал Н[иколая] А[лексеевича] Некрасова в редакции, он собирал последние бумаги — «Современник» запрещен... Лето все провел... 66 года, появилось «Дело»,[21] я там написал один рассказ Н. В. У.[22] и поместил и 3 ч[асти] «Растеряевой улицы». В том же году открылся «Женский вестник».[23] Много там чего наврано.

«Из архива *Г. И. Успенского.* Отрывок из автобиографии», «Былое», 1907, № 10, стр. 60—61.

Когда я появился в Петербурге в 61 году, то было два резких явления — начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов, людей 40-х годов, людей старого воспитания. Я жил между теми и другими. Аполлон Григорьев, Аверкиев, Курочкин В[асилий], Якушкин, Левитов, Решетников, Помяловский, Кущевский, Демерт, С. И. Максимов (его спасло то, что он сделался редактором «Полицейских вед[омостей]» и получал 5000 рублей в год) и тьмы тем пьяных людей. Никуда нельзя было прийти, чтобы не натолкнуться на пьяные сцены. Я года два только и делал, что возил пьяных в белой горячке в больницы, выправлял из квартала, звонил к дворнику — «не ваш ли?» Хороших, руководящих личностей не было. В 61 году в ноябре я видел Добролюбова в 1 раз в гробу. В 63 году увезли Чернышевского в Сибирь.[24] Писарев до 67 года был невидим,[25] сидел в крепости. Некрасов писал стихи Муравьеву, Комиссарову. Салтыков был в Рязани начальником контрольной палаты. Мих[айловский] еще не показывался на свет литературы. Я готов был наложить на себя руки, но, получив как-то случайно 300 рублей, уехал за границу и прожил с женой и ребенком там целых два года. Тут я пришел в себя и несмотря на крайнюю бедность и нищету стал писать уже по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди которой я был, окончательно прервала связи с пьяным миром. Вот все это будет описано[26] подробно, без всякого злого умысла или бесцельного оплевания. Напротив, этот

пьяный гибельный период будет объяснен подробно. В течение этого времени крайняя нужда заставила якшаться бог знает с кем. Писал я в «Модном магазине»,[27] в «Новом русском базаре», в «Северном сиянии», в «Комиссионере»,[28] в «Народном чтении»[29] (по 2 рубля за рассказ), у того самого Кушнарева, где теперь печатают «Русскую мысль» и при виде которого случайно в Москве у Н[иколая] П[етровича] Орлова я весь содрогнулся до мозга костей. Писал я в «Пчеле» у Мик[ешина],[30] в каком-то издании Баумана,[31] в «Будильнике», «Искре» всяких ред[акций]. У меня тьма разных заметок в «Будильнике Москов[ском]»[32] — также был, когда заведующим Орлов Н[иколай] П[етрович] под псевдонимом. Кроме того осталось множество в «Русском слове», «Деле», «Луче» (сборнике)...[33]

Из письма *Г. И. Успенского* к В. А. Гольцеву[34], без даты (1888 г., декабрь), «Г. И. Успенский, Сочинения и письма в одном томе», под ред. В. В. Буша, Н. К. Пиксанова и Б. Г. Успенского, 1929—1930 гг., Л.—М., Госиздат, стр. 612—613.

Жаль до смерти сердечного,[35] он терпит крайние нужды во всем. Остался он на второй курс не потому, чтоб не мог выдержать экзамен, а потому, что надобно внести 50 рублей, а их нет, притом нет средств и содержать себя. Поэтому он пустился в маленькое авторство, напечатал несколько рассказов своего сочинения,[36] исполненных остроты и неподдельного юмора, и за эти сочинения получил несколько деньжонок, которыми, впрочем, не мог поправиться и уплатить долгов. Теперь он поступил в корректоры к Каткову, в редакцию «Московских ведомостей», за незначительное жалованье, но обещают ему дать больше. Что ж касается до его сочинений, то, читая их, я просто был в восхищении при всем моем болезненном состоянии. Он с первого же раза выказал талант, превышающий Николая Успенского. За всем тем, мне и всем нам жаль его смертельно, что он нуждается и не успел перейти на второй курс. Знаю, что если бы вы имели средства, то, конечно, не допустили б его до такого положения. Но что ж делать, когда ни вы, ни мы не в силах обеспечить его. Остается только предоставить его всеблагому провидению, которое, без сомнения, лучше нас знает, кого каким путем жизни вести. Школа нужд есть школа мудрости. Быть может, пройдя эту школу, Глебушка выйдет, как злато из горнила, с прекраснейшею

нравственностью и блестящим, возвышенным умом. Если вам нечем с ним поделиться, то по крайней мере пишите ему как можно чаще, утешайте и ободряйте его, чтобы он по крайней мере не унывал и возложил все свое упование на бога. Он сетует и печалится больше о том, что вы перестали и писать к нему, или пишете очень редко.

Из письма *Г. Ф. Соколова* родителям Глеба Успенского, Тула, 20 мая 1863 г. *В. Е. Чешихин,* «Г. И. Успенский (Биографический очерк)» стр. 42—43.

Целый ряд «начинающих» пришли в «Библиотеку».[37] Некоторые и начали именно у меня... С Левитовым попал в редакцию и Глеб Успенский. Его двоюродного брата Николая я помню тоже в редакционном кабинете; но сотрудником журнала он, кажется, не сделался.

«Глебушку» привели москвичи. Он еще ничего не печатал в Петербурге, и у меня появился первый его рассказ «Старьевщик», прежде чем он стал печатать у Некрасова.

Он не был уже тогда очень юн, но смотрел еще юношей. Я уже имел случай вспоминать о моем первом[38] знакомстве с этим милым человеком и даровитейшим писателем, который кончил так печально.

Тогда я его, после появления в редакции с рассказом «Старьевщик», что-то мало помню в Петербурге. Больше он у меня — если не ошибаюсь — не печатал ничего.[39]

П. Д. Боборыкин, «За полвека». «Голос минувшего», 1913. № 3, стр. 277—278.

Да, это — одна из самых милых теней наших литературных Елисейских полей!

«Глеб Иванович» или просто «Глебушка», как постоянно звали его за глаза и те, кто не был с ним приятельски близок.

Самое это имя «Глеб» (особенно в его ласкательной форме), как нельзя больше шло к нему, к его внешности, тону, манерам, разговору, ко всему его физическому и душевному складу...

Когда в 1863 году ко мне, молодому редактору старой «Библиотеки для чтения», два моих сотрудника (один был Левитов) привели своего приятеля, который еще ничего не печатал в Петербурге, и это был Глеб Иванович, то он показался мне необычайно юным, кротким, ясным, без всяких признаков того, что его ближайшее прошлое[40] имело в его глазах такую мрачную окраску.

Кто-то тут же, по его уходе, сказал, что он похож на «митрополичьего певчего, спавшего с голоса». Что-то в нем было тогда духовное (может быть, оттого, что род его был, действительно, духовного происхождения), хотя на бурсака он не смахивал, а скорее на бывшего гимназиста, но и чего-либо типично-студенческого в нем не замечалось.

Он принес мне рассказ «Старьевщик», и судьбе угодно было, чтобы редактор «Библиотеки для чтения» напечатал первую вещь Глеба Ивановича, появившуюся в Петербурге. В Москве он уже что-то печатал. Его приятели относились к нему очень сочувственно, хотя и без особенных восторгов, причисляя его к той группе тогдашних реалистов-бытовиков, где стояли писатели, уже добившиеся известности: его двоюродный брат Николай, Слепцов, Левитов. В Москве и в Петербурге он и попал в «левитовскую компанию», которая и тогда не была ему особенно по душе, но другой у него не нашлось, и ее нравы, повадки, беспорядочность, вечное безденежье, запойные кутежи и отчуждение от всего, что не жизнь профессиональной богемы-писателя, наложили печать и на склад его дальнейшей судьбы.

Тогда еще издавался «Современник», но, кажется, туда он сразу не попал, и его связь с радикальным лагерем, тогдашней журналистики закрепилось уже позднее — с перехода к Некрасову «Отечественных записок».

Этот небольшой рассказ «Старьевщик» написан уже наблюдателем жизни московского трущобного люда, тамошней мастеровщины и мелкой уличной торговли; но в нем еще нет усиленно-мрачных красок, и при всей беспощадности реального изображения слышится смех, всплывает шутка, выступает тот юморист, который в Успенском так часто предоставлял первенствующее место моралисту и обличителю с больною душой.

Когда мы с секретарем редакции держали корректуру этой вещицы, мы видели перед собой, как живую фигуру, уличного «носящего» пролетария, который у Воскресенских ворот гоняется за прохожими покупателями и выкрикивает без умолку:

— Анализ! Генеральская наука!

Это был подержанный экземпляр перевода аналитической химии Фрезениуса. И вся моя казанская и дерптская выучка студента химии вставала передо мной.

П. Д. Боборыкин, «Милая тень (из воспоминаний о Г. И. Успенском)», «Русское слово». 1908, № 129. от 5 июня.

Неоцененные мои! Дорогие мои! Папаша и мамаша!

На коленях прошу вашего прощения за мое свинское поведение в отношении к переписке: вы, думается мне, давно уже похоронили меня и знаю, сколько молчание это причинило вам тоски. Но я слава богу жив и здоров. Я теперь в Петербурге. А попал сюда я следующим образом. В Москве, как известно вам, я занимался корректурой и получал 25 руб. сер[ебром] в месяц. Сначала еще было свободное время, т[о] е[сть] утром часа 3 можно было провести в университете, но потом, когда начали печататься адрес-календари, росписи кварталов, чайные ярлыки и лечебники, когда работы было... (не разобрано) просто некогда было дохнуть. Мне оставалось одно, — или бросить типографию и ходить в университет, или с голоду околеть: потому что брось я типографию — я лишаюсь 25 рублей, единственного источника существования, но зато — университет, куда, конечно, по причине голодного брюха ходить не будешь. Загадка была очень сложная. Я сообразил так: если я буду постоянно корректором — стало быть, я постоянно не буду иметь возможности покончить с университетом? Незавидно. И вот я решился достать себе средства другие: теперь я надеюсь к августу иметь 30 руб[лей] сер[ебром], с которыми и надеюсь существовать год исключительно в университете, из которого я никогда не выходил, как полагаете вы, согласно письмам В. Глебыча. [41] Этот господин перессорил меня со всеми: называет меня атеистом, богоотступником и проч., а сам ниже... Ради бога, вы не тревожьтесь слухами, которые будет распускать он.

Меня здесь приняли в разных редакциях отлично. Прошу вас взять у Кранца № 12 «Библиотеки для чтения» (которую советую предложить в палате выписать вместо «Отечественных записок») и прочитайте там мой рассказ «Старьевщик» (из московской жизни). Я получил за него 50 руб[лей] и теперь, клянусь истинным богом, пришлю свой портрет.

Посмотрите также в этой книжке объявление и полюбуйтесь, что Гл. Успенский на ряду с И. С. Тургеневым. Мне даже самому смешно.

В № 1 «Русского слова» будет моя статья «Ночью» (из московской жизни).

Пишу в «Современник» историю Григория Яковлевича. [42]

С Николой видимся редко и сухо: ибо у нас происходят некоторые контры из-за авторства. Его теперь уже нигде не берут, ибо он ломит 200 руб[лей] за лист.

Христа ради, прошу сестер, братьев, всех писать ко мне почаще. Что мы заснули? Неужели же мы все замерли до бесчувствия?!

Ради господа, пишите мне, и еще раз простите, что невежественно поступаю насчет переписки. Я не поздравил вас даже с рождеством. Это потому случилось, что в это время я был в ужасном положении, не имея ни гроша, и притом был в сильных хлопотах насчет моих статей, но теперь, благодаря бога, дело это я уладил и теперь некогда выпустить из руки пера, так и хватают.

Тысячу раз целую вас, неоцененные мои! Искренно любящий сын ваш Глеб.

Адрес мой:

В С.-Петербург, на Вознесенском проспекте, в доме Моравиц, № 3, у г-на Коломенцева. Г. И. У...

PS. Нюню[45] прошу непременно взять книжку у Кранца, и кроме того поклониться М[арии] Н[иколаевне] Дуброво.

Папеньке дали из министерства 300 руб. сер. на воспитание детей.

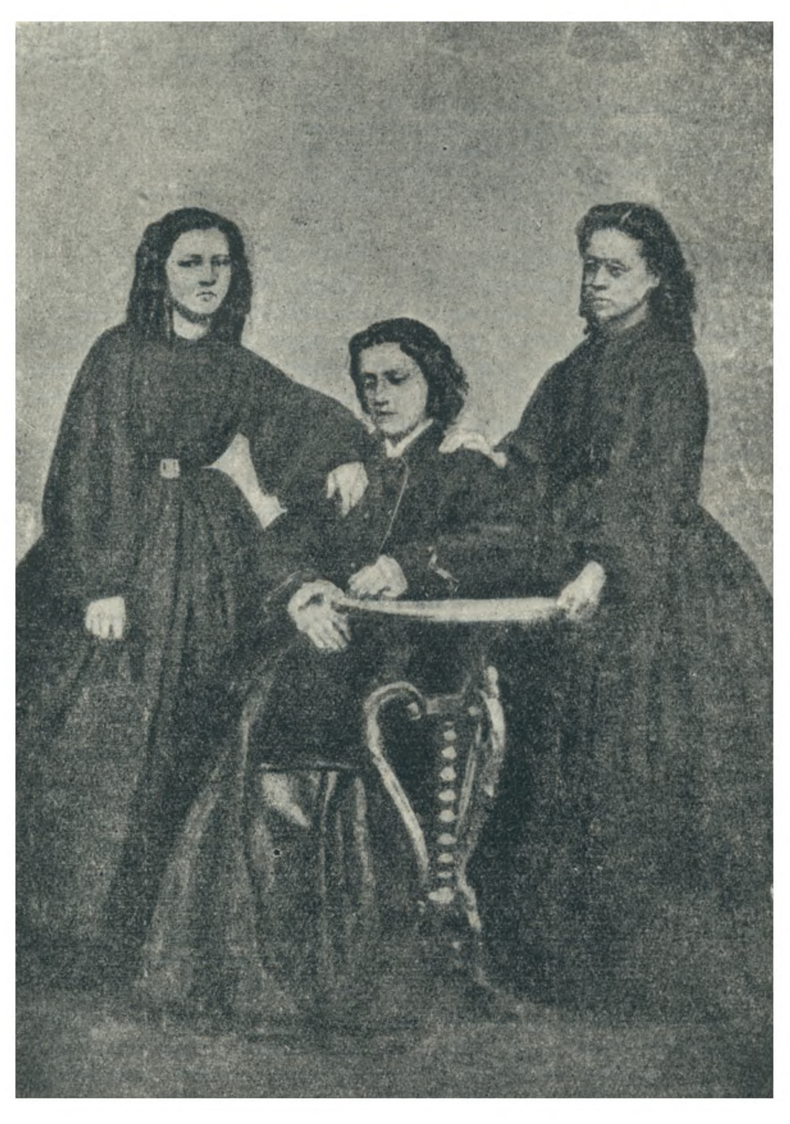
Письмо *Г. И. Успенского* родителям без даты (начало 1864 г.), «Русская мысль» 1911, № 6, стр. 66—67.

Некоторые детали о Г. Успенском передавал нам, из воспоминаний о шестидесятых годах, М[ихаил] И[льич] Петрункевич, Иван и Михаил Ильичи Петрункевичи поступили в Черниговскую гимназию в VI класс осенью 1861 года, тогда как весною этого года Г. И. уже окончил VII класс и уехал в Петербург. В 1864 году оба брата жили рядом с Г. И. в доме Штрауха на Большой Морской улице, в мансардах пятого этажа этого дома, выходивших в общий коридор. В это время часто посещали Г. И. Николай Васильевич Успенский, А[лександр] И[ванович] Левитов, Вороновы и иной мелкий литературный люд. Равнодушный ко всяким невзгодам, неизменно веселый и приветливый, Г. И. был постоянно жертвой бесцеремонности друзей, которая доходила до того, что один из этой компании как-то утащил у него и заложил меховое пальто: экстраординарный случай вызвал негодование и возмущение у соседей Г. И., и меньше всех раздосадован был сам хозяин, почувствовавший лишь огорчение и жалость к виновнику, который и после этого продолжал бывать у него и оставаться в приятелях. Нуждался Г. И. сильно как по своей бессребренности и нерасчетливости, так и потому, что Благосветлов,

редактор «Русского слова», и другие издатели его изрядно эксплоатировали. Благосветлов расплачивался по мелочам — рублей по пяти, десяти и — настолько настойчив бывал в требованиях от Г. И. того или иного очерка, что являлся даже ночью лично, так что Г. И. бегал от него. Чуть ли не с этого времени в ходу был классический анекдот о Г. И., не умевшем объяснить, куда он девал накануне полученную крупную сумму, и вспомнившем только, что купил фунт сыру.[45] Нет денег на папиросы, делается заем на них у дворника, а через несколько времени долг в несколько копеек уплачивается тремя рублями и т. п. В 1865 году М[ихаил] И[льич] живет с Г. И. в Зимином переулке вдвоем, и что это был за покладливый и невозмутимый сожитель, по словам М[ихаила] И[льича]. Молодежь много мешала заниматься, нужда и спешка в работе сильно трепали нервы, тем более, что писал Г. И. и тогда, как и впоследствии, почти исключительно под свежим впечатлением поразившей его встречи, разговора, наблюдений, очень часто по ночам. Иногда под говор приткнется где-нибудь у стола на уголке, подожмет под себя левую ногу и быстро-быстро пишет листок за листком мелким бисерным почерком, без поправок, пьет чай и неистово курит... В это время он находит время и для усердного чтения и, между прочим, буквально зачитывается Диккенсом, иногда в увлечении заставляя сожителя слушать целые страницы... В конце ноября 1865 года М[ихаил] И[льич] уехал из Петербурга, чем и прервалась их совместная жизнь.

Сообщение *М. И. Петрункевича* В. Е. Чешихину (В. Е. Чешихин, «Г. И. Успенский (Биографический очерк)», 1929, стр. 53—54.

Милостивый государь Яков Карлович! Глеб Иванович Успенский просит исходатайствовать ему пособие Лит[ературного] фонда. Не будучи в состоянии, по болезни, присутствовать сегодня в заседании Комитета, покорнейше прошу вас заявить Комитету просьбу г. Успенского. Г. Успенский уже однажды прибегал к Обществу и получил заимообразно 100 руб[лей] сер[ебром], которые возвратил в срок. Ныне он находится во временном затруднении вследствие недостатка сбыта для своих работ, и я, с своей стороны, с полной готовностью даю мой голос в пользу этого очень бедного, очень деликатного и очень даровитого писателя.



Александра, Елисавета и Анна Ивановны Успенские
сестры Г. И. Успенского.
С фотографии.
Гос. Литературный музей в Москве.

Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности. Н. Некрасов.

Письмо *Н. А. Некрасова* председателю Комитета литературного фонда Я. К. Гроту. Понедельник 9 января (1867 г.). *В. Евгеньев*, «К характеристике Гл. Ив. Успенского», «Русские записки», 1915, № 11, стр. 32.

В то время (1873—1876) я редактировал биографический и исторический отдел в дополнительных томах «Настольного Энциклопедического словаря» Толля, и мне приходилось собирать биографические материалы не только о прежних, но и о современных писателях. Поэтому при первой же встрече с Успенским у Курочкина я просил Гл. Ив. сообщить о себе и своей жизни необходимые подробности, просил его, чтобы он сам написал необходимые данные.

«Писать мне об этом самому затруднительно, а я лучше вам расскажу на словах кое-что о себе, а вы и запишите в памятную книжку, главное, то, что нужно, хотя, признаться, я прямо скажу, — не считаю себя таким уж важным литератором, чтобы про меня печатать в словарях».

Но эти его слова встретили возражения не только мои, но и присутствующих здесь писателей: братьев Курочкиных, Демерта и Минаева. Все единогласно уверяли Г. И., что он самый оригинальный из тогдашних молодых беллетристов, посвятивших себя изображению народной жизни. От природы крайне скромный, Г. И. конфузился и возражал против такой оценки, но мало-по-малу, как говорится, «разошелся» и с неподражаемым юмором рассказывал мне, как он был корректором в «Московских ведомостях» («не Каткова — сохрани господи! — а Корша».[46] — добавил он), и каким неудачным корректором он оказался: ему отказали за то, что он пропустил одну весьма курьезную, но совершенно неприличную опечатку. О детстве своем он ничего не сообщил, сказав мимоходом, что оно было невеселое и что единственной его отрадой в детские и юношеские годы было только одно — чтение книг. По его словам, он рано почувствовал стремление к литературным занятиям. Находясь в старших классах Черниговской гимназии, он уже составлял с товарищами особый литературный журнал, а впоследствии давал темы для первых рассказов (в «Современнике» 1858—1860) своему двоюродному брату, Ник[олаю] Вас[ильевичу] Успенскому, и даже вставлял в эти рассказы целые диалоги и страницы. Рассказывал Г. И. о том, как

он бедствовал и перебивался литературным трудом сперва в Москве, затем в Петербурге, и как его эксплоатировали редакторы и издатели, разные Калошины, Благосветловы, Печаткины и др[угие]. (Первая отдельно изданная книга его — «Очерки и рассказы» — вышла в 1866 году, Спб). Это главным образом, как мне кажется, зависело от того, что он был крайне непрактичен и по робости и скромности всегда соглашался на те условия, которые назначали ему издатели, дававшие ему гроши и наживавшие рубли. Сам же Г. И. относился к этому крайне благодушно и незлобливо.

— Ну и обделал же меня Карбасников! Ловко, можно сказать, под орех обделал! — добродушно сам смеялся Г. И., показывая раз только-что вышедший сборник его рассказов под заглавием «Глушь: провинциальные и столичные очерки» (сентябрь 1875 г.).

Д. П. Сильчевский, «Из воспоминаний о Г. И Успенском», «Новости и Биржевая газета» 1902, № 84, 26 марта (8 апреля).

Милая и неоцененная моя мамочка. Только сейчас получил ваше дорогое письмецо и ничего еще сделать не мог, но без всякого сомнения расстараюсь как только можно.[47] А лучше всего я бы советовал вам съездить в Жеведь (и непременно в Жеведь, а не дожидаться Владимировой в Чернигове), чтобы она еще раз написала сыну и попросила бы его помочь, так как вот из министерства пишут то-то и то-то. Мне же представился случай познакомиться с чиновником Министерства внутренних дел, и ежели он будет иметь возможность познакомить меня с каким-нибудь чиновником Медицинского департамента, то я, если будет нужда, посулю ему часть из пенсии (за 1-й год), лишь бы уладил...

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Петербург 1864 г. «Русская мысль», 1911, № 7, стр. 1.

Владимиров мне сказал, что удивляется, отчего из Чернигова не прислано другое свидетельство. Нужно его непременно. Тут нужно, чтобы в свидетельстве значилось, что Успенский в бытность хоть в Крыму осенью получил такую-то или такую болезнь, которая развивалась и свела его в гроб. Если будет прислано это свидетельство, то тогда и будем хлопотать — все дело от Медицинского департамента, а не от Министерства государственных имуществ. Нужно свидетельство пока и только...

...я не понимаю, как можно объяснить мою недеятельность нелюбовью к Михаилу Яковлевичу.[48] Да разве я его не люблю? Сойтись мы коротко, по всем вероятностям, не сойдемся — ему 36 лет, мне 21 — разница! У нас и потребности, и интересы разные — об этом толковать нечего, — мне нужно его уважать по некоторым обстоятельствам, и разве я высказал что-нибудь противное? С его стороны тоже необходимо оставить меня в покое и по возможности позабыть, что есть на свете Глеб Успенский. Если этот Успенский мешает кому, то он покорнейше просит сделать то же, т[о] е[сть] забыть и жить в мире. Мои несчастия слишком велики: одно уже неумение жить причинит мне и причиняет бездну бед. Бог знает, кто победит? Ну, довольно об этом!..

...Живу я очень не дурно. Получаю деньги в таком размере, что если б я жил с сестрами, то у меня бы осталось, а так как я живу один, то никогда ни копейки. Я ни кучу, ни мотаю, а неизвестно куда деваю деньги. С сентября я получил 465 р[ублей], теперь в кармане 3 р[убля] 20 к[опеек]. Из этих денег сшито платье (2 пары) и только.

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Петербург 28 декабря (1864 г.), там же, стр. 1—2.

Посылаю вам свою рожу. Похож ли? Эти портреты с меня сняли по приглашению, и они продаются на Морской, вместе с другими литер[аторами]. Вот как у нас!

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Петербург (1864 г.), там же, стр. 6.

Неоцененная моя мама Надежда Глебовна

Приступаю к открытию моих прегрешений:

1) Я писал, вышлю 25 р[ублей] и не выслал.

Именно вот почему. Я думаю, Никола сообщал вам, что я нездоров? Если не сообщ[ил], то я скажу, что вслед за письмом я так заболел, что мне были принуждены делать операцию в одном опасном месте, и делали его [ее] вследствие неудачи т р и р а з а. Это было при Никол[ае] В[асильевиче]. Поэтому я не только проштрафился в деньгах, но и не хотел беспокоить вас худым известием. Довольно здоровая рана существует у меня и теперь, но я совершенно здоров и работаю.

2) По болезни я решит[ельно] не мог хлопотать у Владимирова.[49] Клянусь богом! Поэтому лучше всего, если вы напишете ему письмо.

Посылаю вам неб[ольшую] лепт[у]

Много через 3 недели я явлюсь в Туле. Пожалуйста, напишите мне что-нибудь...

Сестриц и братцев! Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* матери, Петербург 15 февраля, без указания года (1865 г.?), там же, стр. 2—3.

Помню, например, что иногда Г. И. заставлял всю семью и вообще присутствовавших хохотать, как говорится, до упаду, рассказывая какой-нибудь приключившийся с ним казус, или прочитывая выдержки из своих сочинений, или представляя, например, как купец пьет чай с блюдечка «с угрызением», держа его на пяти пальцах, отдувая пар и в промежутках между глотками чаю изрекая какие-либо философские умозаключения... Один раз Г. И. так же неподражаемо комично изображал крапивенского дьячка, который непременно хотел говорить басом, имея от природы чуть ли не дискант. Дьячок постоянно сбивался, начинал речь натуральным голосом и вдруг, спохватившись, переходил в бас, что особенно вышло смешно, когда он забрался под мельничное колесо, в вырывавшуюся из-под колеса водяную пену, и на вопрос, зачем он там купается, ответил: «А потому, что здесь (это было сказано почти писклывым голосом) вода перетертая» — тут уже грубым басом, с надутыми от напряжения жилами на шее... Много таких рассказов, комических фигур и положений излагал и изображал Г. И., и долго они жили в памяти, вызывая пересказы, подражания и смех. Однажды Г. И. рассказывал «историю по пьяному делу». Дело было в купальне. Началось с того, что кто-то из компании засматривал в женскую купальню, и все вообще школьничали, будучи навеселе. В конце концов послышались угрозы, кто-то кого-то стращал и усовещивал, а там уже раздались звуки, напоминающие «прикосновение» мокрой простыни или полотенца к мокрым частям тела и т. п. Все это рассказывал Г. И. так, как будто он слышит только фразы, звуки, но не видит происходящего. Между тем, картина представлялась такой яркой и комичной, что и сейчас при воспоминании вызывает смех... Не ручаюсь за то, что этот смех был всегда у места; весьма вероятно, что мы, в особенности дети, не всегда могли, может быть, в его веселых рассказах подметить невидимые слезы. А может быть, и так, что Г. И. именно был расположен тогда посмешить... Впрочем, помню один рассказ, который хотя и был смешон, но рядом с этим

вызывал и что-то грустное. Г. И. рассказывал про свой визит к какому-то почтовому чиновнику. Чиновник усадил гостя за чайный стол, под которым что-то копошилось, и потом, разговаривая с гостем, стал по очереди вытаскивать из-под стола свое многочисленное потомство, рассаживая его по стульям вокруг стола. Все это Г. И. проделывал в лицах, при чем получалась такая картина, что изловить потомка было не так-то легко: чиновник некоторое время шарил под столом руками, потом что-то быстро хватал, не без усилия удерживал и наконец, кончая фразу или слово в непрерывающемся разговоре с гостем, победоносно вытаскивал и усаживал потомка на очередное стуло. Все это делалось как-то машинально, бесстрастно, как нечто вполне обычное, но было так необычно и оригинально, и так рельефно оттенялось равнодушным отношением к своей работе самого чиновника, что невозможно было не хохотать, а вместе с тем и не жалеть этого чиновника с его сноровкой, с его каким-то отупелым ошалением, с которым он делал это привычное ему и, видимо, выработанное долгой практикой обращения с своим потомством.

Из письма *П. К. Кузьмина* В. Е. Чешихину (*В. Чешихин,* «Г. И. Успенский (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 55—58.

Милая и неоцененная моя мама! Как мне просить у вас прощения за проступки и обманы мои? Я могу сказать только одно, что обещания мои приехать в Тулу и неисполнение их зависели не от меня. Нужно заработать денег на поездку. Нужно заработать денег на то, чтобы прожить в Петербурге с месяц, занимаясь только приготовлением к экзаменам, [50] а этого при настоящем бедственном положении литературы [51] достигнуть вдруг нельзя. Но могу вас уверить, что в учителя поступлю непременно и приготовлюсь к экзамену, как только найдется хоть одна свободная минутка.

Из письма *Г. И. Успенского* матери (1866 г.) «Русская мысль» 1911, № 7, стр. 3.

(Место герба).

Копия с копии

Свидетельство.

Предъявитель сего, бывший студент Санктпетербургского университета Глеб Успенский, по предложению г. попечи-

теля Санктпетербургского учебного округа от 23 мая 1867 года за № 1991, подвергался в Императорском санктпетербургском университете, на основании Св. зак. (изд. 1857 г.) п. III уст. о служб. по опред. от. Прав. п. 6, приложение к ст. 353, частному специальному испытанию на звание учителя русского языка в уездных училищах и по оказанным им хорошим познаниям в этом предмете Испытательным комитетом признан достойным означенного звания. В удостоверение чего и выдано ему, Успенскому, от Императорского санктпетербургского университета это свидетельство за надлежащим подписанием и приложением университетской печати.

Санктпетербург мая 31 дня 1867 года. Ректор Императорского С.-Петербургского университета, доктор философии, заслуженный и ординарный профессор тайный советник и разных орденов кавалер *Ал. Воскресенский.*

Секретарь совета *С. Загибенин.*

Печать
№ 737.

Печатается с копии (снятой 25 июля 1893 г.), хранящейся в Государственном литературном музее в Москве (папка 1255/5).

Желая перевести разговор на другие рельсы, я стала упрашивать Г. И., чтобы он рассказал что-нибудь о себе.

— Ну, вот, расскажите нам, где вы начали писать? Мне давно хотелось расспросить вас об этом.

— Извольте, с удовольствием! В первый раз я поместил несколько рассказов в «Ясной Поляне» Толстого. Был корректором в газете «День». Потом получил от Некрасова письмо, в котором он предлагал мне участвовать в «Современнике».[52] А тут вдруг разразилась каракозовская история, все журналы прикрыли... Жить было нечем. Я поступил в учителя в Тульскую губернию, в один из уездных городов. Училище помещалось на такой улице, которая вся была занесена сугробами. Мы все там пили — и дьячок, и я, и смотритель... Они потом так все и померли от пьянства... Так я прожил четыре месяца. Мне страсть как надоело! Я и сказался, что еду ненадолго в Тулу. Приехала за мной тройка. На улице такие были сугробы, что тройка подъехать не могла, — лошади-то цугом шли. Наконец сел я и поехал. А лошади как закрутят, как закрутят, да опять к дому и подвезли... Страсть, какие были сугробы!.. Наконец, уехал... И, разумеется, не вернулся. Плохо в это время жилось, ужасно плохо... Отец умер. Вызвали меня к матушке.

ОЧЕРКИ

и

РАЗСКАЗЫ

Г. И. УСПЕНСКАГО.



ПЕТЕРБУРГЪ, 1866

Титульный лист первого издания „Очерков и рассказов"

Семья большая. Я самый старший, а там еще три брата, — младший еще совсем крошечный был. Вот только теперь он экзамен выдержал и должен быть в Боровичах... Также четыре сестры... Писать приходилось в «Слово»...[53] Благовещенский совсем не платил. Он мне за один рассказ *пять рублей* дал, ей-богу! Всего только *пять рублей!* «У самого, — говорит, — только 13 р[ублей] 60 к[опеек]». А девать-то повести было некуда... Ну, а тут Некрасов «Отечественные записки» вздумал издавать. Он пишет, приглашает.

— А что Некрасов, как издатель, хорошо платил? — прервала я его.

— Он платил хорошо, но ужасно безалаберно, в нем был еще старый помещик: вдруг придет фантазия и начнет валить деньги, так, ни с того, ни с сего, и это было нехорошо. У Салтыкова гораздо лучше. Он охотнее уплачивает плату, сам увеличивает, но выдает деньги только в известное время, — не любит вперед давать.

Е. С. Некрасова [54]

... Кроме квартиры, чаю, сахару, табаку, мне нужно купить калоши глубочайшие — ибо грязь здесь такая, о какой мы, я и все вы, не имеем никакого понятия! — да теплую шапку. Еще немного погодя нужно будет купить барашковый воротник — холода начинаются...

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Епифань (осень 1867 г.), «Русская мысль», 1911, № 7 стр. 3.

С ним [Гл. И. Успенским] избегали знакомиться, — рассказывал недавно отец Дмитрий (Мерцалов), — боялись его, как чумы, при встрече кидались в разные стороны: «опишет»...

... С городской интеллигенцией он не знался, — рассказывал о нем его бывший ученик (ныне епифанский городской голова) Ксенофонт Оводов. — Интеллигенты его не полюбили. Им было неприятно чувствовать среди себя такого человека, который наотрез отказался входить с ними в приятельские отношения, пить в их компании водку, играть в карты и сплетничать, и в то же время их наблюдал, изучал для своих произведений. Глеб Иванович больше всего вертелся в базарные дни среди приезжего народа и вел с ним разговоры. Жил он по нашей улице у Понамарева, ходил в коричневом лохматом пиджаке и жокейском

картузе. Кое-кого и из наших торговцев описал-с. Не признавал грамматики, а вместо нее предлагал нам описывать свои ежедневные впечатления и домашние занятия...

И. Пархоменко, «Глеб Успенский — учитель» [55], «Биржевые ведомости», 1903, № 362 от 24 июля.

Верьте же Христа ради, что не было ни одного дня, чтобы я не старался для него. [56] Я только что начал службу, [57] которая во сто раз труднее учительской, но от нее я могу в самом скором времени получить хороший ход, [58] я не могу забыть моих обещаний, потому что ради их бросил и учительство, и Петербург... Ей-богу, мне странны и в высокой степени мучительны эти понуканья; ведь не бесчувственная же я скотина, ведь не могу же я равнодушно слышать, когда мне пишут в самых раздирающих выражениях, что вы постоянно плачете, — я работать не могу после этого до тех пор, пока не узнаю правды.

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Москва (начало 1868 г.), «Русская мысль», 1911, № 7, стр. 4.

Я отлучился из Москвы в Петербург потому собственно, что необходимо заблаговременно озаботиться об уплате денег за Сашу в августе. [59] В Москве этого сделать нельзя, потому что там только подстать жить одному, а печатать негде. Так как в настоящее время мне почти ежемесячно нужно более ста рублей, то в Петербурге жить неизбежно.

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Петербург (1868 г.), там же, стр. 4.

Средств никаких не было, и тут все родные, родственники со всех сторон, стали нападать на него и постоянно уговаривали его поступить на службу, хотя мама убедительно просила оставить Глеба в покое, что, если бы нужно было, она сама могла бы от себя ему об этом говорить. Он сам все это отлично понимал. Мама его всегда просила, чтобы он так не сокрушался, берег бы себя. Он придумал наконец поступить в учителя; кажется, что три месяца он прослужил там, потом еще куда-то поступал... Ну, не мог он служить, а между тем измучится до бог знает чего! Наконец мы уговорили его бросить это все и не волноваться. Нам было его жаль, он такой любящий, деликатный, сердечный... Ведь мы же понимали его отлично! А ему родные напишут жалостное письмо, он и помчится... И

всегда-то Глебушка преувеличивал свои вины, мама от таких писем всегда чуть не плакала: такую на себя напишет неправду, просто, бывало, беда!

После смерти отца мы разбрелись по свету кто куда. Я поступила в школу в Крапивну, где мы и жили 17 лет. Вот тут-то Глебушка и навещал нас и иной раз подолгу оставался гостить, большею частью на каникулы. Много он тут работал. Приезжал раз с Григорьевым (Прокопий Васильевич), а то гостил с А[лександром] И[вановичем] Левитовым. Для нас всегда был праздником приезд Глеба, и сам он, бывало, отдохнет, развеселится... Школу и описал Глеб тут же на месте,[60] хотя он и сгустил немного краски, а в общем было тяжело...

Никогда не устану говорить о Глебе. Он, бедный, видел много горя, много нужды... До самой смерти он не знал ни счетов, ни расчетов. Всегда-то он хлопотал обо всех, только о себе никогда не думал. Чудак был, случалось так, что пишет — получил столько-то денег и не знаю, куда девались, пришлите пачку табаку. Это из Крапивны-то в Петербург! Он мне писал, что едет в Петербург, и адрес прислал. Через день мы получаем письмо из Тулы, где он пишет, что женился. Никогда не знаешь, где он.

Из сообщений *Елизаветы Ивановны Марченко,* В. Е. Чешихин (*В. Е. Чешихин* «Г. И. Успенский. Биографический очерк», М. 1929, стр. 65).

В «Якоре»[61] Шульгина несколько раз встречал я Глеба Ивановича Успенского. В то время он уже сотрудничая в благосветловском «Русском слове» и в «Современнике», пользовался известностью, и, волей неволей, сделался виновником помрачения славы своего двоюродного брата, Николая Васильевича Успенского. Глеб Иванович имел заработок неплохой, но постоянно был без денег и в такие мелкие издания как «Якорь», где он появлялся под псевдонимами,[62] шел исключительно для того, чтобы перехватить какую-нибудь мелочь при расстройстве финансов.

Он был тогда молод и красив, но еще моложе и красивее в смысле свежести я помню его в те дни, когда он скромно и неуверенно приносил маленькие очерки в журнальчик «Зритель», издававшийся в Москве, куда меня занесла случайность... Издавал его фельетонист Калошин, писавший под псевдонимом «Не я» бойкие обозрения московской жизни в «Развлечении»[63]... Гусар или улан, прокутивший состояние, Сергей Павлович Калошин пользовался

репутацией гурмана и бонвивана... Он имел обширные литературные знакомства и умел привлечь к участию в «Зрителе» целый ряд талантливых писателей... Раз мне удалось застать его одного в редакции «Зрителя». Он весь сосредоточился на чтении какой-то рукописи, как живо помню, довольно неряшливо написанной. Я сидел и ждал, пока он дочитывал листки рукописи.

— Какая прекрасная вещь!.. Какая бездна наблюдательности, уменья схватить на лету явление или образ, и какие художественные штрихи разбросаны всюду, даже там, где чувствуется небрежность письма, работа наскоро! Хотите познакомлю вас с новым талантом?.. Хотите, прочту? Это очень маленький очерк.

И он прочел очень хорошо. Это был «Гость» [64] — очерк Глеба Успенского. После чтения Калошин еще довольно долго говорил с восторгом об этой вещице...

— Помяните мое слово, — сказал он мне на прощанье, — этот писатель не пропадет, скоро выдвинется и, как мне кажется, будет знаменитостью... Помяните мое слово...

Калошин был, таким образом, первым провозвестником будущей славы Успенского.

Я встречался с Глебом Ивановичем потом в «Русском слове», где Благосветлов «прилагал свою руку» к некоторым его вещам, тем в особенности, где Успенский выводил типы из народа, рисовал явления из жизни деревни. Но Григорий Евлампиевич все-таки не портил их так, как портили его друзья, с Михайловским во главе [65]...

... Процесс литературного творчества Успенского, по свидетельству одного из близко знавших его людей, осложнялся невозможностью, в силу внешних условий, выразить свои идеи, так ярко создать такую широкую живую картину, как это подсказывала ему его душевная потребность. Он не мог свободно развернуть творческую силу своего таланта, он должен был втискивать свою картину в тесную рамку, затушевывать яркие краски, умерять лирические порывы, он должен был искалечивать свое собственное детище. Трудно, не будучи писателем, представить всю муку, всю горечь такой литературной работы. А Г. И. Успенскому приходилось именно так работать. С горечью показывал он этому своему приятелю корректурные листы, на которых были редакторские указания, что надо уничтожить или переделать.

Успенский был невероятно добрый человек, добрый до безалаберности; душа у него была открытая, всепрощающая



Е. И. Успенская, младшая из сестер Г. И. Успенского.
С фотографии.
Гос. литературный музей в Москве.

мягкая и органически связывалась с творчеством писателя, который своей светлой личностью отразился весь целиком в своих произведениях...

П. В. Быков, «Силуэты далекого прошлого», Зиф, М. 1930, стр. 171 и 175, также «Биржевые ведомости» 1902, № 83, «Г. И. Успенский».

Из своих родственников, населявших г. Тулу, Глеб Иванович с особым расположением относился к своей тетке по матери, Елизавете Глебовне, и к ее мужу, Константину Николаевичу К[узьмину], который в то время служил приставом, потом помощником исправника в Туле и затем исправником в уезде.

Проезжая через Тулу, Гл. Ив. почти всегда останавливался у К[узьмина], при чем очень часто начинал свое приветствие словами: «Елизавета Глебовна, вышлите, пожалуйста, извозчику столько-то копеек».

Вскоре после того, получив деньги из редакции, Гл. Ив. проявлял невероятную расточительность, вполне объясняющую причину, почему он так часто не мог даже рассчитаться с извозчиком.

Просыпаясь утром, он, полулежа, долго оставался в постели, по обыкновению выкуривая папиросу за папиросой. В это время ему подавался стакан чая. Отпив глотка дватри, Гл. Ив. погружался в раздумье и, забывая о недопитом стакане чая, забрасывал его окурками, нередко наполняя стакан до краев.

Наконец, собираясь вставать, он как-то особенно мягко, ласково и даже вкрадчиво обращался к прислуживавшей ему, старой служанке: — «Устинья, подайте мне, пожалуйста, сапоги». Устинья переносила сапоги от двери к постели, и Гл. Ив. торопливо совал ей 20-30 копеек из кучи мелочи, тоже по обыкновению рассыпанной по столу, когда Гл. Ив. был при деньгах.

К[онстантин] Н[иколаевич] К[узьмин] всячески способствовал Гл. Ив. изучать русскую действительность, — особенно, когда служил в уездной полиции.

Гл. Ив. ездил с К[онстантином] Н[иколаевичем] по уезду, участвовал в облавах на разбойников, скрывавшихся «во речках», и пр. При этом Гл. Ив. иногда собирал мужиков где-нибудь за околицей или на опушке леса, угощал их пивом, и сам угощался, и тут, пользуясь развязавшимися языками и распахнувшимися мужицкими душами, записывал их речи и разговоры, добывал себе рассказчиков, прямо заявляя, что это ему нужно как «писателю», что,

повидимому, нисколько не мешало откровенности его компаньонов. Я сам был свидетелем только одной такой деловой пирушки недалеко от г. Тулы.

Гл. Ив. пользовался также канцелярскими и архивными сведениями, какие только мог представить ему К[онстантин] Н[иколаевич] по своему положению.

Иногда К[онстантин] Н[иколаевич] и сам составлял статьи и заметки, или, как он выражался, «докажучки», и передавал их Гл. Ив. для помещения в печати, или — как материал для статей Гл. Ивановича.

Вот одно из писем Гл. Ив. к К[онстантину] Н[иколаеви]чу по этому поводу:

Дорогой Константин Николаевич! Пишу вам второпях на клочке бумаги. На-днях буду писать подробно. Горе в том, что банковые крахи решительно по всей России. Это эпидемия для всей России с одинаковыми признаками. Теперь это дело уже суда, а не печати. Вот почему в газетах только слегка упоминается о том, что там или там крах. 20 строк совершенно достаточно для того, чтобы известить читателя о новом воровстве, процесс этого воровства всем известен и обратил внимание даже нашего правительства. Но ваша корреспонденция, может быть, найдет приют в некоторой переделке. Сколько можно будет вам выслать денег — а сколько-нибудь вышлется непременно, — я уведомлю вас на этой неделе.

Всех вас искренно люблю, помню и чту. Ваш Г. Успенский. Петербург, Пушкинская, Пале-Рояль, № 51.

П. К. К[узьмин] «Из воспоминаний о Глебе Ивановиче Успенском его двоюродного брата» «Киевская мысль» 1909, № 329, от 29 ноября

...Вот я сижу с вами в кафе, — говорил Глеб Иванович, — и невольно вспоминаю «Серапинскую гостиницу» на Забалканском проспекте в Петербурге. Там я жил в 60-х годах... Теперь знаю вас, Клеменца, Кравчинского, Лопатина, Кружкова... А тогда какой народ ко мне ходил! Семен Семенович, Иван Иванович и Аристарх Кузьмич — люди без фамилий и все «страдальцы за идею»... За какую? Так и не узнал... Придет, бывало, какой-нибудь Григорий Григорьевич, задаст вопрос: «Ну что новенького?» — слушает и молчит. «А у вас?» — спросишь его. Махнет рукой и скажет: «Дайте-ка папироску!» Нудно с ними. «Мне надо итти», — говорю. «Идите, я посижу, хотел зайти сюда Василий»... Вернешься домой вечером, спросишь коридорного: «Был кто-нибудь»? — «Как же-с! Семен Семенович

были, заказывали отбивную котлету, скушали и ушли... Аристарх Кузьмич с Иваном Ивановичем заходили, по бифштексу спросили с картофелем и по стакану чаю... Вот счетик-с?»

— Но кто же это к вам ходил? — изумился я.

— А бог их знает — кто. «Люди преобразовательной эпохи» — как выразился один... Бывало, выдвинешь ящик комода, взять носовой платок: лежат два грязных, а чистого нет... По-братски жили... Один «преобразователь» просил найти ему работу — переписку. Достал. Принес домой... Целая сходка, и все лежат... Один на диване, двое на кровати, четвертый на полу растянулся, на ковре.

«А что, господа, Семен Семенович не заходил?» — спрашиваю. «А вон под диваном, — указал пальцем лежащий на ковре. — Назюзюкался».

— И долго одолевали вас такие раритеты?

— С годик времени будет... Надо бы мне бросить гостиницу, перекочевать в безбуфетное пространство, да все денег не хватало рассчитаться за номер и по счетам гостей... Так и тянул из месяца в месяц...

Глеб Иванович сделал несколько глотков из моего стакана с вином и продолжал:

— Зато раз была встреча: одна стоит многих!.. Познакомился я с саратовским помещиком Павлом [66] Васильевичем Григорьевым... До сих пор дружу с ним... Вероятно, в «Библиотеке русской и иностранной беллетристики» вы читали статью П. Григорьева о стихотворениях. Н. А. Некрасова — автор-то и есть мой искуситель... Пока вы вели пропаганду среди крестьян, Павел Васильевич носился с идеей «о самозванце». «Вернейшее средство, — говорил он, — организовать крестьян: — «Константином» [67] я вам половину России подпалю».

А. И. Иванчин-Писарев,

Всего оригинальнее было выступление Глеба Ивановича в роли «самозванца». Как известно, среди сторонников разных течений революционной мысли начала 70-х годов совершенно особую позицию занимали единичные личности, мечтавшие организовать бунт на почве слепой «веры в царя». Судебная хроника отметила активное участие Я[кова] В[асильевича] Стефановича и Л[ьва] Дейча в чигиринском деле, где фигурировала «золотая грамота», приглашавшая от имени царя отбирать у панов землю и, в случае сопротивления, расправляться с ними «своими средствами». Задолго до этого дела сторонником еще более замысловатого плана был саратовский гражданин из дворян,

Г[ригорьев]. [68] Если Стефанович строил свою политику на недомыслии крестьян относительно Александра II, связавшего свое имя с уничтожением крепостного права, то Г[ригорьев] исходил из предположения, что при крестьянском невежестве достаточно имени мифического «Константина», чтобы организовать бунт. В саратовских кружках молодежи этот взгляд не встречал сочувствия и при оценке Г[ригорьева] отмечался как курьез в его миросозерцании вообще оригинального человека. Говорили о его редкой способности к пропаганде среди крестьян при умении владеть в совершенстве простонародным языком, говорили о большой склонности к литературе, вероятно, находившей приложение в то время в составлении каких-либо прокламаций, но никогда не упоминали, чтобы он пытался претворить в дело свою идею. Несомненно, и сам он, вращаясь среди крестьян, не пускал в ход своего «самозванца».

Но вот судьба столкнула Г[ригорьева] с Успенским. Как часто бывало в сношениях этого большого человека с людьми, искавшими общения с ним, последние до такой степени очаровывались его умом, проницательностью и обаятельными свойствами его характера, что чувствовали потребность не только говорить с ним совершенно откровенно, но и проверять правильность своих взглядов освещением предмета с точки зрения любимого писателя. Неудивительно поэтому, что и Г[ригорьев] договорился с Глебом Ивановичем до своей теории «самозванца».

Отсутствие у Глеба Ивановича предвзятых взглядов на явления русской жизни, где самому ему приходилось встречать не мало «загадок» и несообразностей, всегда располагало его к наблюдению, к проверке. Надо еще заметить, что в те годы в его характере сказывался временами какой-то игривый задор, толкавший его в сторону поступков, казавшихся в другое время немыслимыми в связи с его обычной сдержанностью... И вот в голове Успенского мелькнула мысль: «А если попробовать «Константина»?

Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях, со всеми оттенками его остроумия, — немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о выразительной мимике и жестах, не поддается воспроизведению. Я мог дать лишь жалкий скелет его рассказа, предоставляя тем, кто помнит Успенского, представить, в какую художественную форму отливался, в его личной передаче, этот любопытный эпизод.

Дело происходило зимой, кажется, в Тульской губернии.

— Мы решили попробовать, — рассказывал Глеб Иванович. — Ну-ка, давайте, говорю, пустим в ход Константина!.. Распределили роли. «Константин будете вы, — говорит Г[ригорьев], — а я в роде как его молочный брат, мамкин сын». — Достал он мне тулуп, крытый черным сукном, чтобы его высочество не замерзло в дороге в своем пальтишке на сторожковом меху, а себе — короткий полушубок по колено и треух на голову... Вы видали Г[ригорьева]?.. Нет... Нельзя сказать про него: «Одно из славных русских лиц»... А в этом костюмчике с своим кривым глазом вышел... истинный мамкин сын!..

Раздобыли лошаденку с дровнями и поехали... Я лежу в санях, закрывшись из скромности воротником, а мамкин сын на облучке, в валенках...

Лошаденка дрянная, не царского завода... Был воскресный день... Вот приезжаем в первую деревню, мой лейб-кучер приворотил к кабаку. Я лежу, закрылся плотнее, а мамкин сын пошел в кабак... Что там говорил, что делал — не знаю, только выходит из кабака в сопровождении двух-трех мужиков и несет бутылку водки со стаканчиком... Снял шапку: «Отведайте, — говорит, — ваше высочество». Меня так и обдало жаром... Ведь не скоро привыкнешь к такому титулу!.. Я взял стакан, стараясь по возможности скрыть свое царское обличье... А мамкин сын, вижу, подмигивает мужикам; поднял руку и произнес загадочно: «Будет что будет! Недолго уже жить!..» Он почтительно взял у меня пустой стакан, ушел в кабак; за ним — мужики... Прескверное, скажу вам, положение: быть высочеством и лежать в дровнях в ожидании своего кучера!.. Угостивши верноподданных остатками водки, мамкин сын вернулся наконец; вскочил на облучок, а на крыльце кабака — уже с пяток мужиков... «Помалчивай, ребята! Знай: будет ваша!» — крикнул он и с этими словами стегнул лошаденку...

Так мы проехали еще две-три деревни. Г[ригорьев] был великолепен! Какая выдержка! Какое уменье плести что-то несуразное, загадочное!.. Кажется, вот несусветная чепуха, а суеверные умы что-то улавливают, в простых сердцах загорается надежда... Меня охватила даже оторопь, взмолился: «Разжалуйте, — говорю, — в простые смертные»... Заночевали где-то уже попросту. Наутро двинулись в обратный путь... — Вот посмотрите, что сегодня выйдет! — сказал Г[ригорьев — я предупредил, что поедем назад.

В этот раз уже не заворачивали к кабакам... И вдруг, представьте, у одной околицы — целая толпа!.. встре-

чают с хлебом-солью!.. Я закутался поплотнее. Вижу: поснимали шапки, опускаются на колени... Г[ригорьев] остановил лошадь — толпа хлынула к саням. «Рано, православные, — говорит мамкин сын, — рано! Нельзя ему обозначиться!.. Молчок, ребята, молчок!» Я лежу, думаю: унеси, владычица!.. Вдруг: «Ваше высочество, обнадежьте их милостивыми словами»... «Что тут делать?» Пробормотал что-то не своим голосом... Уж и натерпелся я страху! — говорил Гл. Ив. и с большой тоской в голосе прибавил: — А ведь мамкин-то сын прав оказался!..

А. И. Иванчин-Писарев.

Ф[лорентий] Ф[едорович]! Вы хотите иметь от меня биографические сведения обо мне самом. Не раз уже я получал предложения от составителей разных биографических словарей, иногда даже с приложением таблиц, разграфленных как участковые листки: «Лета. Где родился. Звание. Место учения. Давно ли почувствовал стремление» и т. д. И, при всем моем желании, я никогда не мог удовлетворить желаний господ составителей словарей. Не знаю, могу ли исполнить и ваше желание, так как никаких мало-мальских определенных и кратко выраженных подробностей моей нравственной жизни никаким образом невозможно изложить в краткой заметке; надобно перебрать все, что я написал, указать каждую страницу, объяснить, отчего она написана так, а не иначе, чтобы видеть, какие условия жизни заставили меня и жить, и думать именно так, как я думал и как писал. Личные подробности моей биографии, в роде того, что родился я 14 ноября 1840 года в Туле и там учился в гимназии до 56 года, после чего переехал и поступил в Черниговскую гимназию, оттуда в 61 году поступил в С.-Петербургский университет, откуда перешел в Московский, где благополучно курса и не окончил, — такие подробности, с присовокуплением сведений о моей жизни в семье, в семейной обстановке, все это рассказанное во всех подробностях решительно не имеет в себе даже и зародыша того, из чего сложилась моя литературная жизнь. Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни лет до 20-ти обрекала меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неизмеримое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал 61 год», взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из

моего личного прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли *забыть все,* это прошлое, истребить в себе внедренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезали со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили, — неправда и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из *прошлого* нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания; ничем из этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое «будет», но которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни началось только *после забвения моей собственной биографии,* а затем и личная жизнь и жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно *собственными средствами.* В опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде; каждая «малость», которая радовала душу, где бы я ее ни нашел, попадала теперь непременно в мою новую душевную родословную. Лицо, которого я мог не видеть никогда, но облик и сущность которого я чувствовал всем сердцем, — мой родной, родственник, друг. Что бы ни случилось, я знаю, что «*он*» есть, а стало быть, не надо и робеть. Личная душевная жизнь и неразрывная с ней литературная работа поддерживались во мне и подкреплялись долгие годы без всякой личной или нравственной с чьей-нибудь стороны поддержки, и так было до 68 года, когда я уже стал ощущать и нравственную поддержку добрых и симпатичных мне людей. Но лет семь — с 62 по 68 — во мне было упорное желание не ослабеть в неотразимом сознании, что у меня никакой прошлой биографии нет... Одиночество в этом отношении было полное. С крупными писателями я не имел никаких связей, а мои товарищи — люди старше меня лет на десять — почти все без исключения погибали на моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди были уже известны в литературе, и, живи они в наше время, когда можно на пол-

ной свободе «пленять своим искусством свет», — они бы написали много изящных произведений; но захватила их новая жизнь, такая, что завтрашний день не мог быть даже и предвиден, — и талантливые люди почувствовали, что им не угнаться за толпой, начинающей жизнь без всяких литературных традиций, должны были чувствовать в этой оживавшей толпе свое полное одиночество... Сколько ни проявляй искусства в поэме, романе, — «*они*» даже и не почувствуют... Спившихся с кругу талантливейших людей было множество, начиная с такой потрясающей в этом отношении фигуры, как П[авел] И[ванович] Якушкин. В таком виде впору было «опохмелиться», «очухаться», очувствоваться — и какая уж тут «литературная школа»! Похвальбы в пьяном виде было много, посулов — еще больше, анекдотов — видимо-невидимо, а так, чтобы от всего этого повеселеть, — нет, это не скажу. Даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели русской интеллигенции ни у кого решительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

Созидание собственной своей новой духовной жизни привело меня к мысли, что мне нечего делать среди этих талантливых страдальцев. Положим, что я хлопочу около какого-нибудь действительно талантливого человека, провожая его домой и усаживая «со шкандалом» на извозчике, или обороняя от «грубого дворника» и уговаривая не делать мордобития; но ведь это уже в двадцатый раз и может надоесть наконец... Положим, что вот и этот знакомый писатель — тоже человек огромного дарования; но что же мне-то делать, если я, придя к нему поговорить, вижу, что он «не в себе».

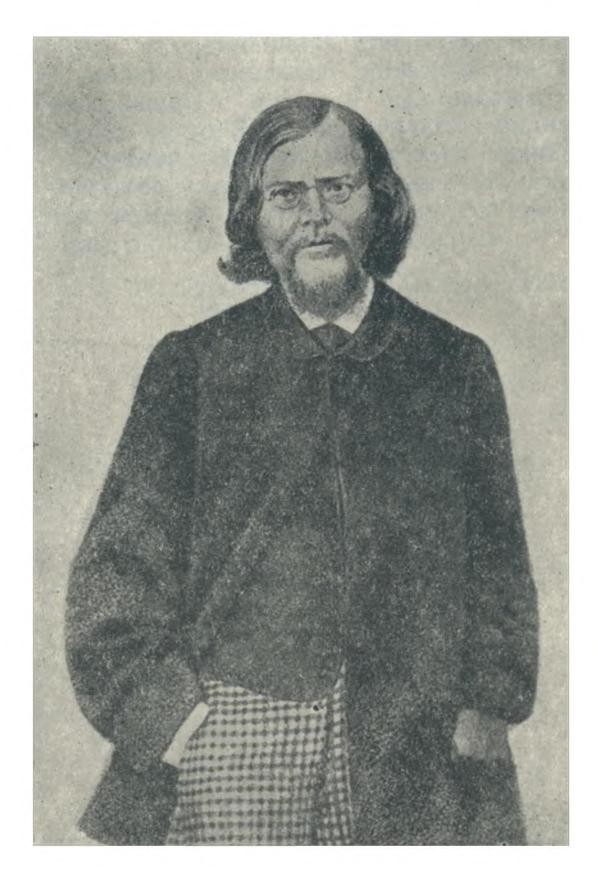
— Слышишь, — спрашивает талантливый друг, — как меня такой-то редактор ругает?

Редактор, который ругает, живет на Сергиевской, а тот, кто слышит его ругательства, — в Дмитровском переулке...

— Ишь лает! А небось до сих пор восьми рублей не отдает... Ух, как зашумел!..

Еще две-три фразы — и вы видите, что человек в белой горячке. Надобно итти к доктору, тащить его в больницу и лечить... А вылечится — жена не пускает приятелей к мужу. Да и он боится их как огня и сам не идет никуда, боясь запить.

Несомненно, народ этот был душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болезнь, похмелье и вообще расслабленное состояние, известное под



А. И. Левитов.
С фотографии.

названием «после вчерашнего», занимало в их жизни слишком большое место. Не было у них читателя, они писали неизвестно для кого и хвалили только друг друга... Одиночество талантливых людей вело к их трактирному оживлению и шуму. Ко всему этому надобно прибавить, что в годы 1863—1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось. «Современник» стал тускл и упал во мнении живых людей, отводя по полкниги на бесплодные литературные распри, а потом и был закрыт. Закрыто и «Русское слово», и вообще мало-мальски видные деятели разбрелись, *исчезли*. Начали появляться какие-то темные издания с темными издателями... Один из них, например, когда пришли описывать его за долги, стал на глазах пристава есть овес, прикинувшись помешанным.

Гл. Успенский, «Автобиография», Собр. соч. 1908, изд. Маркса, т. I. [69]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ»

ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ВТОРОЙ ПОЕЗДКИ ЗАГРАНИЦУ

1869—1877

ГЛАВА III

«Отечественные записки».—Знакомство и сближение с Н. К. Михайловским. — Обстановка жизни и встречи.—Сближение с А. В Бараевой.— Женитьба на ней (1868—1871).

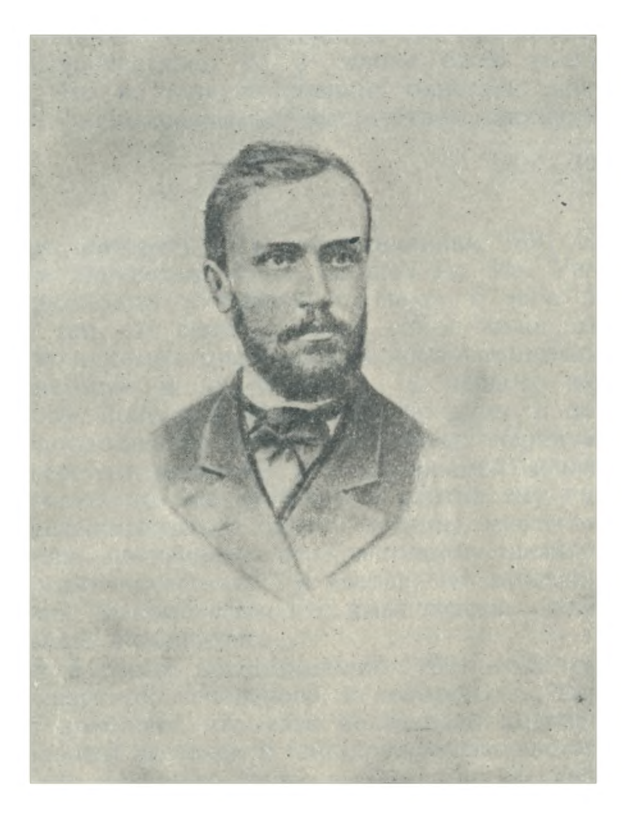
Когда наконец в 1868 году основались новые «Отечественные записки», первые годы в них тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконец дело не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить в неустановившемся и неуютном обществе большей частью до последней степени изломанных писателей (с новыми я едва встречался еще) не было никакой возможности, и я уехал за границу. За границей я был два раза, в 1871 году, после Коммуны, при чем видел избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями город, видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я проживал там подряд два года, по временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился, много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда... Затем прямо из Парижа я поехал в Сербию, и в Пеште встретил *наших*. И об этом я *мало* писал, но много передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику,* то-есть к мужику. По несчастью, я попал в такие места, где *источника* видно не было... Деньга привалила в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь, в течение полутора года, не знал ни дня ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать *источник* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только

одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно *одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа* — именно власть земли.

Таким образом, вся моя личная биография примерно до 1871 года решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, — все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я *жил* лично. *Таким образом, вся моя новая биография, после забвения старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет.* Много это или мало — судить не мне.

Гл. Успенский. «Автобиография», Собр. соч., 1908, изд. Маркса, т. I.

Я уходил от Курочкина. На лестнице, этажом ниже, стоял у дверей молодой человек с неправильным, но чрезвычайно оригинальным лицом, на котором внимание не могло не остановиться. К удивлению моему, молодой человек обратился ко мне с вопросом: «Вы Михайловский?» — «Да». — «Я Успенский. Зайдемте ко мне, я вот тут живу». Оказалось, что мы стоим как раз у дверей квартиры Успенского. Он меня знал по наслышке от Курочкина и от других, я его знал как автора «Нравов Растеряевой улицы» в «Современнике» и рассказов «Будка» и «Остановка», только-что напечатанных в 1868 году в «Отечественных записках». [1] По понятным причинам, [2] мне не придется распространяться в своих воспоминаниях о Гл. И. Успенском. Но именно поэтому мне и хочется помянуть наше первое знакомство. Он был тогда холост и жил вполне необыкновенно. Квартира его состояла из одной комнаты и кухни. В кухне, которая, разумеется, никогда не исполняла своего специального назначения, он устроил себе спальню, а комната изображала собою кабинет, салон, приемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то в весьма незначительном количестве. Зато была половая щетка, и когда нужен был самовар или что-нибудь в этом роде, Глеб Иванович стучал этою щеткою в потолок. Это был условный знак, по которому из квартиры Курочкина являлась его



Г. И. Успенский.
С фотографии конца 60-х годов.
Институт русской литературы Академии наук СССР.

кухарка, хорошо известная многим писателям, ворчливая, но добродушная, иконописного вида старуха, Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а в салоне было какое-то особенное отопление, без топки изнутри комнаты и требовавшее аккуратного открывания и закрывания каких-то душников или заслонок. А так как хозяин не отличался аккуратностью, то в салоне было очень сыро и скверно. Это не мешало хозяину блистать заразительным весельем и неподражаемым мастерством рассказов...

Н. К. Михайловский.

В своих литературных воспоминаниях 1891 года я «по понятным причинам» почти обошел Гл. Ив. Успенского и лишь мимоходом упомянул о своем с ним знакомстве. А между тем, это самое дорогое, самое милое, хотя вместе с тем одно из самых трагических моих воспоминаний... С ним мы — ровесники и как-то сразу, с первого же свидания в 1868 году, пришлись друг другу по душе, и потом много было в продолжение многих лет вместе передумано, пережито веселого и мрачного... Я не раз имел случай убедиться в его добрых ко мне чувствах и платил ему горячею любовью, осложненною, с одной стороны, чувством жалости, а с другой — почтением к его блестящему таланту и высоким нравственным качествам... я уверен, что сочетание жалости и почтения знакомо всем, кто имел счастье сколько-нибудь близко знать Успенского...

Описав в своих воспоминаниях 1891 года оригинально убогую квартиру Успенского, в которой я с ним познакомился, я прибавил, что «это не мешало хозяину блистать заразительным весельем и неподражаемым мастерством рассказов». Да, так было тогда, в 1868 году, Успенскому было лет 25, и как живой стоит он передо мной осиянный не то что молодым, а почти детским весельем, лучи которого освещали и окружающих. Но недолго длилось это настроение, и в имеющихся у меня письмах, которые все относятся к позднейшему времени, его нет почти и следа. Временами воскресал, правда, в нем этот веселый, жизнерадостный ребенок...

Н. К. Михайловский (1902 г.)

Я быть у вас не могу. Мне страшно грустно и горько. Если можно, приезжайте в 10 ч[асов] веч[ера] ко мне. Если меня не будет — погодите немного. Среди толкучки, которая

идет у вас, я не могу вас видеть и не хочу. Это глупо, но иначе я поступить не могу. Ни вы, ни я в этом не виноваты. Но я болею от тоски...

Записка *Гл. Ив. Успенского,* переданная А. В Бараевой (зима 1868 г.)[3] «Минувшие годы», 1908, № 4, стр. 1.

Милая, дорогая, неоцененная моя мама. Как я виноват перед всеми туляками, но в особенности как я виноват перед вами, неоцененная мамушка! Каждую минуту я чувствую, что я ограбил вас, оставил без копейки, и каждую минуту мучаюсь и терзаюсь, что не могу отдать всего, что я имею, потому что не имею ничего или очень мало. Я не могу просить у вас прощения, потому что глубоко сознаю свою вину: но что же мне делать? Господи! Я вам хоть только в маленькое оправдание свое могу сказать, что с самого почти приезда в Петербург я захворал и проболел до сей минуты, то есть почти до декабря, худ я как щепка, зелен как зеленое сукно и слаб. По болезни я не работал ни строчки, но теперь, едва оправился, — принялся за работу...

Из письма *Г. И. Успенского* матери, Петербург (1868 г.), «Русская мысль» 1911, № 7, стр. 4—5.

Чтобы оценить, во что обходилась Успенскому его внутренняя жизнь, надо принять в соображение его «обнаженные нервы», — я не знаю никого, к кому это изобретенное кем-то из наших ломающихся декадентов выражение так подходило бы. Одно из самых ранних его писем к жене (1868) содержит в себе, вперемежку с разными ласковыми словами, такие сообщения и восклицания: «Вдруг сию минуту (11 часов ночи) хлынул страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужас, ужас! Я боюсь тушить свечу... Молния! Смерть моя, и гром. Ужас. Ей-богу, я умру!». Он боялся собак, лошадей, крутых спусков с гор, во время купанья кричал, входя в воду, и т. п. Обобщить все это простым словом «трусость», однако, нельзя. Во-первых, он боялся не только за себя. Ездить с ним на извозчике бывало иногда истинным мучением, пополам со смехом. Опасности чудились ему постоянно, и не только для себя, но и для других: едущий впереди седок, пересекающий конку в добрых трех саженях от нее, приводил его в волнение: сейчас попадет под конку. Затем, в нем проявлялись иногда черты, которые уже никак не мирятся с трусостью. Один наш общий приятель рассказывал мне, как однажды в Париже, на

его глазах и отчасти из-за него, разгневанный грубостью полицейского сержанта, Глеб Иванович схватил его за шиворот и уже замахнулся палкой; история кончилась благополучно благодаря вмешательству стоявших поблизости французов, узнавших, что сержант имеет дело с иностранцами. Обыкновенно деликатный и кроткий («зачем я буду будить в человеке свинью», — говорил он в объяснение своей даже чрезмерной деликатности), он иногда способен был на резкие вспышки, в которых потом всегда каялся. Однажды он буквально выгнал от себя некоего г. П., в котором свинья проснулась уже слишком явственно. Через несколько дней после этого он писал мне: «Кажется, я окончательно скоро исчезну с лица земли. Целые дни не могу встать с постели. Оттого и к вам не иду. П. прислал мне письмо, но я его не читал. Я так болен, что боюсь, если он меня огорчит, — совсем не буду в состоянии работать». Решившись наконец распечатать письмо, он остался доволен его содержанием, и дело кончилось миром.

Н. К. Михайловский.

Милостивый государь Николай Алексеевич! Не позже 21 числа, то есть пятницы 6-й недели, будет непременно доставлена моя повесть,[4] — вся; ради бога прошу вас извинить мою медлительность, я решительно иначе поступить не мог. Я нахожусь в большом недоумении относительно того, что очерк мой не появляется до сих пор: или он в высокой степени гадок, или, как мне кажется, тут другая причина, и именно то, что внимание ваше ко мне оскорблено моим неисполнением слова относительно другого очерка, для 2 кн., и тем, что, не сказавшись, уехал из Петербурга.

Так как внимание ваше слишком для меня дорого, то я убедительно прошу вас прочесть мое объяснение мучающих самого меня поступков. Когда был закрыт «*Современник*», я по необходимости должен был работать где-нибудь и попал в «Жен[ский] Вестник».[5] Два рассказа мои, написанные для этого журнала, были зачеркнуты цензурой, и я сделался редакции должным. До последнего моего приезда в Петербург у меня не было средств уплатить этот долг сразу; да и после того я мог уплачивать по частям, потому что и брал я деньги эти тоже частями самыми ничтожными. В нынешнем году, желая что-нибудь заплатить «Ж[енскому] в[естнику]», я отправился в редакцию и к удивлению моему узнал, что рассказ мой печатается в 1-м № этого журнала. Я прошу принять от меня деньги, мне говорят, чтобы я

возвратил сразу все, зная, что я этого сделать фактически не могу. При этом был один из известных писателей, которого я могу назвать когда угодно. Я отдал все, что у меня было, и поэтому не мог оставаться в Петербурге. Я дал слово работать исключительно у вас, да и всегда сам глубоко желал этого, поэтому не мог обращаться никуда,[6] но так как за день перед этим вы дали мне 100 рублей, то я и к вам не мог обратиться. Я должен был как-нибудь жить, и уехал к знакомым в Москву. Но так как я существо не двужильное, то вся эта история измучила меня, и я не мог совсем работать и приготовить вам очерки. Жить было здесь трудно; я принужден был написать 2 корреспонденции в одну петербургскую газету из Москвы, и все это вообще замедлило мою работу... Но теперь она почти кончена, в пятницу вы получите ее. Ваш покорнейший слуга Глеб Успенский. Москва, Гостиница Мамонтова № 74.

Письмо *Г. И. Успенского* Н. А. Некрасову, Москва 15 марта 1868 г., «Русск. записки», 1915, № 11, стр. 84—85.

Познакомился я с Успенским в первом же году новой редакции «Отечественных записок», в 1868 году. Летом в этом году я проживал во Втором Парголове, в сообществе с писателем Н[иколаем] А[лександровичем] Александровым и студентом Сериковым. Лето было такое знойное, что я не запомню в течение всего нашего пребывания на даче ни одного дождя. Кругом, как водится в такие сухие лета, горели леса и болота, пахло гарью, и дым сгущался порою до того, что совсем закрывал солнце и превращал июльский день в сумерки, а по ночам небо кругом было объято заревом. И вот в один из таких мрачных дней, поздно вечером, когда мы собирались уже на покой, у нашей дачи остановилась чухонская таратайка, и перед нами предстал из дыма пожаров Глеб Иванович, проживавший в то лето в Стрельне вместе с Н[иколаем] С[тепановичем] Курочкиным. Он был не один, а в сопровождении, не помню, какого-то спутника. Он приехал к Александрову, но само собой разумеется, что и я не замедлил с ним познакомиться. Какой он был в то время еще юный, какой веселый! В то время он был далеко еще от исканий «настоящего мужика», писал «Нравы Растеряевой улицы». Надо полагать, что знакомство его с Александровым, с которым он не мог иметь ничего общего, обусловливалось тем, что до того времени он помещал свои очерки в «Женском вестнике» где Александров писал рецензии.

Впрочем, он гостил у нас недолго, так что в этот раз мы не успели еще и разглядеть друг друга. Но затем, встречаясь часто то в редакции «Отечественных записок», то на вечеринках у товарищей, мы сблизились мало-по-малу...

А. М. Скабичевский.

Милостивый государь Николай Алексеевич! По прочтении моей корректуры я еще раз обращаюсь к вам с покорной просьбой — отложить печатание [7] ее до 1-й, январской книжки или до декабрьской. Необходимость написать именно повесть, а не ряд рассказов и очерков путала меня в течение целого года, и я по крайней мере шесть раз написал эту вещь. Так как в ожидании ее прошло слишком много времени и наконец надо же было представить ее, то я решился отдать ее в таком виде, как она есть. Но в этом виде она оказалась совершенно неудовлетворительною. Словом, я прошу вас об одном: из 3 листов находящейся у меня корректуры, с прибавкою еще $1^1/_2$ листа, я сделаю к декабрьской книжке четыре отдельных рассказа. Рассчитать их я совершенно согласен и по 50 и по сколько угодно с листа. Относительно вообще денег, взятых у вас, — сделайте милость будьте покойны: я надеюсь, что путаница, идущая в моей голове и мучающая меня в течение целого года, пройдет, и весь материал мой прояснится от теперешнего тумана. Позвольте просить вас уведомить меня о вашем решении насчет того, согласны ли вы на мое предложение. Глеб Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* Н. А. Некрасову, Стрельна 19 октября (почтовый штемпель) 1868 г., «Русские записки 1915, № 11.

Сегодня в 6 ч[асов] утра я, наконец, кончил свое «Разорение» [8] и уже передал Некрасову. Дня через два-три я буду совсем свободен и уеду. [9] Но, господи, до чего мне скучно без вас! Я буквально болен и, д[олжно] б[ыть], вследствие моей болезни мне в голову лезут разные безобразные вещи. — Мне представляется, что вы разлюбили меня и бросили, пот[ому] ч[то] множество найдете людей лучше меня в сотни раз. Впрочем, извините меня, я просто нездоров. Я выпил у Коли однажды бутылку красного вина, поехал домой и простудился. Теперь лучше, но все-таки я болен — болен.

О моем «Разорении» пошли толки по Петерб[ургу] самые оживленные. Прилагаю вам три отзыва из разных

газет. Все это мне приятно — только нету вас, и мне до того скучно, что, кажется, ехать ли в провинцию, оставаться ли все лето в Петерб[урге], — решительно одно и то же. Но я поеду.

... Голубчик мой, как я люблю вас, сколько вы дали мне ума и сил, ангел мой! Я болен; не могу писать ни о чем. Только не забывайте меня. Милая, хорошая, родная. Г. Усп.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Петербург 18 марта (1869), «Минувшие годы» 1908. № 4, стр. 1—2.

Голубчик, 5 часов утра. Я работал отлично целый вечер и не спускал глаз с милого лица вашего, которое предо мною. Только это умненькое личико, только эта вера в наше будущее «вместе» опять держит меня теперь. Иначе бы умер, п[отому] ч[то] на волосок от страшной тоски.

У нас, к счастию, опять снег и мороз; мне так и кажется, что зима, и что придет Бяшечка. Знаете, я до того привык работать, возвратясь от вас, что сегодня, ей-Богу, нанял извозчика до ворот вашего дома и назад. И отлично — весело, хорошо.

Рука устала, пишу скверно, — но все-таки еще две строчки. Я вам писал в Москву, и по моим расчетам вы должны были получить его во вторник. Я удивляюсь, отчего вы не получили? «Отеч[ественные] зап[иски]» и «Разорение» послал сегодня в Елец... Прочитал письмо Аркадия [?] к Анне Вас[ильевне].[10] Он пишет с полстраницы и начинает «Мил[остивая] гос[ударыня]». Но как он любит вас! Мне кажется, что я не могу так пламенно любить; по кр[айней] мере я на письме не могу передать вам, как я люблю вас, птичка моя, ласточка!..

Часы у меня перестали бить; хотя обе гири висят, как следует. Это они по вас.

Повесть окончу к 25 числу, а может, и раньше, и в апреле или в начале (мая) уеду в Крапивну. Скучно мне здесь невыносимо, даже Демерт как будто надоел.

Босиком не хожу и осенью. Впрочем, вчера утром зашел в один трактир выпить пива... В комнате и на столе у меня все по-старому. Щетки, окурки, «Современник» (старый), лоскутки... На шкапу висит серое пальто, которым я подметаю пол... Все по-старому — только вас нет и скучно-скучно мне, сиротинушке... ...Видел я, что Анна Вас[ильевна] посылает вам из химической лаборатории какие-то штуки, надо быть, для туалета. Милая, зачем такая роскошь для народной школы?!

Голубчик мой! Красавица! Ангел мой! Ваши часики бьют сию минуту. Господи. Зачем вас нет... и зачем эти духи пачули?[11]

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Петербург (1869 г.), там же, стр. 2—3.

Милая, дорогая, ты меня вводишь в искушение. По чистой совести мне бы не следовало брать 25 рублей. Мне прислали 49 рублей.[12]

Вечер. 9 ч. пятница 21 марта. В комнате Коли Долганова (1869 г.)

Г. И. Успенский А. В. Бараевой, Елец (1869 г.), там же, стр. 3.

... С этого дня я буду писать тебе самые подробные письма, миленькая моя, — только, ради бога, давай согласимся осенью, хотя к концу, жить вместе, а то подумай, что же впереди, *не на что надеяться, не хочется работать*... Во избежание какого-ниб[удь] скандала в вашем скукоцерковном французском замке[13] — не то, пожалуй, начнете переводить на 77 языков и окажется, что я хотел мужика зарезать — чего доброго, — скажу следующее: когда в последний раз пришел ко мне мужик ваш, то я спросил у него, «получает ли он газеты». — «Со мной есть газеты», сказал он, и я попросил его развязать сумку. Это делалось с целью узнать, получаешь ли ты «Голос»,[14] а не с каким-либо другим намерением.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Липецк 9 мая (1869), там же, стр. 3.

...И во всяком случае, право, мы будем жить. Ты заботишься обо мне. Ты больна, худенькая, мученица, девочка, беспокоишься за меня... Думал ли я когда-нибудь! Я думал, что кроме ругательств за неотдачу 3 рублей как[ому]-ниб[удь] Сорокину, — ничего не будет в моей жизни. Ты, милый, хороший друг мой! Люблю тебя всей душой и не уйду от тебя никуда и никогда. Ангел мой и друг дорогой. Я об том только и просил тебя, чтобы ты не думала, что будешь [нуждаться?] в Петербурге. *Чтобы ты раз навсегда решилась*. Как не велико сквалыжничество писателей-редакторов — они все-таки сами придут ко мне и во всяком случае не дадут умереть с голоду...

...Нервы твои расшатаны хуже моего. И я смею еще более мучить тебя. Твои бледные губы, бледное личико твое, славная моя, добрая, бесценная, моя умница. Господи! Если б мне поздороветь нервами и телом — как бы я берег

каждую минутку твою! Я готов заплакать теперь от этого — верь мне, — но у меня *слезы во всем лице, глаза режет, а не плачу. Прости меня, крошка, голубка, в последний раз.* Твой всегда Глеб.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Липецк 2 июня (1869 г.), там же, стр. 3—4.

Милая! Я люблю тебя всей душой бесконечно и искренно! Не сердись на меня и не пускай в свою душу невзгоды, когда я сморожу как[ую]-ниб[удь] чушь и невольно огорчу тебя! Это *просто болезнь*. Не даром один адвокат на железной дороге сказал мне: «Зачем вам лечиться? Вы совсем здоровы, только воображение у вас больное»: — *И клянусь тебе, что с этим воображением, изувеченный ради барышей Некрасовых и Благосветловых, я бы горько пил, если б не ты...*

... На мое уныние не обращай внимания — я такая унылая скотина... И за что это выпало на твою долю страдать из-за такой дубины, как я?

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Липецк (1869 г.) июнь, там же, стр. 4.

... Я не знаю, как мне назвать тебя, как мне лучше передать тебе, как я люблю тебя! Ради бога напиши мне как можно скорее, когда вы приедете,[15] — я встречу. И как бы было хорошо, если бы ты выпросила у Херадиновой *позволение походить со мной вдвоем по саду*. Любопытным она может сказать, что я твой родственник или брат двоюродный.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Бараевой, Липецк (1869 г.), там же, стр. 4.

Венчание Гл. Ив. и Ал[ександры] В[асильевны] совершилось 27 мая 1870 года в верхней церкви Владимирского собора (на Владим[ирской] ул.). Свидетелями были со стороны жениха: Д. Н. Симонов и Н[иколай] А[лександрович] Демерт; со стороны невесты — А[лександр] М[ихайлович] Скабичевский и Н[иколай] А[лексеевич] Долганов. Жениху было 28 лет, невесте — 25.

Сообщение *В. В. Тимофеевой.*

Милая матушка, милая Лиза.[16] Нахожусь в Туле и не знаю, как мне вас видеть? Ехать в Крапивну я бы мог, да NN[17] боров меня убьет... Напишите мне, можно ли мне приехать без опаски, или приезжайте в Тулу и поживите с

Лизой в доме Кулаковых, [18] он пустой. А не то наймем квартиру на неделю. Я нанял себе 5 комнат за 20 коп. в день. Вот как! Еще я вам скажу одну вещь: я женился нынешней зимой на одной барышне, которую я люблю и которая меня любит крепко. Портрет вам пошлет Наталья Глебовна. [19] Осенью вы увидите ее — она теперь гостит в Елецком уезде у одной помещицы, — а теперь знайте одно, что вы полюбите ее, как родную! Писать об этом я не умею, но скажу одно — что с Александрой Васильевной мне жить покойно и славно. Деньги у нее свои, и моих трудов на нее нейдет ничего. При свидании поговорим, и пожалуйста отвечайте, как нам повидаться. Целую вас. Глеб Успенский. Через 10 дней еду к Шуре. [20] На имя Константина Ник[олаевича] [21] отвечайте.

Письмо *Г. И. Успенского* матери и сестре, Тула 9 июля (1870 г.,) «Русская мысль» 1911, № 7, стр. 8.

Не пеняй, моя ципинька, что давно не получаешь от меня писем, я бы и рад был тотчас же послать тебе письмо, как только приехал сюда — потому что мне очень жалко, что отправил тебе такое скучное письмо, — да почта ходит отсюда только по понедельникам и четвергам, и, стало быть, я почти четыре дня писать тебе не мог. Повторяю тебе — не печалься, письмо было глупое, и в настоящее время я чувствую себя очень хорошо. У матушки мне жить отлично, почти так, как тебе у Херадиновой, если только ты не врешь, что тебе там хорошо. Главное, что народу нет никого, сад, среди которого стоит училище, великолепный, и в нем тоже нет ни одного человека, — гуляю один. Виды и окрестности действительно превосходные. Познакомился я здесь с одним старичком чиновником, который любит природу и даже занимается переводами стихов из разных поэтов с фр[анцузского], анг[лийского], нем[ецкого]. Старичок очень оригинальный, сегодня, напр., он водил меня за город версты за две, к лесному сторожу. Сторож из отставных солдат, живет в лесу и страстный охотник, — главное балагур и рассказчик; мы с ним, начиная со вторника, будем путешествовать с ружьем. Я побыл у него в сторожке часа 2 — такая прелесть! Воротились мы с прогулки часов в 8 вечера; погода была прекрасная, пошли на бульвар, который лежит на высокой горе, гораздо выше той, на которой стоит Елец, и оттуда открывается река, по берегам которой почти на каждом шагу горят костры. Этого прежде никогда не бывало, и я пошел узнать, что такое. Около костров водили хороводы и пели песни. Это оказа-

лось — *ждут солнца,* такой обычай; будто бы под Петров день солнце восходит разноцветное и играет особенным образом. И когда я пишу тебе это — песни слышны со всех сторон, и костры будут гореть до восхода солнца. Уверяю тебя — такой прелести я и не видывал.

Все это время я, признаться сказать по совести, чувствовал такую усталость и лень, что ужас — мне трудно было писать даже тебе. Но теперь, право, мне кажется — ничего, гораздо лучше, и я чувствую себя много свежей, против прежнего. Должно быть, я теперь именно и начинаю поправляться, а матушка кормит меня на убой, ем я действительно очень много и тяжести не чувствую. Я здесь пробуду с неделю, думаю, что этого будет довольно, а потом поеду к Якушкину, который, встретив меня на железной дороге, когда я ехал в Крапивну, просто тащил к себе за рукав, и ждет. А после него мне бы хотелось повидаться с тобой моя... *[кем-то замазано два слова],* цыпленочек хороший мой. В следующем письме твоем, которое ты тоже адресуй в Тулу, ты напиши мне, когда бы можно видеть тебя, и, если можно, *одну*, и где — в Ельце или в Орле. Там теперь железная дорога. Когда ты мне напишешь число и каким образом нам лучше повидаться, то я так и соображу. А потом уж мы не увидимся до самого отъезда в Петербург. Благо, я теперь стал чувствовать охоту к работе, и в голове зародились кой-какие планы повестей — работать я не буду, а буду только записывать да отдыхать. Ах, если бы только Коля [22] выслал мне хоть немного денег!

Матушка моя *не ложно* любит тебя *всей душой*. Я дал ей почитать кой-какие твои письма, и она сразу поняла, что ты ангелочек мой, хороший. Как бы мне хотелось видеть тебя! Осенью, когда поедем назад, мы непременно остановимся в Туле на 1 день, и матушка туда приедет. Посмотри, какая она отличная женщина! Я уверен, что ты ее будешь любить.

Песни все поют звонко-звонко. Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, — все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы в самом деле не сорвали зло на сестре и матушке, но обе уверяют, что все пустяки и вздор, и, может быть, их правда.

Глупую эту штуку удрал я. Вот что значит писать для денег, из-под палки.

У нас уже все спят. И матушка, и брат, и сестра, и котенок даже. Сегодня ночью я проснулся от колокольного звона, и вижу — около меня лежит котенок, стал с ним играть и проиграл 2 часа. Продувная бестия!

Крапивна. 29 / [redacted]

Не сердись моя цыпинька, что долго не получала ты от меня писем, я-бы и рад был тотчас же послать тебе письмо, как только приехал сюда — потому что мне очень стыдно, что я отправил тебе такое скучное письмишко, — да почта ходит отсюда только по понедельникам и четвергам, — и самое было в почти четверг дня писать тебе нельзя. Повторяю тебе — не печалься письмо было глупое и в настоящее время я чувствую себя очень хорошо. У матушки мне живется отлично, почти так как тебе у Хро-миновой если только ты не веришь что тебе там хорошо. Главное что — подряд нет никакого — сад, среди которого стоит училище — велико-лепный и в нем тоже нет ни одного чело-века, — гуляю один — виды и окрестности действительно превосходные. Познакомился я здесь с одним старичком чиновни-ком, который любит природу и даже зани-мается переводами стихов из разных по-этов с фр., англ. нем. Старичок очень оригинальный, сегодня напр. он водил меня за город верст за пять на лесную сторону. Сторож из отставных солдат привел в лесу и страстный охотник а главное — балагур и разсказчик, — мы с ним, начиная со вторника будем пу-тешествовать с ружьем — Я побыл у него восемь часов — только вре-мени. Воротились мы с прогулки ча-са в 8 вечера; погода была прекрасная

Письмо Г. И. Успенского к жене от 29 июля 1870 г.
Гос. литературный музей в Москве.

Прощай. Иду спать. Матушка приказала целовать тебя в глаза, губки и щечки, а я целую тебя... [три слова замазаны]. Твой Глеб Успен.

Письмо *Г. И. Успенского* жене, Крапивна 29 июля 1870 г. (с рукописи Государственного Литературного музея 1256/18).

[Успенский] был один из тех феноменальных людей, которые поражают всех окружающих как своею оригинальностью, выходящей из всех обычных норм, так и такою нравственною высотою, какая свойственна лишь особенным избранникам судьбы и праведникам. По крайней мере, для меня лично встречаться с ним было большим счастьем; после каждого свидания с ним я чувствовал себя словно обновленным, исполненным светлой и теплой отрады.

Выходил же он из всех тех норм, какие свойственны обыкновенным людям, не только своими талантами, умственною и нравственною высотою, но, можно сказать, всем своим существом, при чем даже недостатки его, предосудительные в других людях, в нем, напротив того, нравились, шли к нему, казались даже, а некоторые и действительно были, достоинствами.

Так, например, возьмите вы хотя бы страсть его к вечным путешествиям, вечным переездам из города в город, с юга на север, с запада на восток... У него эта скитальническая жилка проявлялась порою в таких тоже мелочах обыденной жизни, в которых казалось бы трудно было бы ей проявиться. Представьте себе, например, что человек женится. Обыкновенно это свершается таким рутинным способом... Свадьба же Глеба Ивановича имела такой фантастический характер, что я не запомню другой такой же оригинальной свадьбы. Это было в 1870 году в великолепный солнечный и теплый майский день, венчание было назначено рано поутру, часов в одиннадцать, не помню, в какой-то домовой церкви. Мы все собрались в назначенное время. Кроме жениха и невесты, нас было человек десять близких друзей и родственников молодых. Сначала все шло своим обычным порядком. Молодых повенчали; затем отправились завтракать к Палкину. Прозавтракали мы часов до четырех, до пяти. Вдруг явилась фантазия ехать на острова. Сейчас же были наняты две коляски, и вся компания покатила «в зелень». Общее настроение было самое жизнерадостное; остроты, шутки, смех не прекращались. И где только мы ни перебывали! и в «Аркадии», и у Фелисьена,[23] и в русском трактире на Крестовском, еще и еще где-то!

Под конец вечера очутились в биржевом сквере, где слушали пение канареек, дразнили обезьян и покупали раковины. Оттуда наконец все разошлись по домам. Вы, быть может, подумаете, что это была сплошная оргия, дебош? Ничуть не бывало. Между нами были уважаемые дамы; до самого конца мы все строго держали себя в пределах благовоспитанности, и было лишь всем нам бесконечно весело. Не правда ли, какая оригинальная свадьба?

А. М. Скабичевский.

Иногда... Александра Васильевна приходила ко мне на целый вечер с книгой и Тунькой [24], и мы читали или рассказывали друг другу свою жизнь. В один из таких вечеров я узнала подробную историю ее знакомства и сближения с Глебом Иванычем.

Она была из богатой семьи фабриканта Бараева (Глеб Иваныч звал ее часто Бяшечка), рано осталась сиротой, с мачехой и чахоточным братом. Воспитывалась она в Мариинском институте, когда там был Вл[адимир] Як[овлевич] Стоюнин, она была его ученицей, любила серьезное чтение, мечтала, — «как все мы тогда», — о пользе «для человечества», но ездила с мачехой в театр, на вечера и балы, читала Шелгунова и Писарева, искала себе «дела» и танцовала ночи напролет с офицерами в клубе... Брат ее вскоре умер, она совсем осталась одна и начала потихоньку от мачехи готовиться в народные учительницы. И вот летом, когда они жили на даче в Стрельне, рядом с ними на том же дворе поселилось несколько литераторов. Это были Н[иколай] С[тепанович] Курочкин, Демерт, Кущевский и затем Глеб Успенский с двоюродным братом своим Николаем.

— Сначала мы только молча встречались на дворе и в саду, — рассказывала мне Александра Васильевна. — Глеб Иваныч был тогда совсем еще юноша и всегда ходил с книжкой. Сначала он все от меня убегал, — дикий был он ужасно. А мой сводный брат, мачехи сын, мальчик лет десяти, все бегал к нему, носил ему от нас разные книжки. У нашего знакомого — Коли Долганова — была библиотека, и Глеб Иваныч все просил «что-нибудь почитать». Я посылала ему книги с выбором, за одну — Щапова — он меня поблагодарил, и мы начали разговаривать. Потом Глеб Иваныч стал к нам ходить. Я привыкла всегда с кем-нибудь нянчиться. Сначала мой брат... Я только им и жила тогда... и все богу молилась, чтобы бог его спас. Но он умер, и я с тех пор перестала молиться. Если бы бог существовал, он должен был исполнить мою молитву, — у меня только



А. М. Скабичевский.
Гос. литературный музей в Москве.

и был один дорогой, близкий мне человек, я хотела жить для него, — зачем же он допустил, что брат умер! Я не знаю, — может быть, я неверно сужу, но с тех пор бог для меня не существует. Человек совершенно один на земле. И люди все — такие несчастные! Люди сами должны помогать друг другу... Вот и Глеб Иваныч тогда был тоже один... И никто ему не хотел помочь... И у него были такие товарищи... Этот двоюродный брат его Николай... Они бы его совсем погубили. Мне было его очень жалко... За меня тогда многие сватались. Опекуны к тому времени нас совсем разорили, и мачеха думала, что я «сделаю партию», выйду за какого-нибудь купца или офицера... А я, бывало, где-нибудь на балу откажусь от приглашений, — скажу, что голова заболела, и уеду потихоньку к Глебу Иванычу. Куплю по дороге сыру, красного вина, пирожков, — у Глеба Иваныча, кроме долгов, ничего тогда не было, и он иногда совсем голодал... Ну, вот приеду, сидим с ним вдвоем, разговариваем... И так нам было тогда хорошо!.. А мачеха думает, что на балу веселюсь!.. — Она тихо смеялась, рассказывала мне это взволнованно-прерывистым голосом, каким всегда говорила о Глебе Ивановиче. «Даже одно это имя — *Глеб* — для меня уже поэзия», — признавалась она мне потом, когда ее «Глеба» уже не существовало в живых.

Она рассказывала, и все поглядывала в окно, откуда были видны их освещенные окна и в одном из них — голова Глеба Иваныча, низко склоненная над столом. Увлеченная воспоминанием и рассказом, она засиделась тогда у меня далеко за полночь. И когда мы вышли с ней в коридор, — лампы были потушены, и вокруг была тьма египетская. Я зажгла свечу и пошла ее провожать. Но дорогой мы снова разговорились, и, стоя уже подле дверей, она еще раз повторяла мне «историю своего безверия»...

— Бога не существует... Люди так одиноки и так беспомощны... И иначе думать я не могу... Я не могу себя обманывать... Я знаю, что ничего больше нет...

Она стояла передо мной тогда, как типический образец *новой женщины:* высокая и полная, в белом вышитом платье, с заметно расширенной талией и выдающимся животом, но остриженная, как мальчик, с короткими черными прядями на висках и на лбу, с страдальчески-горькой улыбкой на бледных губах и с ядовитой горечью в тихом взволнованном голосе... И голос был новый, и он звучал откуда-то из глубины давно затихших, но все еще не забытых страданий. И лицо было новое: оно дышало истомой

былого отчаяния, но в то же время в этом бледном и нервном лице с разгоревшимися глазами чувствовалась живая и властная сила, дающая и новую жизнь, и новую веру...

Веру в *новых* людей, помогающих людям... Людям «таким одиноким, таким несчастным... без бога».

Я с интересом всматривалась в это новое для меня лицо, когда вдруг распахнулась дверь их квартиры, и на пороге показался сам Глеб Иваныч, в своем стареньком сером пальто и со свечкой в руках. Он держал подсвечник высоко над головой и, испуганными глазами всматриваясь в глубь темного коридора, тревожно окликнул:

— Это вы, Александра Васильевна? С кем это вы тут? Я слышу все время ваш голос за дверями и думал, что-нибудь случилось... Что же это вы так поздно... впотьмах... Еще кто-нибудь подойдет... Где это вы до сих пор?.. — В голосе его послышалось что-то недовольное и ревнивое.

Счастливая улыбка затрепетала у нее на губах.

— Да кто же может ко мне подойти!.. Что это вы, Глеб Иваныч? Я была у В[арвары] В[асильевны], и мы с ней заговорились...

Я ушла от них тогда под впечатлением какой-то идиллии. Совершенно точно Афанасий Иваныч и Пульхерия Ивановна.[25] Счастливая пара, — только не смешная, а милая.

На следующий вечер она снова пришла и, как обещала, рассказала мне до конца «роман их *беззаконной* любви» с Глебом Иванычем.

— Ну, а потом мы разъехались, — начала она свое «продолжение». — Глеб Иваныч кончил свой роман «Разорение» и уехал лечиться в Тамбовскую губернию. А я поступила учительницей в Елецкий уезд, в имение Херадиновой. Потом и Глеб Иваныч переехал поближе, в Крапивну, народным учителем.[26] Он приезжал, бывало, в Елец, чтобы повидаться со мной — урывками, где придется. Ждал меня раз на вокзале... И никто и не подозревал тогда, что мы давно уже муж и жена, — только не венчанные. Но ведь тогда еще на это смотрели не так, как теперь, особенно там, в глуши, школу бы отняли, если бы знали. А я хотела работать. Да и мачеха моя, женщина не развитая, конечно, не понимала, что Глеб Иваныч совсем не то, что другие...

Состояние их к тому времени пришло в окончательное расстройство, и у Алекс[андры] Вас[ильевны] оставались

«какие-то гроши», — да и для получения этих грошей надо было еще хлопотать судебным порядком.

— А мы с Глебом Иванычем не умеем ни отчета требовать, ни защищать свои права, — прибавляла она.

Наконец, после разных мытарств и вынужденной разлуки на целые месяцы, они повенчались весною в Петербурге, но только через год потом могли устроить совместное житье. Жить приходилось обоим разного рода работой. Она давала уроки, переводила с французского и немецкого разные легкие книжки, а Глеб Иваныч дописывал свое «Разорение», писал и задумывал новые работы. Но все труды их приносили гроши, или целиком уходили на уплату прежних долгов Глеба Иваныча, и часто не хватало рубля на чай, на свечи, на булку...

Деньги у них вообще — и тогда и потом — уходили неимоверно легко. Это были какие-то *не свои*, а как бы *общие* деньги. Кому было надо, тот ими и пользовался. Никаких приемов и угощений они никогда не устраивали, — но «нельзя же было» не дать чего-нибудь поесть или выпить всем этим людям, хотя и не голодным по профессии, но далеко не обеспеченным в сытости...

— Александра Васильевна, как бы нам чего-нибудь закусить? — говорил Глеб Иванович. И Александра Васильевна изобретала закуску: она писала «Коле Долганову»... Совершались обычные операции займа, с векселями и простыми расписками, с залогом и выкупом... И все это тайно, без ведома Глеба Иваныча, чтобы не беспокоить его, не отвлекать от работы...

Одним словом, это была именно та жена, которую надо было выдумать для Глеба Успенского, если бы ее не существовало в действительности. Именно в ней было нечто подобное *власти земли,* вне которой гибнет «замученное естество человеческое...»

Ее многие осуждали за «ревность», за то, что она, будто бы, никого «не пускала» к Глебу Ивановичу... В то время, о котором я здесь рассказываю, женского общества возле них, действительно, я не помню. Жена Михайловского [27] да я были тогда чуть не единственным исключением. Раза два появлялась какая-то молоденькая барышня, — кажется, сестра одного литератора, только-что вышедшая из института, собиравшаяся поселиться в деревне, приносить пользу и пр., но и она потом вскоре исчезла. Тогда и это пытались объяснять ревностью. Хотя вернее всего самой барышне было здесь скучно. Александра Васильевна интересовалась только тем, что близко касалось Глеба Ивановича, а сам он при

«барышнях» обыкновенно молчал или попросту уходил к кому-нибудь из знакомых. Меня Александра Васильевна часто сама посылала к Глебу Иванычу:

— Подите, поговорите с Глебом Иванычем... Расскажите это Глебу Иванычу, — это будет ему интересно.

Поводов же к ревности было не мало, — и можно скорее удивляться долготерпению и такту жены писателя, никогда не допускавшей себя ни до каких «семейных сцен» и взрывов. Глеб Иванович мог бы пользоваться полной свободой, еслиб хотел, а для жены его существовал во всю жизнь только он.

Были у нее, конечно, недостатки, например, удивительная способность выискивать во всем обратную сторону, выставлять в смешном виде все, что не подходит под рубрику «направления»... Никто лучше ее не умел подхватить невзначай сорвавшееся неуместное слово, оттенить слабую струнку каждого. Всякое слово, поступок и жест в этом роде («ложные жесты!» — у Михайловского) подчеркивались и выставлялись на суд, как ошибка в школьном диктанте, и вызывали игриво-ядовитое или критически-строгое замечание «гувернантки», как я мысленно тогда называла ее. Иногда это меня возмущало, как возмущает детей замечание старшего. Но теперь мне кажется — тут тоже сказывалось влияние всеобщей нашей воспитательницы — «обличительной литературы» шестидесятых годов, вместе с привычками институтки-учительницы. Помню, как однажды она «отчитывала» меня — ни в чем не повинную — за ссору Демерта и Бобоши, [28] едва не поведшую к дуэли. Это было чистейшее недоразумение между нами, но она так убедительно-красноречиво внушала мне обязанности женщины — не раздувать никаких страстей и смягчать нравы всего окружающего, что я безропотно прослушала тогда ее внушительное поучение... Да, это была действительно наша общая гувернантка, строго следившая за поведением своих воспитанников, не допускавшая их «распускаться» в ее присутствии. И те, кто тяготились этой «опекой» или «надзором», уходили от нее раздраженные и... «грешили на стороне», но близко подходить к себе чему-нибудь не вполне чистоплотному в физическом или моральном отношении Алекс[андра] Васильевна никогда и никому не разрешала. Эта пуританская строгость сказывалась у нее во всем — в языке и обращении с людьми, даже в отношениях ее к Глебу Иванычу. Они оба казались влюбленными и стыдливо прятали эту влюбленность от всех, даже от самих себя. Иногда мне случалось

подмечать его взгляд на нее — глубокий и нежно-задумчивый, — и сейчас оба вспыхивали и опускали глаза.

Они ждали тогда ребенка. Но он родился преждевременно, мертвый, и несколько дней они потом оба, очевидно, страдали, чувствуя себя как бы виноватыми. И Глеб Иваныч начал вдруг ненавидеть эту квартиру в доме Воронина на Гончарной.

— Каземат какой-то, — помилуйте, — сумрачно говорил он. — Коридоры эти кругом — зги не видать — совершеннейшие «Трущобы» Всеволода Крестовского! Шорохи там постоянно какие-то за стеною... Кто там живет, что они делают? — ничего неизвестно. Даже жутко иной раз становится... Ни думать, ни писать я здесь ни о чем не могу... И они переехали на Фонтанку, опять в дом Тарасова, где случайно освободилась маленькая «веселенькая» квартирка во дворе, по соседству с той, где я увидела впервые Гл. Ив. и где жил теперь брат Марьи Евграфовны, артист Павловский.

В. В. Тимофеева.

М[ихаил] И[льич] Петрункевич, в конце шестидесятых и начале семидесятых годов близкий к Успенским, говорил нам о полном внимательной заботливости уходе, которым А[лександра] В[асильевна] окружила Г. И., отказывая себе во всем. Если позднее жизнь сложилась иначе, со многими ссорами и взаимными обвинениями, это было трагическим следствием, обычным в жизни, социальных и семейных условий, в каких обречена жить необеспеченная семья. Позднейший рассказ Г. И. «Не быль, да и не сказка»,[29] несомненно, навеян и личными остро-больными переживаниями того разлада, каким насыщается мало-по-малу семейная атмосфера такой семьи. В то время, о котором сейчас речь, как вспоминает Марья Евграфовна Михайловская (в письмах к нам), «некуда ему было укрыться от ужаса» всей окружавшей его обстановки; от некоторых рассказов про холостую жизнь Г. И. «пронизывали страх и жуть». «Александра Васильевна была святая женщина: она была ему женой и матерью, и без нее он действительно бы погиб». Она обращалась к нему обычно на «вы», «Глеб Иванович». В отношениях к ней было, кроме безграничной привязанности, нечто в роде виноватости за свою неумелость жить и то бремя, которое он взвалил на нее... Трагическую черточку передает нам М[ария] Е[вграфовна] Михайловская со слов А[лександры] В[асильевны], у которой, кажется, два раза рождались мертвые дети. Она приходит в себя после

родов. «Глеб Иванович целует мне ноги, ну, значит, ребенок опять мертвый»...

Люди, позднее узнавшие чету Успенских, видимо, замечали лишь внешние черты их отношений. Ходят рассказы про беспричинную и крайне тягостную для Г. И. ревность А[лександры] В[асильевны]. Н[иколай] К[онстантинович] Михайловский рассказывал приятельскую остроту Г. И. про А[лександру] В[асильевну]: «Александра Васильевна — ярославская баба; приедет муж на побывку, она и вынесет ему на руках мальчонку — посмотри, какой бутуз» (из письма М. Е. Михайловской).

Сведения, сообщенные *М. И. Петрункевичем* и *М. Е. Михайловской* В. Е. Чешихину (*В. Е. Чешихин*), «Г. И. Успенский. (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 71—72).

... Мне приходилось встречаться очень редко с покойным Успенским, короткого знакомства не было. Были товарищеские отношения, связывающие людей одного знамени, несмотря на разность их положения в стране. Бывала я у г. Успенского по делу и встречалась с ним на обедах в «Медведе», когда по средам собиралась писательская братия.

В первый раз я встретила Г. И. Успенского в 1870 году на пикнике, устроенном сотрудниками «Отечественных записок». Об этом пикнике давно говорили. Ощущалась потребность встряхнуться, но сборы были долгие, мешало то то, то другое. Людям, занятым срочной журнальной работой, которую порой приходится исполнять и вдвойне «вследствие» независящих экстренностей, не всегда можно найти вечер, свободный от шести часов. Пикник был назначен за городом на чьей-то даче. Дачу не догадались заранее протопить, или дворник не исполнил приказания; холод нежилого помещения охватывал и заставлял приезжавших жаться и проделывать гимнастические движения. Моя первая встреча с Успенским, посиневшим от холода, в теплом пальто и шапке, приплясывавшим от холода, памятна по первым приветствиям: «Не снимайте шубы». Холод вызвал много шуток — и не веселых — о том, что морозит нашу жизнерадостность, и о солидарности с ними дворника, находящего, что нас надо охлаждать.

Комната наполнилась приезжими, затопили печи, поставили самовары.

Успенскому нездоровилось, он кашлял, и все очень заботились о том, чтобы он поскорее согрелся. Но, как ни звали его к чайному столу хозяйка К. П. Елисеева и ее

помощницы, он был озабочен тем, что «музыканты смерзли». Как теперь его вижу, когда он с озабоченным добродушным видом, бутылками пива в руках и висевшим на пальце пробочником шагал в переднюю, отведенную музыкантам, и возвращался за новыми бутылками. Это повторялось так часто, что любительницы танцев заметили, что, пожалуй, музыканты до того согреются, что не в состоянии будут играть. «Музыканты смерзли, музыканты смерзли», — повторял озабоченно Успенский.

Когда музыканты не играли, шел не смолкавший разговор между Успенским и музыкантами. У меня остался в памяти тон доверия, товарищества, который установился между Успенским и музыкантами. Чаще, чем другие, я останавливалась у дверей передней прислушаться к живой, кипевшей беседе Успенского с музыкантами. Слышались шутки, взрывы смеха, вслед за ним тон становился серьезнее, и долетало в залу слово, полное горечи: «Вот жизнь». «Да, вот, жизнь какая!» — помню я задушевное, сочувственное восклицание Успенского.

Из залы то-и-дело звали Глеба Ивановича, когда затевались танцы или игры. Шутили, что он очаровывает музыкантов вместо того, чтобы очаровывать дам. Кто-то, кажется Елисеев, заметил, что не надо ему мешать: материал набирает для будущего рассказа. Я молча не согласилась с этим мнением. В отношении Успенского к музыкантам было так много непосредственности, такая целостность искренности, исключавшей предвзятую мысль, расчет. Глеб Иванович не изучал материала для будущего рассказа, он просто находил наслаждение в задушевной беседе с пролетарием. На шутки о материале Успенский отвечал в таком смысле, что нельзя же быть вечно писателем, надо же быть и просто человеком. Но раз судьба послала дар писательства, то нельзя разделить человека от писателя. То, что запало в душу человека, выражается в творчестве; наблюдательность и чуткость, сродная таланту писателя, усиливает обычную наблюдательность и чуткость, сродную человеку. Но эти шутки о материале внесли стеснение в беседу музыкантов, и кто-то из них заметил: «Вы нас опишете». И, чтобы согреть налетевший холодок, Г. И. с сосредоточенным, серьезным видом, снова зашагал из музыкантской в столовую и обратно в музыкантскую с бутылками пива. На дружеское подтрунивание насчет того, что он специализировался по части угощения музыкантов, он отвечал советом посидеть в шкуре людей, обреченных работать, когда другие веселятся, вся жизнь которых проходит в том, что

чужое веселье течет им по усам. А они пиликают, пиликают до онемения пальцев до смерти надоевшие им танцы. А если у которого музыкальный талант, то такая жизнь — адская пытка.

Здесь передан смысл слов Успенского, и только за смысл этот и можно поручиться, когда передаешь слышанное слишком лет через тридцать...

В столовой Успенский передал кое-что из жизни музыкантов, что ему удалось узнать. Меня поразила горячность его тона, он был весь в том, что рассказывал. И в этот вечер товарищеского веселья меня поразило еще что-то глубоко скорбное в глазах Успенского, выступавшее порою, когда он молчал и задумывался. Позже, с годами, выражение затаенной скорби становилось острее, черты у губ вырезывались глубже, и когда он говорил о том, о чем изболела душа его, — о жизни русского народа, — появлялся страдальческий излом бровей, переданный на его последнем портрете, который говорит о неизмеримой душевной намученности.

М. Цебрикова «Памяти Глеба Ивановича Успенского», «Смоленский вестник» 1902, № 99, от 4 мая.

... Память у меня еще не дурная, но я с трудом ищу в громадном количестве встреченных мною в моих жизненных мытарствах людей человека, произведшего на меня более симпатичное впечатление, чем покойный Глеб Иванович Успенский.

Своею врожденною, априорною, так сказать, благожелательностью ко всякому ближнему, покуда психологическая чуткость не подшепнула Глебу Ивановичу — «это прохвост», своею простотою, искренностью и откровенностью, сердечностью, задушевностью — он завоевывал нового знакомого, без малейшего о том старания, с первого часа знакомства, и чем больше вы с ним сближались, тем завоевание было полнее, с тем большим внутренним удовольствием вы вспоминали потом о встрече с ним...

Помимо же этой стороны, знакомство с ним имело еще другую прелесть: наблюдательный и вдумчивый, он высказывался охотно обо всем, чем интересовался в данный момент, и формулировал свои мысли в очень своеобразных выражениях, сопоставлениях, образах, не укладывающихся в ходячий способ определений и аргументаций. Рутинерам словопрений речь Успенского могла часто казаться смутной, подчас доходящей почти до нечленораздельности, даже и

тогда, когда в нем не замечалось ни признаков болезни, безвременно лишившей его способности сознательно и здраво думать, ни возбуждения, вызванного лишней рюмкой вина или кружкой пива. Собеседников же, не порабощенных шаблонными приемами уяснения явлений, Успенский пленял, напротив, мягкостью характеристик, зигзаговатостью доказательств, отрывочностью и перескакиванием...

Заменяя в студенческие годы больного товарища, дававшего уроки племяннице покойного Григория Захаровича Елисеева, соредактора «Отечественных записок», я встретился в первый раз с Глебом Ивановичем на скромном, но затянувшемся до утра зимнем пикнике в Лесном, устроенном кружком ближайших знакомых Елисеевых. Г. И. Успенский, как и Н[иколай] К[онстантинович] Михайловский были тогда еще молодыми людьми, молоды были жены их обоих, и веселились они премило. Кажется, Демерт или Курочкин озаботились о нескольких музыкантах, а на меня была возложена миссия руководить танцами. Мне помнится, Глеб Иванович затруднял мне надлежащее исполнение этой миссии часто повторяемым отрыванием музыкантов от «дела» и уводом их в комнату, где был накрыт стол с закусками — телятиной, ростбифом (заготовленными попечением Екатерины Павловны Елисеевой) и бутылками. Несмотря на то, что на пикнике было несколько неутомимо страстных плясунов, Глеб Иванович так обезоруживающе предлагал им принять к сердцу желудочные и глоточные интересы увеселителей-музыкантов, что они нисколько не претендовали на частые и длинные перерывы в танцах, напротив, помогали «чудному человеку Глебушке» угощать «оркестр».

Старый петербуржец, «Мои встречи с Г. И. Успенским», «Биржевые ведомости», 1902 № 83, от 27 марта.

В редакции «Азиатского вестника»[30] или, вернее, в кабинете Пашино, я имел радость познакомиться с Глебом Успенским, еще совсем молодым человеком, не очень старше меня. Редко у кого я видел такое милое выражение, все его лицо светилось какою-то сплошною улыбкою. Он был застенчив, как барышня, а деньги торопливо сунул в карман, словно врач, начинавший практику, — не считая. Он был черниговским земляком моим, и я сказал ему, что гимназия его помнит и помнит Лесковица, предместье Чернигова, расположенное в гористой местности, где он «стоял» на квартире. Он весело засмеялся.

— Скажите, — спросил он, понизив голос, — дурным не пахнет здесь? — И он посмотрел на письменный стол, на книжные шкафы. — Впрочем, если Курочкин и Шелгунов... Ну, Михайловский, положим, не станет участвовать в журнале — патриотизм к «Отечественным запискам» не позволит. Да ведь и я, между нами сказать, патриот. И у меня с Некрасовым условие: все, что напишу, ему должен отдать первому, а что забракуют, волен я печатать, где мне сблагорассудится. Так, значит, ваше чутье не обманывает вас? Ничем не пахнет? На всякий случай посоветуйте Курочкину запустить зонд в Некрасова. Что он скажет. У него, знаете, нос как у выжлеца, — сам хвалится...

Иер. Ясинский. «Роман моей жизни (книга воспоминаний)», Госиздат, Л.-М. 1926, стр. 90.

Я поднимался по лестнице квартиры Некрасова в большом волнении. [31] День был приемный; входили все без доклада. В большом светлом кабинете было несколько человек. Кто там был, от смущения я не мог разобрать. На пороге столкнулся с блондином, довольно плохо одетым; на нем был старенький пиджак, криво застегнутая жилетка и выцветшие брюки неопределенного колера. Он нес в руках книгу и посторонился, чтобы дать мне дорогу. Еще более смущенный, я тоже посторонился. Так мы простояли секунды две. Блондин чуть-чуть улыбнулся и прошел первым. У него были хорошие голубые глаза и ласкающая приятная улыбка.

Это был Глеб Иванович Успенский. Воспоминание об этом человеке — лучшее и отраднейшее воспоминание из всего начала моей литературной карьеры. В нем было много симпатичного, много искренности и честности. Очень непрактичный и неустойчивый по характеру, Глеб Успенский был, однако, беззаветно предан тому, что проводил в своих сочинениях, чему верил и что любил. С ним впоследствии я познакомился и сошелся довольно близко. В затеянном мною в 1872 году журнале «Дешевая библиотека» [32] он охотно поместил большой рассказ и сам назначил плату по 30 рублей с листа, хотя этот талантливый писатель в «Отечественных записках» получал по 150 рублей и более за лист...... Для Г. И. Успенского деньги никогда не имели большого значения...

Николай Курочкин, коренастый, лысый брюнет, пользовался в известных литературных слоях большим значением. То, что он написал и напечатал, далеко не может объяснить его значения и влияния. Неоспоримо умный, в противопо-

БИБЛІОТЕКА СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

НРАВЫ

РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ.

ИЗЪ БІОГРАФІИ ИСКАТЕЛЯ ТЕПЛЫХЪ МѢСТЪ. — ПРОГУЛКА. — БОЙЦЫ. — ИЗВОЩИКЪ.

Соч. Глѣба Успенскаго

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ А. Ф. БАЗУНОВА
1872.

Титульный лист первого издания „Растеряевой улицы“.

ложность своему высокоталантливому брату Василию он умел сплачивать, соединять вокруг себя литературных людей, класс, как всем ведомо, самый неуживчивый и капризный. У Глеба Ивановича он бывал часто. Скромный, до болезненности застенчивый и мнительный, Успенский постоянно прибегал к посредничеству Курочкина в разных своих затруднениях. Говорил Николай Курочкин много, и лучше, чем писал. Устранить товарищеское или редакционное недоразумение, похлопотать относительно помещения рукописи, дружески посоветовать — все это он умел, как никто...'

Левитов появлялся в Петербурге периодически и куда-то исчезал... О нем могу сказать одно: это была личность энергичная, умная, талант у него был большой, но он его забросил. Вечные загулы мешали работать. Влияние его на слабохарактерного Успенского было вредное. Он его спаивал. Вот пример очень характерный.

Захожу как-то к Глебу Ивановичу и дивлюсь: в тихой обыкновенно квартире какая-то ярмарка открылась.

Был час двенадцатый утра. Человек шесть пьяных и полупьяных, небритых и немытых личностей населяют первую от передней довольно большую комнату. Во второй, спальной, заперлась жена Успенского и плачет.

— Это, — говорила она, — второй день идет такой содом. Сколько они выпили, сколько выпили... Но главное — не это. Ведь мой-то не пьет, а по слабости характера с ними бражничает. И заболеет, непременно заболеет после этой ярмарки.

Осматриваюсь. Все незнакомые лица, только одного Левитова узнаю. Кто же остальные незнакомцы?

Хозяин ходит по комнате бледный, помятый, с опухшими от бессонницы глазами. На губах у него бродит загадочная улыбка. Он не то шутит, не то бранится с гостями.

— Выпьешь! — говорит он мне.

— Не пью. Ведь ты знаешь, что не пью.

— А, не пьешь! Зачем тогда в этот кабак пришел?

— Да ведь это твоя квартира, а не кабак.

— Была квартира, а вот Левитов сделал из нее кабак. Не веришь? Погляди: вот полштофы на столе, рюмки и колбаса. В углу на полу спят пьяные, одного даже стошнило... Чем не кабак!

— Зачем же ты допускаешь?

— Вот поди же ты! Допускаю... Не надо бы, а допускаю.

Прошло минут десять. Пьяные несли разную белиберду, пили, засыпали, просыпались, а хозяин все продолжал

ходить от одного к другому, перебрасываясь желчными выходками.

— Кто этот черный, что так страшно ворочает глазами? — спрашиваю.

— Это — Григорьев, будущий литератор. Левитов привел, уверяет — большой талант.

— А этот в сюртуке с форменными пуговицами? Больше всех пьет и не пьян?

— Это привел Григорьев, а как его звать — не упомню. Кажется, отставной учитель.

— А эти двое, что спят на полу?

— Этих тоже Григорьев привел.

— Ну, а вот этот одноглазый, с прорванным локтем?

— Этого я совсем не знаю. Его привели с собой те, что на полу спят. Сам чорт не разберет, кто кого привел.

Я просидел с час и ушел, сердечно опечаленный, что такой крупный талант губит себя компанией с такими людьми.

— Выгони их, — говорю Глебу Ивановичу на прощанье.

— И выгоню. Только ведь что пользы: завтра, послезавтра опять придут.

— Не пускай. На что они тебе?

— А кого же пускать? Эти!.. Все же они люди. Пьяницы, но искра божия все же в них живет. А вот как насобираются... — и он назвал несколько имен трезвых и добродетельных писателей и добавил:

— Пожалуй, те будут похуже. Этих всегда выгнать можно, а тех, что́ твоих клопов, — загнездятся — ничем не выведешь. Григорьев даже со способностями. Такой, братец ты мой, очерк «Волки» написал, что сразу обрисовался!

— Ой-ли? Да точно ли талант?

— Он мне читал. Скоро будет напечатан.

— Все-таки разгони, а то сам заболеешь.

— И разгоню. Только ведь без людей скучно. Эти вот проспятся — людьми станут, а те — никогда. Которые же лучше?

С. С. Окрейц, «Из литературных воспоминаний», «Исторический вестник» 1907, апрель, стр. 79—84.

... По приезде, не пойду ни к кому и ни с кем не скажу ни слова. Буду читать и работать и во что бы то ни стало выбьюсь из поганых долгов... [33]

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Москва (1871 г.), «Минувшие годы» 1908 № 4, стр 4.



Г. И. Успенский.
С фотографии 1860—70-х годов.
Гос. литературный музей в Москве.

ГЛАВА IV

Первая поездка за границу (1872)

Увлек туда Г. И., повидимому, Николай Евграфович Павловский, сотрудник «Отечественных записок»; он печатал в журнале статьи из иностранной социальной жизни, хорошо знал французский язык и стремился в Париж, может быть, по каким-либо планам участия в политической агитации, либо просто имея в виду сотрудничество в «Отечественных записках». Денег на поездку им дал Некрасов (сообщение М[арьи] Е[вграфовны] Михайловской, сестры Павловского).

Сведения, сообщенные М. Е. Михайловской В. Е. Чешихину (*В. Е. Чешихин.* «Г. И. Успенский. Биографический очерк», М. 1929, стр. 91).

Друг любезный Бяшечка. Письмо будет коротким, потому что я не огляделся и не отдохнул с дороги, да и в голову так много набралось нового, что не сообразишь. В Берлин мы приехали только сейчас, в 6 часов вечера. Всю дорогу ехали отлично, — но как жаль, что не знаешь языка. Н[иколай] Евгр[афович] [1] кое-что знает и вообще может спросить обо всем, но этого очень мало, а хотелось бы говорить с этим народом. Скажу кратко: с самого Эйдкунена сразу прекращается все русское, кроме природы, да и та верст через 200 — неузнаваема, хоть и та же самая, — так обработаны здесь наши пустыни петербургские. Деревня, пашня наша и прусская — что небо и земля. Деревни до того красивы и хороши, что, кажется, не уехал бы отсюда вовеки. Но что же будет дальше? В Эйдкунене нас осмеяла буфетчица за то, что мы не умели спросить водки: мы с Н[иколаем] Евгр[афовичем] стояли перед буфетом, как столбы, и переглядывались друг с другом; немка смотрела на нас, как на учеников которые не знают урока, потом пожала плечом и налила какой-то сволочи... Прости меня,

что я раньше не написал тебе из Эйдкунена. Не зная ни слова по-немецки, я не умел даже спросить бумаги, да возня с осмотром вещей и усталость...

Письмо *Г. И. Успенского* жене, Берлин (1872 г.).[2]
вторник. «Русское богатство», 1912, № 1.

. . Когда мы проезжали Вильну — город прелестный, похожий по постройке на заграничный, то массы гуляющих были в одних сюртуках, а дамы в одних платьях. Чем дальше, тем русского оставалось все меньше и меньше. Вот вместо русских мужиков и баб пошли польские, гораздо беднее русских, но чище и опрятнее, а главное простого народа в вагонах с каждой станцией делалось все меньше и меньше, и едва началась Пруссия, как *мужика* совсем не стало, его нет. С нами ехали мужики и бабы, но вовсе не русские, — они одеты по-господски, и только руки в мозолях да необыкновенное здоровье отличает их от господ. Те же петербургские болота здесь приведены в такой вид, что любо смотреть: везде прорыты канавки, все осушено, распахано, покрыто зеленью. Леса, те же самые еловые леса, какие окружают Петербург, — эти леса буквально вычищены, как комната; вся сорная трава, сучья, ветки, — все это собрано в кучи, и повсюду видна свежая травка. Нашего бедного скота тоже нет. .

...Лучше всего, чего мне никогда не забыть, это Кельн и Рейн перед Кельном, — это такая прелесть, которую надо видеть и которую рассказать невозможно. Тут до того все оригинально, красиво, хорошо, что ничего подобного никогда нам не снилось во сне. Как бы я хотел, чтобы ты была тогда там же! Как мне жаль было тебя, друг дорогой, больнушка! А тут вхожу в вокзал, дело было в 8 ч[асов] утра, и сажусь пить кофе, — смотрю: дама и мужчина перекинулись словом по-русски — оказывается, это Суслова[3] едет в Кале и Лондон. Я, однако, не говорил с ней; она видела меня всего раз, и то вечером, я думаю, — не узнает, а очень бы хотелось поговорить с ней. Потом я очень жалел, а главное тебя жалел ужасно, что тебя нет тут, друг ты мой. Даже зимой или с осени я думаю употребить все меры, чтобы в нынешнем году до родов ехать за границу и жить там до весны. Но в Германии, а не во Франции. Франция производит впечатление почти невероятное. Сначала, после цветущей Германии, неприятно поражает Бельгия. Вся страна эта покрыта фабриками и заводами. Если я говорю *вся*, то это почти буквально: нет уголка, где бы не было



Г. И. Успенский.
С фотографии 1872 г.
Институт русской литературы Академии наук СССР.

труб, дыма, свиста паровозов, и все это до того ужасно, что кажется под землей, где все это идет, задыхаются массы, миллионы людей. Действительно, в Бельгии, повидимому, полное безлюдье — весь народ на работе; деревень нет, а около фабрик — длинные казармы, выстроенные фабрикантами для рабочих; кое-где сушится на солнце белье, самое нищенское, кое-где в поле работает баба, грязная, грязней нашей бабы. Вот сторожиха при железной дороге; она босиком, в грязнейшем платье, лицо ее худое, противное, — бедность тут ужасная, как мне кажется, а кругом — каменные горы, буквально выше Исакиевского собора, горы камней, напоминающие слоновую кость, и в щелях люди, как мухи, бьют этот камень...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Париж, суббота святой недели (1872 г.), там же.

Моим близким знакомством с Успенским я обязана отчасти счастливой случайности. Читая с весны 1872 года корректуру «Гражданина», мне приходилось по воскресеньям работать в типографии Траншеля, чтобы не задерживать набора и верстанья газеты, длившихся иногда целую ночь. А с переездом семьи редактора, Г[ригория] К[онстантиновича] Градовского, на дачу, я нашла более удобным и в остальные дни работать в типографии, а не в столовой редактора, куда ежедневно являлся издатель — считать нумера своего издания... В конторе у Траншеля я чувствовала себя гораздо свободнее. Сам Траншель слыл за человека с «образованием»... Заказчиков у него было много, а корректором был тогда некто З—ский, или «Removed», как все называли его (он был заика, и когда волновался — все слова начинал со слога «ббо»). Это был недоучившийся студент Горного института, человек с большими способностями, но совершенно неприспособленный к какому бы то ни было «образу жизни». Он и работал и кутил запоем, по целым неделям пропадая в разных «общественных учреждениях», и постоянно сражался с Траншелем, доказывая ему, что он «человек свободный, а вовсе не крепостной», и «вправе» работать «не из-под палки», а когда «действительно нужно»...

— ... Решительно не понимаю, — говорил он, — как это честная и неглупая женщина может иметь дело с таким шутом гороховым, как этот ваш, с позволенья сказать, князь М[ещерский].

Он подносил мне печатавшиеся у Траншеля листки «Маляра»,[4] где постоянно помещались карикатуры на «Гра-

жданин»[5] и его издателя, изображаемого большей частью в образе Арлекина, и говорил с ядовитой иронией:

— Вот, полюбуйтесь на вашего арлекина!.. Вот как над ним потешаются! А вы от него получаете деньги, вы зависите от этого арлекина!

И как я ни старалась доказать ему и себе, что деньги я получаю не за сочувствие мое взглядам кн[язя] М[ещерского] и его сотрудников, а за очень утомительный труд разбирания его рукописей и выправление ошибок, внутренно я тяготилась моим положением с самого первого дня и всей душой стремилась к освобождению... А З—ский не унимался вплоть до тех пор, пока не увидал меня однажды в типографии с книжкой «Отечественных записок»...

— Ба! Что я вижу! Да вы и хорошие книжки тоже читаете!.. Вы, может быть, и приятеля моего, Николая Михайловского, тоже читаете? Ведь это будущее наше светило. Умница и большой талант! Это второй у нас Писарев. Честное слово даю!

И тут — совершенно неожиданно для меня — оказалось, что З—ский близко знает не только Михайловского, с которым их «вместе из Горного за одну и ту же историю выгнали», но и жену Михайловского, бывшую невесту свою, он «уступил», как друг, — «более его достойному другу». Знал З—ский чуть ли не всю подноготную всех современных ему литераторов: — братьев Курочкиных, и Демерта, и Минаева, и Слепцова, и Марко-Вовчек — «плантаторша — тоже в своем роде Траншель в юбке...» Я слушала его невероятно-«обличительные» рассказы: «Некрасов — первостатейный кулак, картежник и весь сгнил от разврата с француженками»... «Щедрин — кулак, генерал и сквалыга», и т. д., и т. д... — слушала и не знала, что думать.

Мне было двадцать лет едва ...
Кровь горячо текла по жилам,
Кружилась в мыслях голова
И все казалося по силам...

Говоря прозой, я только что приехала в Петербург, только что начинала самостоятельно мыслить и жить, — литература с детских лет была для меня святыней...

— И Глеба Успенского тоже знаете? — не без страха спросила я под конец. Этот писатель — из современных — был мне всех симпатичнее, как художник внутренней жизни, и жизни именно *нашей,* искателей хлеба насущного, света и правды, и, задавая вопрос, я уже безотчетно боялась услышать что-нибудь нехорошее.

— Глеба Иваныча? Глебушку? — нараспев протянул Бобоша: — Еще бы не знать!

И тон, и выражение лица у него заметно смягчились, и глаза смотрели не так уже нагло, когда он с чувством прибавил:

— Ах, славный он! Золотая душа! И младенчески чистая, должен прибавить. Ббо... я... чистоту души увва-жжаю!

— Глебушка теперь за границей, — продолжал рассказывать мне Бобоша. — Он в Париже. Но как только приедет — обязательно вас с ним познакомлю. И жена у него — великолепная женщина. Всем женам в пример можно ее поставить. Идеал и самоотвержение. Представьте одно: чтобы дать возможность Глебу Ивановичу побывать за границей, она взяла место сельской учительницы, и вот теперь сидит где-то в глуши в Орловской губернии... А потом и еще: умна необыкновенно! Недавно она такое письмо прислала в редакцию «Отечественных записок», такое письмо, что я, как только ее увижу, в ножки ей поклонюсь за него. Умная! И ка-ак она их там всех пробирает — всех «генералов»-то от «Записок отечества»!.. По пятидесяти рублей в месяц положили Глебу Ивановичу, — точно он тоже у них, что я здесь у Траншеля, — да еще *один рубль* каждый раз у него высчитывали — за пересылку по почте... Как вам это нравится? Да я бы, после такого письма, какое она им прислала, пулю бы в лоб пустил — себе или ей, — честное слово даю! — ну, а эти их превосходительства поторговались промеж себя, посчитали на счетах, накинули двадцать пять рублей серебром, заперли лавку и разошлись по домам, играть в карты. Репутация, дескать, обеспечена. Фирма не пострадает. Ну, и талант... поддержали!.. Вообще, я вам вот что скажу, — просвещал он меня при этом: — вы, пожалуйста, эту вашу провинцию поскорей позабудьте, и так и знайте, что все эти литературные «генералы» — в сущности те же Траншели: торгуют чужим трудом...

... Неделю или две спустя в контору пришли две дамы, — З—ский предупредил меня, что они придут, — одна высокая полная брюнетка, вся в черном, другая — маленькая, сухощавая и вертлявая, с распущенными вдоль спины белокурыми волосами и грубым загорелым лицом, одетая по-дачному — в чем-то легком и светлом, с небрежно наброшенным на плечи синим ватерпруфом, и в шляпе мужского покроя. Она звонко крикнула:

— Здесь господин З—ский? Можно его видеть? — обратилась она ко мне и прибавила: — Михайловская.

— Успенская, — тихо проговорила вслед за ней высокая бледная дама, энергически пожимая мне руку.

Время было обеденное; З—ский еще не вернулся. Я предложила им подождать его. Они присели, и мы молча с минуту разглядывали друг друга. Я не сомневалась, что З—ский успел и их посвятить во все подробности нашего с ним знакомства.

Жены писателей представляли, повидимому, полную противоположность. Одна походила на школьницу-сорванца, другая — на солидную гувернантку, хотя они были почти одних лет, — обеим под тридцать.

Михайловская напоминала что-то цыганское, эксцентричное и бравурное. У нее были крупные, как у Бобоши, чувственные губы; в низком грудном голосе звенели точно колокольчики, красивые темносерые глаза сверкали каким-то бешеным весельем. Но я отлично знала уже благодаря Бобоше, что она из вполне благовоспитанной семьи, кончила курс с «бриллиантовым шифром» в одном из лучших тогда институтов и считалась любимой ученицей Рубинштейна.

Жена Успенского была совсем в другом роде. Круглолицая, очень белая, без кровинки в лице, с мягкими очертаниями, с тихим, слегка певучим голосом, с плавной походкой и ровными, неторопливыми движениями, она казалась гораздо старше и в своей черной мантилье, шляпе-капот на коротко остриженных волосах и в замшевым черных перчатках (Михайловская была совсем без перчаток) напомнила мне директрису не очень давно оставленной мною гимназии, — и не скажу, чтобы меня от этого повлекло тогда к ней (Михайловская показалась мне интереснее). Но энергическое рукопожатие говорило о нервной жизненной силе, и в круглых, как бусины, черных глазах вспыхивал какой-то таинственный огонек, невольно покорявший этой скрытой в ней силе.

З—ский пришел приодетый, причесанный, в свежем белье, и они увели его с собою — смотреть квартиры. Михайловская, прощаясь со мной, повторила приглашение побывать у них в Гатчине.

— Только советую приезжать поскорее — пока еще розы цветут, и ягоды не все оборвали! И пока нас всех вместе с нашей великолепной дачей не унесло ветром! — со смехом крикнула она мне уже на пороге...

...Дача Михайловских была у самого парка, и вся утопала в зелени. Мы застали всех — и гостей, и хозяев — в саду, за чтением писем Глеба Иваныча из Парижа.

Александра Васильевна жаловалась при этом, что не находит подходящей для них квартиры, где было бы удобно работать Глебу Иванычу, и что придется оставаться опять на старой — там же, где Демерт, в доме Воронина, на Гончарной...

... Помню, в какое умиление привела меня эта бедная, тесная дача из барочных досок, с круглыми дырами от гвоздей, в которые свободно дул летний ветер и брызгали золотым огнем солнечные лучи. Вся обстановка — простые, некрашеные столы, скамейки и табуреты, даже кровати, покрытые пледами, вызывали во мне умиление и восторг. А к письменному столу Николая Константиновича я не смела подойти — как будто это был не стол, но алтарь, где совершалось священнослужение. Стол был тоже простой, деревянный, заваленный грудами рукописей, книг и газет. Книги лежали на полках и на полу. Пара венских стульев и деревянный табурет у стола довершали убранство этого «кабинета писателя». В комнате Марьи Евграфовны была такая же первобытная простота. И помню, когда Александра Васильевна перед обедом искала зеркала, чтобы поправить прическу, Марья Евграфовна, смеясь, принесла ей из кухни осколок, в котором можно было разглядеть один только глаз и кончик носа, да и то в исковерканном виде. Но Александре Васильевне уступили самую лучшую комнату, а в столовой для гостей стояла привезенная из города удобная софа. И все, что мне говорили и показывали тогда, казалось мне до того пленительно и чудесно, что окончательно расчувствовалась, ушла от них в сад и предалась там на воле самым восторженным размышлениям о «новой жизни» и «новых людях». Ведь, собственно, новое и было вот именно тут, в этой восхитительной простоте! Человек подходил прямо и просто, как *человек* к *человеку*, входил в круг близких, становился членом одной и той же семьи. Разве это было не ново? Не возвышенно-хорошо?..

... Меня оставили ночевать и уложили в центральной столовой, на «софе для гостей». Вокруг меня все разместились по разным комнатам и клетушкам. Только Removed Бобоше не хватило места в доме, и его с другим гостем-студентом уложили спать на балконе, в ворохах свежего сена. И, кажется, только они там и спали в эту ночь, несмотря на дождь и грозу. Вокруг меня разговаривали всю ночь напролет. Марья Евграфовна без умолку хохотала и заставляла других хохотать, рассказывая остроумные анекдоты из жизни — своей и чужой, — большей частью, разумеется, фантастические.

Потом как будто затихало, и слышался только шелест переворачиваемых страниц из спальни Николая Константиновича, но минуту спустя раздавался стук в тонкую стену и голос Марьи Евграфовны:

— Александра Васильевна, вы еще не заснули? Что вы там делаете?

— Я перечитываю письма Глеба Ивановича. Мне не нравится, зачем это он пошел в Bal-Mobil... * Это ваш брат его туда затащил, Марья Евграфовна.

— От Михаила Евграфовича[6] я всего ожидаю. Но вообще я не понимаю, как это вы решились отпустить Глеба Ивановича без себя!..

— Я не могла ехать с ним теперь за границу. У нас столько долгов... Откуда же было взять денег на это? И потом я больна, я теперь устаю... Я бы только стеснила его.

— Ну, так и ему совсем тогда незачем было ехать!..

— Ему было нужно поехать. Глеб Иванович хочет работать. Ему надо много видеть и знать.

— Но в Париж, в Париж!.. Нет, воля ваша, я бы ни за что не пустила! Барин! вы слышите? — Она стучала в дощатую перегородку «кабинета», где Михайловский, повидимому, читал в постели. — Вы от меня не уедете никуда. Предупреждаю! Повисну на шее — или со мной, или никуда!.. Барин! Отвечайте же нам: хорошо она сделала, что пустила его?

— По-моему, превосходно. Образцово поступила Александра Васильевна. Глеб Иванович не ребенок, и он прекрасно знает цену своей жене.

— Но я бы дьявольски ревновала... Барин, как это вы не хотите понять! Француженки... парижанки... Канкан в Bal-Mobil... И Глеб Иваныч на все это смотрит... Воображаю! — Она звонко расхохоталась. — Они его там начнут просвещать, а он и пикнуть не смеет! Смотрит во все глаза да дергает себя за бороду... Воображаю!.. Нет, барин, вы только это представьте себе... Картина! (Хохот.) Глеб Иваныч...канкан...И какая-нибудь Suzon-Louison башмачком ему в нос!.. «Qu'est-ce qu'il veut de moi, ce drole-là...» ** (Хохот.)

— Я не боюсь никаких парижанок, — слышался ровный, невозмутимый голос Александры Васильевны. — И мы не для того сошлись с Глебом Иванычем, чтобы виснуть друг у друга на шее... Я уверена, Глеб Иваныч вернется таким,

* Летучий бал парижской богемы.
** Что ему от меня надо, этому чудаку?

как он был... Мне просто страшно за его здоровье... И зачем же ему смотреть все эти гадости, когда он знает, что это гадко?!

— Барышня! Вы не спите? — не унималась Марья Евграфовна. — Мы вас будим? Не даем вам заснуть? Спите завтра хоть до обеда, но теперь подавайте свой голос... Что вы думаете? Говорите скорее!

Я еще ровно ничего не думала и не до сна мне было с таким обилием новых впечатлений, но я должна была что-нибудь ответить, чтобы они знали, что я не сплю и все слышу, и я сказала, что, по-моему, Александра Васильевна очень счастлива, если может быть так уверена...

— Ну, уж счастье, могу сказать! — закипятилась снова М. Е. — Муж полгода в Париже, а жена — здесь одна!.. Страсти ни капли — вот в чем вся штука! Это от малокровия, Александра Васильевна, уверяю вас. Барин, вы слышали, что я говорю? Вы согласны?..

И так продолжалось вплоть до рассвета.

Я прогостила тогда у Михайловских дня два или три, и все дни походили на этот. Было весело, интересно, но и как будто слегка дурманно, — благодаря бурной неугомонности Марьи Евграфовны. Все существо этой женщины как будто начинено было порохом, и от малейшего прикосновения вызывало взрывы то истерического смеха, то истерических слез. Только в часы, когда работал Николай Константинович, она ходила на цыпочках, прикладывая палец к губам, или убегала вон из дому — «чтобы не мешать», уводя при этом с собой свою свиту, беспрестанно откуда-то приходивших и опять исчезавших гостей. И чего только ни выделывала она тогда! То бегала взапуски со студентами и колбасницей, то прыгала через скамейки, канавы и изгороди, то ураганом носилась по парку, пуская драматические рулады то просто, ни с того, ни с сего, кричала «ура!», «караул!», и была счастлива, как ребенок, когда на крик ее прибегал, запыхавшись, городовой и с недоумением оглядывался вокруг на чинно сидевшую на скамейках «чистую публику», не понимая, в чем дело. Погуляв так с нами однажды, Александра Васильевна отказывалась потом под разными предлогами: или нужно было написать Глебу Иванычу, или прочесть какую-нибудь статью и посоветоваться о своих делах с Николаем Константиновичем, — и затем встречала нас с снисходительной улыбкой доброй наставницы, как неразумных, но милых детей...

...Возвращалась я не то что разочарованная, а как бы «исцеленная» от «нелепого бреда» о «святынях», «проро-

ках» и прочее... Даже самой мне казалось тогда смешным высокопарное настроение, в каком я ехала в Гатчину. Нимбы исчезли. Небожителей не было. Ни святых, ни пророков — люди, как люди. Добрые, умные, честные и простые. Главное — очень простые, доступные всем, как будто все были им действительно *ближние*... Чего же еще желать?! Я как будто сразу «прозрела» и поняла неизбежную разницу между «писательством» и обиходною жизнью. За письменным столом, наедине с собою и книгами, писатель и думает, и живет для *литературы*, то есть для всех. И кто хочет знать его чувства и мысли — должен читать, что он написал...

Так думалось мне тогда. И только после встречи с Глебом Ивановичем я узнала, что можно даже одним молчаливым своим присутствием давать ощущение творческой правды и творческого огня.

В. В. Тимофеева.

... Но уж если есть безукоризненно приятное зрелище, так это Нотр-Дам — церковь Парижской божьей матери. Я попал туда в Троицу; служба была торжественная, но народу почти никого не было или было очень мало, все больше народ, который пришел поглазеть, посмотреть; один (франт) вошел даже в шапке, с сигарой, с дамой под-руку. Это случилось, когда я выходил, и не знаю, что с ним было; говорят, что это не диво. Вообще нельзя сказать, чтобы народ был богомолен; наш лакей Жозеф ни разу не был в Нотр-Дам, а в церкви бывал только в детстве. Но для человека постороннего, не умеющего видеть и не привыкшего видеть во всем этом чепухи и мошенничества, которым прославилось духовенство и которое действительно по случаю своего мошенничества уважения не имеет, для постороннего, как, например, для меня, знающего, как молятся наши в деревнях и городах простые люди под напев безголосого дьячка, — для меня в Нотр-Дам было что-то решительно необыкновенное. Орган, пение, музыка, — все это до того выразительно и сильно, что передать я не могу. Мастера были молиться и с такими средствами можно было морочить народ. Нотр-Дам — церковь громадная, старинная, стекла в высоких окнах цветные, каждый шаг знаменит исторически, но и тут торгашество залезло, как нельзя лучше: сесть на стул стоит 15 сант[имов]. Нотр-Дам оставила во мне славное впечатление, несмотря на всякую гадостную подкладку и барышничество. Я опять пойду туда и пробуду какую-нибудь целую службу. Потом, разумеется, надоест, но теперь хорошо с непривычки...

... Но в Пантеоне есть и такое, что кое-что значит. Это портик. Портик, т[о] е[сть] выход, совершенно такой же, как в Исакиевском соборе, хотя, например, со стороны севера: те же колонны, потом площадка, потом стена, в которой дверь в самый храм; так вот эта-то стена, сажен 15 вышиною, до сих пор исстрелена миллионами пуль, которые не попали в камень, а только обожгли его, чуть сшибли, примерно такими звездами.[7] Этими пулями исстреляны также статуи, стоящие по бокам входной двери, и теперь снизу загорожены досками: здесь и на этом самом месте версальцы в прошлом году 21 мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадка была залита кровью, и теперь даже кровь так въелась в камень, что, как ни отчищали ее, пегие пятна видны. Я на этой площадке простоял час словно помешанный или в столбняке, ноги мои словно приросли к тому месту, где умерло столько народу. В то же время по этим пятнам бегали дети, играли в лошадки...

... Еще чаще всего хожу я в Лувр. Вот еще где можно опомниться и выздороветь! Тут собрано столько искусства и такого дорогого, что каждая песчинка стоит не миллионов, а слез. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская. Это вот что такое: кроме Лувра, я был в Люксембурге и на современной художественной выставке; в Люксембурге собраны произведения художников империи примерно с прошлого столетия, на выставке — тех же и новых художников за последние несколько лет; везде, и в Люксембурге и на выставке, есть целые сотни Венер, т[о] е[сть] голых баб в разных видах, для стариков, и я заметил, что кроме известного впечатления в них нет другой мысли; одна прикрывается рукой, другая лежит спиной, третья, поджав ноги, четвертая спит навзничь — словом, бездна. Чем ближе к современности, тем хуже: изображаются девочки лет по 13 — с наивнейшим выражением лица, шепчущие на ухо сатиру что-то, должно быть, скабрезное, потому что тот улыбается самым подлым образом. Когда я смотрел всю эту мерзость, мне вдруг необыкновенно полюбилась Венера Милосская, которую я, признаться, видел, но не понял сначала. Какое сравнение с этими, не имеющими мысли, женскими телами и той: та, старая, чуть не развалившаяся статуя, с попорченной щекой, с прогнившими в алебастре щелями от ветхости, с обломанными руками, высокая, выше 13-летних Венер настоящего времени [в] два раза, с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни. Вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее! Она вся закрыта, — у нее

видны лицо, грудь и часть бедер, но это действительно такое лекарство — особенно лицо — от всего гадкого, что есть на душе, что не знаю, какое есть еще другое? В стороне от этой статуи (я хочу написать о ней Ярошенке, но думаю, что он не поймет всего) стоит диванчик, на котором больной и слепой Гейне каждое утро приходил сюда и плакал.

Да! Лувр — это великий целитель! Я хожу туда чуть не каждый день. Дряни и мерзости тоже больно много, но и красоты не сосчитаешь сразу.

Мы отправились... в Версаль, чтобы попасть в Национ[альное] соб[рание]. Нас туда не пустили (Версаль в роде опрятного Ельца, в 3000 раз лучше, конечно, изящнее, больше — но по скуке то же самое: нигде нет человека, пыль, а в казармах раздается солдатский рожок), и мы пошли *в военный суд,* в котором судят коммунистов. Суд помещается в казармах, где весь двор уставлен пушками, впрочем, безвредными. Комната суда — в роде какого-то подвала с грязными и гадкими скамейками, с желтыми, ржавыми занавесками и т. д. Когда мы пришли, суд еще не начинался, и судьи разговаривали с какими-то дамами, должно быть, женами друг друга. Смеялись и хохотали. Все это солдаты с самыми истасканными рылами, с седыми волосами, расчесанными и примазанными густо помадою, с пробором на затылке. Суд начался очень скоро, и эти судьи, усевшись на свои места, продолжали перемигиваться с дамами, тогда как один из них — председатель — судил, т[о]е[сть] ругался с подсудимыми, как у нас ругаются мужики; подсудимые большей частью не напоминают тех революционеров, которым ничего не стоит пропороть ближнему живот. Это простые люди, бедны, но одеты прилично (в роде портного Петра, только лицо похуже, и больное, и испуганное). Все они больше года как сидят в тюрьмах и на галерах. Обвиняется один в том, что взят с оружием в руках. — «Откуда у вас оружие?» — «Я был назначен капитаном Нац[иональной] Гв[ардии]». — «Как вы смели быть капитаном?» — «Меня назначили, г-н председ[атель]! Я пришел в Париж зуавом, а когда версальцы обложили город, меня назначили капитаном, я не мог отказаться, меня бы застрелили!!!» Больше ничего. Его прерывают и приказывают говорить прокурору. Прокурор военный. Он в двух словах говорит просто: «Подсудимого надо сослать на каторжные работы». — «Защитник, ваше слово». — Защитник (т[оже] военный) нехотя и почти с улыбкой говорит: «Я прошу снисхождения». Через 2 минуты подсудимому объявляют решение, по которому он

на 20 лет ссылается в Нов[ую] Каледонию. В один час таким образом при нас захерили на смерть трех человек. Возмутительнее я ничего не видел. Вот злодеи. Что наши судьи! Они святые, они сравнительно образцовые в самом серьезном смысле. Подумай, некоторые не отвечают ни слова и, зная над собой силу, просто молчат и со всем соглашаются. Один стоял, опустив руки, как плети, и повесив голову, словно бы действительно она у него отвалилась на грудь. Казалось, он был в столбняке. С самыми скверными впечатлениями вышли мы отсюда... и пошли пешком за несколько верст от Версаля в Сатори,[8] где расстреляли Росселя.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Париж 10 мая ст. ст. (1872 г.), «Русское богатство», 1912, № 1, стр. 246—256.

Вот друг любезный, я уже почти шесть недель в Париже. Видел я все сколько-нибудь и чем-нибудь замечательное, и теперь мне уже надоело глазеть. Из туриста, который поглазел да уехал и которому больше ничего не надо, я, напротив, желал бы сделаться жителем, иначе пользы мало. Спрашивается: какая необходимость возвращаться в Петербург? И почему нужно тотчас же приниматься за спешную работу, когда она мало чем будет лучше прежней, а главное, за какие грехи мы с тобой наказаны жить петербургской скукой, — чего, впрочем, не дай бог. Поэтому я предлагаю тебе вот что: обдумай и рассуди хорошенько. В Париже жить дешевле и лучше, чем в Петербурге, в Париже жить веселей и *легче,* и есть полная возможность отдохнуть действительно, тогда как в России — мы уже ее довольно знаем. Нам бы следовало прожить здесь по крайней мере год и тогда уже ехать в Россию опять. Поэтому не лучше ли тебе теперь же приехать в Париж, благо, беременность не сильна, а на проезд сюда 3½ дня от Ельца; более против дороги в Петербург, тоже из Ельца, на 1½ дня, безвредней для здоровья в 50 раз против поездки в Крапивну по проселочной дороге. Как ты рассудишь? Денег на это надо занять и сразу рублей 500 у Коли[9] и у Ад[ели] Солом[оновны],[10] потому что если даже мы будем и в Петербурге, то не минуем занять то же по мелочам...[11]

...500 рублей мы может отдать: 1) за продажу 4-го тома;[12] 2) за мой роман,[13] который будет готов к январю. А жить будем корреспонденциями...[14] Как ты думаешь? Поверь, что надо сделать, как лучше хочешь ты в настоящую минуту, и, пожалуйста, не думай, чтобы я потом пенял на твое решение — ничуть. Если я даже и возвращусь в

Россию, то буду работать с удовольствием в надежде на ребенка и на зимнюю поездку за границу.

Отвечай только поскорей.[15]

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Париж, Троицын день (1872 г.)

Милостивый государь Николай Алексеевич! Не гневайтесь на меня, если я снова обращусь к вам с просьбой о некоторой сумме денег. Я потому обращаюсь к вам теперь, что за вашим отъездом из Петербурга, который, быть может, случится очень скоро, мне решительно не к кому будет адресовать мою просьбу. В две недели нашего пребывания в Париже мы по незнанию мест, где можно дешево купить, дешево есть и иметь недорогую квартиру, истратили столько, сколько по нашим петербургским расчетам должно бы было хватить на месяц; да наконец оказалась такая масса любопытнейших пустяков, на которые идут эти франки и сантимы, что вот теперь я весьма ясно вижу невозможность выехать из Парижа, если я еще здесь проживу две недели. А жить здесь мне хочется, да я и буду тут жить непременно еще столько, сколько возможно при самой строгой экономии. Но если бы вы нашли возможным не отказать в моей просьбе, я был бы вам душевно благодарен. До представления рукописи, которая к августовской книжке будет доставлена непременно, в чем вы можете быть вполне уверенными, эта теперешняя моя просьба — последняя. Я бы просил вас одолжить мне еще 100 рублей. Долг мой, помимо работы, которую доставлю в августе, может быть хоть частично покрыт изданием 4-ой книжки, материал для которой — кой-что старое, прошлогодняя вещь, и та, что готовится к осени. Живем мы пока в русской гостинице, но здесь для нас дорого, и к концу третьей недели мы непременно переберемся в Латинский квартал, так как, промотавшись достаточно на первых порах, мы приобрели некоторую опытность. Жить здесь, сколько я заметил, легко, то есть здесь почему-то решительно легче на душе. Остальное вы знаете гораздо лучше меня. Клозри,[16] о которой, сколько помню, упоминали вы, есть действительно вещь превосходная, и я весьма рад, что, по недороговизне платы за вход, могу шататься сюда не то чтобы редко.

Вообще — истинно бы хотелось пожить здесь долее, и поэтому, Николай Алексеевич, ежели вы найдете возможным оказать пособие, то окажите его в близком будущем, адресуя по теперешнему нашему адресу — Rue Cadet 4, покуда мы не переехали. Дела моего товарища по путешествию



Г. И. Успенский

С фотографии 1872 г.

Институт русской литературы Академии Наук СССР

немного в лучшем против меня виде, но не в блистательном, хотя чувствуем мы себя одинаково благополучно. Уважающий вас Г. Успенский.

Письма *Г. И. Успенского* Н. А. Некрасову 5 мая (1872 г.), «Русские записки», 1915, № 11 (*В. Евгениев,* «К характеристике Г. И. Успенского»), стр. 37—38.

В понедельник 5-го числа получены от него [Успенского] письма Некрасовым и Н[иколаем] Курочкиным. И в том и в другом он пишет о немедленной высылке 100 рублей денег, совершенно необходимых ему для выезда из Парижа. В письме к Курочкину он, к заявлению о необходимости 100 рублей, прибавляет: «Если Некрасов не даст, то будьте отцом, Николай Степанович, — достаньте где-нибудь и выручите».

Из всего видно, что момент выезда из-за границы наступил, что дольше жить едва ли возможно.

Некрасов всем нам читал письмо и несколько было заартачился. Начал говорить, что Глебу Ивановичу очень трудно будет впоследствии уплачивать забранное вперед, что его наконец должна когда-нибудь нужда научить, и т. п. На это ему было замечено, что теперь уроки давать человеку было бы слишком жестоко; что нужно сначала дать средства выехать из чужой земли, а потом уже, если нужно, то и за уроки приняться, и проч.

Кончилось тем, что Некрасов при нас же вложил в пакет 100 руб[лей] и отправил по адресу. В то время, когда вы будете читать это письмо, вероятно, Глеб Иванович будет в Париже заниматься разменом русских ассигнаций на какие-нибудь другие и приготовляться к немедленному отплытию с берегов прекрасной Франции, так как ждать ему там, как видно, больше нечего.

Письмо *Н. А. Демерта* А. В. Успенской 8 июня (1872 г.), «Голос минувшего» 1915, № 1.

ГЛАВА V

Возвращение из-за границы.—Работа и жизнь (1872—1875).

— Ну-с, Глеб Иванович наконец приехал! — возвестил мне З—ский. Это было в самом начале августа, накануне какого-то праздника, когда мы собирались опять ехать в Гатчину. — Не желаете ли зайти к нему сегодня со мной? Нам будет как раз по дороге.

— Но как же без приглашения? Он будет недоволен. Мы можем ему помешать... Вообще — страшно...

— Глебушки страшно? Да вы не имеете никакого понятия, что это за человек! Он — добрейший. Одним словом — душа. И больше ничего. А помешать мы ему не можем, потому что зайдем на одну минуту. Может быть, и ему понадобится что-нибудь передать Александре Васильевне... Так желаете?

Видеть Глеба Ивановича мне очень хотелось. Я согласилась, и мы пошли на Фонтанку, в дом Тарасова. С точностью, впрочем, не берусь решить, где это было, — но только не на Гончарной, а где-то по пути на Варшавский вокзал. И по расспросам близких лиц и по логическим догадкам заключаю, что это было в квартире Павловского (второго брата Марьи Евгр[афовны], артиста, в то время еще ученика консерватории). В Гончарной, в квартире Успенских, вероятно, производился ремонт, так как и Александры Вас[ильевны] тоже не было в Петербурге, — она все еще оставалась в Гатчине.

Помню, что мы вошли не стучась в комнату, залитую лучами заката. Лучи падали сбоку, в растворенное окно, и освещали с головы до ног стройную и высокую фигуру человека, стоявшего перед письменным столом, спиною к дверям. Он набивал папиросы и что-то оживленно рассказывал господину, сидевшему сбоку у стола. Не помню наверное, кто сидел, но, кажется, это был тогда Демерт. Голос рассказчика был необыкновенно выразительный и приятный, с характерными паузами и то замедленной, то ускоренной

речью. Я пропустила вперед Бобошу, и первое, что бросилось мне в глаза, был этот весь освещенный лучами заката высокий, стройный человек в стареньком сером летнем пальто и в туфлях — кажется, на босых ногах... Заслышав наши шаги, он быстро обернулся, вспыхнул и стыдливо запахнулся полой с одной верхней пуговицей, — он был без жилета и галстука. Густые русые волосы беспорядочными прядями падали ему на широкий лоб, белый и гладкий, как слоновая кость. Я не могла бы с точностью рассказать, какие были у него черты, какие губы и нос, но золотисто-русая борода, ласковая, застенчивая улыбка и темные горячие глаза, и все лицо, молодое и доброе, разгоряченное солнцем и не остывшим еще волнением любимого труда, симпатичное и как будто *родное* лицо, — все это запомнилось сразу и навсегда.

— Извините, пожалуйста, — торопливо заговорил он, здороваясь с нами. — Тут у меня полнейший разгром. Я ведь только что встал... Всю ночь надо было писать, — он указал глазами на разбросанные по столу мелко исписанные листки почтовой бумаги. — Не хотите ли чаю? Вы, я слышал, из Вильны? Чудесный город... Я проезжал... Совершенно как за границей... Постройки совсем такие же...

И не слушая моих отказов от чаю, все придерживая рукою полу пальто, другой он уже наливал и подавал мне стакан, предлагал папиросу, рекомендовал и дарил только что привезенный им новый французский роман нового романиста [1] и, видимо, не знал, что ему со мной делать. Я поспешила объяснить, что мы зашли только узнать, не даст ли он какого-нибудь поручения в Гатчину.

— Вы едете в Гатчину? Это чудесно. Я тоже завтра приеду. С первым же поездом. Непременно. А сегодня никак не могу. Надо еще дописать и доставить в редакцию. Александра Васильевна знает... Но все-таки лучше я ей сейчас напишу. Обождите одну минуту, пожалуйста. Я вас ничуть не задержу, я сейчас... пару слов...

Он стоя писал записку, а мне почему-то сделалось вдруг совершенно легко, точно дома, в этой неприбранной комнате, с сапогами на столе и диване, с кипящим на окне самоваром, с раскрытыми чемоданами и разбросанными вокруг вещами...

«Вот и приехал Глеб Иванович», — думала я, любовно оглядывая его милую растрепанную голову и нервные, порывистые движения, и мысленно тут же определяя его себе: «Чуткий и трепетный, как струна»... И руки у него были тоже трепетные и горячие.

— Ну, что, как вам понравился Глеб Иванович? — спрашивал меня З — ский дорогой.

— Прелесть! — откровенно призналась я. — Чувствую, что уже люблю его всей душой. И вот странно: как будто я давно-давно его знаю.

Глеб Иванович приехал в Гатчину, как обещал — с первым поездом, когда мы все еще спали. Запомнилось на всю жизнь это яркое голубое утро, и тенисто разросшийся садик на даче у Михайловских, и пышный зеленый малинник, полный спелых душистых ягод, куда я пошла набрать для всех на дорогу малины. Сейчас после завтрака устраивалась «научная экспедиция» в Пулково, где нам обещали показать Венеру, «сверкающую, как алмаз, в лучах солнца». Глеб Иванович стоял подле меня и помогал мне находить самые спелые, крупные ягоды, еще не тронутые червем. Но советовал класть их не в корзину, а прямо в рот.

— Уверяю вас, что именно так следует всегда поступать. Кто хочет — пусть себе сам собирает.

И вдруг, обернувшись ко мне лицом, он отрывисто вымолвил:

— Я слышал, — вы пишете.

Я даже вздрогнула от неожиданности.

— Пробую... Но пока все еще неудачно...

— О чем же вы пишете... Или хотите писать? — спрашивал он, склонив голову немного к плечу, крутя кончики бороды и сосредоточенно всматриваясь в мое лицо. И тут же подсказал мне ответ на мое взволнованное молчанье:

— Ну да, я понимаю: это всегда очень трудно сказать. Обо всем хочется?! — Вы и пишите — о чем только хочется. Только тогда и выходит, когда пишешь, о чем хочется...

Я слушала это как будто сердцем, а не ушами — так проникал его голос мне в душу, — и понимала только одно, что решительно у меня нет и не может быть никаких тайн от этого человека, что этому человеку можно все рассказать и поверить, — все он поймет. И если даже осудит — не будет ни больно, ни оскорбительно. Будет одна только *правда.*

И это чувство к Глебу Ивановичу оставалось у меня неизменным всю жизнь, и никакие позднейшие события не в силах были его изменить, даже когда мне казалось, что он *не понял* и оттого неверно судил многое, многое...

Он был в то утро в изящном летнем костюме, и — помню — все, и мужчины и дамы, восхищались «изумительным» покроем его парижского пальто и жакета и элегантностью его галстука из настоящего linot. И все говорили,

что у Глеба Ивановича теперь вид настоящего «дэнди», а совсем не автора «Разорения» и «Нравов Растеряевой улицы».

Марья Евграфовна приколола ему даже розу в петлицу, уверяя, что он очень похож на Альфреда Мюссе. Глеб Иванович конфузливо крутил бороду (его любимый жест) и, как-то забавно складывая губы, изображал перед нами, в каком бы «по настоящему» виде следовало ходить этому неумытому и нечесанному, хотя вполне благородно-голодному разночинцу... Выходило нечто подобное тому, что мы видели накануне в доме Тарасова на Фонтанке.

Александра Васильевна внезапно молодела и хорошела, как только он подходил к ней или издали смотрел на нее. На бледных щеках ее выступала тогда нежная розоватая краска, а в глазах теплилось что-то мягкое и счастливое, как материнская ласка. Они были одних почти лет и одного роста, и, стоя рядом под деревом, оба напоминали не мужа и жену после пяти лет супружества, а скорее влюбленную институтку и влюбленного студента на вакациях, — говорили при посторонних друг другу «вы», называя по имени-отчеству, но Бобоша уверял в это утро, что он «собственными ушами слышал, как Глеб Иванович сейчас назвал Александру Васильевну Alexandrine».

Друзья-литераторы называли их «четой» из «Давида Копперфильда».[2]

В «экспедицию», помню, собралось нас тогда ровно двадцать восемь человек, и до Царского нам дали отдельный вагон третьего класса. Все устраивалось на артельных началах, в складчину, — все были поэтому нагружены необходимыми припасами, так как до Пулкова предстояло сделать верст семь пешком, а в Пулкове можно было достать только воду и самовар. По началу все сулило одно только общее благополучие, но затем оказалось, что нас ожидали «одни только глупости» — так выражался по крайней мере Демерт, исподлобья поглядывая на всю «компанию». Компания, действительно, была самая разнообразная и держала себя без всяких стеснений. Шум был при этом такой, что нельзя было расслышать даже, что говорилось рядом. И помню, что Михайловский, желая сделать какое-то предложение, должен был встать на скамейку и палкой постучать в потолок, чтобы обратить на себя внимание.

— Господа!.. Молодая Россия!.. Предлагаю на общее ваше решение... — во весь голос кричал он.

На минуту все стихло. Выслушали и согласились на все, ничего не понимая, и снова подняли общий гам.

Кондуктор открыл было дверь, посмотрел на нас, повертел головою и — бесследно исчез. Не знаю, что он думал при этом, но на лице его как будто стояло: «Не то сумасшедшие, не то пьяные, — а еще *господа!*»

Помню также — все очень интересовались молоденькой девушкой лет шестнадцати, маленькой, кругленькой и румяной, как наливное яблоко, с детски-наивными карими глазами, в коричневом платье и черном переднике ученицы на акушерских курсах.

— Сестра Нечаева, — шопотом называли ее друг другу.— До сих пор под надзором...

Спутник ее был тож маленький, четырехугольный студент-ветеринар, с пухлым ртом, резко-угловатыми движениями и отрывисто-повелительным голосом. Он все время командовал ею, а она только звонко и весело хохотала.

Кроме Нечаевой, невольно обращал на себя внимание «заграничный» профессор политической экономии О., говоривший неимоверные глупости с самым «научным видом»... Он явился с молоденькой родственницей, сестрой жены, и с ними сейчас же подружился Бобоша, так как в корзине у них обретались бутылка коньяку и фляга экспорту.

Семь верст шли пешком все, кроме Успенских, уехавших вперед в таратайке, но шли мы эти семь верст что-то очень долго.

По дороге не раз присаживались, развертывались корзины и свертки, раскупоривались бутылки, и поднималась веселая беготня по лугам. Народ собрался здоровый и жизнерадостный, еще не изведавший ни громов, ни бурь... И как сейчас помню одну характерную сцену, невольно бросавшуюся в глаза. На самом солнопеке, посреди луга с стогами и копнами, барахтались в сене пухленькая Нечаева и студент-ветеринар. Она, совсем еще девочка, в слегка вздернутом спереди платье, уже заметно беременная, радостно взвизгивала, когда он зарывал ее с ногами и головой, и они перекатывались друг через друга, очевидно, позабыв обо всем на свете. — И только слышались по временам восклицания: «Ух, хорошо!» — «Хорошо? Ну, так вот вам еще... А теперь что вы скажете: хорошо?» — «Хорошо!» — радостно звенел ее серебристый смех.

— Совсем как маленькие животные, — с улыбкой заметил мой спутник, редактор-издатель карикатурного листка «Маляр», А. М. Волков. — А ведь ее, бедняжку, чуть было к каторге не приговорили. Если бы не Урусов, — пригово-



Г. И. Успенский

С фотографии 1873 г. с автографом: Сестре Нюне от Г. Успенского 20 августа 1873 года.

Литературный музей в Москве

рили бы непременно. Он защищал ее как несовершеннолетнюю, а она — уже мать.

В Пулково, благодаря остановкам, попали мы уже часов в шесть, когда там все инструменты заняты наблюдателями. И никаких светил нам, разумеется, не показали. Помню, как все мы почтительно и робко, выступая гуськом, подходили к «Трубе» в круглой зале обсерватории, но вместо Венеры увидели только царскосельский тракт, усаженный липами, по которому плелись рысцой ломовые... Михайловский, впрочем, сошкольничал, уверяя, что *видит*.

— Господа, ну, право, я вижу. Блеск и игра изумительные!

Марья Евграфовна чуть не плакала от огорчения, а водивший нас астроном предлагал ей ночевать в поле.

— Теперь ведь тепло. Сена дадим. На рассвете можно увидеть собственными глазами.

В утешение нам отвели для отдыха целую рощу и прислали сторожа с самоварами. Среди общего смеха и шума «Молодая Россия» ухитрялась вести даже спор на принципиальные темы — перед лицом своего «учителя». Н[иколай] К[онстантинович] Михайловский лежал ничком на траве, в позе Зевса на Олимпе, положив бороду на руки, и внимательно слушал. На нем был его обычный тогда костюм — прудоновская блуза из небеленого холста и ремешок вместо пояса. Мы с В[олковым] тоже подсели к их группе, в надежде услышать что-нибудь интересное из уст «учителя» и «вождя». Но кроме отрывочных выкриков нельзя было ничего разобрать.

Все кричали, и никто друг друга не слушал.

— Грамота только тормаз... С грамотой не поднимешь народ...

— Народу нужно только одно: земля и воля.

— Я стою за народное благо! — старался перекричать обоих третий голос...

А Михайловский только слушал и насмешливо улыбался.

— Лежит точно сфинкс на Университетской набережной! В обществе он всегда молчит, — просвещал меня В[олко]в, — но это самый умный и талантливый теперь человек, и его ждет блестящая будущность.

Вокруг нас между тем поднималась какая-то всеобщая истерика, которую трудно и рассказать. Все слилось в один общий гул. Смех и крик стояли в воздухе, как «ура» на парадах. Марья Евграфовна, с распущенными волосами, бежала с оглушительным криком, спасаясь от коров, и звала на помощь Бобошу. Бобоша летел вниз головой с верхушки

сосны и призывал на помощь профессора... Профессор приводил в порядок туалет своего нового друга и тоже кричал, «научно» доказывая свое бесстрашие:

— А я не *боюсь* коров! Я *хочу* сесть верхом на корову! Женни, позволь мне, пожалуйста, сесть верхом на корову. *Можно* мне сесть верхом на корову? *Почему* мне нельзя сесть верхом на корову?

А, Женни, свояченица, похожая на чопорную английскую мисс, строго и терпеливо отвечала ему на каждую его паузу:

— Не позволяю. Нельзя.

И не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не было тут Михайловского.

— Господи! — внушительно провозгласил он, — призываю к порядку! Иначе мы очутимся все в участке за нарушение общественной тишины и спокойствия.

И сейчас же все безропотно последовали за ним обратно на станцию. И тут только спохватились:

— А где же Успенские? Где Глеб Иванович? Где Демерт? Никто не заметил, где и когда они отстали от нас. Мы с В[олковы]м шли позади всех, и только что выбрались на дорогу, он указал мне глазами на группу, лежавшую на траве в глубокой сухой канаве. Двое людей таинственно перешептывались о чем-то между собою. Один по виду был просто бродяга, так называемый «зимогор», а может быть, и какой-нибудь фабричный рабочий. А рядом с ним лежал тот самый студент-ветеринар, которого мы видели вместе с Нечаевой. Студент что-то внушительно говорил и совал ему в руки зеленую трехрублевку. Завидев нас, они отскочили друг от друга, и парень в лохмотьях, торопливо спрятав бумажку за пазуху, скорчив глупую рожу, гнусаво затянул какую-то нелепо-удалую песню (я запомнила ее хорошо):

Душа ваша просит наша
К нам да на фатеру —

И он хлопал при этом в такт рукою по колену в заплатанных синих пестрядинных штанах. Потом достал из-за голенища кисет с табаком и начал свертывать себе цыгарку.

— Ах, жаль, что Глеба Ивановича с нами нет! — сокрушенно вздыхал Волков. — Какой бы это ему материал. Ведь это положительно страница из современной литературы!.. *Они* там ратовали за «народное благо», а «народ» лежал в это время в канаве и, получив зелененькую, сосал цыгарку да, поплевывая, внимал «пропаганде»... «народника», «бакунинца»... кого угодно! И никакого другого «блага» этот

народ себе не желает... Напрасно они самообманываются. И куда это он, в самом деле, пропал? — опять начинал он о Глебе Ивановиче: — Пошел, говорят, с Демертом искать рессорную пролетку для Александры Васильевны, а нашел, вероятно... С Демертом ведь только одно и можно найти: полштоф в кабаке!

На вокзале нас ждала новая «страница». Марья Е[вграфовна] бегала взад и вперед по платформе, перебраниваясь с Бобошей. Бобоша говорил ей дерзости, она истерически всхлипывала... Михайловский бегал за ними, размахивая руками, и что-то гневно кричал, но его не слушали...

— Трудно ему с ней, — говорил В[олко]в. — Хороший она человек, добрая, умная, образованная, но совсем больная. Все прогулки у них так кончаются.

Наконец нашлись и Успенские.

У дверей перед кассой стояла бледная и взволнованная Александра Васильевна. Глеб Иванович с лихорадочными пятнами на щеках и судорожно сдвинутыми бровями стоял перед ней — не то оправдываясь, не то успокаивая ее.

— Уедемте, пожалуйста, поскорее отсюда, — напряженной скороговоркой прошептал он, когда мы к ним подошли. И он подходил ко всем с тем же увещанием: — Нечего тут смотреть, господа! Разъедемтесь поскорее!

Уехать было нельзя — поездов еще не было. Но все смущенно отходили подальше, на другой конец платформы, где Демерт, смеясь своим заразительным детским смехом, журил и просвещал в свою очередь моего просветителя В[олко]ва за последние карикатуры в «Маляре»:

— Что такое? В чем дело? Ей-богу, ничего не поймешь И совсем это даже не карикатура, а чорт знает что! Ей-богу, чорт знает что!

И В[олко]в простодушно каялся, что действительно неудачно:

— Сознаюсь, не вышло того, что хотел...

— Не вышло, голубчик, совсем не вышло. Карикатура — это ведь жало. Так надо, чтоб оно жалило. А тут — ничего. Глупо — и больше ничего.

Поезд в Петербург наконец пришел. Глеб Ив. посадил нас с Алекс[андрой] В[асильевной] во втором, а сам ушел в третий, где собралось несколько знакомых ему людей, но на всех полустанках он приходил узнавать, как себя чувствует Александра В[асильевна], и хорошо ли нам тут сидеть. Ал[ександра] В[асильевна] тут же пересказывала ему все, что я успела ей сообщить из впечатлений этого дня, и я с удивлением слушала, как все у нее выходило гладко,

литературно и мало похоже на то, что я думала и переживала сама. Все слова мои *перерабатывались* ею, как «материал» для суждения Глебу Ивановичу.

— Что же тут такого особенного, что бы стоило *наблюдать?* — ни к кому не обращаясь, проговорил он с улыбкой. — И какая же это *молодая Россия*. Как она тут попала?.. Все это — так, сущий вздор... А вот Нечаеву действительно жалко. Хоть бы ее пристроить куда, — озабоченно прибавил он, уходя от нас, и вернулся потом с самыми точными сведениями о Нечаевой и о том, что знакомый присяжный поверенный С., ехавший в этом же поезде, обещал ему «непременно устроить Нечаеву»...

Я смотрела тогда на его повеселевшие глаза, и мне становилось понятным, почему он ушел из нашей «развеселой компании». Невольно вспомнилась некрасовская молитва: «От ликующих, праздно болтающих... Уведи...» Да, именно так должен был чувствовать себя, уходя от нас, этот чуткий, сосредоточенный в себе человек, — и не от водки горело тогда лихорадочными пятнами его выразительное лицо...

Дорогой тогда же Александра В[асильев]на слегка поисповедывала меня насчет моих «гражданских чувств» и житейских обстоятельств, и, узнав, что я в некотором роде последовала примеру героини «Разорения», — ушла из дому в поисках «новой жизни» «за свой страх и собственными средствами», — сейчас же обеспокоилась за меня.

— Вы еще слишком молоды, чтобы жить одной. Переезжайте поближе к нам — в Гончарную. В нашем доме, кажется, отдается комната — у немки, где живет Демерт. Я разузнаю и сообщу вам. Приходите к нам завтра вечером.

Комната оказалась удобной для меня во всех отношениях, и дня через два я переехала в дом Воронина... И в первый же вечер, как только я переехала, Александра Васильевна пришла за мной и увела к ним — «справлять общее новоселье». Она ходила теперь в белом вышитом платье, спокойная и счастливая, скорее похожая на невесту, чем на жену.

Когда я вошла, Глеб Иванович опять стоял у письменного стола и читал вслух письмо Решетникова к какому-то знакомому или родственнику (это был *материал* для его будущей статьи), и я как сейчас вижу его лицо и слышу его голос, каким он читал это: «... Сделайте божескую милость, пришлите с подателем сего три копейки, а если

можно, то семь. Клянусь честью — отдам при первой возможности. Теперь же надобно тятеньке купить соленых огурцов и выпить им надо рассолу, так как они теперича вторые сутки как очухаться не могут...» Это читал он, когда я вошла, и особенно, что запомнилось в его голосе, — улыбка, сливающаяся с ядовитою горечью. Он подчеркивал *что-то,* врезанное ему в самое сердце, и это *что-то* трепетало в лице его знакомым ему, былым, давно пережитым, но все еще живым воспоминанием... Он вспомнил и как бы приглашал всех нас пережить вместе с ним и с Решетниковым это жестокое и мучительное воспоминание...

Кажется, в тот же вечер, позднее, кому-то пришло в голову прокатиться на острова в ландо. Поехали мы впятером. На Невском у табачного магазина Гл. Ив. вышел, чтобы купить папирос, что-то долго покупал и вернулся весь красный, смущенный и улыбающийся.

— Вот так штука со мной случилась, — заговорил он, садясь. — Только вошел — Звонарев за мной следом, кричит, буквально, на всю лавку: «Глеб Иванович. Знаменитый писатель!» Потом пристал вдруг при всех: «Продайте мне издание ваших сочинений. Я вам сейчас пять тысяч на стол!».

— Ну, и что же вы ему на это? — спросил Демерт. — Показали фигу, конечно? Долгов по векселям не платит, а издания покупает.

— Что вы чушь порете, говорю: какие такие у меня сочинения!.. Я ровно ничего еще не написал... «Нечего, нечего, — говорит: — знаем мы сами, что вы написали...»

— Пронюхал, небось, каналья, что барышами пахнет! — язвительно вставил Демерт. А сидевший с ним рядом Бобоша пришел в такой азарт, что завопил на всю улицу: — Ура-а! Глеб Успенский, ура-а! Публика Невского проспекта, взирай на восходящее светило! Глеб Иваныч! Глеб Иваныч? Глеб Иванович! — как уличный мальчишка затвердил он, подплясывая на скамейке.

Глеб Иванович вспыхнул и, судорожно вздрогнув от сдержанного гнева, быстро проговорил:

— Перестаньте, Бобоша! Что я вам за игрушка дался. Ведите себя поприличнее — или я выйду!

Бобоша притих как убитый. А Глеб Иванович, видимо, долго не мог успокоиться и всю дорогу курил и молчал.

Квартира Успенских была — как наша, у немки, — в три комнаты: из мебели было только самое необходимое...

... С Успенскими я видалась почти ежедневно, иногда и по нескольку раз в один день: то я к ним зайду, то от них кто-нибудь ко мне (все знакомые почти были общие)

зайдет с приглашением. Без приглашения я никогда не ходила, — из боязни помешать работе Глеба Иваныча. Но не проходило, кажется, дня, чтобы кто-нибудь не зашел и к Демерту и ко мне. То Минаев придет «в ударе» — говорит экспромтами. То Демерт что-нибудь интересное рассказывает. То возвратили Гл. Ив. неразрешенную цензурой статью, и он собирался прочесть ее вслух. То Бобоша достал что-нибудь «нецензурное»... То крикнут в окно: «Прислали красное вино из Парижа!.. Целую бочку! Приходите пробовать!» Иногда и сам Глеб Иванович застенчиво, бывало, подойдет к дверям и спросит нервной скороговоркой: «Не желаете ли с нами на выставку? Пришел Николай Степанович (Курочкин). Выставка, говорит, интересная. Он знаток — и все нам покажет.

В первый раз Глеб Иванович, помню, зашел ко мне, чтобы взглянуть на мой альбом с фотографиями Дрезденской галлереи и Лувра. Ему сказали, что у меня есть снимок с Венеры Милосской, и ему хотелось проверить свои парижские впечатления. Но, увидав фотографию, он не хотел даже верить, что это — *«она, та самая»*.

— Помилуйте, — с волнением говорил он: — Там это что-то уму непостижимое... Туда ведь молиться на нее ходят... Там это действительно богиня... Может быть, оттого, что там это в мраморе... и стоит она одна, в отдалении... Но как есть живая... во весь человеческий рост? Одним словом, не знаю отчего, но только — это совсем *не то*. — И он захлопнул альбом, не пожелав даже посмотреть другие, более удачные снимки.

У меня сохранилась от того времени такая записка Глеба Иваныча:

«В[арвара] В[асильевна]. Не хотите ли привить оспу? Ничуть не больно. Если хотите, приходите теперь же. У нас доктор. Г. У.»

И, разумеется, я шла всегда, когда меня звали: прививала вместе с ними оспу, пробовала красное вино, слушала минаевские экспромты и смотрела картины... Мне казалось тогда, что жизнь бьет ключом, — иногда через край, — а они, писатели, жаловались тогда на тяготу, скуку, на «отсутствие всякой жизни»... И чтобы разжечь в себе хоть искру этой «жизни», им нужно было беспрестанно ходить друг к другу и взаимно заражаться общественно-политическим недовольством... Тогда начинались у них разговоры и споры, тогда возникал материал для «очерков», для статей и стихотворений. Было ли это хорошо или дурно, — судить не берусь, но оживление взаимной электризации

наступало только когда собирались главные из сотрудников. Михайловский бывал реже других, хотя и Глеб Иваныч и Александра Васильевна дорожили особенно обществом Михайловского. Алекс[андра] Вас[ильевна] любила его больше всех.

— Он умница, он работает, — говорила она.

Минаев, Демерт, Максимов, Бобоша и прочие многие не понимали продолжительных бесед без водки. Михайловский пил только красное вино, да и то не всегда. Те, напиваясь, кричали, выходили *из берегов*. Михайловский всегда был точно обведен вокруг чертою, — точно в рамке. И Александра Васильевна знала заранее, что если Глеб Иваныч ушел к Михайловскому, — значит, он скоро начнет работать.

Трудно представить две более противоположные натуры, как эти два «друга» — Успенский и Михайловский. Это были как бы два полюса одной и той же силы. Оттого, может быть, они и тяготели всегда друг к другу. Не подражая и ничего не заимствуя, они составляли вместе что-то в роде той самой *двояко-вогнутой призмы*, о которой говорит Михайловский в своей теории прогресса. Один изображал искаженную, ненормальную жизнь искалеченных общим строем людей, другой — отвлечение или теорию желанных «норм» этой жизни. Они черпали друг у друга не мысли, а то, что *вызывало на мысль*, самый позыв к размышлению. И выводы этих размышлений почти всегда совпадали.

Присутствуя часто при разговорах писателей, я мысленно сравнивала иногда характеры каждого. В спорах характер сказывается ярче всего. Михайловский никогда *не излагал* своих мыслей и никогда не доказывал их. Его обычный прием был тогда — наводить других на доказательства, заставляя выбалтываться или сбиваться в противоречиях и потом вдруг окатить, точно холодной водой, одним коротеньким замечанием: «Почему же? Я этого не понимаю!» И он, бывало, молча ожидает ответа, а в глазах и на лице мелькает нескрываемое торжество и беспощадная насмешка. Так что порой становилось невольно и жутко, и стыдно и за того, кто спрашивает так, и за того, кто ему отвечает... Мне не случалось замечать, чтобы Михайловский поправил когда-нибудь невольную ошибку неумелого спорщика, облегчил смущенную застенчивость, смягчил остроту самолюбивого раздражения. Скорее, напротив, — вызывал их и как бы тешился чужим раздражением, дававшим ему яркое ощущение собственного превосходства. И

только раз мне довелось услышать искренно-теплые звуки его голоса, когда он, разойдясь в ту же зиму с своей женой, обедал вместе со мной у Успенских. Это было год спустя, в день его именин, и так как у него уже не было дома хозяйства, Александра Васильевна пригласила его «на пирог». В сумерки, помню, все мы сидели вокруг стола с послеобеденным самоваром, и все жаловались, что жизнь слагается не так, как бы хотелось.

— Не знаю, как другие, — задумчиво говорил Николай Константинович, — но для себя я бы хотел только одного: клочок земли и как можно побольше книжек. И я надеюсь со временем устроиться именно так, à la Цинциннат: куплю себе десятину, выстрою избу и буду копаться в огороде да читать разных Спенсеров, Дарвинов и Гексли — в оригинале...

— Неужели больше ничего не хотите? — спрашивала Александра Васильевна. — Вы еще молоды, соскучитесь один...

— Так чувствую теперь, Александра Васильевна. А за будущее никто поручиться не может.

Разговоров или споров, в которых участвовал бы Глеб Иванович, я совсем не помню. Мне он запомнился в одном положении: сидит или стоит где-нибудь в углу в тени, слушает и думает про себя... И по лицу его всегда угадаешь, бывало, когда говорят правду, когда — что-нибудь *вовсе ненастоящее*... Когда на висках появится скорбная складка, и нервно вздрагивают губы, и глаза строго впиваются в говорящего, и брови сжаты вплотную, точно держат там свою крепкую думу, — это значит — он несогласен и мысленно разрушает хотя бы самые красноречивые и хитроумные построения... А если глаза его тихо светятся, и улыбаются губы, и нет складки на лбу — значит *правда*, и ему хорошо, слушая эту правду...

Глеб Иваныч для многих — и в том числе для меня — играл тогда роль «эрдени» в старинных сказках Востока — существа, приносящего счастье всем, кто с ним встретится или залучит его к себе в дом. Увидишь, бывало, его на улице, обменяешься одним взглядом, поклоном, а в душе — впечатление чего-то хорошего, доброго, чистого, радостного... То же самое и в толпе, где бы он ни был... Часто думала я и тогда и потом — *в чем* собственно заключается эта тайна его обаяния? Отчего воспоминание о нем вызывает сейчас же представление кипучей живительной деятельности и сердца и ума? Даже самые дома, где он жил, обвеяны для меня как будто токами магнетической силы.

И я не знаю другого ответа, как это сравнение с магнетическим током его привлекательной личности. Все неведомое и еще неосуществленное, но уже *данное* душе его, уже существующее в ней, как зерна *будущих* цветений, весь этот сонм прочувствованных образов и выстраданных чувств, и сердцем выношенных, до тла перегоревших воспоминаний, — все его повести, очерки и рассказы, написанные и не написанные, но уже мелькавшие в его голове, — все это было неразрывно с ним вместе всегда, его душа и его биография, и его всем нам милое имя: *Глеб Успенский!..*

В обстановке и в обращении Михайловского была простота *по теории,* по известной строго определенной программе, у Глеба Успенского простота была в сердце. Мне кажется, он *физически* не выносил ничего показного, ничего приукрашенного ни в литературе, ни в жизни. Вкусы его были строгие и простые, впоследствии, может быть, даже аскетические. И даже красоту тургеневского слога он называл брезгливо «фокусами сороковых годов».

Михайловский работал методически правильно, изо дня в день, заботился о гигиене, занимался гимнастикой, столярничал или вырезывал что-то на ручном станке. У Михайловского в их крошечной квартирке в две узких, длинных комнаты на Офицерской в доме Виноградовой все-таки был *кабинет;* настоящий письменный стол с настоящими письменными принадлежностями, была библиотека...

У Глеба Иваныча я не помню ничего подобного. Вместо чернильницы — просто пузырек с ализариновыми чернилами, простая деревянная ручка с пером и пачка почтовой бумаги в осьмушку. Писал он всегда прямо набело и совсем без помарок. Все вынашивалось в голове — с помощью записной книжки вместо библиотеки — и заносилось на бумагу, как острием гравера на медь или камень. (И все время, пока он писал, где-нибудь подле обязательно кипел самовар, хотя налитые стаканы оставались невыпитыми). Самый почерк его в эти годы напряженного писательства напоминает именно гравюру — офорт. Что-то острое, сжатое и простое, как шпиц готического Dom'a, и с такими же характерно-определенными очертаниями — *к одной идее* направленного глубокого замысла. Ничего лишнего, и все живет и заставляет задумываться, все тянет, увлекает — вверх, туда, где одно «единое на потребу»... Какой-то стрельчатый почерк, как бывает стрельчатая архитектура. Напряженная внутренняя работа никогда в нем не прерывалась, — *мысленно* он писал, можно сказать, постоянно, но к столу присаживался, когда все было готово внутри, и когда

никто и ничто не мешали. Двери тогда зыкрывались для всех, и на-страже у этих дверей была Александра Васильевна.

В. В. Тимофеева.

Как нам передавал покойный П[авел] В[ладимирович] Засодимский, то, что Успенский дал для «Отечественных записок» по возвращении из-за границы, — это смесь напряженной работы чисто публицистической мысли и болеющей совести, освещаемая и иллюстрируемая проблесками художественного творчества, то, что так характерно для Успенского семидесятых и восьмидесятых годов, — все это изумило Салтыкова, и он долго ворчал, что Г. И. стал писать не то публицистику, не то беллетристику, не то — ни то, ни другое.[8]

Сообщение *В. Е. Чешихина*, «Г. И. Успенский (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 95).

Работа у Гл. Ив. в то время что-то не клеилась. Об этом говорили все сотрудники и друзья. И то же самое говорило его лицо. Ни на одном лице не удавалось мне читать так выразительно и счастье, и муку писательства...

Раз вечером, поздно вернувшись откуда-то, — с публичной лекции или из концерта, — мы целым обществом пили чай у Успенских. Кто-то принес ему нумер газеты, — кажется, «Петербургских ведомостей», — с рецензией о его последних работах в «Отечественных записках», — именно о Париже. Рецензент находил у автора «недостаток образования», советовал ему еще поучиться и не браться за темы, в которых прославились наши первоклассные таланты и гении... Что-то в этом роде, — теперь уж не помню. Глеб Иваныч, присев к столу на диване, читал не отрываясь. Вокруг него ходили, говорили, а он все читал и читал... Я сидела в тени, против него, и, украдкой глядя на его лицо, невольно угадывала — *видела,* — что переживал он, читая эту рецензию. За минуту оживленно-веселое лицо его было искажено теперь глубоким страданьем. Он точно горел весь на медленном огне... Даже всегда белый лоб его как будто пылал, губы судорожно кривились и вздрагивали, и по временам он закрывал рукою глаза, чтобы ничто не отвлекло его от этого листа газетной бумаги. Кончит, и опять начнет перечитывать. Наконец кто-то догадался и отнял у него газету. Он не пошевельнулся и продолжал сидеть, не отводя глаз от стола, как будто жгучие строки все еще были перед его глазами...

— Ну, что же там написано, Глеб Иваныч? — спросил кто-то из присутствующих. — Хвалят или бранят? Плюньте, если бранят: значит, болван какой-нибудь, ничего не понимает...

Глеб Иваныч точно проснулся.

— Как это ничего не понимает? Что это вы говорите?.. Отлично все это у него написано... Как есть сущая правда, — беззвучно проговорил он, порывисто встал с дивана и, никому не сказав ни слова, вышел в переднюю. Больше в тот вечер мы его не видали.

Александра Васильевна не спала потом целую ночь, ожидая его возвращения. А он всю ночь ходил взад и вперед по Фонтанке... И, говорят, эта Фонтанка не раз манила его в свои мутные волны...

Запомнилось и еще одно впечатление... в том же роде.

Это было уже полгода спустя, в ночь пасхальной заутрени, когда он зашел к Демерту поздно вечером — прямо от Некрасова. Я тоже зашла зачем-то к Николаю Александровичу и застала их вдвоем за столом, на котором были расставлены пасхальные снеди: кулич, пасха, окорок, красные яйца и красное вино. В церквах уже благовестили, и Демерт предлагал, «отбросив рутину», разговеться, прежде чем итти бродить по улицам. И, как всегда, изображая всех и вся в комическом виде, усердно подливал в стаканы и мне, и Глебу Ивановичу.

Успенский сидел молчаливый, сосредоточенный. Но после второго стакана лицо его начинало разогреваться.

— А знаете, В[арвара] В[асильевна], — обратился он вдруг ко мне, — я сегодня долго проговорил с Некрасовым... Какие у него удивительные глаза! Просто заворожил он меня сегодня... Вот где можно сказать его же стихами:

> Так осенью бурливее река,
> Но холодней бушующие волны.[4]

Он прочитал эти два стиха вполголоса, просто, как будто думая вслух и сам задумываясь над глубиной сокрытой в них мысли. Ни прежде, ни потом, никогда не слыхала я никаких лирических звуков от Глеба Успенского. Он точно стыдился или пренебрегал поэзией... И вдруг стихи — момент лирического экстаза! Помню, это произвело на меня тогда впечатление молнии в темной комнате: как будто душа его внезапно распахнулась на миг и стала мне еще ближе и еще понятнее... И эти стихи запомнились навсегда вместе с образом Глеба Иваныча в ту пасхальную ночь...

— Необыкновенный это человек, — задумчиво прибавил он опять о Некрасове. — Я с ним без волнения говорить не могу... И что мы такое пишем? Зачем? Все мы вообще... А вот он... Одним взглядом всю душу перевернет... все внутри заработает.

В. В. Тимофеева.

Я познакомился с Глебом Ивановичем Успенским в половине сентября 1873 года, у Н[иколая] С[тепановича] Курочкина, и с первого же раза почувствовал к нему неотразимую симпатию и уважение, как *к человеку,* хотя как автора «Нравов Растеряевой улицы» и «Разорения» я уже давно любил его как писателя. Как человек, он был удивительно привлекательная личность; задушевно-искренний, прямой и идеально-благородный характер его сразу, с первого же разговора влек к нему и заставлял любить... Часто говорится, что у такого-то человека «золотое сердце», но ни к кому лучше подобное определение не шло, как к Глебу Ивановичу. Сердце у него именно было золотое и глубоко отзывчивое. И личное и общественное горе заставляло его страдать и мучиться, чему я не раз был свидетелем... Он делал все возможное, трудился, бегал и хлопотал даже для мало знакомых ему, но «хороших людей», если их постигла какая-либо беда...

...Со времени моей встречи с Г. И., наше знакомство приняло близкий характер и не прерывалось с сентября 1873 года до февраля 1877 года, когда судьба надолго выбросила меня из Петербурга. Я бывал частенько у Г. И., жившего тогда на Троицкой улице, близ Невского, а часто он посещал меня. Часто бывал у меня он запросто по утрам, а то на моих еженедельных вечерах, по понедельникам, где собирались все наши общие знакомые (братья В[асилий] С[тепанович] и Н[иколай] С[тепанович] Курочкины, Н[иколай] К[онстантинович] Михайловский, Н[иколай] А[лександрович] Демерт, В[ладимир] В[икторович] Лесевич, А[лександр] А[лександрович] Ольхин, А[лександр] М[ихайлович] Скабичевский, Н[иколай] И[ванович] Наумов, Н[иколай] М[ихайлович] Ядринцев и молодежь. На учащуюся молодежь Г. И. производил, как и на всех знавших его, неотразимое впечатление, хотя сам он и не любил бывать на многолюдных вечерах. С большим усилием, едва-едва, раз мне удалось уговорить Г. И. отправиться на одну вечеринку, устроенную учащейся молодежью на окраине Петербургской стороны. После долгих отговорок Г. И. наконец собрался, и мы отправились. Приехали на Петербург-

скую сторону. Было часов 8, но Г. И. утверждал, что еще рано, и предложил зайти пока в портерную. В портерной Г. И. до того увлек меня занимательным разговором, что, заслушавшись его непередаваемо мастерских и метко образных рассказов и воспоминаний о людях, которых он встречал, я совершенно и не заметил, как прошло время, и опомнился только тогда, когда нас попросили о выходе: было уже 11 часов, и портерная закрывалась.

— Ну, слава богу, на вечеринку теперь уже поздно,— сказал Успенский и тут же сообщил, что он нарочно придумал такую «стратегему» занять меня рассказами, чтобы не попасть на вечеринку.— Ей-богу, я теряюсь на многолюдных вечерах, и присутствовать в толпе незнакомых людей для меня пытка, пытка и мучение, если они знают, что я литератор, такой-то дескать, Успенский,— откровенно признался он и просил не сердиться за «стратегему». Я, конечно, рассмеялся, и мы отправились по домам, так и не попавши на вечеринку, распорядители которой тщетно прождали Успенского, намереваясь приветствовать восторженными овациями.

В этот же самый вечер и в той же самой портерной, восставая против пьянства, погубившего столько даровитых писателей, он, между прочим, рассказывал мне (Г. И. часто бывал парадоксален, но сам горячо верил в свои парадоксы), что все пьяницы — непременно хорошие люди, подкрепляя это более чем рискованное положение тем, что все пьяницы, которых он знал (П[авел] И[ванович] Якушкин, Решетников и др.), были очень симпатичными личностями. Я возражал, что ему приходилось встречаться только с хорошими людьми, страдающими этой печальной слабостью, но не приходилось наталкиваться на пьющих дурных и скверных людей, которых большинство. Но Г. И. не соглашался со мною и указывал, что пьют люди от несчастливой жизни, а все несчастливцы не могут быть дурными.

Д. П. Сильчевский, «Из воспоминаний о Г. И. Успенском», «Новости и Биржевая газета» 1902, № 84, от 26 марта.

Иногда, впрочем, Г. И. не вмешивался в споры, происходившие при нем, хотя по лицу его видно было, что это стоило ему больших усилий. Помню, как раз, зайдя к нему, в конце марта 1874 года, я застал у него покойного В[ладимира] В[икторовича] Чуйко. По поводу только-что вышедшего сборника «Складчина» (изданного в пользу голодавших тогда самарцев) у меня с Чуйко зашел спор о

Некрасове, поместившем в этом сборнике «Три элегии». Чуйко вдруг стал доказывать мне, что Некрасов не может считаться национальным, истинно-народным русским поэтом. Я с юношескою горячностью спорил против такого мнения. Спор продолжался долго, ничем не кончился, и наконец Чуйко ушел.

— Что же вы, Г. И., не поддержали меня? — обратился я к Успенскому, все время хранившему молчание.

— Я сдерживался, а другой на моем месте давно бы прогнал Чуйко, но я — хозяин, а он мой гость... Да и вы напрасно спорили: ведь этот господин Чуйко — *француз.* (Г. И. произнес это слово с особенным ударением.) Он поклонник Тэна, ну, как ему понять Некрасова! А что Некрасов — истинно великий народный поэт, — об этом и спорить нечего. Народ его поймет и оценит, но мы-то с вами до этого не доживем. Да и теперь уже народ его начинает капельку понимать. Вот вам пример: я давал «Кому на Руси жить хорошо» читать дворнику в доме Франка, здесь по соседству. И что же вы думаете? Дворник в восторге был, и как благодарил меня за книгу!

Разговорившись о Некрасове, Успенский сказал, что он ни у кого не видал таких проницательных и умных глаз, как у Некрасова.

В 1874 году я навещал Г. И., поселившегося в это лето в Гатчине, на даче, в скромном маленьком домике. Он тогда работал для «Отечественных записок» и всегда оставался недоволен своей работой. Писал он рассказ «Злые новости» и хотел сделать из этого рассказа целый ряд очерков. Но переделанные много раз «Злые новости» так и остановились на одном только томе (он напечатан в «Отечественных записках» 1875 года без подписи. [5]) Вообще, в то время, то есть в 70-х годах, работа давалась ему мучительно трудно... Были и цензурные и разные другие препятствия...

Д. П. Сильчевский, там же.

Глеб Иваныч любил веселые, оживленные сборища, но на таких вечерах стоял обыкновенно где-нибудь в углу и, покручивая бороду, о чем-то выразительно думал, — так выразительно, что, если заметишь, бывало, на себе его взгляд — сейчас станет совестно и захочется поскорее уйти...

Впрочем, однажды, помню, и Глеб Иваныч протанцовал кадриль с «своей» Александрой Васильевной. И он был очень забавен в этой роли танцора, — уморительно брал за шею свою даму, уморительно притопывал ногами и так путал все

фигуры, что оставалось одно — хохотать до упаду. И все хохотали. А он с удивлением оглядывался и просил «продолжать все как следует по порядку...»

Это было на встрече Нового года у Михайловских, после ужина с шампанским и братскими поцелуями, — «с агапой», как выражался Минаев, уверяя, что это совсем à la Огюст Конт и Фурье»...

— Это поцелуи не грубой физиологии, — возвещал он: — это поцелуи культа великих и вечных идей — свободы, равенства и братства!

Не помню, кто именно придумал тогда эту «агапу», — вернее, что тот же Минаев, — но помню хорошо, что поцелуйный обряд à la Фурье не обошелся без протестов женщин.., «еще не посвященных в культ великих идей богочеловечества». И Александра Васильевна была первой из протестующих.

Помню, тогда же, одна молоденькая барыня, жена адвоката Б., с прелестным личиком малороссийского типа, румяная и смуглая, распевая чувствительные романсы под аккомпанемент своего супруга, впивалась томными глазами в тот угол, где стоял «Глеб Успенский», и соблазнительно улыбалась ему яркопунцовыми губами, которые он только-что принужден был поцеловать «во имя великих идей», сидя с ней рядом за ужином. А «Глеб Успенский» смотрел на нее серьезно и строго и точно с упреком, точно спрашивал: «И как это вам не совестно — такие все глупости вы поете?!»

Может быть, именно под влиянием этой «агапы» у меня вышло потом странное объяснение с этой барыней. Но это было уже летом, когда Александра Васильевна гостила в деревне у сестры Глеба Иваныча, а он сидел у себя на Фонтанке, дописывая статью для «Отеч[ественных] записок».

Работаю дома утром — тоже приготовляю мою «хронику» в «Искру», вдруг звонок, и в комнату ко мне входит госпожа Б., красивая, нарядная, как всегда, но как будто слегка в лихорадке: глаза возбужденно горят, губы сухие, голос вздрагивает.

— Можно к вам на минуту, поговорить по душе?

— Сделайте милость! — Прошу садиться, но на лице у меня — невольный вопрос и недоумение: зачем это она ко мне припожаловала?

— Меня к вам прислал Глеб Иванович. Я сейчас от него... Я у него ночевала сегодня. Вчера была такая гроза. Он боится грозы, как ребенок.

Я продолжала вопросительно смотреть на нее, ровно ничего не понимая.

— Подождите, я вам сейчас объясню... Но прежде скажите по совести: вы так часто видитесь с Глебом Иванычем, — неужели вы не влюбились в него до сих пор?

Я невольно пожала плечами.

— Да ведь это так естественно! Можно ли видеть и не влюбиться в этакую прелесть! Я от него без ума! И я знаю, — мне остается теперь одно — утопиться... Муж зовет меня к себе, — он получил теперь место на юге, нанял чудную дачу, пишет, что дети тоскуют, а я вот здесь сижу в духоте и даже детей мне не жалко. Может быть, это безнравственно, я не знаю... Мне все говорят, что я безнравственная женщина. Но что такое эта «нравственность»? Скажите, пожалуйста! По-моему, что естественно, то и нравственно. Я была уже замужем и влюбилась в локоть мужчины... Вы мне не верите? — В *мужской* локоть. Лица никогда не видала, видела только локоть, и по целым часам просиживала на окне, думая о том, *чей* это локоть... Это было в Ялте, на берегу моря, комната его была рядом с моей, и я видела только локоть... Но и тогда я тоже хотела топиться... А тут... такой человек!.. Я таких людей отродясь не видала...

— Я все-таки не понимаю, почему Глеб Иваныч прислал вас именно ко мне?

— Я тоже не понимаю! Но раз он меня к вам послал, — я не смела ослушаться. Если б он велел мне выпрыгнуть из окна — я бы ни на миг не задумалась.

— Может быть, он считает вас психологом? — прибавила она, помолчав, — и думает, что вы можете на меня повлиять. Но едва ли. И ведь это просто смешно. Чем вы можете повлиять? Я замужняя, а вы — нет, и разве вы не знаете, что страсть имеет свои законы... Скажите мне только одно — вы хорошо его знаете, — неужели нет никакой надежды?..

Мне думалось, что Глеб Иваныч просто хотел куда-нибудь сбыть ее с рук, и, чувствуя что-то вздорное и капризное во всех ее признаниях, я ответила первое, что пришло тогда в голову:

— Думаю, что ни малейшей надежды...

— Но почему же, скажите? Ведь я красива, — я красивее и моложе его жены. И вы знаете — я осталась у него ночевать, — он меня сам оставил! — в надежде его соблазнить. Все говорят: он никогда не изменял своей жене... Я не верила. Я хотела его испытать... Ну и вот мы вдвоем с ним в квартире... Жаркая, душная ночь, молнии так и сверкают... «Глеб Иваныч, — говорю, — я не могу, дышать

нечем, я сниму лиф». — «Ну, — говорит, — снимите, я вам сейчас принесу что-нибудь полегче». Принес полотенце и накинул мне на голую шею... Потом самовар начал ставить... Меня лихорадка колотит, а он меня чаем с лимоном отпаивает!.. Честное слово вам говорю. — Она звонко расхохоталась. — Так вся ночь у нас и прошла. Всю ночь только чай вдвоем пили! От роду никогда я столько чаю не выпила... Что же это по-вашему: урод он или святой?

— По-моему — человек правды и совести.

— Нет, он святой! — с увлечением подхватила она. — Иначе я его не понимаю! И знаете, что я вам скажу: потом, когда я осталась одна, — мне стало так потом стыдно, так стыдно... В ноги бы, кажется, упала ему... И сама я себе опротивела, и жизнь опротивела... И все, все!.. Одним словом, остается теперь одно: утопиться!

— Вы не утопитесь, а уедете к мужу и детям, и потом будете очень довольны собой... Уверяю вас!

И уж не знаю, поверила она мне тогда или нет, но больше с ней я никогда не встречалась, и уже осенью однажды спросила у Минаева: «А где же эта хорошенькая барыня, которая у Михайловских, помните, «Крошку» все пела?

Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок!..

— Как где? — с неудовольствием отвечал он. — С мужем, на юге (он назвал мне город), — где же ей больше быть?

С Глебом Иванычем мы никогда по этому поводу не говорили, и весь этот эпизод я оставляю всецело на ответственности г-жи Б.

(Все это было уже написано, когда мне — совершенно случайно — довелось услыхать от лица, близко знавшего Б—цкую, следующее: после многих бурных эпизодов того же характера эта несчастная женщина трагически закончила свои дни, бросившись под поезд, которым ее перерезало пополам, после чего она жила еще несколько времени. И муж, и дети ее погибли... Из этого можно заключить, что и эпизод ее с Г. И. заслуживает полного вероятия.)

Но от другой влюбленной в него особы Глеб Иваныч не так легко мог отделаться. Я помню, весь кружок тогда принимал участие в этой загадочной или нелепой комедии.

Было это уже в следующую зиму (1874), когда только что основался «итальянский» клуб (на Малой Итальянской,

в квартире покойного А[лександра] А[лександровича] Ольхина), с вечеринками по субботам, с выбором членов и разовой платой по два рубля (на буфет). Все выдающееся в мире литературы, музыки и художеств перебывало там хотя по разу, из любопытства. Михайловский тогда уже разошелся с женой; Глеб Иваныч ходил один, так как Александра Васильевна была опять *в ожидании*. Меня ввел туда Демерт, но приезжала я обыкновенно поздно, прямо из типографии, где работала тогда с Ф[едором] М[ихайловичем] Достоевским. И вот всякий раз, бывало, найдешь где-нибудь в углу Глеба Иваныча и рядом с ним очень эффектную молодую девушку, совершенно отличного от нас вида. Это была изящная пепельная блондинка с лицом матовой белизны и темнокоричневыми бархатными глазами. Тонкие и правильные черты, эффектная парикмахерская прическа, всегда в черном кружевном платье, с воротником Медичи, с бриллиантами в ушах, на груди и на пряжках ботинок... Ее привел, кажется, Максимов — тогда еще моряк и блестящий танцор, танцовавший с ней где-то в клубе. Говорили, что она — приезжая издалека, что в Петербурге у нее дед или дядя — «из высокопоставленных»... Приезжала она с великосветских (или «малосветских») балов в соболях, в сопровождении ливрейного лакея и на своих лошадях. Протанцовав вальс или польку, она обыкновенно приглашала потом Глеба Иваныча проводить ее домой или прокатиться за город. Потом начала убеждать его бросить жену и ехать с ней за границу... Ее все называли «загадочной девицей». Демерт рассказывал мне — со слов самого Глеба Иваныча, — как она озадачила всех и его своим резким суждением о сочинениях Глеба Успенского, только что перед тем прочитавшего в клубе свой последний рассказ. Она открыто перед всеми призналась, что вообще «не может» его читать, — все его сочинения кажутся ей «скучны, пошлы и непонятны»... Это было *ново* и давало повод к заключению о выдающемся уме и вкусе строгой ценительницы. Глеб Иваныч, совсем обескураженный, стал давать на прочтение ей свои статьи в корректуре, прося высказывать откровенное мнение. И она писала на полях корректуры: «Глупо!»... «Ничего не понимаю!..» Вульгарное выражение и т. п.

Не знаю, катался ли с ней Глеб Иваныч на тройках, но помню, как он стоял перед нею с видом глубоко потрясенного человека, который не знает, *что* ему *надо* думать и чувствовать... Она что-то быстро-быстро говорила ему, а он смотрел в ее прекрасное лицо и, наслаждаясь, может быть, невольно гармонией этого лица, думал с тоскою:

«Зачем мне эта красивая ложь?!..» Но раздавались звуки ритурнели мазурки, Михайловский вдохновенно кричал: «A vos places, mesdames et messieurs!» К барышне подлетал ее кавалер Максимов, и она улетала... Глеб Иваныч оставался один, с тем же выражением тоски и недоумения. Мимо него неслись вихрем по комнатам веселые пары, Михайловский лихо пристукивал каблуками, ухаживая за другой молоденькой и хорошенькой барышней, а он все стоял и думал в углу, совершенно расстроенный...

Так продолжалось несколько вечеров под ряд. Наконец однажды все увидали его в ином настроении. Он весь сиял счастливой улыбкой и рано уехал, прежде чем появилась «загадочная девица».

Я входила, когда он уже одевался в передней.

— У Александры Васильевны вчера сын родился, — шепнул он мне, здороваясь и прощаясь. — Здоровый такой, большой. И нос у него — не как у детей — совсем настоящий. Приходите, пожалуйста, посмотреть.

В тот же вечер «загадочная девица» обратилась ко мне с вопросом:

— Вы хорошо знаете жену Глеба Успенского? Правда ли, что они живут очень счастливо, и что она — очень умная, хорошая женщина?

Я, разумеется, подтвердила.

После этого в клубе начали уже умышленно «разводить» ее с Глебом Иванычем. Так было однажды на святках, когда почти все клубисты явились костюмированные, и один известный и очень популярный (теперь) писатель, нарядившись городовым, в полной форме и со свистком, потешал все общество целый вечер беспрестанным свистом и строго-повелительным окриком: «Разойдитесь, господа, разойдитесь!..» И вот, как только завидит, что Глеб Иваныч опять с этой барышней, моментально подлетит и — в свисток!.. Все сбегутся, и начинается хохот. Побеседовать им в тот вечер так и не удалось. Но Глеб Иваныч начал получать зато какие-то странные анонимные письма с загадочными эмблемами: цепь, кнут, эшафот, с категорической подписью: «Ты спишь Брут, а Рим — в цепях!..» Под Новый год он, Демерт, Минаев и Максимов получили не менее загадочное приглашение от той же барышни приехать к ней (куда-то на Морскую, в номер гостиницы) — «выпить бокал шампанского *по случаю* ее *смерти*...» Не все воспользовались этим приглашением (Гл. Иб. тогда не поехал), но прибывших гостей ожидал приятный сюрприз:

шампанское было подано, а барышня не застрелилась. Ее жизнь оказалась нужна «делу». С тех пор она стала являться в клуб, с железной цепью на руке вместо браслета, гладко причесанная, в простых черных платьях, с видом «идейной женщины». Все мы рассматривали тогда эту цепь — символ ее превращения: это был — говорила она — девиз ее жизни. «Эту цепь раскует только смерть».

С тех пор Глеб Иванович решительно не знал покоя ни ночью, ни днем. За ним постоянно следили. Иногда к нему на улице подходила старуха с лотком — с папиросами или с почтовой бумагой; взглянет поближе — «загадочная девица». Мальчик со спичками — тоже она! Это походило на кошмар или галлюцинацию. Но я сама была раз свидетельницей, как Глеб Иваныч опрометью бросился от нас на улице (мы шли компанией куда-то все вместе), сел на первого попавшегося извозчика и помчался домой, потому что заметил на углу странно притаившуюся фигуру в платке, низко надвинутом на глаза, и под дождевым зонтом, хотя дождя совсем не было. И фигура эта сейчас же понеслась следом за ним на извозчике.

Сама Александра Васильевна не раз потом рассказывала и мне и другим, как «мучила» Глеба Иваныча эта барышня своими мистификациями.

— Глупая она, должно быть, — замечала при этом Александра Васильевна. — Неужели она думала, что Глеб Иваныч способен на такие пошлые интриги и увлечения! Он приедет, бывало, домой и все мне рассказывает... Все-все!

И она смеялась своим тихим смехом, с уверенностью искренно любимой женщины-друга.

Но дело не ограничилось одними мистификациями. Была и другого рода попытка насильно добиться желаемого... Однажды, в отсутствие Глеба Иваныча, в квартиру к ним пришла с черного хода какая-то торговка с апельсинами и настойчиво добивалась увидеть «самое барыню». Александра Васильевна вышла к ней в кухню. Но торговка, с виду молодая женщина, настойчиво добивалась переговорить о чем-то наедине. Ничего не подозревая, Александра Васильевна провела ее в свою комнату, где спал в то время малютка их «Сашечка».. И вот именно это доверие и ласковый тихий голос произвели такое неотразимое впечатление на «загадочную девицу», что она тут же откровенно призналась во всем: она пришла, по ее словам, с умыслом отравить жену и ребенка Глеба Успенского, а уходила с сознанием, что даже и преступлением она ничего не

добьется. С тех пор эта «страшная особа» больше нигде не показывалась.

Судя по этим примерам, можно думать, что женщины — или «бабы», как называет их в письмах к жене и друзьям Глеб Иванович, — не мало досаждали и портили жизнь и ему самому и близким к нему лицам. Не даром он многократно, в письмах, предупреждал Александру Васильевну «держаться подальше» и избегать «бабьих сплетен» и пр. «Устрой ее, — пишет он А[лександре] В[асильевне] об одной из общих знакомых, —но и только. В близкие отношения, пожалуйста, не входи — иначе непременно начнутся *истории*...»

Увидеть тогда их новорожденного первенца мне так и не удалось. И клуб и всякие собрания прекратились вскоре сами собой. Говорили, что, несмотря на строгие выборы, проникла все-таки одна «шпионка», и начались аресты и обыски. А потом, весной, начали все разъезжаться по дачам. Александра Васильевна, заручившись приглашением редакции «Общественной библиотеки» [6] для переводов с французского, уехала работать в Париж; за ней последовал вскоре туда же и Глеб Иванович, и я надолго потеряла обоих из виду.

В. В. Тимофеева.

Я поднял вопрос, заинтересовавший меня, когда Глеб Иванович говорил о ревности Александры Васильевны.

— Сам я дал маху, — ответил Успенский. — Всегда я посвящал Александру Васильевну во все, где был, с кем виделся, как проводил время — ничего не скрывал от нее. Но вот со дня на день она ждала появления Сашечки, а на меня совершенно неожиданно прицелилась набросить любовную сеть одна девица, с уверенностью, во что бы то ни стало, запутать в свои петли... Из боязни, — тут-то и был сделан первый ложный шаг, — из предосторожности, как бы не потревожить Александру Васильевну рассказом о слишком смелом, решительном нападении на меня, я умолчал о первой встрече с девицей, о прогулке с ней по Невскому и беседе в отдельном кабинете в Знаменской гостинице: ловкой змеей обернулась, незаметно обвилась и потащила за собою... Скрыл я от Александры Васильевны этот ритурнель, а затем быстрые подходы девицы обратились в сплошное преследование с записками, назначениями свиданий. Александра Васильевна могла подумать, что роман — не в первой стадии развития, и я усугубил свое молчание.

— Откуда взялась эта девица? — спросил я.

— А видите, как было дело. Во едину из суббот, когда у Александра Александровича Ольхина был очередной веселый вечер с молодежью, дамами, танцами, явился туда я с корректурой биографии Решетникова. Я был поглощен мыслями, навеянными на меня его перепиской, дневником, заметками, отрывками сочинений... Частью материала я воспользовался для биографии, а другая, не совсем удобная для печати, носилась в голове.

— Не желаете ли, господа, — обратился я к танцорам, — отдохнуть, послушать биографию Ф[едора] М[ихайловича] Решетникова? Вчера только кончил и под свежим впечатлением любопытного материала могу делать к ней словесные добавления.

— Пожалуйста, пожалуйста! — закричали все и бросились подсаживаться к столу, где я разложил свои листочки... Рядом со мной очутилась красивая высокая блондинка, подперла руками лицо и, вперив в меня жгучий взор карих глаз, приготовилась слушать.

Вообще, надо заметить, чтение Глеба Ивановича отличалось выразительностью, напоминавшей его манеру говорить.

Оно охватывало особенно слушателя, если Глеб Иванович прерывал чтение разговорной речью, с неожиданными остроумными сравнениями, мимикой и жестами... Легко представить себе, в какое восхищение пришла молодежь, слушая интересную биографию Ф[едора] М[ихайловича] Решетникова в изложении Успенского.

— Несколько раз меня прерывали аплодисментами, — говорил Глеб Иванович, — а когда я кончил, поднялся такой оглушительный треск, стук ногами и стульями, что грохот этого неистовства вылетел на улицу и, вероятно, так встревожил городового, что он донес в полицию о преступном сборище; по крайней мере с этого дня стали следить за квартирой Ольхина.

Когда я одевался в передней — итти домой, ко мне подошла красивая блондинка, пристально посмотрела на меня и, протянув руку в перчатке, произнесла:

— Позвольте поблагодарить вас от души... Ах, если бы чаще вы читали на наших вечерах, было бы куда приятнее танцев... Мне хочется спросить вас кое-что о Решетникове, но вы торопитесь, к сожалению, — прибавила она со вздохом, застегивая свое пальто.

— Если не претендуете на целый реферат — пройдемтесь, — предложил я.

— А вы далеко живете?

— На Невском, за Знаменской площадью.

— Значит, нам по пути.

С Малой Итальянской, где жили Ольхины, мы повернули на Надеждинскую и прошли на Невский. Девица сразу увлекла меня в полемику, заставив защищать Решетникова от ее уверений, будто он — графоман, не больше.

За этим разговором мы раза три прошлись по Невскому. Девица уставать стала...

— Хотелось бы присесть где-нибудь, — говорит. — К сожалению, не могу пригласить вас к себе: для поздних визитов мои родственники — неподходящие люди.

— И у меня большое неудобство, — говорю, — жена больна.

— Зайдем в ресторан!

Так мы очутились в отдельном кабинете Знаменской гостиницы... Пришлось спросить чего-нибудь. Она пожелала чаю, я взял бутылку пива. После моей защиты «Подлиповцев» и «Где лучше»,[7] не поколебавшей ее взгляда, она подошла к вопросу с другой стороны.

— Ну хорошо,—сказала она,—я могу согласиться с вами, что недостатки произведений Решетникова объясняются неблагоприятными условиями его жизни; изменись обстановка к лучшему, он писал бы лучше. Но его пристрастие к вину, ведь это — явный признак, что он не был идейным человеком, его ум не горел заботой о людском счастьи... По-моему, искать забвения в водке от всяких тяжких невзгод — удел мелких натур. Разве человек идеи согласится терять сознание хотя бы на один час, а ваш Федор Михайлович постоянно находился под влиянием винных паров... Вот почему мне и кажется, что он был больше графоманом, чем писателем.

Тут я вышел из себя.

— Ну, сударыня, — говорю, — в этом вопросе вы — не судья! Литературный труд сопряжен с такими тяжелыми переживаниями, что писателю часто необходимо прибегать к наркотическим средствам (табаку, вину, брому, хлоралгидрату), чтобы привести себя в норму и снова приняться за работу... Возьмем такой случай. Вы пишете. Мысль ваша развивается в направлении несомненной истины; вдруг — соображение о цензуре... Уверенность, что вся ваша правда, ваш труд погибнет, рвет в клочки вашу мысль, и получается мутительное ощущение: точно перерезали вам нерв тупыми ножницами...

— Но это вы такой впечатлительный, — возразила она, — другие, вероятно, так не страдают при воспоминании о цензуре.

— Всякому дорога своя мысль... Будь у меня время, я раскрыл бы вам ужасные моменты писательской работы, и тогда, надеюсь, вы не стали бы смотреть косо... ну, хоть на мою бутылку.

— Ну что вы Глеб Иванович! — воскликнула девица и схватила меня за руку. — Вас я не имею в виду. Вы особенный, вы... — и пошла расхваливать меня по всем правилам расстроенного воображения...

В ресторане я все время сидел в тревоге: было уже поздно, и меня беспокоила мысль, как-то чувствует себя Александра Васильевна. Я предложил девице разойтись по домам. Она запротестовала, стала просить «посидеть еще часик» и познакомить ее с тяжелыми моментами писательской жизни, чтобы она могла судить правильно о литературном творчестве. Остаться я положительно не мог: так захватило беспокойство за Александру Васильевну. Чтобы покончить с упорством девицы — «подождите, посидите, прошу вас», — я сказал:

— Сейчас остаться просто не в силах. Хотите встретимся завтра?

— А где?

— В двенадцать часов дня в Екатерининском сквере.

— Хорошо, — говорит, — только не опоздайте. Я буду ровно в двенадцать часов, вместе с ударом пушки.

На улице она взяла извозчика, и мы расстались.

Дома я застал Александру Васильевну в большом смущении: приближались роды...

Явился Сашечка. В разных хлопотах я основательно забыл девицу. Но она не забыла меня. Каждый день стала присылать записки по почте, с назначением свиданий то на Николаевском вокзале, то в Екатерининском сквере, раз даже зашла с черного хода спросить у кухарки, здоров ли я. Я не отвечал ей.

Прошла неделя со времени рождения Сашечки, я сидел у постели Александры Васильевны, вдруг — звонок. Вошла прислуга и подала мне довольно объемистое письмо, сказав, что принес посыльный и ждет ответа. Я вышел в другую комнату, посмотреть, от кого письмо. Оказалось, пишет девица!.. Страстный безумный лепет влюбленной, с упреками в жесткости и в то же время с надеждой на взаимность, потому, видите ли, что, если бы она не приглянулась мне с первого раза, то вряд ли я гулял бы с нею по Невскому, сидел в отдельном кабинете ресторана и назначил ей на другой день свидание в Екатерининском сквере: ловко скомбинировала все факты в свою пользу. Чему приписать

мое упорное нежелание видеться? Допустить, что я болен, она не может, потому что лично справлялась о моем здоровьи на дому и вчера видела меня с кем-то на извозчике... Ей необходимо видеть меня. Когда, где — ей безразлично. Она лишь просит пожалеть ее, не томить продолжительным ожиданием встречи, так как все это время она не знает покоя ни днем, ни ночью...

Признаюсь, смутило меня это письмо. Без предварительных объяснений по характеру содержания, его нельзя было показать Александре Васильевне; ответить смелой, решительной девице категорически: «убирайтесь к чорту с вашей любовью!» — было рискованно... Я машинально вышел к посыльному и сказал, что пришлю ответ по почте...

Когда я вернулся к Александре Васильевне, и она спросила, от кого такое большое письмо, я ответил: «Кривенко прислал чью-то рукопись, просил посмотреть...»

Через два-три дня раскрылось, какая это рукопись. Письмо лежало в кармане моего пиджака. Я небрежно бросил пиджак на стул, и письмо очутилось под столом. Прислуга, убирая комнату в мое отсутствие, заметила его и подала Александре Васильевне. Думая, что это рукопись от Кривенко, Александра Васильевна заглянула в письмо. Сердце ее замерло, когда она увидела, какими любовными эпитетами девица уснастила свое обращение ко мне... С ней сделалась истерика, пришлось приводить ее в чувство... Когда, по возвращении домой, я зашел к ней, она встретила меня слезами, и на мой вопрос, что с нею, подала письмо, сказав, что была уверена, что это — рукопись от Кривенко... Я старался убедить ее, что если на основании этого письма она пришла к мысли о моей измене, то жестоко ошиблась. Я рассказал ей все, как было, и просил прочесть письмо целиком. Я думал — мои доводы вместе с письмом убедят ее, что у меня и в помышлении не было спускать на девицу амура... Но я не достиг цели... Вся в слезах, Александра Васильевна спросила:

— Почему же раньше ты не сказал мне об этом?

— Я хотел отстранить от тебя всякое беспокойство, — ответил я и сейчас же понял, что это объяснение не удовлетворит ее...

Она сильнее расплакалась. Я с досадой ушел в свою комнату, сказав:

— Ну, время покажет тебе, что я прав!

Но время не давало успокоения. Девица все настойчивее добивалась свидания. Раз я вышел из квартиры и заметил, что она прохаживается около нашего дома. Я взял

извозчика и велел ему ехать как можно скорее. Через мгновение она уже неслась за мной на лихаче, и, поравнявшись, окликнула:

— Глеб Иванович!

Меня обуял страх... Некоторое время мы ехали рядом, и она все твердила:

— Почему вы избегаете меня, чем я провинилась?

На Надеждинской я остановился у знакомого табачного магазина, сунул извозчику деньги и быстро вошел в магазин, с намерением скрыться через заднюю дверь. Только я показался во дворе, как увидел ее. Она шла навстречу, протягивала руки.

— Оставьте меня в покое, — крикнул я, — никаких свиданий я не желаю!

— Да почему, скажите? — спрашивала она, сильно жестикулируя.

В ответ я повернулся и снова вошел в магазин. С полчаса я пробыл там, пока она образумилась и уехала.

Я полагал, что этот случай будет последним в ряде ее домогательств. Но ошибся, — она продолжала назначать мне свидания и наконец известила, что каждый день будет ждать меня от двенадцати до двух часов на Николаевском вокзале. Не в пример другим посланиям, даже грозящим добраться до меня во что бы то ни стало, эта записка была в нежном тоне, с мольбой пожалеть ее молодость, не лишать счастья провести со мной хотя мгновенье... После этого послания прошла, пожалуй, неделя без писем. Но вот в день крестин Сашечки, когда свершился обряд, раздался неистовый звонок в передней. Я открыл дверь. Вошел посыльный внушительного вида. Он подал письмо. Было всего две строки: «Я на вокзале. Прошу ответить: увижу или нет». Я сказал посыльному:

— Ступайте, ответа не будет.

Он заорал на всю квартиру:

— Без ответа не приказано уходить!

— Ступайте, я вам говорю. Вот вам на-чай.

Он поблагодарил и прибавил:

— Велено беспременно, чтобы ответ принес.

— У меня крестины, а вы кричите... Уходите, пожалуйста, — сказал я, выпроваживая его за дверь и сунул ему еще мелочи. Он ушел.

Появление посыльного и его крик очень взволновали Александру Васильевну... Между тем девица готовила ей более потрясающий сюрприз. Пронюхала она (вероятно, через кухарку), что с появлением Сашечки нам нужна няня

или горничная и, нарядившись в соответствующий костюм, пришла наниматься. По описанию моему ее внешних примет и по разговору Александра Васильевна догадалась, что это — она, и, почему-то заподозрив, что девица явилась с намерением совершить убийство, в испуге прибежала ко мне...

Я вышел в кухню и не застал уже «горничной»: она исчезла, оставив на память свою визитную карточку...

Потянулись скучные дни. Я боялся выходить на улицу, из опасения встречи с девицей, и чувствовал себя отвратительно без личных сношений с редакцией и с нужными людьми... Прошли недели две моего затворничества.

Раз вечером ко мне зашел Николай Константинович Михайловский и убедил меня пройтись с ним по Невскому. В Екатерининском сквере мы присели на лавочку покурить. Вдруг, откуда ни возьмись — передо мной торговка с лотком, протянула мне лоскуток бумаги:

— Прочти, кормилец, адресок, я неграмотная...

Я взял бумажку, подошел к фонарю и... смутился: мой адрес. Взглянул на бабу — она...

— Когда же кончится ваше преследование! — чуть не закричал я... Мой голос услыхал Николай Константинович и подошел к нам.

— Я без вас жить не могу... Каждый день брожу по улице в ожидании встречи, — волнуясь, проговорила мучительница.

— Послушайте, — сказал ей Михайловский, — присядем вон на ту лавочку; я хочу поговорить с вами. Ведь вы видели меня у Ольхина?

Они отошли в сторону, а я подрал домой.

Николаю Константиновичу удалось убедить девицу оставить меня в покое. Он неопровержимо доказал ей, что упорство, с каким она преследует меня, только угнетает и держит меня в постоянном страхе, — разве на такой почве может родиться симпатия? Девица восприняла мудрый совет, образумилась и стала лишь изредка напоминать о себе присылкой фруктов со вложением визитной карточки.

Александра Васильевна, к сожалению, не усвоила взгляда Николая Константиновича на мои отношения к девице и продолжала подозревать меня в измене...

Вот с этого-то случая, — закончил Успенский свой рассказ, — и стала культивироваться в ее сердце ревность, причиняя нам обоим неприятности...

Девица эта по временам то исчезала, то снова появлялась. При виде ее неизменного приношения в руках

дворника Г. И. приходил в волнение, просил догнать ее и вернуть фрукты, но постоянно следовал ответ: «Барышня сейчас же уехала».

Однажды при мне повторился такой же случай.[8] В 1880 году летом Глеб Иванович жил на Забалканском проспекте в доме Сивкова. Я зашел к нему. Только мы расположились на диване, как явился дворник Иван с корзиной фруктов, украшенной цветами.

— Вашей милости, — сказал он, подавая корзину Глебу Ивановичу.

— Барышня?! — с испугом спросил Успенский.

— Так, точно.

— Голубчик, Иван, догоните, отдайте и скажите: дома нет.

— Не догнать, Глеб Иванович; на хорошей лошади приезжала и сейчас же назад.

— Положительно — шпионка! — неожиданно воскликнул Успенский, когда вышел дворник... — Раз также явилась, когда у меня сидел Н[иколай] А[лексеевич] Саблин, теперь — вы... Выследит всех, кто у меня бывает, и донесет...

— Давно бы донесла, — сказал я, — если бы этим занималась... Просто ее визиты случайно совпали с нашими.

— Ох, сколько она мне причинила беспокойства! — с тяжелым вздохом произнес Глеб Иванович.

Подозрения девицы в шпионстве, несомненно, следует приписать особой мнительности Успенского, порожденной непонятным для него упорством этой особы, несмотря на явную невозможность достигнуть цели.

Глеб Иванович не отдавал себе отчета в той обаятельности, какая была ему присуща.

Выразительные темнокарие глаза, отражавшие бесконечную доброту, ласковая, застенчивая улыбка, особые манеры, оригинальная речь, всегда искренняя, содержательная, с большой дозой редкого юмора — все это сразу приковывало к нему внимание. Даже поверхностное знакомство с ним вело к тому, что люди искали его общества, а частые сношения порождали глубокую, прочную привязанность. В обращении многих мужчин к Глебу Ивановичу сказывалась такая нежность, что его имя произносилось не иначе, как с добавлением ласковых эпитетов, некоторые же за глаза называли его любовно «Глебушкой». Если так относились к нему мужчины, то женщины, очарованные им, свои симпатии проявляли еще ярче, и не удивительно, что среди них встречались поклонницы, готовые не считаться с его семейным положением.

«Девица», так упорно преследовавшая Глеба Ивановича, не была единственным примером исключительных отношений.

Вот две сестры, красивые, молодые девушки, случайно познакомившиеся с ним по дороге от Петербурга до Одессы. Они ехали с целью совершить морское путешествие за границу, но за три дня так увлеклись Глебом Ивановичем (в особенности старшая), что по приезде в Одессу не захотели ехать дальше. Располагая большими средствами, они остановились в лучшей гостинице и старались не разлучаться с ним, приглашая его к себе завтракать, обедать и гулять вместе. Однажды, любуясь морем, Глеб Иванович воскликнул:

— С каким удовольствием я прокатился бы с вами за границу!

— Едем! — последовал решительный ответ.

— Ну, это не так просто. Нужен заграничный паспорт, деньги, необходимо предупредить домашних...

— Все пустяки! Паспорт мы вам достанем, денег у нас много, а домой пошлите телеграмму...

— Что же вы думаете, — передавал Глеб Иванович: — Через день захожу к ним. Старшая выбегает навстречу, держа что-то в руке, и кричит: — Едем! Вот паспорт и деньги!..

Я, признаюсь, смутился.

— Как все это быстро у вас, — говорю: — раздобыли заграничный паспорт без моего вида на жительство. Прямо волшебницы!

— Здесь комиссионеры — ловкий народ, — говорит, — устраивают более серьезные дела.

— Ловкий народ, говорите?

— Изумительно ловкий!

— Знаете что, — сказал я, улыбаясь. — Поручите им обставить нашу поездку так, чтобы моя жена признала ее необходимой, и я мог пуститься с вами в кругосветное путешествие с полным спокойствием и — на собственные средства... Иначе не могу!

Огорчились, в роде как обиделись... Не знаю как бы они изловчились еще для нашего совместного бытия, но мне страшновато стало от их фантазий и решительности: я удрал из Одессы. Впрочем, мы остались друзьями навсегда...

Дружба эта поддерживалась не столько свиданиями, сколько перепиской. Вероятно, из боязни, как бы письма их не породили в семье Глеба Ивановича какого-нибудь

недоразумения, они пользовались адресом Н[иколая] К[онстантиновича] Михайловского, их расположение к Успенскому сказалось активно и в тот период, когда по болезни он потерял трудоспособность, и для его семьи, по инициативе Михайловского, был образован капитал, позволявший Александре Васильевне содержать пятерых детей и давать им образование: наиболее крупные пожертвования исходили от этих сестер.

Вот писательница, симпатичная особа, средних лет, долго дружившая с Глебом Ивановичем. 17 октября 1885 года он писал мне о ней: «Н—Н теперь не хочет со мной иметь *никакого дела,* потому что я ей не соответствовал...»

При свидании в 1888 году я спросил, почему произошел разрыв, и он сказал:

— Для резюме наших отношений она требовала от меня ребенка. И прибавила, наивная душа: «Ну, что вам стоит!» Так и разошлись.

Я знаю еще случай. Однажды Успенский заехал в провинциальный город Н., где в кружке «радикальной» молодежи встретил хорошую знакомую из Петербурга. По пословице «старый друг лучше новых двух» он оказывал ей предпочтительное внимание. Обоим предстояло уехать из города одновременно и часть пути совершить на пароходе. Глеб Иванович предложил приятельнице отправиться вместе. Она дала согласие, но через день обратилась к своим близким товарищам с просьбой как-нибудь расстроить эту поездку. На вопрос: почему — она объяснила, что обаятельность Глеба Ивановича лишает ее самообладания, и, не ручаясь за свое поведение в дороге, она может скомпрометировать себя в глазах любимого человека...

Та же обаятельность Глеба Ивановича, но еще с большей силой, привязывала к нему его жену, и если можно сожалеть, что ревность Александры Васильевны иногда причиняла ему страдания до потери «всякой охоты писать», то в защиту ее следует сказать, что слепое чувство у нее никогда не проявлялось в резких формах, а кроме того и впечатлительность Глеба Ивановича могла внушить ему предположения, не всегда совпадавшие с действительным настроением Александры Васильевны.

Так, в 1889 году Успенский говорил мне: «При каждом звонке вздрагиваю, потому что чуть звонок — Александра Васильевна уже трепещет: не девица ли какая ко мне... Женщин боюсь и приглашать к себе».

К этой характеристике отношений Александры Васильевны к «каждому звонку» несомненно было преувеличенным:

в тот же вечер за чайным столом Успенских я встретил их общих знакомых, и среди них были две большие поклонницы Глеба Ивановича. Александра Васильевна была одинаково приветлива со всеми.

А. И. Иванчин-Писарев.[9]

[10] Итак, вы до настоящего времени не успели составить обо мне никакого определенного мнения и не знаете еще, кому верить: тем ли лицам, которые говорям вам, что я человек не практический, или тем, которые, напротив утверждают, по вашим словам, что я «чрезвычайно» практический...

До 1873 года, как до сего дня, я жил литературным трудом исключительно; у меня были в это время жена и сын, но кроме своей семьи я имел еще на шее после смерти отца — мать, четыре сестры и три брата, буквально оставшихся без всяких средств, как и я. Я один во всей этой куче народа зарабатывал кое-какие деньги, которые и должен был делить буквально по грошам, то матери — 3 рубля, то брату в Лисино 2 рубля, то дома 5 рублей, то в Липецк, к другому брату, 1 рубль, то третьему брату[11] на книги сколько-нибудь. Разумеется, я никак не мог посылать много, потому что у меня много было домашних нужд, а заработок на всю эту орду мал. Но орда эта мучила меня, то есть она была ко мне весьма деликатна, не мучила меня, но я мучился ее нуждами. Сил во мне было очень много, но они тратились в этих мучениях за участь целой пропасти народу. Пока мне удалось при помощи добрых людей выхлопотать в Министерстве государственных имуществ, где служил отец, не пенсию (он не дослужил), а 400 рублей на воспитание детей сроком на 7 лет, до тех пор я бился, как рыба об лед, и мучился и за себя, и за них, и должал, — словом, лучшее юношеское время моей жизни провел в тяжких и самых реальных хлопотах.

(От природы у меня было дьявольское здоровье и большая впечатлительность. Трудно было узнать, что у меня на душе ад, раз меня что-нибудь развеселило.[12])

Таким образом, к 74 году мои дела были в весьма запущенном положении. Я был должен *ростовщице* 400 рублей; имел долги разным товарищам, все написанное мною продавалось по 75, по 100, по 50 рублей за том Генкелю, Базунову, Печаткину; мне нельзя ни торговаться, ни ждать, — дают 50 рублей — бери, слава богу! В это время я познакомился с NN.[13] NN предложил мне занять в Н—ском[14] банке такую сумму денег, которая бы покрыла мои частные долги, дала возможность выкупить у Карбасникова право на мои

сочинения (проданные на многие годы вперед за 300 с чем-то рублей и выкупленные мною за 1 100 рубл.) и иметь возможность поехать за границу.[15] Ехать за границу для меня было необходимо, просто чтобы учиться. Я прошу вас не забывать, что потребность в литературной работе (спешу и не хочу обдумывать тщательность выражений) была во мне с раннего детства (из нашей семьи четверо человек печаталось в «Современнике»[16] времен Добролюбова) и неумолчно жила и живет во всевозможных житейских затруднениях, с литературой не имеющих ничего общего: бедность, хлопоты о делах отцовской семьи, о разных пособиях, об определении детей, о замужестве сестер, о собственных нуждах своей семьи и т. п. Но всетаки при самых адских условиях такой жизни я успел в это время написать все то, что помещено в двух первых томах,[17] в приложениях к другим томам, и множество такого, что не перепечатано и не собрано.

Через неделю NN не отдал тысячи, а дал мне 40 рублей, из которых я и уплатил в гостинице за неделю, а остальное разошлось: пришли приятели, пошли куда-то, выпили пива; еще через неделю еще 50 рублей и т. д. Ростовщица узнала, что я уезжаю, и приступает с ножом к горлу, через неделю еще я уже получаю из Парижа письмо о деньгах, жена прожила там уже месяц, еще через неделю я получаю новое письмо оттуда же и опять иду к ростовщице: мне нужно уже 100 рублей сразу, а не сорок, не пятьдесят — эти сорок-пятьдесят нужны в гостинице. Занимаю вновь, то есть пишу двойной вексель, при десяти процентах в месяц, — следовательно, я уже ей должен 40 рублей в месяц платить процентов (это может подтвердить вам А[ндрей] В[асильевич] Каменский, очевидец всех этих мук). Затем мне пишут из Парижа, что, не получив следующий месяц жалованья, русская нянька идет жаловаться в посольство. Надо посылать деньги в Париж, постоянно дрожать перед ростовщицей, которая стережет меня каждую минуту, а *главное*, ясно видеть, что *пропало* все, что ни Карбасникову, ни ростовщице, ни мне, ни жене, — никому ничего не будет уплачено, что, напротив, все запутывается в сто раз хуже прежнего; я не в силах передать вам этого ужасного состояния, в которое я стал. Каждый день я являлся в магазин NN, каждый день мне нужно было рубля два — пять, каждый день я должен был мучиться, видя, что NN кипит в каком-то котле векселей, ничего не может сделать, кроме как дать 5, 50, 25 рублей, которые все прахом идут, ни на что не нужны, когда одни письма из Парижа о том, что жена и Саша

мерзнут и главное живут дураками неведомо зачем, могли бы заставить меня навеки возненавидеть NN. Но я видел, что он запутался. И такая адская мука продолжалась не несколько дней, не десять дней, а пять месяцев; я раза три брал заграничный паспорт, и три раза проходил ему срок. Вместо сентября я уехал в Париж только в январе 1875 года, заняв у А[ндрея] В[асильевича] Каменского 75 рублей, уехал и приехал туда без копейки, в холод и нищету, и совершенно разбитый нравственно, упавший духом, без всякой цели и с кучей долгов на шее. Теперь уже ко всему прежнему прибавились новые долги ростовщице и новый долг в 1 700 рублей, бесплодно, в помойную яму выброшенный. Все эти пять месяцев я не видел свету божьего, все мои планы разлетелись вдребезги, а затем не пять месяцев, *а ровно десять лет* беспрерывно. я жил под гнетом этой ужасной путаницы, устроенной «непрактическими» людьми со мной, «чрезвычайно практическим» человеком... Я потом, запутавшись и потерявши всякую цель существования, потеряв смысл жизни, перебрал у NN гораздо больше, чем 1 700 рублей, но мне невозможно было выпутаться, я не мог ни уехать, ни жену выписать, я потерял голову, я едва не спился в кругу, и затем, повторяю, десять лет влачил на своих плечах бремя банковского долга и преследования ростовщицы: где бы я ни был, в Петербурге, в Москве, в деревне, — везде меня настигали и рвали деньги эти ростовщики, рвали зря, беззаконно, бессовестно, не давая мне ни минуты спокойной; я боялся по улице ходить, у меня все нервы были постоянно напряжены, разбиты вдребезги, и это тянулось до прошлого года августа, когда *суд* отказал этим подлецам в праве дальнейшего хода моего тиранства...

Из чернового письма *Г. И. Успенского* Ф. Ф. Павленкову, Чудово 8 марта 1885 г., «Русская мысль» 1911, № 7.

Друг мой дорогой! Милый мой друг Бяшечка. Я до сих пор еще в той же гостинице, пот[ому] что после твоего отъезда я не могу опомниться и притти в себя. Я чувствую, что такое состояние мне очень полезно. Я очнусь и примусь за дело. Ах, дорогой мой друг, сколько я передумал насчет наших ссор, и как я виноват в них... Ты только прости меня. Я и до сих пор, как вспомню, что тебя и Саши нет, так у меня и рванет в сердце. Но, может быть, потом нам всем будет лучше. А главное, забудь ради бога всякую гадость, которую я делал тебе, и отдыхай, и учись, и гуляй. Я же буду стараться работать как можно больше и через

месяц, пожалуй, приеду к вам... Что мой дорогой Сашурочка? Коть-коть, милый мой мальчик!..

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Петербург (1874 г.), «Минувшие годы» 1908, № 4.

... Пожалуйста, будь спокойна и береги Сашурочку моего милого. Как вспомню, что у нас есть Саша, так и станет весело и легко. А то все гадость и скука. Надо теперь немного потерпеть, чтобы все потом пошло лучше, и уж не сбиваться с пути. Портреты ваши мне просто необходимы...

То же 30 октября (1874 г.), там же.

...Милый и дорогой друг Бяшечка и Саша! Простите меня, други милые, что так долго оставляю вас без писем. Я знаю, как это скучно и обидно. Но бестолочь, которая идет кругом, до того туманит мне голову, что просто не решаешься взяться за перо. Я приеду в скором времени непременно, но не знаю, скоро ли, — это все зависит от денег, а Надейн заставил просидеть меня в деревне у Саши [18] почти месяц и только теперь выслал. Я в Москве проездом и думаю сегодня же ехать в Петерб[ург] и там засесть за работу, чтобы ехать к вам, — к тебе, милая моя Бяшечка, и к Саше... Я ужасно рад, что кругом Саши так много русских — он, может быть, не будет говорить по-французски. Хоть это и глупость, а мне всегда ужасно больно почему-то, когда я вспомню, что он будет болтать по фр[анцузски] и не узнает и не поймет меня. Друг мой Бяшечка, не сердись на меня, — я молчу, потому что устал, а не потому, что забыл тебя; тебя и *Сашу* я не забываю никогда ни на минуту — поверь этому, я люблю вас, мои милые, бесконечно...

То же, из Москвы (1874 г.), там же.

Дорогой, дорогой друг мой Бяшечка. Я приеду, приеду к тебе, милая моя, как только достану денег. Я хочу к тебе давно и каждый день собираюсь ехать, но ты себе представить не можешь, сколько у меня неприятностей и зацепок. Писать я тебе не пишу, потому что каждый день думаю уехать завтра — и нельзя. Теперь я уеду скоро, непременно через несколько дней, — если можешь, погоди спокойно, а то я мучаюсь, читая два последних письма твои. Милый друг, как тебе худо и как я глуп и скот, что пришлось устроить житье врозь. Погоди ради бога, я расскажу тебе при свидании, что со мной было и ты, Саша, поймешь —

могу ли я взяться за перо, и что я могу тебе писать, когда я хочу тебя видеть? А Саша — идет ли он с ума у меня? Милый друг, если можешь, погоди, погоди несколько дней, теперь я скоро приеду и останусь до апреля. Неужели ты думаешь, что сидеть одному в трактире с N., когда Саше год, хорошо? Могу ли писать в такую минуту, что-нибудь толково и подробно? Ты поймешь это и простишь меня.

... Я ужасно рад, что ты познакомилась с Тургеневым. Это отлично, ты узнаешь, чтó такое настоящий писатель, а не та сволочь, которая пишет теперь вместе со мной... Впрочем, Забелло вылепил мой бюст, который будет на выставке в Акад[емии] худ[ожеств]. Я к нему ездил от тоски 5 раз по 2 часа. Это просто от тоски, у меня перо валилось из рук все время. А что я буду рассказывать тебе о том, что пишу, когда я пишу чушь. Я на десять лет вперед знал каждый свой теперешний день, и знаю, что будет. Что же мне писать тебе и говорить тебе о таком вздоре. Уверяю тебя, все это вздор, — и бюсты, и похвала, и книги, и писанья мои — от этого я и не говорил тебе об этом ничего никогда. Итак, ради бога, как это ни странно кажется тебе, все, что я делаю, — если даже и злюсь, — все это исходит из любви к тебе, настоящей любви. Пойми ты это и верь... без всяких дурных мыслей о себе (так как ты о себе плохо думаешь)...

То же 12 декабря (1874 г.) Полный текст — в книге *Чешихина* «Г. И. Успенский. (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 111—112.

Мне пришлось раз встретиться в поезде с А[лександрой] В[асильевной] Успенской, которая сначала была для Глеба Ивановича источником силы, а потом стала живым укором, быть может, врагом его литературных потребностей. Она уже овдовела, говорила о муже охотно, много и с благоговением. Быстро, бестолково рассказывала она мелкие анекдоты о нем, о детях. Чувствовался в ней и прямолинейный радикализм шестидесятых годов и та особая, беспомощная непрактичность, которая свойственна русским интеллигентным барыням, издавна усвоившим уверенность, что хозяйство есть нечто низменное и едва ли не буржуазное. Это расточительное, якобы передовое, презрение к домашности есть один из пережитков крепостного барства. В соединении с ребяческой расточительностью самого Успенского это свойство его жены, вероятно, обращало дом в какую-то бездонную яму. Помню, как меня поразила одна ее фраза:

Я повезла с собой в Париж кормилицу. Ведь я детей сама не кормила. Где же жене такого писателя этим заниматься!

Если между ними вырос ком недоразумений, недовольства и ссор, то разве можно решить, кто из них был виноват? Скорее всего оба правы, и оба виноваты. Но Г[леба] Успенского и эта неурядица, и долги, которые увеличивались наперекор увеличению заработка, давили нестерпимо. Он чувствует, что тут какие-то путы, застилающие ему свет, а разорвать их он не умеет.

А. Вергежский — «Литературные отголоски». «Слово». 1908, № 442, от 27 апреля.

Помню, как он (1875) хлопотал и устраивал нашего общего приятеля П[рокофия] В[асильевича] Гр[игорье]ва, идеалиста-народника, которого судьба поставила в весьма трудные обстоятельства (этот Гр[игорь]ев писал критические статьи в «Дешевой и Общедоступной библиотеке», редактировавшейся в 1875 году одним из близких знакомых Успенского — А[ндреем] В[асильевичем] Каменским). Глеб Иванович бросил все свои дела и до тех пор не успокоился, пока не сделал для Гр[игорье]ва все, что мог.

Д. П. Сильчевский, «Из воспоминаний о Г. И Успенском», «Новости и Биржевая газета» 1902, № 84, от 26 марта.

ГЛАВА VI

Вторая поездка за границу, жизнь в Париже. — Приезд в Россию. — Служба в Калуге. — Опять в Париже. — Поездка в Сербию. — Окончательное возвращение домой (1875—1877).

[1] Дорогой мой Сашечка отлично держит экзамен в высшее учебное заведение — рисование, все математические науки с отличными отметками. Каждое письмо дорого мне. Он умен, красив, высок ростом, крепок в убеждениях, и будущее его глубоко честного человека... Двадцать лет [*на полях* вынесено — 73 г. 12 декабря] тому назад я из квартиры в Троицком переулке во дворе выбежал к дворнику, чтобы сказать ему отворить ворота — приезд священника из Владимирской церкви крестить новорожденного (под воротами сидела любившая меня В.). Родная мать моя была кумой, а А[лександр] Ив[анович] Якушкин — кумом. Крестины были веселые. Но хлопот *с кормилицей было множество и наемное молоко* было для меня невыносимо. Каждая мать кормит своего ребенка, а нервная нанимает кормилицу или кормит коровьим молоком. Наем кормилицы возмущал меня, да и жена моя Алекс[андра] Вас[ильевна] говорила, что не может кормить мальчика.

Настала весна. Мы в Гатчине *[внесено внизу страницы]:* Нанял квартиру. Небольшой домик у кондуктора желез[ной] д[ороги], 3 ком[наты], пер[едняя] и кухн[я]. Сашечка гулял в колясочке по саду. Весело прожили лето и осень.

В это время задумана была поездка, которая и состоялась в конце октября. Из Гатчины мы переехали в Сарепинскую [?] гостиницу, — и в один день, в коляске, моя жена, Саша, кормилица выехали в Париж, я приехал туда позже, в декабре месяце того же года. Поезд пришел вечером, и мы с молодой женой приехали в квартирку, близ Елисейских полей. В хорошую погоду Сашечка, и Ал[ександра] В[асильевна], и корм[илица], и я выехали гулять в Елисейские поля. Развлечений для детей много и детей великое множество.

В Париже я прежде всего отправился к Ив[ану] С[ергеевичу] Тургеневу, и с этого первого (я раньше видел Ив[ана] С[ергеевича] у Я[кова] П[етровича] Полонского) для меня светлого дня, почти всю зиму я бывал у Ив[ана] С[ергеевича]. Я принес ему рассказ «Книжку чеков», где, правду сказать, был изображен уехавший за границу помещик, а управляющий сдавал участки земли под винокуренные заводы, рубил лес. Домик в Rue de Douai памятен всем. *Нигилисты* стали появляться в его кабинете частенько, и однажды я сказал Ив[ану] С[ергеевичу], что [с ним?] желает познакомиться Герман Александрович Лопатин. Из очерченн[ого] его характера и жизни Ив[ан] С[ергеевич] понял, что это юный, но великий человек.

С Г[ерманом] А[лександровичем] я познакомился скоро. Он жил в Латинском квартале в улице близкой Пантеону. Квартирка крошечная. С ним жила [неразб. одно слово], занималась медициной. Приехал я к Г[ерману] А[лександровичу] вечером, он был занят переводом Маркса. Биографию Г[ермана] А[лександровича] я знал раньше. Главнейшие из его жизни события были попытки освободить Н. Г. Чернышевского; он состоял в Иркутске в числе чиновников особых поручений при иркутском губернаторе и ему было поручено ехать наблюдать за жизнью Н. Е. [Г?]; в свите [?] губ[ернатора] узнали подложный документ, по которому жил Г. А. Его посадили в тюрьму, а допрос — в полицейском управлении.

Г[ерман] А[лександрович] рассказывал так: во время допроса его вывели напиться воды из колодца. Солдат принял от него ведро и стал пить. Закрывшись ведром, Г[ерман] А[лександрович] заметил лошадь полицейского верхового, и немедленно вскочил на нее, помчался на глазах всех изумленных, сумел перескочить в мелком месте Ангару — и в тайгу. До ночи он пробыл там и возвратился прямо к полицеймейстеру, который был ему знаком, из ссыльных поляков. Полицм[ейстер], не сказав ему ни слова, поместил его в темном чулане, и в одну ночь выпроводил его одного на телеге, запряженной в одну лошадь. Не легкий путь проехать окольным путем до Тобольска. Здесь его ждали. Случай — покупка колбасы и посещение общей знакомой уже(?) сосланной. Г[ерман] А[лександрович] был схвачен, отвезен опять в Ирк[утскую] тюрьму, но здесь ему помогли сделать подкоп, и он опять бежал, в Вятке захватил Лаврова, сумел с ним перебраться за границу, где в Лондоне и стал издавать журнал «Вперед». В это время я и был у Г[ермана] А[лександровича] Лопатина в Париже.

Настал день, когда мы вместе пошли к Ив[ану] С[ергеевичу] Тургеневу. Такой горячей, умной, веселой, продолжительной беседы, которую возбудил Г[ерман] А[лександрович] я не видывал, и видел в возбуждении Ив[ана] С[ергеевича] великую радость — знать и понять энергичного «русского» не с узкими целями угрюмого рабочего, непонятного для Ив[ана] Сергеевича. Орел и ангел прилетел к И[вану] С[ергеевичу] — это и есть Г[ерман] А[лександрович] Лопатин. Не прерывались отношения Г[ермана] А[лександровича] с И[ваном] С[ергеевичем] во все время пребывания Ив[ана] С[ергеевича] и Г[ермана] А[лександровича] в Париже. Благодаря Г[ерману] А[лександровичу] Ив[ан] Сергеевич устроил утро для устройства библиотеки. Из моих рассказов я выбрал «Ходок» и переделал его. Чтение при публике — великое дело, и никто так удивительно не читал как Ив[ан] С[ергеевич] Тургенев. В ту квартиру, около Елисейских Полей, Ив[ан] С[ергеевич] заехал за мной вечером с какого-то обеда, и вечером привез меня к себе: был Жуковский сын, Г[ерман] А[лександрович] и еще кто-то. Ив[ан] Сер[геевич] начал моего «Ходока» — спрашивая — так ли? Но я положительно не узнавал моего «Ходока» в чтении Ив[ана] С[ергеевича]. До того он [зачеркнуто] одухотворил моих героев, что был очарован. Эти чтения повторялись не раз, и я имел от Ив[ана] С[ергеевича] записки, что я неаккуратно посещаю его. «Ходок» был прочитан раз пять и рассказ Ив[ана] С[ергеевича] «Стучит» не меньше. Настало утро, я запоздал. Зала и картинная галлерея в ..... кв[артире] Виардо были уже переполнены. (Мои знакомые А. И. Ив[анчин]-Пис[арев], Мария Павловна, Г[ерман] А[лександрович] Лопатин, А[неразб. слово], Скворцов и много русских студентов и проживающих в Париже якобы нигилистов.) Пела m. Виардо русск[ий] романс — удивительно]. К[арл] Давыдов играл на виолончели и в конце И[ван] С[ергеевич] прочитал «Стучит». Признаюсь так[ого] чтения я не слыхал и в [неразбор.], «ученье» читать Ив[ана] Сер[геевича] (он учился читать прежде, чем читал). «Стучит-стучит» — потрясло меня и всех, как быстро приближалась[щаяся?] телега с шайкой разбойников. Впечатление до сих пор не прошло во мне. Мой рассказ прочитал без меня, но произвел всеобщий смех. Афиша на французском языке до сих пор хранится у меня. На вырученные деньги открыта была русская библиотека.

Настала весна, и мы переехали в самую лучшую часть Парижа, Отейль, в новый дом, там где идет на арках железная окружная дорога. В двух шагах — Булонский лес.

Сашечка катается в Булонском лесу; ему не было еще *и года*. Целое лето провели мы весело. Я работал. Осенью я уезжаю в Калугу. А[лександр] Ив[анович] дает мне рекомендацию к Мейнгард, начальнику Л.-Р. дороги, а тот дает рекомендацию к Верховскому в Калугу (все описано в моих книгах).

Сашечка и Алекс[андра] В[асильевна] остались в Париже.

Из автобиографического отрывка «Мои дети», написанного *Успенским* 22 августа 1893 г., в Колмовской лечебнице (с рукописи Государственного литературного музея в Москве 1256/1).

П[рокофий] В[асильевич] Григорьев проживает в Париже лет сорок. Теперь ему под 70, а может быть, и больше. Он живой, бодрый, энергичный и остроумный старик. Он поэт, и есть не мало его стихотворений, неизвестных русской публике, которые нравились и Некрасову, и Тургеневу, и Глебу Успенскому. И вот что рассказал он мне об Успенском.

— Это было очень давно, — рассказывал П[рокофий] В[асильевич] Григорьев, — кажется, в первой половине 60-х годов. Я был тогда студентом Московского университета и посещал один из кружков тогдашней московской интеллигенции. Там бывали: Склифасовский (о нем еще никто не думал, что станет знаменитым хирургом), Александр Урусов (в нем немногие только предугадывали выдающегося юриста), Лентовский (в нем сидел будущий антрепренер); заходил, когда приезжал в Москву, и Глеб Успенский. Тогда Глеб Иванович был полным веры в будущее молодым человеком, но никто в нем тогда еще не распознал его огромного литературного дарования. Отношения мои к нему не были исключительными, а такими же, как и к каждому члену того кружка. Затем, когда я окончил университет, и на средства, доставшиеся мне по наследству, затеял устроить в Саратовской губернии земледельческую колонию, — не на эксплоататорском начале, а на совсем иных — рабочие приходили и сеяли хлеб и делили затем результаты наших трудов поровну, — Глеб Успенский очень заинтересовался моей затеей и приехал ко мне пожить [2] и присмотреться к моим сотрудникам — мужикам. Тогда мы сошлись с Глебом Успенским теснее, узнали друг друга больше. . . Он любил подолгу говорить с мужиками; много работал — писал и вел совершенно правильный образ жизни. Потом я был у него после того, как он женился. Он встречает меня приветливо и говорит:

— Да, да... я женат... Вот, видите, — висит на стене ее кринолин...

— Да, кринолин я вижу... А где же содержимое?..

— А жена уехала на несколько дней.

И, наконец, мы поселились в Париже в одном и том же доме. Глеб Успенский с женою жил очень скромно, — средств было мало. Писали мы с ним оба тогда юмористические статьи для «Будильника», посылали в Москву и тем кормились. Тогда же Глеб Успенский работал и над своими большими вещами, которые появились впоследствии.

Возмущало Успенского обыкновение парижских ресторанов за все требовать плату, за всякую мелочь... Завтракаем мы где-нибудь в дешевеньком ресторанчике — и знаем, что возьмут с нас не только за то, что мы съедим и выпьем, но и за салфетку, и за прибор, в котором подают, и отдельно за хлеб, и за салат. Однажды к нам во время обеда влетела в окно муха.

— Муха влетела!.. Вот увидите — сейчас возьмут с нас еще и за порцию мухи!..

Изредка, измученный всем, что переживалось, да и разными мелкими неприятностями, он не прочь был выпить и называл это просвежением.

— Давайте, — говорит, — просвежимся что ли!..

Одновременно тогда же и Тургенев жил в Париже. Глеб Успенский знал, что я бываю у него, но сам не поддерживал с ним знакомства и относился к Тургеневу несколько враждебно:

«Это барин, аристократ!.. Он — не наш брат».[3]

За все время близких отношений моих к Глебу Успенскому я не вынес воспоминаний о каких-нибудь ярких, выдающихся эпизодах или разговорах... Все мне припоминается в дымке обыденности, мелочей, связанных с борьбой за существование, скорбей и негодований, знакомых всему тогдашнему сознательно живущему обществу, и редких радостей по поводу каждой, даже мелкой удачи. И только простодушие, доброта, честность, товарищеская простота и незлобивая шутливость Глеба Успенского навсегда сохранились в моей памяти. Ничто тогда не наводило на подозрение, что в нем таится начало тяжелого душевного недуга.

Алексей Мошин, «Из воспоминаний о Г. И. Успенском», «Новая Русь», 1910, № 4, от 5 января, вторник.

Глеб Успенский здесь и был сегодня у меня. Хандрит и жалуется. Да и есть отчего хандрить, коли цензура у него

хлеб изо рту отнимает. У Глеба в десять раз больше таланта, чем у Николая — но тоже очень все однообразно и бедно красками.

Из письма *Тургенева* Я. П. Полонскому, Париж 25 января ст. ст. 1875 г. «Первое собрание писем И. С. Тургенева (1840—1883)», П. 1885 стр. 248—249.

Посылаю вам при сем рассказ здесь обретающегося Глеба Успенского. Мне кажется, он очень не дурен и мог бы фигурировать на страницах В[естника] Е[вропы]. Если вы разделите мое мнение, то знайте, что его цена — 150 рублей сер. Во всяком случае прошу ответа.

Из письма *Тургенева* М. М. Стасюлевичу. Париж, Rue de Douai, 31 января ст. ст. 1875 г. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, П. 1912, стр. 49.

Тут был литературно-музыкальный вечер в «салонах» m-me Виардо. Кроткий Николай Степанович (Курочкин) вдруг превратился в льва, когда читал свои стихи. Вот человек, который менее всего может изобразить на лице своем гнев. А надо было изобразить. Я взглянул на него из-за двери, когда он читал, — и ужаснулся. Н[иколай] С[тепанович] ощетинился на общество и кричал что-то очень сердито. Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки»[4] и прочел превосходно. Я не присутствовал на чтении, но присутствовал на приготовлении к чтению. Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что, до мельчайших подробностей. Ох, и фокусники же эти сороковые годы! У m-me Виардо голоса нет, но уменье петь, действительно, поражает. Публика была блестящая, и посланник Орлов улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тот проклинал в своих стихотворениях человечество.

— Где вы были? — в *необыкновенной* тревоге (все это совершалось с ужасно озабоченным видом и с действительной тревогой) обратился ко мне Иван Сергеевич: — Вы имели успех! вас зовет публика! Где вы пропали? Я вас хотел вывести! Ведь вас звала публика! и т. д.

«Вычеркните это! А то княгиня Т. будет недовольна!» — «А мерина можно оставить?» — «О, это оставьте». — Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали «неприятное».

Из письма *Успенского* Н. К. Михайловскому, Париж март[5] (1875 г.). Собр. соч. Успенского, т. I.

Здесь устроилась русская библиотека, и мы с Глебом записались членами. Иван Сергеевич Тургенев устроил в пользу этой библиотеки литературно-музыкальное утро в своей квартире; читал он свой рассказ «Стучит» и Глеба рассказ «Ходок». Играл Давыдов, пела Виардо, еще играла Есипова на фортепьяно. Билет стоил 15 франков, и все живущие здесь аристократы и богачи присутствовали. Мне Тургенев дал даровой билет. Всех денег собрали 1800 франков.

Из письма *А. В. Успенской* Н. А. Долганову, Париж [1876 г.] (*В. В. Буш,* «Жена писателя», Л. 1924, стр. 17).

...с работой идет туго, задачу забрал трудную, а главное, ведь ей-богу, не бывает минуты покоя — надо жить, есть, пить, кругом должен — просто ужасное положение. Но начало повести [6] я пришлю вам через неделю непременно...

...Мы переезжаем на другую квартиру, к самой окраине Парижа, к Булонскому лесу, в Отей, или Отейль, — подробный адрес не знаю, хотя уже нанята квартира, с водой, газом, приспособленным и освещать и варить кушанье, — за 11 рублей в месяц 3 комнаты, кухня, погреб и пр., но жить будет скучно: перед носом лес и виадук железной дороги Пустыня. Там у меня будет маленькая отдельная каморка, где я буду работать усердно. Теперь у меня нет ничего подобного. Поставьте ваш письменный стол в переднюю к самой входной двери, и вы будете иметь понятие, как я помещаюсь и удобно ли мне.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому Париж 8 апреля 1875 г., «Русское богатство» 1912, № 3, стр. 179—180.

Мало времени... спешишь с переводами, потому что работа срочная. Вот уже мне чуть не тридцать лет, и страшно оглянуться, сколько прошло времени, и теперь, как бы ни хотела работать, как следует, хоть печатать и берут и даже получаю 60 рублей жалованья от «Общедоступной библиотеки», но еще надо учиться.

Из письма *А. В. Успенской* Н. А. Долганову, Париж 11 апреля 1875 г. (*В. В. Буш,* «Жена писателя», Л. 1924, стр. 20).

Андрей Васильевич! На-днях вы непременно, непременно и непременно получите мою статью. Называется она «Из памятной книжки». Я решил все, что думаю и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и

печатать так, как думается, в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным в настоящее время формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и сценка, и размышление, приведенные, как я сказал, в некоторый порядок, то есть расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этой сценой. Я пришлю вам на 2 листа, июнь — лист, и на июль — лист, хотите печатайте теперь, хотите — в августе, но я предполагаю под назв[анием] «Из памятной книжки» — издать книгой, предварительно напечатав у вас. Тут будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург. С романом [7] мне некогда возиться, и я решился кончить этого рода работой.

Затем, сию минуту писать о Золя, [8] как хотел, и о французской литературе я не могу. Но осенью я с великим удовольствием займусь этим делом, и вы вполне можете рассчитывать на меня...

...Поверьте, с осени мы жестоко примемся работать. У меня порой на душе становится совсем светло, да и у всех, хотя поминутно видишь гадость и гадость, но этих минут у меня давно, давно не было. Да здравствует Григорьев! Он посадил меня на хлеб и воду, и что же? Я отрезвел, похудел, потерял жир и живот, — прозреваю временами... Серьезно — Григорьев — мой спаситель. [9] Он меня так ошарашил, что я действительно очнулся, лучше чем от зельт[ерской] воды. Душевно благодарны ему.

Моя статья о Золя будет называться «Брем и Золя». Последним романом [10] он завершил картину французского общества, т[о] е[сть] не французского, а всякого общества при настоящих условиях жизни, и кончил провозглашением, то есть не нашел ничего лучше — скотины, животного (Дезире). У него удивительный зверинец больных животных от Тюльери до крестьянской избы. Вот почему я беру Брема...

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому, Париж 9 мая 1875 г. («Русское богатство» 1912 г. № 3, стр. 181—182).

Затем, если вы серьезно хотите поставить «Библиотеку» [11] на настоящую ногу, то я бы вам советовал прежде всего *организовать* дело как можно прочнее. Для организации же, по-моему, требуется, во-первых, сговориться относительно направления журнала и подобрать человек двух (никак не больше и незачем это), которые бы и составили редакцию, каждый делал свое дело. Цель издания, по-моему, — конкуренция с таким, напр., изданием, как «Дело», и это тем удобнее, что цена «Библиотеки» ниже, а сотрудники могут

быть и из «Дела», и из других журналов, т[о] е[сть] выбор больше и разнообразнее...

...Относительно себя я вам скажу следующее: я бы с громадным удовольствием принялся работать для журнала и знаю, как сделать это дело, как поставить его на ноги, но мне теперь нельзя еще жить в Петербурге, потому что у меня долги, которые меня сию же минуту затормошат.[12] Но я сделаю все, что могу, во 1-х, относит[ельно] переводного отдела с франц[узского], будьте соверш[енно] уверены, что получите лучшее, что есть. Тургенев дал мне слово указывать все, что есть замечательного (я от него сию минуту получил письмо из Карлсбада). Хроника парижской жизни (под видом иностр[анной] библиографии) будет вестись, если то нужно, одним из образованнейших молодых людей, и за интерес ее я вам ручаюсь; хроника германской жизни...— у вас уже есть сотрудник... Затем я сам все, что ни напишу,— все будет принадлежать вам; но мне необходимо июнь, июль и август провести в России, в деревне.[13] Это для меня необходимо, как воздух, это не отдых — я отдохнул в Париже и окреп окончательно, и я теперь ищу случая облечь мои мысли в плоть и кровь, мне нужно видеть, жить среди самой настоящей русской жизни. Повторяю — это не отдых, а именно настоящее дело. Если вы только верите этому и сочувствуете мне, то я прошу вас помочь мне в этом деле. Для поездки в Россию мне нужно 350 р[ублей], с 150 я оставлю А[лександру] В[асильевну], а с 200 уеду, не заезжая ни в Питер, ни в Москву, прямо к брату, в лес, у которого возьму лошадь и отправлюсь по Дону. Я уже ездил однажды, и у меня есть заметки, но их мало. Это степная, мало тронутая сторона; я буду заниматься этим делом серьезно, основательно — и уверен, что ничто не пропадет для меня, особливо в настоящее время, когда я убедился, что, чтобы выбиться из моего стесненного положения, мне нужно работать и работать. Я теперь очнулся, отрезвел, окреп, я буду работать много, раз навсегда плюнув и растерев вопросы о личных моих несчастиях. Но без этой основательной поездки я издохну на чужой стороне, и боюсь сорваться снова. Если вы пришлете мне 350 руб[лей], то я, в уплату их, пошлю вам два очерка[14] (3-й, который для вас мне жаль пускать в том виде, как он есть. Мне надо обновить его новыми впечатлениями). Назначайте ему какую хотите цену; но все, что не оплатится, будет покрываться моими дальнейшими работами пополам: половину — в долг, половину — мне. К сентябрю я обещаю вам доставить работу непременно, прямо из провинции,

затем опять уеду за границу на осень, откуда и буду писать. Тем временем будет выходить в свет собрание моих сочинений, с предисловием, в котором будут даны некоторые очень простые объяснения критикам, напр., Ткачеву,[15] который бранит меня, видя упадок и не зная, что то, что издано мною в 1875 году,[16] — писано не в 75, а в 62 и 63 — 12 лет назад, а помещено в книге, благодаря мошенническим контрактам и условиям издательства. Мне важно покрыть 1000 рублей долгу Псковскому банку, и я тотчас же возьму ее назад, расплачусь до копейки с Антоновой[17] и к рождеству уже буду в Петербурге и могу работать, — если вы не устроитесь гораздо лучше, — вместе с вами. Вот что я намерен делать. Если же эта поездка не удастся, — я потеряю, да не могу не потерять ту охоту к труду, которая теперь снова поднялась во мне, как 5—6 лет. Этой поездки я добиваюсь два года, и два года не могут сделать. В прошлом году я достал денег, но чорт меня дернул дать в долг Надеину 1100 рублей, и вследствие этого я все лето и всю осень пропьянствовал в Петербурге. Вместо того, чтобы отдать всё сразу, он даст мне 100 рублей, — я пошлю их А[лександре] В[асильевне] и две недели жду других каждый день, ничего не делая и забирая то 3 р[убля], то 5 р[ублей], а через две недели опять дает 100 рублей, когда в гостинице уже накопилось полтораста. Ужасное положение! Я не виню его, но знаю и утверждаю, что он был причиной непроизводительной траты денег.

Отвечайте мне, дорогой Андрей Васильевич, на это письмо теперь же. Я пишу о том же Меркурьеву.[18] Мне нужно знать как можно скорей. Затем, будьте так добры, вышлите 200 фр[анков]; если можно, так поскорей. Мы буквально без всяких средств сидим эти дни. И только эти 200 фр[анков] — все наши средства. Саша и Юлия[19] поглощают их большую часть, и нам остается едва-едва; даже нехватает, по правде сказать. Я ем раз в день кусок чего-нибудь или же 3 яйца. Пожалуйста, вышлите их, если можно, теперь же и отвечайте на мою просьбу. Ваш Г. Успенский.

Будьте милосердны, Андрей Васильевич! Известите меня, что делается с «Библиотекой» и с вами. Я с нетерпением жду вашего ответа и ответа Меркурьева, так как это для меня дело жизни и смерти...

Как бы то ни было, а *сегодня 8 июня,* время идет, а я сижу и жду, может, быть, бесплодно. Тогда как все, что ни живет здесь, эмигранты напр[имер], — преспокойно получают всевозможные средства, ездят, куда хотят, ровно

ничего не работая и не имея лично никаких денег, — я никак не могу добиться побыть в России, прося так мало денег, как только возможно. Мне ужасно грустно и обидно, ужасно обидно.

Григорьев *меня обманывает* (буквально). На письма я не получаю ответа, — я не знаю, что это такое? Все это сведет меня, право, окончательно с ума. Ради бога, пишите мне пожалуйста:

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому, Париж 8 июня 1875 г. (там же, стр. 182—187).

Он (Глеб Иванович) писал мне из Парижа: «Господи, что за ахинея идет в моей жизни, что за чепуха! Я пять лет стремился поездить по Дону и пробраться в Соловецкий, а мне надо сидеть в Париже! Нечего сказать, по моим вкусам устроилось все!» Письмо, из которого я беру эти строки, относится еще к середине 70-х годов, а чем дальше, тем сильнее тянуло Успенского с места на место.

Н. К. Михайловский.

Андрей Васильевич! Посылаю вам еще 2 страницы рассказа. Теперь начинается самая интересная глава, рассказ дьякона (он займет 3 спец[иальные] главы) — вещь трудная, и чтобы исполнить ее удовлетворительно, я должен иметь хоть каплю спокойствия духа. Но мысль о том, что я останусь в Париже, что не выеду в Россию, просто угнетает меня; у меня опускаются руки, и голова не хочет ни о чем другом думать. Я не знаю, дадите ли вы мне денег, если я пришлю работы рублей на 200, полагая даже по 50 рублей за лист, — ничего не знаю. Передавать рукопись в «От[ечественные] з[аписки]» не стоит, потому что там все разъехались, и ответ я получу разве 1 августа. Лучше я брошу писать и прекращу всякие мечтания.

Поэтому я вас прошу: известить меня *сегодня же*, т[о] е[сть] по получении этого письма, можете ли вы мне выслать 200 рублей и когда именно. Если не состоится нов[ая] [ред]акция [20], то не может ли Меркурьев выслать под мою работу, если я ее окончу? Или пришлю на 200 рублей, то-есть 4 ваших листа? Затем, если не будет ни того, ни другого, то не можете ли вы, имея у себя мою рукопись и зная, что ее напечатают где-нибудь (если не состоится у вас), достать мне руб[лей] 150. А я укажу вам место, куда послать рукопись и где будут выплачивать деньги по мере печатания. Все это мне надо знать непременно теперь же.

Если ответ будет удовлетворительный, рукопись будет окончена как нельзя лучше. Если нет, то я теперь же буду знать, что мне ждать нечего. Глеб Успенский.

Пожалуйста известите меня, милый Андрей Васильевич. Ваш Г. Успенский.

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому, Париж 9 июня (1875 г.), «Русское богатство» 1912 г., № 3, стр. 187—188.

В июне 1875 года после двухлетнего пребывания у себя в деревне... я попал в Париж, где в это время жили два лица, главным образом и повлиявшие на мое решение поселиться в столице Франции, это — Дмитрий Александрович Клеменц и Глеб Иванович Успенский. С первым я был близким товарищем по деятельности, а второго знал по его литературным произведениям и не раз слышал о нем как о простом, изумительно остроумном и добром человеке. Последний по счету отзыв о Глебе Ивановиче я получил в дороге, заехав в Брюссель повидаться с С[ергеем] М[ихайловичем] Кравчинским.

— Я завидую тебе,— говорил Кравчинский, — ты будешь жить с Бульдожкой, [21] и часто видеться с Успенским... Вот человек, доставляющий истинное наслаждение своим обществом, когда в ударе!.. Он часто подтрунивает надо мной, но всегда так остроумно, что совершенно обезоруживает меня, хотя, как ты знаешь, я не очень склонен давать себя в обиду...

В Париже мне пришлось устроиться с Клеменцем на rue Bertolet, 4, в квартире редактора журнала «Знание» Исидора Альбертовича Гольдсмита, переехавшего на лето с своей женой на дачу, недалеко от Севра. Квартира была вполне благоустроенная, и Клеменц, предлагая мне избрать комнату, остановился на кабинете, сказав:

— Бери сей аппартамент!.. Здесь любит сидеть Успенский, находя его более деловым по виду и уютным.

— А часто бывает у тебя Глеб Иванович? — спросил я.

— С отъездом Исидора — довольно часто. Он живет за городом, в Отейле, и жалуется на безлюдье... «Один Тургенев в Буживале, по близости, — говорит, — и тот в последнее время сидит на курином бульоне...» Успенский уверяет, что когда Иван Сергеевич «творит», то Виардо его кормит исключительно куриным бульоном с фруктами.

Дня через три Глеб Иванович действительно зашел к Клеменцу.

Издали до меня долетали отдельные фразы их разговора.

— А ко мне приехал мой ярославский барин, — сказал между прочим Клеменц, очевидно ранее сообщивший Успенскому, что под видом моего кучера он занимался пропагандой в Даниловском уезде.

— Народ, значит, все прибывает из России... Плохой признак! — послышался ответ.

Через несколько минут Клеменц привел ко мне Успенского.

— Вот вам — мой барин, Александр Иванович Иванчин-Писарев, а тебе — Глеб Иванович Успенский! — сказал он.

Передо мной стоял довольно высокий, стройный человек, с широким, белым и гладким лбом, с густыми русыми волосами на голове и более светлыми на бороде. Он внимательно смотрел на меня темнокарими глазами, как-то ласково-застенчиво улыбался, и, протянув руку, сказал:

— Уцелели?

Я предложил ему сесть на кресло к столу, но он отказался:

— Я лучше на диванчике, рядом с вами.

Клеменц принес спиртовой прибор для нагревания воды, со всеми принадлежностями для чаепития, и поставил на стол передо мной.

— Ну-ка, смастери чайку!.. Угостим Глеба Ивановича, — сказал он.

Наш гость сидел на диване и курил папироску, держа ее в правой руке, а левой покручивал бородку. Я заметил, что он курит без «затяжки», просто «дымит», но зато затягивает этот процесс надолго особым приемом: когда папироса подходит к концу, он вынимает из нее мундштук и вместо него вставляет новую папиросу... Эта система куренья, это постоянное покручивание бороды и вообще порывистые движения обличали в нем крайне нервную натуру.

— Откуда вы прибыли к нам? — спросил меня Глеб Иванович.

— Из Калуги, где пребывание мое становилось рискованным, — ответил я.

— Прямо оттуда?

— Нет, заезжал в Вильну, чтобы при содействии одного приятеля перейти границу; пробыл три дня в Брюсселе у Кравчинского — и сюда.

— Границу миновали без приключений?

— Без малейших!

— Вот Дмитрия Александровича чуть ли не сама приятельница его[22] перевела через границу!.. Какая изумительная организация!..

— За все, про все, — за встречу на станции железной дороги, за пару лошадей для переезда тридцать верст до пункта перехода границы и за целый эскорт проводников до заграничной речушки — 15 рублей и... две папиросы!

— Две папиросы?! — изумился Глеб Иванович, склонив голову на бок и как-то особенно улыбаясь сжатыми губами. — Две папиросы? — повторил он.

— Да. Когда мы поровнялись с опушкой небольшого леса, откуда выглянули два стражника, контрабандист сказал: «Дай-ка мне две папиросы:, я потом угощу их, они не любят наших сигар».

— По-божески берут!

— Раньше дешевле было, пока не сообразили, какие мы торговцы, — заметил Клеменц.

— Почему же догадались? — спросил Глеб Иванович.

— «Пограничников» у нас мало. Сегодня приедет наш Мойша для переговоров о транспорте книг, а через неделю привезет вот этакого «купца», как Александр: смекнули — и повысили цену.

— А до выдачи не дойдут?

— Расчета нет. Среди действительных торговцев, путешествующих без заграничных паспортов, семо и овамо, наш брат — капля в широком потоке. Представить одного в полицию — значит закрыть свою пограничную черту: купец пойдет в другое место... Со стороны контрабандистов опасности нет.

— А стражники?

— Этим тоже нет расчета хватать нашего брата. Первое дело — ка́к узнаешь, что идет «враг государства», а второе — сцапал одного и лишился постоянного дохода! Ведь теперь за каждого беспаспортного фланера они получают два рубля...

— Только два рубля... и папироску? — насмешливо улыбнулся Глеб Иванович.

— Два рубля... Но сколько этих рублей наскребут в год, когда купец идет, как сельдь?.. Доход порядочный!.. А велика ли благостыня за нашего брата? Стоит ли из-за нее терять верный доход?

— Как все это интересно! — воскликнул Г. И. и, повернувшись в мою сторону, тоном глубокой любознательности

сказал: — Дмитрий Александрович передавал мне, как вы действовали в Ярославской губернии... Расскажите пожалуйста, что вы потом делали, видели — все!

— Кстати и я послушаю, — прибавил Клеменц. — Ведь я не знаю, где ты пропадал, расставшись со мной.

Не столько потому, что предо мной был писатель, кому хотелось сообщить материалы из жизни, недоступной его непосредственному наблюдению, сколько потому, что вся манера Глеба Ивановича располагала к откровенной беседе, я стал передавать подробности своих метаморфоз в течение года и тех впечатлений, какие вынес из столкновений с разными лицами за этот период.

Глеб Иванович оказался не заурядным слушателем, пассивно воспринимающим разные моменты повествования, а какой-то фотографической пластинкой, схватывающей все оттенки переживаний, выпадавших на долю рассказчика.

Так, упомянул я о случайной встрече в вагоне 2-го класса, около Тулы, с товарищем прокурора и жандармским офицером, ездившим куда-то по делам службы, и сказал, что, занимая верхнее место над ними, слышал, как они, между прочим, были озабочены розысками «молодцов», натворивших не мало каверз в Ярославской губернии»: на лице Глеба Ивановича отразилась тревога, он стал быстрее закручивать свою бороду и порывисто спросил:

— Не узнали вас?

Когда же услышал, что «блюстители порядка» вышли в г. Алексине, он облегченно вздохнул.

В другой раз его чудные глаза и лицо обнаружили прямо испуг, когда я передал, что, работая в Калуге, в кузнице молотобойцем, своими неумелыми ударами так возмутил кузнеца, что он замахнулся на меня молотком.

— Ударил? — со страхом воскликнул Глеб Иванович.

— Нет, — успокоил я его... — Я сам поднял молот и сказал: «Очумел, что ли: лезешь с своим крючком на мой инструмент!» Он отвел душу отборной бранью.

— Но он мог вас и ударить?.. Что бы вы тогда сделали?

— Вероятно, бросил бы молот и ушел...

— В рискованные же положения вы попадали! — все еще не мог успокоиться Глеб Иванович.

Он просидел с нами довольно долго. Случайно оторванный от России, он жадно прислушивался ко всем сведениям о том, что делается на родине, в особенности интересовался вопросом, какие перемены замечаются в жизни крестьян,

в зависимости от последних реформ: введения земства и мировых учреждений.

Приходилось констатировать, что крестьяне пока отрицательно относятся к этим преобразованиям, не видя для себя никакой пользы ни от земского самоуправления, где им отведена малозаметная роль, ни от мировых учреждений, куда с своими гражданскими и уголовными претензиями к ним обращаются кулаки и помещики.

— Ну, а ссудо-сберегательные товарищества приносят пользу? — спросил Глеб Иванович.

— Приносят тому, кто получил ссуду, но на самое короткое время — до наступления срока возврата. А тут уже слышишь «не рад, что и связался: хуже податей выколачивают...» Ведь какие-нибудь 20—50 рублей не могут поправить расшатанное хозяйство настолько, чтобы уплата их стала по силам... Так бывает: возьмет крестьянин ссуду для покупки лошади, а потом ее же сведет на базар, чтобы рассчитаться с товариществом... Да и кто же может получить ссуду? Вот прекрасный работник, но скрутила его нужда. Помоги ему выпутаться — и он встанет на ноги и погасит свой долг... В правлении товарищества начинают определять его кредитоспособность.

Оказывается, что у мужика нет даже имущества, какое, по уставу товарищества, может подлежать продаже за долг.

— Эх, парень, — говорят ему, — дали бы мы тебе с превеликим удовольствием, ежели у тебя... хоть коза была. А у тебя ничего.

— Было бы что — не просил бы у вас, — отвечает он.

— Ну ты сам посуди, — вразумительно убеждают члены правления, — как же тебе дать, если у тебя нет ничего?

— Да-а! Правильно! — заметил Глеб Иванович. — Как же тебе дать, если у тебя ничего нет.

— Выходит, что ссудо-сберегательное товарищество преследует цель помощи только людям некоторого достатка.

— Что станешь делать? — вопросительно сказал Глеб Иванович. — Коли у тебя ничего нет, зачем же тебе помогать?.. Логично... Вполне... Можно при случае воспользоваться этой логикой?.. В получение нашим Шульце-Деличам? — спросил он.

— Пожалуйста!

Ясно было, что Глеба Ивановича глубоко заинтересовал этот факт.

— Еще долго думаете пробыть в Париже? — спросил его Клеменц.

— Надо ехать... Ох, как надо... да правов нет! — задушевно-грустным тоном ответил Успенский. — Писал Григорию Захаровичу Елисееву, нельзя ли выслать рубликов 300?.. Не знаю, соблаговолит ли?.. Может, ответит: «Да как тебе дать, коли у тебя ничего нет?..» Не пишется что-то в последнее время...

Прощаясь, Глеб Иванович обратился к Клеменцу:

— Дмитрий Александрович, отец родной! Хоть у меня и нет козы, а позвольте перехватить у вас... франка два!

— У барина моего есть, а у меня все жалование от него вышло, — ответил Дмитрий.

Еще не успел он окончить свою фразу, как я вынул из портмоне несколько золотых и, положив на ладонь, протянул руку Глебу Ивановичу.

— Можно? — с улыбкой, наклонив голову, спросил он, взяв двадцатифранковую монету.

— Пожалуйста. Не надо ли еще?

— Не соблазняйте, господин!.. И так прегрешаю против нужды... Сашечке надо, — обратился он к Клеменцу, — шоколаду купить, себе папирос и пачку почтовой бумаги: писать-то ведь пора!

Это простое отношение к займу я мог объяснить себе только присущей Глебу Ивановичу особой склонностью самому приходить на помощь любому человеку, нисколько не считаясь с своими нуждами.

Впоследствии я бывал свидетелем в Петербурге, как Глеб Иванович Успенский, постоянно жалуясь на свое безденежье, при получении из «Отечественных записок» аванса в 200—300 рублей предлагал их при встрече с тем, от кого слышал, что ему нужны деньги.

— Вот, не угодно ли? — просто говорил он, вынимая из кармана пачку ассигнаций.

...Мы шли в Лувр, куда мне давно хотелось попасть, особенно после рассказов Глеба Ивановича о Венере Милосской, но он удерживал меня:

— Подождите! Пойдемте вместе!.. Я был там три раза и с наслаждением пойду опять.

В первом зале Лувра Глеб Иванович предупредил меня, указывая вдаль:

— Вот она там! Но вы не смотрите туда... сначала пойдем коридором и будем глядеть другие статуи...

В узких залах, ведущих к Венере Милосской, встречались памятники изумительного искусства, с каким худож-

ники отдаленных эпох умели воплощать женскую красоту. Тут были женщины во весь рост, редкого сложения и в разных позах.

— Видите, — говорил Глеб Иванович, обращая мое внимание на целый ряд статуй. — Все Венерки! Каждая старается по своей части: одна — стоя, другая — сидя, третья — лежа... «Будят страсть?» — как говорят знатоки.

Когда мы были в двух шагах от комнаты, отведенной «богине красоты», Глеб Иванович, взяв меня за руку, сказал:

— Теперь закройте глаза... Я поведу вас к ней.

Через минуту мы остановились.

— Смотрите! — произнес Успенский, прижался ко мне и заговорил почти шопотом: — Видите, какая посадка головы... — шея... грудь... ни тени улыбки на лице... ничего вульгарного! Очевидно, художник хотел показать не прелести Венерки, а красоту человеческой души, способной проникнуться великим, слиться с ним. С такой душой в гармонии и внешность, выражение всей фигуры.

Под впечатлением мысли Глеба Ивановича, получившей в его изложении новые штрихи, я смотрел на статую его глазами, и она все более и более оживала, становилась, действительно, олицетворением чего-то высокого...

— Вот красненький диванчик! — заговорил Глеб Иванович, когда мы отошли от «чуда искусства». — На нем сиживал Гейне и плакал... О чем? Так надо полагать: каялся... Покойник ведь любил женщин, и как любил! Не одну, не двух, а сотни!.. У одной хороши глазки: «пожалуйста». У другой шейки: «не угодно-ли?» У третьей — ручки: «и эту надо приспособить». — А вот спина... — разве найдешь еще такую спину? — «не откажите разделить ложе»!.. Да-а, целовал, миловал женщин, песни им пел, а хоть бы в одной поискал *человека!*.. Тут, только перед этой безрукой признал свой грех... Ходил сюда и плакал. В ней, в этом существе — только одно человеческое в высшем значении этого слова!.. Пойдемте еще взглянем!..

...Если Глеб Иванович развивал какую-нибудь мысль, часто возвращался к ней, то можно было наверняка сказать, что эта мысль, с каждым разом принимая все более и более определенные очертания, очень скоро появится в печати. И мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, он не замедлит воспользоваться ими для своего очередного рассказа. Между тем время шло, появились новые рассказы, очерки, исследования, а изуми-



Н. А. Некрасов.
С гравюры Пожалостина по портрету Крамского.
Институт русской литературы Академии Наук СССР.

тельный памятник искусства не находил себе места в его произведениях до 1885 года. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в ком высокая идея не отделялась бы от его существа, была бы гармонично слита с его личными переживаниями... С таким человеком он столкнулся в 80-х годах. Это была Вера Николаевна Фигнер...

Очень часто Глеб Иванович жаловался не только на безденежье, но и на... «безысходную нужду»... Ему казалось, что он был бы «поистине счастлив», если бы мог получить в России какое-нибудь место с жалованием не больше 100 рублей в месяц, чтобы этой суммой гарантировать семье «основное пропитание», а затем уже без особых тревог заботиться о дальнейшем «преумножении капиталов».

— Писал бы не из-под палки, как теперь, — пояснял он, — а по внушению свободного рассудка...

Я предложил устроить ему эту «идиллию» при помощи моих калужских приятелей, служивших на Ряжско-Вяземской железной дороге.

— Кто же эти благодетели?

— Верховский — начальник движения дороги. Шатилов и Мосолов — видные члены конторы движения и Малинин, кажется, — делопроизводитель.

— И они могут дать мне место?

— Не сомневаюсь. И вот почему: Верховский, Шатилов и Мосолов — люди с большим закалом 60-х годов (двое были даже на поселении), а Малинин судился по нечаевскому процессу... От рискованных дел они уклонились, но сочувствуют им в пределах безопасности, и все страстные поклонники «Отечественных записок». Шатилов любит читать в обществе ваши рассказы, а Верховский — Щедрина, и прекрасно читают... Уже в силу расположения к вам как к писателю, они не только обеспечат вам «основное питание семьи», но и предоставят досуг для «преумножения капиталов» литературным трудом...

Глеб Иванович задумался. Быстро курил и покручивал свою бородку.

— И вдруг я получу место! — воскликнул он, как бы продолжая вслух свою думу. — Напишите, родной! Попаду на рельсы — какое спасибо скажу вам!

Я немедленно послал письмо в Калугу Алексею Михайловичу Верховскому, прося его устроить у себя Глеба Ивановича Успенского, сообразуясь с необходимостью платить

ему жалование не менее 100 рублей в месяц и не отягощать его работой, чтобы он имел свободное время для литературных занятий. Кроме того, в виду его безденежья в данный момент, я просил выслать ему прогоны 200 рублей.

Ответ из Калуги, по моему расчету, не мог притти ранее как через две недели. Но Верховский из желания доставить удовольствие Глебу Ивановичу ответил по телеграфу: «Место готово и прогоны посланы».

Я отвез телеграмму в Отейль.

— Прогоны! — изумился Глеб Иванович, не зная, что я просил Верховского об этом. — Александра Васильевна! — крикнул он жене. — Поздравьте! Определен на службу, да еще с прогонами!.. Интересно, — обратился он ко мне, — на сколько лошадей пришлют ассигновку?

Он был доволен полученным ответом. Ему не сиделось дома, и мы поехали к нам, на rue Bertolet.

— Дмитрий Александрович, поздравьте, — говорил Глеб Иванович, здороваясь с Клеменцем, — получил место в Калуге на железной дороге!

— А по какой части? — спросил Дмитрий.

Буду подносить начальнику движения срочные телеграммы для подписи: «Счастливое крушение. Разбито 15 вагонов. Пассажиров не было. Товаров тоже. Путь свободен»...

Через три-четыре дня Успенский снова приехал к нам. В этот раз он был мрачен и не выпускал папироски изо рта.

— Прочли мою «Мудрицу Наумовну»? [23] — спросил Кравчинский.

— Потерпите, голубчик! Прочел, и выскажу вам свое мнение... Сейчас же мне надо поговорить с Александром Ивановичем [24] по неотложному делу... Не прогуляемся ли мы на бульвар s-t Michel? — спросил он меня.

Нежелание Глеба Ивановича сидеть в четырех стенах показало, что он чем-то очень расстроен. На улице он сказал мне:

— А ведь мне приходится отказаться от места в Калуге... Александра Васильевна подсчитала, сколько нам нужно для ликвидации здешней жизни и на дорогу, не хватит никаких прогонов, даже на 10 лошадей!.. Пожалуйста, напишите Верховскому: я не могу ехать.

— Может быть, можно сообща обсудить, какие вам предстоят расходы? — спросил я.

В ответ на мой вопрос Глеб Иванович вынул из кармана целую роспись, составленную Александрой Васильевной.

Неудобно было рассматривать ее на улице, и я предложил зайти в кафе, где спросил красного вина и сифон.

За отдельным столиком, когда мы уселись, я стал пробегать смету: передо мной был документ изумительного ведения хозяйства! В доме муж, жена, крошка-ребенок и одна прислуга, а расходы — достаточные для содержания большого семейства в 6—7 человек! Красное вино, сыр, масло, белый хлеб, сахар, мясо всех видов — все это приобреталось в таких количествах, что, несомненно, значительная часть портилась или уходила на сторону. На ряду с этим прислуге не уплачено жалованья за два месяца, 80 франков!

— Как дорого обходится вам хозяйство! — сказал я.

— Ничего не поделаешь! — ответил Глеб Иванович. — От совести приходится брать лишнее.

— Как от совести?

— Кредитом пользуемся... Если долго не платить и уменьшить забор — подумают: не жулье ли? Вот и берем: вместо одного фунта сыру — два и т. д.

В смете Александры Васильевны поражали еще размеры «pour boire» * (прислуге — 100 франков, консьерж—50 франков, гарсонам — 40 франков), выкуп заложенных вещей и разные покупки на дорогу, начиная с новой шляпы...

— Чересчур много «на-чай»! — заметил я.

— Нельзя иначе! У нашей Marie мы не только жалование задерживали, но и перехватывали частенько... Консьерж тоже не без милости... Необходимо ублаготворить!

— Все-таки можно уменьшить. Вероятно, всякий раз возвращались им деньги с прибавкой?

— Не без того.

— Ну, а покупки следует сократить или целиком оставить до России... Выйдет, что до отъезда вам нужно 500, много 550 рублей... Прогонов получите 200, а 300 потребуйте из «Отечественных записок», или... займем здесь.

— Да разве пришлют 200 рублей прогонов?

— Конечно, не меньше. Завтра, послезавтра получатся деньги: увидите!

— А в «Отечественные записки», признаться, я уже написал... Вчера отправил статейку и... присовокупил... Так повременить советуете, не отказываться?

— Ни в коем случае! Давайте, чокнемся за отъезд!

Глеб Иванович мало-по-малу развеселился.

---

* Чаевые.

...Не прошло трех дней, как получились из Калуги деньги для Глеба Ивановича. Я поторопился отвезти их в Отейль.

Дома была только Александра Васильевна.

— Глеб ушел погулять в Булонский лес, — объяснила она его отсутствие. — Вы посидите: он скоро вернется... Глеб Иванович очень удручен, что из «Отечественных записок» не шлют денег, и боится как бы без них все прогоны из Калуги не ушли на хозяйство и уплату долгов: тогда не с чем будет выехать из Парижа...

— Ну, придумаем какую-нибудь новую комбинацию, — возвещал я. — Из Калуги прислали 200 рублей, я привез.

— Прислали? Вот хорошо... Спасибо вам... Вернется Глеб Иванович, надо будет обсудить, как распорядиться ими...

Александр Ива-но-вич! — воскликнул Успенский, когда, по возвращении домой, увидел меня.

— И с деньгами... — поторопилась сообщить Александра Васильевна.

— Из Калуги?.. Да, — произнес равнодушно Глеб Ивановича. — Придется немедленно послать их обратно.

На мой вопрос: «Почему?» — он объяснил:

— После нашего подсчета... помните, на бульваре s-t Michel, нагрянули еще непредвиденные расходы, и открылись новые должники... Даже с деньгами от Елисеева не выкроишь на поездку... Да и пришлют ли из «Отечественных записок»... Сильно сомневаюсь. Из Калуги — 200 рублей?

— Да, 200... Вот получите!

Глеб Иванович взял деньги, посмотрел на них и положил на стол.

— Хорош капиталец, — сказал он, — да не про нашу честь!.. Возьмите-ка, голубчик, и верните завтра Верховскому, а я напишу ему благодарственное письмо...

Я предложил не торопиться возвращать деньги и подождать ответа из «Отечественных записок».

— Несомненно вашу просьбу исполнят, — сказал я, — и тогда в нашем распоряжении будет 500 рублей... Разве этой суммы не хватит, чтобы ликвидировать долги и уехать в Россию?

Глеб Иванович закурил новую папиросу, склонил голову на бок и с улыбкой произнес:

— Еще вопрос, удержатся ли эти 200 рублей до денег Григория Захаровича... Александра Васильевна подвела итоги *новейших неотложных* расходов, и с калужским

капиталом в кармане, признаться, будет трудновато не пустить его в оборот...

— Ну, что вы, Глеб Иванович! — воскликнула Александра Васильевна. — Конечно, можно не тратить 200 рублей... Разве нельзя удержаться?

— Потрудитесь, — сказал Успенский, сделав характерный жест левой рукой с двумя вытянутыми пальцами. — Нам с вами легко удержаться от трат, когда нет денег в кармане... да и то норовим урвать в долг...

— Что подумает о нас Александр Иванович после такой характеристики, — конфузливо заметила Александра Васильевна.

— Ничего худого, — ответил я: — Экономия, расчетливость, скопидомство не пользуются моей симпатией... Если вы потратите эти 200 рублей, я только постараюсь, как уже сказал, придумать новую комбинацию для отъезда Глеба Ивановича...

— Придумаете? — переспросил Успенский и, не дождавшись ответа, быстро зашагал в другую комнату, откуда вдруг вылетел крик его первенца. За ним скрылась Александра Васильевна... Через две-три минуты Глеб Иванович вернулся, держа на руках своего «Сашечку».

— Дай ручку Александру Ивановичу, — сказал он.

Ребенок протянул руку прямо к моим губам.

— Вы видели, как он тушит спички? Посмотрите.

Настроение Глеба Ивановича изменилось, и вместо прежнего унылого тона он говорил радостно.

Опустившись на диван, он посадил перед собой сына на стол и взял коробку спичек. Мальчик ерзал на столе и вытянул губки, приготовившись дуть... Спичка вспыхнула и погасла. Ребенок с досадой замахал руками.

— Сейчас, сейчас, — успокаивал его Глеб Иванович, зажигая вторую спичку. — Смотрите на его глазки: сколько любознательности в них.

Спичка горела. Мальчик внимательно следил за колебанием пламени и, видимо, ждал, когда предложат ему потушить огонь.

— Дуй, дуй! — торопливо сказал Глеб Иванович, приближая спичку к сыну.

Он не мог еще сразу потушить пламя и безостановочно дул, увеличивая его колебания. Наконец Глеб Иванович приблизил спичку настолько, что от дуновения ребенка она погасла.

Мальчик опять заерзал на столе и замахал ручонками, издавая какой-то сложный звук, принятый Глебом Ивановичем за требование «еще?»

— Хочешь еще?.. Ну... вот! — И Глеб Иванович повторил опыт с новой спичкой. — Изумительно! — говорил он. — Я пробовал давать ему спичку за спичкой, и он с одинаковым интересом тушил и тушил... Для нас это — однообразное, скучное занятие, а ребенок все открывает в нем что-то новое... Вероятно, дети не могут сразу получить цельное впечатление от предмета, воспринимают его по частям, как неграмотные крестьяне готовы слушать без конца чтение одного и того же занимательного рассказа, пока не усвоят его целиком...

В комнату вошла Александра Васильевна и, протянув руки к сыну, чтобы унести его, сказала:

— Взять от вас этого гасителя света?.. Ему пора есть...

— Меня занимает детская психология, — продолжал Глеб Иванович. Я наблюдаю, как Сашечка относится ко всему, что окружает его, и часто становлюсь в тупик, не зная, чем объяснить то или другое движение его души... Чаще всего терзает меня его плач... Почему плачет? Чего хочет? Что нужно?.. Сдуру суешь конфету, игрушку, зажигаешь спичку, берешь на руки — ничего не помогает. «Вероятно, животик болит», — высказывает предположение Александра Васильевна... Хватаемся за животик — массаж просто рукой, рукой с маслом, согревающий компресс. Утомленный волнением и криком, вызванными неизвестно чем — непонятной просьбой, болью, досадой, — Сашечка наконец засыпает... «Ну, конечно, животик», — закрепляет свою догадку Александра Васильевна, и я, чувствуя полную беспомощность разобраться в психологии ребенка, соглашаюсь: «Да, животик!»

— Значит, в моменты родительской растерянности все равно, — дома вы или нет? — с улыбкой спросил я.

— Это к чему же, господин, такой вопрос? Хотите одного меня отправить в Россию, а Александру Васильевну с Сашечкой попридержать здесь? Признаться, я об этом сам подумывал, но нельзя нам разорваться на две части. Первым делом, Александра Васильевна и при мне весьма неспокойна, когда у нас нет денег, а без меня — и вовсе изведется, чуть в получке капиталов выйдет заминка... Ну, а жить в Питере или Калуге и ежечасно представлять себе тревогу Александры Васильевны, ее волнения, страх, разъезды по Парижу в поисках десяти франков, переживать все это с болью в сердце при каждом получении письма, телеграммы — воля ваша, сил не хватит... При моей наличности в семье нам обоим легче... даже без всякой наличности, и переселяться в Россию необходимо сразу втроем... Кабы только



А. И. Иванчин-Писарев.
С фотографии 90-х годов.
Музей революции в Москве.

поскорее получить деньги из «Отечественных записок»... Вы думаете, пришлют?

— Несомненно, Глеб Иванович.

— Можно, значит, не возвращать этих 200 рублей?

— Конечно.

— Александра Васильевна!.. Получите-ка капиталец... Позаткнем дырки, откуда особенно хлещет и отшибает, и прикупим, чего надо... маленько.

Когда прибыли деньги из «Отечественных записок» от «капитальца» не осталось и следа... В этот раз к обычным причинам беспокойства Глеба Ивановича присоединился новый мотив: «Спустил все прогоны, и не добраться до места служения».

— Посчитайте-ка! — возбужденно говорил он. — Для ликвидации здешней жизни надо мало-мало сто рублей — раз; дорога до Питера во втором классе (с Сашечкой ведь не поедешь в третьем?) без малого двести — два; да на первоначальное устройство Александры Васильевны с ребенком около сотни. Вот и все 300 рублей... На что же я двинусь в Калугу?

При данных условиях менее впечатлительный человек не считал бы себя в безысходном положении, но Глеб Иванович был болезненно удручен и быстро крутил свою бородку.

— До Петербурга еще доберусь как-нибудь, а дальше... относительно Калуги-то... придется признать себя *ско-тиной*.

Необходимо было вывести Глеба Ивановича из угнетенного состояния...

А. И. Иванчин-Писарев.

В безбрежном житейском море была маленькая горсточка людей, которая требовала особенного его внимания, перед которою он до болезненности чувствовал свою ответственность: семья. Его категорический императив — *«надо»*, так часто, к его великому горю, разрешавшийся «ахинеей» и «чепухой», но никогда в нем не замолкавший, в значительной степени обусловливался его отношением к жене и детям. Случаи, когда категорический императив, вытекая из других источников, враждебно сталкивался с тем, что *надо* ради семьи, доставляли ему величайшие мучения. Необыкновенно трогательны его письма из Парижа о сыне-первенце: «Я думаю, — писал он мне, — написать рассказ «Царь в дому — ребенок». Это народное выражение о первом ребенке, и действительно, только эту власть я и согласен

признавать за законную». Его письма этого времени переполнены подробностями о том, как Саша начинает ходить, говорить и т. п. И никогда не забуду той детски-счастливой улыбки, с которой он, по возвращении из Парижа, показывая мне фотографическую карточку мальчика, сам любовался на нее.

Н. К. Михайловский.

Когда дня через два я зашел к Глебу Ивановичу, он встретил меня довольно сумрачно.

— Александра Васильевна протестует против наших прогулок, — сказал он и насмешливо улыбнулся. — Видите ли, очень серьезные доводы. Во-первых, я нужен для укладки вещей; с Marie и с мужем concierge она не управится; во-вторых, наши прогулки влетят в копеечку, а перед отъездом каждый сантим — капитал, и, в-третьих, самый неотразимый аргумент, — мое присутствие дома крайне важно именно в последние дни на случай семейного совета, например, не захватить ли мой старый галстук?

— Разве я не права? — спросила Александра Васильевна. — Глеб хочет побывать с вами в Сен-Клу — Butte de Chaumont, еще где-то... Значит, будут пропадать целые дни... Не обойдется без затрат, а потом... сожаления, вздохи...

— Какие же траты? Позвольте спросить, — возразил Глеб Иванович. До Сен-Клу на пароходе по Сене, в Butte de Chaumont возьмем correspondance... * Где-нибудь подзакусим маленько — вот вся смета: даже мой карман не заметит!

— *То-то подзакусим!* — с особенным ударением повторила это слово Александра Васильевна.

— И под-за-ку-сим! — с оттенком недовольства произнес Глеб Иванович. — Так подзакусим, что все шантаны объездим!

— Ну до этого не дойдет. Что вам там делать!

— Успокойтесь, Александра Васильевна! — сказал я. — Как отразится на ваших сборах отсутствие Глеба Ивановича, не представляю себе, но чувствительных расходов ему не предстоит; на прощание он будет моим гидом, а я за это отблагодарю его «отвальной» в каких-нибудь epiceries... **

— Видите, как, с божьей помощью, обернулись мои безумные траты, — сказал Глеб Иванович, с улыбкой покручивая свою бородку.

Дорогой на пароход он говорил мне:

---

* Омнибус с пересадкой.
** Бакалейных лавках.

— Вы думаете, протестуя против моих отлучек, Александра Васильевна приводит настоящие мотивы своего недовольства? Нет, за ними таится чувство ревности.

— Ну, что вы!

— Не зайди вы сегодня за мной, она продолжала бы терзаться подозрением, что прогулка с вами — один предлог улизнуть к дочерям Г. В последнее время ее воображение работает в этом направлении. Ей говоришь: был в вашей компании, беседовали о том-то, — она смотрит-смотрит на меня пристально, в упор — и вдруг: «А у Г. не был?»

— Кто эти Г.?

— Г. — молодые девушки, по своему развитию скорее дети, чем взрослые, не могут ущемить ни моего сердца, ни ума, но Александра Васильевна заметила раз их радушие при встрече со мной и с тех пор строит догадки у этого пустого места...

— Все это Александра Васильевна говорит вам?

— Нет, прямо не говорит, но ее сосредоточенный взгляд, намеки, тревожное ожидание, когда меня нет, и замешательство при встрече, часто переходящее в слезы, — все это лучше слов раскрывает ее душу...

Успенский остановился, вставил в гильзу почти совсем докуренной папиросы новую и продолжал, волнуясь:

— Ужасно тяжело находиться в подозрении на счет любовной благонадежности; чувствуешь себя связанным в каждом движении. Намереваешься, примерно, повидать Петрова или Семенова, повидать так, без особой надобности, но не можешь сказать просто: «иду туда-то», потому что в голове вертится мысль: «заподозрит мой алюр», и умышленно выдвигаешь вперед настоятельную необходимость визита, хотя ее нет... А застрял в гостях, просидел заранее определенное время, уже представляешь себе душевную бурю дома, а за ней мучительную уверенность. «Ясно попал не туда, куда хотел», — и по возвращении действительно слышишь: «А я думала, не зашел ли ты куда-нибудь...»

Мы шли по берегу Сены.

— Присядем здесь, — предложил Глеб Иванович, когда мы поровнялись с лавочкой, где можно было спросить сифон с красным вином.

— Говорят, ревность — обратная сторона любовной страсти, — проговорил Успенский, выпив залпом свой стакан. — Не знаю, так ли, но факт тот, что страсть-то временами стихает, а ревность не знает устали. Вот сидим мы с Александрой Васильевной дома, вдвоем, можно сказать, воркуем... Вдруг — звонок в передней. Почтальон принес письмо.

Александра Васильевна опережает Мари, берет конверт в руки и, пока несет мне, разглядывает адрес. «Чей это почерк? — смущенно говорит она. — Точно женский!». А письмо от Исидора Гольдсмита. Или усаживаюсь я к столу писать. Беру почтовую бумагу (я всегда пишу на ней), наклоняю голову и чувствую, что она смотрит на меня... «Вы что?» — спрашиваю. «Ты пишешь письмо?..» Достаточно этого вопроса, чтобы писательские мысли разлетелись, как воробьи от выстрела, и захватило раздумье о семейных путах, позвякивающих довольно частенько и неприятно... Самое гнусное чувство собственности — супружеское: «ты мой», «не отдам». Оно требует беспредельной принадлежности одного человека другому; не допускает ни малейшей свободы в выборе знакомств, сношений, времяпровождения и решительно предъявляет права на получение постоянного отчета: куда идешь? где был? кого видел? что тебе не сидится дома?.. Безропотно, покорно выносить любовный деспотизм с его надоедливым контролем над каждою мыслью, над каждым движением — ведь это отказаться от себя самого, утратить право на независимое существование! Разве это мыслимо!.. Терпишь-терпишь — и вдруг фыркнешь. А фыркнул — потоки слез, несправедливые упреки, жалобы... Извольте восстановлять истину... Что говорить: занятие приятное для ревнивого сердца, жаждущего лишний раз услышать признание в любви хотя бы в такой форме, но не для меня, неповинного перед ним ни душой, ни телом. Я предпочитаю убегать из дому от этих любовных упражнений... И убегаю. Однажды три дня пропадал, даже застрелиться хотел, но денег не нашлось купить пистолет...

— Застрелиться из-за ревности «на пустом месте», как вы говорите? — изумился я.

— Такая-то ревность и мутит... Навалились тогда сразу все злодейства: денег не было, нужда вылезла из всех щелей, к письменному столу не влекло... Стал я шляться в Булонском лесу... Мыкался-мыкался из конца в конец и догулялся до подозрительных взглядов и расспросов Александры Васильевны... И раньше они были некстати, а тут перевернули все нутро, мысль уперлась в безнадежный тупик, все перспективы исчезли, охватила меня прямая безысходность... Да, государь мой, будь у меня в тот момент десять франков на Лефоше, не попивали бы мы с вами винцо...

— Вы сказали об этом Александре Васильевне?

— Как же, в тот же день сказал, как образумился и вернулся домой... Конечно, теплые слезы, раскаяние... Потишела месяца на два, а потом — опять это слепое чувство...

Меня заинтересовал вопрос: при каких условиях Глеб Иванович заметил признаки ревности Александры Васильевны, не подал ли сам он повода подозревать его в «любовной неблагонадежности» и неужели весь период их близости отмечен вспышками «слепого» чувства?..

После остановки на пути мы скоро сели на пароход, направлявшийся в Сен-Клу.

На левом, высоком берегу Сены, среди богатой растительности показались развалины грандиозного сооружения.

— Эх, Наполеонтий, Наполеонтий! — воскликнул Глеб Иванович — какое именьице прогулял... Чудный парк, бассейн, фонтан... был роскошный дворец. Здесь в 1870 году он, на свою голову, пруссакам войну объявил... Немцы залезли сюда, а французы, задыхаясь от злобы на все, что напоминало Бонапартов, давай громить Сен-Клу ядрами из форта Мон-Валерьен: разрушили и сожгли дворец до основания...

В парке мы встречали кое-где обожженные деревья, новые скамейки, взамен старых, пострадавших от бомб. Однако, если не считать развалин дворца с его постройками, не замечалось следов разрушения.

— Быстро оправляются французы, — говорил Глеб Иванович: — выбросили в немецкое хайло пять миллиардов — и ничего... А немцы, прямо сказать, обалдели от успеха! Я видел их в Берлине в 1871 году, после разгрома Франции. Все эти Фрицы, Михели, Карлушки-колбасники разбухли от сознания солдатского величия: ходят самодовольные, грудь колесом, морда кверху, усы — словно бычачьи рога... Перед дворцом то-и-дело в каком-то исступлении вскидывают и опускают ружья, по тротуарам щелкают шпорами, царапают асфальт саблями на колесах... Везде лязг, шум, звон... При встрече с своим братом — у каски два пальца и гордая улыбка; в толпе — презрение в глазах и что-то зверское... А дальше что будет, когда все пять миллиардов они ухлопают на новые пушки, ружья, палаши!.. Ведь только и думают, как бы, стальной щетиной сверкая, нагнать на всех страх!

— Но французы не очень огорчены постигшими их бедствиями, — спросил я, — утешились изгнанием Наполеонтия навсегда.

— Хорошо, как навсегда!.. Citoyen'ы * любят liberté, egalité и fraternité... ** даже тюрьмы украшают такими

* Граждане.
** Свободу, равенство и братство.

надписями... и в то же время слабоваты насчет парадов, орденов... как бы не заскучали об них? Бывали примеры... Правда, расправа с Коммуной версальского правительства показала, каких злодеев наплодил наполеоновский режим... Возвращаться к нему не очень-то соблазнительно, даже если какой-нибудь авантюрист и станет махать лентами почетного легиона... Авось, утвердится республика!

В парке мы сели на лавочку.

А. И. Иванчин-Писарев.

Прогулка в Бютт-де-Шомон, куда мы отправились полюбоваться красивой местностью, вышла неудачной. По дороге туда Глеба Ивановича охватили воспоминания о жестокой расправе версальских властей с коммунарами, и его настроение быстро изменилось. Мы шли пешком. Он жадно курил, часто останавливаясь, чтобы зажечь новую папироску, и все время возмущался наполеоновским режимом, народившим Тьера и его сподвижников.

— Ведь какое зверье! — говорил он. — Расстреливали народ тысячами, а в Бютт-де-Шомон еще соорудили из трупов колоссальный костер, облили его керосином и зажгли... Им показалось мало убить и зарыть их в землю, захотелось изжарить в огне, обратить людей в густое, вонючее облако дыма, стоявшее более недели над лесом!..

Освещая разные стороны наполеоновского режима, Глеб Иванович сильно волновался и в таком состоянии предпочитал итти пешком, а не сидеть в омнибусе, так что, когда мы добрались до Бютт-де-Шомона, почувствовали порядочную усталость.

В одном месте, на краю живописной лощины, где, вероятно, происходил расстрел коммунаров, мне вздумалось лечь на траву, к тому же я нигде не заметил запретительной надписи «цветов не рвать, травы не мять» и т. д.

Я лег ничком и быстро заснул. Вдруг я почувствовал, что чья-то сильная рука приподняла меня за шиворот, и в тот же момент услышал крик Глеба Ивановича:

— Comment osez-vous? ***

Я вскочил, и увидел, что Глеб Иванович левой рукой держит за грудь внушительного вида мужчину в форме охранителя порядка в парке, а правой замахнулся на него палкой. Оба неистово кричат: один по-французски, другой — с примесью русских бранных слов... Несомненно, мой отдых на траве и заступничество Глеба Ивановича кончилось бы весьма печально, если бы во-время не подоспела группа

---

* Как вы смеете?

французов, принявших нас под свое покровительство как иностранцев. Блюститель порядка принужден был удалиться, ворча что-то под нос, а мы, с чувством благодарности пожав руки нашим избавителем, поспешили оставить Бютт-де-Шомон.

Глеб Иванович долго не мог успокоиться при воспоминании о страже, называя его не иначе как «наполеоновский огрызок»... Его нападение на этого «огрызка» явилось для меня совершенно неожиданным: он казался мне робким человеком, неспособным на решительные поступки, отчасти даже трусливым, потому что обнаруживал страх в таких случаях, когда не предстояло никакой опасности. Так, он боялся комнатных собак и выражал большое смущение, если такая собака подходила к нему ласкаться; отказывался ездить на извозчиках, и когда нельзя было избежать этого способа передвижения, постоянно хватался за сиденье возницы и просил: «Cocher, doucement s'il vous plait», * хотя сам он говорил, что французские лошади «шлепают, а не бегут».

В России я мог убедиться, что душе Глеба Ивановича вовсе не свойственна трусость, и его отношения к собакам и лошадям — лишь психические странности, какие встречаются иногда у нервных людей...

А. И. Иванчин-Писарев.

11 сентября (все равно какого года) [25] он даже с некоторым торжеством извещал меня: «Сижу *в должности*», а письмо от 1 февраля следующего года начинается словами: «Места у меня больше нет». И вот мотивы, изложенные в письме от 14 марта: «Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двух-двугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши пережевывают не повинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов; если бы мне было хоть мало-мальски покойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому и, понимая, считал бы себя

---

* Кучер, тише пожалуйста.

скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами (как в последний приезд в Петербург) достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенною чувствительностью. Место надо было бросать: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье (будьте в этом уверены), но все знают, чем оправдать свое положение... а вот зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уж нехорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела.

Н. К. Михайловский

Друг ты мой милый Бяшечка!

Что же ты не пишешь мне? Ровно 10 дней нет от тебя ни строчки. Уж все ли у вас хорошо? Здоров ли Саша и не бесит ли тебя Юлия, которой до сих пор не заплачено?.. Не хочешь ли ты воротиться в Россию? Я бы нанял в деревне дом в 3 верстах от Калуги, так что мог бы ездить каждый день. Если хочешь, если скучно жить там, за границей, то напиши. Право, я теперь не буду ни беснования, ни злиться. *Я убедился, что не один я ничего не могу сделать в данную минуту* [26] и что можно просто и спокойно собирать материал. Ничего бы не было, если б я давно взял такую должность, как эта. Правда, все это довольно скучно и глупо, *но уж пусть будет лучше просто глупо, чем зло, которого во мне оказалась бездна.* Но об этом лучше не будем ни вспоминать, ни говорить. На рождество-то я приеду к тебе непременно. Пожалуйста, пиши мне... Я пишу в тот день, как имею от тебя письмо.

[27] ...В Калуге с этими «хорошими людьми» жестокая скука. В России можно жить только в деревне. Это цивилизованное общество... — скука ужасная.

...Мне пишут Кам[енский] и Григ[орьев], но, несмотря на их похвалы, я знаю, что все вздор, ничего мне не нужно. Ты — мой настоящий и дорогой друг — одна, больше никого. Пожалуйста же, не бросай меня так, *без твоих писем я ничего путного не сделаю...*

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Калуга (1875 г.), «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 8—9.

Прости, что не писал тебе, — ждал писем от тебя. Да и что мне писать? Занятий в сущности нет никаких, хоть и сидишь в конторе с 10 до 5 часов, потом ем, иной раз сплю до



А. В. Успенская, жена Г. И. Успенского.

С фотографии.

Институт русской литературы Академии Наук СССР.

8 и пью чай, и читаю. Кто-нибудь придет, — говорим. Или сам — очень редко, за все время раза четыре — хожу к знакомым, которых всего 2 дома. Там только чай и разговоры кой о чем. Я рад, что никто в Петербурге не знает, где я, и я чувствую себя покойно, могу одуматься, и думаю, что примусь за работу. К январю непременно напишу много.

О тебе и Саше я думаю каждую минуту и рад бы был хоть взглянуть на вас, и уж писал тебе самые сумасшедшие письма, но боюсь их посылать, потому что если теперь мы опять хоть на время сойдем с ума, то я уверен гибель моя п[оследует?] неизбежно. Во что бы то ни стало надо перетерпеть эту зиму. К рождеству [слово не разобрано] я приеду или ты переедешь совсем с Сашей. До рождества не будем думать об этом. Кроме работы у меня нет других желаний: я должен поправиться, иначе не стоит жить.

Числа 27 ты получишь от меня немного денег, не знаю сколько. Их вышлет Верх[овский] из Петерб[урга] по телеграфу, куда он едет.

Если деньги мои и Кам[енского] не сойдутся разом, то, делать нечего, оставайся *покуда* в Отейле. Говорю покуда, потому что в течение октября, нашего, непременно пришлю тебе денег на переезд и на расплату. Я еще не устроился, не сообразился с делами, не знаю, сколько будет стоить житье здесь. Итак, если придется остаться в Отейле, делать нечего, надо платить за 3 месяца, но это ненадолго, — через месяц, то есть к 15 ноября, деньги у тебя будут.

С Шульгиной, с Ант[оновой] и пр. пр. не знаю что и делать, и боюсь думать об них. Хорошо еще, что Антонова не задержала моих документов — их недавно прислали. Пожалуйста... [вырвано $^1/_2$ страницы].

...Все скучно и тяжело кругом. Писем нет ниоткуда, ни из «От[ечественных] зап[исок]», ни от Михайловского, ниоткуда! Ни даже от Каменского.

Целую вас всех, милые мои, если можно не скучайте! Г. Успенский.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Калуга (15 октября 1875 г., [28] печатается (с рукописи, Государственного литературного музея в Москве папка 1256/18).

Друг любезный Бяшечка! Пожалуйста не сердись, что я сделал — я написал Тургеневу, чтобы он дал тебе денег, — а в январе я отдам непременно, будь покойна. Я написал ему, что «Библиотека» неожиданно прекратилась, и написал, где мои работы и когда будут напечатаны. Ничего другого — «Русские ведомости», сверх всякого ожидания,

пишут, что до тех пор, пока не будут представлены следующие обещанные мною два очерка,[29] они не могут выдать денег за первый, так как, может быть, окажется все это нецензурно. Ну, вот извольте!.. Я тебя видел во сне сегодня и проснулся — весь мокрый от поту и страху. Не случилось ли чего? Ах, милые, милые, как бы хорошо вас теперь здесь со мной. Да так и надо, непременно надо! В деревне ты отдохнешь и поправишься, бедный мой милый друг Бяшенька! Тургенев пришлет тебе записку. Письмо получили вы оба одновременно. Вчера все работал и совсем не ходил в должность.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Калуга 1 декабря (1875).[30] (*В. Е. Чешихин*, «Г. И. Успенский (Биографический очерк)», стр. 125).

Ты спрашиваешь, как моя работа. Я перевела с тех пор, как здесь, более 100 печатных листов, но последние месяцы журнал лопнул.[31] Я была без работы, теперь, кажется, опять возобновится, и мне писали, что за мной будут французские переводы опять. Я перевела рассказ из народной жизни[32] с французского. Тургенев, Иван Сергеевич, написал предисловие, если бы издать самой, можно получить много денег, но придется продать, и я списываюсь с издателями...

Из письма *А. В. Успенской* Г. И. Успенскому, Париж (1875 г.).[33] (*В. В. Буш*, «Жена писателя», Л. 1924, стр. 23).

...Бросить службу заставили его не денежные расчеты или нелады с начальством — обычные причины, играющие роль в жизни простых людей. На решение Глеба Ивановича повлияло исключительно особое настроение, вызванное знакомством с железнодорожными порядками, а также — с «благодетелями», от кого он получил место, вообразившими, что их служба имеет государственное значение, и они в праве третировать других людей, в особенности симпатичную ему молодежь, предпочитавшую в то время всякой службе «хождение в народ»...

А. И. Иванчин-Писарев

Впоследствии, при встрече со мной, Глеб Иванович самыми мрачными красками рисовал и порядки железной дороги и поведение интеллигенции, «за два двугривенных осуществляющей разбойничьи проекты» и между прочим сказал: «Прочитайте мой рассказ «Неплательщики».[34] Там я изобразил порядки этой железной дороги и дал хо-ро-шую затрещину моим «благодетелям».



Г. И. Успенский
С фотографии 1876 г.
Институт русской литературы Академии наук СССР.

...К числу причин, заставивших Глеба Ивановича бросить должность на железной дороге, надо отнести еще попытки его товарищей по службе эксплоатировать его литературный талант в свою пользу. О порядках «конторы движения», где устроили его, они умалчивали, зато охотно знакомили с неурядицами других служб дороги: управления, ремонта пути и пр.

— Вот бы вам изобразить своим пером, что там творится! — внушали ему.

— Знаете, — пояснил Успенский, — как у *Благовещенского* в рассказе «Богомольцы» один странник определяет, что такое дьячок! — «Это, — говорит, — дудка, через которую проходит глас божий». Вот и меня они хотели обратить в свою дудку... И так старательно вдували всякую дрянь, не замечая, что я не могу петь с чужого голоса...

А. И. Иванчин-Писарев.

...Бегство из Калуги, чем могу его объяснить? Необычайной тоской и пьяным днем. Захватив на квартире несколько белья и платья, я сказал хозяевам, что мне необходимо съездить в Тулу, где больна моя мать, и дал хозяйке... Рано утром я в Туле в гостинице «Лондон». Не раздетый лег в постель, — слышу за стеной голос Прокофия Васильевича Григорьева.

Из автобиографического отрывка «Мои дети», написанного *Успенским* в Колмовской лечебнице 22 августа 1893 г. (с рукописи Государственного литературного музея в Москве папка 1256/1).

Андрей Васильевич! Пожалуйста, скажите Прок[офию] Васил[ьевичу] Григорьеву, чтобы он исполнил хоть что-нибудь из своего обещания — выслать мне 140 рублей. Мы буквально без денег и задолжали угольщикам и прачкам, а 220 ф[ранков], которые у меня были, пришлось тотчас по приезде отдать за прошлое. Что же это идет за чепуха и неужели нельзя ни одного разу распорядиться так, как я рассчитываю и как мне обещают сделать, как надо. Григорьев обещал непременно выслать к 4 января, а сегодня 10-е. Если он обманет, то будет просто палач. Здесь по приезде я принялся есть и спать, и отлично поправляюсь; если бы мне еще две недельки покоя, то я бы отлично принялся за работу. Но почти тотчас же начинаются мучения и заботы. Лучше вас почти никто со мной не поступал. Я напишу вам письмо большое, ибо я кой-что видел в Париже, а теперь, пожалуйста, вы черкните Григорьеву, что обещания дают

вовсе не для того, чтобы их не исполнять. Париж не Петербург, здесь у меня знакомых нет, кредита нет — и завтра же я не знаю, что буду есть...

...Саша здоров удивительно, говорит все и много понимает, он сначала звал меня мосье...—«С этим мосье сяду».—Теперь говорит Глеб.—«Прощайте, Глеб, здравствуйте, Глеб». Главное, что здоров и вырос очень...

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому, Париж 9 января 1876 г. «Русское богатство» 1912, № 3.

Глеб работает много, но при настоящих цензурных условиях трудно — и часто не проходит. Приходится биться, и долгов много, и есть тяжелые и пренеприятные... Н. А .Ш. [35] чуть не ссорится — мы ей должны. Да и Ульянины [36] деньги меня измучили, да и за вас сердце болит. Иногда доходишь чуть не до отчаяния.

Я удивляюсь, как Глеб работает. Не напечатают — пишет снова. А письма и требования *уплат не дают вздохнуть.* — В апрельской книжке напечатаны «Неплательщики», «Люди и нравы» и «Книжка чеков» и подписано: *Г. Иванов.* Он давно не подписывает своего имени — не пропускают. *Да и эту статью всю ободрали в цензуре. И хотя ему уплатят 150 руб. с листа — все-таки плохо приходится из-за цензуры.*

Из письма *А. В. Успенской* Н. А. Долганову (1876 г.), [37] «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 9—10.

Многое обдумала и поняла я теперь, особенно вдали от места и людей, с которыми мне приходилось сталкиваться. Много я вижу здесь народа, и хорошего и всякого, но совершенно иного, чем то, что встречала прежде, и время другое теперь.

Сама я решилась вторую половину жизни провести иначе, чем первую — что прожила как-то необдуманно и даром, особенно первые годы, как я кончила учиться. В последних годах бывало много и хорошего, да и то губилось моим плохим здоровьем да неверием к своим силам.

Из письма *А. В. Успенской* Н. А. Долганову [1876 г.] (*В. В. Буш,* «Жена писателя», Л. 1924, стр. 18).

Утомлен я ужасно за последние годы и прямо даже боюсь думать, что со мной будет... Я так утомлен ужасно, что не знаю, воротится ли ко мне хоть капелька даже прошлогод-

них сил. Во всяком случае я сделаю над собою все, что еще возможно, чтобы заняться журналом...

Из письма *Г. И. Успенского* А. В. Каменскому, Париж 18 августа (1876 г.), «Русское богатство» 1912, № 3.

В Комитет Литературного Фонда.

Литератор Гл. Ив. Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сем до сведения Комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 р. в единовременное пособие.

6 сентября 1876 г. М. Салтыков. «М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма 1845—1889 г.» Труды Пушкинского Дома. ГИЗ. Л. 1925 г., стр. 144.

Пишу к тебе с дороги из Мюнхена, где приходится стоять 8 часов. Немедленно по приезде напиши мне, как вы доехали, здорова ли сама. Потом я бы думал лучше всего ехать тебе в Крапивну, никуда не заезжая. Мои новые очерки, — список которых есть, — можешь продать хоть Карбасникову за 150 рублей, с тем, чтобы этим оканчивались все мои дела с ним и разрывался прежний контракт. Я хочу много писать и желал бы хоть 2 месяца думать только о работе, зная, что ты живешь покойно и без нужды. Свои переводы не продавай, а издай сама. Когда явится роман Тургенева, о котором будет много шуму, тогда книга с его предисловием должна пойти отлично. Напиши, пожалуйста мне о сыне подробнее. Перестань волноваться, — ведь зная, что ты в таком положении, и я не имею покойной минуты, хоть и молчу. В этом все и дело. Я еду без особенного затруднения в языке, почти везде говорят по-французски, и не дорого. У меня теперь денег 225 фр[анков].

Я проехал 65 ф[ранков] — полдороги, стало быть 160 у меня будет по приезде в Белград. — Тотчас напишу Баймакову и тебе, — и ты от него получишь деньги. Я чувствую себя хорошо потому, что надеюсь выработать много денег и прожить зиму в деревне. Если я этого добьюсь, — тогда, поверь, между нами не будет никаких неприятностей, как теперь, когда между мной и тобой замешана моя потребность литературной работы, у которой есть свои настоятельные требования; не удовлетворив им, — что я могу делать, о чем говорить, чем жить? Остается распроститься с литературой, пойти в чиновники — и тогда, может быть, жизнь пойдет ровней. Но я служить не могу, стало быть, вместо того, чтобы терпеть нужду и неприятности, без которых

нельзя обойтись ни мне, ни тебе (не сочиняю же я их), — потерпи некоторое время жизнь в глуши, только не волнуясь, а зная, что мое отсутствие есть та же самая работа, что я точно так же на заработках, как плотник.

Больше не буду говорить об этом и надеюсь, что ты забудешь неприятности, которые я делал тебе. Пожалуйста. С тобой Саша.

Из письма *Г. И. Успенского* жене — «Мюнхен суббота». (1876 г.) «Русское богатство» 1912, № 1, стр. 255—256.

...Сношения Успенского с революционерами не проходили бесследно: были случаи, что он сам принимал участие в кое-каких делах революционного оттенка и за свои «предосудительные» знакомства, числясь вообще «неблагонадежным», два раза имел дело с жандармами.

В Париже в 1875 году Глеб Иванович живо интересовался всеми вопросами, находившими отражение, с одной стороны, в газете «Вперед» Лаврова, с ее проповедью «чистой пропаганды», и, с другой — в органах боевого направления, где рекомендовался путь «пропаганды действием». Во «Вперед» он напечатал фельетон «Шила в мешке не утаишь»...

Выступление в революционном органе, несомненно, доставило Глебу Ивановичу удовольствие, как первая попытка писать не «для лавочки», [38] потому что, когда вскоре появилась в газете заметка присяжного поверенного А[лександра] А[лександровича] Ольхина о русских судах, он послал ему вырезку этой статьи с своим фельетоном, чего не сделал бы при обычном недовольстве своими работами, и поощрял его на дальнейшее сотрудничество.

В письме была, между прочим, фраза: «посылайте *нам* еще», позволяющая допустить, что в этот момент Глеб Иванович считал газету даже своим делом.

Эта неосторожная фраза оказалась чреватой последствиями. Письмо А[лександру] А[лександровичу] Ольхину попало в руки полиции, и на Успенского было обращено внимание. Мало осведомленные агенты, когда им было поручено следить за Глебом Ивановичем, скоро пришли к выводу, что он играет в Париже такую же роль, какую П[етр] Л[аврович] Лавров в Лондоне. Этой нелепой аттестации соответствовал финал, получивший в рассказе Глеба Ивановича большой комический оттенок. В 1876 году Успенский возвращался в Россию. [39]

— Перед Вержболовым, как полагается отобрали паспорт, — рассказывает Глеб Иванович, стою у своих вещей

в таможне. Вдруг откуда-то выплывает жандармский офицер и прямо ко мне: «Вы г. Успенский?.. Глеб Иванович?» — «Да», — говорю. — «Это ваши вещи?» .. — «Мои». — «Неси! — приказал он артельщику. — И вы пожалуйте за нами!» Очутился я в присутствии... Вместо зерцала, бутылка красного вина, и еще какой-то синий мундир. «По приказанию III Отделения его императорского величества канцелярии мы должны произвести у вас обыск», — говорит бравый ротмистр. «Но у меня нет ничего запрещенного», — говорю. «А вот увидим-с!» ...

При помощи унтера стали перебирать мои вещи... «Это что? Книга? — Клади сюда! Письмо? — На стол!»

Был у меня номер «Отечественных записок» и листки начатой рукописи. Перетрясли все потроха... Насупился жандарм и стал смотреть в книгу, а в ней — как раз моя статья. «Вы изволите писать в «Отечественных записках?» — «Как видите...» — «Гм!.. И эта рукопись тоже предназначается для журнала?» — «Да». — «Странно! В предписании не сказано, что вы писатель. Просто говорится: «Учитель Глеб Иванович Успенский»... и в паспорте тоже: «Учитель». — «Это я и есть — говорю: — звание мое учитель, а занятие — литература...» Оба уставились на меня. «А позвольте узнать, в каких же революционных делах вы замешаны? Не будут же зря давать предписание об обыске и, смотря по результатам, об аресте?» — «Уж этого я не знаю, — говорю. — Какой же я революционер!..» — так искренно я изумился, — да и в самом деле, какой я революционер? — что жандармы переглянулись, что-то пошептали друг другу, и ротмистр торжественно произнес: «Вы свободны... В Петербурге разберут». Ну, а в Петербурге меня уже не трогали.

Хотя Глеб Иванович и поместил фельетон в газете «Вперед», но его симпатии больше склонялись в сторону «представителей пропаганды действием», чем к «лавристам».

А. И. Иванчин-Писарев.

Весной 1876 года,[40] в конце мая или в самом начале июня, я ехала в Тверскую губернию, к родным на лето. Поезд долго стоял на станции Валдайка на запасном пути, выжидая ухода встречного поезда из Москвы — с добровольцами Черняевского отряда в Болгарию, на войну. Это было на самом рассвете, часу в 5-м утра. Я не могла спать в душном вагоне и вышла подышать чистым воздухом на платформу; не успела я сделать несколько шагов, как увидела идущего мне навстречу Глеба Ивановича.

— Здравствуйте, В[арвара] В[асильевна]! Куда вы это едете? Может быть, с нами, сестрой милосердия?

Я сказала — куда.

— А я на Дунай, в Болгарию.[40] Корреспондентом от «Русских ведомостей».

Он был по виду веселый и оживленный и похож на «туриста» — в дорожной шелковой фуражке, с сумкой через плечо. В боковом кармане пальто виднелась новенькая записная книжка. И сейчас же стал делиться со мной дорожными впечатлениями:

— Какая тут местность чудная! Вы пожалуйста посмотрите. Замечательно живописная! Горы, овраги, зелени масса... И все это теперь в цвету! Вот, пойдемте сюда, я вам сейчас покажу!..

Но сколько он меня ни водил, чтобы показать красоты Валдайки — увидеть ничего не пришлось: бесконечная цепь вагонов закрывала всю площадь зрения.

— Это ничего, — говорил он. — Вы увидите, как только мы тронемся... Непременно, пожалуйста, посмотрите!.. Да отчего же вы ничего не напишете? Пишите пожалуйста!..

Он держал одной рукой меня за руку, другой — крутил бороду и ласково заглядывал мне в лицо.

— Глеб Иванович! — окликнул его кто-то из окошка вагона третьего класса: — Идите потом сюда, в этот вагон — здесь Гаршин!..

Я боялась его задержать и вместо ответа только махнула рукой.

В. В. Тимофеева.

Я был студентом Петровско-разумовской академии, и среди нас, студентов, Успенский пользовался большой популярностью. Из журналов — «Отечественные записки» и в них статьи Успенского и Щедрина были те произведения, на которые в то время молодежь набрасывалась с жадностью и с нетерпением ожидала выхода новой книги любимого журнала...

Было это весной[41] 1876 года, при начале сербско-турецкой войны, когда ко мне пришли знакомые слушательницы акушерских курсов московского воспитательного дома, Г. и К., и между прочим спросили меня:

— Знаете ли вы Г. И. Успенского?

— Как писателя, конечно, но лично никогда не встречал.

— Он теперь в Москве по дороге в Сербию... Знаете, с ним случилось несчастие: он потерял, или украли у него, деньги. В самом деле, положение печальное!

— Откуда вы это узнали?

— Его двоюродная сестра у нас на курсах...

— А где он остановился?

— У Москворецкого моста, в гостинице Мамонтова.

Тогда мы собрали денег, помню, приняла в этом участие артистка М[ария] Н[иколаевна] Ермолова, и я на другой день отправился в гостиницу и постучался у комнаты, которую занимал писатель.

Передо мной стоял среднего роста человек, худой, шатен с несколько рыжеватым оттенком и с большими серыми глазами, которые смотрели на меня испуганно-изумленно.

Я отрекомендовался и пояснил цель моего визита.

Успенский продолжал смотреть на меня тем же взглядом, но теперь он улыбался

Я положил деньги на стол.

Наступило некоторое молчание.

Затем Успенский быстро спросил:

— Вы водочку пьете?

— Да, употребляю, — отвечал я.

— Садитесь, — продолжал писатель, — мы с вами позавтракаем, — и он нажал пуговку звонка. — Чем будем закусывать?.. Белорыбицей, осетриной? Москва ведь славится этими продуктами... Говорите!..

Я сказал, что мне все равно. Я был так рад и доволен, что сижу и вижу перед собой любимого писателя, что мог бы закусить даже пуговицей.

Мягкий, деликатный, с особенным, нервным, но злым юмором, Успенский оказался прекрасным собеседником. Он был талантливый и своеобразный рассказчик. В его разговоре обыкновенно нет, нет, да и мелькнет фраза оригинальная, характерная, чистó русского юмора, фраза, метко определяющая или положение, или личность.

Говорил он негромко, смеялся тихо и иногда язвительно. Жизнь, сама жизнь несомненно только его и интересовала. В беседе мы не касались никаких теоретических вопросов, больше он меня спрашивал, я отвечал.

День был прекрасный, тихий и не жаркий. Кажется, это было в июне месяце или в конце мая.

После завтрака мы отправились на Воробьевы горы. Дорогой я спрашивал Глеба Ивановича, зачем он едет в Сербию.

— Посмотреть на добровольцев.

— Да ведь на них и здесь можно посмотреть, когда они отправляются.

— Я хочу видеть добровольцев в действии... Это, батюшка, большая штука... Понимаете — в действии!.. Как «он» там за свободу будет...

На Воробьевых горах мы любовались видом Москвы, и Г. И. вспоминал царя Ивана Грозного. Несколько раз возвращался в тот вечер к этим воспоминаниям. На другой день он уехал в Сербию. Нервный, рассеянный, постоянно сосредоточенный на какой-то тайной мысли, Успенский был непрактичный и совсем неаккуратный человек.

Когда он совсем уже уложился, и надо было расплачиваться по счету гостиницы, денег нет! Куда они делись? Пошло путешествие по всем карманам, по столу, под ним, под кроватью. Положение в самом деле неприятное! Но, слава богу, деньги завалились в прорванный жилетный карман, из которого писатель вынул их в виде плотно сжатого комка. С трудом отделив бумажки, Успенский уложил их более тщательно.

Да, непрактичный был человек Глеб Иванович...

После этого знакомства я виделся с Успенским и в Петербурге и в Москве; он заходил ко мне, когда приезжал в Москву, в свою очередь я навещал его в Петербурге.

С. И. Васюков,[42] «Воспоминания о Г. И. Успенском», Исторический вестник» 1902, июнь стр. 238—240.

В первый раз я увидел его[43] в Москве в 1874/75 году в верхнем этаже бывшей Мамонтовской гостиницы, в том угловом номере с балконом, откуда был вид на Кремль.

Мы пришли к нему из Кремля молодой компанией студентов и курсисток в пасхальную ночь. Я был младший, и робкий, и больше молчалив, — я в первый раз видел писателя и к самому слову «писатель» относился тогда с благоговением, — но между нами были старшие, казавшиеся мне тогда такими старыми и такими серьезными, те молодые люди, которые обо всем имеют определенное мнение и которые допрашивают писателей, почему они пишут так, а не этак. Они допрашивали Глеба Ивановича, не думает ли он писать роман или повесть, большой роман и вполне законченную повесть, — повесть как следует, давая ему уразуметь, какой убыток для русской литературы и жизни — маленькие отрывки и короткие наблюдения, то есть то самое, что делал тогда Глеб Иванович.

Я не помню, что говорил в свое оправдание Глеб Иванович, но помню его виноватую улыбку, и прекрасные глаза, и манеру, с которой он говорил. Он быстро перевел разговор на старые русские иконы, и на старый русский тип святых, и на Левитова, который в ту зиму умирал в Захарьинской клинике. Помню, он нервно чиркал спичкой и все

закуривал все потухавшую папиросу, и время от времени выходил на балкон посмотреть на озаренный пасхальным сиянием Кремль и послушать гудевшую разнокалиберными медными голосами Москву. Я был молод, и слова моих старших товарищей казались мне необыкновенно умными и нравоучительными, а писатель... показался мне не то что незначительным, обыкновенным, а таким простым, таким мало удивительным, — не таким, каким я ожидал увидеть писателя. Прекрасные глаза, доброе, показавшееся мне даже застенчивым лицо, с виноватой, может быть, чуточку насмешливой улыбкой. И слова говорил он самые простые и не необыкновенные, которые приходили в голову и моему молодому разуму и которые опять-таки не соответствовали тому благоговению и ожиданию необыкновенного, которое было тогда у меня связано с представлением о писателе. Сердце мое легло к нему, я был полон впечатлениями от «Нравов Растеряевой улицы» и от великолепного Михаила Ивановича, но тогда я не понял манеры Г. И. думать и чувствовать, не понял ему одному свойственной манеры разговаривать, и только теперь понимаю ту связь, которая была тогда между старыми иконами, и старыми святыми, и Левитовым, и осиянным пасхальным сиянием Кремлем, и гудящими разноголосыми медными голосами Москвы, и прекрасным лицом Глеба Ивановича, с виноватою улыбкой разговаривавшего с нами, глупыми цыплятами.

С. Елпатьевский, «Близкие тени. (Воспоминания)», П. 1908, стр. 3—25.

Отзывчивость Глеба Ивановича привлекла его в Сербию в самый разгар общественного русского увлечения «райей». В Белградской гостинице «Кан сербского краля», где он поселился, за суетней в ней, шумом, бряцанием оружия — ему было не по себе, и он большею частью ночевал у меня, благо, меблированные комнаты, в которых я поселился вскоре после приезда в Белград (где должен был оставаться безвыездно на все время войны), были в стороне от шума, и комната, в которой я жил, — просторная, в три окна, с видом на Дунай, — была снабжена двумя постелями.

Обедали и ужинали мы с ним ежедневно вместе, по разным гостиницам, всегда в обществе меняющихся приезжих соотечественников и разных сербских братушек, и, по возвращении домой, Глеб Иванович, лежа на диване, говорил о впечатлениях дня.

Удивительно прозорливо он судил и о людях и о событиях. Я это оценил потом, следя за дальнейшим развитием русско-сербских отношений.

На театр военных действий он попал за день или два до разгрома сил ген[ерала] Черняева Абдул-Керимом-пашой под Джунисом и присутствовал при поспешном очищении главною сербскою квартирою и штабом Делиграда.

Возвратившись в Белград, он приехал прямо ко мне, застав меня дома, поздоровался со мной, и возгласил:

— Никакого славянского дела нет, а есть только *сундук*.

И тут же поправился:

— То есть *был* сундук. Нынче он пуст и, вероятно, выброшен во двор. Я присутствовал при его опустошении и видел, как золото растаскивали целыми пригоршнями, клали в жестянки от сардинок и уносили в разные стороны.

Старый петербуржец, «Мои встречи с Г. И. Успенским», «Биржевые ведомости» 1902, № 83 от 27 марта.

...Я вошел в ресторан и отыскивал глазами местечко где бы присесть.

— Что же, Дмитрий Александрович, и вы приехали сюда за веру, за братьев кровь проливать? Идите сюда; около меня есть местечко.

Я сразу узнал Глеба Ивановича Успенского и направился к нему.

— Вот, вот, тут есть местечко. Очень рад, что встретились.

Я заказал обед и спросил Успенского, как он себя чувствует в Белграде.[44]

— Как вам сказать? Неразбериха какая-то. Я еще дорогой расспрашивал волонтеров, с какой целью они едут на войну. И что же вы думаете? Один говорит, что неудачно женился, другой пострадал на службе, третий... Да всех и не перечтешь. Вижу только, что тут целые кучи народа нашего шатаются без дела.

— Не забывайте, Глеб Иванович, что мы в тылу армии, а там всегда любят тереться люди самых разных сортов.

— Да, да. Я еще вчера встретил повара из одного петербургского ресторана, говорит: маркитантом буду. И, конечно, будет у какого-нибудь обжоры из провиантских чинов за веру, за братьев сербских кур да индеек фаршировать.

Мы оба расхохотались.

— А вот эти знают, зачем сюда приехали, — сказал Глеб Иванович, кивнув головой в сторону, где сидела группа разряженных дам. — Но и эти, вероятно, ничего не добьются. Здесь женская прислуга в гостиницах служит за нищенское жалованье, — добавил Успенский.

Только что мы успели пообедать, как вдруг раздались крики: «Держи, держи вора!»

В ресторан, как бомба, влетел какой-то субъект с криком:

— Заступитесь, земляки, сербы обижают!

— Как! Русских обижают! Мы за веру, за братьев! К оружию! — раздались крики по ресторану.

— Чекайте, чекайте! (подождите, подождите) — закричал не своим голосом серб, приказчик табачного магазина. — У меня вот этот доброволец украл две пачки дувану (табаку).

— Как! Доброволец — и вор! Изрубим его! Бей его, как собаку!

Магазинного приказчика и посетителя окружила сразу вооруженная толпа. Первый увидел, что у добровольца торчит из кармана пачка табаку и коробки с папиросами, и принялся опрастывать карманы похитителя, совершенно забыв, что он окружен разъяренной толпой.

Торопливость приказчика была настолько комична, что вся толпа разразилась гомерическим смехом. Я в первый раз в жизни убедился, как быстро может меняться настроение толпы.

Видя, что настроение толпы изменилось, хозяин ресторана подошел к толпе и тут же предложил компании обязать вора не позднее завтрашнего утра удалиться из Белграда. Воришка замялся.

— Делать нечего, господа, — решил один из русских офицеров, — соберемте денег ему на дорогу и поручим полицейскому посадить провинившегося на пароход...

Несмотря на прилив добровольцев, дела Сербии день ото дня становились хуже; турки, конечно, были сильнее сербской армии вместе с добровольцами. Ясно было, что новыми добровольцами дела не поправишь.

Среди военных начала бродить мысль, что надобно оставить позиции на границе и стянуть все войска к Белграду.

Совсем другую картину представляла собою Черногория. Она стойко защищалась и с севера, и с юга и кроме того сумела привлечь на свою сторону воинственных меридитов.[45] Меня давно уже интересовала Черногория и его геройский народ, сумевший отстоять свою свободу среди враждебных племен.

Раз как-то мы с Глебом Ивановичем и инженером Грачевым сидели за ужином в сербском круне и толковали о том, почему это так мало охотников ехать в Черногорию и так много едет их в Сербию. К нам подсел какой-то доброволец, несколько подвыпивший, и заявил, что за коим чортом будет он ломать шею по горам, а Белград — все-таки губернский город, и местность удобнее, и кругом свои, а там, говорят, не город, а деревня какая-то. Придется таскать на себе и ранец и одежду, я привык к порядкам регулярной армии, я — офицер, а там, пожалуй, в рядовые попадешь.

— Вы совершенно правы, господин офицер. А я решил перебраться в Черногорию вместе со своим товарищем, — сказал Грачев, указывая на меня.

— Ну, это дело ваше, а я уж останусь здесь, — заявил непрошенный собеседник и отошел от нашего стола.

— Что же, господа, чем терять время здесь, поезжайте к князю Николаю; по крайней мере на новых людей посмотрите, — посоветовал Глеб Иванович.

Мы последовали этому совету.

Д. А. Клеменц,[46] «Из прошлого (Воспоминания)», Ленинград, «Колос» 1925, стр. 141—144.

Примерно с 1875—1876 года Глеб Иванович рисуется мне уже постоянно задумчивым и серьезным.

Таким я его встретил в Белграде во время перемирия, после сербско-турецкой войны, в которой я участвовал в качестве волонтера.

Я прожил у Гл. Ив. в номере четыре дня — по его приглашению, когда он узнал, что я в Белграде.

К Гл. Ив. приходили тогда какие-то молодые люди типа русских народников, в красных рубахах, косоворотках, с большими сапогами и т. п. Кажется, он в то время особенно интересовался социалистическими вопросами.

Помню, что на мои рассуждения о поведении добровольцев, которых я в большинстве случаев оправдывал, и вообще на рассуждения о сербской кампании, Гл. Ив. почти не отзывался. Слушал, курил, иногда как бы в раздумьи говорил: «да-да»... Но я так и не мог вынести никакого заключения, как он относился к моим словам, и чувствовал некоторое неудовлетворение. Хотелось, конечно, слышать более определенное мнение от такого человека...

Впоследствии, читая записки Гл. Ив. о Сербии и сербских волонтерах, я нашел в этих записках подтверждение своих взглядов.[47] Только одно, что меня неприятно пора-

зило, — это картинка с натуры, когда на железной дороге в вагоне (или на пароходе) русские волонтеры покушались было щегольнуть перед иностранцами своим удальством и песнями, а вышло что-то безобразно пошлое, убогое и жалкое... Это вполне с натуры, но мне показалось в этом желание Гл. Ив. обобщить отзыв о волонтерах, и я был лично уязвлен, как волонтер. Конечно, были и другие представители русских волонтеров и русского человека. Раздавалась и мощная, полная своеобразной прелести русская песня, в согласном хоре и в одиночку. Но много было именно такого убожества, которое так ярко изображено Гл. Ив., которое живо отражало те всероссийские условия, которые во всем отодвигают русский народ назад перед народами Запада, живущими в более человеческих условиях.

Сообщение В. Е. Чешихину *П. К. Кузьмина*, двоюродного брата Г. И. Успенского, «Голос минувшего» 1915, № 2, стр. 235.

С Александрой Васильевной мы встретились на улице в начале сентября 1876 года. Она только что вернулась из-за границы, прожив лето в деревне у родных Гл. Ив., хлопотала в земской управе о месте народной учительницы и на время остановилась в гостинице Сорокина, на Обуховском.

— Приходите ко мне. Я живу одна с Сашечкой. Глеб Иваныч уехал в Болгарию.[48] Приходите, я вам все расскажу.

Дела оказались очень плохие. Журнал,[49] в котором она работала, перестал выходить. Цензура преследовала статьи Глеба Ивановича, и имя Глеба Успенского исчезло со страниц «Отеч[ественных] зап[исок], его заменил псевдоним Г. Иванов. Долги их «измучили», жить стало нечем, и Глеб Иваныч принял было какое-то место (если не ошибаюсь, в самарском земстве),[50] а теперь путешествует по Дунаю, пишет корреспонденции и статьи.

Проживать долго в гостинице для Александры Васильевны было бы затруднительно, и я уговаривала ее переехать туда же, где жила я сама, — в меблированный дом Цезаря Альбертовича Кавоса (№ 6 по Столярному пер[еулку]). Управляющей этим домом была моя хорошая знакомая, П. М. Р—на, сама не чуждая интересам наук и искусства, и имя Глеба Успенского обеспечивало временный кредит и относительные удобства для Александры Васильевны. Побывав у меня, она вскоре переехала к нам туда с мальчиком. Забот и хлопот у нее было тогда через край. Помимо долгов и ребенка, за которым кроме нее некому было присмотреть, тяготили и разные затруднения со статьями Глеба

Иваныча в редакции «Отечественных записок». Особенно удручала ее история с возвращением одной рукописи. Глеб Иваныч был недоволен одной своей статьей (о крестьянской общине) и поручил ей непременно взять эту статью обратно. Чуть не каждый день получались от него телеграммы, и каждое утро она отправлялась в редакцию. Рассказ об этих ее «мытарствах» привожу дословно, как слышала от самой Александры Васильевны.

— Глеб Иваныч сначала написал Михайловскому, прося не печатать этой статьи и обещая выслать другую. Михайловский почему-то до сих пор ему не ответил. Глеб Иваныч, разумеется, беспокоится, телеграфирует мне. Иду к Михайловскому. Не застаю его дома. Еду в редакцию. Говорю, что мне надо видеть Н[иколая] К[онстантиновича] Михайловского. Мне отвечают, что сегодня день не редакционный, и Михайловский не принимает. Пишу записку — сижу и жду. Приглашают наконец в кабинет. Михайловский встречает меня *редактором:* «Александра Васильевна, что вам угодно?» — «Мне угодно получить статью Глеба Иваныча, о которой он вам писал, но вы почему-то не отвечали». — «Александра Васильевна, я этого сделать не мог, так как это от меня не зависит... Статья сдана»... там не знаю, кому-то у них... Она внесена уже в книги и за нее уже выдан аванс. Обратитесь, пожалуйста, к Григорию Захарычу. Это по его части». Иду к Елисееву. Тот посылает меня к Салтыкову. Салтыков — опять к Михайловскому. А Михайловский опять уверяет, что это от него не зависит.

— Что же это, — говорю, — у вас здесь, точно в III Отделении — из канцелярии в канцелярию пересылают?

— Александра Васильевна, возьмите ваши слова обратно!

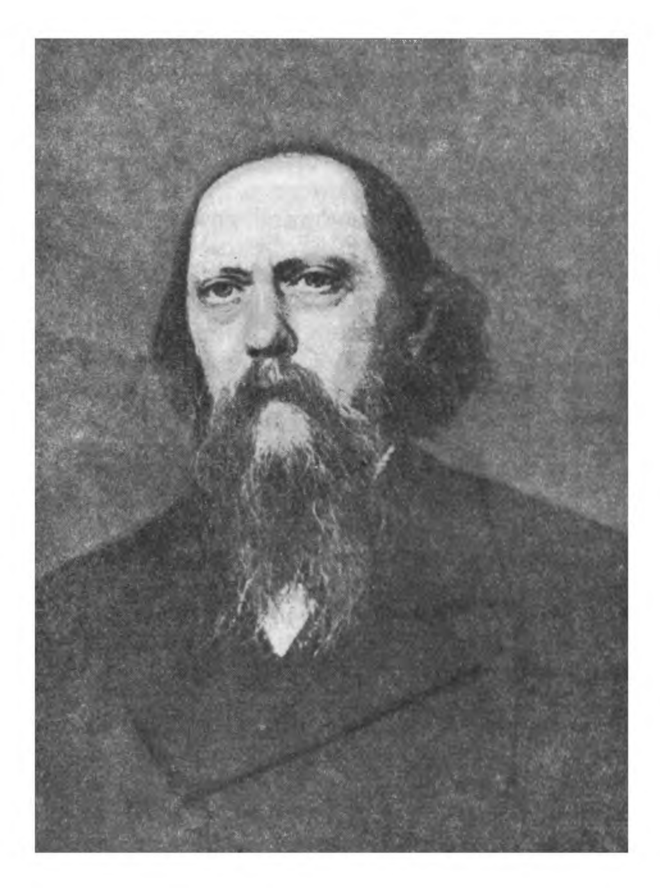
— Не могу взять обратно, Николай Константиныч! Вы так со мной поступаете, точно мы с вами впервые здесь видимся... Слава богу, сколько лет знаете Глеба Иваныча, знаете, как ему теперь трудно писать, и вы ничем не хотите облегчить его положение!.. Я этого от вас не ожидала!..

— Александра Васильевна, уверяю вас, это от меня не зависит. Если вы желаете, я дам вам записку... (к кому-то — не помню)... Вы поедете к нему...

— Я никуда больше не поеду, Николай Константиныч! Я устала. Я здесь посижу, а вы с этой запиской потрудитесь послать посыльного, я ему заплачу.

Пошел сам куда-то и возвратил статью.[51]

Однажды ее спросили при мне (М. А. Кавос):



М. Е. Салтыков-Щедрин.
С портрета маслом Ярошенко.

— А ведь, пожалуй, не очень весело быть женою писателя, даже такого милейшего человека, как ваш Глеб Иваныч?

— Что же, конечно, мне иногда не легко. Все приходится быть одной. Когда Глеб Иваныч пишет — ему ни до кого и ни до чего. И нельзя ему мешать. А когда он не может писать, он так этим мучится, что я не могу на него глядеть... И он от меня уходит.

И сейчас же сама искала ему оправдание:

— Конечно, Глеб Иваныч не может писать, как Тургенев. Я видела, как тот пишет. Перед отъездом сюда я пошла с ним проститься. Подхожу к дому, где он жил с Виардо, — у подъезда стоит экипаж. Выходит Иван Сергеевич с портфелем, а за ним — лакей с пледами и баулами. «Александра Васильевна! Как мне жаль! (Она представляла его как бы умирающий, нежный голос с туманными переливами.) Я *должен* сейчас уехать...» — «Куда же это вы уезжаете, Иван Сергеевич?» — «В Буживаль — писать мою новую вещь. И вернусь не ранее, как недели через две или три. Мне, право, о-чень, о-чень жаль!» Это он тогда «Клару Милич»[52] писал. Три недели писал, и никто к нему в комнаты близко даже не смел заглянуть. Буфет ему заранее там приготовляли.

И она прибавляла с легкой иронией «пролетария»:

— Тургенев, конечно, очень хороший, я его очень люблю, только немножко у него всего много, а у нас с Глебом Иванычем — совсем ничего!

В. В. Тимофеева.

Для характеристики Глеба Ивановича необходимо упомянуть еще об его отношении к Н[иколаю] К[онстантиновичу] Михайловскому. Он пользовался его безграничной симпатией. Успенский ценил его выше всех остальных членов редакции «Отечественных записок» и как в глаза, так и за глаза обнаруживал к нему глубокое уважение.

В журнале «Минувшие годы» за 1908 год г-жа Починковская сообщает, что в 1876 году будто бы из-за невозвращения статьи Успенского у него вышла ссора с Михайловским, и по этому поводу он писал Александре Васильевне: «Встретил сегодня на улице Михайловского и не поклонился ему. Это его, очевидно, поразило. Так и надо».

Действительно, однажды Глеб Иванович рассердился на Николая Константиновича, но не из-за статьи, не возвращенной ему (статьи его поступали в исключительное ведение М[ихаила] Е[графовича] Салтыкова), а по другой

причине,[53] не имевшей никакого отношения к редакции «Отечественных записок».

Глеб Иванович нуждался в деньгах и хотел получить срочную ссуду в 200 рублей из Литературного фонда под поручительство Николая Константиновича.

Михайловский посоветовал ему взять лучше бессрочную ссуду, не требующую поручительства, тем более, что в этот раз он не может этого сделать, так как поручился уже за другого должника Литературного фонда.

Глеб Иванович не любил и не знал никаких формальностей, правил, уставов. До какой степени доходило его равнодушие в этом смысле, можно судить по тому, что одному приятелю, нуждавшемуся в учете векселей в Псковском городском банке, он выдал обязательств на несколько тысяч рублей[54] и говорил:

— Какая несообразность! Для других у меня большой кредит в Псковском банке, а сам я не могу взять ни копейки.

Не интересуясь правилами и Литературного фонда, он принял заявление Михайловского за нежелание поручиться за него и обиделся. Но не прошло и недели, как он убедился в своей ошибке и постарался восстановить прежние отношения с Николаем Константиновичем.

— Как я измучился за эти дни моей ссоры с ним и сказать не могу! — говорил мне Глеб Иванович. — Для меня легче размолвки с Александрой Васильевной... Зато теперь как я счастлив!.. Угораздило же меня не поверить ему!

Малейший неодобрительный отзыв о Михайловском сердил его.

Однажды в его присутствии Е[катерина] С[тепановна] Некрасова назвала Николая Константиновича «генералом» от «Отечественных записок».

— Вот и видно, что вы ни разу не говорили с ним, — недовольным тоном заметил Глеб Иванович, — иначе не обругали бы его...

Сам он в разговоре с Николаем Константиновичем никогда не относился к нему даже с оттенком юмора, к чему имел большую склонность, и часто пускал в ход свое остроумие по отношению к другим лицам.

А. И. Иванчин-Писарев.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВТОРОЙ ПЕРИОД РАБОТЫ В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ»

ГОДЫ ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ С ДЕРЕВНЕЙ

1877 — 1884

ГЛАВА VII

Из петербургской жизни. — Служба в Самарской губ. — В имении Лядово Новгородской губ. — Впечатления и встречи. — Два свидания с И. С. Тургеневым. — Пушкинский праздник в Москве. — Разные рассказы о Г. И. Успенском и случаи из его жизни этих лет (1877 — 1880).

... Боюсь ошибиться в датах, но наше знакомство возобновилось... в Петербурге в годы моего постоянного сотрудничества в «Отечественных записках» Некрасова и Салтыкова.

Тогда Глеб Иванович имел уже крупное имя и находился по развитию своих идей накануне крутого поворота к своеобразному культу земли и мужицкой морали, которая держится только *силою* этой самой кормилицы земли.

В половине семидесятых годов, когда я устроился в Петербурге домом, мы виделись с ним всего чаще, и вне редакции. Помню его вместе с Михайловским и Некрасовым за обедом в столовой моей квартиры на Песках; помню, как он был распорядителем одного из очередных обедов редакции «Отечественных записок», причем он оказался первобытным метр-д'отелем и сам добродушно острил над своей неумелостью по гастрономической части.

Тогда он уже был тот страдающий «справедливец» и неуравновешенный работник пера, в каких окончательно превратился он в восьмидесятых и в начале девяностых годов.

Видом он был еще «молодой человек». Но сквозь его ласковый тон, шутку, рассказ с юмором проскальзывалс уже обличье меланхолика. Явились характерная складка между бровями, постоянное поднятие вверх одной из бровей, беспрестанное пощипывание бородки и безостановочное курение.

Он уже был женат; но к его семейной жизни мне не приводилось приглядываться. Вряд ли за все долголетнее знакомство имел я случай беседовать с его женой. Для меня он похож был скорее на холостяка, на типичного петербург-

ского писателя-богему, который стремился всегда в деревню, в народ, в природу и фатально не мог и не умел устроить свою жизнь так, чтобы постоянно не страдать, не биться из-за «презренного металла», не испытывать вечных тисков, находясь всегда в неоплатном долгу у своих редакторов и издателей.

Необычайно выразительна была его фигура в дни приема в квартире Некрасова, на Литейной, в доме Краевского. Успенский в приемной комнате (где стоял одно время и бильярд) ходил в сторонке, сильно озабоченный, со складкой на лбу и усиленным подергиванием бородки и тревожно взглядывал на дверь во внутренние комнаты, откуда должен был появиться Некрасов.

В следующей комнате (где в ящик подзеркальника Некрасов имел привычку класть свой крупный выигрыш) бедный Глеб Иванович подолгу ходил в ногу с Некрасовым и, разумеется, просил новый аванс.

И долг редакции все рос, и по смерти Некрасова было все труднее раздобываться такими ссудами. Такой даровитый писатель как Успенский до самой своей смерти не мог сводить концы с концами и несколько раз хватался за другие виды заработка: за службу по земству[1] и учительство, и с каждым годом все сильнее изнывал под бременем подневольного спешного писания, с невозможностью вынашивать подолгу свои образы и замыслы... Даже и при меньшем таланте другой, вероятно, сумел бы создать себе обеспеченное и спокойное существование.

Червяк сидел в нем самом. Он не давал ему пощады и заставлял метаться из стороны в сторону, делая его нравственные и общественные запросы и протесты все назойливее, готовил изо дня в день тот роковой финал душевного недуга, который так непомерно долго держал его в своих когтях.

П. Боборыкин, «Милая тень», «Русское слово» 1908, № 129, от 5 июля.

Наиболее в ходу были в течение 70-х годов литературные обеды. У каждой редакции раз в месяц были свои обеды. Таковы были ежемесячные обеды «Отечественных записок», собиравшиеся в разных первоклассных ресторанах — то у Бореля, то у Дюссо, то у Донона, и пр. В этих обедах принимали участие все члены редакции, не исключая Некрасова и Салтыкова, и сверх того приглашались посторонние более или менее близкие люди, например, родственник

Некрасова Ераков, адвокаты Унковский и Боровиковский, Горбунов и пр[очие]. Обеды эти отличались изысканностью яств и питий, шампанское на них лилось рекою. Устраивались даже состязания участников, кто сумеет заказать лучший обед. Так, П[етр] Д[митриевич] Боборыкин взялся устроить обед, какой практикуется в лучших парижских ресторанах. Обед действительно вышел на славу в гастрономическом отношении по изысканности и тонкости всего своего состава. В пику Боборыкину Гл. Успенский взялся устроить обед в русском духе, на манер, как угощают своих друзей московские купцы-миллионеры. Обед был заказан в «Малом Ярославце», и, надо сказать правду, вышло нечто умопомрачительное и прямо-таки убийственное. После обильной закуски и жирнейшей солянки с растегаями, подали поросенка под хреном, а затем вдруг бараний бок с кашей. За сим следовали рябчики, но до них никто уже не дотрагивался. На обеде этом присутствовал один француз, бежавший из Парижа коммунар, [2] который во время всего обеда только и твердил:

— Бедный старик! Убили бедного старика. От версальцев бежал, а куда убежишь от поросенка и барана, когда с места не в состоянии тронуться.

А. М. Скабичевский.

Вскоре и со мной случилась неприятность в Петербурге. Надо было возвращаться в Москву, а на проезд денег нет, — пустяки, положим, а нет. Я пошел к Г. Ив., думая, не выручит ли он меня на этот раз. [3] Успенский жил тогда близ Николаевского вокзала, на Гончарной улице. Я застал его в возбужденном состоянии. Он очень волновался по поводу визита к нему деревенского старшины, рассказывавшего ему разные деревенские неурядицы.

— Да, — говорил Глеб Иванович, — Грозного... царя, Грозного нужно...

«Опять Грозный», — подумал я и сказал о цели своего посещения.

Глеб Иванович как-то съежился и еще более заволновался. Оказалось, что денег у него нет, а деньги нужны ему, пожалуй, больше моего: ожидалось приращение семейства.

— В «Отечественных записках» не дадут, я уже забрал авансом... Вот в «Пчеле» за статью о Демерте [4] получил бы... да не отдают... Посылал, да толку нет. Самому разве съездить, да вот работу надо кончать...

— Хотите, я съезжу. Где адрес журнала?

... Успенский тогда показался мне и больным и грустным.

На Васильевском острове я застал в редакции издателя, художника М.,[5] который принял меня очень вежливо, сказав, что Успенскому следует действительно получить 80 рублей, но в редакции денег нет, надо подождать...

— Но, видите, — убеждал я: — Глебу Ивановичу очень нужны деньги, и именно теперь.

— Ах, Глеб Иванович, Глеб Иванович! — говорил, потирая руки, художник. — Какой он прекрасный человек. А вы не родственник его будете?

— Нет, просто знакомый.

Я ушел, не получив ни копейки.

На другой день я опять был на Васильевском острове, и, проходя мимо редакции «Пчелы», подумал: «Дай, зайду опять за деньгами!». Редакция помещалась в нижнем этаже; человек, узнав меня, пропустил в кабинет без доклада.

За большим круглым столом сидел издатель и какой-то купец; перед ними лежали пачки кредитных билетов, перевязанные веревками, помню, что пачек было много.

— Ах, вы от Глеба Ивановича, — заволновался художник. — Какой он прекрасный человек... превосходный!.. Да, вчера вы говорили о деньгах... Теперь я могу ему передать, только не все, вот 40 рублей.

Я взял эти деньги, быстро вышел от любезного издателя, нашел извозчика и привез Успенскому деньги, которые были очень нужны.

— Как это вы получили? Вот удивительно!.. — говорил писатель.

Мне кажется, что эта нужда и постоянно связанное с ней беспокойство, да еще при его пессимистическом настроении, немало способствовало все больше и больше усиливающейся нервности и болезненности.

С. И. Васюков, «Из воспоминаний о Глебе Успенском», «Исторический вестник» 1902, № 6, стр. 937—940.

Зимой 1877 года, благодаря своему близкому знакомству с доктором О[рестом] Э[дуардовичем] Веймаром, Глеб Иванович узнал, что замышляется устройство побега из Литовского замка одного из видных «лавристов» Е. С. Симановского [Семяновского], и захотелось непременно «испытать впечатление» в качестве участника этого рискованного предприятия.

— Буду хоть вишни есть, — смеялся он, вспоминая одну из подробностей побега кн[язя] П[етра] А[лексеевича] Кропоткина.

В это время знаменитый «Варвар» стоял на конюшне Веймара и за оказанную услугу пользовался такой ревнивой любовью доктора, что, когда «лавристы» обратились к нему с просьбой дать лошадь, он наотрез отказался отпустить ее в «чужие руки» и предложил поручить ему организацию «выезда» к Литовскому замку. Таким образом, в дело вмешались две компании. Одна вела сношения с Симановским [Семяновским], а другая, по указанию первой, должна была явиться в определенный час к тюрьме с лошадью и с нужным штатом людей для внешних операций. Пробовали отговорить Глеба Ивановича от задуманной им затеи, главным образом из боязни подвергнуть риску любимого писателя, отчасти и в силу сомнения, удастся ли ему выполнить ту или другую функцию, как человеку, не изловчившемуся ни в каких конспирациях. Но он так хотел, просил и так круто ставил вопрос о доверии, что в конце концов согласились предложить ему наименее рискованную операцию: «снять с поста городового».

По условиям тюремной жизни, Симановский [Семяновский] мог сделать попытку к побегу только в шестом часу утра. Накануне назначенного дня была вечеринка в квартире присяжного поверенного Серебрякова, куда был открыт доступ даже «нелегальным» людям. Этой квартирой и решили воспользоваться, как для предварительного собрания всех участников в устройстве побега, так и для превращения одного из танцоров на вечеринке в выездного кучера, когда в 4 часа ночи подъедет к воротам дома О[рест] Э[дуардович] Веймар на своем Варваре. Глеба Ивановича очень занимало это совпадение наружного веселья с коварным замыслом.

— Настоящие заговорщики! — повторил он. — Поют, танцуют, а на уме — Литовский замок!.. Вы не очень увлекайтесь танцами, — оберегал он будущего кучера: — вспотеете, а потом на мороз! Долго ли простудиться!..

В 5 часов утра все «заговорщики» были у Литовского замка. Побег не состоялся, потому что, как оказалось впоследствии, Симановскому [Семяновскому] не удалось подпилить тюремную решетку и выскочить из окна в переулок, где стоял Варвар. Тем не менее Глеб Иванович выполнил возложенное на него поручение.

— Минута в минуту, как было условлено, — рассказывал он, — я подошел к городовому, вынул папироску и говорю:

«Вы курите?» — «Покуриваю, — говорите, — а вам не спичку ли?» — «Да». Он зажег спичку, и мы закурили. «Скажите, как пройти поближе на Садовую?» — спросил я. Городовой стал объяснять. Я оказался таким непонятливым (ведь так полагается по программе), что все переспрашивал: «Сначала,— говорю, — направо, а потом налево?». Всячески старался, да вот не вышло!

А. И. Иванчин-Писарев.

Глеб Иванович подумывал иногда усесться на месте, поступить на службу — на железную дорогу, в земство и т. п., имея постоянный заработок, работать в литературе спокойно, не разрывая свои произведения на клочки. Но это или совсем не удавалось ему, или удавалось очень ненадолго. Дольше всего, кажется, он *служил* заведующим сельской ссудо-сберегательной кассой в Самарской губернии. Повидимому, он этой службой был доволен, — по крайней мере с точки зрения собранного им там материала для литературной обработки.

Н. К. Михайловский.

С октября 1878 года по август 1879 года я жила вместе с Глебом Ив. Успенским и его семьей. Это было в селе Сколкове, Самарской губернии, верстах в 18 от станции Чарыковской, — теперь она называется, кажется, Кинель. В то время в Сколкове, при имении Сибирякова, была открыта сельская школа и помещалась она в одном здании с ссудо-сберегательным товариществом, где Глеб Ив. был письмоводителем. Жена Глеба Ив. была главной учительницей для второго отделения. Я тогда только что окончила женскую учительскую семинарию в Петербурге, была совсем зеленой девочкой и очень мало интересовалась Успенским как писателем, отчего сведения мои о нем немного стоят, но все же, может быть, пригодятся для будущего биографа.

Приехала я в Сколково с женой Успенского, а его самого увидала только на следующее утро.

Он сидел в конторе товарищества, представлявшей собою большую комнату с некрашеным полом, в которой находился большой белый стол с бумагами и несколько деревянных скамей; на одной из них, как я потом увидала, и спал Успенский. Глебу Ивановичу было в то время лет 30 с небольшим, и он показался мне обыкновенным добродушным блондином, очень простым в обхождении. Одет он был, вместо домашнего костюма, в старое драповое пальто и мягкую рубашку. Сидевший рядом с ним конторщик Сиби-

рякова, ссыльный студент-петровец, показался мне по своему внушительному виду (несмотря на маленький рост) гораздо более похожим на писателя, и я первое время обращалась к нему, как к Успенскому. Кроме Успенского, в банке часто присутствовал старшина, рыжий громадный мужик. Глеб Иванович с него написал одного из убийц конокрада в своем рассказе.

В банке же часто толкались крестьяне; я слышала их громкое галденье и тихий, убедительный голос Успенского, который с ними беседовал, но плохо вслушивалась в предмет этих бесед.

Сам Успенский помещался в конторе; для его семьи было отведено 2 комнаты, и одна принадлежала мне.

Ребятишек у него тогда было трое, [6] и старший из них, Саша, тогда ребенок лет пяти, не расставался с отцом, который его особенно любил. Прислуги было 2 бабы, но тут же проживал без всяких дел муж кухарки (все время валялся на печке) да школьный сторож, отставной солдат.

Жили без забот о внешнем порядке, ели, когда придется. В одной из комнат вместо мебели стояли ящики: побольше — в качестве стола, остальные заменяли собой стулья.

К крестьянам — продавцам провизии Успенский относился очень мягко, без разговоров платил, сколько бы с него ни запрашивали, а те широко этим пользовались.

Хотя Успенский и тогда получал по 200 рублей за лист, денег в доме всегда не хватало. Костюмы свои Глеб Иванович всегда донашивал до последней возможности, и тогда уже, забрав с собою сынишку, отправлялся для экипировки в Самару. Там он переодевался с ребенком, старое же оставлял, за полною негодностью, в лавке же.

Писал Глеб Иванович урывками, со страдальческим лицом, всегда ночью, и всегда при этом около него был крепчайший холодный чай и пиво, но пьяным я его никогда не видала.

За год Успенский несколько раз уезжал из деревни в Самару, на неделю-другую, а раз в Петербург, чтобы «освежиться», как он говорил.

Характер Успенского отличался замечательной кротостью, и за весь год он вспылил при мне только раз. Сторож при школе, уже лысый солдат, вздумал очень бесцеремонно ухаживать за нашей нянькой, на крыльце, при открытых дверях. Глеб Иванович, всегда очень щепетильный, вспыхнул, сорвался с места, схватил солдата за шиворот и вышвырнул вниз с крыльца, шепча: «Не смей, негодяй, никогда...»

Из статей, относящихся к тому времени и месту, относится рассказ «Три деревни».[7] Часто Успенский читал вслух свои коротенькие рассказы и так выразительно, что присутствовавшие хохотали; сам же он оставался невозмутимым.

Когда для производства экзаменов к нам приехал из Самары предводитель дворянства, Глеб Иванович принял его в своем пальто у себя в банке, усадил его на скамью и приветливо предложил отведать «поросеночка». Обедали мы тут же в банке, без скатерти, но предводитель брезгливо отказался.

Ко мне оба Успенские отнеслись очень тепло и сердечно. Мы обе получали как учительницы по 30 рублей в месяц, и когда я на лето взяла к себе двух братьев-гимназистов, Успенская увидала, что на всех мне денег не хватит и предложила мне обедать с мальчиками у нее, а вместо платы шить на ее детей, что понадобится. Воображаю, как плохо я тогда шила и как мало было от меня толку.

Но Успенские сумели так устроить, что мне не приходило и в голову, что я им обязываюсь.

А. С. С[тепанова],[8] «Из воспоминаний о Глебе Успенском», «Самарская газета» 1902, № 83

С Г. И. Успенским был знаком местный старожил, следователь Я[ков] Л[ьвович] Тейтель. Я об этом знал и потому при встрече заговорил с Т[ейтелем] об его знакомстве с Глебом Ивановичем.

Трудно упомнить, при каких обстоятельствах я познакомился с Глебом Ивановичем. Но встречался много раз с ним. Производил он на меня и на всех замечательно приятное впечатление и своей наружностью и своей какой-то девической скромностью. Он уже и тогда был известным писателем, и поэтому такая скромная манера держать себя импонировала нам чрезвычайно. Могу рассказать вам об одном случае из моего знакомства с Глебом Ивановичем. Как-то получаю сообщение об убийстве в д[еревне] Сколкове. Там же жил и Глеб Иванович. Мы заехали к нему с доктором Поповым. Разговорились. Глеб Иванович сильно заинтересовался загадочной смертью крестьянина, по поводу которой мы и прибыли в деревню. Надо сказать, что крестьянин этот вступил зятем в богатую крестьянскую семью. Сам он был бедным, в семью жены он принес только свою рабочую силу, и понятно: его новые родственники начали смотреть на пришельца крайне недоброжелательными глазами. На фоне этих

семейных разногласий происходили разные стычки, о чем, понятно, делалось известным всей деревне. Когда крестьянин этот умер, то явилось невольное подозрение в насильственной смерти.

Глеб Иванович присутствовал на вскрытии трупа, расспрашивал обо всех обстоятельствах, предшествовавших смерти крестьянина, и, помню, он, как ребенок, был рад, что никакого преступления, по расследовании, не оказалось, а мы имели дело в данном случае со скоропостижной смертью, кажется, на нервной почве.

Могу сообщить также, что к Глебу Ивановичу крестьяне относились с самой искренней любовью. В затруднительных случаях они обращались к нему. А разве мало у крестьян этих затруднительных случаев. Скромный и малоразговорчивый, Глеб Иванович с крестьянами подолгу и охотно беседовал.

Вот еще случай, подтверждающий сердечную доброту Глеба Ивановича: у него служил некто Осип. Когда Глеб Иванович уезжал из наших краев, то он очень беспокоился о дальнейшей судьбе Осипа и много хлопотал о том, чтобы устроить его судьбу.

К. Д. [9] «К характеристике Г. И. Успенского», «Самарская газета» 1902, № 72, от 30 марта.

Однажды я рассказал ему [Успенскому], какою реальною жизнью жили в нижнем этаже русановского дома все эти домовые, лешие, речные и тому подобная нечисть.

— Да так и быть должно, Николай Сергеевич. Чорт — самая обыкновенная вещь в нашем быту. Он ближе и реальнее бога... Вот что со мною было, когда я в ссудо-сберегательной кассе в Самарской губернии служил. Прислали к нам вместо уволенного за неблагонамеренность сельского учителя племянника становихи в учителя. Очень образованный и очень благонамеренный молодой человек был. Первый урок географии так и начал: «С тех пор, как бог Адама и Еву из рая выгнал, люди стали очень глупы, и чем далее, тем все глупее становились. Даже Ноев потоп и радуга не могли их от глупости отучить. Поэтому они думали, что все вокруг земли вертится. Однако вскоре после древнего мира нашлись умные люди, которые по математике доказали, что, наоборот, все стоит, а только одна земля вокруг всего вертится, отчего происходят разные видения на небе, фазы луны, и солнечные затмения, а также приливы и ветры от большой скорости».

— А русскому языку он обучал и того лучше, — продолжал все серьезнее и серьезнее Глеб Иванович. — «Неблагонадежный» задавал старшим ученикам сочинения не сочинения, а так — самые простые описания, и все больше из крестьянской жизни, из того, что дети видят и в чем сами принимают участие: сенокос, страда, что мужики делают в лесу летом, а что зимой... Новому же учителю было сказано держать учеников по возможности подальше от ихнего быта, так как много от этого лишних толков выходит о «политическом положении крестьянства и даже духовенства», задавать им что-нибудь из «иностранной природы» и учить «выражаться» «благородными выражениями»... Вот мой умник и разживись хрестоматией для средних классов гимназии и давай своим ученикам оттуда самые непонятные вещи читать, а затем требовать от них рассказа своими словами...

— Это мне напоминает педагогов, которых я разобрал в «Новостях», — невольно вставил я.

— Вот, вот... Встречает меня как-то «новый» на улице и говорит: «Извините, пожалуйста, Глеб Иванович, так как я наслышан, что вы в некотором роде известнейший писатель, то позвольте вас любезно просить поспособствовать мне в одном, можно сказать, экстренном деле. Скоро, видите ли, приедут сюда инспектор народных училищ и непременный член на экзамен в нашей школе, а она ведь образцовой считается, и полный курс в четыре зимы проходится... Спросят у меня сочинения кончающих учеников им показать, а что я им покажу? На прошлой неделе читал им два отрывка из хрестоматии: «Закат солнца в Сахаре» и «Ураган на океане» и просил, кто какую вещь хочет, рассказать. И что же бы вы думали? Голову сняли с меня, Глеб Иванович, эти разбойники, положительно сняли... Один пишет: — «Заря дюже погорела, так что повсюду красно стало и предвещание сильного дождя означает». Понимаете ли, Глеб Иванович, это в Сахаре сильный дождь, в Сахаре?! А другой так изображает ураган на океане: «На море на океане поднялась ни с того ни с сего страшная буря, волны больше полутора аршин ветер с одного берега на другой нагнал, наш паром возьми да и перевернись, как ни тащили мы его кверху, а он подобрал нас под себя да как сразу плюхнет на дно, и очень зашипел после, потому что вроде чугунки, на пару ходит, только по воде...»

— Глеб Иванович, а ведь это лучшая сатира на всех наших педагогов...

— Вы все об Евтушевском, Николай Сергеевич... Погодите... я и говорю становихиному племяннику: «Послу-

шайте, Матвей Гаврилович, а почему бы вам снова мальчиков на описание их быта не направить?» — «Рад бы, Глеб Иванович, как перед господом богом, но по предписанию ничего не позволено из жизни населения касаться». — «Ну, заставьте их не людей, так скотов описывать». — «Слонов или тигров?» — Да нет, зачем вам все заморских зверей надо... Пускай опишут, что видят, ну, например, наших домашних животных. Я заранее уверен в успехе...» — «Чувствительнейше вам признателен, Глеб Иванович».

Успенский на минуту устремил далеко взор и снова возвратился им в комнату.

— Прошло с неделю. Встречаю умника по предписанию, а он издали руками всплескивает: «Многочтимый г-н Успенский, Глеб Иванович, да что вы со мной сделали! Позвольте вас покорнейше просить ко мне на минуту зайти...» Вижу, человек в страшной ажитации, и как только мы вошли в его «комнату», он мне сейчас целую кипу сочинений на стол вывалил, и принялся читать из них выдержки. — «Вот-с вам для примера одно сочинение: «Домашнее животное, четвероногое, лошадь». Теперь извольте послушать: «Была у нас одна четвероногая лошадь, да тятька податев не заплатил, ее старшина и увез к становому, и самовар совсем с угольями подхватил, и дядину свиту новую, так что у нас никакого животного, ни домашнего, ни четвероногого, не осталось для описания, уже все описали...». «Каков мерзавец, прямо в социализм ударился. А вот это сочиненьице-с уже извольте читать сами». Я взял тщательно, с видимою любовью и хорошим почерком написанную четвертушку бумаги. «Это первый ученик, Глеб Иванович, на него вся надежда была на экзамене».

Мы задыхаемся от смеха. Успенский невозмутимо продолжает:

— Я взглянул прежде всего на заглавие: оно очень заинтересовало меня. «Чорт есть животное домашнее, четвероногое, но не всегда, а когда спит. Когда же ходит, то на двух ногах. Водится у нас на печке, питается углями и золой. Мы его часто видаем с бабушкой, когда лежим на полатях. Он имеет большие клыки и огненные глаза, а рога у него, как у козла. Бабушка его не боится, а как только он залезет на печку, то сама читает молитву, и я должен тоже читать: «Да воскреснет бог и расточатся врази его...» Он сейчас же и начнет расточаться. Смирным таким да хворым прикинется, а под конец и совсем в нашу черную кошку, в Машку, перекинется... На вопрос, какая польза с того животного, прямо отвечаю: «Хотя он и домашнее животное,

но к земледелию окончательно не годится, потому что пахать не способен». Вот полюбуйтесь, Глеб Иванович, на вашу эту самую, как она называется... методу сочинительства. Из простой-с жизни захотели, из повседневной. Так прежде-то, положим, ученик ни Сахары, ни океана не мог описать, потому что не видел... А теперь, радуйтесь, Глеб Иванович, чорта-с превосходно описал, потому что видел, видел-с благодаря вашей методе-с... Что я теперь, позвольте вас спросить, инспектору и непременному члену покажу? Одна беда... Сочинение-с о чорте. «К земледелию окончательно не годится». А то, может, чертоводством занялись бы... Прямо меня вы, господин сочинитель, под строжайший незаслуженный выговор подвели, а то, может, и места лишусь... Ну как же можно деревенскому необразованному человеку описывать давать, что он на самом деле видит. Одно невежество-с у них... Сахара далеко-с, а чорт рукой подать, на печке...»

Н. С. Русанов,[10] «На родине (1859—1882 г.г.)», М. 1901.

Далекий от мысли вести сознательно какую бы то ни было революционную пропаганду, Глеб Иванович, тем не менее, в 1877 году [11] был привлечен в Самаре к дознанию о распространении «преступных идей» среди семинаристов.

Успенский жил в то время в Сколкове, в именьи Констан-тина] М[ихайловича]Сибирякова, где его жена была учительницей в сельской школе, а сам он, помимо литературы, занимался делами ссудо-сберегательного товарищества, вместе с бывшим семинаристом Александровским. Этот развитой юноша приехал на лето в деревню отдохнуть от семинарской науки и незаметно для себя так втянулся во все виды помощи крестьянам, что к концу лета переживал уже душевную драму: стоит ли возвращаться в город ради какой-то герменевтики, философии, когда здесь, в деревне, столько живого дела, когда чувствуешь и сознаешь, что приносишь пользу беспомощному, темному люду, и сам с жадностью набираешься знаний, чтобы еще больше расширить круг служения народу. Бросить этих обиженных, обойденных людей, опять отдать их в лапы мироедов, кулаков и других эксплуататоров, создающих свое благополучие на их забитости, бедности и невежестве — ради чего? Чтобы кончить курс в семинарии и надеть поповскую рясу, эту длиннополую хламиду, точно нарочно придуманную для того, чтобы суеверный народ запутывался в ее складках... Нет, никогда!

И Александровский остался в деревне. Успенский изобразил этого юношу в своем очерке «Черная работа».[12]

Глеб Иванович не расширял умышленно круга своих знакомых в деревне, но и без его участия число знакомых росло в силу обаятельной его личности, да и тот факт, что он — писатель, придавал притягательную силу общению с ним. В числе посетителей его очутился, между прочим, один пройдоха из зажиточных крестьян соседнего с[ела] Богдановки. Грамотей, ловкий делец во всех областях личной наживы, он часто заглядывал к Глебу Ивановичу не без задней мысли: дать ему материал для «обработки» кого-либо из своих врагов или обидчиков. То расскажет про мошенническую проделку барина, якобы «нагревшего» его при продаже пшеницы, то приведет гнуснейший факт из сношений с молоканами, тоже будто бы причинившими ему непоправимое зло, и т. п.

В жизни Глеба Ивановича довольно часто встречались такие поставщики материала с задней целью и не только из среды, где неразборчивость в средствах вполне естественна, а из круга людей культурных, развитых, считавших себя прогрессистами, какими были разные земские и другие общественные деятели. Сидит, бывало, какой-нибудь земец перед Глебом Ивановичем и нанизывает факт за фактом для посрамления в печати ненавистных ему представителей «Белой Арапии». Успенский слушает, нащипывает свою бородку и потом — вдруг статья, где о «Белой Арапии» ни слова, зато художественно нарисован портрет «либерала», не замечающего, что вся его деятельность — мыльный пузырь. Или железнодорожник, недовольный порядком в месте своего служения, развивает целую систему нововведений с расчетом встретить защиту ее под пером Успенского, — и вдруг очерк с целым рядом железнодорожных преобразователей, воображающих, что они дело делают, когда на самом деле лишь «толкутся у пустого места». Так же ошибся в значении своих рассказов для Глеба Ивановича и богдановский кулак. Получив однажды новую книжку «Отечественных записок» со статьей Успенского, он, к ужасу своему, узнал, что все его разоблачения разных конкурентов, ненавистных ему соседей-помещиков и молокан послужили автору лишь канвой для характеристики кулаков, опутывающих деревню, при чем один, наиболее типичный, очень похож на него: «в роде как портрет».

Вскипело негодованием сердце богдановского кулака, и он предпринял ряд выслеживаний полицейского сыска, чтобы перед лицом власть имущих обнаружить в Глебе Ивановиче

«опасного» человека, подрывающего все основы российского государства. Он наводил справки и о лицах, приезжающих из города навестить Успенского, и об его отношениях к подозрительному семинаристу Александровскому, непрошенному защитнику крестьянской бедноты, и особенно старался через кухарку Глеба Ивановича выяснить вопрос, картинно изображенный Успенским в одном из фельетонов газеты «Русский курьер» за 1879 год.

— Так барин-то твой пишет, говоришь?

— Пишет.

— Ну, а писем много получает?

— Как почта, так и везут: письма, газеты, книги бывают...

— Так ведь этак у него вороха бумаг накопляются. Неужто все бережет?

— Которые бережет, а что не нужно выбрасывает, либо в печку...

— В пе-ечку?.. И на твоих глазах жег?

— Жег.

Молчание.

— Так, жег говоришь?

— Жег.

— Гм...

Но все эти исследования не давали желательного результата: нельзя было состряпать внушительный донос. Но вот однажды Глеб Иванович поехал в Самару вместе с Александровским, и оба остановились в номере довольно невзрачной гостиницы, где жильцы отделялись друг от друга такими стенами, что «каждый мог слышать дыхание другого»... В такой-то прозрачный номер пришли к Александровскому его товарищи-семинаристы, и скоро завязался общий разговор о значении духовенства для народа. Довольно часто слышался голос Успенского, и всякий раз в ответ раздавался раскатистый, здоровый смех семинаристов: Глеб Иванович приводил факты, довольно позорные для служителей алтаря... Вдруг дверь соседнего номера распахнулась и на пороге появились два жандарма в сопровождении богдановского кулака... Оказалось, что кулак случайно очутился соседом по номеру с Глебом Ивановичем, подслушал его разговор с семинаристами и сбегал за жандармами, дабы они своими ушами убедились, какую преступную пропаганду ведет он среди молодежи. Жандармам удалось записать несколько фраз, произнесенных Успенским. Конечно, акт — и началось дело.

К счастью для Глеба Ивановича, в то время начальником жандармского управления в Самаре был Смальков, довольно

образованный и толковый человек, не допускавший арестов по пустякам, и Глеб Иванович мог спокойно уехать в свое Сколково.

Тем не менее он был привлечен к допросу.

На первых же порах Смальков был поражен ответом Успенского.

— Как же это вы, Глеб Иванович, вели такие неосторожные разговоры с семинаристами? — спросил полковник.

— Это не я, а князь Мещерский, — ответил Глеб Иванович.

— Как Мещерский?

— Да, Мещерский. У меня был на руках его «Дневник», и я читал его отзывы о духовенстве... Жандармы кое-что уловили — все слова кн. Мещерского, а не мои...

«Смальков расхохотался, — рассказывает Успенский, — и все же просил меня дать показания на бумаге... Я принялся писать. Такое, знаете, смешливое настроение охватило меня, что у меня вышел превеселенький фельетончик... Я изобразил, как мы сидим в номере, а к соседней двери прилипло ухо кулака... За ним еще два... Каждое с жадностью голодного сыщика ловит... слова Мещерского. Привел и преступные цитаты... Никогда так живо и легко не писалось!».

И можно представить, какой действительно богатый материал дала вся эта история остроумию Глеба Ивановича. Вероятно, этот веселенький «фельетончик» хранится в архиве Казанской судебной палаты, откуда через год или два Успенский получил уведомление, что дело о его преступной пропаганде прекращено... по высочайшему повелению.

— При чем же тут высочайшее повеление? — с недоумением спрашивали Успенского.

— А, видите ли, труба вмешалась.

— Какая труба?

— Фагот... Есть у меня приятель, инженер Горбунов... играет на трубе. И наследник престола (впоследствии император Александр III) обожает этот инструмент. Сошлись на музыкальной почве, Горбунов-то и расскажи его высочеству про князя Мещерского, как он попал в преступники. Таким-то манером, через трубные звуки, и получилось высочайшее повеление... [13]

А. И. Иванчин-Писарев

В конце сентября она [Александра Васильевна Успенская] получила место учительницы в школе К[онстантина] М[ихайловича] Сибирякова, в той же Самарской губернии,

где «служил» Глеб Иванович, и несмотря на последний период беременности энергично работала там, пока не начались гонения местного начальства — по циркулярам из Петербурга. Пришлось бросить дело, возвращаться опять в Петербург и снова перебиваться изо дня в день, в постоянной тревоге за детей и за Глеба Ивановича, не одолевшего своей «службы» в земстве, ни роли присяжного корреспондента на берегах Дуная.[14] До Болгарии, как известно, он так и не доехал, а на возвратном пути был задержан в течение нескольких суток на русской границе как «лицо подозрительное» и бывшее в сношениях с «подозрительными».

Вернувшись в Петербург, Глеб Иванович поселился тоже у нас, и опять начались у них многолюдные сборища, опять появились знакомые лица, и Н[иколай] С[тепанович] Курочкин, и Максимов, и Якушкин, и много новых — из тех, с которыми они познакомились, живя два года в Париже. Был при мне один раз и Михайловский. Он стал как будто еще более сдержан в манерах и на словах. Черепаховое pince-nez сменило теперь золотое, и вместо зимней его суконной прудоновской блузы на нем был строго-доктринерский сюртук. Высокий лоб его стал как будто еще выше и круче, и на нем явственно прорезались уже две-три морщины; в глазах светился попрежнему холод острого, проницательного ума, но без оживлявшей их прежде веселой улыбки.

Да и сам Глеб Иванович теперь уже был не тот. Он был не так застенчив, как прежде, он, так сказать, возмужал и *оформился,* но стал более молчалив или замкнут, — точно думал о чем-то *особо,* и не всех посвящал в свои думы. Когда появлялись неинтересные или ненужные для него посетители и начинались «несуразные», ненужные разговоры, он бесцеремонно вставал и уходил из дому на весь вечер, а иногда и на целую ночь, уезжая к Каменскому в Чудово.

Вообще в эту зиму я не видала его таким *ясным,* как прежде. И общественные и личные его дела были тогда в самом критическом положении. Кредиторы требовали уплаты, с изданием его сочинений встретились какие-то неожиданные препятствия, печатание журнальных статей тормозилось цензурой, и все это не могло не влиять на нервную впечатлительность писателя, с его мучительным воображением и болезненной мнительностью.

— Да о чем теперь можно писать, помилуйте! — отрывисто восклицал он, ходя взад и вперед по комнате и беспрестанно дергая себя за бороду. — Теперь надо совсем другое... В ошейниках все — на цепочках нас водят... Помилуйте, какие теперь могут быть литераторы!..

С самого возвращения из-за границы он был под надзором. На квартиру к ним часто являлись то пристав, то околоточный — понаведаться, где Глеб Иваныч и что он поделывает. Глеб Иваныч дружелюбно всегда разговаривал с ними, угощал их и водкой, и красным вином, и папиросами, сокрушался о «скучном» их при нем состоянии, всячески сам помогал им надзирать за собою и пользовался их полным доверием — и никогда не обманывал. Но однажды — рассказывала Александра Васильевна — он две недели проносил у себя в кармане пакет из участка, позабыв опустить его в почтовый ящик. Приставу некогда было самому итти на Фонтанку, к Цепному мосту, а Глебу Иванычу было туда по дороге — в редакцию «Отеч[ественных] зап[исок]» (на Литейную). И вот, две недели спустя горничная, чистившая пальто, нечаянно вытряхнула истертый по краям, но не распечатанный казенный пакет с печатью полицейского участка, адресованный в канцелярию (или управление) III Отделения, и, только распечатав его, Глеб Иваныч вспомнил, каким образом этот пакет очутился у него в кармане. Это было «донесение» пристава «о писателе Глебе Успенском» и его добропорядочном поведении.

В ту же зиму начались его проекты и планы о переселении на житье в деревню — за Чудовым, где старинный друг Глеба Ивановича, Андрей Васильевич Каменский, уступал десятину земли и старую постройку. Для осуществления этого плана Глеб Иваныч решался опять принять место — кажется, в калужском земстве,[15] чтобы заработать денег на постройку дома. Александра же Васильевна с детьми переезжала к Каменским, в деревню Лядно. Другого выхода для них тогда не было.

Незадолго до рождества (12 декабря) Успенские праздновали, кажется, новую продажу издания И[ннокентию] М[ихайловичу] Сибирякову[16] и семейное торжество — рождение «Сашечки». С утра до поздней ночи, помню, толпился у них народ. Со столов весь день не снимались вино и холодные блюда. Самовары подавались один за другим. Александра Васильевна накануне еще просила меня помочь ей хозяйничать, т[о] е[сть] наливать бесконечное число раз бесконечное число стаканов.

— Кстати, и вам, я думаю, интересно будет посмотреть и послушать — у нас завтра соберется много интересных людей — радикалов, — предупредительно сообщила она.

Среди гостей в этот день особенно выделялся один плотный, широкоплечий блондин высокого роста с светлыми бакенбардами и светлоголубыми глазами, сверкавшими метал-

лическим блеском. Что-то неумолимое и непреклонно-суровое, как Немезида, было в этих глазах. Он говорил о предстоящем литературном вечере в пользу «Синего креста» и предлагал всем билеты. Предложил в том числе и мне. Но я отказалась, безотчетно подчиняясь неприязненному впечатлению, которое он производил на меня.

— Не желаете? — переспросил он, сверкнув на меня глазами и держа раскрытую пачку билетов передо мною.

Я отрицательно покачала головой, — и он сейчас же отошел, предлагая билеты другим.

Александра Васильевна не назвала мне тогда его имени.

Говорил он необыкновенно внушительно, и в резкозвучном, как лязг железа, голосе, в плавной, ясной и правильно построенной речи сказывалась какая-то необычная у нас, русских, властная и рассудительная, железная сила — мысли и воли.

После горячего пирога и стерляжьей ухи (кто-то прислал тогда в подарок эту стерлядь Глебу Ивановичу) с обильными возлияниями разговоры становились шумнее и возбудительнее. Все разделялись на группы, — и самый для меня интересный, необыкновенно одушевленный жаркий спор велся в глубине, за драпировкой, — разделявшей комнату на две равные половины. Там сидел на оттоманке, поджав под себя калачиком ноги, седой и страдавший одышкой Н[иколай] С[тепанович] Курочкин, а вокруг него — на креслах и стульях — восседали еще не всем пока известные «деятели». Спор вели двое: представитель сороковых годов, «друг» Маццини и Герцена, Бакунина и Лаврова — Н[иколай] С[тепанович] Курочкин и молодой блондин с видом диктатора. А по другую сторону сидел «будущий Пугачов», какой-то степной помещик, ухлопавший все свое состояние на пропаганду «в народе», — черноволосый, тучный, лохматый, с черными огневыми глазами и совершенно пьяный. Сзади него поместился верхом на стуле сотрудник «Дела», все время хмурившй брови и презрительно хмыкавший, видимо, не удовлетворенный доводами обеих сторон, как недостаточно «радикальными»...

Видя, что я все поглядываю туда, за драпировку, Глеб Иваныч принес мне стул и поставил так, чтобы мне, оставаясь для них незаметной, можно было и слушать и наблюдать за выражением лиц.

— Только, уверяю вас, совсем тут нечего слушать! — говорил он при этом. — Все это, — он выразительно сдвинул брови, — это *не настоящие*. И говорят они — тоже не настоящее...

— Ну, хорошо, министров всех по боку, — говорил Николай Степанович, — вместо них у вас комитет, — это все мне понятно... И это уже известно... Но как же вы будете поступать с ослушниками ваших декретов? Мои убеждения, например, не во всем совпадают с вашими и я не соглашусь исполнить какой-нибудь ваш приказ... Как же вы со мной тогда?

— Если вы нам безвредны, мы от вас ничего не потребуем, — внятно и громко, железным голосом говорил блондин с «железным» лицом.

— Вы меня просто тогда игнорируете? Понимаю!

— Мы вас тогда игнорируем.

— Ну-с, а если я для вас не безвреден, — моими убеждениями, конечно?..

— А если ваши «убеждения», — он иронически подчеркнул это слово, — вы употребите в зло *против нас,* тогда извините — церемониться мы не станем. Тогда мы вас уберем, — он сделал жест рукой в сторону, — прочь с дороги!

— То есть, как же это? Пришлете повестку с девизом: красный крест и топор.

— Мы потребуем вас к себе.

— А я не пойду! С какой стати?!. Я вас не признаю. Вы для меня совсем не правительство.

— Мы вам докажем, что *мы — правительство.* Мы вас *заставим* притти.

— Благодарю покорно! Excusez du peu! * — Они друг перед другом раскланялись. — Какая же разница с тем, что творится теперь? Теперь тоже насилия...

— У нас не будет «насилия»! У нас будет постоянный трибунал из лиц избранной корпорации, людей точной науки, и потому вполне компетентных в вопросах права и правосудия.

— И эти «вполне компетентные» люди приговорят меня к виселице, и меня повесят по всем правилам вашей точной науки... И вы полагаете это для меня утешительным?

— Нет, зачем же виселицы!.. Мы вешать не будем. Это старо, неудобно... Мы заведем гильотины...

Все время хмыкавший недовольно сотрудник «Дела» мгновенно успокоился при упоминании гильотины, обеспечивавшей, вероятно, для него судьбы новогрядущего строя...

---

* Извините, пожалуйста.

Глеб Иваныч несколько раз подходил сюда — постоит, посмотрит на них исподлобья, послушает молча, подергивая бороду, и опять отойдет. Но по нахмуренному лицу его видно было, что он и волнуется и не мирится.

Не знаю, чем кончился тогда этот разговор — мне подали новый самовар, и я, с внутренним облегчением, принялась за разливание чая. Глеб Иваныч тоже помогал мне, подливая красное вино прямо в чайник и уверяя, что это — «самое чудесное дело».

— Ну, что же, понравилось вам? Интересно они там говорят? — спрашивал он при этом.

— Интересно и... противно! — невольно вырвалось у меня.

— Уверяю вас, что это не настоящие... Настоящие — те совсем другое...

Налив еще с дюжину стаканов, я подошла опять послушать «радикалов», но «железного» блондина уже не было, и разговор принял другое направление.

Николай Степаныч за что-то «благодарил» и «превозносил» нашу «прекрасную благородную молодежь», и, картавя по-барски, как истый романтик-идеолог сороковых годов, закончил свои восхваления выспренним возгласом:

— И я даю пощечину всем, кто осмеливается нападать на нашу молодежь!

— Что? Что даете?.. Кому вы даете пощечину?.. — надтреснутым пьяным басом спрашивал его вдруг очнувшийся «будущий Пугачов».

— Я даю пощечину всем, кто оскорбляет молодежь, — оном рыцаря из Ламанчи повторил добрейший Николай Степанович.

«Пугачов» низко нагнулся к нему, — можно было подумать, что он хочет облобызать его руку, — руку дающего пощечину оскорбителям молодежи, — но вместо лобызания он только сипло захохотал и вдруг неожиданно рявкнул:

— Ах, вы... глупый старый мерин!.. Старый и глупый... и больше ничего!

Вокруг молчали. Бедный Николай Степанович сидел сконфуженный и хлопая глазами, как обиженный школьник, получивший несправедливо дурную отметку вместо хорошей, и, видимо, не знал, как умнее ему поступить: остаться или уйти...

И как всегда, где незаслуженно наносилась бессмысленная обида человеку, на выручку подоспел Глеб Иванович. Быстро раскупорив новую бутылку лафита, он подошел к Курочкину и налил ему стакан через край.

— Выпейте, пожалуйста, Николай Степанович. Чудесное вино, доложу я вам. Это будет получше того, что мы пили с вами тогда у Каменского. Куда лучше!

Уже поздно вечером вошел еще один странный гость: ни с кем не здороваясь, подошел прямо к столу и ел и пил с такой жадностью, как будто неделю перед тем голодал и провел ночь на улице. Он был в одном коротком легком пальто, застегнутом наглухо, с рукавами, не доходившими до кисти, — как будто с чужого плеча, — но лицо у него было очень умное и хорошее, лицо человека вполне «образованного». Никто с ним не заговаривал, и только Глеб Иваныч пододвигал к нему беспрестанно тарелки и блюда, наливал вина и чаю и угощал папиросами. Это был, очевидно, так называемый «нелегальный», которого загнал сюда мороз или сыщик. Удовлетворив, сколько надо, свой аппетит, он встал и, молча пожав руку одному Глебу Иванычу, не поднимая глаз, быстро вышел из комнаты.

Помню тогда же и другого юношу — с детски-розовым лицом и золотистым пушком на губах и на подбородке, с золотистыми кудрями и жизнерадостной улыбкой. Это был несчастный К. Он только-что вернулся тогда из Болгарии, где был санитаром, и привез Глебу Иванычу два флакона с пирофосфорнокислым железом, наставляя его, как следует принимать порошок и какие от него благотворные результаты.

Глеб Иваныч все время, повидимому, слушал его со вниманием и все повторял: «Чудесно!» — а потом взял от него пузырьки и тут же отдал их мне: «Вот кому действительно следует принимать железо! А мне оно совсем бесполезно», — с добродушной улыбкой пояснил он.

Последний месяц перед отъездом Глеба Иваныча в Калугу [15] Успенские жили в деревне Лядно — за Чудовым — у Каменских, и только Александра Васильевна наезжала по временам в Петербург с разного рода делами и поручениями. Как раз тогда я окончила мою первую (в печати) повесть, [17] и Александра Васильевна сама предложила мне свезти ее на просмотр Глебу Иванычу. Вернувшись через несколько дней, она привезла мне самый ободряющий отзыв и вместе желание Глеба Иваныча лично повидаться и поговорить со мною накануне его отъезда. И в назначенный день, вечером, Глеб Иваныч пришел ко мне, присел у письменного стола и, куря папиросу за папиросой, сейчас же заговорил своим прежним тоном — с искренним жаром, отрывисто

напрямик. Привожу как образчик его манеры все, что запомнилось из сказанного им тогда:

— Все это отлично у вас написано... Талант у вас несомненный, и об этом нам с вами нечего говорить... Я буду говорить о другом. Например, почему это у вас только один человек живет, а другие совсем не живут?.. Надо чтобы все жили... И что это за девушка, что все хотела, как бы лучше, а выходило все хуже?.. Лет через десять таких девушек больше не будет... И еще: почему у вас этот Крамской, — мы с вами знаем, конечно, *кто* этот Крамской, — почему это он все пьет, а работа у него не выходит по-настоящему?.. Разве вы не знаете, отчего у нас работать нельзя по-настоящему?.. Все это надо вам показать. Чтобы поняли все как следует: какая работа, отчего не выходит... И вообще мой совет — вы это подождите печатать. Все это у вас затронуто так, слегка... А это надо поглубже... Надо, чтобы это — ножом прямо в сердце. Вот как надо писать...

Многое и другое советовал он тогда — в смысле *духа* и *направления,* и я слушала его, затаив дыхание, внимательно и благодарно (хотя по временам и не соглашаясь), как слушают всегда истинного, настоящего друга, и в первый раз заметила тогда, что глаза у него — *страдальческие.*

Потом, уже совсем поздно, пришла Александра Васильевна с просьбой уступить ей с Глебом Ивановичем на эту ночь мою комнату. В гостиницу ехать ей не хотелось, свободной комнаты в доме не было, а им надо было о многом переговорить перед долгой, быть может, разлукой. С виду она была как будто совершенно при этом спокойна, но живший рядом со мной студент спрашивал потом нашу общую горничную:

— Что это такое было сегодня у моей соседки? С кем это она всю ночь говорила и горько-горько так плакала?

Об этих «горьких» слезах, «не дававших всю дорогу покоя» Глебу Ивановичу, говорит он сам в одном из своих писем к Александре Васильевне.

В. В. Тимофеева.

Курьезное у меня было с ним [Успенским] знакомство. Как-то летом 1879 года я попал в Рыбацкую к Кривенко и еще в передней услышал дружный смех самого хозяина и нескольких гостей, сидевших во второй комнате за чаем. Войдя в столовую, я сейчас же увидел, что вся компания смеялась рассказам какого-то еще не старого, рослого господина, с чисто русским лицом, крупным носом, не особенно большими, но видно не очень прихорашиваемыми русыми

бородой и усами. Я его принял за служащего в банке, управляющего или просто какого-нибудь мелкопоместного дачника, тем более, что по скверной русской привычке фамилии при знакомстве произносились хозяином очень невнятно.

«Как славно, однако, рассказывает этот господин», — подумал я, невольно прислушиваясь все внимательнее и внимательнее к словам незнакомца. Теперь он говорил почти все время один. Другие только подавали реплики на его неожиданные комично-недоуменные вопросы, или же задыхались от смеху при особенно забавных словах говорившего.

Я все более и более всматривался в него. Меня прежде всего поразили его глаза. Серые, переходившие то в темный, то в голубой оттенок, смотря по общему выражению его лица в данный момент, они временами начинали смотреть куда-то вдаль, словно во что-то зорко всматривались, временами же направлялись близко на слушателей, но как-то в бок. И тогда господин, то затягиваясь неугасавшей папиросой, то постукивая себя в обшлаг сюртука коротким жестом полусжатой в кулак руки, с выпяченным вперед и вверх большим пальцем, ронял на окружающих короткие же, но переполненные образами и картинами фразы, немного наморщивал большой выпуклый лоб и, когда все кругом неудержимо смеялись под влиянием этой ни с чем не сравнимой речи, комично обращал к ним чуть-чуть улыбающуюся, слегка склоненную набок физиономию и словно спрашивал: чего вы? ведь это же так просто, все это именно так на самом деле было...

Мне скоро показался так понятен этот двойной маневр глаз: вот-вот они устремлялись туда, где перед рассказчиком проходит доступная лишь его внутреннему зрению вереница лиц и событий, а теперь они возвращаются к нему, когда он описывает виденное. И, стараясь точнее передать эти видения нам, его мысль делает усилия, чтобы подобрать подходящие слова для выражения, и собирает в складки этот вместительный лоб.

Я чувствовал, что передо мною находится незаурядный человек, но никак не мог сообразить кто. Незнакомец говорил о самых простых вещах — отнюдь не о литературе: как он живет на даче, кого видит, о чем слышит. Но, кроме мастерского описания, в его речь вкраплялись его собственные комментарии, в которых звучал все время вопрошающий, почти тревожно-мучительный тон, и которые столь же, повидимому, обращались к нему самому, как и к слушателям. Удивительно подходил к его рассказу и к его коммен-

тариям его грудной, но вечно иронический, прерывающийся вечными паузами недоумения и вопрошания голос.

В течение часа, пока он говорил при мне, он почти беспрестанно затягивался все *одной*, но *не одной и той же* папиросой. У него был особый маневр и для курения, и я с интересом следил за его выполнением. Когда папиро́са подходила, ну, скажем, к последней трети, он отрывал от нее мундштук, высыпал немного табаку с надорванного конца и в образовавшееся таким образом пространство вставлял свежую папиросу. Несколько энергичных затяжек — и снова дымилось это курительное перпетуум-мобиле, или, вернее, перпетуум-фумабиле в образе длинной, бесконечной дымящейся папиросы.

— Сергей Николаевич, — начал вдруг после паузы интересный незнакомец, — вы не обижайтесь только, а ведь Маркс-то проштрафился в этом году у нас в Чудове...

— Как так Глеб Иванович?

— Очень просто: в «Капитале» говорится, что сто́имость это лишь человеческий труд. Но вот в прошлом году «стоимость» лукошка грибов была 15 копеек, а в нынешнем году бабы и за 50 копеек не отдают... А все оттого, что в прошлом году дождь все лето шел, а за это лето и трех дней хорошего до́ждя не было... Вот вам Маркс дождя-то и не предусмотрел. [18]

— Голубчик, Глеб Иванович, это вы серьезно?

— Совершенно серьезно, Сергей Николаевич, серьезно... Ну вот как стасюлевичевский «Вестник». [19]

— Вам за то и ответ будет такой же, как стасюлевичевскому «Вестнику». Представьте себе, что и дождь у Маркса предусмотрен. Да вот, кстати, у нас здесь имеется марксист... Николай Сергеевич, не возьметесь ли вы вместо меня ответ Глебу Ивановичу дать?

— «Меньшого брата» хотите на меня напустить? — вопрошающе промолвил незнакомец и принял комичную позу самого напряженного внимания.

А меня в то время медом не корми, дай только теорию трудовой стоимости объяснить. Правда, знай я, что передо мной знаменитый, уже горячо любимый мною заочно Успенский, я много сбавил бы с той юношеской уверенности, которая звучала в моей импровизированной лекции...

Незнакомец слушал меня с большим вниманием и от времени до времени одобрительно покачивал головой Я кончил. Кривенко улыбнулся мне славной улыбкой.

— Большое вам спасибо за ваши разъяснения, Николай Сергеевич: они почти убедили меня, — скромно произнес

незнакомец. — А позвольте кстати узнать вашу фамилию: я недослышал...

— Русанов.

— Русанов... Не слыхал что-то... Извините... Позвольте кстати и мне вам представиться: Успенский... Г. Иванов «Отечественных записок».

Обычный ураган пронесся, выражаясь романтически, под сводом моего недогадливого черепа...

Заметив, что я глядел в эту минуту далеко не триумфатором, Успенский очень мило вывел меня из затруднения, отклонив от меня внимание компании, которая не могла удержаться от добродушного переглядывания при виде моего крайнего замешательства.

— Да, знаете, Чудово и Рикардо... Там предусмотрено, а у нас не предусмотрено... И во всем так, Николай Сергеевич. Я из Парижа как-то к себе в Тулу попал, и поневоле пришлось вспоминать и сравнивать. Иду я в Париже по Люксембургскому саду, вижу, девочка лет шести обручок катает и все хочет с дорожки на газон перекатить, а там газон прутиками отделан железными, но они очень хорошо под дерево подделаны. Девочка принялась сначала ломать, а потом — видит, что не идет — вытаскивает такой прутик... А ее мать, знаете, такая изящная француженка, как всплеснет руками: «Лили, Лили, милая детка, да разве можно так делать! А если все так примутся таскать прутики. Ведь от загородок ничего не останется, да и газон весь затопчут!» Девочка потупилась, положила пальчик в рот да как расплачется: «Маман, шер маман, прости... никогда не буду». Это, видите ли, *там* это предусмотрено... Через две недели иду я себе в Туле возле городского саду, так часов в восемь утра. С вечера начальство новые скамейки поставило. Проходит мимо одной парень, здорово выпивший, картуз набекрень, козырек лихо заломлен, в руках гармошка

Ах, теща моя,
Доморощенная,
На тебе шубка нова
Не понош...

лихо отхватывает малый. Вдруг он видит новую скамью... Останавливается, словно глазам не верит, и приходит вначале в недоумение, но потом сейчас же в негодование:

— Ах ты, сволочь этакая, и кто ж это тебя только поставил? И кто их об этом просил!.. Погоди же ты!

Малый дает сильный удар по скамье. Но скамья врыта прочно. Это приводит его в ярость.

— А так ты вот какая у нас!.. Постой, и не с такими справлялись...

Следует ряд ударов по скамье. Малый жестоко разбил себе ногу. Но это только придает ему более куражу. И ногами, и руками, и всем телом гражданин, не любящий скамеек на новом месте, напирает на упрямого врага... О, торжество! Скамейка наконец качается и вылетает вместе с комьями земли вон... На лице малого полное удовлетворение. Он дает последний удар предмету, смутившему его веселое настроение, и быстро уходит, бросая скамье:

— То-то! Так-то дело-то будет у нас лучше...

И гармоника снова залилась, аккомпанируя победителю:

... Доморощенная,
На тебе шубка нова,
Не поношенная.

Это — здесь, это «не предусмотрено у Рикардо», Николай Сергеевич.

Н. С. Русанов, «На родине (1859—1882 гг.)», М. 1901.

...Из интересных людей, встречаемых в то время, был и Глеб Успенский. Я в первый раз его видел в Сербии (он был, кажется, корреспондентом), потом он поселился в Сопках, в 7 верстах от Сухого.[20] Он описал свои впечатления и одно у него названо «Слепое Литвино».[21] Он жил с своей семьей в избе богатого крестьянина, и я также посещал его в это время.

Перечитывая теперь его произведения, я стараюсь припомнить что-нибудь характерное и яркое об этом писателе. И вспоминается очень мало. Он, как и многие писатели, берег все свои впечатления, свои интересные мнения для публики. Конечно, он отзывался о событиях дня, об «Исповеди» Толстого и пр. Иногда он высказывался довольно подробно о том, что его занимало, но уже гораздо полнее и более обдуманное я читал в очередной книжке «Отечественных записок». Я бывал у него очень часто и иногда слушал его жалобы. Он мечтал не отдохнуть, нет, — этого он не хотел, но ему претила срочная работа в «Отечественных записках», за которую он получал гонорар. И он мне говорил, как он откладывает эту работу до последней возможности, а затем засядет на всю ночь. Работал он обыкновенно ночью, так как на петербургской квартире, при тесноте и при массе детей, не было возможности сосредоточиться днем, ни сделать что-

нибудь нужное. Потом, когда он поселился в Чудове, кажется, дела его пошли лучше. До этого времени у него не хватало денег, и он часто перехватывал у меня, но у меня самого было немного...

Успенский, имея... громадный материал, по моему мнению, создал мало художественных шедевров. У него не было на это времени, и он сырой материал, человеческий документ передавал читателю с известным соусом, с своими мыслями, — потому что пить-есть надо и детей воспитывать, где тут создавать шедевры... Успенскому я надоедал своими писаниями и имел от него письма[22] по этому поводу...

Г. А. де-Воллан, «Очерки прошлого», «Голос минувшего» 1914, № 4.

Из писателей я быстро и ближе всех сошелся с Гл. Успенским и Н[иколаем] Бажиным. Вообще же знакомство с ними сразу как-то напрягло и взволновало мои литературные склонности, а их разговоры значительно расширили круг моих познаний и понятий...

Из «Автобиографии *А. И. Эртеля*». «Письма А. И. Эртеля» под ред. и с примечаниями М. А. Гершензона, М. 1909.

... Зимой 1879/80 года я в числе прочих «молодых писателей» (Гаршина, Ясинского, Русанова, Кривенко и еще кого-то), затем более старых (Златовратского, Наумова и пр.) был представлен Гл. Успенским Тургеневу в квартире К[онстантина] Сибирякова и затем еще раз видел его и немного говорил с ним в тесном кругу писателей у Глеба Ив. Об этом знакомстве очень хлопотал Успенский.

Там же, стр. 26

... Тургенев... выражал сочувствие нашему предприятию[23] и между прочим высказал Г. И. Успенскому, которого раньше знал, желание познакомиться с нами. Были не желавшие и этого, и когда зашла речь, где назначить место для свидания — в редакции или у кого-нибудь на частной квартире, то они стояли за редакцию, на том основании, что если он сам хочет знакомиться, то пусть в редакции или к каждому особо с визитом и приходит, а другие, напротив, стояли за частную квартиру. В конце концов остановились на квартире Г. И. Успенского. В назначенный день собрались мы, и приехал Тургенев. Первое впечатление, какое он

на меня произвел, было следующее: «какой он большой (высокий), а мы какие маленькие».

Перезнакомившись со всеми, Тургенев сел и сейчас овладел разговором. Говорил он прекрасно, просто и образно, слегка пришамкивая по-стариковски...

С. Н. К[ривенко], «Из литературных воспоминаний», «Исторический вестник», февраль.

... Зимой 1879/80 года Тургенев явился в Петербург с твердым намерением ближе познакомиться если не с действующими революционерами, то с радикальной частью печати, и главным образом с «молодыми литераторами», узнать, что волнует теперь этих людей. И это намерение он привел в исполнение, очень мало заботясь о литературном местничестве: гора не шла к Магомету, ну, что ж, — Магомет идет к горе. Он сказал любимейшему в то время «беллетристу-народнику», с которым познакомился в Париже, — речь идет о Глебе Успенском, — что ему очень желалось бы встретиться с некоторыми из его сотрудников по журналу и вообще с его приятелями. А так как у Успенского «приятелями» были по преимуществу люди радикального образа мыслей, то устраиваемое свидание фактически должно было поставить Тургенева в соприкосновение с крайней и наиболее молодой группой тогдашних литераторов. На предложение беллетриста откликнулись, впрочем, далеко не все. Воздержались, — что, впрочем, и понятно было с их стороны, — самые крупные представители тогдашней радикальной печати, да еще те, кто не простил Тургеневу его Базарова. Но человек 10-15 желающих нашлось.

Об этих свиданиях в публике ходили довольно странные толки... Мне врезались два из них. Одно, самое первое, было на квартире Глеба Успенского на окраине Петербурга. Громадный дом в глухом, кажется, Синцевом переулке, небольшая квартира в четвертом этаже, и мы, дожидавшиеся Тургенева и от времени до времени поглядывающие чрез запушенные морозом окна на белевшую снегом улицу... Мы, то есть сам хозяин, с его крупными чисто-русскими чертами, с его вечно всматривающимся куда-то, как будто недоумевающим взглядом, словно хотел он проникнуть в смысл русской жизни и тщетно искал ответа на сложные конкретные явления, с вечной папиросой в руках, с прерывистой, удивительно образной речью, которая порой вызывала в собеседниках неудержимый смех, в то время как сам говоривший еле-еле улыбался и продолжал бросать недоумевающий

взгляд куда-то вдаль от себя, где, очевидно, проходила перед ним, как на смотру, целая вереница созданных им же самим художественных образов, картин, вперемежку с виденным и подмеченным. Другой беллетрист-народник,[24] которого любили противопоставлять первому как создателя «положительных» народных типов, — наполовину мужицкое, наполовину поповское, в ранних морщинах лицо, лысина, длинные косички на затылке, растрепанная лопатой борода, которую он поминутно расправлял нервной рукой из-под шеи, витиеватая, горячая, то книжная, то простонародная речь. Еще беллетрист-народник, Наумов, худощавый, с жидкой бородкой, с маленькими бесцветными, но зоркими глазами инородца, уснащавший свой разговор вечными эсерами, оставшимися ему в наследство от чиновничьей жизни в захолустьи, но порою проникавший как никто в тайники кулацкой души или в мирские чувства хозяина-ходока. Публицист-обозреватель С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко, красивый плотный брюнет с иисусистым лицом, умевший сочетать мягкость и гуманность чувств с искренним служением демократическим идеям, плохо говоривший, но в то горячее время мужественно и тепло писавший и, как ни странно это, наиболее практичный среди всей этой радикально пишущей братии; друг его детства, ныне забытый, а некогда талантливый изобретатель, но совершенно неуравновешенная натура, считавший себя тонким знатоком людей и вещей и обманываемый на каждом шагу разными дельцами, нервный, маленький, взъерошенный, в блузе, залитой всевозможными кислотами, беспокойно бегающий по комнате, словно зверь в клетке, то высказывающий в невозможной форме какую-нибудь очень интересную мысль, то разражавшийся какой-нибудь неожиданной странностью. Милый, задушевный Гаршин... И еще человек пять-шесть, черты которых постепенно стерло у меня время.

Тургенев явился несколько поздно, когда уже вся компания сидела и занималась чаепитием за большим круглым столом. Началось обычное шарканье ногами, двиганье стульями, обмен ничего не значащих фраз. Разговор не вязался. Тургенев, как истый европеец, старался быть любезным и сказать каждому из новых знакомых какую-нибудь приятность, например, дать понять автору, что он знаком с его статьями. Но большинство из нас туго поддавалось на эти деликатные авансы. Мы все чувствовали, и, вероятно, это чувство разделял и сам Тургенев, что надо прежде всего отыскать какой-нибудь мостик между ними и нами. Но этого-то и не удалось сразу найти, и скоро плавная речь Тургенева стала короче,

принужденные реплики, которые подавал ему то тот, то другой из нас, незначительнее. Воцарилось неловкое молчание.[25]

Н. С. Русанов, «Из литературных воспоминаний», «Былое» 1906, № 12.

Зимой 1880 года пришлось мне повидать Ивана Сергеевича Тургенева. Великий писатель приехал на короткое время из Парижа в Петербург и выразил желание посмотреть на начинающих беллетристов. С этой целью К[онстантин] М[ихайлович] Сибиряков пригласил к себе на Гагаринскую довольно много народу, не только, впрочем, беллетристов, но и публицистов, и молодых критиков. Я вошел с Альбовым в большую комнату, которая была уставлена стульями, как в театре. Тургенев сидел поодаль, перед столиком, окруженный женщинами, и говорил. Все слушали с напряженным вниманием. Серебряные волосы его с красивыми прядями свисали на лоб. Мне показалось, что он сидит на возвышении, хотя возвышения не было. Я сел на место, молча указанное мне хозяином дома, и тоже стал слушать. Слегка шамкающим голосом, но живо и увлекательно, великий писатель рассказывал что-то о народе. Я вслушался, и оказалось, что дело идет как раз о том, как мужики способны преувеличивать явления, которые кажутся им почему-либо и без того величавыми. В Орловской губернии в пятидесятых или шестидесятых годах ждали приезда какой-то могущественной особы. Были собраны крестьяне, чтобы особа могла увидать ликующий народ. Через некоторое время, когда особа проехала, мужики вернулись, и Тургенев спросил одного из них:

— Ну, что же, проехал?

— Проехал, батюшка, проехал.

— Ну, что же, какой он?

— Огромный, батюшка.

— Как огромный?

— Да так, что мы ужахнулись только. Едет это в тарантасе... Кони не кони, а просто черти! Сам стоит посредине, шляпа выше облака ходячего и только рукой машет да кричит: «я вас!»

— Ну, а вы что?

— А мы на колени. Так он и проехал. Смотрим, только пыль курит, да все слышно, как он покрикивает: «я вас!»

По поводу этого сообщения о народе начались по окончании анекдоты, дебаты. Наш Жемчужников, сжав кулаки, —

у него была такая странная манера, — стал допрашивать Тургенева, за кого он собственно, за интеллигенцию или за народ. Какой-то молодой человек, как мне сказали, критик из «Дела» (но я точно этого не утверждаю), крикливо обратился к Тургеневу, должно быть, с тем же вопросом, но на половине фразы сделал паузу и так страшно и громко высморкался, что тот вздрогнул и начал новую «народную» беседу с Успенским. Получилось впечатление какой-то оторванности великого писателя от всего этого литературного выводка. Выводок был не его, один только Гаршин своими большими темными глазами влюбленного смотрел на Тургенева...

И. И. Ясинский, «Литературные воспоминания (1878—1882)», «Исторический вестник» 1898, № 2, стр. 560—561.

В начале июня 1880 года Глебу Ивановичу предстояла поездка в Москву в качестве депутата от «Отечественных записок» на открытие памятника А[лександру] С[ергеевичу] Пушкину, 5 июня. Редакция «Отечественных записок» отпустила ему на расходы 100 рублей и отдельно 50 рублей — на приобретение фрака.

— Михаил Евграфович требует, чтобы я обязательно был в сорочьем костюме, — говорил Успенский. — Сроду не вертел хвостом, а тут в Москве четыре дня под ряд будет болтаться у меня хвост. Мне нужнее для Москвы какой-нибудь пиджачишко для домашнего обихода, чем фрак... Впрочем, — вспомнил Глеб Иванович, — мои приятели устроят мне то и другое.

Приятели, кого Успенский имел в виду, были два аптекарских помощника: М. З. Мороз и Чернышев, служившие в аптеке Трофимова на Загородном проспекте. Идейные люди, они содействовали между прочим революционному движению 80-х годов устройством надежного склада для номеров газеты «Народная воля». Крайне добрые и отзывчивые, они так любили Глеба Ивановича, что всегда были готовы оказать ему любезную услугу. По словам Успенского, он нигде не чувствовал себя так просто, уютно, как в их обществе, и не испытывал ни малейшего стеснения, если приходилось «перехватить у них малую толику».

— Дают от всего сердца, не то, что какой-нибудь «купон». Раз зашел к ним попросить десять рублей. «Пока выкушайте, — говорят, — стакан чаю, а мы сейчас...» Скрылись за перегородку, пошептались, и Чернышев исчез. — «Куда же он?» — спрашиваю. «За деньгами», ответил Мороз.

Оказалось, что у них не нашлось десяти рублей, и они решили заложить сюртук... Вот какие люди!

Эти молодые друзья Глеба Ивановича пользовались кредитом у портного Дмитриева, жившего на Загородном проспекте, и расположили его отнестись к Успенскому как можно внимательнее и, если понадобится, рассрочить ему уплату денег.

Я сопровождал Глеба Ивановича к этому портному. Когда мы вошли к нему, то по внешности, вероятно, описанной приятелями с большой точностью, портной узнал его.

— Вы г. Успенский? — спросил Дмитриев.

— Он самый, — ответил Глеб Иванович и протянул ему руку. — Видите, г. Дмитриев, мне нужно сшить сорочий костюм, по-вашему, фрак, и пиджачную пару. Фрак не из блистательных — нужен всего на четыре дня. Ну, а пиджак надежнее — каждый день носить. За фрак я заплачу вам, а за пиджак... нельзя ли подождать?

— С удовольствием, — ответил портной. — И за фрак можете не платить... Ведь он вам нужен всего на четыре дня, а потом носить не будете?

— Боже сохрани!

— Так вот как мы уговоримся: верните фрак в сохранности (пятнышки там какие — это пустяки!), уплатите восемь рублей за прокат, по два рубля в день. А износите до полной негодности — уплатите его стоимость... Едва ли будете носить без надобности, уж если зовете «сорочьим костюмом»...

— Превосходно... Может, и шить не надо, найдется готовый?

— Готовый-то найдется... Но вам необходимо сшить новый, по мерке, чтобы не конфузиться среди писателей.

— А вы знаете, что я писатель?

— Еще бы! Как г. Чернышев сказал, что ко мне придет Глеб Иванович Успенский, я сейчас же спросил: не автор ли вы будете рассказа «Будка»? Понравился мне ваш рассказ. Теперича всех городовых зову «Мымрецовыми»... Хотелось бы почитать и другие ваши сочинения, да все времени нет.

— У вас есть мои сочинения?

— В библиотеке можно достать.

— Я подарю вам... Приду примерять фрак и принесу.

— Покорнейше благодарю вас.

— Как великолепно повернулось дело! — сказал Успенский, когда мы вышли на улицу. — Мне ужасно не хотелось брать у Салтыкова 50 рублей на фрак. Теперь я возвращу

эти деньги и сам заплачу за прокат... Вообще экипировка меня на счет редакции — сущая нелепость. Я щеголяю четыре дня в чужом фраке, затем везу его обратно, а дальше что прикажете делать? Вернуть Михаилу Евграфовичу на память или продать его татарину и вырученную сумму представить в редакцию?.. Спасибо Дмитриеву, сразу избавил от всяких неловкостей!

Щепетильность Глеба Ивановича сказалась и дальше, когда всем депутатам от литературы, от ученых и просветительных обществ были предложены разные льготы для поездки в Москву и обратно. Московская дума приготовила помещение в лучших гостиницах, и лошадей для разъездов, и все содержание их за время «пушкинских дней» приняла за счет города.

В «депутатском вагоне» Глеб Иванович не поехал, потому что в третьем классе, среди простого люда, куда интереснее, и благодарить министерство не придется...

В Москве он поселился в гостинице «Париж» на Тверской улице. Когда он узнал, что за содержание и за номер его будет платить городская управа, то заявил администрации гостиницы, чтобы она не представляла его счетов в управу: за все он расплатится сам.

— Эдак с голоду помрешь, — говорил он. — Будешь стесняться, как бы не взять из буфета чего лишнего, дабы не подумали: «ишь, обрадовался даровщинке: сколько наел!»

В Москве Глеб Иванович узнал, что торжество открытия памятника Пушкину начнется приемом депутатов комиссией по устройству памятника под председательством принца Ольденбургского, и предполагается, что депутаты будут произносить приветственные речи.

— Ну, уж извините, на это я не согласен! — заявил Успенский. — Наблюдать, описывать — мое дело, а для речей пусть Михаил Евграфович командирует Г[ригория] З[ахаровича] Елисеева. Сейчас пошлю телеграмму.

В качестве уполномоченного от журнала «Русское богатство», принадлежащего в 1880 году «литературной артели» (Н[иколай] Ф[едотович] Бажин, П[авел] В[ладимирович] Засодимский, С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко, Глеб Иванович Успенский), я тоже был в Москве и не разлучался с Глебом Ивановичем.

— Полюбуйтесь каков депутат! — воскликнул он, одетый во фрак, с chapeau claque * подмышкой. — И дурацкое же

---

* Складывающийся цилиндр.

мое положение будет рядом с Елисеевым! Он пробормочет что-нибудь от «Отечественных записок», может, закатит даже целую речь (не даром был профессором). А я? Поклон — да вон!

И Глеб Иванович чувствовал себя действительно крайне неловко, когда вместе с Григорием Захаровичем представлялся комиссии. Неприятное ощущение осложнялось еще тем, что из-за chapeau claque он не мог разрядить его обычным приемом — покручиванием своей бородки.

Когда Елисеев кончил приветствие, Глеб Иванович захотел как-нибудь объяснить свое пребывание рядом с ним.

— А я — его товарищ, — сказал он, указывая на него шляпой, и с поклоном отошел от стола.

А. И. Иванчин-Писарев.

Многие из москвичей в первый раз увидали Глеба Ивановича в 1880 году во время знаменитых пушкинских праздников в Москве, когда после памятного заседания в Благородном собрании, где Достоевский произнес свою знаменитую речь,[26] многие из московских писателей и писательниц отправились обедать в гостиницу «Эрмитаж», вместе с Г. И. Обед длился часов до 10—11; Г. И. был в ударе, много говорил, был очень общителен, даже с совсем незнакомыми людьми.

Е. С. Некрасова.

В 1880 году мы были с ним в Москве на «пушкинском празднике». В «Дворянском собрании», где происходили торжества, я познакомил его с одним симпатичным студентом Петровско-разумовской академии. Через день этот студент, по уговору с товарищами, решившими устроить сходку с участием «любимого писателя», стал убедительно просить Глеба Ивановича приехать в Петровско-разумовское.

— Что же мы там будем делать? — спросил Успенский.

— Соберутся все ваши поклонники, — ответил студент.— Мы хотим приветствовать вас и получить от вас разъяснения по некоторым вопросам, очевидно, по цензурным условиям, только слегка затронутым в ваших произведениях.

— Вы думаете, значит, что при свободе слова, которую вы предоставите мне, я наболтаю больше.

Студент сконфузился.

— Как наболтаете... Мы полагаем... убеждены...

— Уверяю вас, никаких разъяснений я не могу дать.

— Мы хотели бы получить от вас указания...

— Как жить свято, — перебил Глеб Иванович. — Нашли к кому обратиться. Пожалуйста, поблагодарите своих товарищей за внимание и скажите, что не поеду ни в коем случае.

Глеб Иванович вообще не любил публичных выступлений не только в роли «прорицателя», даже чтеца своих произведений...

Уклонение от этих функций, приятных для многих литераторов, обусловливалось его изумительной скромностью, заставлявшей его ценить себя ниже достоинств, и полным отсутствием авторского самолюбия. Я не слыхал от Глеба Ивановича, чтобы он когда-нибудь был доволен хотя бы одною из своих статей. Если он передавал всегда занимательно и остроумно, о чем хочет писать в ближайшей книжке «Отечественных записок», то при появлении обещанного очерка или рассказа приходилось слышать:

— Ведь не вышло того, что хотел: дрянь получилась, не читайте.

Про свою литературную деятельность он говорил:

— Ну, что я. Пишу для лавочки.

Насколько он не сознавал значения своих произведений, обнаружил случай в Москве, когда Глеб Иванович был на «Пушкинском празднике».

Одна просвещенная дама из высшего круга, высоко ценившая его как писателя и человека, захотела видеть его в ограниченном кругу знакомых, где Успенский чувствовал себя свободнее, чем в большом обществе. Для этого она затеяла обед в «Эрмитаже» и пригласила на него Глеба Ивановича, Е[катерину] С[тепановну] Некрасову и меня.

Во время обеда, когда Глеб Иванович рассказывал, как на думском фестивале И[ван] С[ергеевич] Тургенев отнесся к тосту М[ихаила] Н[икифоровича] Каткова, в наш кабинет вошел лакей с подносом в руках, позванивая бокалами шампанского, и направился к Глебу Ивановичу.

— В соседнем кабинете, — сказал он, — кушают господа профессора, они желают выпить за ваше здоровье и просят вас чокнуться с их стаканами.

Успенский в недоумении оглядел нашу компанию и, улыбнувшись, сказал:

— Позовем их сюда.

Мы согласились. Лакей поставил поднос на наш стол и пошел передать приглашение.

— Несомненно, это — выдумка вашего Гольцева, — сказал Глеб Иванович Е[катерине] С[тепановне] Некрасовой

Действительно, к нам вошло пять-шесть молодых профессоров под председательством В[иктора] А[лександровича] Гольцева.

Они разобрали бокалы и Н[иколай] А[ндреевич] Зверев, обратившись к Глебу Ивановичу, произнес блестящую речь.

Он говорил о значении сочинений Успенского вообще и в частности для молодежи, подготовляющейся к юридической практике. Глеб Иванович дает богатейший материал для знакомства с условиями жизни народа, с его миросозерцанием, психологией; он помогает разобраться в разных сторонах его быта, сложившегося под действием обычая, а не закона, и в его неодинаковых отношениях к людям, стоящим на разных ступенях общественной лестницы. — Все это очень важно для юриста, выступающего в роли судьи, прокурора или защитника.

Если наш суд отличается гуманностью, то в ряде причин, влиявших на развитие его в этом направлении, видную роль необходимо отвести сочинениям Глеба Ивановича Успенского.

Речь профессора была лишена всяких иллюстраций, какие могли бы свидетельствовать о действительном знакомстве его с произведениями Успенского, зато выливалась в такую изящно красивую форму, что вполне овладевала вниманием слушателя.

Глеб Иванович стоял с бокалом в одной руке, а другой все быстрее и быстрее крутил свою бородку, внимательно следя за воплощением ораторского искусства в один период за другим. По его выражению можно было заключить, что все похвалы, расточаемые профессором, как будто не относятся к нему; он воспринимает его речь как любопытную импровизацию на тему, не имеющую ни малейшей связи с его литературной деятельностью.

Оратор кончил приветствие глубокой благодарностью гуманнейшему учителю и пожеланием ему здоровья и сил для дальнейшей работы.

Воцарилось молчание в ожидании того, что скажет Глеб Иванович.

Он протянул свой бокал Н[иколаю] А[ндреевичу] Звереву и тоном похвалы произнес:

— Очень хорошо! Прекрасно! Превосходно, — и, обернувшись к нам, прибавил: — Каково в Москве-то говорят!

Все невольно расхохотались.

А. И. Иванчин-Писарев.

В четвертый день «Пушкинского праздника» мы обедали с Глебом Ивановичем в «Новотроицком трактире». Я сказал

ему, что с этим трактиром у меня связано два воспоминания, приуроченных к одному и тому же дню: освобождению меня из немецкого плена в пансионе Шмоль, куда я был отдан матерью, и о знакомстве с цыганами...[27] И, представьте, с тех пор я не видал больше цыганских хоров и не слышал пения цыганок, хотя знаю, что увлечение ими иногда уносит целые состояния: значит, в них есть что-то непреоборимое.

После некоторого раздумья Глеб Иванович со вздохом сказал:

— А мне понятно это увлечение... Ведь я сам чуть-чуть не женился на цыганке.

— Вы?

— Да. Давно это было. Жил я в то время в Москве, частенько ездил с приятелем в Петровский парк и заглядывал в трактир «Яр», где поют цыгане. Хоровое пение их мне не нравилось, но среди женщин встречались солистки, исполнявшие с неподражаемой выразительностью разные романсы. В хоре была цыганка Стеша. Красивая, скромная девушка, она отличалась особым даром оживотворять пением некрасовские стихи. Под влиянием ее пения некоторые стихотворения Некрасова производили на меня более сильное впечатление, чем раньше... Я познакомился с нею, несколько раз гулял в парке... Не замедлил сделать ей предложение выйти за меня замуж. Она согласилась на условии, если разрешат ее родители. Им она сказала, что я — писатель, зарабатываю хорошие деньги и могу содействовать устройству ее концертов... Родители дали согласие на брак, но потребовали, чтобы обручение происходило по обычаю, в их доме публично. Надо было купить золотые кольца, позаботиться о костюме — вообще, это увлечение загнало меня в порядочные долги... Все было готово, и вечером в назначенный день я отправился в Ямскую слободу... В передней квартире моего будущего тестя была такая густая толпа, что, протискиваясь вперед, я уронил шляпу и не мог поднять ее. В следующей комнате за длинным столом, сидела масса старых цыган, один страшнее другого, все галдели по-своему что-то несуразное. Меня охватил такой ужас, что, воспользовавшись теснотой, я незаметно скрылся в толпе и выскочил на улицу, не замечая, что я — без шляпы... К счастью, на Тверской подвернулся магазин, где я мог купить фуражку и уже на извозчике продолжать бегство... В тот же день я удрал из Москвы.

— И больше не заглядывали в «Яр», не видели Стеши? — спросил я.

— Стеша вскоре после моего бегства вышла замуж за московского купца... Напуганный неудачным сватовством, я боялся «Яра» больше пяти лет... Потом бывал с Михаилом Алексеевичем Саблиным и другими любителями цыганского хора из «Русских ведомостей». Хотите — прокатимся? Если найдется цыганка, умеющая петь некрасовские стихи, получим большое удовольствие.

— Ведь это дорого стоит?

— Каждая песня десять рублей. Вы заплатите за одну, я — за другую... Надо еще угостить чем-нибудь певицу и гитаристов... Едем?

Я согласился.

Когда мы приехали в «Яр» и узнали, что в хоре есть цыганка, исполняющая некрасовские романсы, мы заняли отдельный кабинет и пригласили к себе певицу с аккомпаниатором.

Вошла довольно миловидная цыганка в красном платье, с массой украшений на голове, на шее и на руках.

За нею шел высокий цыган, в желтой канаусовой рубашке и плисовой безрукавке, с гитарой в руках.

— Вы не торопитесь?— спросил Глеб Иванович цыгана.

— Никак нет-с, можем пробыть сколько угодно, — ответил он.

— Садитесь, пожалуйста! Не желаете ли чего?

— Разве рейнвейн и грушу? — как бы нехотя проговорила цыганка.

— А мне позвольте российского очищенного! — пробасил ее спутник.

Угощение было подано. Наливая рейнвейн, Глеб Иванович говорил цыганке:

— Вы можете спеть что-нибудь из Некрасова? .. Что же?.. Из «Размышлений у парадного подъезда»? Очень хорошо.

Цыган выпил две рюмки водки и взялся за гитару.

— «Родная земля»? — спросил он певицу.

Она кивнула головой в знак согласия, встала и, повернувшись к нам лицом, запела...

У нее был контральто приятного тембра, и она владела голосом артистически.

Обращение к «родной земле» с просьбой «указать такую обитель, где бы русский мужик не стонал», было передано таким тоном, что получилось впечатление совершенно безнадежной просьбы. Заключительные слова — «Волга! Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля...» были произнесены со слезами в голосе, и с глубокою скорбью, чуть не с рыданием прозвучала фраза: «Где народ, там и стон!»

Глеб Иванович сидел на диване, привалившись ко мне, и я чувствовал, как он воспринимает впечатление от изумительной передачи некрасовских стихов: он дрожал.

Подавленные впечатлением, мы оба молчали... Цыганка подошла к столу и залпом допила свою рюмку рейнвейна.

— Хотите еще песню? — спросила она.

— Да, да, непременно, — сказал Глеб Иванович. — Как хорошо вы поете.

Из того же стихотворения Некрасова цыганка взяла часть, начинающуюся словами: «Раз я видел, сюда мужики подошли...»

В ее исполнении были моменты выразительного речитатива, ноты глубокой грусти, насмешливого отношения при упоминании «владельца роскошных палат», полного презрения — при обращении к нему, и наконец безысходная тоска, переданная низкими контральтовыми нотами при последнем выводе: «Но счастливые глухи к добру...»

Глеб Иванович сидел бледный и порывисто дышал. Цыганка пила рейнвейн маленькими глотками и заедала ломтиками груши. Цыган выпил еще рюмку водки и переходил от одной закуски к другой.

Я взялся было за бумажник, чтобы расплатиться с певицей, но Глеб Иванович встал с дивана и глазами пригласил меня выйти из кабинета.

— Вы кушайте, а мы сейчас... сказал он цыганке.

В коридоре он сказал мне.

— Вы хотите расплатиться. Подождите? Попросим еще спеть.

— Будет, Глеб Иванович! Вы слишком волнуетесь, побледнели... И удовольствие не из дешевых... Уже сейчас стоит тридцать рублей. Я не могу истратить больше пятнадцати...

— Я один заплачу за все.

— Нет, Глеб Иванович, довольно, прошу вас... и меня сильно расстраивает это пение. Расплатимся лучше и уедем.

— Ну, еще только одну песенку!

— Будет, будет.

— Ну, бог вам судья! — сказал Глеб Иванович и с этими словами направился в кабинет.

После взаимных благодарностей цыгане ушли.

— Теперь вы понимаете, почему я чуть-чуть не женился на цыганке? — спросил Успенский, когда мы ехали на извозчике.

А. И. Иванчин-Писарев

Сколько раз я... видел Успенского, и ни разу я не мог вдосталь наслушаться этого удивительного человека. Позже мне приходилось слышать и в России, и за границей замечательных рассказчиков, но все это лишь в слабой степени напоминало Успенского. Те, кто считаются мастерами этого дела, повторяют обыкновенно одни и те же анекдоты, порою даже очень художественно, но искусственно, по-актерски разматывая нить рассказа. Но Успенский никогда не принимался за старый рассказ: до того ли ему было? У него накоплялась масса новых впечатлений, новых дум над ними, и они тяготили его, и он спешил поскорее отделаться от них. Он говорил с вами о том, что было у него на душе, и, говоря, творил, творил вместе с вами, призывая вас к участию в этом творчестве своими недоуменными вопросами, вашими неизбежными репликами, вашим смехом. Он, несомненно, еще лучше говорил, чем писал. И игра его физиономии, и его умеренные, характерные жесты, самая его временами столь заметная, но удачная борьба с подходящим словом, с художественно конкретным выражением, вызывали в слушателях высокое умственное наслаждение. Когда передаешь его разговор, вечно испытываешь чувство глубокой неудовлетворенности: это все не то! Лучше других передавал характер художественной речи Успенского Александр Иванович Иванчин-Писарев и некий полусумасшедший, но не лишенный оригинальности русский бланкист Григорьев, умерший в Париже в начале этого века.

Н. С. Русанов. «На родине (1859—1882 гг.)», М. 1931.

...Только немногих я знавал, которые говорят, как пишут. К числу последних принадлежали Салтыков и Г. Ив. Успенский. Но между ними была в этом отношении большая разница. Салтыков был неисчерпаем в своих рассказах; он импровизировал свои остроты и карикатурные характеристики и тотчас же забывал их. Если бы во время его разговоров присутствовал стенограф и записывал каждое его слово, выходил бы ряд неподражаемых сатир, столь же остроумно-блестящих, как и его написанные произведения.

Глеб же Иванович не импровизировал своих рассказов, а передавал то, что в данный момент переполняло его мозг, что он создавал, чем горел. Слушая его увлекательные рассказы, вы могли быть уверены, что по прошествии некоторого времени вы прочтете их в «Отечественных записках».

Так, его «Власть земли» я прослушал из уст его по крайней мере за месяц перед тем, как рассказ этот появился в журнале.

А. М. Скабичевский.

Особенно поражало в Успенском умение нарисовать карикатуру, видимый шарж, таким образом, что вы постепенно подготовляетесь к нему разными, казалось бы, второстепенными черточками, и финал, несмотря на его чудовищную невозможность, казался вам в этой обстановке совершенно естественным, мало того — неизбежным. Как-то мы, артельщики «Русского богатства», очень долго ждали Глеба Ивановича для обсуждения одного важного вопроса. Делались разные предположения, высказывались даже опасения, уже не случилось ли чего с Успенским. Дело было, правда, летом 1880 года во время лорис-меликовской «диктатуры сердца», когда полиции был дан приказ не производить обысков и арестов без толку. Но у Глеба Ивановича была всегда масса нелегальных знакомств, и его могли захватить вместе с каким-нибудь крупным революционером.

Раздался звонок, и наконец-то, к нашей радости, мы увидели в дверях раскрасневшегося, слегка отдувавшегося Успенского — день был жаркий, — с забавным, немного торжественным выражением на лице.

— Извините, господа: государыня императрица задержала!

Мы вспомнили, действительно, что в этот день хоронили августейшую супругу Александра II Марию Александровну. Редакция «Русского богатства» помещалась в это время на Знаменской, возле самого Знаменья, и Успенский, который был утром на Петербургской стороне, никак не мог попасть в центр города, потому что по случаю похоронной процессии движение было приостановлено на нескольких мостах.

— Что же удалось что-нибудь видеть, Глеб Иванович? — послышались голоса.

— Все до капельки, весь церемониал! — и Успенский по обыкновению послал куда-то далеко свой взгляд, а затем по обыкновению же перевел его на нас и слегка задумчиво стал рассказывать, что видел.

Мне кажется, я никогда не слышал такого художественного изображения столь простой и столь сложной вещи, как официальная процессия. Жестом, словом, двумя-тремя штрихами этот чародей вызвал перед нами картины и образы развертывавшегося шествия, всех этих духовных, военных.

гражданских придворных чинов. Шли митрополиты, архимандриты, действительные тайные и просто тайные советники, и генералы-от-инфантерии и от-кавалерии, и обер-камергеры и гофмаршалы и церемониймейстеры, чины с ключами, без ключей, статс-дамы и камер-фрейлины, — все шли по-своему, но все в глубоком трауре, все с выражением безмерной официальной печали на важных, увлажненных приличными слезами лицах...

— И наконец — сам государь император... на горько рыдающем жеребце!..

Я уверен, что у всех нас, как у меня, в этот миг перед глазами совершенно отчетливо прошел, нисколько не удивляя нас, образ этого верноподданного, рыдающего коня, который должен был участвовать в этом всеобщем предписанном этикетом горе, а участвуя — не мог не рыдать. Он казался таким естественным, таким необходимым, художественно реальным существом. Без него процессия была бы неполна. Он дорисовывал своими лошадиными рыданиями всю эту картину лицемерного траурного маскарада, так как все участвовавшие в нем знали, что Александр II сложил свое стареющее, но пылкое сердце к ногам княжны Долгоруковой и с нетерпением ждал, когда отбытие в лучший мир Максимилианы-Вильгельмины Гессен-Дармштадтской позволит ему соединиться законными узами с предметом его царственных мечт[аний].

Лишь через минуту опомнились мы от этой иллюзии внушения, этого коня-плакальщика, и неудержимый смех овладел нами, между тем как в коротких фразах Успенского мимо нас уже проходила своим размеренным шагом тысячей ног пехота, двигалась, звеня бесчисленными копытами о мостовую, конница, проезжала, грохоча, артиллерия, а медные жерла духовых инструментов и полузавешанные барабаны наводняли оба берега Невы вокруг Петропавловской усыпальницы могучими волнами похоронного марша.

Успенский никогда, однако, не выискивал умышленного эффекта. Но по пословице «на ловца и зверь бежит» перед необыкновенно чутким регистрирующим аппаратом его оригинального ума на каждом шагу проходили курьезные и вместе наводящие на самые серьезные размышления вещи. Таких происшествий, как с ним, ни с кем, кажется, из его знакомых не бывало, или, может, они не умели схватывать их типичные, проникнутые внутренним юмором черты.

Н. С. Русанов, «На родине (1859—1882 гг.)», М. 1931.

Летом 1880 года в Петербург приехал один земец и, остановившись в «Европейской гостинице», в определенный день пригласил к себе Успенского, художника П[армена] П[етровича] Забелло и меня. После продолжительной беседы он вздумал угостить нас обедом в загородном ресторане «Ливадия».

Забелло отправился с ним на извозчике, а Глеб Иванович, из предосторожности, как бы не вывалиться из пролетки, поехал со мной на империале конки.

— Наслушаемся мы всяких жалоб, — говорил он дорогой, — узнаем, как противодействует либеральным начинаниям администрация, как «правые» ухитряются организовать выборы по своему вкусу. Не услышим только рассказов о смелых, решительных поступках господ либералов. .

За обедом земец много говорил о корыстолюбивых планах «правых», особенно подчеркивая деятельность предводителя дворянства, выступившего между прочим с проектом: «для здоровья заводских и фабричных рабочих отпускать их на летние месяцы в деревню», имея в виду, что таким образом они будут поставлены в необходимость наниматься на работы в дворянские экономии.

Он говорил интересно, живо, но слишком часто, обращаясь к Успенскому, предлагал ему:

— Воспользуйтесь этим материалом...

Или:

— Приезжайте к нам на земское собрание: вы увидите наших квазимод в действии и потом изобразите их яркими красками. .

Глеб Иванович безостановочно курил и нервно пощипывал свою бородку.

После одного предложения земца он с досадой произнес:

— А сами-то вы что же не размахнетесь? Занялись бы «арапами» в газете или журнале.

— У меня так не выйдет, как у вас, — последовал скромный ответ.

От внимания земца ускользнуло, что, чем больше он приводит фактов с намерением, чтобы Успенский воспользовался ими для посрамления «правых» в своих очерках, тем сильнее растет его протест против «насвистывания скворца».

Раз Глеб Иванович вышел со мной в коридор и, волнуясь, сказал:

— Ли-бе-ра-лиш-ка! .. Его я продернул бы с удовольствием: не виляй хвостом... А то дались ему «арапы»!

Когда мы вернулись в кабинет, земец точно нарочно вскрикнул:

— Еще, Глеб Иванович, случай! Он прямо просится под ваше перо.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Успенский. — Папиросы забыл в буфете, — и потащил меня за собой.

— Знаете, что? — сказал он, посмотрев на дверь кабинета. — Мне противен его обед... неспроста затеян: он надеялся настроить меня, как балалайку. Я хотел бы сегодня же расквитаться с ним: поедем к Борелю и угостим его шампанским.

Я согласился.

Было уже поздно, когда лакей подал земцу счет.

— Как бы мне еще повидаться с вами? — сказал земец, обращаясь ко всем.

— А на сегодня разве довольно? — спросил Глеб Иванович. — Уж извините-с, у нас так не водится... Едем к Борелю... Вы угощали нас обедом, теперь мы с А[лександром] И[вановичем] предложим вам нечто.

— Слишком поздно, Глеб Иванович. В другой раз.

— Дождешься с вами другого раза... Нет, уж, сударь, не отказывайтесь... не побрезгуйте провести с нами часок.

Земец отговаривался на разные лады. Все-таки уступил наконец.

Спускаясь с лестницы ресторана, Глеб Иванович шепнул мне:

— Хорошо бы взять ландо, чтобы ехать вместе: боюсь, сбежит дорогой...

Ландо не нашлось. Поехали на извозчиках: земец с Забелло впереди, мы сзади.

При спуске с Троицкого моста предусмотрительность Глеба Ивановича оправдалась: извозчик земца повернул налево, а не направо.

— Видите, — сказал Успенский. — Голубчик, догони их, — обратился он к извозчику.

Когда мы поровнялись с ними, Глеб Иванович воскликнул:

— Господа, разве так по-суседски?.. Уговорились к Борелю, а вы наутек.

— Да, поздно, Глеб Иванович! Мне завтра надо рано вставать, — оправдывался земец.

— Успеете выспаться... В кои веки столкнулись — надо же проститься по-хорошему... Мы ведь не «арапы»!..

Дальше не было остановок. Когда мы подъехали к Борелю, я захотел расплатиться с извозчиком, но Глеб Ивано-

вич опередил меня, сунув ему вместо одного рубля по уговору — три.

Зная постоянные нехватки в его бюджете, я невольно воскликнул:

— Зачем столько?!

— Ведь он старался, — просто ответил Глеб Иванович и направился в ресторан.

Там мы заняли отдельный кабинет. Успенский скрылся на минуту и вернулся довольный.

— Что вы замышляете? — спросил земец.

— Ничего неудобоваримого... даже рассказов об «арапах» не будет! — с улыбкой ответил Глеб Иванович.

На двух подносах лакеи внесли две бутылки шампанского, фрукты и тарелку поджаренного миндаля. Когда они налили стаканы, Глеб Иванович, указывая на дверь, сказал им улыбаясь:

— А выпьем мы уже без вас!

Лакеи скрылись.

Глеб Иванович тотчас же сделал пригласительный жест рукой:

— Пожалуйста... Сначала рекомендую съесть две-три миндалинки!

— Угощение с хитрецой, — заметил земец, но все-таки взял одну миндалинку. — А за что прикажете выпить?

— За победу и одоление «арапов»...

— При вашем участии?

— Сами расправитесь в лучшем виде.

— Ну, нет, Глеб Иванович, не отговаривайтесь! — и земец стал настойчиво убеждать Успенского воспользоваться «богатейшим материалом» и непременно приехать на земское собрание.

Глеб Иванович теребил свою бородку и, часто ударяя своим бокалом шампанского об его, повторял:

— Кушайте, кушайте!

Допив первый стакан, земец стал прощаться. Как ни уговаривали мы его остаться, он не согласился и увез с собой Забелло.

Глеб Иванович сидел молча, маленькими глотками пил шампанское и курил...

— Только и знают эти господа, — недовольным тоном произнес он, — убеждать правительство в своей благонадежности и насвистывать нашего брата, ругать «правых»... «Мы, мол, тихонько да легонько будем строить козни, а вы размахнитесь по-хорошему». Ну, уж больше не угостишь обедом.

Лакей подал счет.

— Шашенька![*] А ведь денег-то у меня нет, — сказал Глеб Иванович. Последнюю трешницу отдал извозчику... Вы расплатитесь... После сосчитаемся.

Для меня было ясно, что «насвистывание» земца так удручило Глеба Ивановича, что при желании расквитаться с ним за обед, казавшийся подкупом, он просто не мог думать, окажутся ли у нас деньги для его угощения.

А. И. Иванчин-Писарев.

Я оставляю Успенского как художника-рассказчика, потому что чувствую, как слабо все это выходит под моим пером, и перехожу к нему как к человеку, которого я едва ли еще не больше любил. Он как-то сказал о себе, что у него сердце никогда с юности на месте не было. И это нельзя понимать только в отвлеченном смысле, в смысле абстрактной неудовлетворенности окружающими условиями. Он страдал совершенно реально за себя, а больше за других, и это несравненно чуткое сердце он донес до могилы, до ночи сознания, угасавшего в туманах трагического помешательства. Особенно это чувствовалось у него в отношении к простому народу. Более чем Кривенко, он был убежден, что не одна буржуазия, но и интеллигенция чересчур много зарабатывает по сравнению с трудящимся физически человеком. И тому же самому мужику, которого, и любя и ненавидя от любви, он порою изображал «свиньей», желающей только «жрать», он в личных столкновениях оказывал услуги не по силам его никогда не бывшему очень полным карману.

Конечно, с точки зрения степенного обывателя он «транжирил», он сорил деньгами, он рассовывал их, казалось, куда попало. И однако и тут можно было при любовном отношении к нему найти внутренние, глубокие причины этой «безалаберности». У него, действительно, было ощущение, что в деньгах заключается огромная, неправедная сила, дававшая их собственникам власть над неимущими. И деньги жгли его руки. И он старался сбыть их тому, кто, по его мнению, в них больше нуждался. Только в этом освещении становятся понятными некоторые ходящие об Успенском и его непрактичности анекдоты. Вот хотя бы следующий. Как-то утром он получил из конторы «Отечественных записок» триста рублей за статью в последнем номере. Все уже у него было заранее распределено: «хозяйству» и на необходимые семейные

* Так часто звал меня Успенский.

издержки. Весь сияющий, сбегает Глеб Иванович по лестнице для скорости, чтобы порадовать пораньше свою с нетерпением ждущую получки, ибо кругом задолжавшую за месяц, Александру Васильевну (жена Успенского, тоже интересное в своем роде существо), садится на извозчика... Проходит несколько часов, и уже пеший, смущенный, неровным медленным шагом Успенский входит по той же лестнице, но не в контору, где уже больше получать нечего, а в редакцию, где сидит столь грозный на вид Щедрин и правит корректуру.

— Вам что, Глеб Иванович?

— Да вот я... да, так я начинаю писать для следующей книжки... уж пол-листа завтра будет, а дня через два и всю статью сдам.

— Какой вы аккуратный стали! То никак вас не дождешься, типография требует, шлешь к вам посыльного за посыльным, а вы все до последней минуты оттягиваете... А теперь вот... Похвально!.. Может, все-таки денек-то и отдохнули бы...

— Нет, так уж лучше... Я теперь всегда аккуратный буду... Заранее писать стану... Уж и теперь почти стал... Только вот...

Салтыков как будто уходит в чтение корректуры. Успенский оглядывается, не придет ли откуда-нибудь неожиданная помощь, и вдруг, с видом человека, которому остается перешагнуть лишь последнюю ступень, чтобы очутиться на эшафоте под петлей, быстро-быстро и тихо-тихо роняет на наклоненную над полосой голову Щедрина несколько фраз:

— А я, Михаил Евграфович, пришел попросить у вас авансу... Я уже начал писать... Сейчас же отработаю... Очень много расходов... Не рассчитал... Вот только бы сесть...

Угрюмая голова отрывается от корректуры.

— Что? Авансу? Какого авансу?.. Вы сегодня получили триста рублей?..

— Совершенно верно... Но большие непредвиденные издержи. До дому не мог довезти... Да мне бы самый маленький авансик... Так рублей полтораста... и через три дня статья. А потом бы еще рублей сто... Если обойдусь.

— Да что же вы с утренними-то деньгами сделали? Пророскошествовали?

— Помилуйте, Михаил Евграфович, покупки самые необходимые... Вот только сразу пришлось — и не хватило...

— Какие такие покупки? Ну, сказывайте, что вы купили.

— Прежде всего сапоги... отличные сапоги... Я уже давно хотел именно такие купить... Знакомый магазин...

Продавец прямо говорит: без износу... Лучше варшавских...

— Охотно верю... А еще что?

— А что ж еще?

— Я спрашиваю: что еще купили?

— Ах, да... Еще фунт сыру... Превосходный сыр... Знаете, настоящий швейцарский... Я уже давно хотел Александру Васильевну побаловать...

— Вижу, вижу, что побаловали... А еще что?

— А еще извозчик... Хотел поскорее домой. Знаете, расстояния эти петербургские положительно убивают... Целый день ухлопал сначала в Гостиный двор за сапогами, потом на Большую Морскую за сыром... А потом...

Пауза.

— А потом, вот что я вам скажу, Глеб Иванович: всем вашим покупкам и с извозчиком, и со всей теперешней словесностью красная цена четвертной билет, а вы сегодня утром отсюда триста рублей унесли... Где же остальные?

Успенский начинает чувствовать себя лучше. Все-таки старик разговаривает, а мог бы прямо сказать: некогда, корректуру правлю... И уже с облегченной наполовину душой Глеб Иванович чрезвычайно убедительно произносит:

— А сапоги-то!

— Все не триста!

— А сыр-то!

— Далеко до счета.

— А про извозчика-то забыли, Михаил Евграфович? — уже почти укоризненно говорит все более и более смелеющий Успенский...

— Ну, сколько вам стоит извозчик! — спрашивает, наоборот, все более и более смягчающийся Салтыков.

— Да ведь если бы один извозчик был, а то сыр...

— Ну, а сыр сколько?

— Да ведь еще сапоги.

— Тьфу ты пропасть! с вами, Глеб Иванович, натощак не сговоришься! Ну, что вы, как малое дитя, в трех соснах блуждаете: сыр-сыр, сапоги-сапоги, извозчик-извозчик... Вот вам ордер пока на двести рублей, а там на будущей неделе посмотрим...

Увы! Успенский принужден удовлетвориться суммой, которой еле хватит его семье на покрытие кричащих долгов... и паки и паки — увы! — он не может сказать ни Салтыкову, ни жене, что как раз эту сумму он отдал извозчику, с которым он кстати ездил не в первый раз и который разжало-

бил «хорошего господина» картинным рассказом (Глеб Иванович в качестве истинного знатока наслаждался этой сочной речью) о том, как из-за пьяницы брата у него все дуром пошло, и теперь он ездит от хозяина, а кабы снова лошадку купить, только бы одну пока для обзаведения, он опять бы как по веточке вверх пошел и в люди вышел!..

Н. С. Русанов, «На родине (1859—1882 гг.)», М. 1931.

Непрактичность Глеба Ивановича, усугублялась еще крайнею добротою его сердца, которое вечно болело не об одних своих родных и близких, а о каждом бедствующем, которого только он встречал в своей жизни. Нередко случалось, что, путаясь сам в долгах и не в состоянии будучи свести концы с концами, он брал аванс в какой-нибудь редакции, чтобы всецело вручить его нуждающемуся и выручить его из беды. А случалось и так, что, получивши за свою работу крупный куш, он раздавал деньги одному, другому, третьему, которые просили у него в долг по крайней нужде в деньгах, и домой приносил одни жалкие остатки. Однажды, таким образом, Салтыков, встретя его, когда он пришел к нему за новым авансом, грозным словом: «Опять?», начал допытывать у него, куда он девал 800 рублей, взятые им всего лишь несколько дней назад. Глеб Иванович, пощипывая свою бородку, в замешательстве ответил:

— Да, вот купил фунт сыру... — и замолчал.

— Ну, а еще что же? — продолжал допытываться Салтыков.

— Ну, что же еще? Право, уж не запомню... Ну, фунт сыру... — Опять молчание.

Так более этого фунта сыру Салтыков ничего и не добился.

А. М. Скабичевский.

Дорогой Михаил Ильич!

С самых первых строк этого письма, не утаивая его содержания, скажу, в чем оно заключается: я хочу просить вас, если только вы можете, занять мне месяца на три рублей 150.

Пожалуйста простите меня за эту просьбу и за бесцеремонность, с которой я ее высказываю. Вы также можете ответить мне без дальних разговоров отказом.

Просьба же моя в следующем.

Салтыков объявил мне, что они вместе с Елисеевым, в видах мало-мальски правильного моего обеспечения в материальном отношении, отводят мне надел во 2-м отделе.

Каждый месяц я имею право помещать в этом отделе полтора печатных листа, о чем мне будет угодно. У Елисеева есть внутреннее обозрение, у Михайловского — «Литературные заметки», и я придумаю для своих заметок что-нибудь новое.[28] В этих заметках и о фактах, и о книгах, и [о] газетах могу говорить, что весьма удобно, а главное, нетрудно и выгодно, — что мне давно-давно нужно. Жалованья они мне не дают, но оставляют ту же плату, что и за беллетристику — 200 рублей за лист. Это дает мне в год весьма приличную сумму.

Но мне положительно необходимо немного поглядеть на общество. Я слишком засиделся в деревне. Я рассчитывал на статьи о Пушкине, так как Елисеев, бывши со мной в Москве, сказал, что я могу писать хоть две, хоть три. Но Салтыков сказал, что это лишнее, что торжество было не пушкинское, а Тургенева и Достоевского, которых он ненавидит.

Для семьи на месяц или месяц с небольшим деньги есть. В сентябре будет рассказ, уже сданный в редакцию еще в мае, но отложенный Салтыковым, несмотря на мою просьбу печатать летом. В случае нужды можно для семьи взять денег в счет этого рассказа.

Но мне *необходимо* лично, на мое дело затратить известную сумму, которой у меня нет. Вот ее-то я у вас и прошу. Я даже готов так поступить: я намерен съездить в мальцевские заводы (эксплуатация не европейская, а российская и отеческая), в Царицын и Ростов (работники, продаваемые сельскими обществами за недоимки) — вот мой план. . . Если, повторяю, хотите, то я буду отовсюду, ничуть не вредя себе, писать корреспонденции, положим, хоть, Гольцеву, пусть он печатает и деньги передает вам. При таком условии я покрою долг в 150 рублей в три, много в четыре приема. Но мне бы этого не хотелось. Я сделаю свои заметки с первого же раза интересными, и вот почему я бы хотел, чтобы 150 рублей вы поверили мне от сего числа сроком на 3 месяца. В сентябре, когда возвратится Салтыков из-за границы, когда у меня будет и рассказ напечатан, и когда я доставлю 1-ю статью [зачеркнуто: для второго отдела] моих заметок — я без малейшего труда уплачу вам 150 р[ублей]. Да не должен ли я еще вам? Признаюсь, не помню. Но то, что я говорю теперь, будет соблюдено свято и ненарушимо. А благодарен я вам буду — бесконечно.

Ответьте мне пожалуйста. Июль уже в половине. Время мало. Пожалуйста ответьте что можете. Адресуйте письмо так:

В Петербург. На углу Бронницкой ул. и Загородного, в аптеку Трофимова, Рафаилу Васильевичу Чернышеву, с передачей мне.

Письма, адресуемые на мою квартиру, обыкновенно лежат по целым неделям неотправленными.

В Тверь бы я непременно приехал, так как мне ужасно интересна она.

Вообще мне надо поглядеть белый свет, теперешний, а работать я хочу и буду много.

Дорогой Михаил Ильич! ответьте пожалуйста. Глеб Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* М. И. Петрункевич, Мыза Лядно, 14 июля 1880 г.

Успенский мучился, когда видел, что из-за денег, из-за мертвой, но весьма цепкой и неприятной вещи, живые люди страдают, и без всякого колебания деньгами же старался откупиться от такого тяжелого ощущения. Заметив, что его жену очень расстраивает торговаться всякое утро с приходившим знакомым мясником за каждый кусок говядины, он улучил однажды минутку, когда Александра Васильевна вышла, и самым умоляющим тоном обратился к продавцу с предложением, которое тот даже не сразу понял, — так странно оно показалось ему:

— Ванечка, могу я вас попросить сделать мне одно большое одолжение... не в службу, а в дружбу?

— Помилуйте, Глев Иванович, всегда готовы вам служить, очень вами благодарны...

— Так вот что, Ванечка, вы не торгуйтесь с Александрой Васильевной, и какую она вам цену назначит, за ту и отдавайте.

— Ах, Глеб Иванович, что-что, а этого никак невозможно-с. Сами знаете, скотина привозная, страсть как вздорожала...

— Простите, Ванечка, дайте кончить... Вы меня не поняли: вы для виду только делайте так, а там у меня с вами счеты будут особые...

— Невдомек мне, признаться, Глеб Иванович...

— Понимаете, Ванечка, торговаться для Александры Васильевны — нож вострый... Вот мы с вами и положим промеж себя такое условие: покажите вы ей какой кусок и называйте цену, что ни на есть дешевую, которой в Питере и нет. Или какую Александра Васильевна вам предложит, за ту и отдавайте, а сами мне разницу с вашей ценой на листик, или еще лучше в книжечку особую запишете. Мы

с вами и будем потом сосчитываться, и я вам даже буду сверх настоящей цены по пятачку с фунта приплачивать. Только, чтоб никому об этом не говорить: это наш с вами секрет будет... Согласны?

Шустрый ярославец, конечно, согласился сейчас же на такое предложение и вышел от Глеба Ивановича сияя. «А и славный, господи ты мой боже, этот господин Успенский, только чудной малость — тоже потрафлять ему надо уметь», — рассказывал он своей жене.

Эта неизвестная политико-экономам операция длилась несколько месяцев, пока Александра Васильевна не поделилась с одной из литературных жен своим счастием:

— Ведь вот все говорят, что мясо очень дорожает, а я и не замечаю этого. Попался нам, знаете, добросовестный мясник, и такой славный, с таким открытым русским лицом. Совсем не запрашивает, а порою так даже с моей цены сбавляет: «только возьмите-с фунтиков пять, побольше». Это такая редкость в Петербурге...

Литераторская жена, умолявшая Александру Васильевну поскорее послать к ней это сокровище, всплеснула, однако, только руками, когда пришедший на следующее же утро к ней добродетельный торговец объявил свои цены.

— Да ведь это ужас что такое!.. Это дороже, чем в самой дорогой лавке!.. А мне еще Успенская говорила, что вы не только не запрашиваете, но даже против обыкновенной цены сбавляете...

Ярославец долго вертелся на разные лады, приводя всевозможные фантастические резоны, почему именно вот то мясо, которое он принес сегодня, стоит так дорого, но, задетый за живое замечаниями разочарованной дамы, что он еще хуже других «рвач», пришел в азарт и выдал секрет Глеба Ивановича.

— Зачем же-с такую мораль на нас пущать? Не хуже других, а как другие, так и мы... Я вам настоящую цену, сударыня, назначаю, хоть всю столицу пройдите — дешевле не найдете... А чтобы в убыток себе продавать, это, конечно, никак невозможно... Сами посудите, вы — дама образованная-с, как же мог бы я тогда свою торговлю вести?

— Но сама Александра Васильевна мне говорила... Вы Успенским все за половинную цену оставляете.

— Коли на то пошло, сударыня-с... Желательно ли будет вашей милости тайну сохранить, чтобы кроме меня да вас никто ее не знал?

Озадаченная дама раскрыла глаза, но из любопытства дала обещание.

— Мы господам Успенским с секретом-с мясо продаем.

— С каким секретом?!

— А так, что сама Александра Васильевна настоящей цены не знает... С приплатою от господина Успенского, дай ему бог здоровьица...

Следовало обстоятельное описание сделки. Разумеется, все, что было рассказано мясником литераторской жене, стало через несколько дней известно всей пишущей братии Петербурга к ужасному огорчению изобретателя этой блистательной комбинации.

Н. С. Русанов. «На родине (1859—1882 гг.)», М. 1931.

С деньгами он вообще совершенно не умел обращаться и, когда они у него были, швырял их во все стороны совершенно, как говорится, зря. Если слова «презренный металл» имели когда-нибудь для кого-нибудь буквальное значение, так это именно для Успенского. В старые годы я собирал для своих детей с педагогическими целями разные коллекции; в том числе была коллекция древних и иностранных монет. Увидав ее у меня однажды, Глеб Иванович даже в ужас пришел: как! деньги детям! Он полагал, что персидские монеты времен Сассанидов [29] или китайские медяки с дырками посередине, представляющие собою все-таки «презренный металл», должны дурно повлиять на детей.

Н. К. Михайловский.

Работая много лет в области журналистики, я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем, обедывали как следует и вечера проводили. В одну из поездок в Петербург я как-то зашел... к Глебу Ивановичу на Васильевский остров, и «дружеская беседа затянулась далеко за полночь». Мы разошлись в шесть часов утра. И в это время я только что закончил мою книжку «Трущобные люди». Естественно, разговор коснулся этого типа людей.

Вскоре после этого Глеб Иванович обедал у меня в Москве, и за стаканом его любимого вина, неизменного мозельвейна садов Кристи, опять разговор зашел о пролетариате, о трущобах.

— Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, по словам вашей книги «перешедших ру-

бикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо бы, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Г. И., и мы в восьмом часу вечера — это было в октябре — подъехали к Солянке и, оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь которой мерцали тусклые окна трактиров и прохарчики торговок-обжорок, восседавших на своих чугунах с бульонкой, тушонкой и картошкой. Мы остановились на минуту около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, при чем они и торговки непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

— Боже, боже! Вот беда... Вот беда!.. — шептал Г. И., жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

— А теперь, Г. И., зайдем в каторгу, а потом — в пересыльный, Сибирь, а затем пойдем по ночлежкам.

— В какую каторгу?

— Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенка.

— Заходить ли? — боязливо спросил Г. И., держа меня под-руку.

— Конечно.

И я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон.

Мы вошли, я двинулся вперед, желая занять место за хозяйским столиком — единственным пустым, так как все остальные были заняты гулявшими хитровцами.

Шум, ругань, драки, звон посуды...

Мы двинулись к столикам, навстречу к нам с визгом пронеслись по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней здоровенный оборванец, с криком:

— Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу. Оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили».

Это было делом секунды.

Г. И. силой потащил меня вон из трактира. Мы наткнулись на ту же самую женщину, которая выскребала из грязной мостовой камень и ругалась неистово.

— Что ты делаешь? — спросил я ее.

— Убью его, подлого, убью изменника!

— А сама старалась вынуть камень.

Чем эта хитровская драма кончилась — не знаю, потому что Г. И., дрожа всем телом, исступленным голосом требовал итти домой.

Я взял его под-руку, и мы пошли поперек пустой площади...

— Ведь убьют! Ни за что убьют! Ведь они потеряли все человеческое, все!..

— Нет, Г. И., у них кое-что иногда пробуждается.

— Что? что? Ничего человеческого, ничего!..

В это время навстречу нам шагал мрачный оборванец и, увидев незнакомых, остановился и протянул руку за подаянием. Г. И. полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитровцу:

— Мелочи нет, ступай в лавку, купи за пятак папирос, принеси сдачу и я дам тебе на ночлег.

— Сейчас сбегаю! — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам по направлению к одной из лавок, шагах в 50 от нас, и исчез в тумане.

— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! — крикнул я ему вслед.

— Ладно! — послышалось из тумана.

Г. И. стоял и хохотал.

— В чем дело? — спросил я.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так он и принес сдачу... Ха-ха-ха! Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Но не успел еще как следует Г. И. нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги бегущего человека, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро!

— Девяносто пять сдачи.

— Нет, постой, что же это? Ты принес?!

— А как же не принести... Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами... Нешто я... — уверенно выговорил оборванец.

— Ровно ничего не понимаю... Ничего не понимаю... А хорошо!.. Хорошо!.. — бормотал Г. И.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Г. И. сказал:

— Нет, нет, все ему отдай... Все... За его удивительную честность... Ведь это...

Я отдал оборванцу всю сдачу, он сказал, удивленный, вместо спасибо, только одно:

— Чудаки господа... Нешто я украду, коли поверили...

— Пойдем, пойдем отсюда... лучшего нигде не увидим... Спасибо тебе! — обернулся он к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади.

От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Вл. Гиляровский, «Глеб Успенский на Хитровом рынке», «Народное благо» 1902, № 11—12, стр. 12—13.

Многоуважаемый Николай Константинович. В статье Успенского я выбросил многое, в особенности в последних двух формах (реминиссансы по поводу Тена и т. п.). Не весьма уместно, а главное совсем не цензурно. Я боюсь, что Г. И. совсем одичал, живучи в Сябринцах. Для большинства читателей он будет скучен и не интересен.

Заявляю вам об этом на случай могущих быть претензий. Я знаю, что Гл. Ив. согласился бы сам со мной, но ведь каким же образом переписываться с Сябринцами.

Из письма М. Е. Салтыкова к Н. К. Михайловскому от 30 сентября (1880 г. Петербург). *М. Е. Салтыков-Щедрин* «Письма. 1845—1889 г.» Труды Пушкинского дома при Академии Наук. ГИЗ Л. 1925 г., стр. 192.

Многоуважаемый Глеб Иванович! Посылаю вам корректуры вашей статьи,[30] которую только что сейчас прочитал. Убедительнейше прошу допустить те выпуски, которые я сделал. Статья ваша произвела на меня тяжелое впечатление, и я серьезно начинаю думать, что вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова. К сожалению, статьи ваши доходят до меня уже в корректурах и тогда, когда надобно уж выпускать книжку. Я до крайности уважаю вашу литературную деятельность, и мне крайне прискорбно, что могут существовать недоумения. Главное: вы сетуете на то, что, по вашим же словам, неизбежно. Следовательно, эти сетования, по малой мере, бесплодные. Может быть, вы и сами удивитесь, что статья ваша так понята мною, но, право, *иначе* и *нельзя* понять. Мне кажется, что если б вы повидались со мной, то я мог бы полнее выяснить вам мою мысль. Во всяком случае, убедительнейше прошу допустить те выпуски, которые мною намечены (во 2-й форме), с ними смягчится тон статьи. Еще просьба: не задерживайте статьи и возвратите с тем же посланным. Ее необходимо печатать, так как на нее расчитывалось при составлении содержания

книжки, а теперь 11 ноября. Повторяю: в том виде, то есть с сделанными выпусками, статья получит этнографический смысл и перестанет быть тенденциозною.

Письмо *Салтыкова* Успенскому, 11 ноября 1880 г., «Голос минувшего», 1914, № 5, стр. 213—214.

Г. И. Успенский был, действительно, необычайною личностью. В своей жизни я встречал только еще двух человек, которых можно поставить рядом с ним по возвышенности их духовных качеств: покойных В[севолода] М[ихайловича] Гаршина и А[лександра] Я[ковлевича] Герда. Эти высокие качества души Г. И. Успенского положительно очаровывали каждого, кто ни приходил в соприкосновение с ним, и положительно всякий, кто имел случай поговорить с Г. И. в течение какой-нибудь четверти часа, кто имел с ним хотя бы малейшее дело, начинал неизбежно любить его и оставался затем навсегда самым горячим и преданным поклонником его.

То же было и со мной. С первой встречи с Г. И. Успенским в конце 1880 года я был положительно очарован этою чистою, как снег альпийских вершин, личностью.

Я знал Г. И. Успенского очень близко в течение десяти лет (1880—1890). Эти годы я прожил в Петербурге, лишь изредка наезжая летами на Северный Кавказ, и в течение этих десяти лет я был в постоянных сношениях с покойным. И в течение всего этого долгого срока я имел возможность наблюдать тысячи проявлений необычайного благородства души почившего.

Первое мое знакомство состоялось в декабре 1880 года. Я явился тогда в Петербург в качестве начинающего писателя, с несколькими рукописями в кармане. В литературной среде у меня не было никаких знакомств, но я с таким усердием читал произведения Г. И. Успенского, так они овладевали мною, так очаровывали, что автор этих произведений был для меня отнюдь не чужой человек, и я, отправляясь в Петербург, ехал как будто именно к Г. И. Успенскому. С большою робостью, однако, постучался я в двери квартиры Г. И.

Я не имел тогда ни малейшего представления о литературном мире и о жизни писателей. Я полагал, что автор таких талантливых произведений, которые, вместе с произведениями редактора «Отечественных записок», Щедрина, заставляли всю читающую Россию ждать с нетерпением вы-

хода каждой книжки этого журнала, должен зарабатывать огромные деньги и жить чуть не по-княжески. Помню мое удивление, когда я, получив справку из адресного стола о квартире Г. И. Успенского, отправился разыскивать ее. Оказалось, что Г. И. живет в одной из отдаленнейших окраин Петербурга — на углу Забалканского проспекта и Обводного канала, в одном из так называемых домов Сивкова. Еще большее удивление овладело мной, когда мне пришлось взбираться под самую крышу многоэтажного дома. Оказалось, что Г. И. имеет квартиру отнюдь не княжескую. Когда на мой звонок вышла женская прислуга и, к моему удивлению, на мою просьбу о докладе Г. И-чу обо мне, ответила: «Зачем докладывать? Идите вот налево по коридорчику, вот туда, откуда дым идет», — я с большим замешательством очутился в узком, тесном коридорчике, обычной принадлежности дешевых петербургских квартир, в который выходило несколько дверей, при чем из одной, открытой, действительно шел заметный дым. В комнате, в которую направила меня прислуга, сидел буквально в облаках дыма человек в очень поношенном пиджаке и вообще совсем не понимавший [напоминавший?] наружностью то представление, какое я составил себе о Г. И-че. Надо заметить, что Г. И-ч курил страшно много. Он буквально жег папиросу за папиросой, и в комнате его постоянно стоял дым облаками. Мне нужно было некоторое время, чтобы разглядеть сквозь этот дым человека, перед которым я неожиданно явился... Предо мной стоял человек среднего роста, некрупного сложения, с лицом, на котором всего меньше было именно решимости. Надо сказать, что столь известный портрет Г. И-ча, приложенный к павленковскому изданию его сочинений, принадлежит к числу очень удачных и передает в общем очень верно впечатление, которое производил Г. И-ч на лиц, впервые встречавшихся с ним. Однако есть портреты, которые глубже передают внутреннюю сущность души покойного. В моей коллекции портретов Г. И-ча есть один, снятый покойным художником Н[иколаем] А[лександровичем] Ярошенко, так называемый «черный» (при воспроизведении отпечатков они были слишком передержаны и вышли излишне черными), который дает именно настоящее представление о вечной скорби, которая переполняла его душу и которая была главною причиною его многолетней болезни. Скорбь эта слишком сильно отразилась на его лице и придавала ему какое-то своеобразное выражение, которое и заставляло страдать всех, кто любил Г. И-ча или даже видел его впервые, и невольно тянула к себе, возбуждая страстное жела-

ние заглянуть в эту больную душу и присмотреться к боли, которой она страдала. Это своеобразное выражение делало лицо Г. И-ча поразительно интересным, именно таким, которое достаточно раз увидеть, чтобы затем не забыть никогда.

Нечего и говорить, что для меня, тогда совсем зеленого юноши, величайшим счастьем являлась уже одна возможность быть в присутствии такого человека, как Г. И-ч. Между тем, Г. И-ч, узнав о цели моего прихода, которую я изложил, запинаясь и едва подыскивая слова, принял во мне самое горячее участие. Он пообещал свести меня к Г[ригорию] З[ахаровичу] Елисееву, одному из тогдашних редакторов «Отечественных записок», заведывавшему отделом статей, и познакомить с несколькими писателями, произведениями которых я также зачитывался в то время. Все это он затем исполнил, и исполнил с удивительным тактом. Теперь же, покончив с этим вопросом, он перешел к моим тогдашним занятиям, очень заинтересовался сектантским движением, которым я в то время увлекался и исследованием которого преимущественно занимался, расспрашивал о работах, уже выполненных мною, и тех, на которых я имел в виду остановиться в будущем. При этом Г. И-ч проявлял столько внимания, столько интереса ко мне лично и моим работам, что я был прямо поражен. Я представлял себе петербургских людей сухими, слишком поглощенными собственными занятиями, и думал, что буду встречен ими с полною холодностью. Впоследствии мне и пришлось убедиться в том, что представления мои были не так уже далеки от истины. Но Г. И-ч оказался непохожим на тот портрет петербуржца вообще и петербургского писателя в частности, какой я себе рисовал. Он, напротив, прямо поразил меня своим участливым отношением к человеку, которого он видел впервые, которого не знал и который пришел к нему с улицы. Впоследствии мне приходилось много раз видеть такое же отношение Г. И-ча к массе лиц, которые являлись к нему по всевозможным поводам. Ко всем он относился с полным радушием и для всех делал все, что только мог.

От моей личности и моих работ беседа перешла невольно на произведения самого Г. И-ча, которыми я тогда прямо жил и которые возбуждали во мне множество вопросов. Я не мог не воспользоваться случаем разъяснить те вопросы и недоумения, которые вызывались во мне при чтении произведений Г. И-ча, и он с полною готовностью шел навстречу моим вопросам, отвечал на них и давал мне все необходимые разъяснения. Через какую-нибудь четверть часа от того стеснения, которое я испытывал, идя к Г. И-чу и

появившись в его кабинете, не осталось и следа. Я говорил с Г. И-чем как с человеком, которого я не только давно знаю, но и которого люблю, к которому питаю полное доверие и перед которым могу открыть всю свою душу. И, действительно, я спешил изложить перед Г. И-чем все, что наболело тогда в моей молодой душе, все сомнения, мучившие меня, все планы, которые я строил. А Г. И-ч входил в эти планы, понимал мучившие меня сомнения, горячо возражал против моих мнений, когда они казались ему неправильными, и подкреплял меня в тех случаях, когда соглашался со мной, множеством крайне оригинальных и для меня совершенно неожиданных соображений. Разговор наш делался все более горячим, и я не заметил, как прошло несколько часов, и был крайне поражен, когда совершенно неожиданно явилась жена Г. И-ча звать нас обедать.

Начавшееся, таким образом, знакомство мое с Г. И-чем скоро упрочилось и повело к установлению постоянных отношений, продолжавшихся до несчастного недуга покойного писателя, устранившего его из жизни. Через три дня после моего первого свидания с Г. И-чем мы уже ехали с ним в Новгородскую губернию, в одну из тех экскурсий, в которых Г. И-ч набирал материал для своих произведений и в которых он обнаруживал поразительную способность к наблюдению, умея подмечать по самым ничтожным фактам целое течение народной жизни и проявляя замечательное мастерство, с которым он вызывал крестьян, приходивших с ним в соприкосновение, на самые откровенные разговоры. Мне приходилось и впоследствии делать с Г. И-чем подобные же экскурсии, и я всегда поражался тем обстоятельством, что всех представителей народа, с которыми сталкивался Г. И-ч, положительно тянуло на самые задушевные беседы с ним. В эту первую поездку мы остановились в усадьбе одного новгородского помещика, который сам жил по зимам в Петербурге и предоставлял Г. И-чу свою усадьбу в тех случаях, когда у последнего являлась потребность бросить столицу и уединиться на некоторое время в глуши для работы или просто отдохнуть от сутолоки столичной жизни. Позднее недалеко от этой усадьбы Г. И-ч приобрел двухэтажную крестьянскую хату с десятиною земли и здесь живал по летам, а также ездил сюда работать по зимам. На этот раз мы провели в усадьбе два дня, причем к Г. И-чу постоянно приходили местные крестьяне, часть которых он знал и прежде, а часть шла по наслышке о нем от других. Целые дни мы толковали с крестьянами, то вели беседы со сторожем усадьбы, то обсуждали всевозможные

вопросы, волновавшие в то время русскую интеллигенцию (с нами был еще один господин, фамилию которого я теперь не могу припомнить). Эти два дня остались у меня в памяти, как какой-то светлый сон. Поездка эта, в связи, конечно, с наблюдениями Г. И-ча, сделанными ранее, дала ему материал на целых три очерка, которые вскоре после этого появились в «Отечественных записках».

С этого начались мои отношения к Г. И-чу, которые с течением времени только укреплялись всем тем, что я видел в этом замечательном человеке и его жизни. Светлые впечатления, полученные мной от первых встреч с Г. И-чем, только усиливались последующими, и я с каждым годом мог только все больше любить этого необычайно доброго, душевного человека, одно присутствие которого согревало каждого. И чем больше я его наблюдал, чем ближе всматривался во всю его жизнь, в его отношения к людям, в его поступки, тем больше я начинал понимать всю справедливость слов, сказанных мне одним из первых лиц, которых я встретил у Г. И-ча, известным электротехником Ладыгиным (изобретателем ладыгинских лампочек, основанных на том же принципе, что и эдиссоновские, но изобретенных ранее последних). Этот, также замечательный человек, совершенно не оцененный в России и оказавшийся вынужденным уехать во Францию, чтобы там применять свои таланты техника и изобретателя, при первом же разговоре моем с ним о Г. И-че, назвал его «пришельцем из другого мира». Он был «не от мира сего» как по чистоте души, по своей поразительной незлобивости и прямо неземной доброте, так и по своей полной неприспособленности для практической жизни. В практическом отношении он был в буквальном смысле ребенком.

Я. Абрамов, «Памяти Глеба Ивановича Успенского (несколько личных воспоминаний)», «Приазовский край» 1902, № 90, от 5 апреля.

... У него и лицо было как у мученика. Только у Гаршина видел я такие исстрадавшиеся глаза подвижника. Тот был очень красив, с какой-то печальной, кроткой улыбкой, от которой щемило на сердце...

Глеб Иванович был проще. Точно он крепче стоял на земле, глубже чувствовал связь с ней.

Мне только раз пришлось видеться с ним, и надо сознаться, что я весь вечер не мог оторваться от этого неправильного, тревожного лица, с такими печальными глазами, с такой открытой чуть-чуть лукавой усмешкой.

Это было в доме одной барыни, занимавшей видное место в литературном мире. Успенский пришел к ней завтракать и так и остался до вечера, потихонечку подливая себе один стакан красного вина за другим. Но это не мешало ему с обычным своеобразным юмором рассказывать бесконечные истории, а позже, когда в гостиной собиралась молодежь, слушать ее неустойчивую, бурную болтовню. Он с явным удовольствием разглядывал юные лица и все заставлял дочь хозяйки описывать, как она ездит на балы и что там делается. Умная, живая девушка весело изображала и свою растерянность, и ловкость приличных светских барышень. Успенский от души хохотал и все прерывал ее замечаниями.

— Ну, вот, ну, вот, отлично... Ведь это же все написать надо... Напишите же.

— Да я, Глеб Иванович, не умею писать, — точно оправдываясь, говорила она.

— Глупости, глупости, что видите, все и пишите. Всякий человек умеет писать.

Он как будто был уверен, что каждому человеку так же свойственно писать, как птице летать.

Потом я видел его уже в гробу, но это было другое лицо...

Моя память лучше и любовнее сохранила то живое лицо, пленившее меня, нервное, страдальческое и в то же время вспыхивающее приветом...

А. Вергежский, «Литературные отголоски» «Слово» 1908, № 442, от 27 апреля (10 мая).

ГЛАВА VIII

Голод 1880—1881 г. — Знакомства и связи с революционерами. — 1 марта 1881 г. и террористы. — В. Н. Фигнер. — Приезд Тургенева в Россию в 1881 г. — Покупка Успенским дома и участка земли при д. Сябринцах близ Чудова. — Поездки и встречи по рассказам Н. С. Дрентельн, Е. С. Некрасовой и др. — Литературная работа, — Отношения с Гаршиным, Златовратским, Южаковым, Л. Оболенским и др. — Отзывы о Гл. Успенском Гончарова и Л. Толстого. — Успенский о своем положении в редакции «Отечественных записок» (1880 — 1884)

... Зима 1880-81 года была очень тяжелою для населения Самарской губернии, в которой в 1880 году был полный неурожай. Бедствовало, между прочим, и население того уголка Самарской губернии, где Г. И — ч был в средине 70-х годов письмоводителем ссудо-сберегательной кассы, при чем изучение этой местности дало ему материал для целого ряда очерков, появившихся в «Отечественных Записках». Когда в начале 1881 года до Петербурга дошли известия о положении, в котором находились крестьяне той местности, в которой жил Г. И—ч., он решился ехать туда, чтобы взглянуть на положение крестьян и на то, как отразились переживаемые бедствия на всем строе жизни, так близко им изученном и описанном. С этой целью он взял в редакции «Отечественных записок» «аванс», как сейчас помню, в размере 300 рублей. Деньги эти предполагалось разделить пополам, и половину оставить семье, а с другою Г. И. должен был отправиться в путь. Я был вместе с Г. И. в редакции и конторе журнала, и отсюда мы отправились к нему на квартиру, чтобы заняться укладкой вещей, а затем отправиться на вокзал железной дороги, куда я хотел его проводить. По дороге Г. И. захотел, однако, заехать в 3—4 места, чтобы попрощаться с некоторыми знакомыми, и, благодаря тому, домой Г. И. приехал уже всего с какими-то грошами, с которыми никакой поездки совершить не было возможности. Дело в том, что почти всюду, куда мы заезжали, встречались люди, которым он не мог не уделить части из полученных им денег. В одном месте речь зашла о том, что двум барышням, одна из которых оказалась в

гостях у знакомых Г. И., к которым мы заехали, непременно нужно уехать из Петербурга, — иначе им угрожает большая беда, — а между тем у них не оказалось средств для такой поездки. И Г. И. немедленно же вынул из кармана пачку кредиток и вручил их совершенно того не ожидавшей барышне и заставил взять эти деньги, несмотря на все отказы и протесты ошеломленной барышни. В этом же роде повторились и еще две истории, и в результате у Г. И. остались буквально гроши, с которыми он и явился домой.

Сцен в подобном роде мне приходилось впоследствии наблюдать очень много. Деньги, попадавшие к Г. И-чу, буквально текли между пальцами, и он вечно нуждался. Среди сохранившихся у меня писем Г. И-ча[1] имеются некоторые, которые я теперь не могу читать без слез. Это письма, в которых он просит меня перехватить от его имени для передачи ему «аванс» в одной из петербургских редакций или просто просит взаймы какие-нибудь 10 рублей. Право, я не могу представить ничего более ужасного, как то обстоятельство, что в нашем отечестве даже такие люди, как Глеб Иванович Успенский, отмеченные печатью гениальности, носившие в себе драгоценный дар, который общество должно было лелеять, охранять от всяких житейских невзгод, могут нуждаться буквально в куске хлеба. При своей непрактичности, при полном пренебрежении к благам земным, Г. И-ч никогда не умел, был неспособен устраивать свои материальные дела, и потому его доход от его литературных работ никогда не был значительным — во всяком случае был значительно меньше, чем бы он мог получить от этих работ и чем умели и умеют получать более практические люди, не обладающие и десятой долей его дарования. На моих глазах Г. И-чу приходилось переживать минуты такой острой нужды, что при одном воспоминании об этих минутах у меня болит сердце...

Я. Абрамов, «Памяти Глеба Ивановича Успенского (несколько личных воспоминаний)», «Приазовский край» 1902, № 102, от 20 апреля.

Однажды, в 1881 году, он сидел у меня в обществе Николая Алексеевича Саблина и еще кого-то. Постоянный остряк, Саблин говорил, что «террористы» сейчас в большом затруднении, не зная, где соединить проводы, если придумают какой-нибудь динамитный взрыв.

— Я избрал бы, — шутил он, — памятник Екатерины и под шлейфом ее устроил нужные приспособления... Да вот беда — денег нет!.. Такое оскудение в моем кармане,

с глубоким вздохом произнес он, — что вместо Палкина»[2] — хожу в съестную лавку, а крепкие напитки давно забыл!.. Да-а, с этой революцией всякое пьянство запустишь!..

Как раз в этот момент Глебу Ивановичу доставили ко мне, по его просьбе, 400 рублей из «Отечественных записок».

— Пожалуйста! — протянул он всю сумму.

— Это зачем же? — изумился тот. — Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?..

— Ведь вы говорите: оскудение в кармане... в съестную лавку ходите!..

— А-а, это я та...ак! — «От большого остроумия говорю глупости»! — как говорит моя матушка.

— Пожалуйста, не стесняйтесь!.. Возьмите!

Понадобилось мое вмешательство, чтобы убедить Глеба Ивановича, что Н[иколай] А[лексеевич] Саблин не испытывает ни малейшей нужды ни в чем, и его глубокий вздох о безденежьи был лишь действительно «глупостью от остроумия»...

А. И. Иванчин-Писарев.

Днем ему не давали писать посетители, которые нередко оставались у него и ночевать. В номере, который он занимал в Мамонтовской гостинице, на берегу р. Москвы, была кровать и диван. А так как этого места было мало, то спали и под столами на полу. «Нелегальные и все, куда же им итти ночью?» — говорил он, жалуясь, что ничего не написал за сутки.

Из *письма А. Можаровой* В. Е. Чешихину. *В. Е. Чешихин*, «Г. И. Успенский. (Биографический очерк)», М. 1929, стр. 249—250.

Глеб Иванович Успенский по своему характеру не мог быть активным революционером, но его недовольство «существующим строем», глубокое понимание истинных причин всяких «неурядиц», искренность и прямота всегда тянули его в сторону представителей активного протеста. В них он видел людей, беззаветно преданных родине, неспособных ни на какие сделки с совестью, и даже завидовал им.

— Ну, что я? — говорил он, например, про литературную свою деятельность. — Пишу ради лавочки! Иной раз и хочется размахнуться, да вспомнишь прачку, мясника, шляпку с пером для Александры Васильевны, — и начинаешь строчить: «Солнце склонялось в западу... по небу катилось

облако... точно бревно к плотам на Ветлуге...». Вот Бакунин или Лавров — те пишут, не считаясь с тем, будет ли lègume к завтраку... *

Глеб Иванович дружил со многими революционерами 70-х и 80-х годов, и для характеристики его отношений к ним прежде всего следует остановиться на двух лицах, упомянутых Н[иколаем] К[онстантиновичем] Михайловским, но не названных по имени. Оригинал героя задуманной Глебом Ивановичем повести «Удалой, добрый молодец» — это Г[ерман] А[лександрович] Лопатин. О нем он писал Михайловскому:

«Повесть, которую пишу, — автобиография, но не моя личная, а нечто вроде Лопатина. Чего только он ни видал на своем веку! Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной,[3] к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это — целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это — изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть».

«Девушка, строго, почти монашеского типа», перед которою он почти молитвенно преклонялся, — В[ера] Н[иколаевна] Фигнер. За все время знакомства с В[ерой] Н[иколаевной]Фигнер Глеб Иванович восторгался ее умом, энергией и в особенности отзывчивостью к людским страданиям даже в тех случаях, когда причины этих страданий могли казаться ничтожными с ее личной точки зрения. — «Она понимает великое горе, — говорил о ней Глеб Иванович, — страдает человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце!»

Глубокие симпатии Глеба Ивановича к В[ере] Н[иколаевне] Фигнер сказались даже в его бредовых идеях в психиатрической лечебнице доктора Фрея. Очевидно, образ кристальной души В[еры] Н[иколаевны] сохранился в его больной памяти и, в зависимости от его несколько мистического настроения, стал воплощаться в «монахиню Маргариту, приносившую с собой утешение и одобрение».[4]

---

* Будут ли овощи.

— Угрюмый, сидел я, склонивши голову, — рассказывал Глеб Иванович про свое видение. — Вдруг чувствую... именно чувствую, а не вижу, что ко мне медленно, тихо приближается женщина в белоснежной одежде... Сосредоточенная, строгая, она смотрит на меня с глубокой тоской во взоре. Такою я видел В[еру] Н[иколаевну], когда она была удручена чем-нибудь... Да и видение, как мне казалось, походило на нее... Были и другие знакомые черты, но ее глаза, фигура... Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку... Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами... все сердца, сердца... Весь мир переполнила она любовью... С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть, бывало, снова набежит мрак, ненависть к людям, жажда смерти — мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мной... Повозилась она со мной достаточно! — шутливо заканчивал Глеб Иванович свой трагический рассказ.

Кроме В[еры] Н[иколаевны] Фигнер, Глеб Иванович был знаком, отчасти даже дружен, со многими видными членами партии «Народной воли». Юрий Богданович Желябов, Кибальчич А[нна] П[авловна] Корба, Ланганс, Перовская, Саблин, Лев Тихомиров и др[угие] всегда находили у него радушный прием. В общении с ними он почерпал бодрость духа и всякий раз впадал в уныние, когда случайно затягивался период неизвестности относительно судьбы того или другого. Все платили ему взаимностью. До какой степени доходила искренность и простота отношений с обеих сторон, можно заключить, например, из того, что Глеб Иванович, точно предчувствуя грядущие события, непременно хотел, чтобы все собрались у него для встречи нового 1881 года, и несмотря на рискованность этой затеи для «нелегальных» людей, очень многие были в числе его новогодних гостей, — может быть, даже с уверенностью, что в последний раз жмут руку любимому писателю и человеку.

А. И. Иванчин-Писарев.

В шесть часов вечера (1 марта 1881 г.) я был у Шелгунова, где собралось несколько близких друзей его из литераторов и кое-кто из революционеров. Шелгунов был сдержан, но, очевидно, внутренно доволен, и если не показывал большой радости, то по врожденному чувству такта. Но он был гораздо более озабочен, чем его друзья, по большей

части младшие его по возрасту. Он задавался уже вопросом: «Что же дальше, чтó делать, чтó предпринять, на чтó рассчитывать?» Большинство литературной братии отдавалось, напротив, всецело чувству радости и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредактор Николая Васильевича[5] по «Делу» Станюкович особенно врезались мне своим оптимизмом в памяти. Странное дело: революционеры представляли на этом собрании единственно серьезный критический элемент и напирали на то, что, мол, нельзя только ликовать да ликовать, нужно и поразобрать промеж себя работу для возможного давления на правительство в печати, покамест не ушло время. Кстати сказать, даже такой на редкость умный человек, каким был Михайловский, еще несколько дней спустя утверждал, что «на этот раз на нас идет революция». И ему вторил своими картинными выражениями веселый, как никогда, Глеб Успенский.

Н. Р[усанов]. «Событие 1 марта и Н. В. Шелгунов», «Былое» 1906, № 3, стр. 44.

Я познакомилась с Глебом Ивановичем в 1880 году и до осени 1884 видалась и разговаривала с ним очень часто, а в 1883 году почти ежедневно. Довольно близка была и с женой его. Неизгладимое впечатление произвел он на меня с самой первой встречи, благодаря одному маленькому, но характерному эпизоду.

Мы встретились в доме С[ергея] Н[иколаевича] Кривенко, праздновавшего какое-то семейное событие. Среди гостей обращал на себя внимание высокий, слегка сутуловатый человек, с необыкновенно добрым, оригинальным лицом, главной прелестью которого были большие серые, грустные, почти скорбные, глаза; они не изменяли своего выражения даже, когда губы улыбались. Это и был Гл. Ив.

В комнате людно и шумно; разговор, часто прерываемый смехом, не прекращается ни на минуту.

Принимает в нем участие и Г. И., кидая на ходу какое-нибудь замечание, полное неподражаемого юмора; но в общем он производит впечатление человека, поглощенного какой-то неотступной мыслью, быстро ходит по комнате, крутя короткую бороду и ни на минуту не выпуская папиросы из худых, длинных пальцев. Впоследствии я убедилась, что эта вечная озабоченность и не менее вечная папироса были его постоянными спутницами.

В одном из наименее освещенных углов сравнительно большой гостиной, где собралось все общество, состоявшее



Г. З. Елисеев.
С фотографии.
Институт русской литературы Академии наук СССР.

из литераторов прогрессивно-радикального оттенка (сотрудники и соредакторы «Отечественных записок», «Слова», «Русского богатства») и их жен, сидела девушка с молодым румяным лицом и серьезными светлыми глазами. По застенчивой манере было заметно, что она новичок или случайный гость в доме. И действительно, она попала сюда впервые, благодаря капризной судьбе, явившейся в лице ее знакомой провинциальной барыньки, которая, желая похвалиться перед своей молодой приятельницей знакомством (тоже совершенно случайным и вскоре оборвавшимся) с «настоящими» писателями, привезла ее на эту скромную вечеринку. Воспользовавшись перерывом в разговоре, она подвела молодую девушку к группе наиболее солидных гостей и, рекомендуя ее, со смехом сказала: «Имейте в виду, господа, что у этой барышни есть дяденька-генерал, который отпускает ее в гости не иначе, как с городовым... Вот, посмотрите, — он и теперь стоит у ворот...» Девушка, повидимому, готова была провалиться сквозь землю от этой неуместной шутки. Несколько человек окружили ее и провинциалку и стали полушутя, полусерьезно допытываться, что кроется под этими словами. Г. И. остановился в стороне, но с благожелательным видом прислушивался к объяснениям. Оказалось, что А. — дитя чиновного мира, сирота, живет у родных, которые считают своим долгом оберегать ее от всяких новых знакомств вне офицерско-чиновничьего круга; что она тяготится пустотой и бессодержательностью жизни и рвется из сытой, но тупой, самодовольной среды, окружающей ее с детства. История очень обыкновенная, и далеко не все слушали ее внимательно, но глаза Г. И. ласково и участливо следили за растерянным личиком так неумело, нетактично, даже грубо демонстрируемой незнакомки. Может быть, пытливым и любящим оком он заметил на дне молодой души что-нибудь стоящее бережного внимания... С этой минуты он взял А. под свое покровительство, устроил ее конторщицей при одном из толстых журналов; часто прихварывавший, вечно озабоченный, он находил время забежать ежедневно хотя на несколько минут в эту контору, узнать, как она справляется с новым делом, не скучает ли, то есть не чувствует ли себя одинокой среди непривычной обстановки; входил решительно во все мелочи ее жизни и добился вскоре полного доверия девушки-дикарки и глубокой, нежной признательности. Характерным мне кажется именно неослабевающее внимание к *мелочам чужой жизни,* удивительное для человека, в полном смысле слова «не от мира

сего», каким был Г. И., глубоко безразличного к внешним условиям собственного существования. Объяснение необыкновенно теплого участия со стороны Г. И., в самый активной форме, к человеку, которого он видел первый раз в жизни, я, лично, нахожу в вечном, ненасытном искании искры божьей в людях; когда обнаруживался хотя намек на такую искру, как был счастлив Г. И., как любовно старался раздуть ее в пламя. Как бережно и настойчиво устранял все, что, по его мнению, могло препятствовать этому. Конечно, очень часто он с отчаянием убеждался в том, что принимал блуждающий огонек за искру настоящего божественного огня. Именно с отчянием; но это не мешало ему вновь и вновь искать бога в человеке, опять верить, опять разочаровываться и т. д., до самого конца этой жизни, насыщенной скорбью о мировой неправде и несовершенстве человека.

Говорить о бесконечной доброте Г. И. вообще, то есть о непреодолимой потребности приходить на помощь каждой живой душе, мятущейся, заблуждающейся, оскорбленной, ищущей правды, — излишне. Замечу только, что и в этом он не был похож на других, даже хороших людей: с одной стороны, совершенно чуждый слащавой мягкости, он не умел говорить нежных, успокоительных речей, которые так легко и грациозно льются с языка, ни к чему не обязывая. Внимательно, сосредоточенно, немножко даже как будто сурово выслушав пришедшего за советом и поддержкой, он говорил ему трезвые, ободряющие слова, иногда с примесью гневного укора за дряблость, бесхарактерность, малодушие; но стоило ему заметить в лице поучаемого смущение, неловкость, а тем более горечь, как глаза его загорались ласковой, даже как будто виноватой улыбкой, и он заканчивал назидание каким-нибудь афоризмом, полным глубокого юмора. С другой стороны, он вовсе не был «божьей коровкой», способной только плакать и вздыхать с опечаленными, удрученными, скорбящими или проповедывать терпение и непротивление злу. О, нет! Скажите, — вы видели когда-нибудь человека, непритворно пламенеющего любовью к ближнему, которому было бы чуждо чувство беспощадной ненависти к насильникам и угнетателями этого «ближнего»? Думаю, даже убеждена, что нет... Любовь-алтруизм, в ее высшем напряжении, и ненависть, по-моему, — две стороны, две неразрывные части, два способа выражения одного и того же чувства. Г. И., *чистое олицетворение пламенной любви к человеку, умел неистово ненавидеть*. Отсюда его преклонение перед активными борцами со злом и его представителями, отсюда убий-

ственная скорбь, осложняемая самоугрызением, самобичеванием при гибели кого-нибудь из этих борцов, со многими из которых он был лично близок.

Если бы люди, полагающие, что Г. И. идейно ближе к Толстому, чем к автору народовольческого «письма к Алекс[андру] II», ближе к С[ергею] Н[иколаевичу] Кривенко и «Неделе» (уж не за ее ли усыпляющую проповедь «малых дел» и «светлых явлений), чем к «Отечественным запискам» и Шелгунову, могли видеть этого самого Гл. Ив. в обществе столпов народовольчества, с глазами, горевшими восторгом, экстазом, жадно следившего за каждым их жестом, впитывавшего их слова и рассказы, как пересохшая земля благодатную влагу, они бы отказались от своих еретических предположений. Если заблуждались народовольцы, то вместе с ними столь же горячо и искренно увлекался их «заблуждениями» и Гл. Ив. Здесь будет кстати снова уместным упомянуть об А., руководимой Успенским и не обманувшей его ожиданий. Вечер в октябре 1883 года. В комнату А. входит сияющий, совершенно неузнаваемый Г. И. — «Ну вот, сегодня придет сюда *настоящий* человек»,[6] — проникновенно говорит он. Через час с небольшим в квартире появился революционер боевик с солидной и громкой репутацией. Заметьте, — не С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко и даже не Л[ев] Толстой (отношение Г. И. к ним обоим мне тоже хорошо известно; оно было очень далеко от преклонения) — *настоящие* люди, а испытанная, закаленная, боевая революционная сила. Далее, знакомя свою protegée с поистине выдающимся слугою революции, он и этому последнему настойчиво указывает на ее страстное желание и готовность внести хоть крупицу своего участия в дело борьбы, которую он считает святым делом, — нет, это не Толстой и не толстовец ни в коем случае Такое предположение мне кажется даже оскорбительным для памяти этого, до крайности последовательного проповедника, не словом только, но и жизнью, активной любви.

А. С.,[7] «Воспоминания о Г. Успенском», «Голос минувшего» 1915, № 5, стр. 220—224.

В 1881 году, если не ошибаюсь в мае он [Тургенев] опять приехал из-за границы. Находя, что жить можно только или в Париже, или в деревне, он, как птица, два раза в году совершал перелет: весной отправлялся в деревню, а осенью возвращался в Париж, при чем проездом обыкновенно останавливался на несколько дней в Петербурге и в Москве,

чтобы повидаться с знакомыми. В этот приезд ему, однако, пришлось довольно долго просидеть в Петербурге, потому что он заболел: у него было что-то такое в печени, был кашель, но главным образом болели ноги. Узнав, что он приехал и лежит, мы с Г. И. Успенским отправились его навестить. Стоял он в то время в меблированных комнатах, на углу Морской и Невского, где в последнее время обыкновенно останавливался. Просидели мы у него долго. Был у него, кажется, кто-то в это время, и чувствовал он себя не совсем хорошо; а говорили, помнится, больше о текущих делах и событиях и множестве всевозможных слухов, которые в то время ходили в Петербурге. Время тогда было очень смутное, никто не знал, что будет и чему верить, невероятное осуществлялось, ни с чем несообразное казалось возможным, а потому самые разнообразные слухи циркулировали в великом изобилии. Помню, впрочем, говорили еще вот о чем: в то время в редакции газет и журналов начали довольно часто присылать рукописи крестьяне... какая-то полоса такая вышла, так что порою даже казалось, что мужик не хочет больше молчать и собирается говорить. В рукописях этих говорилось и о народных нуждах, и о правде и неправде, и о начальстве, и о суде, и о земле, и о социалистах, — словом, обо всем, что так или иначе касалось народа, его жизни и души. Успенский очень интересовался этими рукописями, всегда их внимательно прочитывал, собирал и хранил, находя в них большой интерес и доказывая, что их непременно нужно печатать, как непосредственный голос народа. Заинтересовал он меня и Тургенева.

— Вы, господа, не забывайте же меня пожалуйста, — говорил прощаясь Тургенев, — не считайтесь с больным визитами: видите, я теперь какой.

Через несколько дней я был на Морской по делу и по дороге еще раз зашел к Тургеневу. Чувствовал он себя лучше. Говорил много и о разных предметах, но больше всего о литературе и молодых писателях. Говорил о Г. И. Успенском, которого очень любил и ценил, досадуя на него только за одно — почему он не попытается большого романа или повести написать...

С. Н. К[ривенко], «Из литературных воспоминаний». «Исторический вестник» № 2, стр. 273—274.

...Одно свидание глубоко врезалось в мою память. Было это весною в первые дни после страшного для Петербурга марта 1881 года.

П. М. Р-на получила записку от Александры Васильевны такого, приблизительно, содержания: «Лежу больная. Ребенок тоже болен. В доме нет ни копейки. Нечем заплатить акушерке. Пришлите, если можно, рублей десять, но только чтобы Глеб Иваныч об этом не знал, — лучше всего с кем-нибудь из знакомых». И при этом она просила не звонить, а повертеть ручкой замка, так как звонки напоминали беспрестанно являющуюся с обысками полицию, и раздражали Глеба Иваныча, и пугали детей.

Я взялась отвезти деньги и, так как весь день была занята, — поехала поздно вечером, после 9. Ехать, помню, пришлось что-то очень долго, и все больше какими-то закоулками, в глухой конец города. Успенские жили тогда в домах Сивкова, неподалеку от Обводного, но город был на военном положении, весь оцеплен «охранительными заставами», и, вероятно, во избежание неприятных задержек извозчик повез меня кружным путем. Вечер был мозглый, пасмурный, совсем не весенний. Безлюдье и мрак вокруг были полные. Мы ехали одиноко через какой-то угрюмый пустырь, между каких-то высоких и слепых стен. Местность эта мне была совсем незнакома, но что-то мрачное, жуткое, как кошмар, сжало мне душу... И вдруг мне вспомнилось что-то *ужасное*... происходившее именно здесь... недавно...

— Где это мы едем? — спросила я у извозчика, чувствуя странную холодную дрожь во всех членах.

— Семеновский плац... где преступников вешали! — глухо и как бы нехотя ответил извозчик.

Мы подъехали наконец и к домам Сивкова. Дверь отворила мне акушерка, и сейчас же рядом, из кухни в переднюю, высунулась, как мне показалось, круглая, по-солдатски остриженная голова — быть может, городового, приставленного сторожить Глеба Ивановича. В спальне у Александры Васильевны приготовлялись мыть ребенка,[8] и акушерка, попросив меня подождать, открыла дверь налево, с словами:

— Пройдите пока к Глебу Иванычу.

Я вошла в большую, почти совсем пустую и полуосвещенную комнату. Единственная свеча под абажуром стояла на столе у правой стены, подле самых дверей. На противоположном конце, в глубине, на диване сидел Глеб Иванович, а по бокам у него, свернувшись калачиком, спали дети. Он поднялся навстречу мне и, указав рукой на диван, рядом с крепко спавшим «Сашечкой», прошептал озабоченно:

— Присядьте, пожалуйста... У Александры Васильевны теперь там возня... — и снова принял прежнюю позу: скрестив на коленях руки, опустив голову низко на грудь, о чем-то глубоко задумываясь, — так глубоко, что, видимо, не слыхал и не замечал ничего вокруг.

И мы промолчали так, сидя рядом, что-то около часа. Вокруг была полная и какая-то тягостная, зловещая тишина. Изредка доносился через закрытые наглухо двери, из третьей комнаты, болезненный плач ребенка. Глеб Иваныч устало поднимал глаза в направлении к этому плачу, и снова все погружалось в молчание, как в могилу. Даже дети не шевелились во сне, — спали как мертвые.

И сама не знаю, почему, — мне припомнилось тогда одно впечатление раннего детства... Это было в эпоху Севастопольской войны. Мы жили безвыездно в нашей деревне. И вот раз кто-то из наших дворовых-охотников по оброку, стреляя дичь в лесу, поймал там невзначай раненого орла (редкость в Тверской губернии!) и принес показать его господам. Начинало уже смеркаться. Орла посадили в зале на круглый стол посредине, и мы, дети, ходили вокруг, рассматривая эту диковинку. Большая и грузная птица, с блестящими черными перьями, неподвижно сидела, угрюмо свесив острую голову между сжатыми крыльями. И только когда мы дотрагивались до перьев, орел медленно раскрывал круглый и томный глаз, в котором нам виделось почти человеческое страдание. Но теплота его блестящего оперения напоминала, что это не чучело, а живая птица, и всем нам хотелось дотронуться, чтобы убедиться, что орел жив.

— Не трогайте его, дети! — останавливала нас мать. — Он ранен, и ему больно, когда его трогают. Он привык быть один на вершинах.. Это — царь между птицами... Ему у нас душно. Пожалейте его!

И мы с состраданием и почтением смотрели на этого раненого «царя между птицами», бережно, на цыпочках ходили вокруг стола, подставляя ему чашку с водой, кусочки сырого мяса и хлеба, семена и червей... Но он ничего не ел — и в ту же ночь умер.

И взглядывая по временам на сидевшего подле меня Глеба Ивановича, я вспоминала этого орла. Очертания его крупной темной фигуры на сумрачном фоне комнаты навсегда запечатлелись в моих воспоминаниях вместе с образом подстреленного орла. То же впечатление производит на меня его портрет, снимок с работы его сына, Александра Глебовича, который висит над моим рабочим столом, когда я гляжу на него издалека, в полумраке. Темная

фигура на темном фоне; устало поникшие плечи, как упавшие крылья; — опущенная на грудь голова и это больное, страдальческое лицо, этот взгляд, полный мысли и муки, устремленный куда-то в темную даль, как будто видящий там перед собою свой собственный *конец,* трагическую судьбу всякого русского гения...

В. В. Тимофеева.

Для характеристики моего, пожалуй, несколько смешного, наивного взгляда той эпохи, приведу небольшую сцену из того времени, сцену между мной и несравненным бытописателем деревни Г. И. Успенским. Как-то осенью 1880 года, когда я уже оставила деревню, в «Отечественных записках» появился один из дышащих скорбной правдой рассказов его. Быть может, то была «Книжка чеков» или «Из записной книжки» — не помню точно. И вот однажды, когда я была у Успенских, Глеб Иванович подсел ко мне и спрашивает: что я думаю о его рассказе? Я с горечью откровенно высказала свое мнение... Я говорила, что все, что он пишет, проникнуто пессимизмом и крайне удручает меня... Послушаешь его, — так в деревне все плохо, все темно... Он живописует лишь одни отрицательные стороны мужика и тошно становится смотреть на это жалкое, забитое материальными интересами человеческое стадо, в котором если и живет «правда», то лишь «правда зоологическая», не прошедшая через горнило сознательности и потому неустойчивая и разлетающаяся в прах при первом искушении, при первом сомнении, осложнении окружающих первобытных форм жизни... Неужели в деревенской жизни, в душе мужицкой нет просвета? Нет ничего привлекательного, трогательно симпатичного?! Зачем же рисовать мужика такими красками, что никому в деревню забраться не захочется, и всякий постарается стать от нее подальше!..

Глеб Иванович терпеливо слушал и все больше и больше морщил лоб. Наконец, приняв жалобный-прежалобный вид, он заговорил своим добродушно-ироническим тоном, обращаясь к присутствующим: «Вот, господа, обижается на меня Вера Николаевна за мужика моего! Не нравится ей мужик мой!.. Она требует: подай ей мужика, но мужика шоколадного!..».

Все рассмеялись, и я смеялась, потому что смешно было, было метко сказано... Но *всей* правды его, всей правды его иронии я тогда *не почувствовала...*

Вера Фигнер, «С горстью золота среди нищих (неудачная деятельность во время голода 1906 г.) «Русское богатство», 1912, № 3, стр. 97—98.

В[ера] Н[иколаевна] Фигнер, к которой мы обращались с просьбой сообщить подробно свои воспоминания об Успенском, в разъяснение своих отношений к Г. И. сообщила нам буквально следующее: «Я думаю, что мы скорее угадывали, чем знали друг друга. Ни он ко мне, ни я к нему близко не подходили. Поэтому что же я могла бы написать о нем? Несколько мелочей, которые ничего к нему не прибавят, а амплифицировать факты я не умею. Да надо сказать, что мои мысли в то время были так сконцентрированы на заговорщицкой деятельности, что я не могла понять, что от всякого надо требовать по способностям, и меня страшно огорчало, что Успенский *только* (курсив автора письма) писатель, публицист и художник. Мне хотелось бы, чтобы все в одном котле кипели... А затем, я никогда не была с ним наедине, когда у человека бывают порывы, что он легко и свободно отдается другим, раскрывается. Всегда мы были в обществе других, и — да простится мне — скучно там было! Даже ни разу не выдалось такого счастливого часа, когда Г. И. начинал (по словам других более счастливых его друзей) рассказывать что-нибудь из своих наблюдений, — потому что по общим отзывам он был несравненный собеседник в этих случаях. А при мне не было ничего яркого, незабываемого... Если было еще что характерное в моих отношениях с Успенским, то это его реалистическое понимание русского крестьянина, с одной стороны, и мое сентиментальное народничество, с другой. С обиженной улыбкой, добродушно иронически, он жаловался окружающим, что Вера Николаевна требует от него «шоколадного мужика». А я и впрямь народа не знала, и страшно хотела шоколаду, да шоколаду... Вот все...»

Сообщено *В. Е. Чешихиным*, «Русская мысль» 1913, № 9, стр. 33.

«Дорогая Александра Васильевна! Сестра передала мне приветствие от вас и вашего сына... Бесконечно благодарю вас обоих за ласковое слово и думаю, что я обязана этой радостью лишь тому, что в глубокой душе Глеба Ивановича нашлось маленькое место и для моей личности... С глубоким огорчением прочла я в Шлиссельбурге о болезни его и первый вопрос, заданный Карповичу через запертую дверь, был вопрос о нем и о причинах его состояния... я все думала, не был ли он арестован и не тюремное ли заключение потрясло его нервную систему? Карпович ответил, что насколько ему известно — причины были общего характера, и позднее, когда до меня дошел некролог



Б. Н. Фигнер.
С фотографии 1877 г.
Музей революции в Москвѣ

в Истори[ческом] Вестнике, из цитат самого Глеба Ивановича я поняла его душевное настроение — и поняла все. Некоторые страны, — все из цитат — хватали прямо за сердце: — их нельзя было читать без слез, тем более, что аналогия между чувствами Глеба Ивановича и моими собственными в последний год перед тюрьмой и самой тюрьме — была поразительна... И думалось мне, что вот на воле, в тюрьме ли, все равно — человеческое сердце летит обнаженное и судорожно трепещет и кровоточит... и что бывают темные времена, когда душевное состояние заключено в слове «страданье»... Быть может, дорогая Александра Васильевна, вы не знаете, что еще в 84 г., во время суда, Глеб Иванович просил мою сестру передать мне, что он мне завидует... Я выслушала тогда эти слова со смешанным чувством удивления и грусти... Мое положение было конечно, не из завидных! Я была арестована при полном разгроме организации, к которой принадлежала... Мои товарищи и друзья были уже осуждены, казнены или находились в ожидании кары... Сотни крупных и мелких неудач преследовали мои попытки поддержать дело на прежней высоте, а в воздухе висела продажность и предательство... Суд был только оффициальный, формулировавший крушения, которые я потерпела в жизни общественной, а после него — стояла одна темная ночь, полная горестных воспоминаний... И вот когда колесо жизни раздавило меня, а общество выбросило за борт, Глеб Иванович позавидовал мне. Почему? почему? думала я. И решила в одном понятном мне смысле: Глеб Иванович видел во мне, в эти минуты — цельного, не раздвоенного человека, шедшего определенной дорогой без колебаний, без оглядки... видел личность, у которой есть что то заветное, ради чего отдает все... Именно этой цельности, я думаю, он и завидовал. Да и надо сказать правду, несмотря на внешние и многие внутренние мрачные стороны моего тогдашнего положения, все же в дни суда у меня было какое-то просветленное и повышенное душевное настроение от сознания, что все, что можно было отдать и сделать, я отдала и сделала... и могу спокойно проститься с людьми и жизнью... И как никак, судом заканчивался мучительный период... и я была рада, что он закончился, как рад тяжело оперированный, у которого отняли руку, ногу, но который все же снят со стола хирурга, на котором происходила операция... И верю, Глеб Иванович своей чуткой душой все это видел, прозрел..

Дорогая Александра Васильевна! Я часто вспоминаю вас и всегда с умилением: ваша преданность и страстная привя-

занность к Глебу Ивановичу произвели на меня глубокое впечатление, которое с годами нисколько не ослабело... А дорогому Александру Глебовичу покаюсь, что часто, в заточении бранила и упрекала себя, что, приходя к Глебу Ивановичу, не обращала внимания на детвору. Но хорошо помню, что с дивана на меня при входе всегда смотрело несколько пар пытливых больших черных глаз... именно пытливых. Мне тогда даже казалось странным, почему эти дети смотрят на меня словно с каким то особенным интересом, тогда как в других семьях я этого не замечала... Карпович рассказал мне, что эти большеголовые, черноглазые дети выросли в хороших людей и я была от души рада, что Глеб Иванович был все время окружен неустанными заботами и нежной любовью, а вы, Александра Васильевна, в них находите утешенье в своей тяжелой и горестной утрате. И мне было стыдно, что я пропустила случай в далеком прошлом приласкать ваших ребят и не сумела подойти к ним... Что же касается домика, многоуважаемый и дорогой Александр Глебович, то мы его никогда не будем строить для меня... но мы будем когда-нибудь, если разбогатеем, строить с вами какой нибудь домик для беспризорных или дворец для народа... Примите же дорогие мою признательность и мое уважение к вам и к памяти Глеба Ивановича, и помните, что все, что связано с ним — дорого и близко для меня. Обнимаю вас крепко и целую Александру Васильевну.

Вера Фигнер.

Я вырвала из Истор[ического] Вестника фотографию Глеба Ивановича и хранила ее до отъезда, а уезжая подарила Герм[ану] Ал[ександровичу] Лопатину, который благоговейно чтит Глеба Ивановича и был совершенно растроган моим подарком... У Глеба Ивановича на этом портрете такое скорбное лицо... и он поразительно похож...

Письмо В. Н. Фигнер А. В. Успенской от 25 ноября 1904 г. *В. В. Буш* — Литературная деятельность Гл. Успенского. (Очерки). Труды Пушкинского дома при Академии Наук СССР. 1927 г. тр. 237—239

Достаточно было увидать его раз, чтобы потом никогда не забыть его глубокого, проникнутого грустью и страданием, одному ему свойственного взгляда его больших, почти синих глаз, всей его фигуры со страдальчески склоненной набок головой, с характерно сложенными губами, выра-

жающими все то же бесконечное страдание, и с его неугасимой папироской в руках.

Достаточно было послушать его раз, чтобы получить непреодолимое желание услышать снова, поговорить с ним, поговорить для того, чтобы поддержать в себе гаснущую веру в людей и в возможность лучшего будущего...

...Глеб Иванович, беседуя с человеком, не забывал об его душе; он знал ее интересы, ее нужды и заботливо относился к ней, как родной, как хороший, добрый товарищ: наставляя, давая советы. В его присутствии было легко; он не подавлял собеседника ни своим большим природным умом, ни своим художественным талантом; не отодвигал его от себя на далекое расстояние, не принимал позы недосягаемого, как это ощущалось временами в присутствии других известных писателей. В присутствии Г. И. становилось радостнее, веселее; за его беседой всякий оживал, да и уходил от него не с пустой душой, как с беседы большинства людей, — уходил наделенный новой, оригинальной мыслью, новым сравнением, незаметно заражаясь при этом его любовью и теплотою к людям. Невольно думалось в его присутствии, когда всем так интересно было его слушать: «А как скучно, должно быть, ему с нами, ординарными!» Он же сам никогда ни тенью, ни намеком не выражал ничего подобного: он так сильно любил людей, так искренно и много жалел их.

Все в нем было оригинально, ему одному свойственно; он говорил и действовал не так, как все люди, и поступал не так, как они; поэтому общепринятая мерка, которою мы меряем людей вообще, неприложима к Г. И. Несмотря на все его достоинства, у него не было многих добродетелей хорошего среднего человека, — например, аккуратности: на его обещание, данное сегодня, даже при деловых отношениях, редко можно было положиться, потому что почти нельзя было предугадать, что он скажет или сделает завтра; очень возможно, что он поступит как раз обратно тому, что вы от него ждете, — если, разумеется, этим не нарушится какой-нибудь из принципов, которые у него всегда были тверды и непоколебимы.

И никто из знавших его не имел силы сердиться на него за это. Обаяние его детски-чистой личности, обаяние его таланта перетягивали, парализовали все недочеты, и скажу даже больше: самые эти недочеты неудержимо тянули к нему.

Во всем не имея себе подобного, Г. И. походил только на себя самого, и сравнить его можно разве только с ртутью,

потому что ее также не захватишь пальцами и не удержишь в руке, как личность Г. И. не уложишь в определенные рамки и не сделаешь ей характеристики в общепринятом смысле, — они оба неуловимы. Бывали, впрочем, случаи, когда его своеобразность для людей, мало его знавших, казалась чем-то ненормальным. Вот, например, факт. Одна женщина-врач, Е. М. Вольфсон, которую Г. И. очень уважал, прописала ему микстуру и, уходя, взяла слово, что он будет принимать лекарство. Но как только она ушла, так Г. И. сию минуту забыл о микстуре. Ее принесли из аптеки, нарочно поставили на стол в его комнате; но он вспомнил о данном слове только через три дня, именно в тот день, когда упомянутая женщина-врач должна была притти снова; озабоченный вскочил, побежал к себе в комнату и разом выпил всю микстуру.

— Да вы бы ее лучше выплеснули, чем вливать в себя, — заметил ему кто-то.

— Нет, как можно! — ответил он совершенно серьезно. — Я обещал принять — и принял.

Ясно, что ему не хотелось огорчить уважаемого врача, обмануть же его он был не в силах, — вот и объяснение кажущейся ненормальности...

...Как я уже сказала раньше, довольно было увидать или услыхать его раз, чтобы потом искать случая видеть и слышать снова. Это-то и было между прочим одною из тех приманок, которые повлекли меня в начале 1881 года в Петербург. И с этой стороны поездка оказалась удачной.

В январе и в феврале Г. И. можно было видеть чуть не каждый день в квартире С[ергея] Н[иколаевича] Кривенко. Из литераторов многие заходили сюда, чтобы видеть и говорить с Г. И. Он же все это время был как-то особенно грустен и неразговорчив: сидит, молчит с своим страдальческим взором и курит свою бесконечную папироску. Только много времени спустя, именно в конце февраля, он заговорил о поездке в Самару и всех стал уверять, что ему необходимо надо ехать на голод, что он *должен, обязан* писать о голоде. Помню, он в это время усиленно хлопотал о деньгах на поездку. Хлопоты длились несколько дней, он все собирался. Наконец, когда деньги были в руках, когда чемодан был уже запакован и все было готово к отъезду, когда друзья собрались ехать на вокзал, чтобы проводить его, он вдруг объявил (чуть ли даже не на самом вокзале), что в Самару не поедет и вообще никуда не поедет.

На другой день он писал мне на мой запрос, — когда же он едет? «В Самару пока не поеду; если поеду, то после

20 числа марта; да и то признаться — не охотно поеду: великое удовольствие — голод! Чорт бы его подрал!»

За это время Г. И. окружало много народу; тут были и начинающие литераторы, и студенты, и студентки, и художники. Г. И. постоянно кого-нибудь устраивал, кому-нибудь старался доставить работу, кого-нибудь знакомил с известными петербургскими журналистами и всех звал к себе «попить чайку».

Дома он жил хоть и семьянинон, но по-студенчески, на четвертом этаже. Да и к нему сходились все тоже как будто студенты — в косоворотках, без манишек и без галстуков.

Весной или, вернее, ранним летом этого же года Г. И. два раза был в Москве: сперва проездом на Волгу, в Самару, затем на обратном пути оттуда. Оба раза останавливался в Петербургской гостинице у Красных ворот и оба эти приезда очень часто бывал у нас в семье, на Мещанских. Он познакомился близко с моими родными и без церемонии заходил к нам обедать, чай пить, а случалось, в ожидании отыскиваемых денег, проводил у нас целый день с утра до вечера. В такие дни он подолгу сидел в нашем маленьком садике или же увлекал нас с сестрой в Ботанический сад, где подтрунивал над моей любовью к цветам: «Ну, какая польза от ваших цветочков? — дразнил он меня. — Ну, на что они?» Натешившись вдоволь, он смягчался и с улыбкой говорил: «Нет, нет, я шучу. Я прекрасное тоже признаю».

Моя сестра вначале очень преследовала Г. И. за его неряшливость, за его привычку вечно бросать на пол спички, окурки и туда же стряхивать пепел с своей неугасимой папироски. Она хотела отучить его от этого. Г. И. по свойству своего характера, не желая ее огорчить, выбивался из сил, чтобы в ее присутствии быть аккуратным, т[о] е[сть] старался пользоваться подставленной пепельницей. Но его аккуратность длилась недолго: стоило сестре выйти в другую комнату, как пепельница вылетала одновременно и с глаз и из головы Г. И., и он тотчас успокаивался и снова беззаботно начинал стряхивать пепел на пол обычным жестом мизинца правой руки, начинал бросать окурки и т. д., отчего в несколько минут вокруг его стула вырастали кучи пепла. Но стоило ему заслышать шаги сестры, как он, взволнованный, вскакивал с места и суетливо принимался подбирать окурки, сдувать пепел, который непослушно разлетался во все стороны, а он между тем шептал со страхом: «Идет! Идет!»

Наконец, после целого ряда хлопот деньги Г. И. были найдены, и он уехал в Самару.

Но — увы! — до Самары он не доехал: у него не хватило денег, и он принужден был вернуться обратно в Москву.

Мы, конечно, не ждали его так скоро, и были очень поражены, когда он вдруг явился к нам прямо с железной дороги, вошел взволнованный, скорбно-озабоченный.

— Я к вам... с неприятным делом, — было его первым словом.

После обычных приветствий, мы закидывали его вопросами: почему? зачем он так рано вернулся?

Г. И. имел виноватый вид.

— Видите ли... в Казани мне попался один студент, возвращается из Сибири. Денег на дорогу нет. Останавливаться не имеет права. . Не можете ли еще рублей 20? — спрашивал он с виноватым лицом. — Я все это *все, все,* через несколько дней отдам, а те деньги немножко попозднней... Студента мне ужасно жаль! (Но это было видно и без слов.) Вообразил, что до Киева проест всего 3 рубля! А пирожки уничтожает немилосердно, словно настоящая свинья... Да и теперь сидит на станции и, наверное, жрет пирожки... Вы уж, пожалуйста, я через день, через два, а то сегодня же пойду в «Русские ведомости», к Скворцову...

— Хорошо, хорошо, Г. И. я сейчас съезжу, попытаюсь...

— А куда ехать-то?

— На Тверском бульваре, у меня там друзья.

— Так я еду с вами. Я подожду вас на бульваре.

Мы взяли извозчика и поехали.

Получив хотя маленькую надежду устроить незнакомого ему студента, Г. И. повеселел и, сидя на извозчике, начал было рассказывать о своем путешествии:

— А как хорошо было в Казани! Я там провел день. — Нет! — я прекрасно съездил, — начал он убеждать самого себя, — только вот до Самары-то не доехал. Ну, да я лучше поеду в Вятку. Вот поедем в Вятку! Это будет недорого, а как хорошо-то! До Нижнего — по железной, — фантазировал он, — от Нижнего до Казани — по Волге, от Казани — свернуть надо по Каме... А денег мы достанем, я сегодня пойду к Скворцову. За ним даже есть кое-что, — Г. И. при этом хитро подмигнул..

Когда мы подъехали к Тверскому бульвару, Г. И. сошел с извозчика и сунул ему 40 копеек. На мое замечание, что извозчик нанят за 30 копеек, он поспешно и болезненно проговорил:

— Нет, нет, пусть возьмет все!

Мне в эту минуту вспомнилась десятирублевая бумажка, которую он в 1880 году сунул лакею в гостинице «Эрми-

таж», подавшему ему пальто, вспомнилось также, что эта бумажка, которую Г. И. крутил между пальцами, сходя с лестницы, составляла тогда все его богатство. Я улыбнулась и поехала дальше.

День был гадкий. Шел мелкий дождь. Солнце совсем не показывалось.

Я скоро достала, что мне было нужно, и через несколько минут уже шла по бульвару, отыскивая глазами Г. И. Он, грустный, сидел на лавочке и курил свою нескончаемую папиросу. Увидев меня, он недоверчиво, пасмурно сморщил лоб:

— Ну, что?

— Ничего.

— Значит, денег не достали?

— Разумеется, достала.

Он так и привскочил от радости.

— Да вы волшебница! Вот и отлично! Как я рад, как я рад!.. Садитесь, волшебница!

— Если бы я хотела, — сказала я, садясь на лавочку, — я много бы могла назанимать, Г. И., да не хочу...

— И напрасно. Заняли бы рублей 500, съездили бы на них. Сколько бы вы заработали! Вот приехали в Казань — сейчас два письма в «Русские ведомости», вот вам 100 рублей; приехали в Пермь — оттуда два, еще 100 рублей; добрались до Вятки — оттуда 10 писем, вот вам 500 рублей. Издали бы все это отдельно, пустили бы по...

— Ах, Г. И., — невольно вырвалось у меня со смехом, — да вы действительно министр финансов, как вас прозвал Щедрин! Пойдемте-ка лучше, сядемте на конку, да поедемте домой.

Мы сели и поехали.

Дождь моросил все сильней.

— Ну, вот, как все хорошо! — вернулся Г. И. к старой теме. — Только зачем это дурная погода? Ах, как я рад, как я рад!

— Да чему? Что до Самары не доехали?

— Нет. Рад, что мы теперь студентика-то устроим.

У Сухаревой башни Г. И. покинул меня: он спешил на станцию железной дороги, где сидел студент, «уничтожающий пирожки, как свинья», обещая вернуться к нам на Мещанские, как только вручит деньги.

Слово сдержал, чему мы все не мало дивились: через час он сидел уже у нас, пил чай и читал вслух «Записки нигилистки», которые принес с собой. Во время чтения пояснял инициалы, характеризовал автора, который, оказалось, был ему знаком.

Когда он кончил, я помню, взяла со стола номер «Новостей».

— Ах, как вы любите печатную бумагу, — сказал он, — и эти проклятые книжки! — И тут же вдруг объявил, что к Скворцову не пойдет, а лучше «посидит здесь и попьет чайку».

За чаем стал убеждать, чтобы я не сидела на месте, а ехала бы за границу, что это будет вовсе не так дорого. Тут же схватил со стола клочок бумаги, попросил карандаш и принялся высчитывать. По его расчету, на железную дорогу до Парижа нужно было иметь 70 рублей...

— А вот я... я ведь тоже ездил в Париж и в Лондон, — прервал он свои вычисления.

Лондон, оказалось, понравился ему несравненно больше Парижа.

В Лондоне все правда, — говорил он, — а в Париже все ложь. Лондон мне много пользы принес, он сильно повлиял на меня.

И, чтобы лучше выяснить правду Лондона и ложь Парижа, он начал описывать, что видел в кристальном лондонском дворце и на парижской выставке:

— Меня особенно поразил на парижской выставке своею ложью отдел под названием: «Все части света». Он весь уместился в крошечном садике. Входите, — перед вами палка, воткнутая в землю, а на ней надпись: «Африка». Вот вам часть света. Возле палки, в величину божьих коровок, африканские слоны, тамошние растения... Ложь! все одна ложь!.. А я только там и жить могу, где чувствуется правда. Потому меня и манит больше жить в деревне, а не в городе. Город я терпеть не могу, — я болен от него.

Уходя домой, он стал нас звать итти с ним завтра с утра в Третьяковскую галлерею.

На другой день Г. И. действительно пришел в назначенный час. Сестра не пошла, и мы с ним отправились вдвоем по образу пешего хождения. К нашему общему стыду, ни я, ни Г. И. до сих пор ни разу не были в галлерее и не знали даже ни улицы, ни дома, где она помещается; мы знали только, что за Москвой-рекой, недалеко от моста, но какого моста, даже и это нам не было известно.

День был не то, что вчера, — хороший, светлый, и мы весело пошли к Каменному мосту, ни у кого не спрашивая, где галлерея. Дошли вплоть до моста и только тут обратились с вопросом к первому прохожему.

Прохожий, как знающий человек, ни минуты не задумываясь, указал пальцем на Москворецкий мост.

День становился все жарче, солнце начинало немилосердно припекать. Мы, пропутешествовав пешком с Мещанских, порядочно устали и, перейдя через мост, уселись в тени на лавочке, чтобы дать немного отдохнуть, а затем снова задвигались к Москворецкому мосту, где, конечно, нас ждала та же участь, что у Каменного. Но мы не унывали: солнце так хорошо светило, настроение было такое веселое, что все эти неудачи возбуждали только смех, и мы взапуски смеялись друг над другом. Теперь Г. И. стыдил меня всю дорогу за мое невежество — не знать, где помещается Третьяковская галлерея.

Насмеявшись вдоволь, мы опять зашагали к Каменному мосту, но теперь уже далеко не так бодро; хоть мы на этот раз и разыскали Лаврушинский переулок и дом Третьякова, где помещалась галлерея, но вследствие сильной усталости смотреть картины были уже не в состоянии и решили лучше повернуть назад и итти домой через Александровский сад, где сильно обрадовались возможности посидеть. Сидели долго, сперва в одном саду, потом в другом, наконец в третьем — все отдыхали.

Я заявила, что итти пешком больше не могу, что возьму извозчика, который попадется.

— Ни, ни! — сказал настойчиво. — И не думайте нанимать! — Зачем раньше транжирили?

Я не стала возражать, а сию же минуту наняла извозчика, села и предложила Г. И. занять место.

— Ну, вот, за это я вам очень благодарен, — сказал он совсем неожиданно, садясь в пролетку. — Только я теперь лучше домой пойду. Пойдемте со мной, мы там чайку попьем.

— Какой теперь чай? мы сейчас обедать будем.

Извозчик между тем въезжал в одну из Мещанских, где нам стали попадаться навстречу все какие-то старушенции, вопросительно и подозрительно посматривавшие на нас.

— Видели,— спросил Г. И., — как сейчас прошли две салопницы? Это сплетницы. Они уже сегодня раззвездят, что мы с вами в Третьяковскую галлерею ездили. А мы возьмем да, на смех им, завтра опять в Третьяковскую галлерею отправимся.

Мы подъехали к дому, я стала вынимать деньги извозчику.

— Ах как это скверно, как это скверно! — заволновался он, как неловко! — Дама платит, а кавалер...

Я предложила, чтобы он взял у меня деньги и сам отдал извозчику.

— Ну уж... отдайте вы.

Когда мы дома пообедали, Г. И. упросил нас с сестрой итти к нему в гостиницу пить чай. Мы отправились, и как только вошли к нему в номер, сейчас был подан чай. Г. И. закурил свою бесконечную папиросу, принял обычную позу и заговорил:

— Мне непременно нужно ехать в Вятку, да и в Самару надо съездить. А к Скворцову, — сказал он, словно провинившийся, — я не пойду. Не могу я итти, — сказал он, как упрямое дитя: мне нездоровится... у меня печень болит, бок болит...

По мере того как он говорил, его лицо выражало тяжелое страдание, и, как бы от сильной физической боли, он прикладывал два пальца правой руки к больному боку.

Мне стало страшно его жаль.

— Да не ездите, Г. И., кто вас заставляет? Только вот откуда вы себе денег-то достанете?

— А у меня есть здесь знакомый учитель, — сказал он, понижая голос. — К Писареву (актеру) съезжу. Я завтра утром поеду в Петровский парк к Писареву, — сказал он обрадовавшись, что нашел другую соломинку, избавляющую его от визита к Скворцову. — Обедать к вам не пойду, обедать буду здесь, дома. Если у Писарева достану денег, то приду к вам до 5 часов, а если не достану, то вы ко мне приходите... Тогда я уж напишу что-нибудь. Вы захватите мне кстати почтовой бумаги и стальных перьев... Только не будемте сегодня больше говорить о деньгах, — умоляюще сказал он, и все его лицо сжалось, как от физической боли...

В одиннадцать часов мы принялись уходить. Он хотел было итти провожать, но мы убедили его остаться дома. Прощаясь, он несколько раз повторил, что завтра пойдет в Петровский парк за деньгами.

— Если добуду, то к вам приду до 2 часов, и тогда мы все отправимся на Воробьевы горы.

— Да ведь денег-то у вас и на конку в Петровский парк, пожалуй, нет?

— Да-с нет.

Мы пожалели, что у меня в кармане была только мелочь...

— Если я завтра не приду к 5 часам,— говорил он, затворяя за нами дверь, то вы приходите. — Уж вы не покидайте меня...

На другой день, согласно условию, мы ждали его до 5 часов, а когда пробило 5 и он не пришел, я одна пошла

к нему в гостиницу, — сестра почему-то не могла итти, — и, как следовало ожидать, Г. И. не оказалось дома.

От швейцара я узнала, что он весь день просидел у себя в номере «и только сию минуту ушел».

Я прошла к нему в номер, где, согласно его желанию, положила на стол почтовой бумаги, перьев и затем оставила записку такого содержания:

«Была у вас. Рассердилась на вашу неаккуратность. Ждем вас сегодня. Е. Н.»

Но в этот день Г. И. не пришел. На другой день утром, только что я уселась за работу, входит Г. И. со словами:

— Какая строгая учительница! Удивительно страшно!

Я совсем и забыла, что мне нужно было сделать вид, что я на него сержусь, и вместо этого принялась его расспрашивать о том, как идут его дела.

— Да что, был я в Петровском парке, — говорил он печально, — видел Писарева и Бурлака, — они все там друг в друга влюбились...

— Ну, а насчет ваших-то дел как?

— Да как? Я ни слова не сказал. Да я не мог сказать; они меня все так хорошо приняли, — сейчас вином... У Бурлака своя коляска... Он хотел для меня играть. Упрашивал, чтобы я шел в театр... А как же мне? — и Г. И. сделал страдальческую и в то же время двусмысленную физиономию. — У меня на билет ведь и денег нет.

— А вы каким же путем туда-то отправились?

— Пешком ходил-с, взад и вперед пешком-с. Сперва пошел в Петровско-Разумовское к Иванюкову, оказалось, Иванюков уехал за границу. Я оттуда в Петровский парк, ну и не решился.

— А учителя-то видели, с которым хотели переговорить?

— Да, видел... он у них. Я хотел было к нему, а он глазами показывает, что мол некуда, я тут у них... А завтра суббота, — сказал Г. И. после некоторого молчания, — надо в гостинице расплачиваться... Да нет, ничего, я не унываю, я весел!..

— Ну, и прекрасно!

— И Г. И. вдруг, без всяких предисловий, начал бранить себя:

— Нет, какой я к чорту семьянин? Это просто нельзя.. Мне надо устроиться. Надо жену обеспечить... А жену я устрою, непременно устрою. Издам снова все свои 12 книжек. Если с каждой ей в год придется по 100 рублей, то ведь это 1200 рублей. Да, я устрою!.. А то, какой я семьянин? Мне это непременно надо... Надо писать иначе,

непременно иначе. Долой мужика! Будет с мужиком возиться...

— Вас не отпустят от мужика, если бы вы и захотели с ним расстаться, — поддразнила я.

— Да кто же это меня удерживает?— сказал он с оттенком серьезной обиды.

Я назвала, прибавив в шутку еще что-то.

— Неправда, я нисколько не изменился. Я иду по той дороге, которую выбрал. А мне надо большое что-нибудь писать, — сказал он и хитро улыбнулся. Только надо писать по правде!.. Вот что значит писать не по правде! Я Решетникова знавал под конец его жизни, когда он мне очень не нравился. Но, читая его произведения, я чувствовал, что он лучше, что он должен быть лучше, иначе он этого не написал бы. И вот, взявшись за его биографию, я старался представить его себе лучше, насиловал себя... и чем же кончилось?.. Вот что значит писать не по правде... Со мной сделалась истерика, а затем обморок. И я пролежал в таком состоянии больше часа. Тут еще, помню, пришел Елисеев, Г[ригорий] З[ахарович]... — и, не докончив своей мысли, Г. И. вдруг заторопился. — Мне пора итти! Надо спешить. Прощайте. Поедете завтра в Петровский парк знакомиться с Писаревым? Я приду за вами в 8 часов.

— Поедем ли, не поедем ли, а вы приходите. Только теперь-то вы куда это так заторопились?

— По делам.

— Ведь лжете?

— Лгу.

— Ну ступайте. Завтра ждем вас в 8.

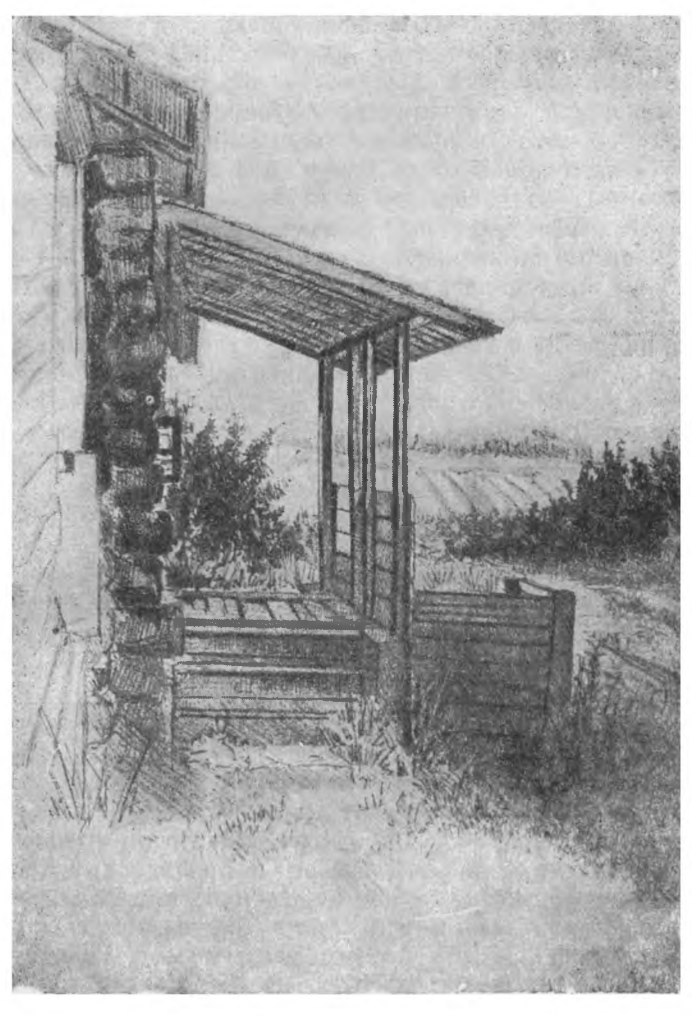
Но прошел день, прошел другой, прошло еще много дней, а Г. И. не являлся.

Охотно бы я сходила к нему в гостиницу, узнать, не заболел ли. Да боялась, что он примет мой визит за опекательство, потому я не пошла. Может быть, он достал денег и уехал в Петербург?

Так оно и оказалось: Глеб Иванович достал денег и уехал, не простившись, домой, в Петербург. Такого рода маневры настолько были ему присущи, что на него за них никто не сердился, да и сам он редко извинялся за подобные сюрпризы.

Семья его это лето проводила в Волхове, куда и он скоро направился. В августе его опять захватила со всею силою его неизлечимая болезнь: нужда в деньгах...

Е. С. Некрасова.



Черновое крыльцо дома Г. И. Успенского в деревне Сябринцы (близ Чудова).

С рисунка А. Г. Успенского.

Институт русской литературы Академии наук СССР.

Познакомился я с Гл. Ив., если не ошибаюсь, весной 1881 года, уже достаточно зная его по литературным трудам, которыми я зачитывался и которые располагали к мечтам о личной встрече. Поводом послужил написанный мною «беллетристический» очерк (рассказ), внушенный событиями личной моей жизни, который я хотел представить на суд компетентных лиц, и для этого направился в редакцию журнала «Слово».[9] Там я обратился со своей просьбой к первому вышедшему мне навстречу (как потом оказалось — С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко), который, приветливо взглянув на меня, тотчас указал руками на сидевшего тут же другого, со словами: «Вот, чего же лучше, — Глеб Иванович». Нечего и говорить, что я обомлел от неожиданности. Гл. Ив. назначил мне время, когда к нему притти (жил он тогда, кажется, на Лиговке, очень высоко), и вот вскоре состоялось чтение. С каким милым вниманием следил за ним Гл. Ив., как кстати задавал ободряющие вопросы! Произведение было им одобрено к напечатанию в журнале (но потом не принято редакцией). Гл. Ив. звал меня заходить.

Радости моей не было границ: когда я шел от него ноги не касались земли. Теперь плохо припоминаю, как и когда я познакомился с его семьей; вообще забылось многое, что его окружало, что было «не им». Остались в памяти отдельные отрывки встреч и разговоров почти что только с ним.

Живо вспоминается первая поездка к нему в Сябринцы (близ ст[анции] Чудово Ник[олаевской] ж. д.) летом 1882 года. Я поехал в Москву на выставку и «не смел и думать» о возможности посетить Гл. Ив. Когда поезд остановился в Чудове, и возможность оказывалась так близка, я впал в тягостную нерешительность. Меня выручил... станционный жандарм, произнесший (или мне показалось) имя Глеба Ивановича. Я к нему тотчас же обратился с вопросом, где живет Гл. Ив., и здесь ли он. Необычайно тронуло то радостное внимание, с каким пожилой жандарм сообщил мне, что «как же, они здесь», и рассказал, как ближайшей тропинкой пройти в Сябринцы. Оставив у него чемодан, я пошел по тропинке.

Об обстановке дома Успенских в Сябринцах достаточно известно; да я и затруднился бы припомнить какие-нибудь интересные подробности. Почти крестьянская простота ее и всех привычек Гл. Ив. — вот главное, что осталось в памяти. Вторичная поездка в Сябринцы, зимою, тоже

оставила впечатление такой «простоты жизни», которая казалась образцовой и обязательной для всякого...

Разговоры в первую поездку не могли не принять характер «исповеди» с моей стороны, так как меня теснило и мучило множество не разрешенных вопросов. Продолжал я путь в Москву точно иным человеком: просто и радостно подходил к другим, даже совсем простым людям, ища случая быть им так или иначе полезным. Если бы я не опасался слишком много говорить о постороннем, я мог бы рассказать здесь о нескольких интереснейших встречах, находившихся в самой тесной связи с тем «излучением духовной красоты», которое шло от Гл. Ив., согревая других...

Осенью 1882 года Гл. Ив. просил меня подыскать ему комнату, в которой он мог бы останавливаться при своих частых приездах из деревни. Освободилась комната рядом с моей (на Песках), и она была для него занята. С тех пор я стал свидетелем характернейших подробностей повседневной жизни Гл. Ив-ча во время его приездов, видал его и днем (реже всего), и рано утром, и вечером, а то и поздней ночью. Оставшиеся воспоминания отрывочны и бессвязны; во многом изменяет память; но как дороги и милы эти подробности, в которых лучше, чем в чем ином, выражается законченная цельность его личности, та полная гармония между его образом как писателя и его обыденно-человеческими чертами, которая столь была ему свойственна!

Постараюсь передать эти отрывочные и бессвязные воспоминания, как могу, занося только то, что твердо запомнилось.

Прежде всего — об обстановке комнаты, занятой Гл. Ив-чем. Когда хотят дать понятие о неприхотливой и несколько беспорядочной обстановке, называют ее «студенческой». Но это слово сюда совершенно не подходит. Обстановка комнаты Гл. Ив. была единственная, едва ли допускающая повторение где-либо и когда-либо. Представьте себе большую высокую комнату, с двумя большими окнами, в которой, кроме простой железной кровати, стояли еще только огромный стол, глиняная умывальная чашка на табуретке и несколько стульев; небольшой запас белья и «костюмов» ее обитателя помещался в простом деревянном ящике под кроватью и на вешалке... Упомянутый стол назывался в семье — «для детей», и я видел его еще в городской квартире Успенских; его размеры были таковы, что на нем свободно могли бы лежать рядом, растянув-

шись трое взрослых. Стульев было 2 или 3, и квартирная хозяйка иногда не стеснялась забирать даже их, когда у нее бывали гости, давая взамен табуретку и какой-то лом. Зимою в комнате бывало очень холодно: экономная хозяйка под разными предлогами избегала топить печь, и Гл. Ив. не раз сиживал в теплом пальто. Прислугою была симпатичная девушка Даша, имевшая склонность к стихотворству и знавшая, что комнату занимает «писатель». Сперва она говорила про него: «какой-то странный», но мало-помалу, видимо, оценила совершенно исключительное обращение с ней Гл. Ив-ча, охотно и щедро оплачивавшего ее мелкие услуги, и стала украдкою от хозяйки подбрасывать дров в печь, так что жить в комнате сделалось сноснее. Гл. Ив. приезжал из деревни то на день, то на два, то оставался неделю и больше. Днем он, конечно, редко бывал дома. Но случалось, что садился за писание или корректуру, и тогда подолгу просиживал в сообществе подогреваемого несколько раз самовара, среди кучи папирос, а иногда бутылки-другой пива.

Писал он быстро, мелким красивым почерком, на одной стороне почтовых листов обычного формата, почти без помарок; при этом неустанно покручивал бороду. Иногда быстро вставал, ложился на растрепанную кровать и оставался так в задумчивости некоторое время, осыпая все кругом окурками папирос. Потом порывисто поднимался и снова брался за перо. Каких-либо посещений (впрочем, очень редких) в такие часы он боялся пуще огня и готов был от них спрятаться. К моему присутствию (тут же, за стеной) он привык настолько, что, случалось, во время упомянутых перерывов работы, ласково звал меня к себе, усаживал поблизости (около кровати непременно стоял нетронутый стакан с чаем) и начинал «думать вслух» на занимавшую его тему. Иногда, увлекаясь, изображал «в лицах» какую-нибудь сцену. Было бы, конечно, бесполезной попыткой воспроизводить здесь его неподражаемые образные обрисовки, украшенные жестами и милым юмором, — тем более, что многое забыто.

Чаще всего приходилось мне слышать речь Гл. Ив. по утрам, когда он еще был в постели. Часов в 8—9 утра слышу его стук «Н[иколай] С[ергеевич], вы проснулись? А ну-ка ко мне на минутку!» Нечего и говорить, как я дорожил этими минутами (которые, к счастью, иногда растягивались и на час)... В известные моменты Гл. Ив-чу, видимо, нужен был подходящий собеседник или, вернее, сочувствующий слушатель. И он, без сомнения, находил его

во мне, подходившем к нему с открытою душой. В прекрасных воспоминаниях В[арвары] Т[имофеев]ой (Починковской) подмечена подробность, которая и мне бросилась в глаза: около размышлявшего Гл. Ив почти неразлучно стоял стакан чая, который он, не выпивая, выливал и заменял новым. На вопрос, почему он это делает, он отвечал: «А я люблю, чтобы около меня всегда было что-нибудь теплое». И вот он искал случая иметь подле себя кого-либо, в ком он ощущал бы эту необходимую для него теплоту. Согревая других «излучением духовной красоты», Гл. Ив. и сам был очень восприимчив к лучам, исходившим от других, хотя бы и отражавших обратно его же собственные

Изредка вечером у Гл. Ив. собиралось несколько человек (больших сборищ не бывало). Он звал меня, но я под разными предлогами уклонялся и заходил лишь тогда, когда знал, что были только симпатичные мне посетители. Поэтому я мало что могу сказать об этих «ассамблеях», как называл их Гл. Ив., который, надо заметить, в таких случаях не бывал особенно разговорчив. Трудно изобразить, во что обращалась и без того непривлекательная комната Гл. Ив-ча, когда она, освещаемая светом двух свечей, наполнялась густым табачным дымом, а стол украшался пивными и винными бутылками и беспорядочно расставленными закусками.... Напитки появлялись в изобилии особенно тогда, когда в числе посетителей бывал один нотариус, добродушный кругленький человек, которого в своей компании называли «Николай Утробычем». Если Гл. Ив-чу случалось уходить вместе с посетителями, он особенно деликатно, как бы извиняясь, просил Дашу «все это убрать», и она только дивилась, как так многое из еды оставалось нетронутым: конечно, больше пили.

Бывали посетители, остававшиеся у Гл. Ив. ночевать. Так как ни кушетки, ни другой кровати нельзя было достать, то Гл. Ив. самым решительным образом, не допускавшим колебаний, укладывал гостя на своей кровати, а сам, подостлав шубу, устраивался на полу... К счастью (по крайней мере в то время, о котором идет речь) Гл. Ив. обладал прекрасным сном и мог не стесняться никакой обстановкой. Он добродушно подтрунивал над теми, кому не спалось «на новом месте».

Курильщик он был, как известно, необузданный: ему случалось выкуривать по 200 папирос и больше в сутки. (При этом он редко пользовался спичками, так как насаживал остаток огня курившейся еще папиросы на новую.) Утром все пространство вокруг кровати было сплошь усеяно

окурками. Однажды я был свидетелем истинных мучений Гл. Ив., когда поздно ночью он остался без единой папироски и когда их нигде нельзя было достать. В какой-то тоске метался он по комнате и стонал, размышляя вслух, где бы достать хоть одну папироску... При всей своей деликатности он даже разбудил Дашу, умоляя ее выручить из беды. Кажется, она ему где-то нашла требуемое.

В эту зиму я много занимался химическими опытами, подготовляя их для бесед с группою собравшихся у меня слушательниц Высших женских курсов и имея в виду написать элементарную книжку по химии (которая и вышла в свет в 1886 г.). В минуты рассеянности мыслей Гл. Ив. очень интересовался этими опытами, иногда «прося позволения» посмотреть, как у меня «все это выходит». Бывало, задавал вопросы, свидетельствовавшие о глубоком интересе к проявлениям неживой природы и к способам их изучения. Однажды — конечно, подогреваемый желанием сказать мне что-нибудь приятное — стал даже утверждать, что из естественных наук его очень привлекает именно химия,—настолько, что он боится увлечься ею, но... «но только кто же тогда будет писать»? В явлениях «химического сродства» он видел как бы прообраз любви и вражды в неживой природе и по-своему старался извлечь отсюда поучение для человеческих отношений. Впрочем, как человек довольно чуждый делу, он представлял себе главное совсем не в том свете, как следовало. Да и самый интерес к химическим явлениям, конечно, мог быть для него все же лишь интересом момента...

Около того же времени Гл. Ив-чу попала в руки (кажется, от меня) брошюра К. В. Дубровского «Общедоступные химические приборы». Необычайная простота изготовления приборов восхитила Гл. Ив-ча. Он некоторое время «носился» с брошюркой («вот что нужно нашей народной школе»), собираясь написать о ней; но что-то отвлекло его интерес и помешало осуществить намерение.

Для характеристики некоторых особенностей Гл. Ив. могут послужить еще следующие отрывочные воспоминания.

Гл. Ив. всячески избегал людей многоречивых, с готовыми обо всем мнениями, в особенности таких, которые в разговоре больше всего распространялись о себе. Он

прямо-таки пугался появления таких господ и склонен был бежать и прятаться от них. Помню, как однажды он почти вбежал ко мне и с нескрываемым испугом (но и с комической усмешкой на лице) воскликнул: «Н[иколай] С[ергеевич], ради бога спрячьте: NN идет!» (Он увидел в окно.) Не менее того он боялся прихода некоей П. Н., которая обыкновенно старалась выпытывать мнения Гл. Ив. по всяким занимавшим ее поводам.

Гл. Ив. испытывал и некоторую робость перед уравновешенностью людей, для которых как бы не существует «вопросов», — когда дело шло о личностях, хотя и в лучшем смысле порядочных, но таких, которые по самому свойству своих духовных интересов не влекли его к себе. (К тем, которые интересовали и привлекали, он, разумеется, умел подойти.) Помню, мне очень хотелось устроить встречу Гл. Ив-ча с очень известным в то время прекрасным педагогом и замечательным человеком — А[лександром] Я[ковлевичем] Гердом. Мне казалось, что Гл. Ив-чу просто отрадно будет отдохнуть душой в беседе с таким уравновешенным, убежденным, умным и добрым человеком, каким был Александр Яковлевич. Гл. Ив. отказывался от этого — правда, как-то нерешительно, под разными предлогами, говоря шутливым тоном, что он «боится» таких людей. Конечно, будучи способным относиться к людям этого рода с уважением, которого они заслуживали, Гл. Ив. чувствовал, что все же им с ними «нечего делать».

Терпеть не мог Гл. Ив. сниматься в фотографиях, и если шел на это, то чтобы отвязаться от многих настойчивых просьб, опасаясь обидеть отказом. Не мало труда стоило Н[иколаю] А[лександровичу] Ярошенко уговорить Гл. Ив-ча позировать для портрета. Когда портрет был готов, Гл. Ив. однажды позвал меня пойти с ним к Ярошенко взглянуть на работу. Указывая на портрет (он мне показался не совсем удачным), Гл. Ив. не без огорчения, но с обычным оттенком насмешки настойчиво повторял: «Смотрите, Н[иколай] С[ергеевич], он изобразил меня при часах, да еще с цепочкой! Ну разве у меня могут быть часы?!» Действительно, трудно себе представить, чтобы у Гл. Ив-ча могла долго удержаться вещь, которую так легко и просто было обратить в деньги...

Написав который-нибудь из своих очерков, продержав корректуру и перемучившись с сюрпризами (впрочем, не неожиданными), которые связаны были с печатанием, Гл. Ив. потом (конечно, временно) совершенно охладевал к предмету увидевшего свет очерка. Более того: его

несколько нервировало и расстраивало частое упоминание его имени в периодической печати и в разговорах. Помню, как позже, когда печаталось первое[10] (Павленковское) издание его сочинений, я однажды застал его, расстроенного, за корректурой собственных строк (конечно, далеко не всегда согласных с рукописным оригиналом). При моем появлении он сердито оттолкнул от себя кучу печатной бумаги со словами: «Если бы вы знали, как мне надоел этот Глеб Успенский! Но что же поделаешь?..»

К рецензиям на свои писания Гл. Ив. вообще относился «сдержанно» и неохотно говорил о них...

...Мне запомнился характерный отзыв Гл. Ив-ча по поводу одной длинной рецензии (в «Новостях»[11] О. К. Нотовича). Когда я заговорил с Гл. Ив-чем о некоторых ее странностях, он махнул рукой и сказал с улыбкой только одно слово — «У, бз..н»... Что можно было еще к этому прибавить?..

...Не могу не сказать нескольких слов об отношении *самого* Гл. Ив. к «напиткам». В общем он, конечно, принимал их гораздо более, чем допускала бы безвредная норма. Но, мне кажется, это не было следствием «тяги» к спирту. Он напивался потому, что большею частью вращался в кругу, в котором нельзя было не пить. Он жил интересами людей, для которых водка — душа и поэзия жизни. Он не скрывал своего глубокого отвращения к одурманиванию и временами горько жаловался на то, что ему не удалось устоять в компании литераторов, среди которых тоже бывали «поэты выпивки». (Вместо «литераторы» он в таких случаях применял другое, созвучное, но не совсем безобидное выражение...) «Вы не можете представить себе, Н[иколай] С[ергеевич], — пьют как потерянные... Это ужас!» Однажды мне пришлось быть свидетелем следующей грустной и вместе комичной сцены. Поздно ночью, слышу, возвращается Гл. Ив., возится, стучит и плещется. Я подошел к нему, осветил комнату и вижу, что он, полураздетый, полощет лицо в тазу с жидкостью очень подозрительной чистоты... я ему принес свежей воды, в которой он долго мылся с искренним наслаждением, точно отдыхая. Потом еще мокрый, отдуваясь, не совсем твердо стоя на ногах, с обычным грустно-насмешливым выражением, сказал: «Вот опять напоили! (Он прибавил неудобосказуемую остроумную шутку.) Нет, уж это в по... следний раз!»

Известно, что Гл. Ив. почти никогда не говорил о своих личных затруднениях и горестях, на которые так охотно «жалуемся» мы, грешные. Вернее сказать, «личное» для него неотделимо сливалось с интересами других. Единственное личное горе, которое он не мог скрыть, была постоянная нужда в деньгах, которые имели свойство исчезать, не успев даже опуститься до глубины кармана. И обыкновенно исчезали, не заполнив даже тех прорех, которые Гл. Ив-чу представлялись очередными. Его безысходные мысли о том, как бы раздобыть денег, принимали иногда форму острой тоски, в роде той, с какой он искал однажды ночью папирос.

Временами Гл. Ив. не мог удержаться от восклицания: «Как я устал! Ах, как я устал! Вот бы, кажется, бросил все и уехал куда-нибудь отдохнуть... Я пробовал приводить ему обычные доводы относительно пользы и необходимости физического труда на вольном воздухе, указывая в особенности на работу в огороде и «около дома» (я ссылался на хорошо известные ему очень убедительные примеры и на собственный опыт). Гл. Ив., надо сказать, внимательно слушал — ему, видимо, нравилась картина такого отдыха, — но потом, устремив свои чудные глаза на меня в упор и подергивая тонкими пальцами бороду, с грустью ставил неотвязный вопрос: «Хорошо, Н[иколай] С[ергеевич], — а кто же писать-то будет?»

Н. Дрентельн, «Отрывки из воспоминаний о Глебе Ивановиче Успенском», «Русская мысль» 1916, сентябрь.

... Я... желал бы и, может быть, попытаюсь изобразить статью о произведениях Г. И. Успенского, я давно об этом мечтаю. Крупный художник благодаря излишней своей нервности, излишней своей отзывчивости на злобу дня, растрачивающий свой талант на фотографические очерки, перемежаемые публицистикой, — явление поучительное. Я попытаюсь в свободное время коснуться этой темы, и если осилю, разумеется, пришлю вам. Меня тем более привлекает эта тема тем, что Глеба Успенского я знаю довольно хорошо, и смело могу сказать, что подкладка многих его произведений въявь проходила передо мной. Ум оригинальный, талант могущественный, личность симпатичнейшая — вот Успенский. Я помню вечера, когда я, внимая спутанной, явно нелогичной нервной речи Успенского, испытывал глубочайшее наслаждение. Самые обыденные, самые обыкновенные перспективы иногда озаря-

лись его мыслью ясно и резко и получали неведомый дотоле характер новизны и поучительности. Я сказал, «явно нелогичный». Да, он как будто не логичен; я знаю многих, которые отходили от него разочарованные, пожимая плечами. Они не замечали в нем логики иного сорта, логики внутренней... Но и ум громадный, и художественная глубина, и дар проникновения, как сказал бы Достоевский,— все это порабощено и повинуется болезненным, тонким нервам. Поражающее богатство мысли эти нервы несчастные мечут и рвут безжалостно. В его *уме* некогда сложиться *системе*. Раз в шутку он говорил мне: — если бы меня заперли в тюрьму, да при этом обеспечили бы семью, я непременно написал бы что-нибудь ценное и стоящее. За этой шуткой кроется очень серьезная мысль: ему нужно уединиться от жизни. Игнорировать [изолировать?] нервы свои от непрестанной вереницы терзающих явлений — вот в чем фокус. Если этого не случится, Глеб Успенский пройдет в нашей литературе плотником, но не зодчим. А сколько от этого потеряет наша литература — выразить боюсь.

Я не стал бы касаться своей особы, если бы касательство это не характеризовало Глеба. Коснусь же... Я явился весною 1879 года в Петербург — на уровне писаревских понятий, с одной стороны, и шелгуновских, с другой. Кроме того был я под влиянием писателя, альфой и омегой ставящего один его род, роман тенденциозный... И вот в этот-то мир наивной прямолинейности и положительно беспочвенной дерзости ворвался свет смелый и оригинальный. Я говорю о знакомстве с Успенским. Все, что таилось во мне под корою наивной и самодовольной прямолинейности, — все это быстро и жадно встрепенулось, встревоженное этим светом. В Успенском на меня как бы дохнула трезвым дыханием своим *история*. И вы не посетуйте на странность этого выражения. Это не значит, чтобы Успенский угощал меня Шлоссером, о, нет, о *такой* истории он говорил редко и неохотно. Но, представляя факты и явления современности, он так своеобразно и ярко освещал их, что изумленному уму моему были видны корни и нити, связывающие эти факты и эти явления с их исторической подпочвой. И тогда я вспомнил ту действительность, которая окружала меня с колыбели своею грязью и которую хорошо знал я, не придавая ей значения. Теперь она раскрыла мне свои тайны. Правда, все, что под наитием известной школы писателей — беллетристов и критиков — казалось прежде ясным и простым — «стоило только переписать», — спуталось теперь в мучительно неразрешимый

узел, и многие надежды оказались надеждами смешными и наивными, но процесс свершился бесповоротно. И все это без вмешательства книг. Можно поэтому судить о той силе ума и замечательности понимания жизненной сути, которыми обладал Успенский. Переродить человека, как хотите, не легко, а я, по совести могу сказать, не слишком-то податлив на воздействия.

Из письма *А. И. Эртеля* А. Н. Пыпину от 21 июля 1881 г. «Литературные беседы», изд. Общества литературоведения при Саратовском государственном имени Н. Г. Чернышевского университете, Саратов 1929, стр. 145—146.

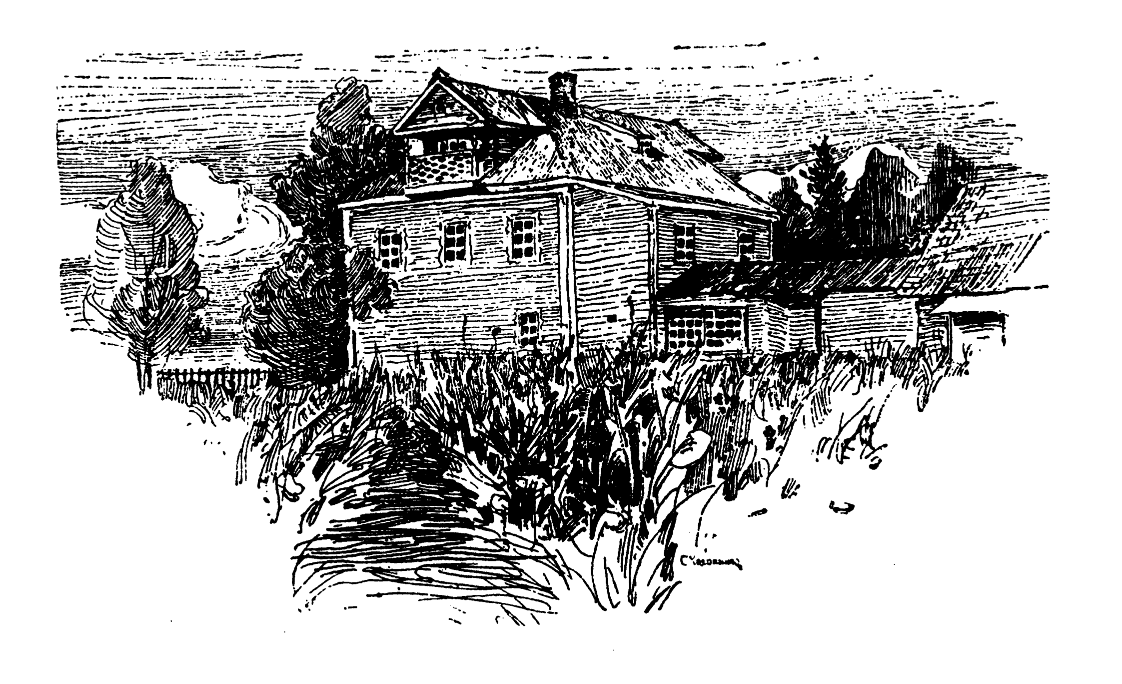
Особенно памятна мне его дачка в деревеньке Сябринцах, верстах в трех от станции Чудово, в которой он проживал с семьей не только летом, но и зимой, куда нередко уезжал он и один от проживавшей в городе семьи — работать в полном одиночестве. Мне случалось гащивать у Успенского на этой дачке по нескольку дней, и много в ней переговорено и передумано и один на один с хозяином и в сообществе с прочими членами кружка «Отечественных записок» ... Особенно в этом отношении памятны были поездки на именины Успенского 24 июля в день Бориса и Глеба, когда к Успенскому собиралось человек по десяти или по пятнадцати.

А. М. Скабичевский

Многоуважаемый Глеб Иванович! Я знал одну барыню, которая приедет и скажет: я пойду детям белья купить. А через час возвратится: купила зонтик! Так точно и вы: обещали нам для июньской книжки белья, а купили зонтик. [12] Но зонтик вышел такой отличный, что я решаюсь вас просить: нельзя ли такой же прислать и для июльской книжки. Это много бы скрасило последнюю.

Из письма *М. Е. Салтыкова* Успенскому (июнь 1881 г.) «Голос минувшего», 1915, № 1.

... Статья ваша [13] уже набрана, но в июльской книжке она пойти не может, потому что первая половина этой книжки вся уже готова, сверстана, напечатана и втиснуть туда что-либо так же немыслимо, как в майскую или апрельскую. Ведь не в приложении же печатать вашу повесть, в роде иностранного романа, и к тому же я вовсе не уполномочен ни располагать количеством печатных листов, ни



Вид дома Г. И. Успенского в деревне Сябринцы близ Чудова

С рис. пером С. В. Чехонина

Институт русской литературы Академии Наук СССР

назначением статей в ту или другую книжку. Со всеми такими делами следует вам обращаться не ко мне, чернорабочему, а к господам — Салтыкову, Елисееву или Михайловскому, а мне что они благоволят приказать, то я и делаю без всяких рассуждений, и на состав книжек, равно и на расположение статей имею ровно столь же власти, как и тот посыльный, который в редакционные дни дремлет у дверей редакции, так что если впредь вам понадобится что-либо относительно ваших статей, так вам следует обращаться к Салтыкову, а за неимением его к Михайловскому.

Из письма *А. М. Скабичевского* Успенскому 8 июня 1881 г., «Голос минувшего» 1915, № 1, стр. 215.

...Во-1-х, мне надо отдавать московские долги, во-2-х, надо непременно ехать по тому же делу,[14] иначе я до того упаду духом под давлением гнусной бездеятельности, что ей-богу буду не в состоянии работать ни осень, ни зиму. Уверяю вас, что это так, а меня это просто разорит. В виду этого рассказ, который у меня есть, мне надо поместить где-нибудь... Если бы было разрешено «Слово», то я бы напечатал там. В «Деле» — нельзя, п[отому] ч[то] перессорились из-за «Русского богатства»[15] (Бажин). В «Вестн. Ев.» — совсем невозможно: это «лагерь», и Салтыков обидится. Остается одно — попробовать поместить в «Русской мысли»...[16]

Из письма *Г. И. Успенского* Е. С. Некрасовой, Волхов 1 августа 1881 г., «Голос минувшего», 1915, № 4, стр. 229.

Пишу вам по поручению Салтыкова, который ждет не дождется окончания вашего рассказа и просит меня написать вам о скорейшей присылке его. Мы добрались от вас до Питера благополучно, и только одно было для меня весьма огорчительно: именно, несмотря на то, что я всю дорогу тщательно убеждал Сергея Николаевича, что я вовсе не пьян, он оставался при этом компрометирующем меня убеждении. Да останется это мое посрамление на вашей совести, Глеб Иванович.

А у нас тут в словесном отношении новые комбинации имеются в виду, какие именно — узнаете при свидании...

Что вам писать еще? Все у нас стоит вполне благополучно, все мы благоденствуем в мирном житии, преуспеваем в своих предприятиях и движем наше отечество по пути

прогресса. Глубокий поклон Александре Васильевне, поцелуйте от меня ваших деток, и выпейте за меня хоть одну бутылку того прелестного пива, которое я у вас пил до посрамления перед Сергеем Николаевичем и которого я не забуду по гроб жизни. Преданный вам А. Скабичевский.

Письмо *А. И. Скабичевского* Г. И. Успенскому 26 октября 1881 г. «Голос минувшего 1915, № 4, стр. 223.

Однажды у меня приключился бронхит, столь продолжительный, что грозил, казалось, превратиться в хронический. Я обратился к Манасеину. Исследуя меня, он, между прочим, спросил, много ли я пью и не принадлежу ли к числу алкоголиков.

Я отвечал, что каждый день пью не более одной рюмки перед едою, допьяна же напиваюсь очень редко.

— Ну, — возразил он, — значит вы — форменный алкоголик. Вовсе не тот алкоголик, который напивается раз в месяц, хотя бы до положения риз, а именно тот, который пьет хотя бы по одной рюмочке каждый день.

Замечание профессора я передал своим товарищам. Успенский подхватил его, и потом, когда кто-либо отказывался пить более одной рюмки, говорил:

— Чего вы отказываетесь, когда сам Манасеин запрещает пить по одной рюмке, велит напиваться не иначе, как до положения риз?

Это была, конечно, не более как остроумная шутка. Самого же Успенского никто никогда не видал напившимся до положения риз, и не только потому, что вино на него не действовало, не опьяняло его, а потому, что он отнюдь не имел к нему такого рокового пристрастия, как это многие полагали.

Во французском языке существует два слова для обозначения любителей спиртных напитков: «buveur» и «ivrogne». В русском языке, в свою очередь, почти такое же различие между словами «питух» и «горький» или «запойный» пьяница. Успенский был именно питух и кутила. Он отнюдь не принадлежал к типу тех запойных пьяниц, как Помяловский, Демерт, Решетников и многие другие. У него не было таких определенных периодов, о которых сложилась известная пословица: «Запил и ворота запер», подразумевая под этим, что одержимый подобным припадком пьяница бросает все свои дела и с утра до ночи хлопает рюмка за рюмкой, ничем иногда не закусывая; в заключение

же пароксизма заболевает белой горячкой. Ничего подобного с Успенским никогда не бывало. После какого бы то ни было сильного кутежа с приятелями он садился на другой день за работу и по неделям мог обойтись без капли вина. Так что предположения, что болезнь Успенского произошла на почве алкоголизма, лишены, по моему мнению, всякого основания.

А. М. Скабичевский.

Не могу не заступиться за Глеба Ивановича [Успенского], которого я очень люблю и уважаю и к которому вы отнеслись так жестоко несправедливо. Во-первых, Гл. Ив. *никогда* не рассказывал мне никаких «гнусностей» об Тургеневе, а напротив — постоянно твердил мне о том, какой это симпатичный, хороший старый человек. Если я вам передавал что-нибудь отрицательное об Ив[ане] Серг[еевиче],[17] то только разве анекдот, рисующий его *слабость*, а никак не «гнусность», именно — анекдот о розах, присланных ему А[нной] П[авловной] Философовой.[18] Да и этот анекдот рассказывал не Успенский, а Салтыков. Знаю я еще одну гнусную сплетню о Тургеневе, но ее пустил в ход совсем не Успенский, а «чистая личность», покойный Свириденко; Гл. Ив. же не верил этой сплетне. Во-вторых: если Гл. И. рассказывает мерзости, деланные покойным Достоевским, то он виновен будет только в том случае, если рассказываемое неправда, вы же сами недавно писали мне, что Д[остоевский], по слухам, был отвратительнейший человек. Да кроме того, Успенский вряд ли может рассказывать об Дост. что-нибудь от себя, так как, сколько мне известно, он с ним знаком не был. Что Гл. Ив-ч пьет — сущая правда, но, мама, можно ли строго судить за этот порок? Мало людей, о которых я вспоминаю с такой любовью и благодарностью (быть может, это просто детское чувство) как об Льве Николаевиче [Толстом], а уж он ли не пил. Это горе, а не порок, и особенно у нас, русских. О подчеркнутом же вами слове *друг* (в применении к Л[идии] К[ривенко][19] я не стану и говорить это чересчур уж тяжкое обвинение двух семей, мужья которых друзья, а жены приятельницы, да еще семей, из которых вы знаете только одну Л[идию] К[ривенко]. И — простите меня — я этому голословному обвинению не верю...

Не сердитесь на меня, мама, если я, может быть, немного резко защищаю Г. И., но если бы Николай Степанович[20] или кто-нибудь подобный сделал несправедливость относительно кого-нибудь из известных мне людей, то я

не обратил бы на нее никакого внимания, а слышать от вас, кого я люблю, несправедливые речи мне просто больно.

Из письма *В. М. Гаршина* Е. С. Гаршиной 15 января (1882, Ефимовка). Полн. собр. соч. В. Гаршина (т. III—Письма), изд. Academia, М. 1934, стр. 236—237.

Вчера, вернувшись после четырех дней отсутствия (был у Глеба Ив. Успенского), застал твое письмо...

Скука ужаснейшая: жду не дождусь, когда вырвусь из этого поганого города...

Глеб Иванович тоже едет: нам вместе придется быть в Москве и дальше.

Какая прелесть этот Г. Ив.!

Из письма *В. М. Гаршина* Н. М. Золотиловой, Петербург 12 июля 1882 г., Полн. собр. соч. В. Гаршина (т. III—Письма), изд. Academia, М. 1934, стр. 269.

Враги и завистники Успенского распространяли слухи, что... деньги главным образом тратились им на питье, и что не будь этих постоянных очень крупных издержек, то немалых по тому времени средств, которые зарабатывал Успенский, могло бы хватить на вполне приличное существование его самого и всей семьи.

В течение более двух лет перед моим отъездом за границу я был дружен с Глебом Ивановичем и, встречаясь очень часто с ним, мог приглядеться к его жизни. Успенский пил нередко, порою много, но вряд ли больше, чем большинство тогдашних русских писателей. Что могло придать враждебность злостным слухам о якобы грандиозных «попойках» Успенского, — это то, что в товарищеской компании он являлся душой общества и втягивал в сферу своего притяжения даже посторонних.

Всегда удивительный рассказчик и удивительный комментатор самых, казалось бы, обыденных вещей, он под влиянием вина становился положительно гениален. Образы, рассуждения, шутки, короткие и глубокие замечания, то удивительно остроумная, то потрясающая, несмотря на свою кажущуюся простоту, жизненная сцена, — все это сменялось в его воображении капризным фейерверком, и все это он умел, благодаря своему несравненному языку, всегда умеренным, но всегда типичным жестам, — передать слушателям. Точно лейденская банка, он заражал своим электричеством и других. В трактирах люди за соседними столами

начинали прислушиваться к тому, что говорит этот интересный господин, и образовывали его естественную аудиторию. Половые, извозчики, ямщики, встречные мужики и бабы, странники, люди занятые и люди праздные с огромным интересом слушали его разговор и принимались сами за реплики, а потом и за рассказы.

Я думаю, вино, как и неугасающая папироса были необходимы ему для приведения его нервной системы в состояние, требовавшееся для художественного наблюдения и художественного творчества. Но эти же два возбуждающие средства должны были и страшно опустошать умственную энергию Успенского, довершая ту разрушительную работу, которую производил в этом необыкновенно чутком организме самый процесс литературного труда. Успенский работал тоже по-особому, углубляя и без того очень негигиеничные приемы писания большинства русских литераторов. Писанье он и любил и ненавидел вместе. Очередные статьи он дотягивал до самого конца, когда редакция требовала от него рукописи каждую минуту, типографский мальчик сидел часами у него, дожидаясь каждой новой строки, чтобы снести ее в набор, а Александра Васильевна осведомлялась от времени до времени бережно, но все же не без беспокойства, у «Глебушки», поспеет ли он к сроку, потому что разные поставщики уже стояли у нее над душой и грозились перестать отпускать в долг. И вот, придя в состояние почти панического страха, что на сей-то уж раз он непременно опоздает, Глеб Иванович садился за стол и принимался почти без перерыва в течение двух-трех суток покрывать своим характерным почерком маленькие листки почтовой бумаги, стараясь изолировать себя от внешнего мира и прежде всего от семьи. Он затворял дверь, ставил на стол кипящий самовар и работал, работал днем и ночью, зачастую заменяя еду вечно дымящейся папиросой, пока не кончал свои полтора, два, а то и три листа. Он писал необыкновенно быстро, почти без помарок и все время негодуя на себя, что оставил для себя так мало времени, между тем как воображение подавлялось массою живых образов, а в голове толпилось так много мыслей, которые могли бы уяснить читателю смысл этих явлений... Но надо было дописывать — дописывать как попало — и так до следующего месяца.

Помню один его рассказ из области этих периодических, годами длившихся мучений:

— Сижу я, знаете, вот за этим самым столом ночью и последнюю четверть листа дописываю... А там за двумя

дверьми слышу, как Александра Васильевна стонет: роды с полудня начались... А у меня как на грех такое славное настроение под конец стало — это редко у меня бывает, — вижу, сам для себя итоги подвел, и остается только читателю повразумительнее их передать. Вдруг отворяется дверь: вижу, повивальная бабка. Вошла, да как швырнет какой-то сверток газет на стол: «Поздравляю, Глеб Иванович с сыном». — «Голубушка, Фиона Кузьминична, да что же вы это со мной сделали? Вы-то родили уж, а я вот еще мучаюсь...» А газеты как закричат! — «Сына [21]-то поцелуйте, Глеб Иванович», — говорит бабка и на сверток показывает. «Да зачем же вы это его в газеты завернули?» — Для теплоты, Глеб Иванович, сверх пеленок бумага очень хорошо тепло держит, а в квартире, видите, у вас не так, чтобы жарко». — «Ох, — говорю, — Фиона Кузьминична, — плохое это предвещание: пойдет мальчик, как и я, по литературной части и будет весь век по-отцовски мучиться». — «Что это вы такое несообразное говорите, Глеб Иванович? Поцелуйте лучше сына-то, говорю, и к Александре Васильевне пройдите: очень устала бедняга, теперь для нее каждое ласковое слово дорого». Поцеловал сына через газеты, иду к Александре Васильевне. Лежит, не шелохнется, чуть глаза открыла, улыбнулась и опять закрывает. Я наклонился, в лоб целую, а сам вдруг как вспомню: «Но ведь читатель не поймет, почему это так Петр в конце моего рассказа обрадовался! Надо бы сказать, что тут перед ним новая жизнь открывается». И устремились тут у меня мысли к главному герою... Хорошо, что Александра Васильевна от усталости сейчас же заснула. Я и пошел снова к себе в кабинет. А бабка говорит: «Нужно вот за тем-то в аптеку сходить, да горничную в прачечной найти и сюда послать» И остался мой герой без призора. Прибавил я две строки и отдал мальчику в типографию... А строгий критик, Чуйко или Евгений Марков, будет по тебе эстетическим аршином похлопывать да приговаривать: «Уж не в первый раз Г. Иванов [22] портит свои вещи необоснованным, очень тенденциозным заключением». А заключение-то — у нарушителя эстетики дитя родилось не во-время, только и всего...

Н. С. Русанов, «На родине (1859—1882)», М. 1931, стр. 248—250.

...Следует сказать, что во всех толках о нерасчетливости и о скитальничестве Успенского есть и некоторые преувеличения. Правда, что Успенский был то, что в старину

называли «художественная натура», принимая это слово в смысле человека с крайне чуткими нервами, отзывчивого, впечатлительного и всецело отдающегося влечению данного момента. Правда, случалось, что, получив порядочный гонорар за свою работу, он начинал разбрасывать деньги направо и налево, давая в долг первому встречному, угощая дюшесами и шампанским какую-нибудь приезжую барыню, как «очень хорошего человека», и т. п. и домой ничего не приносил. Правда, что с своими долгами он делал такие комбинации, что не даром Салтыков говорил, что из него мог бы выйти отличный министр финансов. Но следует принять во внимание и некоторые смягчающие обстоятельства...

... Успенский никогда не был журналистом, получающим определенное жалованье за редакцию какого-либо отдела. Это был исключительно беллетрист, и притом не крупных романов, а мелких очерков, и эти очерки составляли единственный ресурс его жизни с многочисленной семьей... И, однакоже, из всех современных писателей-пролетариев Успенский является единственным, настолько практичным, что сумел устроить для себя маленькую оседлость, в виде одной десятины земли и двухэтажного домика в Сябринцах. И замечательно, что он не ограничился только тем, что проживал в этом домике с семьей, оставляя его в том неизменном виде, в каком купил,— он всю жизнь перестраивал свою усадебку, и в конце концов, по словам его сына архитектора, произвел некоторое чудо архитектуры: умудрился устранить все внутренние капитальные стены, оставив одни перегородки, и несмотря на это дом не развалился.

Вместе с тем, следует принять в соображение, что недешево доставались ему его мелкие очерки: они требовали таких больших затрат, которых далеко не окупал получавшийся за них гонорар. Скитальничество Успенского обусловливалось именно собиранием материалов для его произведений. Если бы Успенский был домосед, выезжавший изредка лишь в гости, то можно наверное сказать, что дальше «Нравов Растеряевой улицы» он не пошел бы. Ни одной поездки он не делал из одного бесцельного жуирования или для поправления здоровья. Все они были вполне целесообразны, имели вид своего рода научных экскурсий. Россия была для него библиотекой, в которой он всю жизнь рылся, изучая народ. Он напоминал при этом тех ученых, которые так бывают проникнуты своею специальностью, что не могут допустить, чтобы кто-либо не интересовался

их дифференциалами в той же степени, как они. Так, однажды, собираясь ехать в Ладогу изучать артельное рыболовство местных обывателей, он всерьез приглашал меня сопутствовать ему в этой экскурсии, воображая, что изучение это столь же нужно и интересно для меня, как и для него. Когда ему удавалось набрести на мало-мальски ценные и интересные факты народного быта, он до такой степени проникался весь этими фактами, что, с кем бы ни встречался, он не был в состоянии ни о чем говорить с собеседником, как лишь об этих фактах, и вы могли быть уверены, что через месяц, через два все эти речи его явятся на страницах «Отечественных записок» в виде очерка.

Так, однажды, когда все находились в летнем разъезде, он пригласил на свои именины меня и нашего метранпажа Чижова. Он проживал в то время с семьей не на своей даче, которая ремонтировалась, а верстах в семи от нее, в усадьбе своего знакомого помещика, К[амен]ского.[23] Усадьба была расположена в глухом лесу, и за отсутствием хозяев управлялась одной крестьянской семьей. Эта крестьянская семья была предметом наблюдений Успенского в продолжение всего того лета (1881 г.), и наблюдения эти привели Успенского к весьма важным результатам. Они до такой степени овладели им, что и по дороге в Чудово, и дома, и в именины, и после них Успенский только и говорил, что о них. И вот в результате этих наблюдений и появился в «Отечественных записках» в скором времени его рассказ «Власть земли».[24] Когда я принялся читать его, я был удивлен, найдя в нем слово в слово все, что говорил Успенский мне и Чижову.

А. М. Скабичевский.

...Никогда не забуду обезнадеживающего впечатления, произведенного на меня весною 1882 года поездкою к Глебу Ивановичу. Он жил тогда в деревне, близ Чудова. Поехали мы к нему условиться про адрес, который хотели подать за подписью всех литераторов Александру III, в пользу печати и политических узников. Был тут М[аксим] А[лексеевич] Антонович, С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко, Н[иколай] [Константинович] Михайловский, Н[иколай] В[асильевич] Шелгунов и некоторые другие. Никто из нас не задавался, — как сделали бы европейцы, — составить осуществимый план действий, при котором наличным силами и обстоятельствами возможно было бы достигнуть наибольших удобств для дальнейшего развития и прогресса. Все за-

пуски друг перед другом гонялись за химерами, а я могу пожелать больше и лучше! Изумленные, вечно недоумевавшие глаза Глеба Ивановича скорбно остановились на говорившем.

— Ничего этого не нужно,— твердил он все. — Наденем фраки и отправимся гурьбой к государю, вот как ходят к нему мужики; бухнемся к нему в ноги, как мужики, и скажем: «Ваше величество, ничего нам не нужно! Только раскройте тюрьмы и выпустите всех на свободу, чтобы солнышко всем сияло, чтобы травушка росла!» Вы пойдете. Михаил [25] Алексеевич? Ведь вы пойдете Николай Константинович?

— Вот, как прочие, а я-то от них не отстану, — отвечал М. А. Антонович.

— Мы пойдем, непременно пойдем, — продолжал Глеб Иванович. — Ведь мужики же ходят! Надо по-ихнему действовать.

— Ведь вы пойдете, Николай Яковлевич? — саркастически дразнил меня М[аксим] А[лексеевич] Антонович. А меня слезы душили. Нет не им перестроить государство.

Н. Я. Николадзе, [26] «Былое», 1906, № 9,«Освобождение Н. Г. Чернышевского», стр. 255.

Однажды я получил от Н[иколая] П[етровича] Вагнера письмо, посланное по его адресу, но обращенное к редакции тогдашней «Мысли». [27] Письмо это было от Глеба Ивановича Успенского. Он предлагал поместить в «Мысли» очерк, начатый им, но еще не оконченный, о детских типах крестьянских школ. К этому он добавлял, что «сейчас» нуждается в деньгах, и если редакция может ему дать авансом рублей 200, то он обещает прислать ей свою работу листа на два, на три. Получить он желает по 200 рублей за лист.

Я в то время имел очень скромный приход от «Мысли», едва покрывавший самые необходимые расходы и обыкновенный гонорар. Тем не менее, я решил, что для Г. И. Успенского можно допустить эстраординарные усилия, даже заем. Однако по моим расчетам более 150 рублей за лист редакция была не в силах платить.

И вот я немедленно пошел к Успенским для сообщения ему моего решения. Со мной поехала туда одна моя хорошая знакомая, принимавшая горячее участие в моих делах и в журнале, слушательница врачебных курсов, Е. К. В., ей просто хотелось видеть вблизи Г. И. Успен-

ского, которого все мы очень любили как писателя, но мало знали как человека. Он почти не жил в Петербурге и, во всяком случае, не бывал ни на каких обедах и журфиксах.

Жил он в очень маленькой квартирке с весьма скудной мебелью. Комната, в которую он ввел нас, служившая ему, повидимому, рабочим кабинетом, не имела даже письменного стола, который заменялся круглым, простым обеденным столом с откидными полами, окрашенным в темно-красную краску. Стол был приставлен к старенькому дивану.

Глеб Иванович заметил, что у него ужасный беспорядок, так как он живет на бивуаках; жена его до сих пор была учительницей в деревенской школе, и только теперь они хотят устроиться в городе, etc. etc. *

Тут же он приступил к разговору о предполагаемой им статье, материалом которой, кроме его личных наблюдений, послужат тетрадки учеников-крестьян, собранные и сохраненные его женой.

Я сказал, что буду очень счастлив, если он даст такую статью, но тут же объяснил ему вполне откровенно и искренно скромное положение журнала, небольшой (сравнительно) круг его подписчиков, что обусловливалось самым типом журнала, его преимущественно научным характером, приспособленным для популяризации знаний всякого рода среди провинциальной деревенской интеллигенции и учащейся молодежи.

Он без всяких пререканий согласился на предложенную мною цифру, сказав, впрочем, в самом начале, что, после того как он написал письмо в нашу редакцию, его обстоятельства, повидимому, изменяются, так как Салтыков выразил намерение удовлетворить его нужду в довольно крупном авансе. «Если я, — прибавил он, — получу эти деньги из редакции «Отечественных записок», то у меня уже не будет времени поработать и для вашего журнала, хотя я очень желал бы этого. Впрочем, я постараюсь урвать у себя время, только наверное обещать не могу».

В конце концов мы порешили, что я на всякий случай буду иметь деньги наготове, а он известит меня, если они ему понадобятся.

Мы расстались, повидимому, с самыми лучшими чувствами друг к другу. На меня по крайней мере Глеб Иванович произвел чрезвычайно симпатичное впечатление всем, что

* и т. д. и т. д.

я видел и что он говорил. Его скромность, даже застенчивость были просто поразительны, так как в то время он был одним из самых любимых писателей. Его более чем скромная обстановка дополняла это впечатление. «Вот настоящий человек идеи», — думал я, уходя от него.

Вскоре я получил от него второе письмо, очень милое, в котором он извещал, что устроил свое финансовое дело, едет в деревню и не отказывается от своего желания дать свой очерк [28] нашему журналу, который очень уважает.

Леонид Оболенский, «Литературные воспоминания и характеристики», «Исторический вестник» 1902, март, стр. 888—890.

... Говоря о своих сверстниках, Гончаров упомянул, между прочим, о Д[митрии] В[асильевиче] Григоровиче. «Нет, надо еще подождать описывать мужиков, — сказал он, — если хотите, чтобы описания ваши были не только правдивы, но и художественны. Теперь мужицкая правда не художественна, а, может быть, со временем она станет другой. Мужик в искусстве поневоле может занимать только второстепенное и даже третьестепенное место, все равно как дети в романе: они могут быть, но нельзя делать их героями романа. Есть один молодой писатель, Глеб Успенский (он назвал его молодым, и, конечно, по сравнению с Гончаровым, Глеб Успенский был юноша), который обладает крупным дарованием. Но вместо того, чтобы приумножать данные ему таланты, он зарывает их в навоз. Гоголь оставил ему в наследство несколько десятин своего великолепного именья — свой юмор, но он и их унавозил. Кое-где зеленеет травка, а жатвы нет, чересчур много навоза».

И. Ясинский, «Литературные воспоминания» (1878—1882)», «Исторический вестник» 1898, № 2, стр. 569.

По контрасту с Успенским выплывает у меня в памяти образ другого беллетриста-народника, из-за которого временами велся даже спор, кто выше: Успенский или он. Я говорю о Николае Николаевиче Златовратском...

... Вечная вражда восторженных поклонников того и другого писателя отражалась даже на отношениях между собой Успенского и Златовратского, влияя особенно на последнего, более нервно заботившегося о своей литературной репутации. Сами по себе оба они довольно беспри-

страстно оценивали взаимные достоинства друг друга и не подчеркивали чужих недостатков. С людьми, которые не принадлежали к категории безусловных сторонников ни того, ни другого, они говорили друг о друге даже не без симпатии. Но среди своих приверженцев, окруженные атмосферой чрезвычайного почтения, они невольно поддавались влияниям своего хвоста и в писаниях считали нужным подчеркивать свою разницу, а в частной беседе один о другом отзывались более резко, чем справедливо, опять-таки особенно Златовратский... Во всяком случае, борьба школ Успенского и Златовратского не способствовала сохранению добрых отношений между представителями двух противоположных, как казалось тогда, течений народной беллетристики. И порою можно было наблюдать, как Успенский и Златовратский любезно, даже чересчур любезно, беседуя друг с другом в общем журнале или каком-нибудь нейтральном доме, старались избегать всякого серьезного разговора и откровенного высказывания мнений. Тем с большею внимательностью всматривались они друг в друга, а порою сосчитывались в литературе.

Однажды вышло так, что Салтыков в течение нескольких месяцев помещал в «Отечественных записках» статьи обоих антагонистов попеременно: в одном номере одного, в следующем — другого. Златовратский, взвинченный своими друзьями, воспользовался этим обстоятельством, чтобы полемизировать каждый раз с предшествующей статьей Успенского, не прямо, конечно, что было бы не совсем удобно в одном и том же издании, а лишь демонстративно противопоставляя фактам и выводам Успенского свои как раз противоположные, пока наконец Щедрин не прервал этого одностороннего диалога: «Что это вы, Николай Николаевич, от Успенского, как от печки, взялись танцовать? Или своего нечего сказать?» А сам Успенский на квартире Кривенко забавно жаловался, указывая на противоположную сторону «Подневского», где жил Златовратский: «и моя жизнь не слаще царской: завелся у меня свой Кобозев (дело было после первого марта), все высматривает, куда я выеду в «Отечественных», а как только высмотрит, сейчас же взрывает подо мной... Мы вот с вами здесь чай пьем и благодушествуем, а супостат мой напротив все ходит, и на пятках повертывается, и думу думает: «где бы мне это Успенского залучить?» Уж всю мою статью отметками исчеркал... Теперь мину заряжает... Я отсюда вижу».

Со мной Златовратский избегал говорить об Успенском, зная, что я ужасно люблю Глеба Ивановича, а когда гово-

рил, то поднимал при этом принципиальный вопрос о судьбах нашего народничества...

Н. С. Русанов, «На родине (1859—1882)» М. 1931.

Успенский иронизировал над «румяными лицами мужиков», каких любил изображать якобы Златовратский (сообщено А. С. Пругавиным), и близко при всей одинаковой почти популярности обоих писателей у молодежи они никогда не сходились. Мало говорил ему и прямолинейный Засодимский с его деревенскими Лео.[29] «Тупой человек, Фотий», — отзывался Успенский об авторе «Хроники села Смурина» (сообщено Иванчиным-Писаревым).

В. Чешихин, «Г. И. Успенский. (Биографический очерк», стр. 215.

Бываю я иногда[30] у Г. И. Успенского. Он очень симпатичный, милый, хороший человек, я часто с ним спорю. Он утверждает, что бедность теперешней литературы зависит от тяжелых условий, в которых поставлена печать. Я утверждаю противное, находя, что тяжелое Николаевское время не мешало Гоголю, Белинскому, Тургеневу, Достоевскому выйти на свет божий... Успенский находит, что жизнь теперь сложнее и что теперь целая область замуравлена от нынешнего литератора. Целой области, и самой интересной нельзя касаться. «Тогда пишите заграницу», — сказал я ему. Он рассказал мне один факт. Одна молодая образованная девушка, экзальтированная и сосланная административным путем, встретилась с каким-то рабочим, который был сослан за преступление в роде кражи. Он сумел подладиться под нее, и она вышла замуж. Их потом сослали куда-то далеко, и вот в один прекрасный день он зарезал ее и себя самого. Осталась маленькая дочь. Триста верст от людей. И вот эту дочь приютила какая-то тоже сосланная, потерявшая своего ребенка. «Вот драма,[31] — сказал Успенский, — а мы этой драмы не можем касаться»

Г. А. де-Воллан, «Записки прошлого», «Голос минувшего» 1914, № 10, стр. 102.

В пятницу еду с Успенским и Мишей [М. Е. Малышевым] в экскурсию на богомолье.[32] В Тихвине празднуют 500-летие явления Тихвинской иконы божьей матери, так вот мы хотим посмотреть на сие торжество и свойственные ему чудеса... У нас в литературе за эти месяцы ничего нет. Один

Г. Ив. ужасно рассмешил, рассказывая, как при приготовлении икры на доску садится российский мужик и, нажимая на нее своими природными дарованиями, без всякого посредства интеллигенции и Запада, производит ценность в 100 рублей.[33]

Из письма *В. М. Гаршина* В. М. Латкину, Спб. 22 июня 1883 г. Полн. собр. соч. В. Гаршина, изд. Academia (т. III — Письма), М. 1934, стр. 295—296.

Дорогой Глеб Иванович! Третьего дня мы с Малышевым наконец добрались до Петербурга; вчера же я пошел к Павленкову и говорил с ним. Он *очень хочет,* повидимому, издавать вас, но попросил *неделю* на обсуждение. В будущую пятницу даст решительный ответ; во всяком случае он даст вам более 1500 рублей и выговорит себе не бесконечность экземпляров, а тысяч 5—6. Мне очень хотелось бы, чтобы издавал именно он, а не кто-нибудь другой, но если он не согласится, пойду к Карбасникову и ко всем чертям.[34] Павленков взял неделю на обсуждение потому, что последнее время предпринял кучу изданий, и теперь у него маловато средств. Но я все-таки надеюсь, что он согласится, и вы получите за три тома рублей 2500—3000.

До свиданья. Искренно ваш *В. Гаршин.*

Письмо *В. М. Гаршина* Г. И. Успенскому, Петербург 2 июля 1783 г., Полн. собр. соч. В. Гаршина (т. III—Письма), изд. Academia, М. 1934, стр. 296.

Дорогой Глеб Иванович. Мы поладили с Павленковым на следующих условиях: 1) он платит вам по 30 рублей за п. лист, то есть за три тома 2250 рублей, 2) 500 рублей вы получаете при заключении условия, то есть сейчас же, 500 рублей он выплачивает долгосрочным векселем на Псков. Остальные 1250 рублей уплачиваются помесячно суммами от 50 до 100 рублей в месяц. Павленков предлагает платить по 75 рублей в месяц, то есть выплатить всю сумму в $16^1/_2$ месяцев, 3) Павленков не решил еще, будет ли он издавать издание иллюстрированное или нет. В первом случае он выговаривает себе право издания 6000 экземпляров в два раза. во втором случае издает только 4000 экземпляров, 4) права и обязательства издавать следующие томы ваших сочинений он на себя не берет, ограничиваясь на первый раз только тремя томами, но не отказывается, если все будет благополучно, взяться и за следующие тома по взаимному соглашению.[35]



В. М. Гаршин.
С портрета маслом Репина 1883 г.
Гос. Третьяковская галлерея.

Отвечайте на мое имя: когда вы приедете заключать условие, если вы согласны. Искренно вас любящий *В. Гаршин.*

Письмо *В. М. Гаршина* Г. И. Успенскому, Петербург 10 июля 1883 г. Полн. собр. соч. В. Гаршина, изд. Academia, М. 1934, стр. 298.

Я устроил издание сочинений Глеба Ивановича: сторговался с Павленковым на условиях, довольно выгодных для Успенского. Вчера даже телеграмму от него получил, пишет: «Очень, очень благодарю». Жаль было бы, чтобы его обобрали.

Из письма *В. М. Гаршина* Е. С. Гаршиной, Петербург 14 июля 1883 г. Полн. собр. соч. В. Гаршина (т. III—Письма), изд. Academia, М. 1934, стр. 298.

Успенский Г. Лев Толстой: этот не напишет, как барыня возлежала на кушетке, и не изобразит кончик ее ботинка, а Толстой напишет. — Какой Толстой? Алексей? — спросил бывший тут Сухотин. Нет, Лев Толстой, — ответил граф (сообщено студентом Фаусек, бывшим у Толстого).

Страничка из дневника *А. И. Эртеля* 6 февраля 1884 г., «Голос минувшего» 1913, № 2, стр. 236.

То было в 80-х годах, в один из приездов Глеба Ивановича в Москву. Долго гуляли мы с ним по улицам, беседуя по поводу моего рассказа «*Золотые россыпи*», который я тогда писал. Глеб Иванович интересовался Сибирью и теми народными образами ее, которые я разрабатывал в своем романе. Во время этой беседы мы зашли ко мне.

На стене у меня висели два больших, очень хорошо выразительно нарисованных карандашом портрета: Тургенева и Достоевского. И вот, точно невольно остановившись перед этими портретами, Глеб Иванович сказал следующее. Я не могу передать точно его слов, я не запомнил их, конечно, дословно. И уже совсем не в силах передать его тона, его манеры, его глубоко трогательного запинанья, как бы заиканья, как бы какой-то робости, боязни сказать все же недостаточно правдиво, ясно, искренно, с истинной манерой человека с чуткой до болезненности совестью. Я постараюсь передать только суть его речи, насколько мне это удастся.

— Вот, — сказал он, указывая на портреты Тургенева и Достоевского, — вот — двое: изящный поклонник красоты

и сам в созданиях своих чистое воплощение ее, и рядом с ним — безумный, страстный проповедник аскетической морали. И у того и у другого есть своя доля гордости и отчуждения. Для нас, людей другого воспитания, кротких и покорных, какими нас создали все условия, та и другая сторона — чистая, отвлеченная красота и проповедь безусловного отречения от текущих злоб дня, — в которых чувствуется инстинктивная наклонность покорять себе людей, соединенная с недоступною для нас уверенностью в своей силе, в своей правоте; для нас та и другая сторона прямо не восприемлемы. Они чужды всей натуре нашей и мы от них чураемся: мы для этого и слишком уж совестливы и слишком робки. Таковы их натуры, таковыми создали их условия жизни. Достоевского я прямо боюсь: боюсь его глаз измученных и мучительских...

А посмотрите — оба удивительные художники! Чуть не полная противоположность по взглядам — философским, религиозным, общественным, а оба как художники — с какою властью заставляют нас любить людей... Именно любить!..

Повторяю, за точность слов не могу ручаться. Но суть их, смысл их был таков...

В. М. Михеев, «О Глебе Ивановиче Успенском». Речь произнесенная 27 марта 1902 г. в Литературно-художественном кружке в Москве «*Народное благо*», 1902, № 11—12, стр. 11—12.

От П[авла] В[ладимировича] Засодимского мы слышали еще, что Успенский сравнивал Достоевского с больным безумцем, который, самоубийственно выматывая собственные внутренности, рассматривает их и любуется...

В. Е. Чешихин, «Г. И. Успенский («Биографический очерк)», стр. 210.

...В литературные кружки, в особенности стоящие впереди и руководящие общественным движением, время от времени вторгаются особенного рода искательницы приключений и устроительницы карьеры, в чаянии уловить в свои сети того или другого члена кружка... Подобной искательницей руки и сердца писателей явилась некая В. Это была полька, брюнетка. Она... старалась завоевать сердце коголибо из сотрудников «Отечественных записок» путем хитрого кокетства. Впрочем, она не ограничивалась одним этим женским оружием, а, обладая, повидимому, воинствен-

ными наклонностями, прибегала и к огнестрельному оружию. Так, пококетничавши кое с кем из членов редакции, она остановилась на Гл. Ив. Успенском и устремила на него самую горячую атаку. Она положительно гонялась за ним по пятам: он в Сябринцы, где у него была дачка и где он проживал с семьей зиму и лето, и она в Сябринцы, он в Петербург, и она в Петербург, угрожая при этом, порою, револьвером (вероятно не заряженным). Наконец он начал прятаться от нее, едва заслышит ее голос в сенях, куда придется, подобно герою гоголевской «Коляски». Тогда она начала осаждать жену его, Александру Васильевну, и убеждать ее, чтобы она уступила Глеба Ивановича ей, так как она более достойна во всех отношениях быть подругою его жизни, и с нею он будет неизмеримо счастливее. Не помню уж, как отделались они в конце концов от этой атаки.

А. М. Скабичевский.

... Г. И. в это время [конец 1881 г.] рассчитывал на открытие нового журнала, где думал так же сотрудничать, как в «Отечественных записках».

«Будет с 1 декабря новый журнал, — писал он 22 ноября этого[36] [1881] года: — «Новь» (вместо «Слово»)... Отчего ни одна женщина не пишет по совести чего-нибудь женского, — хоть роды, детоубийство и т. д.[37] Мало ли у женщины всего этого? Нет, молчат, не пишут, а разве это не женский вопрос?»

Надо сказать что Г. И. не раз возвращался к этой теме, он не раз настойчиво повторял, что женщина теперь должна встать на защиту своего более кровного права, чем право быть телеграфисткой и быть медиком: *право быть матерью, право родить.* Она смеет быть фельдшерицей, — говорит он, — ей позволено быть учительницей, быть доктором, но одного она не смеет: ей не позволяет общество быть матерью своего ребенка, ей часто этого же не позволяет и тот, кого она полюбила, с кем сошлась... Теперь, — говорит он, — предупреждают рождение. И у женщин нет сил, нехватает храбрости отстоять это природное право... Вот на что она должна теперь направлять свои силы, вот в чем должна искать выхода из настоящего положения. Раз она сознает за собой это право, раз вступится за него и отстоит, то в этот промежуток сумеет она исправить и мужчину и воспитать его на иных началах.

В этом же ноябре Г. И. собирался съездить в Тверь и звал меня для того, чтобы пойти к нашему общему знако-

мому — В. И. П., которого я знаю с детства и как-то в письме к Г. И. назвала неподдельно хорошим человеком.

«В. И. П. — неподдельный, писал он в ответ, — а Успенский — поддельный человек? А вы какая, позвольте узнать? Если бы В. И. был в моей шкуре, то его давно бы не было на свете. Неподдельный! — сердился Г. И. — Нет, я сам его люблю душевно, а какой он — не знаю».

И долго не мог забыть он этого слова «неподдельно хороший». В следующем же письме (27 ноября) опять писал: «В Тверь я положительно приеду. Самым верным образом. Тогда пойдемте к «настоящему» П., а не к какому-нибудь иному. . .» «Нови» не будет — прибавляет он в том же письме. — Не позволяют. Но будет *огромная* газета,[38] которая затмит все, что до сих пор было. . . Теперь я пишу статью, неприятную для женского пола. Что делать?. . .»[39]

Но, как и следовало ожидать, в Тверь он не поехал, статьи «неприятной для женского пола», которой грозился, не написал, а преследовать меня за слово «неподдельный» долго не переставал. Так же долго доставалось мне от него еще за то, что раз в Петербурге, возвращаясь с какого-то вечера вместе с ним и с другими литераторами, я нашла, что итти под-руку с Глебом Ивановичем неудобно, и тут же приняла предложение итти с г. В., сказавши: «Вот с ним удобно».

Через месяц, а может быть и через год, — не помню, — Глеб Иванович писал:

«Хоть В. и умеет ходить под-руку лучше, чем я, но это, как мне кажется, не может быть особенно серьезным препятствием к тому, чтобы я мог разговаривать с вами о делах. Пусть он под-руку ходит, а я поговорю только, — неужели же это невозможно только потому, что я не умею ходить под-руку?

Серьезно: сердитесь — бог с вами, — но дело вот в чем. Я только хочу спросить вас: кому это вы могли бы продать мою книжку? У меня покупает Бакст все сочинения. . . Я ему ответа не дал, и хотя мне приятно выпустить *мои глупости* мало-мальски в опрятном виде, но так как мне сейчас надо ехать (надо же мне когда-нибудь ехать-то?), то я все-таки предпочел бы продать книжку теперь, а издание полного собрания отложить на год. . .

Ехать мне до зарезу надо.

Писать мне теперь не хочется совершенно, но я пишу. А если не поеду, то просто скучно совсем станет. Ответьте, пожалуйста, *хоть под-руку я никогда ходить не научусь*» (май 1882 г.).

Я очень любила эти милые шутки Г. И., так как, милые сами по себе, они являлись доказательством его хорошего расположения духа, признаком его приподнятого настроения, — когда камень не давил души, не глодала нужда.

Но надо сказать, что эти личные невзгоды не делали его глухим к печалям и нуждам других. За кого он при случае не хлопотал? Для кого не занимал денег в то время, как сам сидел без копейки, кого из начинающих литераторов не пристраивал или для кого не хлопотал о помещении статьи? При таких хлопотах он выказывал необыкновенную заботливость о том, как бы статья не залежалась, не затерялась в редакции в случае, если не будет принята, и вел по этому поводу усердную переписку.

Но ни одни литераторы и студенты пользовались его вниманием и заботою, а и всякий нуждающийся интеллигент, сельский же учитель в особенности.

18 ноября 1881 года он писал:

«Сейчас у меня сидит один сельский учитель, который очень хлопочет о своей школе. Я его знаю, и ему помочь следует. Вот, если хотите пожертвовать на школу и собирать пожертвования, то посылайте их ему. Но лучше всего, если бы вы послали ему волшебный фонарь (или отражательную камеру), рублей двадцать накопив денег. К рождеству это было бы отлично, — с картинами, конечно».

Потому редкое письмо Г. И. не содержало какой-нибудь просьбы во имя нужд другого. Да и сам он всегда нуждался в деньгах, всегда они ему были нужны, потому просьбы достать денег были самые частые. Он просил достать, прислать и вслед за этим, 18 декабря 1881 года, писал:

«Я приеду в Москву немедленно, мне весьма нужно это по множеству вещей, и там я кое-что сообщу вам насчет большой газеты, которую хочет издавать Николадзе (помните «Обзор» на Кавказе), с капиталом в 300 тысяч. Газета будет издаваться в Петербурге, и я буду принимать в ней большое участие, по беллетристическому отделу. Будем рассылать писателей по России... с определенной программой».

Но, конечно это все были добрые фантазии, которым не удалось осуществиться, даже газета большая не была открыта. Тогда нарождались у Г. И. опять новые планы, новые надежды и т. д.

С 1882 года в письмах его начинают часто проскальзывать жалобы на нездоровье... и на нездоровье довольно серьезное.

Так, в феврале этого года, на масляницe, когда он приезжал в Москву, он чувствовал себя так плохо, в особенности со стороны сердца, что даже принужден был обратиться к доктору.

«Виноват! — писал он в это время, — не мог приехать никоим образом, решительно не мог! Боюсь, что раньше конца недели не приеду к вам. Был у доктора, и он меня ужасно напугал насчет сердца, так что я сегодня же, может быть, уеду в деревню, т[о] е[сть] домой, а если не домой, то в Тулу, а по приезде приеду к вам в субботу.

Пожалуйста же простите меня ради бога и Анну Степановну [40] прошу о том же».

К этим физическим недугам, как только он возвращался домой, то есть в Сябринцы (под Чудовым), где в это время покупал две десятины земли с домом и куда переехал еще до совершения купчей жить всей семьей, прибавились еще нравственные недуги, на которые он уже никак не рассчитывал. Он писал о них 12 июня (1882 г.):

«Накануне моего возвращения из Москвы домой к сельскому старосте нашей деревни в первом часу ночи явился какой-то человек и разбудил всю семью, объявив себя агентом тайной полиции, потребовал, чтобы староста составил протокол обо мне, что я социалист, заговорщик, что у меня в шести верстах от Чудова, на мызе, живут подручные, куда я езжу для совещаний, — и чорт знает что! Теперь идет дело. Все это сущий вздор, конечно, но дело идет, все толкуют об этом, никто ничего не знает, но все косятся, «пужаются», требуют расчета, всех обуяло злое подозрение.

При таких условиях я с места не двинусь и никуда не поеду, пока все дело не выйдет на чистоту. Замечательно, что этот проходимец получил место, после этого доноса, у следователя и теперь переписывает у него бумаги. Я уверен, что даже из желания оправдаться в ложном доносе, который непременно будет доказан, он начнет путать меня и болтать про меня бог знает что в трактирах, на станциях, с крестьянами, которые очень подозрительны к господам [41] и т. д.

Словом, никуда не поеду. В Москву же приеду, может быть, осенью. Я совершенно расстроен и духом и телом... (А вы) поезжайте (на Волгу) и постарайтесь в Астрахани заняться артелями рыбников; остановитесь в Ветлянке и расспросите про чуму. Остановитесь в Сарепте (горчица) и посмотрите, как живут немцы. Ну, до свидания. Будьте здоровы. Спасибо вам за все...



Г. И. Успенский
С фотографии 1883 г.
Институт русской литературы Академии Наук СССР

P. S. На меня ужасно много сердится народу. Точно другие никто и никогда не ошибались в своей жизни и в своем деле. Ну, господь с ними».[42]

Е. С. Некрасова.

...На другой день после того, как мы виделись на выставке, зашел я в свою гостиницу (у Красных ворот, «Северная») и, к удивлению, нашел, что номер мой запечатан, а вещи отправлены в участок. Скандал был полный, несмотря на то, что я нарочно посылал в гостиницу человека сказать, что ночевать я не буду. Переполох, который произошел в гостинице, заставил меня немедленно уехать домой: я думал, не дали ли они знать о моем исчезновении по месту жительства в Чудово... Сразу же по приезде попал в нелепейшую и неприятнейшую историю: за день до моего приезда, в *полночь к* сельскому старосте явился какой-то проходимец и потребовал составления протокола. Назвался он агентом тайной полиции и составил протокол в таком смысле, что я — социалист и что у меня есть «подручные», что мы собираемся на какой-то мызе, в 6 верстах от Чудова. Все это вздор, но в деревне этот вздор ужасен, — просто житья нет, ни днем, ни ночью не знаешь покою; ко всему этому, доноситель оставлен следователем в его канцелярии в качестве писаря, и этим самым донос его получил в глазах народа вероятие. Просто ужасно, что за жизнь.

Из письма *Успенского* В. М. Соболевскому [1882 г. июнь]. [43] Сборник «Русских ведомостей 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 217

Я слышал о весьма комическом эпизоде, приключившемся с Глебом Ивановичем еще в дни его юности.[44] Однажды приехал он в Москву, занял комнату в одной из гостиниц, оставил в ней свой багаж, а сам отправился по делам и к разным знакомым. От одного — к другому, от другого — к третьему: там обед, там ужин, увеселительная поездка, веселая компания, с которой пришлось провести три дня, — незаметно прошло с неделю, если не больше, когда Глебу Ивановичу удалось наконец возвратиться в занятую им в гостинице комнату. Приходит и удивляется, что занимаемый им номер не заперт. Он входит и еще больше пришлось ему удивляться, когда его встретил в номере совершенно незнакомый офицер. Оба смотрели друг на друга в недоумении и оба в один голос обратились друг к другу с одним и тем же вопросом: «Что вам угодно?» Затем

скоро выяснилось, что администрация гостиницы, видя, что господин, занявший комнату, не является день, другой, третий, распорядилась сдать ее другому лицу; вещи же Глеба Ивановича были препровождены в местный полицейский участок. И не мало хлопот стоило Глебу Ивановичу выручить свои вещи, доказывать принадлежность их ему, да еще подвергаться ответственности за безвестное пребывание в Москве без прописки.

А. М. Скабичевский.

Нравственные и физические недуги, которые удерживали его дома, хотя и сильно мешали ему работать, но он делал над собой неимоверные усилия и работал. Этой зимой он писал:

«Издыхаю над работой. 26 числа надо ехать заключать на дом купчую и платить 800 рублей денег, которые были отсрочены на год. Надеялся летом на поездку, она вышла, знаете какая. Если 26 не будет денег, то пропадет, во-первых, все то, что я уплатил, а во-вторых, все то, что истратил на поправку, на сад, парник и т. д. — и, право, до 1000 рублей. Вот почему я не пишу вам. Я удручен совершенно. 26 не будет денег, надо выбираться вон! Каково это!..

... Право, не могу писать. До свиданья. Не скучайте. Я напишу вам много».

Все его беспокойства насчет покупки дома окончились благополучно: на дом в Сябринцах с двумя маленькими флигелями и с двумя десятинами земли была совершена Глебом Ивановичем купчая крепость. В одном из следующих писем он набросал пером общий вид своего купленного именья, где изобразил и двухэтажный дом, и два маленьких флигеля, и сарай, — все постройки растянулись в одну линию. Тут и пруд, и сад, и даже шоссе.

«В доме восемь комнат, — пояснял он свой рисунок, — вверху четыре и внизу. Где точки, там я насадил деревьев, и будет посажено весной вдвое больше. Посею овес. Места — полторы десятины. Вот я тогда напишу и напечатаю, сколько можно получить с полуторы десятины. Для меня — место огромное... Поедете в Петербург, заезжайте, пожалуйста... Пишите пожалуйста ко мне. Я, может быть, скоро буду в Москве на минутку. На-днях пришлю вам три моих книги... И статью в «Русские ведомости».

Не помню, приезжал ли Г. И. в эту зиму «на минутку» в Москву или нет, — вернее, что не приезжал. Я же в конце декабря 1882 года, перед рождественскими праздниками,

поехала к друзьям в Петербург. И в этот период я, сверх ожидания, видела Г. И. очень часто. Благодаря тому, что в этот раз я поселилась очень центрально (угол Невского и Надеждинской), Г. И. заходил чуть не каждый день, так как, куда бы он ни шел, ему всегда приходилось итти мимо моих меблированных комнат.

Хотя и в это время он по обыкновению тоже был озабочен добыванием денег, но в этот период мне удалось о многом говорить с ним, о многом расспросить его и даже некоторые из его разговоров прямо записать по его уходе.

На этот раз ему нужны были деньги для поездки на Кавказ, и мысль его была занята этой поездкой, но для того, чтобы пуститься на Кавказ, надо было предварительно достать денег, а где? Занять было не у кого, потому оставалось одно средство — написать статью, а написавши, постараться получить за нее аванс из редакции «Отечественных записок».

— Как досадно, — сказала я раз, — что «Отечественные записки» не дают вам, кроме гонорара, — жалованья, постоянного жалованья! Тогда бы вы могли писать не «наспех», как пишете теперь... Вы знаете, как писал Гоголь! Сколько раз он переписывал каждую вещь, исправлял, переделывал, дополнял!..

— Не-ет! *Мы* так писать не можем: мы уже испорчены. Вот посмотрите на Салтыкова. Его сочинения идут, он получает с них деньги, а не пишет так, как Гоголь — с трудом и исподволь. Нет!.. мы испорчены... мы так не можем.

— Надеюсь, начерно-то вы пишете? Дайте мне пожалуйста какой-нибудь ваш черновик, Глеб Иванович.

— Что вы, что вы! — засмеялся он и замахал рукой. — У меня никогда никаких черновиков не бывало.

— Неужели вы в самом деле пишете прямо набело? А помните, вы сами писали в письме что «Стариков» должны сперва *переписать,* а затем уже прислать для «Русской мысли».

— Это исключение, — и при этом он сделал свой обычный характерный жест губами, подтверждающий его слова, — никогда начерно не пишу. Говорю вам — мы испорчены.

— А Щедрин? — спросила я, — как пишет?

— Салтыков, хоть и к каждому месяцу пишет, но он пишет не прямо, а всегда переписывает. Он строго к себе относится и поблажки лениться не дает...

Тут мне вспомнились слова Щедрина о Глебе Успенском: «Успенский пишет по-барски, — говорил он, — только тогда, когда ему хочется. Так не должно быть. А ты садись писать,— говорил Щедрин, уже раздражаясь, — когда и не хочется, непременно садись. Не пишется? Ну, бери и исправляй, что написано. Только непременно садись».

— Кого видали эти дни? — вдруг спросил Г. И.

— Многих видела, но мне хотелось вам сказать насчет N. Я думала сначала, что она человек непомерной доброты, что у нее язык не повернется сказать грубое слово, и вдруг слышу...

— В ней есть крепостнические замашки, — прервал он меня. — А это вы напрасно! Вы требуете от человека того, чего он вам дать не может. Берите то, что в нем действительно есть хорошего. А так зачем? Не надо. Еще бы вы стали требовать, чтобы она красавица была, когда она урод. А вы это все оставьте. Вы говорите с ней о литературе. Она вам скажет, что теперь есть замечательного на Западе, какой там появился новый писатель. А это зачем же?

Мне ужасно понравилось это наставление, эта проповедь. Ведь действительно, совершенно верно: именно с таким снисхождением и справедливостью надо относиться к людям, думалось мне; у Глеба Ивановича этот взгляд не выдуман: он присущ ему, как бы от самого рождения.

— Говорите с ней прямо о деле, когда вам дело нужно,— продолжил он свою мысль.

— Она поразила меня, Глеб Иванович, еще одной стороной. Она — поборница женских интересов, женского вопроса, а когда я было попробовала завести с ней речь о том трагическом положении, в каком очутилась женщина-пионерка в настоящее время вследствие женских курсов, то — представьте мое удивление, — она тут ничего не поняла, *ничего не понимает, — ну, совсем, совсем* отвечает о другом. Я-то стараюсь, хочу ее повернуть, навести на суть дела, а она совсем в другую, в кривую сторону идет. Видно, что целая половина жизни невдомек ей, закрыта от нее...

— Так какая же это половина жизни? — спросил он, хитро улыбаясь.

— Вся женская сторона.

— Так где ей ее понимать?

— Как где ж? Если сама не жила, так видит же, не молоденькая, что другие живут?

— Нет, ей где ж это знать, — сказал он с своей обычной доброй улыбкой, покуривая свою неугасимую. И вдруг

почему-то, по какой-то ассоциации идей, перешел к Х., о котором упоминал в одном из ранних писем, как о друге издателя «Русской мысли». — Вот уже два года, как он жениться хочет, и я боюсь, что он женится... — Я ему даю совет не жениться. Вы посмотрите, какие вещи делаются. Вот у нас в Новгороде... Купчиха полюбила офицера... Взяла, да мужа-то в бочку с керосином посадила, да и зажгла. Весь обгорел, лица-то не разберешь. Когда его хоронили, то народ-то в церкви просто кричал: «Смотри, смотри, любуйся!..» А она...

— Красива она?

— Красавица. Говорит: «Я и не знаю, муж ли это? Не знаю, кого мне подсунули». Стоит у гроба спокойная.

— Ну и как же? Ее не взяли?

— Теперь взяли. Скоро будет суд. Вот вам непременно следовало бы ехать и написать корреспонденцию. Это совершенно ваше, женское дело... Понять и оценить такой факт должна женщина... Но любопытен конец, — сказал он, немного помолчав... — Мне приходилось ехать по железной дороге. Ехал со мной какой-то мужик. Мы разговорились об этой самой красавице-купчихе. «Это, — говорит мужик, — у них что-нибудь из-за лавки вышло. Потому, напротив тоже лавка, — ну, хозяева и повздорили».

Такого рода отрывочные сообщения Глеба Ивановича о каком-нибудь факте говорили за то, что в эту минуту он разрабатывал целую повесть или статью на подобную тему и выбрасывает за беседой отдельные, иногда ничем не связанные клочки, которые в его голове уже сложились в нечто целое, а если не сложились, то сложатся. Он всегда, правда довольно отрывочно, но прекрасно и в высшей степени интересно говорил о том, что слагалось в его голове в данную минуту и что при этом всецело владело им до тех пор, пока он не выльет всего на бумагу и таким путем не освободится от захватившего его факта, — захватившего словно в плен и настолько, что он ни о чем другом пока и думать не может...

— Советую вам просмотреть в «Заграничном вестнике»,[45] — сказал он, как бы продолжая свою мысль, — новый роман из американской жизни: там выводятся новые, совсем новые люди. Там уже нет ни купчих, ни барынь, а есть курсистки, новые, совсем новые женщины.

От романа с новыми женщинами разговор как-то соскользнул на новую повесть Гаршина: «Три дня на поле сражения».[46]

— Я еще ее не читал. Мне Кривенко показывал оттуда одну страничку... Недурно, очень хорошо. Но Гаршин не выяснил одного, чрезвычайно интересного и самого важного вопроса: что двигает? Что заставляет эту массу итти, как один человек, на смерть, без мысли о смерти? Перед ним валится один, другой... лежат искалеченные трупы... Тут рядом стоят сотни, тысячи и все это видят, все это творится на их глазах, и у них — ни мысли о собственной смерти, о собственной опасности. В одном месте Гаршин говорит про них: «И идут бессознательно», в другом — «с мыслью», «готовы умереть за царя»... Одно другому мешает. Это-то вот и любопытно было бы выяснить, ужасно любопытно, а этого-то и нет. Словно гипнотическая сила отнимает у них собственную волю и двигает, как доктор Лихонин (гипнотизер) своих пациентов. И мне кажется, что гипнотизм тут со временем объяснит причину, сбирающую миллионы людей и двигающую их прямо на смерть без тени мысли о смерти.

Я с его объяснением не совсем согласилась и привела свое, которое он назвал близким к правде.

— А что Гаршин был на войне? — спросила я.

— Как же, он ходил вольноопределяющимся в Болгарию! Он даже был ранен. Как же бы он мог иначе написать, если бы он не был на войне? Попробуйте, напишите. Ничего и не выйдет.

— А вы были на войне?

— Я на сербскую войну ездил, а в нашу, турецкую нет...

В коридоре возле комнаты, которую я занимала, часы пробили полдень.

— Ну, до свиданья! — сказал он, поднявшись с места. — Пойду заниматься корректурой. «Сама себя высекла».[47] Я очень не доволен этой вещью.

— Да вы были ли когда-нибудь довольны, Глеб Иванович? Были ли довольны например, когда написали «Не случись»?[48]

— Не был, — ответил он виновато.

— Ну, а когда «Власть земли»?

— Немножко был доволен, — улыбнулся он, — и то вначале. А теперь написал ужасную дрянь. Мне очень жаль Салтыкова, — говорил он, надевая пальто, — ждет, ждет он от меня, а я вдруг три листа — и ужасная дрянь! — сморщился он, словно от боли.

И эта мысль, видимо, сильно тревожила его, он высказывал ее не ради смирения.

— До свидания! — заторопился он.

— Приходите, Глеб Иванович, в пять часов обедать.

— Нет, мне в пять поздно, я обедаю в час.

— Ну, а в пять поедите в другой раз.

— Я ем только раз в день, я буду сегодня работать... *должен буду целые страницы вставлять.* Если удастся, я приду к вам часов в шесть... Я к вам обедать, может быть, завтра приду, а от вас на железную дорогу. А там приеду на будущей неделе во вторник, и в среду опять уеду, а в четверг двинусь на Кавказ. Я устал, я очень устал, — говорил он, стоя в пальто, с шапкой в руках и с страдальческим выражением лица. — Пробуду там не более двух месяцев, — проговорил он, уже затворяя за собою дверь.

У Глеба Ивановича была привычка не только исчислять в точности будущие доходы и расходы, а также в точности определять и дни, а иногда и часы, когда и что он сделает и где будет. Чаще всего эти планы на будущее перепутывались и разлетались в прах, стоило ему только выйти из дому. Вместо сиденья над корректурой он мог очутиться на озере за несколько верст от Петербурга, если бы случайно ему встретился на дороге приятель, отправляющийся на охоту.

На этот же раз, — о удивление! — бьет 6 часов и входит Г. Ив., как обещал! Мало этого: сидел долго, пил чай; но планы у него уже были новые. Сейчас вдруг ему захотелось с каким-то человеком поговорить об «Устоях» [49] Златовратского, и он собирался уходить. Но я остановила его у дверей, прося высказать его мнение о «Кларе Милич», которую я только-что прочла.

— У Тургенева это прекрасно выяснено, — сказал он с необычайным жаром. — Это словно яблоко на яблоне. Все поспевают в августе, цветут в мае, совершают полный цикл своей жизни. И вот это-то и важно: все, не только здоровые, но и уроды, одинаково совершают все и переживают все. Яблоко, которое поест червь, сваливается с яблони раньше, ненормально, преждевременно. Но вы попробуйте, закусите его, хоть в июне, оно сладкое, совершенно поспело, пережило, хоть и в краткий срок, но весь тот процесс, который переживают здоровые. А если люди, не испытавшие на опыте любви, умирают, — ну, разумеется, если то будет не внезапная, не чересчур ранняя смерть, — думают, что они еще уносят с собой в могилу нечто нетронутое, — неправда! Все, все истрачено! Все пережито! Весь тот процесс, который связан с чувством любви — и ожидание, и радость при встрече, и сомнение, и тревога! А если не пришлось пережить этого при встрече с человеком, то

это же самое вызывает какой-нибудь другой предмет — собака, кошка...

Кончив свой интересный монолог, Глеб Иванович весело рассмеялся и ушел, а я осталась с богатством брошенной мысли, которая, помню, долго занимала меня.

Как я уже говорила, в этот мой приезд в Петербург Г. И. очень баловал меня своими визитами. Он приехал из Сябринц с намерением итти к Салтыкову за авансом, но вот уже целая неделя, как Глеб Иванович в Петербурге, как собирается итти и все не идет. Раз он с этой целью даже вышел на улицу и даже пошел в ту сторону, где помещалась редакция «Отечественных записок», но с полдороги вернулся назад. Ему в это время очень хотелось ехать в Баку, но денег на поездку по обычаю не было. Он уже отдал статью для февральской книжки «Отечественных записок», — статью в три листа, и рассчитывал получить за нее теперь 700 рублей.

— Ну, уж завтра я непременно пойду к Салтыкову за деньгами, — решительно говорил он каждый раз, уходя от меня.

А наступало завтра, он доходил до щедринской квартиры и поворачивал назад. Так было изо дня в день. Так тянулось целую неделю.

Один раз он, вместо Щедрина, пришел ко мне.

— Хотел итти к Салтыкову, но нет, не могу! — Я лучше ему напишу, а ходить... собственно, можно и не ходить.

И вот Глеб Иванович садится к столу, пишет письмо, на моих глазах запечатывает конверт, наклеивает марку и, уходя, кладет письмо в карман.

— Оставьте письмо, Глеб Иванович, я его сейчас пошлю на почту.

— Нет, зачем же. Я сам опущу в ящик.

На другой день приходит опять.

— Послали письмо? — спрашиваю я.

— Нет, не послал. Да писать нехорошо, он не любит, когда пишут. Надо самому сходить.

И опять делается твердое решение на завтра, но и завтра все то же. При этом надо заметить, что во все время этих колебаний Г. И. ходит сам не свой: ужасно взволнован, ничего не слышит, непрерывно дергает и крутит свою бородку; лицо выражает глубокое страдание, словно от сильной физической боли.

Эта неделя непрерывных колебаний до того расстроила его нервы, что когда он вышел однажды на улицу, и вдруг

заржала лошадь, он весь затрясся, съежился, отскочил в сторону, словно его ужалила змея.

Сидит в страдальческой позе, с характерно сложенными губами, сидит, и все дергает, все дергает бороду. Это его обычная мина и поза, когда он взволнован чем-нибудь предстоящим, угрожающим.

— Боюсь! Будет кричать, браниться Салтыков, — говорит он с страдальческим выражением своих синих больших глаз.

— Да полноте, Глеб Иванович, вам ли бояться Щедрина! Что это в самом деле? А вы возьмите да сами на него рассердитесь, он и присмиреет.

— Не-ет! Я не хочу сердиться, я, напротив, *их хочу отучить* сердиться, — сказал он с своим кротким взором.

И долго-долго длились эти мучительные колебания. Наконец в одно утро Г. И. входит с преображенным, веселым лицом.

— Я к вам от Салтыкова!

— Так были наконец?

— Был, — и улыбается.

— Ну говорили ли о деньгах?

— Нет, не говорил, не мог. Не мог — и опять стал грустен. — Да это пустяки... Я ему напишу, — вдруг радостно заговорил он. — Дайте-ка мне маленький конвертик (как будто все дело зависело от конвертика), а завтра уеду. Я к вам сегодня вечером опять приду. Это будет последний вечер, завтра уеду в деревню, а послезавтра выеду на Кавказ...

— Любопытно, — перебила я его планы, выводимые пальцем на воде, — огорчен Щедрин предостережением, которое получили «Отечественные записки»?

— Ничуть! Нисколько! Он смеется. Он рассчитывает, что в феврале дадут непременно третье предостережение. Разумеется, тогда придется закрыть журнал, а тем временем приготовить к выпуску двойные книжки, которые заполнят пустые месяцы. Нет, он очень весел. Только все поговаривает о том, чтобы снять с себя ответственность редактора; задумывается, кого бы из нас выбрать редактором. Хочет отдохнуть. Поехал бы за границу, а сотрудничество, разумеется, продолжал бы.

— Отчего же вы не сказали ему, Глеб Иванович, про деньги?

— Да неловко! Очень неловко просить вперед, прежде чем напечатают статью. Неловко.

И при этом опять голова склонилась набок, опять страдальческий взгляд, и все лицо покрывается складками, сморщивается.

— А что, Щедрин говорил о вашем новом рассказе?

— Да, говорил... Но я сам лучше знаю ему цену...

— Значит, не бранил, как вы рассчитывали?

— Нет, не бранил... Впрочем, он говорил, что рассказ писан спешно... Посмотрите, как он сам работает! Я сегодня пришел в 12 часу, а он уже сидит, пьет чай и читает корректуру. Он каждую свою работу переписывает по три раза.

Кончив рассказ о Щедрине, Г. И. ушел, но вечером того же дня был опять. Наконец-таки он послал письмо к Щедрину с просьбой о деньгах и рассчитывал, что Щедрин ему завтра же пришлет бланк, по которому контора редакции завтра же выдаст ему 700 рублей. Одним словом, он был полон доброй надежды и был вполне уверен, что устроил дело своей поездки на Кавказ; потому был весел и острил.

Уходя, Г. И. обещал на другой день зайти проститься.

Получив на завтра из конторы «Отечественных записок» всего только 200 рублей, вместо ожидаемых 700, он уехал в деревню, прислав обещание, что приедет в воскресенье до десяти утра... Но, по обыкновению, запоздал: приехал в 12 и только затем, чтобы у кого-то взять денег для поездки на Кавказ. Ушел с обещанием зайти часов в восемь.

Как раз в этот час от него пришла телеграмма из Любани:

«Приеду завтра проститься».

Я на другой день долго ждала его. Часов в десять вечера получилась новая телеграмма из Акуловки:

«Пришлось уехать, не простившись. В Москве получите большое письмо».

Но в Москве большого письма не получилось, а получилось коротенькое, и только тогда, когда он собрался уже в обратный путь, на который у него опять не хватило денег.

«Я обещал писать вам с дороги, но дорога моя не кончилась еще и до сих пор. Прямо и без остановок я приехал в Владикавказ, переночевал и утром в 7 часов на другой день опять в дорогу, в горы, где ехал с всевозможными ужасами два дня, приехал в Тифлис, опять только переночевал и утром в Батум по Закавказской железной дороге, оттуда в тот же день (ночью) марш в Поти, из Поти — в Тифлис (11 февраля), а сегодня, 12-го в двенадцать часов дня еду в Баку. Так что все это время я еду без отдыха и (без) возможности даже выспаться. *Голова идет кругом от всевозможных впечатлений.* Но они не по мне, и я возвра-

щусь скоро. Сейчас бы возвратился, но нет денег. Пожалуйста, убедительно прошу, добудьте у кого-нибудь в Москве 50 рублей и пришлите их мне в Баку, я сейчас еду назад. *Чудно, хорошо здесь, но для меня гибель, боюсь перестать работать,* и вот почему немедленно же хочу возвратиться. Возвратясь, остановлюсь в Москве, чтобы устроить дела, если возможно, с книгами, моими и расскажу вам многое. . .»

Получив высланные деньги, он, действительно, тотчас же выехал обратно, но, если не ошибаюсь, в Москве не остановился, а прислал рассыльного с запиской, в которой просил меня приехать на вокзал, где ему пришлось до отхода петербургского поезда просидеть более часа.

Когда я приехала на вокзал, Г. И., вместо того, чтобы рассказать что-нибудь из своей поездки, как обещал, почему-то вернулся к старой теме и принялся меня уговаривать, чтобы я ехала в Париж, чтобы непременно ехала. Он был очень весел, ни тени обычного страдания на лице, настроение было сильно приподнятое.

— Вы посмотрите, что с вами сделается в Париже! — продолжал он настаивать. — Вы здесь — только платье, только платье, — повторял он несколько раз, — а там вы почувствуете, что вы живой человек, — горячо настаивал он, так что со стороны можно было подумать, что от моего согласия зависела чья-нибудь судьба.

— Я сказала, что меня Париж не тянет. Рим — вот это другое дело.

Вдруг он после этих слов успокоился и заговорил тихо, медленно, как усталый.

— Мне такие ощущения вредны, я браню себя, что ездил на Кавказ. Эти впечатления только мучают меня. . . Я занят совсем другим, а тут вдруг — природа, красота. . . Я не смею ими любоваться. . . Поверите, приехал в Париж, и вместо того, чтобы наслаждаться всем этим — красотою, незнакомою, новою жизнью, — вы думаете мне бы этого не хотелось? — вдруг чувствую: пока не освобожу своей головы от нагромоздившейся в ней массы (тогда у меня сидела в голове «Книжка чеков», [50]) до тех пор я не в силах ничего видеть. Ну, и пошел в номер писать «Книжку чеков».

— Вы видите, — говорил он как-то в другой раз, — я теперь весел, потому что я отписал, выбросил из головы, освободился от мыслей. . .

Веселое настроение после Кавказа сохранилось у него и по приезде в Петербург, откуда он написал настолько веселое письмо, что сам сконфузился и написал другое. [51]

«Ну, простите меня, пожалуйста, — писал он 10 апреля, — за глупое письмо, пожалуйста! Что же касается выражения вашего «во хмелю», то это неправда! Я теперь не пью, да, сударыня! Я был просто весел и играл во мне *прелестный Кавказ*. Вот и все!

Я скоро буду в Москве, так как опять поеду на Кавказ, в Ленкорань, к сектантам. Мне это необходимо. Теперь же я работаю. *Во что бы то ни стало* (курсив в подлиннике), я должен ехать, и уеду. Пешком уйду, а буду там...

Я вам буду писать на-днях...»

Но теперь, проученная опытом, я уже не полагалась на такие обещания. Письмо от него пришло, но только в конце будущего месяца, да и вернее — не письмо, а коротенькая записка, в которой он просит об исполнении какого-то поручения.

На него в это время вдруг нашла хандра.

«Не знаю, куда деваться от тоски», — писал он в той же записке (от 26 мая).

Тоска охватывала его все сильней, и я, желая привести его в шутливое настроение, в шутку стала звать его в Италию.

«Книги я получил, — писал он на это 10 июня, — но все некогда. Кучи, кучи неприятностей! Всевозможнейших! Какая там Италия! Поезжайте-ка вы лучше на Кавказ, — лучше всякой Италии. Объездите все воды, полечитесь, и все будет превосходно. *Главное ведь совсем отрешиться от Москвы, хоть на время*. Я бы теперь даже не на Кавказ поехал, а в Сибирь, да взял бы адреса, да разузнал бы как живут. *Так забывать людей нельзя*. А то Италия, «Ниапыль!»

На Кавказ я бы поехал, но завален работой по горло, то есть нужна масса денег для дома. И я, пожалуй, все лето просижу за работой, а потом и осень, и зиму и т. д. *Вот* скучно-то и тяжело! «Ужас как!» Не знаю, поеду ли в Москву, а хотелось бы очень-очень... Вы меня простите, что я так долго не отвечал... Но меня все гнетет и гнетет и масса глупых забот».

Далее следовало поручение переговорить с «Русскою мыслью» об его новых предложениях, связанных с просьбой о выдаче аванса.

Письмо от 4 ноября кончалось словами: «Я сегодня только-что кончил работу, всю ночь не спал, устал ужасно, а потому кончаю».

В декабре этого года он жаловался, что «ужасно-ужасно болен. Со мной какое-то необычайное нервное расстройство, чего никогда не бывало, — право, я иногда думаю,

как бы мне не сойти с ума, что-то вообще со мной ужасно худо, необычайно худо, смертно. Не знаю, как и быть. Вот отчего я не писал вам. Я сейчас пишу это письмо и рад, что могу держать перо, хотя буквы и прыгают у меня, как сумасшедшие. Сейчас же, таким же нелепым образом, *должен* писать статью в январь. *Должен!* Когда мне только страшно чего-то и холодно до невозможности! Но буду писать, потому что кое-как держу перо в руках.

Пожалуйста, напишите мне... Кажется, я лягу в больницу, в отдельную комнату месяца на три... Пожалуйста пишите. До свиданья».

Это письмо прекрасно знакомит, какие ужасные муки переносил по временам этот печальник народного горя, горькой народной жизни, и при каких иногда невероятных условиях он *должен* был писать.

Подобные приступы тяжелых физических страданий часто стали посещать его и иногда длились очень долго.

— Не беспокойтесь обо мне,—писал он в начале 1884 г. — Я болен в самом подлинном смысле и, действительно, едва-едва волочу ноги, то в деревне, то в Петербурге... (На вид) я вовсе не болен. *Моя болезнь иная,* хуже всякого физического страдания. Да и физических страданий не оберусь: последнюю статью, что в январе писал, — через каждые две минуты стонал от боли в ногах на весь дом; статья была бы не такая. Но мне все надоело, и спротивели все эти сочинения и мучения глупые. Все это ничего не стоит».

С тех пор в редком письме нет печальных известий о здоровьи, а главное — о больных нервах, которые доводили его до такого отчаяния, что он не раз писал:

«Не знаю, что делать с нервами, просто хоть умирай или топись» (5 февраля 1884 г.).

Е. С. Некрасова.

В редакцию «Нового времени», 24 февраля 1884 г., СПБ.

Милостивый государь!

В статье г. Буренина, помещенной 24 февраля в «Новом времени», между прочим есть следующие строки: «... Г. Успенский не числится в категории столпов издания («Отечественные записки») и рядом с г. Салтыковым стоит не он, а гг. Елисеев и Михайловский. Названные два публициста разделяют все выгоды основных подпор журнала... Я указываю на это обстоятельство, как на характерную черту нравов наших ежемесячных органов, где нередко капралом бывает не тот, кто имеет действительное право на капраль-

ство, а тот, «кто раньше встал». Впрочем, г. Михайловский, например, даже и не раньше г. Успенского встал в «Отечественных записках»... а г. Успенский как скромный талант, несмотря на все свои заслуги журналу, капральством не пользуется и до сих пор принужден писать в неблагоприятных для беллетриста условиях, до сих пор принужден насиловать свое дарование спешной работой».

Это неверно. Если мне удалось благополучно перенести невзгоды «писательского» существования, бывшие столь обычными во времена старых журнальных отношений (с чем соглашается и г. Буренин в другой своей статье), то я обязан этим исключительно «Отечественным запискам». Возвысив мой гонорар до степени получаемого г. Салтыковым, обеспечивая мне авансы, заботливо поспешая удовлетворять мои материальные нужды, когда это бывает необходимо, — «Отечественные записки» сделали, что могли; и во всяком случае уже не их вина, если я бываю и теперь принужден насиловать свое дарование спешной работой. Условия такого «принуждения» ни в коем случае не зависят и не могут зависеть ни от какого «издания», будь оно «ежемесячным» или «ежедневным».

Неосновательно заключение г. Буренина и относительно «капральства», которым, по его мнению, должен был пользоваться я. Это «капральство» связано с такими особенностями труда, при которых я, без всякого сомнения, еще более был бы принужден «насиловать свое дарование спешной работой». Кроме того, оно предполагает известные способности — навык к редакторской работе, уменье разбираться в текущих журнальных материалах, готовность жертвовать для этого временем, дорогим *лично для себя*. Эти способности и определили «категорию столпов издания». И то обстоятельство, что я не числюсь в «категории», ни в коем случае «нельзя назвать неблагоприятным для меня, как для беллетриста».

Неотосланный черновик письма *Г. И. Успенского*, «Голос минувшего» 1918, № 1, стр. 215—216.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

1884 — 1902

ГЛАВА IX

После запрещения «Отечественных записок». — Бесприютность и скитания. — Работа в «Русских ведомостях». — Поездка на Кавказ и в Константинополь (1884—1886)

А тут еще закрытие «Отечественных записок» — событие, которое должно было лечь тяжелым гнетом на Глеба Ивановича, избить его по карману и без того, — как уже не раз было видно, — вечно пустому...

Е. С. Некрасова.

Екатерина Степановна! От всех передряг осени, зимы и особливо последних дней я решительно изнемог и свалился. Вся страстная и святая и после святой изобиловали такими ужасами моей личной жизни, что состарили и сокрушили меня на десять лет. Поэтому я не полагаю, что я обидел очень вас, написав это письмо. Напротив, и вы меня ужасно обидели во многом. Зачем же вы ходили к Л. П. [Людмиле Николаевне?] Кривенко? Ведь это гнездо сплетен. И что только вышло из этих откровенничаний, чего я только ни перенес! И главное — все это мне не нужно. Но обо всем этом после я напишу вам подробно. Теперь же так стоит дело, что ко мне вы не пишите в Чудово. Как гадка иногда жизнь человеческая!

Письмо это передаст вам мой *искреннейший, глубокий* приятель.[1] Познакомьтесь с ним непременно, поговорите и посмотрите, сколько хорошего вы узнаете.

Я *в жизни* не встречал более замечательного человека. Познакомьте пожалуйста его с Ломовской, между прочим. Он в Москве никого не знает, и вы пожалуйста примите в нем участие.

Если можно, нельзя ли найти доступ к Солдатенкову, чтобы достать от него какое-нибудь капитальное произведение для перевода...[2] А затем, если вы еще знакомы с Бахметьевым, — спросите, сколько я должен «Р[усской] м[ысли]» копейка в копейку. Я у них работать не буду.

Пришлось итти к Стасюлевичу, и он, видя, что мне деваться некуда, дал мне за лист 150 рублей. «От[ечественные] з[аписки]» ничего мне не дали, так как я «настолько известен», что меня везде охотно примут, а вот публицистам и критикам некуда деваться, поэтому им и выдали по 1000 и 600 рублей. Словом, если надо было мне получить наказание за что-нибудь, то я его получил и положительно едва-едва дышу, не имея впереди ничего, кроме самой ужасной нужды и тоски бесконечной.

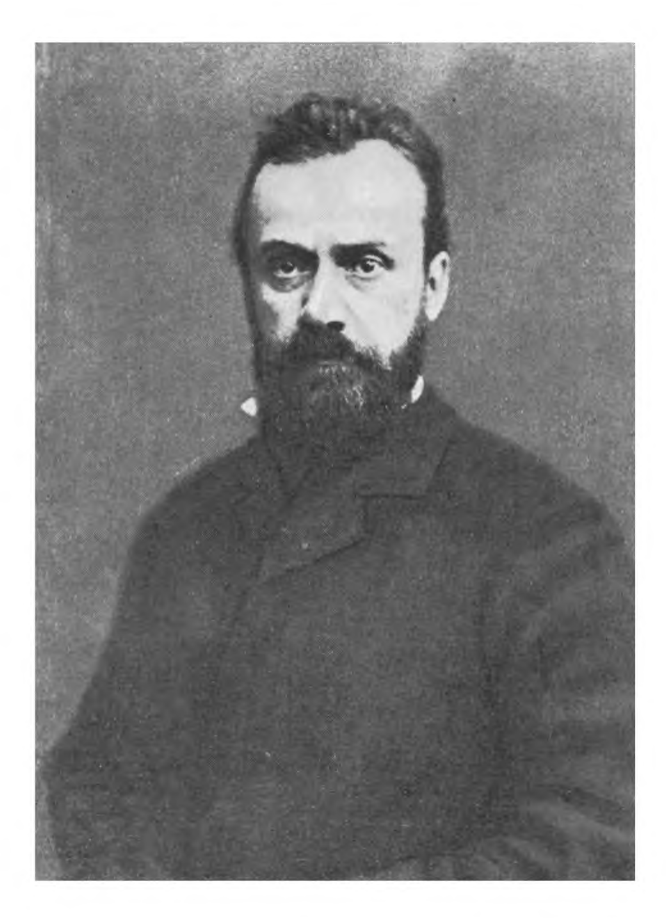
Если узнаете у Бахм[етьева] цифру долга, то сообщите подателю сего письма.

Однако порядочно я разбит и изуродован за время сущ[ествования] «От[ечественных] з[аписок]» и особенно за последние годы, и в особ[енности] в последние дни, жестокие и бесчеловечные. Г. Успенский.

Письмо *Г. Успенского* Е. С. Некрасовой (апрель 1884 г.). Сб. «Гл. Успенский. Соч. и письма в одном томе», Госиздат 1929, стр. 578—579.

Позвольте обратиться к вам с покорнейшей просьбой... Просьба состоит в следующем: Павленков, продолжающий издание моих книг, выдал мне за последние томы, 6-ой и 7-ой, векселя на разные сроки. Учесть их в Петербурге я решительно не могу, — не имею никаких знакомых, у которых бы в кармане было не 500 рублей, а хоть 500 копеек. Между тем, после закрытия «От[ечественных] з[аписок]» пять месяцев пришлось жить без заработка, в августе пришлось отдавать сына в гимназию, пансионером, и заплатить сразу 230 рублей, и деньги мне до последней степени нужны. Михайловский мне говорил, что вы знакомы с г-жей Морозовой. Не может ли она учесть этого векселя? Павленков — издатель вполне солидный, но и его расшатывает цензура, на-днях у него уничтожили 2 издания — Пругавина и Абрамова, и вот почему он вручил мне векселя...

... Хотел бы я также просить у вас работишки. Пошлите меня пожалуйста в Бийский округ, к переселенцам. Мне бы там хотелось пожить *именно зиму*, я бы тут наслушался всего; летом люди работают, зимой же я бы волей-неволей (если бы было очень трудно), а прожил бы там и уж наверное написал бы вещи хорошие. Подумайте, сколько вы бы могли ассигновать на это дело денег так, чтобы отдельной платы за строчку уж никакой не полагалось, то вы бы имели от меня письма разного объема, каждую неделю. Подумайте,



Г. И. Успенский

С фотографии 1885 г.

Институт русской литературы Академии Наук СССР

бога ради. Я теперь далеко не такой сукин сын, как прежде, и по части увлечений притихнул очень и очень. Что вы не заглянули ко мне в домишко около Чудова?

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (сентябрь 1884 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. Добавления с подлинного письма).[3]

С Глебом Ивановичем Успенским у меня с первого же знакомства установились такие отношения, какие он умел так просто и легко устанавливать между людьми. Ни одного слова фальшивого, ни одного поступка неискреннего. С первых же слов (это было в Москве 19 февраля 1881 года на профессорском банкете в память 20-летия освобождения крестьян) он начал «изводить» меня банальной фразой из одной моей повести, напечатанной в «Русской мысли». — «Любезно звякнул он шпорами!» — повторял он на все лады и добродушно смеялся, и я смеялась...

Глеб Иванович любил подшучивать... но и сам шутил над собой. Он постоянно подчеркивал свое неуменье в обществе, незнание «обращения», — как говорил он. Но все, кто знал Глеба Ивановича, могут подтвердить, что не могло быть «обращения» обаятельнее его: ласковость, внимательное уважение и полное отсутствие банальности и пошлости ставили его совсем особенно от других и обязывали быть с ним искренними и непошлыми. Враг лжи во всех ее проявлениях, он не выносил ничего условного, смеялся над ненужными формами и не считался ни с какими, навязанными людям «манерами». Как в своих произведениях он нарушал все традиционные формы беллетристики, — так и в жизни он никогда не мог итти по каким-нибудь установленным путям, подчиняться разным требованиям — «так не делается» или «не принято».

Но больше всего его оскорбляла ложь. Ложь в отношениях, в чувствах, в словах приводила его в совершенное отчаяние. Ему было безусловно непонятно: зачем это? И по поводу одного разговора с приятелем, где тот просил его помочь ему «вывернуться», он писал мне:

«...от таких-то кривулек я с каждым днем тупею, и смертная тьма идет мне в душу...»

Впечатлительность Г. И. была так обострена, что он страдал от всего, и от крупного, и от мелочей, и от жестокости, и от пошлости людской. Волчьи рты, деспотические сердца, пустые головы вызывали в нем такое же негодование, как интеллигенция, толкущаяся из-за съестных

припасов, «туалетная» жизнь некоторых из его знакомых, нескладность в семьях его друзей... Он страдал от всего этого, но почти всегда высказывался в юмористической форме, сквозь которую звучала скорбь, а в милых глазах блестели слезы. Письма его полны блестящего юмора. Написаны они на случайной бумаге, на клочках, без всякой «формы» и полны неожиданных сравнений и отступлений. Только одно письмо из всей нашей длинной переписки написано на банальной серенькой бумажке, зато начинается оно так: «Самая бумага уж может свидетельствовать о том, что я чувствую себя подлецом и выдумываю способы смягчить чем-нибудь эту горькую правду...»

Невольно засмеешься от такого начала. Дальше сейчас же скорбь. Скорбь не о себе, не за себя, а за других...» «Ваше душевное настроение, все, что втиснуто вам в душу, решительно меня истерзало...»

В другом письме, вслед за несколькими юмористическими страницами в беллетристической форме, вдруг идет:

«Шутки, шутки, а посмотрите, пожалуйста, как сложилась жизнь, — и это решительно у *всех*. Пожалуйста, не думайте, что есть какие-то счастливцы, у которых все идет хорошо, искренно, правильно. Уверяю вас — нет этого и не может быть. Кроме N, которые устроили очень умно свою туалетную жизнь, не знаю семейств, где бы *теперь* не копошилась беспрестанно мысль, — «что это значит, затем, что выйдет и что надо делать, чтобы как-нибудь были умней, проще, искренней отношения».

Затем, по поводу семейной драмы нашего общего приятеля, его развода и новой женитьбы, Г. И. писал мне:

«Разберите пожалуйста все это. Как, чем и кому тут можно помочь, высвободить, устроить, облегчить? Везде нужны какие-то огромные силы, самопожертвования, и, вместе с тем, везде человек, которого приглашают жертвовать собою, — оскорблен до глубины костей, а тот, кто оскорбил, знает, что он и виноват, и подл, и слаб, и вообще свинья. Что же тут делать, как распутать?

Уверяю вас, что это везде, где нельзя облагообразить отношения туалетными приемами, как счастливо может делать N.

Я за то, чтобы молчать и терпеть до тех пор, пока в душе есть еще хоть капля ощущения, «говорящего»: нельзя, нехорошо, неблагородно, подло. Покуда это звучит, — надо молчать и терпеть. Но когда это замолкнет — смело уходить прочь. И тогда это и справедливо и не больно. Надобно изжить (в семейной жизни) все, что



Г. А. Лопатин.
С фотографии 70-х годов.
Музей революции в Москве.

считаешь обязанным изжить, а тогда само собой все будет легко. Я испытал это: кажется, нет выхода, мука, смерть, путаница; смерть чаще всего мерещится: кажется, я освобожусь — она погибнет, она освободится — я погибну, или оба погибнем, и когда это кажется — это совершенно верно; есть что-то непережитое, что не дает возможности освободиться ни тому, ни другому. Вот тут *(в благородном* кругу) — спасенье в постороннем: литература, искусство, «дело», а для дам лучше всего дети. Это большое спасенье в маяте непонятной и тяжелой (эта *маята* у всех на свете). Но эта маята *непременно* окончится, настанет минута полного успокоения душевного, настанет сразу, как сразу распускается цветок, которого вчера еще и в помине не было; вдруг человек начинает чувствовать право, полное несомненное право жить по-другому, легкость и твердость вместо тяжести и тоски.

Впрочем я решительно не советчик. Кроме слова *терпеть* я ничего не знаю...

И он страдал искренно, что не мог помочь, не знал «химии», от которой лучше бы жилось человеку. Это страдание прошло красною нитью в его произведениях и терзало его в жизни. Не в личной жизни. Он обожал детей, с восторгом писал мне о старшем сыне Саше (покойном Александре Глебовиче), отстраивал для семьи дом, и никогда не скорбел о себе, — его мучила русская неурядица и нескладица общей жизни, мучила до того, что он вдруг решился «уйти». Куда уйти, как — для него было неясно, только бы подальше от людей... И он решился уехать в Сибирь... Долго собирался, хлопотал о месте на железной дороге, волновался и наконец уехал.

Вот что он писал мне в 1884 году:

«Дорогая Катерина Павловна, едва-едва наконец уехал в путь. Надо бы, надо бы мне видеть вас в Москве, но в Москве я был не в том состоянии, в котором я хотел бы говорить с вами, хорошая и милая (прилично ли так сказать?). Я сегодня уезжаю в Пермь. Ехать мне дней шесть (еду с арестантами и переселенцами), и всю дорогу на пароходе буду писать вам письмо; если я допишу его раньше, то раньше и вышлю его, из Перми вышлю непременно. Не можете ли вы прислать мне в Пермь до востребования телеграмму такого содержания: «С. П. можно видеться». Если это можно, никаких мест мне не нужно, и ни о чем я не буду его беспокоить, я только спрошу у него одну вещь: между Екатеринбургом и Тюменью есть одно село в 7 верст, и если мимо этого села идет строящаяся жел[езная]

дор[ога], то я у П. попросил бы только записку к какому-нибудь из служащих самого низкого разряда, чтобы мне пожить в этом селе день, два, три. А то все будут пялить глаза.

Пожалуйста, не унывайте ради самого бога. Все тлен и прах, и ерунда. Впрочем, я буду писать все подробно. Дай бог вам покоя и способность сидеть «под окошком с книжкой и собачкой», смотреть на улицу и пить чай с вареньем. Хорошо, если бы вы теперь написали мне сейчас в Пермь, до востребования. В Перми я пробуду дней пять. . .»

За этим последовало письмо из Перми, с блестящей, но беспощадной характеристикой близких нам обоим друзей, которое я не считаю возможным привести потому, что оно слишком личного характера, а еще немного позже следующее письмо, которое считаю интересным перепечатать целиком.

Чудово, 10 июля.

«Дорогая Екатерина Павловна. Вот где я очутился вместо Сибири. Вышло это так: в Перми я занимался моими книгами и чувствовал некоторую скуку, но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорят, «крепко». Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звонят, или как в Ленкорани караван идет с колокольчиками, далеко-далеко. Дальше, больше, — выглянул в окно (окно у меня было в 1-м этаже), — гляжу, из-под горы идет серая бесконечная масса арестантов. Скоро все они поровнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу, все знакомые лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все, все наше, из нутра русской земли, — человек не менее 1500, — все это валило в Сибирь из этой России, и меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло в Париж, ни на Кавказ, ни в какое бы то ни было место, где виды хороши, а нравы еще того превосходнее. Все эти люди — наборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем, и опять мучаемся; все эти, от воров до политических, не выдержали этой жизни и их тащат в новые места. И мне *охотой*, а не на цепи, захотелось необузданно итти на новые места, мне также не подходит жить (а не бороться) с людьми, с которыми и (которым) приходится много лгать. бесплодно, бесцельно

и изживать русский теперешний век бесцветно, неинтересно, безвкусно и вообще скучно и шумно.

Вот я и забыл отправить вам письмо, которое теперь посылаю, хотя и совестно посылать такую ерунду. Я эту ерунду писал в Перми и удивился, очутившись в Екатеринбурге, увидев ее в числе бумаг не отправленных. В Екатеринбурге меня еще больше одолела жажда ехать дальше на новые места. Отчего переселяются только мужики, а интеллигенцию тащат на цепи? И нам надо бросить добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они и были старые, привычные, и искать места и людей, с которыми можно чувствовать себя искреннее и сильнее. И тут-то вот я и остановился: так много на меня пахнуло нового и светлого, что я совершенно стал забывать свою работу, которую думал делать в дороге, она мне стала казаться ненужной, а между тем не работать было нельзя — надо устраивать сына в гимназию, платить плотникам (они перестроили мой дом отлично) и т. д. А писать мне *старое* там тоже нельзя, и вот я решился воротиться тотчас домой, устроить семью на всю зиму, покончить с писанием, изданием и т. д., и в августе, после 15-го, а может и раньше, уехать в Сибирь до весны. Решив так, я не решился беспокоить г. П., да и время было не подходящее, как раз туда (29 июня) приехал министр... и я увидел, как целая орава всяких жгутов, погонов, эполет неслась в Екатеринбург с железной дороги: думаю, теперь начнутся обеды и речи, а я только обеспокою кого-нибудь.

Но в августе месяце я поеду туда и приеду к г. П., *о чем пожалуйста напишите ему,* чтобы он не забыл о месте. Мне оно очень нужно, только не в управлении. Но об этом я вам напишу подробно. Повторяю, я не хотел бы посылать письма прилагаемого, оно неправильно, оно писано до моего воскресенья, ветхим человеком, измучившимся в беспредельных русских пустяках, и если посылаю, то так, заодно.

Я вам ужасно благодарен за хлопоты и за телеграмму. Спасибо вам. Это письмо вздор. Все гораздо лучше, чем описано тут, и все рассуждения глупы. Не напишете ли 2-х, 3-х строчек. До свиданья, К. П.».

Эта жажда «ухода» забиралась в душу Г. И. все глубже и глубже, и во всех последующих письмах он постоянно говорил о нем, не терял надежды «вырваться», «уйти».

«...Тошно мне и жутко жить на свете, — пишет он мне (8 декабря 1884 г. из Чудова), — и на меня что-то все чаще и чаще стало находить тупое отчаяние: целыми днями

сидишь, как каменный, угнетенный целой кучей каких-то неприятных, бесформенных, тяжких, холодных впечатлений, и не видишь света, ни капельки тепла не западает в душу, и только огромные усилия над собой и удары нужды, удары, как кнутом, — только они и заставляют встряхнуться и сесть за работу без всякого удовольствия.

Вот отчего я непременно уеду в Сибирь...»

Ниже он опять пишет:

«Я умру, если не уеду. Дописываю теперь остатки, какие еще теплятся в душе «от старого», а нового нет у меня ничего — смерть моя идет, К. П.».

Ек. Леткова, «Из воспоминаний и переписки». «Речь» 1912, № 82, от 24 марта (6 апреля).

... Большое общество, толпу Глеб Иванович любил, но под условием быть самому в ней незаметным, не обращать на себя внимания. Г-же N.[Летковой] он писал из Перми в 1884 году: «До чего трудно жить на свете, имея «известность», — просто ужасно: слова не добьешься человеческого, все говорят как с литератором. Чаю нельзя напиться, как хочется; сесть, положивши ноги на стол, сказать вздор — невозможно. Все надо умно, отчего и выходит одна глупость»...

... Глеб Иванович ошибался, думая, что на него «пялят глаза» и ищут общения с ним только потому, что он литератор. Конечно и это было, особенно в виду его популярности, — мимоходом сказать, он и этой популярностью временно тяготился, вследствие чего, как известно, и подписывался одно время под своими очерками псевдонимом: «Г. Иванов». Он привлекал к себе внимание и людей, не знавших, с кем они имеют дело. Как-то мы ехали с ним из Москвы — он до своего Чудова, я до Петербурга. В том же вагоне ехал какой-то пожилой офицер. Он долго прислушивался к нашему разговору, пересаживался все ближе и ближе, улыбался, и наконец не выдержал: решительно пересел рядом, вмешавшись в разговор каким-то замечанием. Мы уже подъезжали к Чудову, и незнакомец, узнав, что Успенский сойдет на этой станции, спросил, где же он тут живет. Успенский указал в окно на чуть видную церковь деревни Сябринцы, где он жил, а из дальнейшего разговора оказалось, что семья его теперь в Петербурге, и он будет жить некоторое время совсем один. Это поразило незнакомца, он задумался, и когда мы, простившись с Глебом Ивановичем, поехали дальше, в Петербург, сказал мне:

«Я все думаю: как этакий человек живет один... все представляю себе занесенный снегом домишко, и в нем этакий человек!» Остальную дорогу мы вяло перекидывались незначительными фразами, и, только прощаясь со мной в петербургском вокзале, незнакомец спросил, кто был так поразивший его случайный сосед по вагону. При этом оказалось, что имя писателя Успенского ему незнакомо, — это был человек совершенно чуждый литературе. И не один такой случай я знаю, конечно, не всегда с таким концом. Случалось, что дорожные спутники (а он, как сейчас увидим, постоянно был в разъездах), как-нибудь узнав, с кем они имеют дело, тем восторженнее и любовнее относились к нему. У нас, близких к нему людей, выработалось даже шуточное прозвище для его многочисленных, не дававших ему проходу поклонников и поклонниц: мы называли их «Глеб-гвардией».

Н. К. Михайловский.

После закрытия в 1884 году «Отечественных записок» я некоторое время не работал для печати, — никуда не тянуло. Глеб Иванович очень сетовал на меня за это. Однажды, в ответ на его упреки, я сказал: «Я готовлю большой многотомный труд и скоро напечатаю». Он очень обрадовался: «Ну вот, это превосходно! А о чем?» — «Есть, видите ли, «анекдоты о Суворове», «анекдоты о Петре Великом» и т. п., а я хочу написать «анекдоты о Глебе Успенском»...» Глеб Иванович огорчился.

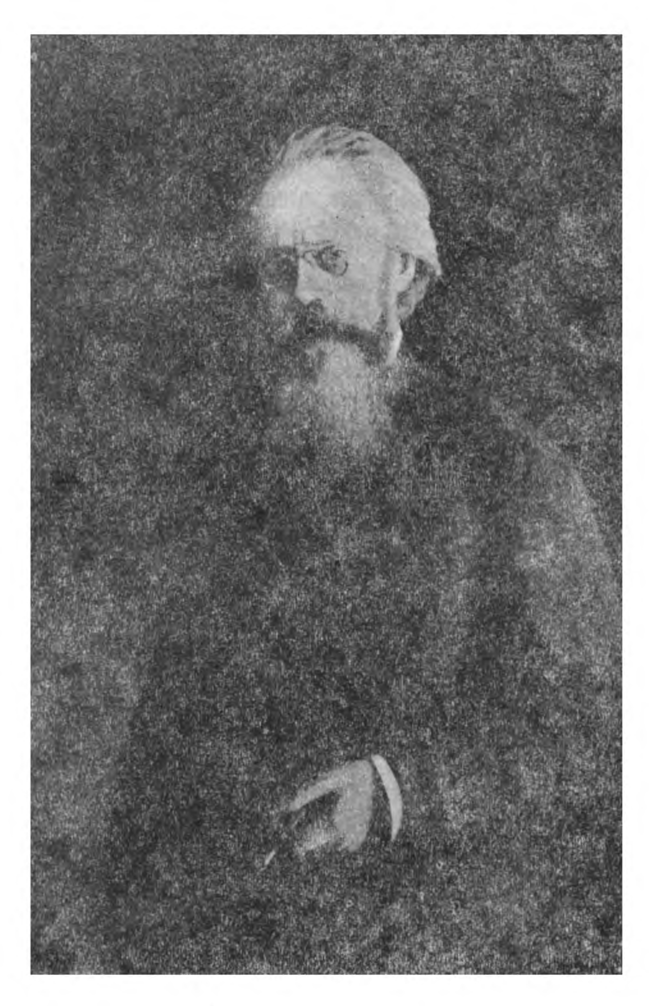
Разумеется, я шутил и никаких «анекдотов о Глебе Успенском» писать не собирался. Но такое произведение, хоть и не многотомное, вполне возможно и представило бы немалый интерес. Для понимания людей, в такой мере оригинальных, как Успенский, анекдот есть очень важное подспорье, и я приведу здесь кое-что из запаса своей памяти.

Начну со случая, свидетелем которого сам я не был. Рассказал мне его участник происшествия, ныне также уже покойный, Н[иколай] В[асильевич] Максимов, и Глеб Иванович конфузливо подтвердил верность рассказа. И поистине было чего конфузиться... Некто, скажем Z, сошел с ума. Помешался он на том, что он сын и наследник, помнится, шведского короля и должен получить откуда-то миллион. Пришлось наконец отправить его в больницу. И вот, под предлогом, что ему предстоит получить сейчас шведские миллионы, его посадили в карету в сопровождении Успенского и Максимова. Дорогой Z оживленно развивал

свой пунктик и строил разные великолепные планы. Успенский слушал-слушал — и наконец не выдержал неправды, которую должен был поддерживать. Господин Z! — взволнованно сказал он: — вас совсем не за наследством везут, а в сумасшедший дом...» Можете себе представить, что после этого не легко было доставить больного в больницу...

Нечто подобное было на моих глазах в одном частном доме, во время опытов известного гипнотизера Фельдмана. Г. Фельдман привез с собой молодого человека, чрезвычайно легко поддававшегося его внушениям, но никому в собравшемся обществе неизвестного. Это обстоятельство вызывало некоторое недоверие к блестящему успеху опытов, В числе присутствующих оказался студент, не раз подвергавшийся гипнозу, и его стали просить принять участие в опытах. Он долго отказывался, но наконец согласился, под условием однако, чтобы над ним были произведены самые элементарные опыты и держали его в состоянии гипноза недолго. Ему это было обещано, но обещание не было исполнено. Г. Фельдмана соблазнила мысль составить из него и молодого человека, привезенного им с собой, группу. И мы присутствовали при воспроизведении сказания о грозном царе и посланце Курбского, Шибанове, затем при совместной борьбе обоих молодых людей с какими-то дикими зверями в Индии. Об участии студента в этих представлениях решено было от него скрыть. Но, по окончании опытов, Глеб Иванович, следивший за ними с большим волнением и, видимо, неприязненно относившийся к гипнотизеру, опять-таки не выдержал и открыл студенту истину. Произошло неприятное объяснение...

Как-то летом мы с Успенским отправились прокатиться по Неве на пароходе. Погода была чудесная, и мы порешили пообедать на Крестовском острове и тем же путем вернуться в город. Но, не доезжая до Крестовского, я вдруг почувствовал себя дурно, со мной случился сердечный припадок, и я попросил Глеба Ивановича выйти на ближайшей пристани, где и прилег на землю. Стоя надо мной и с ужасом глядя на мое, вероятно, очень побледневшее и вообще сильно изменившееся лицо, Успенский вдруг сказал: «Н[иколай] К[онстантинович]! вы умрете!» Это было так неожиданно, что несмотря на мучительную боль, я не мог не улыбнуться. Припадок продолжался несколько минут, и мы на следующем же пароходе доехали до Крестовского, весело пообедали и благополучно вернулись домой. Но, будь на моем месте человек мнительный, ему было бы, надо думать, не весело...



Н. К. Михайловский.
С портрета маслом Ярошенко 1894 г.

Все три рассказанных случая произошли не помню в точности когда именно, но во всяком случае задолго до болезни Глеба Ивановича. Все это проделывал обыкновенный, здоровый, нормальный Успенский. Теоретически он, конечно, не хуже каждого из нас понимал, что по малой мере неудобно так-таки прямо в лицо говорить больному человеку, что он сейчас умрет, или сумасшедшему, что его везут не туда, куда он согласился и хочет ехать, а в больницу для душевнобольных. Если бы он знал, что не выдержит принятой на себя относительно Z роли, он и не поехал бы его провожать. Но, соглашаясь принять участие в невинном и необходимом обмане несчастного Z, он не предвидел того впечатления, которое произведет эта поездка на него самого. А впечатление было таково: несчастного, больного человека обманывают, обманом везут в печальное, мрачное место, может быть, вечного заключения. И впечатление это было столь сильно, что заглушило все соображения, кроме одного: надо открыть этому человеку глаза, надо сказать ему правду. То же и относительно загипнотизированного студента, которого не только обманули, но над которым, по мнению Успенского, произвели еще оскорбительное издевательство. Но, говоря: *надо* сказать правду, *надо* открыть глаза, — я выражаюсь неточно. Слово *надо* предполагает некоторый деятельный, хотя бы и очень короткий процесс логического рассуждения, окончившийся определенным решением. В действительности же правда в обоих этих эпизодах сказалась сама собой, неожиданно для самого Успенского, как своего рода рефлекс. Это особенно ясно в случае с моим припадком. Глеб Иванович ошибся в оценке моего состояния, но в данную минуту моя близкая смерть была для него несомненной истиной, и эта истина *выскочила* из него без всякой мысли о том, как подействует она на меня.

Как и всем нам, живущим в сложной сети условностей, Успенскому приходилось, конечно, не раз и не два таить правду про себя или же прямо говорить неправду. Но это всегда его мучило. Я не раз слышал от него и горькие и гневные сетования по поводу той или другой житейской подробности этого рода. А когда что-нибудь производило на него особенно сильное впечатление, правда рвалась из него с неудержимою силою, помимо всяких сторонних соображений, всяких условностей; он органически не мог держать ее в себе. Но и это сопровождалось подчас жестокой мукой. Если в рассказанных мною анекдотах он доставил или мог доставить ненужные страдания другим, то

и сам в то же время страдал за этого несчастного больного, за этого обманутого студента, за этого якобы умирающего приятеля и, может быть, сильнее, чем они сами. Это делало его человеком не от мира сего, совершенно неприспособленным к практической жизни, и отчасти предопределило его мрачный конец.

Н. К. Михайловский.

Милостивый государь Михаил Матвеевич, приношу вам искреннейшее и глубочайшее извинение в том, что до настоящего времени не мог быть у вас; произошло это таким образом: перед самым отъездом из деревни, в самом начале июня я был в Петербурге, но мне сказал мой приятель, только что посетивший тогда вашу редакцию, что вы уезжаете «завтра же» (не помню числа) и что я вас уже не застану. Между тем, почти тотчас по моем отъезде, было получено ваше письмо, которого я до сих пор еще не читал и не видал и говорю о нем со слов жены, которая распечатала его и послала вслед за мной. Я же думал ехать до Томска, куда и просил переслать все письма, которые придут в Чудово. Мне, однако, пришлось воротиться с полдороги, из Екатеринбурга, и таким образом только, быть может, на-днях я получу все письма, отправлен[ные] в Томск.

Кроме этого, я должен сказать еще, что поспешность моего отъезда из Петербурга в июне месяце объясняется решительно недостатком средств, не позволявшим мне пробыть лишний день или лишний раз приехать в Петербург: я имел только те 450 рублей, которые вы выдали мне и из которых я должен был уделить и на поездку и решительно на все. Вот почему, узнав, как я думал, положительно, что вы уезжаете, я тотчас воротился в Чудово и тотчас уехал.

Теперь я должен сказать вам о весьма неприятном для меня обстоятельстве и убедительно просить вас рассудить это дело, насколько возможно снисходительно. Первого августа мой сын держал экзамен в 1-ю реальную гимназию, но выдержал его не вполне хорошо и был принят не приходящим, а пансионером. Это было для меня весьма неожиданным обстоятельством, так как требовало *сразу* суммы в 230 рублей за полугодие. Оставить мальчика дома еще на год я не решился, так как он и без того одичал в деревне. Но когда я оставил его в заведении одного, он в первый же день хотел оттуда уйти, плакал, и вообще тосковал ужасно: все ново, незнакомо и чуждо. Да и действительно, переход от деревни к такой новой обстановке и новому, совершенно

незнакомому обществу чрезвычайно труден. Необходимо было, хотя на время, облегчить ему знакомство с новым для него городским детским обществом. Г. Эвальд согласился его отпускать каждый день после обеда, но, чтобы ему было куда приходить, надобно было кому-нибудь жить в Петербурге — либо мне, либо жене; и то и другое оказывалось неудобным, — мне надо работать и взять на себя всю семью в деревне — невозможно, жить с мальчиком в Петербурге и ездить в деревню, мотаться туда и сюда — также нет никакой возможности, дорого, и неудобно. Таким образом, помимо неожиданного расхода в 230 рублей пришлось решительно волей-неволей перевезти в Петербург всю семью, нанять поблизости 1-й реальной гимн[азии] на Вас[ильевском] остр[ове] квартиру, купить все необходимое и т. д. Первоначально я полагал, что мальчик поступит во 2-ю гимназию к г. Рихтеру, где учится сын моего соседа, приятель, и притом думал, что он поступит приходящим, тогда бы мне не пришлось делать сразу огромного для меня расхода, более чем в 500 рублей; оба они могли бы жить на одной квартире. Но у Рихтера не было вакансии. Но вышло совершенно иначе. Не делать этого расхода я не мог, так как решительно не в праве не учить мальчика, который хочет учиться и которому просто уже надоело в деревне.

Этот неожиданный расход поставил меня в крайне стеснительное положение и волей-неволей заставил меня принять предложение журнала «Русская мысль», дать им несколько листов работы. Вот именно это обстоятельство я и прошу вас рассудить, как говорится, «по-человечеству». Обязательства мои к «Русской мысли» будут выполнены с выходом в свет октябрьской книжки журнала, 15 октября. Для «Вестника Евр[опы]» у меня начата совсем отдельная работа, нежели та, которая будет в «Русской мысли». Я бы мог доставить эту работу немногими днями позже срока (15 сентября), который я назначил сам, прося у вас в мае месяце денег. Но, во 1-х, все это время я так измучился с экзаменами, гимназиями, квартирами, переездами и пр., что работа будет поспешна и плоха, и я прошу вас, в виду всего сказанного, о следующем.

Если редакция «Вестн[ика] Евр[опы]» найдет неприятным для себя мое, как видите, вынужденное участие в «Рус[ской] м[ысли]» и найдет притом это настолько неприятным, что не пожелает моих работ, то я 450 рублей возвращу.

Лично я сам понимаю, что это неприятный и неделикатный с моей стороны поступок, но мне негде было достать этих неожиданно потребовавшихся денег.

Если же вы будете снисходительны к моим крайне стеснительным обстоятельствам, которые вынудили меня принять предложение «Рус[ской] мысли», то я прошу вас — пожалуйста, отсрочьте мне доставление работы до 15 октября; я теперь все устроил, живу один в деревне, буду иметь возможность отдохнуть и писать спокойно, — и к назначенному сроку, и даже раньше, я непременно работу доставлю: будут три небольшие вещи, которые могут печататься в ноябре, декабре и январе или все вместе.

Итак, участь моя в ваших руках. Если вы меня пощадите, будет все хорошо, если же не пощадите, то хоть я не смею протестовать против этого, но я буду глубоко и бесконечно огорчен. Нельзя мне было не сделать этого. Глубоко вас уважающий Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* М. М. Стасюлевичу 11 сентября 1884 г. «Стасюлевич и его современники в их переписке», под ред. М. К. Лемке», т. V, П. 1913.

Милостивый государь, Михаил Матвеевич! Решительно не нахожу слов, которыми я мог бы выразить мое глубокое душевное сокрушение относительно моего поведения с вами. Никогда в жизни я не чувствовал себя так позорно и гадко, как теперь, потому что никогда в жизни на мою голову не сваливалось так много неожиданных неприятностей и забот. Весь последний месяц я решительно не знал покою ни днем, ни ночью; сто раз я брался за перо, чтоб написать вам, но не мог написать ни единого слова, в исполнении которого был бы уверен: весь последний месяц, кроме моих личных забот, я был постоянно волнуем неприятностями неожиданными: арестовали учителя моего сына, арестовали одну постоянно бывавшую у нас даму, у одного знакомого москвича, нотариуса, и у двух знакомых московских дам, писательниц, все людей мне весьма близко знакомых,[4] произошли обыски и отобраны мои письма. Я ничего особенного не знаю за собой, но почем знать, что было в письмах, а теперь такие тревожные времена. И эта тревога по случаю ареста моих близких знакомых тянется целый год — арестуют Кривенко, который жил вместе со мной в одних комнатах, затем арестуют Эртеля, который жил там же и бывал у меня часто, потом закрывают «Отечественные записки», оставляя не одного меня на улице, а теперь вот, осенью, раз за разом целых пять случаев ареста и обыска у самых близко знакомых мне людей.

Все это меня так угнетает и притом так давно, что последнее время я положительно чувствую сильнейшее нервное расстройство. Я не думаю, чтобы эти аресты повредили мне, но мне все эти люди были близки, как знакомые. Постоянно остаешься в пустыне и один. Не с кем сказать слова. Чтобы хоть мало-мальски разъяснить себе причину этих обысков и арестов, я в течение последнего месяца должен был по крайней мере раза четыре ездить в Москву, в Петербург, приезжать на час, на два, чтобы ехать опять то в деревню, то опять в Москву.

Теперь я немного пришел в себя. От всего сердца приношу вам самое искреннее извинение в неприятностях, сделанных вам. И теперь решительно могу сообщить вам следующее: 8 ноября я должен буду читать на литер[атурном] вечере в пользу Фонда. Если бы я не был обязан Фонду, я бы решительно не мог преодолеть моего расстройства, и непременно бы отказался от чтения, которое для меня совершенная пытка. Но я обязан Фонду и буду читать, а затем в тот же вечер я еду в Чудово. Я уже давно начал работу для «В[естника] Евр[опы]», но она прервана неожиданностями и тревогами, о которых я говорил. До 15 ноября остается ровно неделя и я употреблю все усилия, чтобы к 15 ноября работа была у вас. Будьте уверены, что в этот раз я буду исправен.

«В[естник] Евр[опы]» я получил — приношу глубокую благодарность.

Глубоко виноватый пред вами Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* М. М. Стасюлевичу
7 ноября, вторник, 1884 г. Там же.

Милостивый государь Михаил Матвеевич! Я так глубоко и бесконечно виноват перед вами, что пишу настоящее письмо не для своего оправдания, а единственно ради того, чтобы вывести вас из недоумения, в которое я поставил вас своим невозможным поведением. На мое величайшее несчастье нынешняя осень была для меня полна неожиданнейших затруднений: все дети переболели, кто дифтеритом, кто брюшным тифом, что заставило делать непредвиденные расходы и входить в обязательство с журналами, с которыми при мало-мальски благоприятных условиях я бы никогда не имел никакой связи. Четыре месяца я был без работы, затем неожиданный расход по определению сына в гимназию (он попал не приходящим, а пансионером, что стоит 410 рублей и чего нельзя было избежать), затем

болезни бесконечные, не говоря о моих глубочайших нравственных утратах, — все это меня довело до величайшего душевного расстройства. Если ж я и при таком расстройстве могу писать статьи для «Русской мысли» или «Недели», то это происходит оттого, что в статьях этих кое-как дописывается старое, приготовленное для «Отечественных записок». Читатели «Русской мысли» уже знакомы со мной, и я могу им писать на старые темы, писать остатки старых вещей, только слегка подновленных; и все это я делаю с величайшими затруднениями, единственно под влиянием только нужды. В «Вестнике Европы» я не могу заниматься дописыванием, пережевыванием старого материала, да и не хочу уже делать это: слишком все это я долго делаю и теряю охоту продолжать. В «Вестнике Европы» я хотел начать работы в совершенно новом роде, без всякого народничества: я по этой части сделал все, что мне было можно сделать, и пришлось бы переливать из пустого в порожнее. Я начал для «Вестника Европы» небольшой очерк «Венера Милосская» [5] — работа совершенно новая, и, я уверен, для многих из моих читателей совершенно неожиданная по теме, хотя ни по содержанию, ни по форме не имеющая ни малейших претензий явиться в чужой шкуре или представиться знатоком художественных произведений. Нет, это просто *рассказ,* так сказать, о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Этот рассказ мне хвалили почтенные люди, но я решительно не могу взяться за него теперь, я просто утомлен! И вот почему я решился после продолжительного пребывания в самых однообразных условиях, и притом большею частью самых утомительных и тягостных, заложить мой деревянный дом и уплатить мои литературные долги, уехать месяца на полтора за границу. Залог дома, а также и полная уплата всех моих крупных и мелких долгов по редакциям состоится никак не позже первой половины января месяца. Затем *первое,* что я сочту *хорошо написанным,* я непременно доставлю вам и от вашей воли будет зависеть наказать меня отказом в напечатании или принять.

Примите уверение в искреннейшем моем к вам уважежении. Г. Успенский.

Письмо *Успенского* М. М. Стасюлевичу 22 декабря 1884 г. Там же.

... Скучно вам, Е[катерина] С[тепановна], добрая вы! А мне как скучно — вы и представить не можете. Так жизнь и пройдет чорт знает в чем, — буквально, сколько ни живу на свете, — все хорошие минуты на перечет, и если их сложить — так дня полного не выйдет. Хотелось бы мне повидать вас, и я думаю, что по выходе или к выходу № 2-го «Рус[ской] м[ысли]» я буду в Москве. И тогда мы с вами обо всем переговорим. Я верю, что когда-нибудь непременно все будет хорошо.

Из письма *Г. И. Успенского* Е. С. Некрасовой. Чудово (1885 г. 27 января). «Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 244.

Мне вспоминается один вечер или ночь зимой 1884 года или 1885 года. Я жил в Любани.[6] Ко мне приехали из Петербурга гости, большею частью уже немолодые люди, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том, о сем; потом кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя «Рыцаря на час».[7] И вот: комната в маленьком деревянном доме, на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большей частью не молодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это — личные воспоминания. Но ведь они, пожалуй, даже не личные. По всей России ведь рассыпаны эти маленькие домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают (или читали?) «Рыцаря на час» и льются (или лились?) эти слезы...

Н. К. Михайловский.

Дорогая Екатерина Степановна! Эта великолепная бумага[8] может дать вам понятие о том, что сознаю я себя негодяем и хочу загладить мой поступок: я был в Москве 2 дня и у вас не был, но вот что пожалуйста выслушайте. Я мог сесть за работу 4 февраля — и до 15, много 20 мне нужно было написать более 4 печ[атных] листов для «Р[усской] м[ысли]», чтобы мало-мальски покрыть расходы, кот[орые] заставила сделать болезнь всех детей (теперь я уничтожил квартиру в Петербурге, взял до буд[ущей] осени сына из гимназии, т[о] е[сть] должен был напрасно потерять массу денег, — одна плата за сына 410 рублей в год пропала, не

говоря о том, что прожито в гор[оде] и деревне, доктора, телеграммы и т. д. — несть числа), и эти 4 листа я написал, не вставая с места, — даже более 4 листов. Все, что вы прочтете в феврале и в марте,[9] — все написано в эти 8 дней, да один рассказ я взял у Бахм[етьева] назад, так он плох, потому что рука у меня онемела от работы. Теперь я напишу только один рассказ — и довольно. Ни в коем случае не возьму в руки перо, оставлю со[всем] лит[ературное] дело[10] и буду служить в Сибири, о чем уже и идут хлопоты.

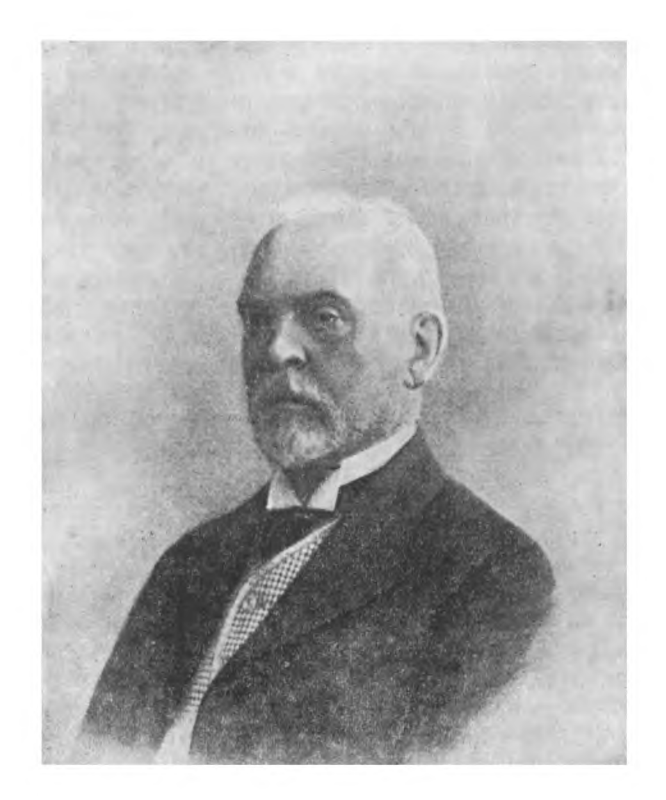
Из письма *Г. И. Успенского* Е. С. Некрасовой (22 февраля) 1885 г. «Голос минувшего» 1915, № 4 стр. 244—245.

Мой дорогой А[лександр] И[ванович]! Тысячу миллионов раз собирался и принимался писать вам, — но так ужасно тяжело жить, такая беда бесконечно тяготит надо мною всю жизнь, что едва-едва, с огромным трудом и усилиями способен только строчить кое-что для хлеба. Искренности во мне давно, давно нет. Только нужда, и я уже ни о чем, ни о каких планах не мечтаю. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь написать и потом думать о следующей работе. Ни знакомых, ни отдыха никакого никогда. В прошлом году доехал до Екатеринбурга и хотел ехать к вам и видеть вас всех, — нет! Такая тоска взяла меня в Екатеринбурге, что я только промаялся там три дня и уехал, никого, ничего не видавши. Теперь мне поздно уже толкаться между людьми, смотреть, как живут, и т. д. Надо сидеть с пером и писать, пока не издохнешь. Как вы счастливы, столько вы (все) всего видели, и будут у вас хорошие, светлые времена (они, кажется, начинаются), а у меня ничего не будет, — только пиши и пиши. Тут никуда не хочется поехать, все равно надо истребить в себе все, что привезешь. Лучше сидеть.

Из письма *Г. И. Успенского* А. И. Иванчину-Писареву 1885 г. (17 апреля). «Былое» 1907, № 10.

Очумел я и от деревни, и от Петербурга, и от семейства. Вы хвалите мои последние вещи, — это неправда. Они фальшивы во многом, и это нужда заставляет. Это даже подло писать такие вещи. Я чувствую, что подло у меня на душе. Вот беда о чем, Л[идия] Ф[илипповна]!

...Не знаю, что со мной творится — такого холода, от которого руки даже коченеют, никогда не было в моей душе, как теперь. Вот на вас одна только утрата такого



В. М. Соболевский.
С фотографии.

человека, о котором вы пишете, утрата *одного* такого знакомства[11] произвела такое сильное и многосложное впечатление, а у меня вся жизнь прошла только в этих утратах. Никаких семейных, «родовых» прочных впечатлений или угла, в котором бы теплилось какое-нибудь родное чувство, всю жизнь дающее право чувствовать себя не чужим на земле, — ничего этого у меня никогда нет... и не было. И угол, и дом, и предания — все это приходилось мне делать самому — на новом пустом месте, на камне голом, приходилось собирать крупицами, по зернышку содержание жизни, которое б этот угол наполнило, и вот все эти зерна брались из тех минуточек хороших впечатлений, которые выпадали на дороге знакомства с людьми *этого* типа, и всегда мгновениями. Не успеешь обрадоваться, не успеешь сказать: «Ну вот теперь все-таки чувствуешь, что что-то можешь и должен», — и сейчас же раскаешься. Все у меня расхищено: осталась одна виноватость пред всеми ими, невозможность быть с ними, невозможность неотразимая, осталась пустота, холод и тяжкая забота ежедневной нужды — вот.

Теперь на меня находят такие минуты, что я по три, по четыре дня не могу двигаться с места, слова сказать. Третьего дня я был один в деревне, в пустом доме и дня за два, за три находился все в этом угнетенном состоянии. Так, третьего дня я дошел до такой степени нервного расстройства, что ночью, во время бессонницы, меня обуял какой-то непостижимый страх, что-то в роде какого-то припадка, — я стал звать прислугу, стучал поленом, чтобы меня услышали, наконец, смешно сказать, открыл форточку и во всю мочь стал звать народ, точно меня хотели убить. Это продолжалось минут пять, шесть, и потом я очнулся и вижу, что со мной была какая-то чертовщина. Вот как я расстроен. Будь я помоложе, я бы выдумал себе какое-нибудь утешение, но я не молод, у меня определенные заботы, а выдумывать их нет возможности, я об этом-то и думаю: невозможно выдумать, по крайней мере для меня, ровно ничего такого, от чего бы стало потеплей. Если бы и случилось, — так я сам бы прекратил это, я отвык, мне нельзя, мне надобно теперь просто только работать для семьи и работать не литературно: литературную работу я кое-как протяну до весны, но весной окончательно прекращаю это дело и еду в Сибирь служить.

Из письма *Г. И. Успенского* Л. Ф. Ломовской-Маклаковой (1885 г.). «Русская мысль» 1913, № 9, стр. 31 и 39—40.

Я поехал на Киев с тем, что по карте железной дороги оказывалось удобнее доехать до Одессы через Николаев; от Киева до Кременчуга по Днепру, далее по железной дороге и потом 4 ч[аса] на пароходе. Принимая во внимание вообще низкие пароходные цены, я поехал именно так, но можете представить, что вышло: за проезд во 2-м классе очень дешево, но оказалось, что в Кременчуге пришлось ждать поезда с 5 часов утра (прих[одит] пароход.) до 10 часов с чем-то ночи, брать номер, есть от скуки, ехать в город и из города, платить носильщикам и т. д. Прождать на станции с 5 часов утра до 10 часов вечера — одуреешь. А в городе пыль, жара страшная, и пьяные офицеры рядом в номере. Приехал в Николаев — здесь еще хуже: поезд приходит в 10 ч[асов] утра, а пароход в Одессу идет на другой день, в 8 ч[асов] утра. Что тут делать? Жара ужасная. Белое небо, белая пыль, белая земля, белая вода, — все слепит и палит, точно утюгом горячим гладит по платью. Я и надумал, — чем ждать и сидеть в нумере, — поехать в Херсон на пароходе, кот[орый] отх[одит] в 12 ч[асов]. В Херсоне я пересел на пароход, идущий в Одессу, погулял два часа по городу в страшную жарищу и наконец добрался до Одессы. Она мне нравится...

Как бы хорошо тут, около Одессы, словом, в этих местах пожить с месяц! Сколько ужасно интересного! Менониты, колонисты-немцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видел и говорил, — а поверите ли, не расстался бы с здешними местами, так много в каждом уголке своего — веры, порядков, взглядов, обществен[ных] отношений, типов и т. д. Но надо ехать в Ростов, потом во Владикавказ, и там, по указанию Благовещенского и Абрамова, утвердиться на месяц, а затем домой.

... Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, — покойно и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себе печально, — интереснее думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим...

... Я очень редко отдыхал на своем веку, а теперь мне это надо до крайности, и вы увидите, что осенью этот отдых принесет свои плоды.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Одесса 7 мая (1885 г.). Сборник «Русские ведомости», 1863—1913 гг.». Добавления с подлинника письма.

Беспорядочность и практическая беспомощность ставили иногда Успенского в истинно-трагические положения, хотя в то же время его блестящие планы выхода из затруднений не могли не производить комического эффекта. Тем более, что его беспорядочность проявлялась не только в денежных делах. — Так, в своих непрестанных разъездах он то-и-дело забывал или терял нужные ему вещи, которые, впрочем, тут же оказывались, пожалуй, и совсем ненужными. Прожив однажды с месяц вместе с ним в Кисловодске, я получил потом письмо, в котором было, между прочим, следующее: «Одеяло осталось мое, — прошу М. П. взять его к себе, и когда поедет, то пусть возьмет или просто подарит старику (дворнику). А вот папиросник я забыл, кажется, в жестяной коробке. Его вы уж возьмите, пожалуйста, и пусть он будет у вас». Забыв в квартире В[асилия] М[ихайловича] Соболевского бумажник, он пишет: «Бумажник мой не бросайте на столе, там есть разные секретцы, — нехорошо, если кто прочитает».

Н. К. Михайловский.

Дорогой Сергей Николаевич! Ангел мой! Я так ужасно расстроен духом вообще все последнее время, а сегодня до того избит и измучен, что решительно готов наложить на себя руки; конечно, не наложу, но мое душевное состояние ужасно поистине, говорю вам. Поверьте мне бога ради, что я испытываю адские мучения, о которых никто не имеет понятия.

Письмо *Г. И. Успенского* С. Н. Южакову (1885 г.) «Русское богатство» 1905, № 7.

Сейчас получил от Соболевского телеграмму — он будет у меня [12] в субботу, приедет и Ник. Констант., приезжайте и вы пожалуйста — проведем один день как-нибудь.

Пожалуйста. Ваш. Г. Успенский.

Обязательное постановление.

С начала текущего осеннего сезона каждый литератор идущий и едущий к другому литератору в гости, обязывается заходить или заезжать по пути в какой-либо винный погреб и покупать бутылку или две, смотря по состоянию, вина, красного или белого, так как курс рубля упал ниже кармана штанов, и потому иногда в кармане совершенно ничего не оказывается.

Из письма *Г. И. Успенского* С. Н. Южакову (1885 г., осень). «Русское богатство» 1905, № 7.

Я, кажется, на-днях же уеду в Болгарию на некоторое время, и затем в разные места России до августа месяца... Теперь же я утомлен необыкновенно. Разорвался между четырьмя журналами,[13] и везде поэтому плохо. Но хуже всего в моей голове и совести, — все там разорвано на части от этой неудовлетворительной, неискренней работы. Вот я и хочу оправиться...[14] Также во время моих путешествий мне хотелось бы работать исключительно в «Русских ведомостях», за самую ординарную плату... Это все необходимо сделать сейчас же, сию минуту, иначе я никогда не увижу белого света. Так-то вот, ангел мой, В. М., какие дела!..

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому. Чудово, 3 декабря 1885 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 220.

Анна Михайловна! Посылаю вам начало статейки,[15] окончание которой будет непременно во вторник доставлено. Но я серьезно должен сказать вам, что крайне сожалею, что пишу теперь на эту тему — я до крайности утомлен, у меня теперь совершенно нет энергии, ни даже физической возможности делать дело как следует: в течение 15 месяцев, с августа 84 по декабрь 85 [года] я *должен был* написать до 40-ка печатных листов. Были такие обстоятельства, которые заставляли меня делать такие дела, решительно не соответствующие моей совести. Я положительно измучился, и мозг мой отказывается работать.

Письмо *Г. И. Успенского* А. М. Евреиновой 5 января 1886 г. «Голос минувшего» 1915, № 10, стр. 210.

Доброта Г. И-ча выражалась, конечно, не только в том, что он делился со всяким своими средствами, оставаясь сам в нужде. Он точно так же охотно делился со всяким своим дорогим временем, охотно выслушивал всякого, кто шел к нему со своими сомнениями, вопросами или горем. Доброта его была такова, что утешала всякого, как бы ему ни было тяжело, и многие шли к нему именно потому, что уже от одного его присутствия, от его манеры обращаться с людьми, от его ласки становилось всем и каждому легче. Он никому не отказывал в помощи, какую только он мог дать людям, обращавшимся к нему. Если нужно было дать кому-нибудь рекомендательное письмо, он немедленно садился и писал таковое. Если нужно было к кому-нибудь поехать и похлопотать о ком-либо, он это немедленно же

делал. В его квартире вечно толпился народ, являвшийся сюда то с какою-нибудь просьбою, то просто потому, что здесь хорошо чувствовалось. Со всех концов России он получал письма со всякого рода вопросами, запросами, просьбами о советах, и он все это охотно выполнял. Присылали ему в изобилии и разного рода рукописи с просьбами поместить где-нибудь посылаемые произведения, и он также обращался к разным лицам с просьбой пристроить где-нибудь присылаемое ему. У меня имеется несколько писем Г. И-ча, посвященных именно вопросу о пристройке рукописей, присылаемых Г. И-чу, и в письмах этих его доброта проглядывает положительно в каждом слове. Позволю себе в виду этого привести здесь одно из таких писем.

«Любезнейший Яков Васильевич! При этом письме прилагается очень любопытная и интересная рукопись, которую положительно надо бы поместить либо в «Неделе», либо в «Северном вестнике». В «Неделе» в последнее время очень часто пишут о необходимости работать в народе. Это так. Но надо же и заступиться за этих работников, надо же, чтобы жизнь и работа в народе не были бы тиранством и мучительством. Об учителях в «Неделе» писали много сочувственного,— и это хорошо. Но горькие условия жизни этих работников надо выяснять в литературе. Если бы вы сделали маленькое предисловие к этой рукописи и посократили ее, т[о] е[сть] поисправили бы вообще в литературном отношении, то я думаю, что она бы могла быть напечатана или в «Северном вестнике» (во втором отделе) или в книжках «Недели». Будьте добры, не откажите обратить внимание на мою покорнейшую просьбу. Ваш Г. Успенский.

Чудово 6 янв. 86 г.»

Эта чрезвычайная доброта Г. И-ча не мало и бед причиняла ему. Ему положительно не было отбоя от людей, которые так или иначе нуждались в нем и отнимали у него массу драгоценного времени. Нередко он прямо не находил времени для работы, и потому ему приходилось работать по ночам, нередко целые ночи напролет. Отсюда же у него явилась привычка уезжать куда-нибудь из Петербурга для работы. Когда он приобрел в дер[евне] Сябринцах, близ ст. Чудово Николаевской жел. дороги, крестьянский двухэтажный дом с десятиною земли, это было для него истинным спасением, так как он не только жил здесь летами, как на даче, но и спасался сюда по зимам для работы. Однако и здесь его обыкновенно не оставляли в покое, да и сам он

не долго мог быть без общества, и потому в Сябринцах обыкновенно всегда также бывал народ. Летом, когда здесь жила вся семья, у Г. И-ча обыкновенно кто-нибудь постоянно гостил, и, кроме того, беспрерывно наезжали временные гости. Но и зимою, когда он уединялся сюда для работы, его редко оставляли в покое, и также обыкновенно кто-нибудь делил с ним одиночество.

Приобретение «недвижимой собственности», хотя и ценою всего в тысячу, если не ошибаюсь, рублей (скорее меньше), было в некотором роде событием в жизни Г. И-ча. Помню чисто детскую радость, какую ему доставило первоначально это приобретение. В самый момент приобретения я был в Ставрополе и здесь получил от Г. И-ча пространное письмо с описанием всех прелестей приобретенного дома, усадьбы и местоположения. В письме был нарисован и план расположения построек усадьбы и планы обоих этажей избы. Когда затем я увиделся с Г. И-чем в Петербурге, он немедленно же стал расхваливать свое приобретение и настойчиво стал приглашать как можно скорее посетить его «поместье». Особенно расхваливал Г. И-ч баню, и даже собственно не баню, а какой-то необыкновенный душ, который устроил ему в этой бане местный кровельщик. Мне пришлось попасть в это знаменитое «поместье» уже летом следующего года, и Г. И-ч прежде всего потребовал, чтобы я отправился в баню и стал под душ. Каково же было мое удивление, когда этот душ, которым Г. И-ч так гордился, оказался просто-напросто ведром, привешанным к потолку бани и имевшим в дне ряд дыр, прикрывавшихся особой задвижкой, которую нужно было, ставши под душ, отводить в сторону. Большая часть усадьбы оказалась занятою травою, которую косили соседние сябринские крестьяне, «покупали» ее у Г. И-ча. Г. И-ч с гордостью говорил поэтому иногда о «доходах» с своего поместья, но вряд ли он получил когда-нибудь хоть копейку за эту траву...

Я. Абрамов. «Памяти Глеба Ивановича Успенского (несколько личных воспоминаний)» .«Приазовский край» 1902, № 102, от 10 апреля.

На молодежь Глеб Иванович производил обаятельное впечатление. Помнится нам один вечер, когда Глеб Иванович, в кругу студентов и курсисток, беседовал «о будущих временах». Что ожидает Россию? Что ожидает народ? Несмотря на то, что многие произведения Глеба Ивановича проникнуты довольно резко выраженным пессимизмом, в этот вечер, о котором идет речь, он был настроен вовсе не

пессимистически, а в тон других своих произведений, в которых то-и-дело звучат бодрящие нотки. Один из присутствовавших спросил его, как понимать рассеянные во многих местах его произведений мысли о том, что землею должен пользоваться (но не владеть) только тот, кто обрабатывает ее своими руками, без наемных рабочих? «Ваши ли это мысли, или вы развиваете здесь воззрения некоторых представителей народа?» — спросили Глеба Ивановича. Вопрос был поставлен ребром, и на него получили определенный ответ, что таковы и воззрения Глеба Ивановича, и он считает их несомненно воззрениями трудящегося класса. И Глеб Иванович долго говорил о будущем строе жизни, основанном на началах общественного производства и распределения. На слушателей произвела глубокое впечатление чистая и искренняя, и как-то особенно простая, естественная вера Глеба Ивановича, что к такому-то строю и идет дело. «А то как же?» — улыбаясь спрашивал он, словно в порыве особого исторического предвидения.

Сообщение *Н. И. Рубакина*, «Глеб Иванович Успенский (материалы к его биографии)». Собр. соч. Г. Успенского, изд. 1908 г., т. II, стр. XCIV.

Василий Михайлович, милый мой! Я думал было ехать (в Москву) с Н[иколаем] Конст[антиновичем] [Михайловским], но не решился: дух мой в такой степени еще не в порядке, что ехать в таком душевном расстройстве бесполезно, — это значит напрасно тратить деньги. Когда в декабре я решил не работать, т[о] е[сть] отработал, скрепя сердце, везде, где обещал, то на меня, вместо ощущения свободы, навалилась такая масса мелочей личной жизни, неприметная во время работы, что я поистине едва не спился с кругу. Тоска меня одолела ужаснейшая, а на душе была такая тьма, что я просто не мог даже подумать чего-нибудь хорошего и светлого: не мог ходить и говорить с хорошими людьми, о хорошем думать не мог весело: приедешь в Пале-Рояль, думаешь пойти туда-то и туда и поговорить перед отъездом о деле, а вместо того, пьешь дня три и уезжаешь едва жив, — и потому, что с моим душевным мраком ни к чему хорошему нельзя было прикоснуться.

Вот почему я и побоялся ехать теперь, — будешь пить, пожалуй, — ведь все юбилеи, — тут совсем одуреешь. Теперь я употребляю все средства, чтобы нахлынувшие на меня мелочи жизни устранить, утихомирить, и все мои

попранные хорошие отношения восстановить. А тогда и уеду.

Как только в понедельник в вашей церкви Введения ударят в великопостный колокол, — тут я и есть! Словом, в 8 ч[асов] утра я буду у вас и немедленно еду далее — работать, и отдыхать, и смотреть. Так вот отчего я все оттягивал мою поездку. Сколько претерпел фальшивейших минут жизни и особенно за последние полгода, — вы представить не можете! И я их теперь перетерпел и перестрадал с помощью коньяку, кажется, весьма основательно.

Не давайте Н[иколаю] К[онстантиновичу] много влюбляться, — он и в Петербурге влюбил в себя всех дам и девиц. Будет ему! Ваш Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (средина февраля 1886 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913». Добавления с подлинника.[16]

Не было никакой возможности писать из Грязей, — спал сном пьяного праведника. С Козлова до Ростова ехал одинодинешенек и большею частью спал и спал. В Ростове сообразил, как мне быть, и вот что придумал: еду сухим путем до Новороссийска, где проживу дня три и буду вам писать в «Рус[ские] вед[омости]». Из Новороссийска еду к Сибирякову, на что уйдет *неделя,* затем возвращусь опять в Новороссийск, и опять буду писать в «Рус[ские] вед[омости]». После этого уеду прямо в Болгарию; вот план, который будет соблюдаться в точности...[17]

А затем я помышляю в самом деле уехать и дальше, за границу. Не скажу еще, чтобы душа была у меня на месте, но думаю, что *должна* быть. Пока и в поле, и на реке, и в городе — нехорошо: ветер свищет, пыль, голые поля, голые деревья, — ничего больше. Зелени нет, кое-где только чуть-чуть заметна. Из Ростова идут пароходы прямо в Керчь, но пароходишки скверные, да и сухопутьем на лошадях я давно не ездил, да и места все будут новые...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Ростов н/Дону (март-апрель 1886 г.). Сб.« Русские ведомости 1863—1913 гг., стр. 221. Добавления с подлинника.

Поездка моя, начавшаяся очень растрепанно и скучно, понемногу сделалась просто восхитительной, — что дальше, то больше вхожу во вкус. Вчера, 6 апреля, я приехал сухим путем, на лошадях сделал 300 верст по станциям в 5 суток в Новороссийск и под первым же впечатлением хотел сесть

работать, но оказывается, что пароход, на котором я поеду к Сибир[якову], идет завтра, 8-го, утром, и мне надо его ловить, благо, погода не особенно ветрена, а то пароходы даже и не заходят сюда, так ка бухта кипит постоянно как котел. Нельзя бросить якорь — дно каменное. Вот почему я и не сел за работу, а поеду к Сибирякову, где, вероятно, буду встречать праздник. Пробуду у него дня 3, никак не больше; ворочусь в Туапсе, здесь сяду немедленно за работу и пришлю вам на несколько №№ сразу, а затем поеду в Новороссийск же получить письма и взять заграничный паспорт (я справ[лялся], дают), но уже не морем, а опять же сухим путем, на Майкоп, и опять по станциям, и опять на лошадях. Меня подмывает купить в Туапсе лошадь, даже просто взять у Сибирякова, нанять человека за 15 рублей в месяц на его харчах и весь апрель разъезжать по Сев[ерному] Кавказу. Здесь столько выкинуто из России преоригинальнейшего русского народу, что просто глаза разбегаются. В Болгарию и далее непременно поеду и буду писать вплоть до осени исключительно к вам, в «Рус[ские] вед[омости]». Никуда, и ни в каком случае в «Сев[ерный] вестник». По моему расчету вы в самом начале фоминой должны иметь уже мою работу.

Новороссийск — совсем еще девственное место. Несколько домиков, несколько лавок и пустая бухта. И домики и лавки пусты и заперты; все это ждет прихода железной дороги, молчит, спит в ожидании того момента, когда сюда в разных видах нахлынет капитал и у...т эту девственницу, — тогда все оживет, разохотится, и пошла писать. Теперь же только ветер свищет в пустых улицах, в новых запертых лабазах, в новой гостинице, где вот сию минуту один я. От Новороссийска до одной станции 30 верст идет отличная дорога, ничуть не хуже Военно-грузинской, но тоже тишина, никого нет и нигде не видно жилого. Все чисто, девственно, нетронуто — и необыкновенно живописно. Горы в лесах, до самых маковок, — сплошь. Самые милые горы, какие я только видел, именно милые...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Новороссийск, апрель (1886 г.), Сб. «Русские ведомости» 1863 – 1913 гг.», стр. 221—222 Добавления с подлинника.

Милый Василий Михайлович! В 4 часа ночи по дороге в Одессу остановился пароход в Ялте. Есть у меня тут два дня хороших воспоминаний, и я поехал на берег. Пробегал

часа два в сумасшедшем весельи, один. Погода богатейшая и все славно и хорошо. Купил цветов. Посылаю их вам, лоскутики; плохо я чувствовал себя на Кавказе, — теперь все будет лучше. Давно не имел писем и с нетерпением жду Одессы. Ах, дорогой, мой милый! Теперь ничего не пишу, кроме того, что я рад. Пошлите цветочков *Михайловскому*. Нет марки. Ваш Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Ялта 11 мая (1886 г.).[18] Сб. «Русские ведомости» 1863—1913 гг.», стр. 223.

Ялта 11 мая. Друг любезный! Сегодня по дороге в Одессу пароход остановился в Ялте в 4 часа утра. Погода была отличная и хотя у меня всего денег было 5 рублей, я поехал на берег и гулял там часа два с ист[инным] удов[ольствием]. Из Одессы буду писать. Целую вас всех, посылаю цветочки, купил в Ялте за 20 копеек. Целую вас. Г. Усп.

Письмо *Г. И. Успенского* жене, Ялта 11 мая (1886 г.). Печатается с рукописи, хранящейся в Государственном литературном музее в Москве. Конверт с надписью А. В. Успенской: «Цветочки, присланные мне Глебом из Ялты 11 мая». Карандашная надпись: «Осторожно».

Однажды я тоже получил от него в конверте несколько «цветочков» — с Кавказа, при чем изливались восторги от красот долины Риона и рекомендовалось такому-то отдать один из «цветочков», а такому-то дать только «понюхать». Но это жизнерадостное настроение посещало его все реже и реже, и даже в минуты веселья звенела в нем мрачная струна заботы и тревоги.

Н. К. Михайловский.

Сегодня, 12 мая, я приехал в Одессу и сию же минуту отправляю вам это письмо, 6-е будет в самом скором времени и всех писем с Кавказа будет до 10-ти.[19] Но вот в чем дело. Из Одессы мне надобно ехать уже в Болгарию, либо опять на Кавказ и поселиться там где-нибудь *в одном месте на все лето*. Но хотя это и хорошо, все-таки я предпочитаю побыть за границей: на Кавказе на каждом шагу я встречаю давно меня измучившее и надоевшее и в народе и в образов[анном] об[ществе], то есть то самое, от чего я глубочайшим образом устал и что надоело мне по газетам, по моим работам и т. д. Времени же у меня мало, а до

Письмо Г. И. Успенского к жене от 11 мая 1886 г.
Гос. литературный музей в Москве.

августа всего $2^1/_2$ месяца. Затем не знаю, — удастся ли *в жизни* поехать за границу (вещь необходимая мне решительно), и вот почему я вас прошу очень-очень — поддержите меня в этом деле. Поехавши, я буду писать о Кавказе... а потом пойдет Болгария. Денег у меня до крайности мало...

Я прошу вас пожалуйста не откажите в след[ующей] просьбе — дайте *мне* 150 рублей и пошлите в *Чудово* 100 рублей и я буду бесконечно вам благодарен, не запутаю счетов, письма будут приходить в неделю раз *непременно*. Но пожалуйста, *бога ради вышлите мне как можно скорее*. Сижу в поганом жидовском трактиришке, душа не на месте, дорого и глупо жить без толку, а в Одессе даже моих барышень нет, уехали за границу, и я *страшно* боюсь затосковать, опять сойти с ума. Это письмо пишу в большой тревоге...

Пожалуйста же не откажите. Воскресать — так в самом деле. Я ваш неизменный работник. Жалею, что начал рано писать. Надо бы после Петер[бурга]и Москвы просто пожить, поотдохнуть, познакомиться, а я начал сейчас же. Но и это было необходимо.

Напишите мне пожалуйста, как вы думаете о 4-м письме? [20] Вяло, я знаю, но меня эти фургоны ведь порядочно избили и измяли...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Одесса 12 мая (1886 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 г.г. Добавления с подлинника.

Здесь так подло и гадко в поганом литературном кругу, который буквально ни минуты не дает мне покою, и действительно подл до последней степени, что прихожу в истинное отчаяние. Бога ради пишите мне, пожалуйста! Требуйте таких-то и таких-то сведений, и я все сделаю. Я не могу теперь болтать с шарлатанами и от двух слов делаюсь болен, и меня опять тянет на Кавказ, к народу. В Болгарию дают мне массу рекомендательных писем. Ехать ли? Или еще пожить на Кавказе и получше писать о нем, а в половине июня ехать в Болгарию? Одесса расстроила меня ужасно. Это — такая распутная, бессовестная клоака. Она просто испортила мне всю душу. Мы не знаем подобной жизни, ни вы, ни я — никто! Работать в такой обстановке невозможно, надо бежать куда-нибудь...[21] На это письмо не отвечайте, завтра я буду писать другое, и там будет уже наверное сказано, куда я поеду, опять ли на Кавказ или

в Болгарию, и тогда бога ради напишите мне о моих письмах, — надо было писать так или не так? Здесь, в степи, глушь страшная, — и знакомое слово необходимо слышать.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Одесса 19 мая (1886 г.).

Милый хороший мой! Я бежал из Одессы, как из ада кромешного в Севастополь, где и работаю теперь. Я так был измучен в Одессе отвратительным строем жизни этого города, что думал только, как бы уехать, и не успел, не мог ответить вам...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Севастополь (июнь 1886 г.). Сб. «Русские Ведомости 1863—1914 гг.», стр. 224.

Я телеграфировал из Керчи, что еду, и поехал, и сам повез письмо,[22] но по дороге в Азовском море едва не утонул и благодаря мужикам, которые взбунтовались против капитана (он посадил 400 косцов на пароход без балласта и груза), пароход воротился в Керчь, а я, испуганный, уехал в Севастополь, чтобы отсюда ехать в Москву... В Севастополе остаюсь только завтра. 6-е письмо уже готово, но я хочу его переделать. Отчего я не пишу вам? Я сбит с толку кучей впечатлений, из которых, начиная с Одессы, — все один голый мрак и тьма-тьмущая. Я в Болгарию должен ехать и скоро уеду обратно, но об этом мы переговорим основательно. Теперь же до скорого свидания.[23]

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Севастополь (1886 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 225.

Завтра, в воскресенье я еду в Константинополь (2-го класса 15 рублей со столом) и оттуда буду писать вам подробное письмо, *к несчастью, невозможное* к печати. Теперь же скажу, что в ожидании денег я уже был в Константинополе с Максимовым, без паспорта и без платы и видел там Николая Ивановича,[24] того самого, который ездил в Абиссинию и т. д. Все это будет описано подробно. Я увижу его еще раз. Личность замечательная, как знаменье времени. *О разбойниках* вы слыхали только от старушек нянек; и с тех пор о них не было помину: были воры, грабители, убийцы, словом, уголовные преступники, но Степана Разина, Пугачова давно не было. Теперь он опять есть и в новом виде. Он очень скоро будет в Петербурге, его

треб[ует] государь, — тоже знаменье ужасное! В Софии я буду дней через пять и также буду писать. Но долго едва ли пробуду в Болгарии, — все, кто был там из русских, выносят неприятное впечатление: если не грубость и презрение к нам, то ужаснейшая подозрительность, — все русские — шпионы. Вот какой взгляд на них.

Денег теперь ни в Чудово, ни мне не потребуется долго, и я не буду просить денег иначе, когда поеду обратно: тогда будет уже необходимо переезжать в Петербург на квартиру. Это будет в конце июля месяца. Вы рассчитывайте меня по-божески, то есть сколько следует, не давайте даром мне, — дружба дружбой, а служба службой, и я никогда не спрошу теперь чего не следует...

Из письма *Г. И. Успенского* ему же (июнь [25] 1886 г.). Сб. «Русские ведомости» 1863—1913 гг.», стр. 225—226. Добавление с подлинника.

Ехать сюда было совсем незачем. Никакого толку нет. Только в глазах рябит и в голове шумит от толкучки улиц, где не понимаешь ни одного слова.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Константинополь, гостиница «Афонское подворье», (июнь 1886 г.). «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 11.

Я со вчерашнего дня опять в Константинополе и все русские и болгары, которых я встречал, говорят мне — не езди!..

...Живу второй день в русском монастырском доме, — комнату дали превосходную, но монахами и богомольцами воняет в коридоре и на лестнице. Если мне скажут — годить, то я перееду в меблированные комнаты...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, [Константинополь] 12 июня [26] (1886 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 г.», М. 1913, стр. 226—227.

В Болгарию не поеду! Решаюсь сделать это по истине с глубоким горем. Нет средств, запутаны денежные дела... Итак, я возвращаюсь, но через Кавказ и, может быть, Волгу... Ну, простите меня. [27] Я вам расскажу все подробно, и вы увидите, что тронуться в Болгарию на-авось, — нельзя. В Париж, — куда хотите, — можно, но не в Болгарию. Этому причин множество.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому. Константинополь [средина июня 1886 г.][28] Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 227.

Мне с приезда что-то не можется, не знаю, не простудился ли, первые два дня буквально лежал и только сегодня сел за работу. Но скучно, скучно, милый Василий Михайлович! Скучненько! Если бы через месяц-полтора махнуть опять в чужедальнюю сторонушку! Я крепко об этом подумываю, и надо бы это сделать.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому [25-го июля 1886 г.]. [29] Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 227.

В последний раз я встретился с покойным [Успенским] в Константинополе весною 1886 года. Здесь уже, как старые и довольно близкие знакомые, мы почти не расставались в продолжение недели, проведенной им на берегах Босфора. Вместе ходили по городу, вместе ездили по его окрестностям, вместе бывали у хлебосольного семейства секретаря русского консульства Н. И. Сухотина, вместе посещали русских моряков на стационаре посольства.

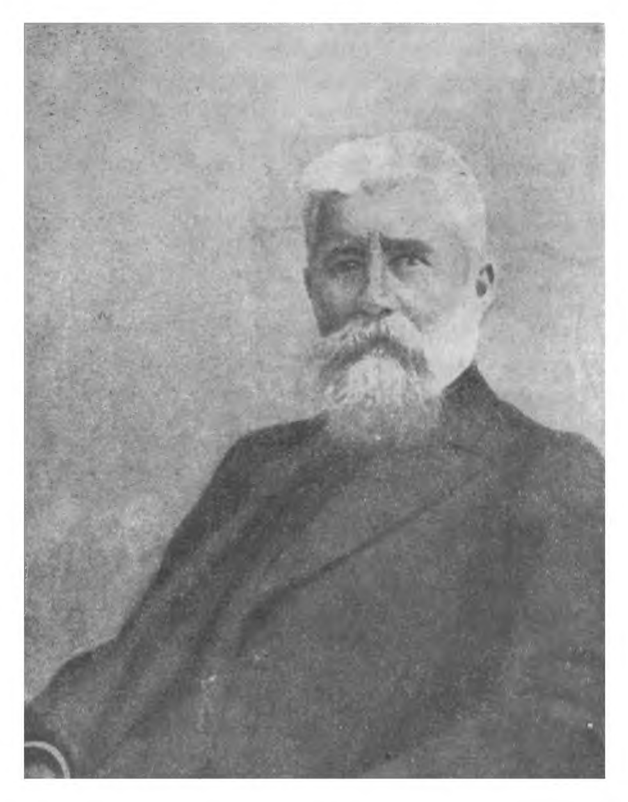
В эту встречу, и только в эту, подметил я, что чудесный человек и очень талантливый писатель стал пить много и что хмель действует на него сильно...

Несказанно было мне это больно, так как я видел вместе с тем, что никакие сдерживающие воздействия тут невозможны.

Думаю, однако, как Н[иколай] К[онстантинович] Михайловский, что эта страсть развилась в нем вследствие нервной болезни, а не нервная болезнь была им нажита этой страстью.

Старый петербуржец, «Мои встречи с Г. И. Успенским». «Биржевые ведомости» 1902, № 83, от 27 марта.

...Бросается в глаза, если можно так выразиться, географическая пестрота, в целом, обширной корреспонденции [Успенского]. Письма писаны из Петербурга, Константинополя, Перми, Козлова, Одессы, «мызы Лядно», Казани, Софии, Москвы, Ялты, Рязани, Чудова, Кисловодска, Воронежа, Нижнего-Новгорода, Новороссийска, Калуги, Парижа, Ростова, Липецка, на самолетском пароходе «Сильфида». И только случайно имеющиеся у меня письма ограничиваются этими местами, могли быть еще из Самары и Лондона, из Томска и Белграда. (Я не нашел в своем собственном собрании несколько писем, содержание и даже некоторые характерные выражения которых хорошо помню.) Надо заметить, что многие письма не помечены ни местами, ни



А. С. Посников.
С фотографии.

временем отправления, но о месте можно узнать из содержания письма, а о времени часто приходится только догадываться по разным сторонним соображениям. Понятно, что при таких условиях нелегко ориентироваться в корреспонденции. Затруднение это было бы еще значительнее, если бы я думал писать биографию Успенского. Но я не берусь за эту задачу и даже, по обстоятельствам, и из писем-то не рассчитываю извлечь все для такой биографии важное.

Уже из простого перечисления места, откуда писались письма Успенского, видно, что ему почему-то не сиделось на месте.......

...В октябре 1886 года, когда я, участвуя в редакции «Северного вестника»,[30] ждал от него из Чудова обещанной рукописи, я получил вместо нее письмо из Рязани: «Нежданно-негаданно пришлось бросить работу и уехать по одному делу. Уж, стало быть, что-нибудь есть, больше я не знаю, что сказать, и до моего возвращения о моем отъезде не говорите никому и *никого* (буквально) не спрашивайте. Я глубоко огорчен, что надул «Сев[ерный] вестник», но я искуплю в ноябре и декабре. Не было возможности даже зайти к вам. Пишу в вокзале в Москве, через час еду дальше. Итак, знайте пожалуйста, что если бы не серьезное дело, я бы не бросил работы и всех своих дел». Потом я узнал секрет этой неожиданной поездки: Глеб Иванович ездил за тысячу верст для улажения недоразумений, возникших в семье одного ныне уже умершего, горячо любимого им приятеля.

Около этого же времени, несколько раньше, он писал мне из Новороссийска:

«Я хочу сказать о N. Бывает ли она... И допустите ли вы, чтобы она познакомилась с... Я бы не допустил, и пожалуйста не допустите этого. Вам пришлю кой-какие письма Z, и вы увидите, что это самая канальская и пустопорожняя душа. NN я не знаю, но думаю, что и в ней кой-что есть такое, что имеет не беспорочное зачатие. Так вот, как эта капелла прицепится к N да втянет ее в свой бабий танец, то это будет худо. Я, право, не знаю, но как только... так мне стало страшно за N. Я писал ей, чтобы она боялась ласковых слов... Работать работай и не покидай нас, но что касается ежели барыни задумают впутать ее в лянтрик (l'intrigue), * так чтобы лупила их наотмашь».

И действительно, он написал по этому поводу г-же N: «Боюсь я этих проклятых баб: очень они ехидны, плутоваты

---

* Интригу.

очень бабы и бесконечно опытны только в одном ехидстве, плутоватости, подвохах, пронырствах и всяких ядовитых каракулях, вращающихся около амура, и только амура, в котором к тому же никто из них ничего не смыслит и вне которого, однако, для них нет ровно ничего святого и даже любопытного. Чорт их знает, что это за порода! Когда я был у вас и прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удержать в пределах серьезного интереса, — я не мог *думать*, чтобы они были такие ехидные. И вот я прошу вас: будьте мудры, яко змия! Пожалуйста!»

Н. К. Михайловский.

Что делать мне? Всякий раз, что я войду в орбиту «Сев[ерного] вестника», все во мне замирает, и просто не знаю как быть. Перессорился я там со всеми; об этом долго рассказывать. Но мне худо и не глядел бы на белый свет. Скоро буду в Москве, привезу вам непременно работу и расскажу.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Петербург [средина ноября 1886 г.]. С подлинника.

Ну, дорогой Василий Михайлович, употребил я все усилия для того, чтобы рукопись [31] была у вас в понедельник, но так был и сейчас болен, что работа нескольких часов затянулась на три дня. Послав вам телеграмму, должен был оставить конец и вновь переделать начало; простите бога ради. С января работа пойдет аккуратно.

Вот что я желал бы знать? Могу ли я взяться за разбор всех русских политических процессов? В «Современных изв[естиях]» [32] было «15 лет крамолы». Отчего нельзя коснуться этого времени? Это для меня необходимо. Я буду вполне беспристрастен, все пересмотрю с полной точностью, и ошибки наших социалистов будут названы ошибками. Словом, всякая политическая острая черта будет устранена. Устранено даже все трогательное, драматическое, и только расплету эту спутанную теперь косу на косички. Подумайте пожалуйста об этом.

Будьте здоровы, не сердитесь на меня. Я очнусь, оправлюсь духом; мне нужно дело, — новое, и вот отчего я сам не свой и ничего во мне нет божеского. Я сам измучился, но надеюсь, что перемогусь и перетерплю. До свидания.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (декабрь 1886 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 227—228.

...Ваш проект относительно политических процессов, по моему крайнему убеждению, не легко осуществить. Тут так много будет недомолвок, а что можно, — будет непременно односторонним суждением, что, право, лучше не браться за такие вопросы. Пусть их разбирает история. Все это еще так недавно было, все касающееся этого дела такое еще больное место, что говорить о нем можно было бы только при полной свободе печатного обсуждения: иначе выйдет пристрастие в ту или другую сторону. А вопрос слишком серьезный, и каждое не так истолкованное слово может поставить нас в самое фальшивое положение. Помимо воли может выйти не то, что следует. Мне кажется, «Мы» представляем собою богатый материал для писания и без этой ужасной стороны нашей общественной жизни. Пусть ее разбирает потомство, более здоровое и хладнокровное. А мы с вами, больные, издерганные люди, ничего тут как следует разобрать не можем. Мне так представляется дело.

Начните, голубчик, с чего-нибудь другого: только непременно начните. Судя по последним вашим произведениям, вам писать *необходимо* много и много. Не *писать* для вас теперь невозможно. И писать больше из *жизни,* чем изнутри себя. В нас так мало осталось здорового и понятного для непосредственных читателей, что только, право, себя дразнить и раздражать, и людей смущать нашей философией. Как сами видите, — за ней уже приходится ходить к Мономаху и к славянофильско-Тютчево-Аксаково-Достоевского ерунде.[33] Это плохой признак. Ведь эдак, пожалуй, и до Конфуция доедешь. Какие уж мы философы, когда всю жизнь нас только колотили, а мы даже и не кричали; когда же тут было думать и обдумать, когда и вздохнуть-то свободно было некогда!.. Пишите же, голубчик, милый, скорее.

Из письма *В. М. Соболевского* Г. И. Успенскому 28 декабря (1886 г.). «Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 198—199.

Дорогой мой Василий Михайлович! Так я еще могу поехать, и вы еще не махнули на меня рукой? Как я рад!

Вы же можете представить, как я рад вашему милому письму — может быть, и в самом деле я справлюсь с духом моим. Право, я иногда немного обвиняю Николая Константиновича — я в декабре совсем было готов ехать, все закончил, все было готово, но он заставил меня сесть за работу для «Северного вестника»,[34] против воли, против моего желания, и я написал для него две статьи с таким душевным мучением, как бы в самом деле ел кирпичи. Это

меня расстроило, изуродовало мои планы, но нельзя было не поддержать его, не исполнить просьбы. А теперь вот он вышел из редакции просто из-за бабьих сплетен [35] и вообще совершеннейших пустяков. Вы не говорите ему этого пожалуйста, но право это так. Мне так противно в «Северном вестнике» именно от непостижимых бабьих разговоров, интересов, словом, каких-то неуловимых мелочей, которые составляют что-то главное там, что даже в «Русской мысли» я чувствовал себя лучше. Это просто чорт знает что. Нужно было и мне уйти оттуда, и я писал против воли, насильно, как на каторге. Теперь все кончено, и не буду писать... [не разобрано], еду, еду, еду непременно! Неужели я так и пропаду? Неужели у меня не прояснится на душе? Как это страшно думать. Вероятно, я привезу с собой мой восьмой том. Но непременно еду! До свидания, дорогой, милый, ласковый и душевный человек. Ваш Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (1886 г.), неотосланное. [36] *В. В. Буш,* «Литературная деятельность Гл. Успенского, Л. 1927 г., стр. 181—182.

Домашнее условие

§ 1. Мы, нижеподписавшиеся: потомственный почетный гражданин Иннокентий Михайлович Сибиряков и уездный учитель Глеб Иванович Успенский заключили между собой это домашнее условие, а в чем тому следуют пункты:

Пункт первый. Уездный учитель Глеб Иванович Успенский уступает потомственному почетному гражданину Иннокентию Михайловичу Сибирякову полное право собственности на вечные времена на все его, Успенского, сочинения, как уже изданные Флорентием Федоровичем Павленковым, в 8 томах, так равно и на томы девятый и десятый. Кроме того ему же, Сибирякову, уступает полное право на вечные времена на все другие его, Успенского, произведения, которые не попали в вышеозначенные десять томов и напечатаны особо, вообще, все то, что где бы то ни было, под каким бы ни было наименованием напечатано по 1 августа 1886 года. А точно так же и на таких же условиях и все то, что [*наверху карандашом вставлено:* ныне] находится в рукописях его, Успенского, по 1 августа 1886 года, уступается [*наверху карандашом:* и передается] И[ннокентию] М[ихайловичу] Сибирякову.

Пункт второй. Относительно повторного издания восьми томов, ныне изданных Флорентием Федоровичем Павленковым, Сибиряков входит в соглашение с г. Павленковым,

то есть они определяют по взаимному соглашению время, с которого начинается право Сибирякова.

Пункт третий. Томы девятый и десятый в объеме каждый не менее 23 печатных листов (двадцати трех печ[атных] листов) будут изданы: девятый, когда пожелает Сибиряков, а десятый по мере накопления материала, не далее, однако, одного года со времени написания настоящего условия.

Пункт четвертый. По прекращению права Флорентия Федоровича Павленкова на первое издание Сибирякову принадлежит полное право собственности на вечные времена на все произведения Успенского, указанные в пункте первом сего условия.

Пункт пятый. Сибиряков сам определяет как форму, так и цену изданиям вышеуказанных сочинений Успенского, и Успенский в это вмешиваться не может.

Пункт шестой. Сибиряков уплачивает за уступленное ему, Сибирякову, право собственности на все в пункте первом сего условия указанные сочинения Успенского 18 750 рублей сер. (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят [рублей] с[ер].). Из этих денег 750 (семьсот пятьдесят р[ублей] с[ер].) выдаются Сибиряковым Успенскому при заключении сего условия, 3000 руб[лей] (три тысячи рублей) — в половине августа сего 1886 года и остальные пятнадцать тысяч рублей сер. (15 000 р[ублей]) — в октябре сего, 1886 года.

Пункт седьмой. Последние пятнадцать тысяч руб[лей] сер. (15 000 р[ублей] сер.) должны быть помещены в *какое-нибудь кредитное учреждение по усмотрению Сибирякова [курсивные слова — прочеркнуты карандашом и наверху карандашная надпись — государственный банк],* с тем, чтобы Успенский мог пользоваться с них только процентами во все время, покуда право будет принадлежать Сибирякову.

Пункт восьмой. В октябре 1886 года, по уплате Сибиряковым всей суммы Успенскому, заключается между ними формальный договор у нотариуса.[37] Договор этот, включая в себя вышеуказанные условия, должен включить и другие условия, которые должны быть подобны условиям, заключенным Ив. Ив. Глазуновым с Иваном Сергеевичем Тургеневым на предмет уступки Тургеневым Глазунову права литературной собственности. Впрочем, по обоюдному соглашению, они могут быть и изменены.

С.-Петербург. 2 августа 1886 года. Потомственный почетный гражданин *Иннокентий Михайлович Сибиряков.*

Уездный учитель *Глеб Иванович Успенский.*

Следуемые по первому взносу семьсот пятьдесят рублей получил *Гл. Ив. Успенский.*

P. S. Условие это заключается в двух экземплярах: один находится у Успенского, другой — у Сибирякова. Все другие условия, упомянутые в пункте восьмом, будучи подобны условиям Тургенева с Глазуновым, ни в коем случае не могут противоречить пунктам сего условия.

С.-Петербург. 2 августа 1886 года.

Сибиряков
Успенский (собственноручные подписи).

Договор предварительного соглашения Успенского с Сибиряковым на продажу собрания сочинений. (Напечатан с подлинника хранящегося в Государственном литературном музее в Москве, п. 1256/9).

.....Успенские переселились на житье в Сябринцы, где был уже подновлен старый дом, сделаны необходимые пристройки и разведен небольшой сад. О жизни их там в эти годы (1881—1886) я знаю только по рассказам детей и Александры Васильевны. Там дети росли и подготовлялись к учебным заведениям и самой Александрой Васильевной и приглашенными учителями и учительницами. Там Глеб Иваныч работал и отдыхал от своих ежегодных поездок по России, которую исколесил он из конца в конец на пароходах, на лошадях и в вагонах третьего класса. В Сябринцы ездили к ним тогда, как ездят до сих пор в Ясную Поляну, — повидать Глеба Иваныча, поклониться Глебу Иванычу, спросить у него совета, как жить и что делать, ездили отдохнуть от «сиденья» где-нибудь в «предварилке» или в «Крестах»...

За все эти годы память моя сохранила только одно свидание и один разговор с А[лександрой] В[асильевной] Успенской. Кажется, осенью 1885 (или 1886) года П. М. Р-на попросила меня «побывать у Успенских и спросить *осторожно* у Александры Васильевны, что такое вышло у них с Сибиряковым...»

— Узнайте пожалуйста хорошенько, в чем дело, — говорила она: — я очень беспокоюсь за Александру Васильевну... Говорят, Сибиряков отказывается от издания, и Глебу Иванычу угрожает уголовный процесс, так как он будто бы не имел права продавать этого издания. Что-то уж очень невероятное! — прибавила тут же она.

Мне тоже не верилось.

Я поехала, — кажется, на Васильевский остров. Смутно, как во сне, припоминается мне темная квартира в нижнем

этаже, с окнами во двор или в палисадник. Бедно одетые дети играли в садике с бонной. Александру Васильевну я застала одну, в необычайно подавленном настроении. Она просматривала какие-то деловые бумаги. Тут же подле нее, на столе, на окнах и на полу, лежали связки томов сочинения Глеба Успенского: «Разорение»...

Я объяснила, как могла лучше, цель моего посещения

— У нас теперь большая беда, — глухо сказала она: — Глеб Иваныч — под судом. Ему предстоит уголовщина...

Я подумала — она шутит; как-то не вязалось в голове: Глеб Иваныч и — уголовщина...

— Нет, я не шучу, — озабоченно говорила она. — Глеб Иваныч поступил необдуманно... Его всю зиму увозили от меня куда-то разные господа... все уговаривали его продать сочинения... Ну, и он продал *все* свои сочинения Сибирякову и позабыл или не знал, что «Разорение» у Карбасникова еще не распродано... И теперь Глеба Иваныча обвиняют в мошенничестве... И если приговор состоится, — его посадят в тюрьму, а потом сошлют в Сибирь, с лишением прав... *за мошенничество*! — Она с какой-то болезненной горечью повторила это ужасное слово.

— Но этого разумеется, никогда не будет! — невольно вырвалось у меня. — Я не могу этого переварить даже в мыслях...

— Вот и Глеб Иваныч... тоже не может...

Она не договорила, — как будто ей внезапно захватило дыхание, — и на бескровно-бледном лице у нее отразилось такое страдание, как будто приговор уже состоялся, *и* ее *приговорили* к лишению прав и в Сибирь вместе с Глебом Иванычем.

Никакой «уголовщины», разумеется, не последовало, но эта «история» ждет еще своего летописца, и я позволю себе упомянуть о ней только потому, что теперь вижу ясно именно здесь *поворотный момент*, роковое начало всех позднейших событий в жизни несчастного Глеба Ивановича.

В. В. Тимофеева

ГЛАВА X

Поездка в Болгарию.— 25-летний юбилей,— Поездка в Сибирь (1887—1888).

Познакомился в Петербурге с Гл. Ив. Впечатление от личности замечательно хорошее, но сильно «усложненное» странными настроениями, в которых он теперь находится. Это вообще «человек настроения». При замечательной талантливости («гениальности» — как говорит о нем Щедрин) — ум его недостаточно дисциплинирован, а образование не широко. Поэтому он часто натыкается на отдельные истины, которые его поражают новизной (для него) и потому вдвигаются в его миросозерцание слишком резко, нарушая перспективу, и становятся на время как бы центром его мысли. Теперь он увлечен европеизмом, находя, что у нас напрасно считали Европу в корень обуржуазившейся. Там, «дескать», о «правде» и о народе и думают больше нашего и осуществляют лучше. Очевидно, в Европе он до сих пор не видел ничего подобного и теперь поражен открытием. Другая его идея теперь — это «газетность» нашей жизни. Газета и преимущественно газета Нотовича является для него символом и квинт-эссенцией всего канцеляризма, поверхностных писаний, прожектов и лицемерных «бумажных» забот о народном благе. Эти две «идеи» теперь владеют Глебом Ивановичем всецело и ими он старается охватить чуть не всю жизнь. «Читайте Сюлли-Прюдома» — «это все делает газета, газета!». Конечно, это односторонность и увлечение. Но зато она именно придает ту страстность, даже страх, то горячее проникновение, с каким он и рисует данное явление, выслеживая своего врага во всех закоулках жизни. Вся система его воззрений шатка, противоречива, наконец — неуловима. Но зато отдельные части, в свое время всецело завладевавшие не только воображением писателя, но всей его душой, согреты настоящим художественным проникновением (как «Власть земли», например). Впрочем, теперь он сильно исстрадался и устал. — «Вы счастливы, — говорил он мне: — ссылка позволила вам



Г. И. Успенский

С фотографии 1887 г.

Институт русской литературы Академии Наук СССР

сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы, — виноваты уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которое не вытравишь ничем». Нужно было слышать, с какой глубокой искренностью, как просто это было сказано, — чтобы глубоко полюбить этого человека.

Вл. Короленко, «Дневники (1881—1893 гг.)», т. I, Гиз. 1925, стр. 59—60 (Запись 9 марта 1887 г.).

С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887 года.

В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые руки несколько слов привета и ободрения по поводу моих первых литературных опытов. Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку, и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции, меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку. С этим чувством я подымался в 5-й (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел, меня встретил кто-то из молодежи, наполнявший соседние комнаты. Был, помнится, какой-то семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квартиру. Я назвал свою фамилию, и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню, однако, что оно както сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, — слилось со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произведений. Мне казалось только, что лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной,

вдумчивой и как будто давно отложившейся на самом дне этой глубокой души.

Наскоро познакомив со своей семьей, Глеб Иванович увел меня в свою маленькую рабочую комнатку налево от входа. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но от этого молчания мне совсем не было неловко. Наоборот, с первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой, как будто мы были давно знакомы. Он курил и прислушивался к веселому шуму молодежи, доносившемуся из соседних комнат. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глеба Ивановича как-то внезапно светлело, и он глядел на меня смягченным взглядом, как будто приглашая принять участие в этой общей радости. Потом, как бы продолжая давно начатый разговор, он рассказал мне о своих детях, об их характерах и о причине семейного праздника...

Подробностей этого первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся Достоевского.

— Вы его любите? — спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.

— Перечитываете? — переспросил меня Успенский как будто с удивлением и потом, следя за дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... прямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.

— А все-таки есть много правды, — возразил я.

— Правды?..

Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и стеной, сказал:

— Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?

— Конечно, немного, — ответил я, еще не понимая этого странного перехода мысли.

— Пара калош...

— Пожалуй.

— Положительно: пара калош. Ничего больше...

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил:

— А он сюда столько набьет... человеческого страдания, горя... подлости человеческой... что прямо на четыре каменных дома хватит.

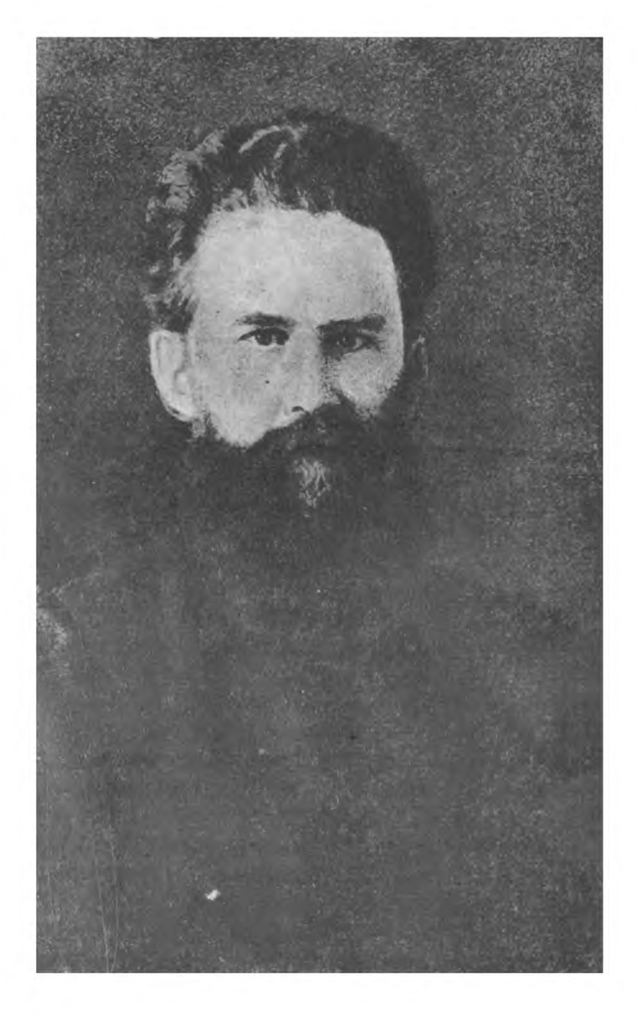
Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим изумительным умением Успенского — двумя-тремя словами, комбинацией первых попавшихся на глаза предметов — объяснять и иллюстрировать сложные явления, для которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов... Его суждения всегда бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остроумия, в котором чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость человеческая» — в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице...

Может быть, в этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болезнь... Но в то время мне это не приходило в голову, тем более, что и эта печаль и эта чуткость сливались в цельный образ, слишком привлекательный, чтобы казаться болезненным. Во время разговора он страшно много курил, и здесь опять у него был свой особенный, оригинальный прием: докурив папиросу до половины, он вынимал из нее своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштук и как-то особенно ловко надевал недокуренную папиросу на другую, новую. С этой последней через некоторое время он проделывал то же самое, и таким образом его папироса не уменьшалась, а наоборот, достигала иногда необычайных размеров.

Впоследствии много раз приходилось мне проводить время с Глебом Ивановичем, и почти всегда при этом я видел у него во рту эту длинную составную папиросу, которую он все дополнял с привычной ловкостью. Нередко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень

может быть, даже наверное, что и это неумеренное куренье и вино оказали свое вредное влияние и ускорили наступление болезни. Но меня всегда коробит и оскорбляет, когда я слышу или читаю об алкоголизме или «обычном пороке талантливых людей» в применении к Глебу Ивановичу Успенскому. Я лично пьяным его никогда не видел... Мне кажется, что у него не было любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. Да такого изменения и не было: он оставался все тем же, с тем же грустно-задумчивым взглядом и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино, и то, что я, без привычки, тоже курил и пил в присутствии Глеба Ивановича, и что ни куренье, ни табак не оказывали на меня никакого действия, — то мне кажется, что это было какое-то ровное, беспрестанное и чрезвычайно интенсивное горение мозга и нервов, заразительное, вовлекавшее тотчас же и других в свою сферу. И в этом горении совершенно утопало впечатление наркотиков. Это были просто капли, шипевшие на раскаленной плите. Но плита раскалялась не ими...

Разговор Успенского был тоже совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь, он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто сквозь слегка сжатые зубы, и при этом жестикулировал как-то особенно, то-и-дело прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль, которую он чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста, без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений, часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его отрывистых замечаниях и в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В одном из своих очерков [1] он говорил, что иногда можно «молчать о многом». Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном молчании, и бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином даже умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река, которая то течет на поверхности, то исчезает под землею, чтобы через некоторое время опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслушавшись в основное содержание занимавшей



В. Г. Короленко.
С фотографии начала 80-х годов.
Гос. литературный музей в Москве.

его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это «молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной короткой фразе или даже в одном только слове.

Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа. А между тем, это было нормальное состояние Успенского, по крайней мере в том периоде его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только растительные, восстановляющие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников, никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытье и сон. Совершенно также некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу, его словам, его взгляду, самому его молчанию...

Но это же и сжигало его неустанным огнем...

Все это, разумеется, сложилось для меня в полное, сознательное впечатление только впоследствии, при ближайшем знакомстве с Успенским, и даже продолжает выясняться теперь, когда я вглядываюсь в свои воспоминания. Помню, однако, что в этот первый вечер, выйдя на пустынную линию Васильевского острова, я очень удивился, взглянув на часы, — как уже поздно и как скоро прошло время. И я долго шел пешком, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловил себя на этих невольных остановках, во время которых, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я в сущности был занят только переполнявшим меня впечатлением от этой своеобразной личности, с ее совершенно особенным душевным складом, значительным, глубоким и обаятельным.

Короленко

После смерти Успенского в одной газете был рассказан такой анекдот. Крамской написал портрет Успенского. Выставку, на которой появился этот портрет, посетил и Глеб Иванович. Здесь к нему подошел какой-то водочный заводчик С. и, отрекомендовавшись большим почитателем его произведений, заявил, что он только-что купил его портрет. Когда Успенский узнал, с кем он имеет дело, он спросил заводчика-мецената, где он в свою очередь может купить его портрет, хотя бы фотографический. Тот удивился: «Что

это вам вздумалось?» — «Да я тоже большой почитатель ваших произведений», — отвечал Успенский. Соль этого анекдота заключается в намеке на злоупотребление покойного писателя спиртными напитками. Но сочинитель анекдота, очевидно, не имеет понятия о духовном облике Успенского, если предполагает возможным для него такое пошлое остроумие, да еще в беседе с незнакомым человеком. Притом же обстановка анекдота сплошной вздор: единственный портрет Успенского, бывший на выставке, писан не Крамским, а Ярошенком, и не водочный заводчик С. купил его, а известная харьковская деятельница по народному образованию, Х[ристиана] Д[аниловна] Алчевская.

Таким образом, анекдот этот есть просто выдумка. Но мне не раз случалось слышать мнение, что Успенский сильно пил, и что психическая болезнь его была результатом злоупотребления алкоголем. Я никогда не мог с этим согласиться. Отнюдь и не утверждаю, что он был безгрешен в этом отношении. Не говоря о моральной стороне дела, — ибо не знаю, много ли найдется в том кругу, в котором он вращался, людей, имеющих право суда в этом отношении, — я думаю, во-первых, что слухи о его грехе сильно преувеличены (в покаянном настроении он сам способствовал этому преувеличению), а во-вторых, грех этот был не столько причиною, сколько следствием того нервного расстройства, которое окончилось психическою болезнью. Вот что писал однажды Успенский к г-же N, предоставившей в мое пользование коллекцию его писем: «Не могу забыть, как я безобразно вел себя у вас, — напился! Могло ли это быть прежде, чтобы именно у *вас, у вас-то* я позволил себе это? А теперь вот позволил. Стало быть, что-то во мне пропало, и, стало быть, я стал пропадать». Выражения: «безобразно вел себя» и «напился», несомненно, сильно преувеличены. Из того же письма к г-же N видно, что, будучи у нее в гостях, он «прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удержать в пределах серьезного интереса», — вести подобные разговоры не значит «вести себя безобразно». «Безобразно» пьяным я не видал Глеба Ивановича никогда. Богатая и блестящая, но от рождения неуравновешенная натура, Успенский мог быть спасен от печального конца только исключительно благоприятными условиями жизни, какие вообще редки и каких не выпало на его долю. Болезнь подкралась к нему с чрезвычайною постепенностью. Можно, конечно, с точностью указать время когда его пришлось поместить в больницу, но едва ли можно даже с при-

близительно такою же точностью сказать, когда болезнь началась. Быть может, она давно уже вила себе в нем гнездо, когда мы, близкие к нему люди, видели в нем только человека очень нервного и очень оригинального.

Н. К. Михайловский.

Весной 1887 года, до поездки Г. И. в Болгарию, на одном литературном вечере, происходившем в квартире В[арвары] А[лексеевны] Морозовой, публика устроила Успенскому и приехавшему вместе с ним в Москву, ради того же вечера, Н[иколаю] К[онстантиновичу] Михайловскому шумную и единодушную овацию. Г. И. был так потрясен этим выражением сочувствия, что, проговорив шопотом несколько слов благодарности, *сбежал* с эстрады, в буквальном смысле слова. Его пришлось вернуть насильно, и один из его друзей сел рядом с ним и не отходил от него, пока он не прочел, опять-таки шопотом, едва слышным в первых рядах, то, что полагалось по программе (рассказ «Нужда скачет»). [2] Все это время в зале царила глубокая тишина, но когда Успенский сложил книгу и встал, публика возобновила свою манифестацию в его честь с еще большей энергией.

Вл. А. Розенберг, «Глеб Успенский в годы «безвременья». Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 229.

Неподражаемым мастером рассказов и вообще обаятельным собеседником он оставался всегда. Трудно выразить словами, что именно обаятельного было в его беседе. Назвать его человеком красноречивым отнюдь нельзя, искрящегося остроумия у него тоже не было. Случалось, что, увлекаясь какою-нибудь мыслью далеко за пределы логической возможности, он говорил вещи, с которыми никаким образом нельзя было согласиться. И тем не менее слушать его было настоящим художественным наслаждением, не говоря уже о поучительности его беседы, благодаря его всегда оригинальной точке зрения.

Боюсь, что, упоминая о мастерстве его рассказов, я навожу читателей на параллель с покойным Горбуновым. Ничего подобного! И мало того: есть и не профессиональные рассказчики, славящиеся разговорным мастерством, способные десятки раз буква в букву, интонация в интонацию повторить один и тот же рассказ, сказать одну и ту же речь, выразить одну и ту же мысль; Успенский был на это решительно неспособен, он просто не мог повторяться. Разница еще в том, что подобные мастера устной беседы любят кра-

соваться своим искусством и говорить в большом обществе, Успенский же развертывался только сам-друг или в среде близких, своих людей, а в большом и незнакомом обществе обыкновенно увядал. Для него было истинным мучением обращать на себя внимание, даже выходить на эстраду на литературных вечерах. Я помню уморительную сцену на литературном вечере в Москве, в доме В[арвары] А[лексеевны] Морозовой. Зала вмещала всего каких-нибудь 200-300 человек, и все это были горячие поклонники Глеба Ивановича (вечер имел частный характер). Его встретили градом аплодисментов, а он, претерпев их, раскрыл книгу и постоял несколько секунд молча, потом закрыл книгу и молча же сошел с эстрады.

Н. К. Михайловский.

Во второй половине 80-х годов я жил в Нижнем-Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению даже не знал). Хотя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о распоясовской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды», тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отеч[ественных] записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «Надо и нам». Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «*Мы* тоже хотим... Надо и нам...» [3] Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие, требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или внимания, не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не

было выхода... Началось *само*углубление, *само*усовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя» — с обычною меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того, он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настойчивых призывов «все-таки смотреть на мужика».

Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний-Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.

— Кто это у вас? — спросил он с величайшим любопытством. — Я не расслышал его фамилии.

— А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?

— Это какой-то необыкновенный человек. От него... веет гениальностию.

— Поздравляю вас, — ответил я, смеясь, — вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.

После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а, наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.

Вл. Короленко.

Дорогой мой Василий Михайлович! Вы сердитесь на меня и махнули на меня рукой, и можно и должно это сделать, не зная положения дела. Но вот оно какое подлое. Вы можете мне сказать: «Два раза ездил в эту Болгарию и два раза не доехал». Нельзя мне доехать! В прошлом году я боялся сунуться туда второпях, то есть так же легко, как идешь в нашу деревню; боялся наврать, теперь же совсем другое: буквально все люди образованные, всей Болгарией, сколько их ни есть, относятся ко мне самым лучшим образом, *ждут меня,* и вот почему мне нужно крепко подумать, прежде чем быть среди них. Если бы имя мое и мои произведения не были известны, и если бы они не были определенны, то есть не исключительно художественны, — тогда другое дело. Но меня знают здесь как-то особенно, как человека, имеющего в России *какое-то значение,* вот что беда! Буфетчик, горничная на пароходе, доктор — все могут итти в город, в Рущук (самый центр теперь борьбы); если же приду я, то меня не могут оставить так, сидеть где-нибудь в саду и пить пиво; меня они должны, — и не могут этого не сделать в своих видах — превознести выше облака ходячего, о чем я сто раз был извещен. Например, в прошлом году (только по слухам, что я буду) была нанята в Филиппополе от города квартира. Они жаждут чего-то истинного и думают, что я скажу им. Вот где драма, мое глубокое душевное расстройство, горе, от которого я положительно едва жив.

Тихомиров и его книга «Россия» (я посылаю ее вам на французском языке) — настольная книга ренегатства.[4] Следовательно, мне выйти на берег — это значит получить овации от страны, которую я люблю и которая меня якобы глубоко уважает, — и, следовательно, пропасть в самой России, так как я сам, в четыре поездки по Дунаю, имел удовольствие познакомиться с множеством русских шпионов, настоящих, устраивающих революции, восстания на русские деньги. Яд, подлецы, даже возят — и не смеешь пикнуть, некуда выскочить; они, шпионы (все это имеет непосредственное сношение с Катковым, которого, кстати сказать, все они ругают подлецом. Подробно скажу потом). Вот положение, и вы меня поэтому не осуждайте. Я столько тут пережил мук, что и рассказать невозможно.

Словом, тут нужно *решаться* на самые рискованные вещи. Я разу не мог этого сделать, но *непременно там* буду, только мне нужно сообразиться и списаться и сделать так, чтобы «русская партия» (то есть все катковство, делающее восстание, яды и эмиграцию и т. д.) забыла, что я тут, близко. Сегодня первый день, что я могу писать даже так, как

сейчас, и все время я положительно пропадал. Да! Надобно *действовать* и действовать *прямо!* — «Ты писатель, сочувствуешь и тому-то и тому-то? Ну, так докажи. Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Мы ведь не боимся расстреливать подлецов, и не боятся ваши, которые ненавидят подлецов, умирать. Ты должен быть не зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, то и на деле пожалуйте!» Это все верно, правда сущая, но я уже напуган. Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю *так!* Если же я не сделаю так, то все чепуха, вся жизнь вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки! Боже мой, как мне опротивел *здесь* Толстой! Какой смрад!

Я говорил, что сегодня первый день, что я могу хоть так писать, как сейчас. Завтра я также буду работать и напишу кое-что из поездки по Дунаю. Я никого не обижу — ни болгар, ни «русскую партию», но коснусь только положения нашего народа и народа болгарского, а также теперешних отношений между русскою и болгарскою *ложью*. Пожалуйста, не протестуйте против этого. Есть ложь. Наша, нами воспитанная, никому иному не свойственная. Если же эти *новые* письма будут неприятны, то все-таки сохраните их.

Трудно! Трудно! Встретиться лицом к лицу со всей нашей подлостью, со всей изменой человеку, предательством, скотством (и в нас и в болгарах), все вспомнить, что смягчено одинаковой цензурой и самой литературой, что урезано капельной политической мыслью газет, —все это видеть без стеснения, во всем видеть свою долю вины, — нет, это дело не простое и не легкое. Врал? Ну, так вот, полюбуйся, что вышло!

В этом письме я сто раз упомянул — я, я, я, — меня уважают, мне овации и т. д. Это вовсе не значит, что я говорю о себе, о Глебе Успенском, а о таком писателе, который, болгары знают, за них должен быть. . . Это, по их мнению, — настоящая сила России, держащая в своих руках, все, что в России искренно. Что же касается лично меня, то действительно *знают* и знают хорошо. Лучше, чем *я* сам. *Лично* для меня минута большая. Что, если все это пойдет прахом? Тогда надобно будет поступить на железную дорогу, а писать уж и не сметь! . . Не сметь. Надо бы «не соваться», — сиди в Чудове, скучай, ропщи и «пописывай» — ан время-то и прошло. Но тут-то, отец мой, милый В. М., нужен *прямой ответ* на каждое слово. «*Болгария,* — сказал мне один польский корреспондент, — *теперь как голый ребенок, что с ним будет?*» Действительно, пережила всякую дрянь и всю дрянь

разогнала. Что теперь? Что скажет *лучшая русская литература?* Ну-ка, что сказать?

Черновой набросок письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, (1887 г.)[5] «Русская мысль» 1913, № 9, стр. 40—42.

Рассказ сейчас я написать не могу, то есть просто под тяжелейшими впечатлениями поездки по Дунаю не могу разобраться ни в мыслях, ни в чувствах. Кроме того, что впечатления эти тяжелы и безобразны, они еще и не передаваемы в печати. Если бы я хотел быть справедлив, хотя бы в самой малой степени, то я ни о чем другом не мог бы писать с Дуная, кроме проклятий русскому правительству. Ведь вся теперешняя борьба Болгарии и России происходит именно вследствие ненависти болга́р к России, и если писать оттуда «о положении дел», то нужно громить таких подлецов без милосердия. Борется с ними целая страна, пред всем светом, и, конечно, я должен быть на той стороне, а не на нашей, предательской, разбойничьей. Вот почему, при всем моем желании «хоть что-нибудь» написать о Болгарии для «Русск[их] ведом[остей]» — ничего не выходит возможного в печати. Может быть, два-три письма и пройдут,[6] но такие письма и писать скучно. А между тем я истратил много денег на эту поездку, и чтобы привести в порядок мои денежные дела, мне *надобно тотчас же воспользоваться остающимся в моем распоряжении* свободным временем до 15 августа, когда надобно будет переезжать в Петербург, и уехать уже не в Болгарию... Эта поездка нужна, повторяю, для меня не в фин[ансовом] отношении, а просто для того, чтобы изгнать из себя подлые впечатления дунайской слякоти и грязи. Я видел катковцев и царевников в действии, а не в передовицах, то есть я видел, как грабятся по-разбойничьи чужие жизни, чужие средства, чужие души. Обо всем этом не пишут и нельзя писать. Это разбойничья шайка. Писать под такими впечатлениями невозможно. Надобно ехать и очнуться...

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, Чудово 16 июня 1887 г.[7] «Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе». Л. 1929 г., стр. 594—595.

...Кто же собирается праздновать мое тысячелетие? Очень рад доставить публике удовольствие. Я даже уверен, что если что-нибудь подобное случится, так это будет такое

необыкновенное, что ни пером описать, ни в сказке сказать. Уж я расстараюсь, и, как говорится, «произведу-у!»

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову, 1887 г. «Русские ведомости 1863—1913 гг.» М. 1913, стр. 229—230.

На мои именины я получил около 20 телеграмм, много писем и два адреса, из которых адрес Петровской академии (70 подписей) превосходен. Надо отвечать, и вот я написал ответ, который прилагаю и прошу напечатать. Как вы найдете его? Не юбиляр же я в самом деле... Ведь тогда мне смерть. Я и так стараюсь думать, что ничего не было. Все эти телеграммы, и адреса, и письма теперь я отдал переписать в трех экземплярах и один из них пришлю в редакцию «Русских ведомостей». Есть там удивительные строки и поучительные не для одного меня. Все это в конце концов меня очень и очень расстроило и выбило из моей рабочей колеи. Начиная с вечера у Варв. Алекс. Морозовой, все меня выбрасывает из трудовой и, как я привык, одинокой жизни. Сочувствие ко мне и там, и в Одессе, и даже в Болгарии,— все это обязывает. Потом ужаснейшие впечатления Болгарии; два месяца они меня тиранят без отдыха, а всех-то четыре. Теперь — эти телеграммы, письма и Катков, [8] конец 25 лет тиранства, — право, я выбит из колеи и расстроен. Дайте мне ради бога уехать поскорее, а то я измучусь и пропаду, как юбилейная муха.

Из письма *Г. И. Успенского* М. С. Посникову (25 или 26 июля 1887 г.) Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 230.

Письмо в редакцию.

20 июля я получил много сочувственных мне писем и телеграмм, из которых иные как бы приурочены ко дню моего юбилея. Когда, каким образом и где именно возникла мысль об этом юбилее, — я положительно не знаю, да если бы и знал, то, право, не решился бы поддержать ее: слово *юбилей* мне всегда казалось неразлучным с другим, тяжеловесным словом — *мавзолей,* а я к такому торжественному сооружению пока, слава богу, не чувствую еще решительно ни малейшего влечения. Другое дело — простое участливое слово товарищеской поддержки, не раз и прежде по временам высказывавшееся мне моими читателями и вот теперь так душевно высказанное ими 24 июля. За это доброе слово, всегда ценимое мной, как поучительное указание, всем,

сказавшим мне его когда бы то ни было, я приношу теперь мою глубокую, сердечную и также товарищескую благодарность.

Чудово, 27 июля 1887 г. Глеб Успенский.

«Русские ведомости» 1887, № 207, от 30 июля.

Виктор Александрович! Сегодня, положительно, первый день, когда я в состоянии взять в руки перо, чтобы, во-первых, написать вам и, во-вторых, с завтрашнего же дня приняться за работу. Могу вас уверить, что пережитые мною последние дни — дело вовсе не легкое и не один только праздник.[9] Я все должен был вспомнить и пережить за все двадцать пять лет, и еще не знаю, ободрили ли меня для будущего все эти, вновь пережитые годы. Я очень болен и обременен тягчайшими воспоминаниями. Вот почему я до сих пор положительно не мог взять в руки пера, чтобы написать в газете благодарность и ответить вам на ваши письма...

Теперь необходимо поговорить о деле. Отношения мои к «Сев[ерному] вестнику» таковы, что пока мне нет никакой возможности не оказывать ему постоянного содействия и сотрудничества. Я должен работать там почти постоянно, и вы обратите на это ваше внимание. Писать в одни и те же месяцы и в «Сев[ерный] Вестн[ик]» и в «Рус[скую] м[ысль]» мне положительно невозможно во всех отношениях. Я уже утомлен *беспрерывной работой* во все 25 лет. Не укажете мне ни одного месяца в эти 25 лет, когда бы я где бы то ни было не работал. Положительно, я не имел отдыха ни одного месяца и если не печатал, то постоянно должен был писать и писать. Я устал и писать теперь *одновременно* в двух журналах я не могу. *С величайшим усилием* я сделаю в настоящем году последнюю попытку в этом роде, и в январе вы будете иметь мою работу[10], но затем, я вот что могу предложить вам: не стесняйте меня месяцами и сроками. Я буду отсылать работы, когда мне можно и *свободней;* вы же можете печатать их, когда вам удобней... Тот кредит, который вы мне открываете, будет в течение года покрываем непременно работой...

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, (конец июля 1887 г.) Архив В. А. Гольцева, т. I, М. 1914, стр. 32—33.

Мы встречались много раз то в Петербурге (во время моих приездов), то в Москве, а затем несколько раз он [Успенский] гостил у нас в Нижнем. Одно из этих посеще-

ний осталось в моей памяти с особенной ясностью, может быть, оттого, что некоторые поразившие меня черточки я тогда же, под первым впечатлением, набросал в своей записной книжке, а может быть, и потому еще, что от него осталось воспоминание, еще не омраченное тенью роковой болезни.

Это было в 1887 году, если не ошибаюсь, в конце июля или начале августа. Приехал Успенский в Нижний-Новгород среди чудесных дней ранней осени,[11] ласковых и теплых. В первые минуты он показался мне как-то особенно веселым, радостным, оживленным. Отделавшись от срочной работы, он приехал на пароходе и на следующий день собирался ехать дальше, вниз по Волге. В план его поездки входили Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын. Из Царицына он должен был проехать в Калач, на Дон, и затем куда-то по железным дорогам, с намеченными остановками. Он чувствовал себя отлично, и от него веяло свежестью и впечатлениями Волги.

Однако у него никогда не бывало такого времени, когда бы он был совершенно свободен от какой-нибудь «господствующей идеи», служившей центром его настроения. И действительно, после первых радостных приветствий он посмотрел на меня своими выразительными глазами, с притаившейся в них тревожной печалью, и спросил:

— Читали вы лекцию г-жи NN?

Я лекции не читал, но встречал кое-что об ней в газетах. Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. Лекция была первоначально прочитана, кажется, в пользу Высших женских курсов, женщиной-врачом и касалась среднего типа проститутки. Лекторша, на основании ряда исследований, приходила к заключению, что тип «этих женщин» — ниже среднего женского. Между прочим, Глеба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступает на какие-то $1^1/_2$ миллиметра больше, чем у средней, добродетельной женщины.

Вся эта физиолого-анатомическая статистика, в которой утопает столько живого, личного, индивидуального горя, страдания и позора, это рассечение живого и болящего явления на предопределяющие особенности физиолого-анатомического свойства глубоко оскорбили Глеба Ивановича и приводили его в негодование. Он знал «жертвы» и притом именно жертвы общественных условий и «общественного неустройства». А здесь выдвигался «низший тип», осужденный фатально несовершенствами собственной организации.

Центр тяжести всей вины, тревожившей совесть и взывавшей к справедливости, переносился из ответственной социальной среды в фатальные условия природных предопределений. То обстоятельство, что лекцию читала женщина-врач в пользу высших женских курсов, перед аудиторией, в значительной части состоявшей из курсисток, которые проводили лекторшу аплодисментами, особенно огорчило Успенского. В его чутком воображении за этой статистикой встал коллективный образ интеллигентной женщины, пробивающей себе дорогу к знанию и свету, а за ним — тысячи помраченных существований. И ему показалось, что добродетельная женщина с холодным пренебрежением закрывает глаза на горе своей погибающей сестры, слишком легко принимая теорию «низшего типа».

Я, повторяю, не читал самой лекции (напечатанной, кажется, в каком-то журнале), но попробовал было заступиться за цифры, допуская, что в массе гибнущих есть и «жертвы органических предрасположений», ослабляющих устойчивость в жизненной борьбе. Этот контингент может влиять на средний вывод, не устраняя вопроса о влиянии социального неустройства в огромном большинстве остальных случаев. Весь вопрос — в перспективе и выделении факторов общественных от чисто антропологических.

Глеб Иванович сначала смотрел на меня с печальным недоумением и укором, а затем, дослушав, сказал:

— Ну, вот-вот! Так где же оно, самое-то главное? В челюсти-то оно разве выражено? Нет, не защищайте, Владимир Галактионович: есть оно, это бездушие особенное... женское... добродетельное!.. Челюсть — и больше ничего! Полмиллиметра — и кончено!..

И, сразу обидевшись за «недобродетельную» сестру, он стал беспощаден к добродетельной. По обыкновению с паузами, со своим особенным молчанием «все о том же предмете», он стал прослеживать примеры «женского бездушия», иной раз удивляя нас кажущейся неожиданностью и как бы бессвязностью своих вылазок.

— Вот теперь в (таком-то журнале) мочалка пойдет... — сказал он, вдруг улыбнувшись. — Приходит в редакцию господин... Мрачный... Грива диаконская... подмышкой рукопись... «Вот о производстве мочалок! В Н-ской волости такой-то губернии...» — «То есть, позвольте... каких мочалок?» — «А просто: мочалка! Которая в бане... или, например, рогожа...» — «Ах, вот что! Скажите пожалуйста: Ма-а-чалка! В Н-ской волости... Непременно, непре-менно напечатаем! Мочалка!.. Ах, как интересно».

Все мы хохотали над этой маленькой жанровой картинкой, хотя не понимали еще, какая связь между мочалкой и лекцией... Но вдруг он замолк, посмотрел на нас печальными глазами и, с особенной силой прижимая два пальца правой руки к левому лацкану пиджака, закончил внезапно изменившимся тоном:

— Да, вот: мочалка! А заступиться за женщин... за несчастных... за погибающих... Этого вот нет! Помилуйте: у нее вот челюсть на $1^1/_2$ миллиметра... Что тут поделаешь... Не-ет! Сделайте одолжение: вымеряйте получше. Может, у нее челюсть-то поаккуратнее вашей...

И он продолжал развивать эту тему, своей обычной отрывистой речью, с паузами и неожиданными вспышками юмора. За женщиной-редактором последовали женщины-писательницы. Глеб Иванович находил, что и они повинны в пренебрежении и холодности к этому чисто женскому вопросу...

— Он и она... при луне... любовь... На это вот мастерицы: чай влюбленная героиня разливает, так у нее любовь-то эта даже в носке чайника... так вот и вьется... Или вот у другой: ребеночек умирает... Так она обои, на которые он смотрел, взяла и выдрала. Понимаете: *свой* ребеночек-то смотрел. Святыня! А вот у кого ни ребеночка, никого нет! Почему об них не напишут? Кому бы, кажется, за свою-то сестру заступиться... Написать всю правду... до конца!.. А не полтора миллиметра!..

Он опять помолчал и, грустно покачивая головой, прибавил:

— И аплодируют... Молодые, хорошие... счастливые...

Глаза его становились все глубже, печальнее, веселье начинало исчезать, папироса все вырастала и вырастала...

После обеда мы решили отправиться на так называемый в Нижнем «откос». Я надеялся, что эта прогулка, чудесный день и волжские пейзажи рассеют Глеба Ивановича и вернут ему то радостное оживление, с каким он к нам явился в первые минуты после приезда. Несколько знакомых отправились вперед, а я с Успенским — за ними на извозчике. В одной из улиц верхнего города (значительно пустеющего во время ярмарки) навстречу нам, заполняя всю улицу стуком копыт и шуршанием скачущих по мостовой резиновых шин, промчалась коляска, в которой развалясь сидел молодой купец. У него было круглое, как луна, красное лицо, лоснящиеся русые кудри лезли из-под блестящего узкого цилиндра...

Глеб Иванович, до сих пор молчавший, повернулся в сидении и проводил его внимательным, изучающим взглядом

— Видели? — спросил он. — Ну, что скажете?

— Да, фигура, — ответил я, не поняв вопроса.

— Нет... Вот этакой вот господин и захочет вдруг себе удовольствия... Как вы думаете, — скажет он: «Подавай мне, чтобы именно челюсть на $1^1/_2$ миллиметра»?..

Я невольно засмеялся, а Успенский со своим печально-сосредоточенным видом закончил:

— Нет... Никаких денег не пожалеет, сотню подлого народа на поиски разошлет, а уж достанет... И чтобы все как можно лучше... чтобы и челюсть в самую пропорцию...

И он опять замолчал, но теперь я уже чувствовал, что это молчание заполнено все тем же волнующим его вопросом о падших и о виновных в этом падении.

Нижегородский «откос» на высоком берегу над Волгой воспет и прозой и стихами в тысячах фельетонах и даже в серьезных повестях и рассказах. Действительно, вид с этого горного обреза на заволжские луга, на мреющее в золоте заката слияние двух рек, на тихо рокочущую далеко на «стрелке» ярмарку — способен захватить в свои бездумные, ласкающие объятия самого угрюмого человека. Мы ходили по аллеям, садились на скамейки, любовались видами, болтали и смеялись, а через полчаса уселись на полукруглый площадке у ресторана.

Под нами расстилались, уходя вниз, зеленые вершины лип. Между зеленью ветвей, в промежутках сверкала далеко внизу река, проходили баржи и пароходы... Целые часы можно было бы просидеть здесь, ни о чем не думая, даже ничего в особенности не выделяя в сознании, а только глядя на это небо, на эти синеющие дали, на реку, залитую косыми лучами солнца, и прислушиваясь к ласковому веянию ветра, доносившего снизу смягченный шум людской суеты...

— Ну, вот и посмотрите, — услышал я голос сидевшего рядом Глеба Ивановича, — ну, вот там, на балконе... Какие же тут полтора миллиметра?..

Я оглянулся по направлению его взгляда и увидел вверху, на балкончике ресторана женскую фигуру. Это была красивая брюнетка кавказского типа с широкими бровями и огромными черными глазами. Еще довольно свежее лицо выделялось своей белизной на фоне синевато-черных волос.

В этом ресторане пел хор певиц, начиная после обеда и до глубокой ночи. Это была наемная регентша хора, молодая грузинка или осетинка. Было еще рано, посетителей было мало, и девушки бродили по дорожкам, а регентша

задумчиво смотрела вдаль, отдаваясь этой минуте отдыха и покоя под ласкающим ветром, шевелившим завитки ее буйных волос.

Глеб Иванович смотрел на нее, и на его выразительном лице рисовалась глубокая симпатия.

— Да, вот вам и $1^1/_2$ миллиметра, — говорил он с укором, — подите вот... Расспросите ее: как она сюда попала... А челюсть-то, — сделайте одолжение: — поаккуратнее многих...

В это время девушка с балкона кинула случайно взгляд на нашу группу и, очевидно, заметила, что мы на нее смотрим и говорим об ней. Для нее это было сигналом «начала работы». Она еще раз, как будто с сожалением, посмотрела на далекие луга и, приняв профессионально-ласковое выражение лица, обратилась к нам с приглашением войти внутрь ресторана и послушать пение.

Живя в Нижнем, я много раз бывал и на «откосе», слушал «певиц» и на ярмарке, в первоклассных гостиницах, и в самых ужасных вертепах. Компании, с которыми мне пришлось посещать эти места, тоже бывали разнообразные; но впечатления все-таки походили друг на друга: всегда оставался какой-то осадок, неприятный и тяжелый. Только этот случай, когда я слушал ресторанных «певиц» с Глебом Ивановичем, оставил во мне совершенно особенное впечатление, так как, повторяю, человек этот был тоже совершенно особенный...

Мы поднялись наверх. В небольшой комнатке ресторана, с дощатыми подмостками для хора, стоял рояль. По зову регентши, девушки входили из сада и со скучающим видом подымались на эстраду... Потом спели какую-то песню... Вяло, лениво. Потом подошли со сбором «на ноты»...

Однако скоро это совершенно изменилось. Молодая осетинка, которая приняла наше приглашение присесть к столу, повидимому, инстинктивно угадала, кто служит центром нашей, не совсем, быть может, обычной в ресторане компании... И когда подошел следующий нумер, она установила свой хор на эстраде, но сама вышла вперед и совершенно неожиданно запела одна, под аккомпанемент рояля, очень красивым, задушевным контральто:

Не говори, что молодость сгубила...

Я пишу свои воспоминания, ничего в них не прибавляя, а только восстановляя то, что было, и несколько человек, бывших с нами в то время, без сомнения, помнят еще этот маленький эпизод. Я не знаю, чему приписать эту «отгадку»

молодой певицы, так как до тех пор у нас шел самый обыденный разговор, полушуточный и легкий. Однако она именно «угадала», что́ лучше всего спеть в данную минуту, и, стоя на эстраде, глядела на Успенского, как бы назначая именно ему свою песню... Пела она, как мне казалось, как-то особенно хорошо и с глубоким чувством...

Глеб Иванович был глубоко растроган, сидел, опустив голову, и по временам шептал, полуоборачиваясь к соседу:

— Д-да... Болен Некрасов. Умирает... Скоро... «холодный мрак могилы»... «Не говори, что молодость сгубила»... Да, да... вот-вот именно так...

В это время, пока певица вела к концу свой романс, увлекая нас и, повидимому, увлекаясь сама, — снизу, из люка с лесенкой, которая вела в этот зал с нижней веранды, появилась плотная пьяная фигура. Какой-то ярмарочный посетитель, закутивший на «стрелке» и приехавший докучивать на «откос», в сером пальто, с котелком на затылке, хмельной и довольно безобразный, поднялся, привлеченный пением, и стал прямо между нами и эстрадой. Широкая фигура с расставленными ногами и палкой в руках совершенно закрыла певицу. Он был, видимо, недоволен выбором песни и только что отпустил какую-то пошлость, как Успенский протянул свою палку и тронул его концом в плечо.

Это было так неожиданно, что я с удивлением посмотрел на Глеба Ивановича и не мог не улыбнуться. На его лице не было ни гнева, ни возбуждения, а только легкая досада и желание устранить препятствие, мешавшее ему спокойно слушать. Так мы устраняем с дороги не на месте усевшуюся собаку, кошку или даже просто какой-нибудь обрубок. Разумеется, пьяный господин не мог на это смотреть так же философски. Он повернул к нам свое разъяренное лицо, и, вероятно, романс закончился бы большим шумом, если бы, к счастью, находчивый Н[иколай] Ф[едорович] Анненский не подошел к освирепевшему посетителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвел его в сторону. Озадаченный и сбитый с толку посетитель попал затем в руки официантов, которые усадили его за стол, а Глеб Иванович дослушивал последние звуки романса, как будто даже не заметив всего этого эпизода...

Когда после этого одна из певиц опять подошла «с нотами», Глеб Иванович вынул из правого кармана своего серого пальто бумажку и положил ее, не глядя. При следующем нумере повторилось то же. Деньги он вынимал, как спички для закуривания папиросы или предмет совершенно неинтересный и нестоящий внимания. Я пробовал указать

ему, что, в сущности, он дает не певицам и что все это поступит не *хору*, а только хищнице-хозяйке. Молодая осетинка, сидевшая по нашему приглашению за столом, оглянулась и тихо, чуть слышно сказала: «Да, хозяйке... мы на жалованьи...» Но это на Глеба Ивановича не оказало задерживающего действия. Он так же, не глядя, механически вынимал деньги и клал их «на ноты». Когда один раз я захотел остановить его, указав, что мы уже положили и что этого достаточно, он посмотрел на меня с выражением укора и легкой досады и опять вынул наудачу то, что первое попалось под руку.

Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на певиц, и вынимая бумажку, он занят каким-то одним предметом, от которого как будто и не хочет и не может отвлечься для таких пустяков, как деньги и их значение...

После этого я уже не останавливал его. Мы просидели до заката солнца, потом, попрощавшись с певицами, вышли в аллеи сада.

Здесь нас ждал новый маленький эпизод. В то время, когда мы сидели еще на площадке снаружи, к нам подходил маленький итальянец с каким-то инструментом в роде гармонии. На нем была остроконечная черная шляпа, из-под которой выразительно глядели большие черные глаза. Играл он недурно, просил глазами еще лучше и, повидимому, отчасти благодаря нашей компании, сделал необычный сбор. В виду этого он позволил себе некоторую роскошь: подойдя к деревянному киоску на видной аллее, важно уселся на стул, положил у ног калабрийскую шляпу и гармонию и потребовал себе стакан мороженого.

Случилось, что в это время злой рок привел в сад его старшую сестру — нищенку, хромую девушку лет 18—20, на костылях. У нее было такое же смуглое лицо, такие же черные волосы и такие же выразительные глаза. Только лицо было болезненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллее на своем костыле, и так как мы подымались по дорожке к этому киоску, то маленькая драма завершилась на наших глазах: разъяренная девушка схватила беспечного музыканта за ухо как раз в то время, когда он подносил ко рту ложечку с мороженым.

Вышла маленькая жанровая сценка в очень красивой обстановке и, в сущности, очень благодарная для художника. Есть такие счастливые художники-олимпийцы, которые даже в самой казни видят благодарную «натуру». Глеб Иванович по своему темпераменту находился на противоположном полюсе. В своей автобиографии он пишет, что был в Париже

после Коммуны и видел, «как приговаривали к смерти сапожников и каменщиков». Но он сравнительно мало останавливался на этих картинах и, я думаю, это не случайно: они подавляли его, он не мог владеть ими, потому что его мозг и его нервы не вмещали всего их ужаса. Хорошо это для художника или дурно, — я здесь этого вопроса не касаюсь: по отношению к Успенскому это был факт, входивший одним из составных элементов его личности. И теперь при виде этого небольшого конфликта между братом и сестрой, пока мы еще успели вникнуть в смысл разыгравшейся перед нами сценки, Глеб Иванович с страдающим и искаженным лицом кинулся к девушке и схватил ее за руку.

— Что ты делаешь... За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная! — говорил он, сжимая руку озадаченной Немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрелой сбежал с небольшого откоса на нижнюю дорожку. Там он остановился без шляпы и гармонии и, чувствуя себя сравнительно в безопасности, наблюдал происходящее своими темными, как чернослив, простодушными глазами.

Девушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулаком, стала рассказывать нам об его ужасном преступлении и о причинах своего гнева. И вот благодаря вмешательству Глеба Ивановича, в этом прелестном уголке, где для нас все было отдыхом, радостью и весельем, перед нашими глазами вдруг развернулась, вместо комического интермеццо, целая драма. Оказалось, что в Нижний на ярмарку приехала семья итальянцев. Отец был музыкант, мать — певица, маленький сын — гармонист, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмарке что-то увеселительное. Но вдруг отец заболел, и теперь лежал в каком-то вертепе Миллионной улицы, расстилавшейся внизу, под нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленьких детей. В качестве кормильцев оставались только — знакомый нам гармонист и она — хромая-нищенка. Но ей подают мало, хотя она ходит целые дни, несмотря на больную ногу... Он должен бы играть и играть, чтобы собрать побольше денег... А он ест мороженое, в то время как у родных нет куска хлеба для маленьких детей...

И она опять заплакала и погрозила кулаком злополучному эпикурейцу, все еще державшемуся в почтительном отдалении. Мы постарались ее успокоить, кидая в поднятую ею шляпу мальчика серебряные деньги. Глеб Иванович сунул руку в карман пальто, вынул оставшуюся там един-

ственную пятирублевку и подал ее удивленной девушке. Потом полез в другой карман, пошарил там, но в кармане уже ничего не было. Тогда, с несколько растерянным видом, он повернулся и очутился лицом к лицу с незнакомой дамой, с пышным бюстом и в роскошной шелковой накидке. Она и еще два-три любопытных фланера были привлечены маленькой трагикомедией и неожиданным вмешательством странного господина. Успенского, повидимому, нимало не смутило то обстоятельство, что перед ним очутились люди, совершенно ему незнакомые. Он посмотрел в лицо дамы своим ласковым и доверчивым взглядом и сказал просто, как сказал бы хорошему знакомому:

— Вот видите, какое тут дело. Отец болен, мать с детьми... в трущобе. У меня больше нет. Дайте вы сколько-нибудь, вот они тоже... Ведь целая семья...

Дама высокомерно взглянула на импровизированного сборщика, пожала плечами и, повернувшись, поплыла по аллее. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный момент миновал, и что сбора, сделанного уже в пользу итальянцев, слишком достаточно для «бедного семейства». Глеб Иванович остался на дорожке один, провожая расходившихся внимательным взглядом. Я видел его лицо в эту минуту и очень жалел, что не мог снять его с этим выражением, состоявшим из проникновенности художника и простодушного изумления ребенка... Это почти детское простодушие и растерянность перед самым обычным появлением человеческой черствости, и притом со стороны художника, который так понимал и так умел рисовать эти свойства среднего человека, составляли тоже особенную черту этого своеобразного и сложного характера.

Утром, тотчас после приезда к нам, Успенский говорил, что ночью спал мало и хочет лечь пораньше, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путешествием. В виду этого я настаивал, чтобы не ходить уже никуда, и чтобы Глеб Иванович ложился. Он покорно соглашался, но при этом как-то лукаво улыбался. Придя домой, он пошарил в чемодане и с торжеством вынул портмоне, из которого стал перегружать бумажки опять в левый карман.

— Да вот! — сказал он, улыбаясь с веселым лукавством. — Я ведь человек предусмотрительный: сразу всего не взял. Видите, оставил про запас!

Я сильно подозреваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно жене Успенского, которая едва ли ожидала, что к «запасу» Глеб Иванович прибегнет уже в Нижнем.

Улеглись мы, действительно, довольно рано в моей маленькой комнатке, в нижнем этаже дома, выходившего в густой сад. Летом окно в этот сад я оставлял открытым и на ночь, и листья деревьев почти лезли в комнату.

Среди ночи я проснулся под впечатлением совершенно фантастических видений и, раскрыв глаза, некоторое время чувствовал себя все еще как будто во власти сна: в окно тихо, с осторожностью пробирался из сада Глеб Иванович, а за окном, освещенная прорывающимися лучами месяца, виднелась фигура одного веселого человека из наших общих друзей, очевидно, участвовавшего в заговоре и указавшего Глебу Ивановичу этот путь для незаметного выхода и возвращения. Когда путешествие это совершилось благополучно, Глеб Иванович с лукавым видом послал фигуре за окном воздушный поцелуй и тихо сказал:

— Спит!..

Фигура за окном исчезла. Я окончательно пришел в себя и сообразил, что Глеб Иванович опять совершил экскурсию на «откос».

— Вот вы как, Глеб Иванович! — сказал я. — А обещали лечь пораньше.

— Д-да... Вот видите... Грешный человек... в окно... Ничего! Я сейчас лягу. Спите... Хотелось поговорить еще кое о чем. Удивительная девушка!

Однако сам он лег не сразу. Он сообщил мне, что у осетинки в Сызрани ребенок, и она своим пением зарабатывает на его содержание... Говорил он тихо, как будто про себя, и я начал дремать. Сквозь дремоту долго еще я видел фигуру Глеба Ивановича, сидевшего на постели с папиросой. Папироса все удлинялась; огонек ее, вспыхивая, освещал глубокие, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенского.

— Да... Вот... Ребеночек... А она тут поет, до самой зари... Человека захватит какая-нибудь этакая шестерня... И ломает, и ломает всего... Что же тут челюсть? А я вот думаю: челюсть-то... она иной раз еще спасает... Будь эта, вот, хромая, итальянка-то, поаккуратнее... Да тут, в этом аду... Господи боже!.. Давно бы ее закрутило...

Я зажег спичку и посмотрел на часы.

— Глеб Иванович, голубчик! Ведь уже три часа. А завтра на пароход в девять.

— Сейчас, сию минуту... лягу... непременно... Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тут наша, а не челюсть... И это надо понимать, писать, говорить...

Общество... все мы... а не челюсть... не челюсть... Нет, не челюсть...

И долго еще в темной комнатке виднелся вспыхивающий огонек его папиросы и слышались отрывочные горькие замечания.

На следующее утро мы приехали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свежее. Пароход стоял у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось брать билеты, Глеб Иванович пошарил в карманах, заглянул в кошелек и, как-то виновато улыбнувшись, сказал с легким удивлением:

— А ведь у меня денег-то... уже и нет.

Мы это предвидели, и потому, не ожидая этого признания, Н[иколай] Ф[едорович] уже стоял у кассы, чтобы взять Глебу Ивановичу пароходный билет. Такие истории должны были случаться с Успенским очень часто. В следующем году он писал мне, между прочим: «Были у меня и 200 рублей, и еще 200 и еще 300, но все исчезло в тот момент, как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилось тьма — едва выбрался оттуда... Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были у меня в руках, но я решительно не видал их, — знаю, что мелькало что-то синее или красное...» Он сознавал в себе эту черту и иной раз отзывался об ней с легким юмором, как будто говорил о другом человеке. Но это было, так сказать, вообще. В частности же, каждый раз, когда у него бывали деньги, он относился к ним с самым непосредственным равнодушием, и это ставило его нередко в невозможные, порой очень тяжелые положения.

— Ну, вот и отлично! — весело сказал он, получив от Н[иколая] Ф[едоровича] билет. — Просто превосходно. Я вам непременно вышлю из Петербурга... А теперь мне бы еще... десять рублей.

— Мало, Глеб Иванович, — сказал я. — Ведь далеко.

— Нет! Десять ровно. Я знаю... Я дам телеграмму, мне вышлют туда-то.

Мы не спорили, но вместо десяти рублей сунули Глебу Ивановичу в карман столько, сколько, по нашему мнению, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.

На верхней палубе парохода ожидали уже две певицы из вчерашнего хора: осетинка и молодая девушка, почти ребенок, которую регентша, повидимому, взяла под свое особое покровительство. Обе были одеты скромно и производили

очень приятное впечатление. К Глебу Ивановичу они относились с какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую в их глазах, когда он подходил к ним, можно понять, если представить себе обычный тон обращения публики с этими бедными созданиями... Хор был сравнительно приличный, но существование женщины даже в самом «приличном» хоре представляет только тщетные усилия удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмечает не одну трагедию из этой области, которые мелькают и исчезают на общем фоне ярмарочной жизни. И те самые люди, которые вчера еще проводили вечер с певицами, забывая всякие «условности», сегодня не решаются подойти к ним днем и на глазах у публики...

Глеб Иванович поздоровался с ними просто и радушно. То, что составляло их жизнь, являлось его болью, его страданием, предметом его неугомонной мысли, и это давало какой-то особенный тон их взаимным отношениям. Обычные расспросы равнодушных людей, бередящих и без того болящие раны, без сомнения, являются для этих бедных девушек новым источником нравственных страданий, и они защищаются от них по-своему: никогда они не говорят своих настоящих имен, друг друга называют вымышленными и каждому любопытному допросчику рассказывают новую свою биографию. Но для Глеба Ивановича это были «настоящие» люди, он уже знал их «настоящую» жизнь и теперь с серьезным сочувствием записывал адрес какой-то сызранской мещанки, у которой находился на воспитании ребенок осетинки. Для них это было как бы свидание с добрым земляком, случайно встреченным в шумном городе...

Никаких денег они, разумеется, не ждали, и никому бы не пришло в голову предложить их. Мы позвали официанта и, устроившись в уголке, велели принести чайный прибор, так как все встали рано и приехали сюда без чаю.

Публика прибывала, прогудел первый свисток.

К столику, за которым сидела наша небольшая компания, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, с колющими бегающими глазами, в черном платье и темном платке, повязанном по-скитски, в роспуск. Она поклонилась нам всем и, называя девушек красавицами-прынцессами, стала просить денег. Она едет к Иоанну Кронштадтскому и просит на дорогу. Голос у нее был ханжески-фальшивый и неприятный. В словах «красавицы» и «прынцессы», которые она адресовала певицам, слышалась скрытая двусмысленность и осуждение.

Глеб Иванович как-то особенно насторожился и торопливо сунул ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла к другой группе, но в это время младшая певица засмеялась: у старухи из-под темной короткой юбки мелькнули желтые туфельки на высоких каблуках. Эти туфли, при костюме черницы-богомолки, производили, действительно, странное впечатление. Вероятно, кто-нибудь просто подарил их старухе, но молодая девушка с наивной бестактностью сказала:

— Господи! Точно у танцовщицы!

Старушка повернулась, смерила девушек пристальным, колющим взглядом и стала опять приближаться к столу, не спуская с юных грешниц своих строгих маленьких глазок. Девушки сразу притихли, а она не знала, которая из них оскорбила ее своим замечанием. Наконец она почему-то остановилась на осетинке.

— Нет, прынцесса моя, — сказала она своим зловещим голосом, — я не танцовщица, а богомолка. А тебе, миленькая, я скажу судьбу. Денег ты наживешь, ох, много! А прожить-то вот, прожить.. и не успеешь...

Осетинка сразу побледнела. Старушка хотела сказать еще что-то, но в это время Глеб Иванович, до тех пор смотревший на всю сцену со вниманием художника, понял ее значение и поднялся с места.

— Вот ведь какая ты злая старушонка! — сказал он, заступая богомолке дорогу. — Денег тебе мало дали? На вот, возьми, возьми... вот! И иди себе... куда тебе надо...

Он сунул ей бумажку с таким видом, как будто это было орудие казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась.

Перед самым отходом парохода к нам подошел какой-то субъект мещанского вида, в картузе и порыжевшем старом суконном пальто. Он вчера приехал в Нижний вместе с Глебом Ивановичем, между ними завязались уже какие-то нам непонятные отношения, и, повидимому, встреча на этой пристани была не случайна. Мещанин ехал в третьем классе и очень обрадовался, разыскав Успенского в нашем уютном уголке.

— Вот и отлично, — говорил ему Успенский, — вот и превосходно! Мы с вами, значит, еще потолкуем дорогой. А теперь я вот тут... с знакомыми людьми.

Незнакомец, успокоенный, удалился.

— Превосходный человек, — объяснил мне Глеб Иванович. — Просто замечательный!.. И какую над ним устроили подлость...

Последний свисток прервал рассказ об этой подлости, и через несколько минут пароход отошел от пристани, унося от нас Глеба Ивановича. Помню, я тогда заметил какое-то особенное изящество всей его фигуры. Рассеянный, не от мира сего, не думающий о себе, — он как-то всегда, инстинктивно, непроизвольно умел сохранить это прирожденное изящество во всем, что к нему относилось.

Когда пароход повернулся, я еще раз увидел Успенского, сходившего вниз по лесенке. И мне показалось, что с ним шел человек, над которым «была сделана большая подлость»... На пристани, долго глядя вслед пароходу, стояли мы все, и среди нас две певички с «откоса». Знали ли они, с кем свели знакомство, имели ли представление о том, что этого человека знала и любила вся образованная Россия? Не думаю. Это были простые, необразованные девушки, которых жизненные невзгоды, собственная беззащитность и красота (челюсти у них обеих действительно были, как говорил Глеб Иванович, вполне «аккуратные») кинули на этот путь, покатый и скользкий. Обе они пытались еще удержаться и надеялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я уверен, что, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, эта встреча с человеком, у которого были такие глубокие и любящие глаза, такая странная речь, к которому все относились с таким, может быть, не вполне понятным для них уважением и которого они провожали, как своего доброго знакомого, в это утро, осталась в их памяти светлым пятнышком, совершенно «особенным» в обстановке их нерадостной жизни...

История этого дня имела некоторое своеобразное продолжение.

Я знаю, что Глеб Иванович путешествовал много и всегда один; значит, он как-то справлялся со всеми условиями путешествия. Но меня всегда это удивляет, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношение к деньгам, как к безразличному сору...

Во всяком случае данное путешествие закончилось не совсем обычным образом. Денег ему не хватило. Имел ли на это обстоятельство какое-нибудь влияние человек, над которым была «сделана подлость», или опять встречались другие люди, другие итальянские мальчишки и зловещие старухи, которых нужно было наказывать подачками денег, только уже в Калаче (или Царицыне — не помню) случилась катастрофа: нужно было взять билет, а денег не оказалось

ни копейки... Глеб Иванович сам рассказывал мне впоследствии об этом эпизоде, при чем его рассказ, юмористический и простодушный вместе, удивлял меня опять тонкой смесью детской наивности и улыбки над ней, совмещающейся странным образом в одном и том же лице.

— Да... вот... Так как-то вышло. Смотрю: нет! Окончательно ничего! А тут один поезд уже ушел, пока я сводил свой бюджет... Другой, пожалуй, уйдет.

— И что же?

— Да вот видите: свет не без добрых людей... Сторож выручил.

Оказалось, что, когда бюджет был сведен, Глеб Иванович не нашел сделать ничего лучшего, как поставить свой чемодан к стенке, усесться на него и ждать событий или вдохновения. Так он просидел отход одного поезда. Когда народ начал набираться к другому, он все сидел на чемодане, наблюдая вокзальную толпу, чем обратил внимание служащего, стоявшего у двери. Его обязанность состояла в том, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случалось каких-нибудь неблагополучий. Мало ли всякого народу в толпе! Среди этих наблюдений он не мог, разумеется, не заметить странного изящного господина, в коричневом пальто и серой поярковой шляпе, неподвижно сидевшего на чемодане.

— Что вы, господин, сидите? Ведь поезд-то опять уйдет, — сказал он.

— Уйдет, — ответил Глеб Иванович с фаталистической уверенностью.

— Так что же вы?

— Ничего, брат, не поделаешь! Денег нет...

— Украли?.. Так вам бы заявить...

— Нет... не то чтобы украли... Просто, нет... нету, понимаешь... Нехватило.

— А сколько нехватает-то?

— Да рублей десять бы нужно... Да, десять рублей... (почему-то эта цифра легче всего приходила в голову Глебу Ивановичу).

— А куда ехать?

— Еду я в N.

— А сколько же у вас есть?

— Да вот видишь: ничего нету... Окончательно, ни копейки, ни одной...

Сторож смерил его удивленным взглядом и сказал, переходя на ты:

— Чудак! Как же ты до N доедешь на десять рублей, когда билет стоит пятнадцать? Да, скажем, хоть три рубля на харч, да на извозчика. Прямо говори: тебе нужно восемнадцать серебра.

— Да, да... именно выходит, что восемнадцать...

— Ну, вот что я тебе скажу...

Бывали ли уже такие случаи с этим наблюдательным человеком, много лет изучавшим людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлению наружности Успенского, только сторож самым деятельным образом вошел в интересы странного незнакомца. Он взял ему билет и дал на руки три рубля. Справедливость требует сказать, что к сумме долга он прибавил два рубля вознаграждения за свои хлопоты и в обеспечение уплаты оставил себе чемодан. Они условились, что Глеб Иванович пошлет ему деньги, в том числе и на пересылку чемодана, а сторож пришлет чемодан багажом на нижегородский вокзал, так как Успенский опять предполагал побывать в Нижнем. Конечно, всего проще было бы прислать чемодан на мое имя, но Глеб Иванович как-то «не догадался».

Деньги он послал вскоре же из Москвы, где мы с ним встретились, а поездку в Нижний отменил.

— Ну, Глеб Иванович, — пропал ваш чемодан, — сказал я. — Сторож, разумеется, оставит у себя и 18 рублей и чемодан.

— Нет! — с уверенностью сказал Успенский. — Не такой человек... Просто превосходный человек. Наверное уже выслал, и накладная, пожалуй, уже на почте. Получите, пожалуйста!

И действительно, вернувшись в Нижний, я справился на почте и узнал, что есть заказное письмо на имя Глеба Ивановича из Калача или Царицына, но... мне его не могли выдать без доверенности. На вокзале оказался чемодан, которого опять я не мог получить без квитанции. А Глеб Иванович и по возвращении из своего путешествия все не посылал доверенности. По моей просьбе на почте удержали письмо, и лично, при свидании в Петербурге я получил от Успенского обещание: «Пришлю, непременно! Вот увидите». Только в январе следующего (1888) года пришла наконец нотариальная доверенность от «домашнего учителя» Успенского. «Сегодня, — писал мне Глеб Иванович 18 января, — послал я вам доверенность на получение моего хоботья, но кажется переврал адрес... Посылаю это письмо на удачу... Хламье мое пусть лежит у вас столько сколько оно захочет...»

Однако когда я опять справился на почте, то оказалось, что письма уже нет, а на вокзале «неизвестно кому принадлежавший чемодан с бельем, носильным платьем и пальто» был продан с аукциона.

На Глеба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малейшего впечатления. Несколько раз он вспоминал только, что остался должен нам за билет... «Непременно пришлю», — прибавлял он при этом. От одного человека, говорившего о слабостях Глеба Ивановича, я слышал, между прочим, что он был не всегда аккуратен в уплате долгов... Фактически это, может быть, было верно, как и то, что Успенский пил вино... Но этот упрек показывает только, что говоривший не имел ни малейшего понятия об Успенском. Быть всегда аккуратным в уплате всех этих маленьких долгов для него было так же трудно, как не отдать всего, что у него было, первому встречному. И это так же мало касается оценки этого человека, как и толки об алкоголизме...

Но что эта черта — пренебрежение к деньгам и нерасчетливость страшно вредила Успенскому, вынуждая к труду для заработка, — это, к сожалению, верно.

Вл. Короленко.

Наконец знакомство наше состоялось:[12] — я увидела худощавого человека высокого роста, с впалой грудью, с бледным страдальческим лицом и с такими чудными, глубокими, печальными глазами, которые запечатлеваются в душе навсегда. Мне казалось, что в этих глазах отразилась, как в зеркале, вся его страдальческая жизнь, вся народная скорбь, которую так чудесно изображал он в своих рассказах. Сердце мое наполнилось какой-то бесконечной грустью, каким-то безотчетным предчувствием, что дни этого человека сочтены и тяжкий недуг коварно подкрадывается к нему, и я как-то печально и растерянно стояла пред ним, не находя слов...

Когда люди встречаются в первый раз после оживленной переписки, они обыкновенно улыбаются, желая выразить тем самым радость встречи и привет, но на этом печальном лице улыбки не было. Я не видала ее ни разу в течение нашего продолжительного разговора. Он говорил о современной действительности, о деревне, о стеснительных условиях цензуры.

Х. Д. Алчевская, «Передуманное и пережитое», Дневники, письма, воспоминания, М. 1912, стр. 118—127.

Несмотря на то, что мысль о поднесении адреса возникла всего за неделю до дня юбилея,[13] и что все дело оставалось частным и известным сравнительно небольшому кругу лиц, под адресом подписалось несколько сот человек. Тут были и товарищи юбиляра — литераторы, и учащаяся молодежь обоего пола, и представители разных свободных профессий, и лица, состоящие на государственной службе, и наконец представители физического труда. В адресе было, между прочим, указано, что Г. И. Успенский, оставаясь всегда верным своим принципам, отыскивал человека и человеческое всюду и везде, во всякой среде, которой касался в своих произведениях, во всяком типе, какой изображал, что он будит в обществе чувства гуманности, справедливости, благородства, ободрял, поддерживал, подкреплял всех тех, кто выходил на борьбу со злом, с неправдой и стремился насаждать добро. «Многие тысячи людей самых разнообразных званий, положений, профессий и возрастов, — говорилось в адресе, — могут указать на те громадные услуги, которые оказала нам ваша литературная деятельность. Скептик и реалист по содержанию большинства своих произведений, вы неизменно остаетесь глубоким идеалистом по духу, проникающему их, по целям, которые вы преследуете в вашей литературной деятельности». Адрес заканчивался следующими словами: «Верьте, многоуважаемый, любимый Глеб Иванович, что ваша деятельность имеет глубокое воспитательное значение для общества, помните, что ваше слово находит отклик с сердцах многих тысяч людей; знайте, что в лице вас эти многие тысячи любят именно те самые добро и правду, которые вы с таким настойчивым постоянством проповедуете целые 25 лет. И дай бог вам служить тем же светочем правды и добра еще многие и многие годы!»

Адрес этот очень растрогал юбиляра. Взволнованным голосом он благодарил в лице явившихся к нему с адресом всех тех, которые подписались под ним, и высказал, что такое выражение сочувствия к его деятельности служит ему лучшею наградою за все скорбное, выпавшее на его долю как писателя в течение 25 лет, и даст ему силы и бодрость вести дальнейшую работу на избранном им пути.

В тот же день, а также накануне (день рождения Г. И.), почтенный юбиляр получил множество поздравительных писем и телеграмм со всей России.

«Неделя», 1887, № 47.

Письмо Г. И. Успенского в Общество любителей российской словесности.

Два с половиной месяца тому назад я имел честь получить уведомление от Общества любителей российской словесности об избрании им меня своим почетным членом.[14]

Высокая честь, которой удостоило меня почтенное Общество, была для меня так неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна, что я не решился тотчас же отвечать на это извещение. Я чувствовал, что при обычном недосуге, а главное, повторяю, именно вследствие неожиданности и многосложности полученного мною впечатления, моя торопливая благодарность могла быть высказана тогда только в самых официальных выражениях, а я этого никак не желал.

Мне хотелось поблагодарить почтенное Общество таким образом, чтобы оно могло видеть, как именно понимаю я сделанную им мне великую честь, и могло бы убедиться, что моя глубокая благодарность имеет существенные и важные для меня основания.

На выполнение этого желания требовалось некоторое время и несколько спокойных часов, и вот почему я предпочел аккуратности отправки официальной благодарности благодарность хотя и запоздалую, но искреннюю и тщательно обдуманную.

Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то и другое ни в каком случае не может итти в каком бы то ни было сравнении с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом любителей российской словесности.

Вот почему я искренно рад верить, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном отношении, воздавать мне чести неподобающей и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне, по совести, быть не место, — делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и не затруднительных для моего понимания.

Я думаю, что догадки мои о причинах оказанного мне Обществом любителей российской словесности внимания не

будут особенно ошибочными, если я попытаюсь выяснить их, основываясь на мнениях о моей литературной деятельности, высказанных мне в многочисленных письмах и телеграммах, которыми почтили меня мои читатели.

Но из всех многоразличных суждений моих читателей о моей деятельности я, для краткости и ясности дела, позволю себе остановиться только на таком из них, которое, во-первых, лично мне кажется непреувеличенным, во-вторых, составляет более или менее существенную черту всех вообще мнений о моей деятельности, высказанных в письмах, и, в-третьих, выражено в самых простых и ясных словах. Такое простое, ясное, понятное мне мнение выражено в письме, присланном мне от *15 человек рабочих,* т[о] е[сть] от людей, которые только-что, как говорится, прикоснулись *к книге* и думают об ее достоинстве без всяких иных соображений, кроме соображений о действительной пользе, которую этим простым людям приносит та или другая книга.

Чтобы почтенному Обществу было видно, что мнение о полезной *книге* высказано точно простым человеком, а не навеяно или внушено кем-нибудь непричастным к интересам жизни простого народа, я приведу из упомянутого адреса несколько отрывков,[15] характеризующих как среду, из которой послышалось мнение о хорошей книге, так и самое это мнение:

«Стыдно нам, русским рабочим, делается тогда, когда мы всюду слышим похвалу заграничным вещам. Говорят, что их вещи и дешевле и лучше, и что только за границей изобретают хорошие машины и другие вещи. И нам обидно становится. Чем хвалить заграничное и порицать русских рабочих, не лучше ли устроить школы, где могли бы мы, рабочие, учить физику, механику. Вот тогда бы мы, русские рабочие, не хуже заграничных могли бы сделать, что угодно. Вот оттого-то и обидно слышать порицание, в чем мы не виноваты. И грустно и тяжко на душе. Что-то темно и непонятно».

Я думаю, что так может писать и говорить только действительно простой рабочий человек, и вот как этот простой человек рисует свое незавидное положение, от которого — как ни кажется это удивительным — спасает его только книга.

«Как подумаешь о себе и своей доле, не весело станет на сердце. Видим себя одинокими, беспомощными... Мы видим, как иные бессердечные люди на каждом шагу унижают нас и наших товарищей, смотря на нас с презрением, назы-

вают глупым народом и в своих словах умышленно выставляют нас лентяями, пьяницами и считают рабочего последним человеком. Своим черствым сердцем не умея нас понять, они судят о нас по давно прошедшему времени и думают, что мы и теперь, как были в крепостное время, что мы, как они, словно столб, врытый в землю, подгниваем на одном месте. Они своими слепыми глазами видят в нас только грязных, неуклюжих рабочих. Пора им перестать видеть в нас непонятное стадо глупых людей и говорить, что мы неспособны понимать правду, не нуждаемся в образовании, не любим читать хорошие, дельные книги. Пора перестать говорить нам, что мы должны думать только о еде и работе».

На всех шестнадцати страницах (в четвертку) письма рабочих только в двух-трех местах и то слегка упоминается о невзгодах жизни в материальном отношении, о нужде, о бедности. Самым же главным несчастием простого рабочего человека оказывается невежество, темнота, отсутствие нравственной поддержки, дающей возможность ощущать в себе человеческое достоинство. И вот эту-то нравственную поддержку, как оказывается, простой человек нашел, по словам адреса, в хорошей книге. Чем же собственно хорошая книга помогает простому рабочему человеку? В ответ на это выписываю еще небольшой отрывок.

«В праздничные дни по вечерам мы полюбили читать хорошие книги, и вечер проходил незаметно. Довольные чтением, мы расходились с волнением в душе, и забывалась на время тяжелая доля рабочего, жизнь на заводах и фабриках, тяжелая, обидная, бесправная, полная бранью и унижением. Мы чахли в ней, и чахли наши дети по фабрикам и мастерским. Но вера в добро и правду не покидает нас, облегчает измученное сердце, и надежда в душе загорается. Утром (после вечернего чтения) мы идем на работу, *но сердце весело потому, что теперь вокруг себя мы видим все ясно и понятно,* и жаль нам становится своих товарищей, которые живут в темноте и в невежестве, и мечутся эти горемыки, проклиная долю рабочего, проклиная себя и свою неповинную семью. И верится нам, что настанет хорошее время, когда все рабочие разовьются, поумнеют и полюбят хорошее чтение, будут дружно жить и любить товарищей, убавится тогда пьянство и разгул, и тогда нас, рабочих, все станут уважать».

Вот какое значение простой человек придает книге. Не от нее он ждет, по крайней мере, сейчас, изменения в своем личном положении. «Книга» ничего не изменяет в его

труженической жизни и материальной обеспеченности. Он и после прочтения хорошей книги, как видим, ранним утром, «чем-свет», так же идет на работу, как и тот его несчастный товарищ, который вчера только пьянствовал с горя. Тот, кто не пьянствовал, а читал, счастлив именно только тем, что читал, что ему *стало ясно и понятно вокруг себя,* тогда как тот товарищ его, который не знал удовольствия провести вечер с книгою, несчастен и достоин жалости потому, что, страдая, не понимает своего положения и испытывает только беспомощность и одиночество. До этой хорошей книги они, по словам составителей письма, *добрались* не вдруг и после долголетнего одурманивания себя лубочною литературой.

«Мы, темные люди, ничего об этом (о хорошей книге) не знали, а шли на базар и покупали те книжки, которые предлагал нам услужливый разносчик. Мы верили его похвалам, которые он рассыпал своему товару. И вот теперь, когда мы узнали хорошие книги и немного развились, когда в праздничный день идем по базару, то с грустью на сердце видим, что есть еще много нашего брата, который пробавляется этими книжонками. Сколько прошло времени, сколько пролетело юных годов бесплодно, пока мы сами *своим умом* и желанием к развитию а иногда и с помощью добрых людей *добрались* до хороших книг, которые открыли нам глаза, показали свет и правду. Мы сумели сами для себя извлечь из этих хороших книг для себя пользу. *Мы научились думать о своей жизни, о своих товарищах, о жизни разных людей,* научились отличать добро от зла, правду от лжи».

Вот в число таких-то книг, по словам письма, между многими другими хорошими книгами, попали и мои, и характеристика того, что именно в этих книгах показалось простым людям достойным внимания, выражена такими словами:

«Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книги, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите *справедливо,* так что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий *подумает* о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце».

Никаких иных дополнений простой человек к этой характеристике не прибавил и в этом отношении, повторяю, вполне совпал с сущностью всех прочих, сочувственных мне писем. Действительно «желание» писать *справедливо* всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный

человек *подумал* «о темном и светлом житье простого человека».

Это действительная правда! И если высокоуважаемое Общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом — именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искрення и чистосердечна должна быть ему благодарность: честь, сделанная мне, есть, вместе с тем, приветствие и поощрение того рода литературы и тех ее участников, которые руководствуются такими же простыми целями, а главное, приветствие и тому простому читателю, который только-что *добрался* до хорошей книги.

Что этот читатель не остановится на первых, одобренных им книгах, а пойдет дальше, можно видеть также из следующих слов простых людей:

«Теперь мы видим, сколько есть добрых людей и сколько есть прекрасных книг! Их столько, что нам читать и не перечитать во всю жизнь!».

Но читать эти книги *добравшийся* до них простой человек будет наверное, и, следовательно, книга, т[о] е[сть] русская и общечеловеческая «словесность», как видим, уже имеющая нового пришельца-читателя, будет иметь его в огромном количестве.

В виду всего этого я, принося почтенному Обществу еще раз личную мою благодарность, глубокую и искреннюю, не могу с своей стороны ничем иным приветствовать его, как только радостным указанием на эти массы нового грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности».
Глеб Успенский.

Спб. 6 февраля 1888 г., «Русская мысль» 1888, № 3.

Меня не было в Петербурге, когда почитатели его думали праздновать его двадцатипятилетний юбилей. Вернувшись из поездки, я немедля пошла принести свое запоздалое поздравление и пожелания любимому писателю, не зная, что он отказался от юбилея. Прислуга сказала, что Г. И. не принимает, болен; через минуту, нагнав меня у крыльца, она передала, что приказали просить. Торопливо ответив на мое поздравление, Успенский с сияющими глазами вскричал: «А вот, что я вам покажу!» Он достал со стола бумагу, адрес от рабочих с Урала. Пока я читала, Успенский стоял, следя за выражением моего лица и подска-

зывая иные слова. Бумага стерлась в сгибах; видно было, что она перешла через немало рук, прежде чем дошла до своего назначения. Адрес был написан самими рабочими, его не составлял для них кто-нибудь из интеллигентов, искусившихся писать литературно. Оставалось желать кое-чего по части слога. Было красноречие неподдельного чувства, были настоящие слова. Люди, чья жизнь исковеркана «прижимкой», чествовали писателя, чья душа изболела за жертв «прижимки», и который в одном из героев своих, рабочем человеке Михаиле Ивановиче,[16] «получившем просияние ума» и увидевшем везде «прижимку», показал одну стадию развития народного типа. Когда я отдала обратно Успенскому адрес, у меня вырвалось: «Завидно! Для этого стоит жить!» Успенский отвечал радостно: «Да. Но что это? Главное — понимают!..»

М. К. Цебрикова,[17] Отрывок воспоминаний. *В. Е. Чешихин,* «Г. И. Успенский (Биографический очерк)». стр. 306—307.

...Вук[ола] Михайловича [Лаврова] видел, и завтра мы с ним на пороге у Успенского.

Из письма *Н. В. Шелгунова* В. А. Гольцеву, Спб. 22 ноября 1887 г., «Архив Гольцева», М. 1914, стр. 269.

Дорогой Григорий Александрович! Адрес ваш я в юбилейном (пьяном виде) потерял и пишу в ред[акцию] «Русской мысли». Я глубоко вас благодарю за искреннее радушие, которое вы и в Одессе, и в письмах, и в вашем посещении меня выказали. Не балован я ласковыми отношениями, нет у меня привязанностей долгих и прочных, все оборвано, и главное «нельзя»! Вот в чем мое горе! Всякую ласку, всякое внимание я безмерно ценю (вот отчего мне нравится...[18] рассказик «*Любовь*»), и вся моя жизнь личная, вся из таких лоскутков ласковых. Жаль, что вы уехали рано, не очувствовался я, — да и в Одессе я был неочувствованный от Петербурга и болгарскими делами расстроен. Трудно было обойтись без выпивки. Отдохнув месяц, мы увидимся с вами и сойдемся поближе, в полном уме и трезвой памяти. А пока не забывайте любящего вас Г. Успенского.

Письмо *Г. И. Успенского* Г. А. Мачтету (конец 1887 г.), «Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе», Госиздат. М.-Л. 1929, стр. 597.

... Мне до крайности необходим не отдых, а перерыв в моих работах месяца на два. Необходимо сообразиться и обдумать дальнейшие работы. Мой «юбилей» провел границу между прошлым моей жизни и работы и будущим. Повторять это значит пропасть. Да я лучше совершенно перестану писать. Но писать я хочу, и вот с какою просьбой я обращаюсь к вам.

В виду того, что мне необходимы деньги, а делать займы невозможно, я желал бы, чтобы редакции, в которых я работаю, сделали мне некоторый перерыв в уплате моих долгов. Я должен 1000 рублей в «Сев[ерном] Вестн[ике]» и столько же в «Рус[ских] ведом[остях]» и у вас. У вас я задолжал именно потому, что в «Сев[ерном] вестнике» пропало множество моих работ от цензуры, которая выдирала пропасть. В «Рус[ских] вед[омостях]» также потому, что писать о Болгарии невозможно было и фельетона 3 болгарских не было напечатано. Да и теперь, в декабре я дал туда 3 фельетона, из которых не один еще не напечатан, а напечатается в воскр[есенье] 4-й,[19] при уплате мне 250 рублей. Эти деньги не велики, да и нельзя обойтись без этого, в пределах возможного, конечно, и кажется, что я никогда не представлял требований неумеренных.

Вот почему «Сев[ерный] вестн[ик]» нашел уважительным мое желание и будет в течение года оплачивать мои работы полностью ничего не вычитая. Не можете ли и вы сделать это?..

... Если вы сочтете, что, например, в нынешнем году с сентября по январь (5 месяцев) я написал для Рус[ских] вед[омостей] (6 фельет[онов]) 3 листа, для «Русс[кой] м[ысли] $5^1/_2$, для «Сев[ерного] вестн[ика]» $8^1/_2$, то есть в 5 месяцев *17 печ[атных] листов,* то уж 8 листов, покрывающие мои долги двум журналам, не представляют для меня особ[ого] затруднения. Я уверен даже, что уже нынешнюю осенью буду писать для уплаты долгов. Но теперь для меня такая серьезная минута в литературном отношении, в смысле дальнейшего труда, что я убедительно прошу вас передать мою просьбу об этом Вук[олу] Мих[айловичу] [Лаврову]...

Подумайте пожалуйста об этом. Ведь если изнурение для меня сделается обязательным, и я увижу, что иначе нельзя, так ничего больше я и не напишу. У меня исчезнет всякая бодрость и всякая цель работы. Из-за куска хлеба я не буду писать ни в каком случае, т[о] е[сть] исключительно из-за куска-то. Охотно пойду в приказчики куда-нибудь или в крест[ьянский] банк, в податн[ые] инспектора и т. д.

словом, к чорту. Пожалуйста подумайте об этом. Очень серьезную минуту переживаю я теперь.

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву (1887, декабрь). «Архив В. А. Гольцева», т. I, М. 1914, стр. 34—36.

Я как-то повеселел, разделавшись с Болгарией и с Катковым (т[о] е[сть] с мрачными впечатлениями) и со *злобой* (она была) к правительству (это ненужно, т[о] е[сть] бесполезно совсем и глупо). Я теперь опять хочу только видеть людей и их жизнь. Раздражаться... правительством я уже больше не буду.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову, Чудово 1887 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 231.

...Я, право, устал. *Но не в этой устали дело.* Дело в том, что я *теперь* поглощен хорошею мыслью, которая во мне хорошо сложилась, — *подобрала и вобрала в себя* множество явлений русской жизни, которые *сразу* выяснились, улеглись в порядок. Подобно *власти земли,* — то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, — мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков *«Власть капитала»*. Два фельетона, которые вы напечатали, [20] — это только образчик того, что меня теперь занимает. Так вот мне и не хочется теперь мучить свою голову, отрываясь от *любимой мысли* для нелюбимых, для работы из-за нужды...

... До декабря будет продолжаться *«Мы»*, а с половины декабря непременно два раза в месяц будет *«Власть капитала»*. [21] Это будет не трескучая, но дельная работа. Я именно рад, что это будет *дело*. Если «Власть капитала» название не подойдет, то я назову *«Очерки влияния капитала»*. Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами, — у меня же будут цифры и дроби превращены в людей. Эта тема ставит меня на твердую почву, теперь я перестаю мучиться *случайными* муками, которыми меня может мучить *начальство,* сумбурное, глупое, — словом, начальство, которое мудрит по неведомым для меня соображениям. Мало ли что оно выдумает? Я устал его ругать и не понимать. Пусть это делают более меня молодые писатели. Я же теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов правительства, а

неминуемы и ужасны. Уверен, что ужасность их будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей, изуродованных и искалеченных.

Не разрушайте во мне этой приятнейшей для меня задачи. Не поскупитесь высылать просимое. Болгарское путешествие не окупилось не по моей вине, — нельзя писать о Болг[арии] так, чтобы было цензурно и было правдиво.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (конец 1887 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.». Добавления с подлинника.

Дорогой мой Василий Михайлович! Ради бога простите, что до сих пор не написал обещенного рассказика. Такие тяжелые времена, такое душевное расстройство, какого со мной и не бывало.

... Непременно начну новые рассказы для Рус[ских ведомостей]. Немного их будет, но я бы все-таки хотел в месяц раза 2 писать о пришествии купона. Все у меня готово, то есть нужно только вставить в готовые клетки материал. Назвал бы я эти очерки «*Проступки господина купона*». И первый был бы: «*Пришествие антихриста*» (Ротшильд в Одессе). Уж вот бы с удовольствием-то начал работать! Без этой работы, дорогой Василий Михайлович, пропаду, пропаду я. Не будет у меня этого любимого дела, — сотрудничество в «Русской мысли» меня не одушевляет, а моя личная жизнь, вы и вовсе не знаете, какая. Пропаду, пропаду я, ангел мой!

Из письма к нему же (конец 1887 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 232—233. Сверено с подлинником.

Я тогда (т[о] е[сть] в конце 80-х годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским.[22] Мы вместе отправились с ним в назначенный час в Пале-Рояль, где тогда жил Михайловский и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала «Мир божий»). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор и даже Александра Аркадьевна, человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный, задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что

попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

— Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

— Это хорошо... — но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, Чехова «Пестрых рассказов»,[23] была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмористическим образам из боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо, — я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежами смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы. Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось — к сожалению, даже слишком скоро — на самом Чехове. Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого, и они разошлись холодно, пожалуй, с безотчетным нерасположением друг к другу.

Вл. Короленко.

Многоуважаемый Виктор Александрович! Когда я виделся с вами в Москве, я еще не видал вашей статьи в «Русской мысли» о «Северном вестнике» и главным образом о Н[иколае] К[онстантиновиче] Михайловском.[24] Приехав в Петербург и прочитав ее, я очутился в самом ужаснейшем

положении, в котором пребываю и сейчас, и не знаю, как из него выйду.

Я, конечно, весьма не одобряю Мих[айловского] за то, что он начал придираться к «Р[усской] м[ысли]». В Петербурге над этой полемикой смеются и говорят: точно «Гражданин» с «Московскими ведомостями». Но ваша статейка, мне кажется, поставила дело пререкания между двумя собратиями сразу на борьбу с личностью именно Н[иколая] К[онстантиновича] Мих[айловского]. Это обстоятельство именно и ставит меня в самое недобросовестное положение и по отношению к «Сев[ерному] вест[нику]» и главным образом по отношению к Н[иколаю] К[онстантиновичу]. Мы с ним работаем и живем 10 лет, и теперь, когда вы колете его грехами редакции (именно его, а не редакцию), я должен писать для «Русской мысли». По всему Петербургу я искал денег и хотел их возвратить, словом, не имел желания ссориться с вами и редакцией или прекращать с нею всякие связи, напротив, я этим дорожу. Я во многом бесконечно вам благодарен, в этом вы не можете сомневаться; не можете сомневаться и в том, что я высоко ценю настойчивость ваших стремлений и благородство целей; но поймите же мое положение, могу ли я чувствовать себя по-человечески и искренно, будучи лично знаком с вами обоими и видя неприятную, начинающуюся только полемику. За кого же мне тут стоять, кому сочувствовать и кому не сочувствовать, повторяю вам *искренно?* Если вы в интересах «Русской мысли» берете на себя труд обороны ее (Мих[айловский] не вносил никаких лиц, а просто говорил о направлении журнала, при чем, конечно, и я не согласен с ним во многом) от нападок на ее сотрудников и не представляете этого дела им самим (хотя бы г-ну библиографу), то в какое же положение становлюсь я, примыкая своим участием к журналу, который делает нападение на самое близкое мне лицо, а не на журнал, в котором я простой работник? Появление моей статьи в «Русской мысли» (обещанной, как вам хорошо известно, до вашей статьи о Михайловском) произвело как на Михайлов[ского], так и на всю редакцию «Сев[ерного] вестника» самое неприятное впечатление. Я хотел достать денег, уплатить их Вукол[у] Мих[айловичу] и извиниться, но денег не достал. И если бы достал их, то выслал бы непременно вместе с обещанною статьей, предоставляя вам самим по-человечески рассудить, какое мое нравственное состояние, когда я своими руками наношу Н[иколаю] К[онстантиновичу] большое, громадное оскорбление и делаю ему огромнейшую неприятность, при-

нимая участие в журнале, который именно его-то и щипнул. «Сев[ерный] вестн[ик]» и Мих[айловский] и особенно последний огорчены до глубины моим поступком, который они считают просто изменой им; все равно, если бы Ремезов или кто из сотрудников «Р[усской] м[ысли]» взял да и прислал свою статью в «Сев[ерный] вестн[ик]», точно обрадовавшись тому, что его щиплет «Русск[ая] мысль». Вот мое положение, из которого я не знаю выхода кроме того, что у меня положительно опускаются руки и тошно жить на свете. В ваших руках была такая масса всевозможных недостатков и ошибок, и чепухи, бывшей в «Север[ном] вестн[ике]», что вам легко бы можно было полемизировать, не ставя нас, сотрудников, лично знакомых между собой людей, в невозможное положение, — вы — вот меня по крайней мере — ставите положительно в неловкое и мучительное положение, также как будто с равнодушием относитесь к старым и прочным литературным связям. Мих[айловский] не нападал на вас и не вас считал виновником недостатков «Русск[ой] мысли»,— вы же прямо взялись за него. Между тем вы сами знаете, что и у вас, и в «Сев[ерном] вестн[ике]» работают люди, общие вам обоим знакомые. Почему же вы о нас-то не подумали и не пожалели? Не знаю, как поступил Короленко и Н[иколай] В[асильевич] Шелгунов, но я уверен, что вы очутились в самом неискреннем нравственном состоянии совести.

Извините меня, многоуважаемый Виктор Александрович, за это письмо, но положение мое до того мучительно, что я положительно не знаю, что мне делать? Мне просто, совестно в глаза смотреть людям — и уж какая тут будет работа?

Для меня было бы величайшим облегчением, если бы вы отложили мою статью до февраля, приклеив к 1 кн[иге] ярлык, что статья запоздала по моей болезни. В этот промежуток времени ошибка, сделанная «Сев[ерным] вестн[иком]» и «Русск[ой] мысл[ью]», вероятно, забудется, потеряет свой острый характер, и в то же время постепенно восстановятся мои почти прерванные нравственные связи как с Мих[айловским], так и с «Сев[ерным] вестн[иком]». «Русск[ая] мысль» не нуждается уж так сильно в моем сотрудничестве, чтобы было невозможно дать мне месяц отдыху. Читатель будет знать, что статья есть (она и есть ведь), но мне то вы сделаете величайшее благодеяние, дав мне возможность быть *просто* вашим сотрудником, а не врагом «Сев[ерного] вестн[ика]» и Ник[олая] Кон[стантиновича], которым я вдруг стал теперь.

Я надеюсь, что вы поймете всю напрасность накладывать на мою душу такую огромную муку. За что это? Я и так перемучился много на своем веку. Неужели ж я не имею возможности рассчитывать на простое великодушие людей, знающих мою жизнь. Говорю вам положительно — я оправлюсь и буду у вас работать беспрепятственно, если вы дадите время утихнуть против меня негодованию «С[еверного] в[естника]» и Мих[айловского]. Если же вы не найдете возможным сделать это, то только *напрасно* навалите на мою душу угнетающую тяжесть и самую удручающую тоску и горе. А я и так уж устал непомерно. Вот мое положение! Если же вы окажете мне эту услугу, ничем не вредящую успеху «Русской мысли», я буду благодарен вам вечно и от души, всей души, что и докажу *на деле*. Ваш Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву. Петербург 30 декабря 1887 г. «Архив В. А. Гольцева» М. 1914 г. стр. 38 — 40.

Дорогой Гл. Ив.! Я на пути остановился на несколько дней в Москве. Пристаю я теперь всегда в доме Л[ьва] Н[иколаевича] Толстого. На-днях вечером у него были гости. Л[ев] Н[иколаевич] за чайным столом попросил всех гостей, желающих слушать, а не желающих [зачеркнуто: уйти] не мешать — и прочел вслух вашу статью о паровом цыпленке.[25] На всех она произвела сильное впечатление. Л[ев] Н[иколаевич] расхваливал ее и любовался ею, как самым содержанием, так и мастерской формой. Особенно ему понравился господин в резиновых калошах и заключение. Мне тоже статья эта очень-очень понравилась.

Простите меня, что я вам пишу все это. Я не думаю, чтобы для вас могло иметь большое значение мнение какого-нибудь авторитета, а тем более мое собственное или нескольких неизвестных вам людей. Я пишу вам это только потому, что мне хотелось снова высказать вам то, что я уже говорил вам, что я чувствую много общего в мыслях, которые высказываете в ваших сочинениях вы и Л[ев] Н[иколаевич], несмотря на различие многих форм. И потому я говорю и буду говорить, что и для всех людей, а особенно для вас, писателей, наших учителей, нужно не искать разницу во взглядах и мыслях и не придираться к ошибкам вольным и невольным, а искать сходства, искать союза, единения и общими силами служить людям, а не натравливать их друг на друга.

«Лжей много, а правда одна», — говорит пословица, и Л[ев] Н[иколаевич] говорит, что он убежден, что вся-

кий искренний человек с ним согласен. Иначе и быть не может.

Для взаимной помощи и единения нужно общение, нужно знакомство, нужна не только внутренняя близость, но внешняя. Я был бы очень рад за вас и за всех, если бы вы, будучи в Москве, зашли и познакомились с Л[ьвом] Н[иколаевичем]. Знаю, что и Л[ьву] Н[иколаевичу] вы бы доставили радость. Он несколько раз говорил мне об этом и всегда с сочувствием говорил о вас.

Простите мне еще раз за это письмо. Уничтожьте поскорее его, если оно неприятно вам, и поверьте мне, что я не хотел обидеть вас. Вы знаете, что я очень люблю Л[ьва] Н[иколаевича]. И письмо это написал под влиянием такого же чувства к вам. П. Бирюков.

Письмо *П. И. Бирюкова* Г. И. Успенскому 1888 г. от 14 января. *В. Е. Чешихин*, «Г. И. Успенский. (Биографический очерк, стр. 316—317.

Василий Михайлович! Вчера я, как пришел из Эрмитажа, лег отдохнуть и проспал до 5 часов утра, а затем повернулся на другой бок и проспал до 8-ми. И москов[ский] и петерб[ургский] хмель из меня вышел. Сейчас иду к Толстому. Оттуда к вам.

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (1888 г.). С подлинника.

Милый мой Василий Михайлович! Что прикажете делать? Не пойду сегодня к Толстому-то, сделаю это завтра, в тот же час. Сегодня пойду к Пругавину и Златовратскому. Завтра все утро буду дома, — только забегу к вам рано, пить чай, — и потом в 7 ч. пойду к Толстому, а от него, если не будет каких изменений, к В[арваре] А[лексеевне] [Морозовой]. Теперь я никак не могу. Этот день лишний, — не беда. Так вот какой оборот, — а итти насильно — никакого не будет толку.

Письмо *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому [26] (1888 г.). С подлинника.

Надо же мне немного сообразить — что делать. Я почти паровой насос — вытягиваю из себя последние силы. [27]

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву (начало 1888 г.). «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 43.

Последний раз я видела Гл. Ив. в 1888 г. в январе. Жил он тогда на Васильевском острове. Глеба Ив. я нашла в столовой за чаем и с неизбежной папиросой. Он мне показался осунувшимся и желтым, и, когда я ему это заметила, то он сказал: «Да, я очень утомился, да и Александра Васильевна тоже утомилась». В то время жили они сравнительно хорошо, но беззаботность была та же. При мне приехал и Лавров из Москвы(редактор «Рус[ской] мысли»), и когда понадобилось что-то записать, то во всем доме не оказалось чернил и побежали в лавочку купить на пятачок.

Вообще у них царила богема, но дышалось легко, и все чувствовали себя как дома.

А. С[тепанова.] «Из воспоминаний о Глебе Успенском». «*Самарская газета*» 1902, № 83.

Однажды на вопрос, вероятно, не в первый раз предложенный, не едет ли Г. И. к Толстому, он с явным раздражением ответил: «Поеду, поеду... только не теперь».[28]

Сообщено А. Г. Штанге. *В. Е. Чешихин*. «Г. И. Успенский в 70-ые и 80-ые годы», «Русская мысль» 1913, № 9.

«...В последнее время я очень утомлен, именно беспрестанной, в течение двух лет, подцензурной работой. Главная в ней работа, чтобы не написать того, что надо и что хочешь, а это действует убийственно. Я чувствую это на себе и боюсь, что раз утраченное, умышленно умерщвленное — не оживет. Вот в чем моя беда. Свирепствуют цензоры и в бесцензурн[ых] изд[аниях], но писатель-то, работая в них, может сам не стесняться в работе, — «вырезывай, мол!» А здесь заранее, как только взял в руки перо, уж надо думать, чтобы ослабить свою мысль и задачу. Это ужаснейшее дело, гибель и особенно теперь, когда мне надо и можно писать не пустяки. Вот моя участь. Всю жизнь так-то. Когда мне именно хочется, и я желаю работать дельно, тут-то я по тысяче причинам должен урезывать себя во всех отношениях: вот даже по совести не могу ответить на адресы и должен подавлять в себе то, что желал бы сказать.

Из письма *Г. И. Успенского* Х. Д. Алчевской 21 января [29] 1888 г. «Пережитое и передуманное», М. 1912, стр. 126.

Вы не можете представить себе, как я был рад вашему письму и тотчас же написал вам огромное письмо обо всем,

что делается в России, но, откровенно говоря, побоялся послать его — Петербург любит читать чужие письма.

... Долго жить вам, добрый Василий Егорович! Но живите пока там, за границей. Нехорошо, мучительно жить в России теперь, и я не посоветовал бы такой жизни врагу. Не знаю, что может европейский читатель почерпнуть в русской литературе. Она убита в самых лучших своих стремлениях и приведена к тому, что писатель, садясь за работу, думает о том, чтобы не написать так, как он думает. Это отупило всю русскую молодежь, и литература еле-еле влачит свое неблагообразное существование.

Сию минуту я посылаю вам 5, 6, 7 и 8, а скоро пришлю и первые четыре тома.[30] Но в этих 4-х томах вы можете найти много о современном положении народа. Обратите внимание на «Власть земли» — сила заключается в народе. Не так грубо и подло взглянул я на *землю,* как Золя. Он смешивает две формы жизни (как она и смешивалась в Европ[ейских] государств[ах] действительно) — жизнь *на земле,* для того, чтобы добыть *денег.* Это в России не так: либо на земле без денег, либо с деньгами без земли...

... Хотел бы видеть вас, если удастся съездить за границу. А давно бы надо. Россия, и русская жизнь, и русская мысль заперты в душном чулане, и — ох! как отстали от *жизни* других стран. Если бы мы жили по-своему, но мы *никак* не живем и идем, кажется, к полному душевному омертвению.

Из письма *Г. И. Успенского* В. Е. Генкелю 13 февраля 1888 г. «Голос минувшего» 1915, № 10, стр. 206—207.

Сию минуту, глубокоуважаемая Христина Даниловна, получил ваше письмо и тотчас же отвечаю по поводу самого важного, — именно относительно моего ответа на сочувствие ко мне, выраженное читателями.[31]

Ответ непременно надобно, но вот в чем дело.

Вам известно, что Павлен[ков] и Сиб[иряков] издают мои сочинения дешевым изданием в 3 руб[ля]... Дешевое издание необходимо, и я всегда был против варварских цен — 10, 15 рублей и т. д., и очень может быть, что издание пройдет в цензурном отношении. Цензурное начальство хоть и режет меня беспрестанно, но и за крамольника не почитает, а специально крамольное начальство, то есть петербургские полиции всех родов и видов смотрят терпеливо на мои знакомства, хотя за мною гласный надзор.[32] Но, зная чувствительность петербургского полицейского

начальства, я просто-таки боюсь обратить на себя его внимание, если опубликую мою благодарность за адреса, телеграммы, письма и т. д. Ведь всего этого накопилось так много, что не только для меня оказалось чрезвычайно неожиданным, но уж для начальства окажется просто бунтом или заговором. На меня станут смотреть в оба глаза, и дешевое издание наверное не выйдет в свет, в этом можно быть вполне уверенным. Вот я и не знаю, что мне делать.

Из письма *Г. И. Успенского* Х. Д. Алчевской 15 февраля 1888 г. «Голос минувшего» 1915 № 10.

...Я теперь так утомлен, что сил моих нет. Примите же во внимание, что этот год для меня исключительный, во всех отношениях изнурительный. В «Русской мысли» с майским рассказом написано не менее 7 листов (с сентября), да переработки около 7 л. В «Рус[ских] вед[омостях]» с августа 4 фельетона — $2^1/_2$ листа. В «Неделе» — 1 л. В «Сев[ерном] вестнике», с сентября — ежемесячно, не менее 12 печатн. листов, а с цензурными помарками и все 15. Кроме того, я перечитал и исправил к изданию 250 листов моих 10 томов, — это работа не маленькая. Да волнения с моими праздниками и адресами и тысячи личных затруднений, которые свалились на мою голову, как на грех, в этот же год, — все это меня просто изнурило. Я сейчас не могу взять в руки перо. Вот почему я поставил «Р[усскую] м[ысль]» в такое затруднение с моим рассказом последним. Я забыл еще сказать, что 2 переработки из старых газет даны мной в «Неделю» (будут в августе), листа два. Сосчитайте и скажите пожалуйста, чьи это силы вынесут!

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, Чудово (март-апрель) 1888 г. «Архив В. А. Гольцева», стр. 46—47.

...Вы делаете мне важное предложение относительно более близких отношений к редакции и товариществу «Сев[ерного] вестн[ика]». И за это я искренно благодарен, но прошу вас дать мне время до осени, и тогда я, быть может, получу время говорить с вами об этом деле положительно. Теперь в течение трех-четырех месяцев я положительно бы желал обдумать только свои литературные и всякие дела. Юбилей и адреса провели в моей жизни значительный след, и мне надобно на время отстать от срочной журнальной работы, сообразить, в чем я погрешил, отстал, чего недодумал и что надо бы делать. Кроме того, до осени

есть у меня некоторые неотложные обязательства, исправление почти всех десяти [33] томов, словом, есть много мусорной работы и над книгами, и над своими душевными делами. Всему этому я отдал все время до сентября. А вот в сентябре, когда в журнале начнется более острая деятельность, я приду к вам, и тогда можно будет поговорить обо всем подробно. Пока же будьте уверены, что осенью мои работы будут в «С[еверном] в[естнике]» попрежнему. Относительно сборника Гаршина я уже ответил Якову Вас[ильевичу] Абр[амову] и статью дам, *непременно дам*, только надобно знать число. Сию же минуту я сижу над статьей о Гаршине для «Русских ведомостей» — спешу, и работа многосложная. Пытаюсь по возможности подробно выследить причину этой загадочной смерти. Хочу написать о нем без всяких фраз и запоздалых признаний в любви. Есть у меня о нем и личные воспоминания и один момент, знаменательный для того, чтобы понять качество нервного расстр[ойства] Гаршина... [34]

Из письма *Г. И. Успенского* А. М. Евреиновой, 1888, апрель. «Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 213—214.

Помню, однажды, войдя к Н[иколаю] К[онстантиновичу] Михайловскому, жившему тогда в Пале-Рояле, на Пушкинской, я застал в его номере Глеба Ивановича. Он сидел на кушетке с папиросой в руках. Лицо у него было искаженное внутренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, в глазах душевная тревога. Это было время, когда он писал рассказ «Взбрело в башку». [35] Сюжет рассказа разыгрывался у него на глазах, в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

— Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете себе представить, что это за человек!.. Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков. Теперь каждый раз, когда я проезжаю мимо Чудова, мне кажется, что я вижу фигуру

Глеба Ивановича, перегнувшегося через перила и всматривающегося с выражением такой тревоги и опасения, как будто он ждал вести об опасно заболевшем собственном ребенке.

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

— Вот... вот видите... — сказал он мне, при какой-то особенно резнувшей ухо фразе извозчика... — Никогда Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек.

Приехав к своему дому, он отдал извозчику деньги и сказал:

— Пожалуйста, теперь пришли мне Герасима. Через два часа опять на вокзал...

— Да что вам, Глеб Иванович, Герасима, — сказал извозчик. — Я сам доставлю.

— Герасима... Герасима мне... Понимаешь. Мне нужно...

— Да на что же Герасима, когда я...

Глеб Иванович, собравшийся уходить, вдруг повернулся, пристально всмотрелся в мужика и, вынув бумажку, сунул ему в руки.

— Вот... возьми. Тебе непременно денег хочется. Вот, вот... вот тебе, вот! Теперь пришли Герасима, а сам не приходи, пожалуйста... Сделай ты мне одолжение: не приходи...

На лице его было то же выражение, как в сцене с старухой на пароходе: гнев, презрение к деньгам и к человеку, которому только они и были нужны, и страдание за него и за себя. На этот раз мне показалось еще, что он откупается от этой мучительной для него неискренности. Однако Герасима все-таки не оказалось, и нас на вокзал повез другой извозчик.

Это настроение неперенosности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно, которую [которые] прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка, теперь усиливалось быстро из года в год. Прежде он любил приезжать в Москву и иной раз, остановившись в гостинице, кончал здесь статьи для «Русских ведомостей» или «Русской мысли». Со

временем, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиниц и меблированных комнат.

— Знаете! — радостно сообщил он мне однажды, при встрече в Москве. — Нашел-таки! Просто превосходно!

— Что вы нашли, Глеб Иванович?

— Гостиницу нашел... Такую, в которой можно жить... Просто рай. Номерки новые, еще не подернулись всей этой подлостью... Прислуга веселая, приветливая... должно быть, платят хозяева по-божески. Просто превосходно. Вот приходите, увидите сами...

Не помню, в этот ли приезд, или в другой, я разыскал-таки Глеба Ивановича в этом хваленом его рае. И первое, что мне бросилось в глаза при входе на лестницу, это было лицо самого Успенского, склонившееся с верхней площадки. Бровь опять была высоко поднята, на лице опять выражение боли...

— Что с вами, Глеб Иванович?

Он еще не ответил, как в коридоре затрещал электрический звонок. Где-то хлопнула дверь. Женщина с усталым лицом понеслась кверху по лестнице. Из какой-то каморки послышался плач ребенка. Все это я помню так ясно, как будто слышал и видел только вчера. Но все это я воспринял через Глеба Ивановича, так как и звонок, и суетливая беготня, и плач ребенка отражались на его исстрадавшемся лице.

— Вот... вот видите. Не прошло и пяти минут — четвертый раз... Ну, вот еще...

Новый треск электрического звонка прошел по его лицу новой волной нервной боли...

— Так и знал! Четырнадцатый номер, — сказал он, указывая на электрический счетчик... Второй раз... Это он, негодяй, сидит на своей постели... подай ему со стола стакан воды... Вот... вот опять... Господи боже!

И этот его недавний рай уже был отравлен для него навсегда. Кто из нас замечал эти стороны гостиничной жизни, кому из нас было бы интересно узнавать, сколько раз звонил четырнадцатый номер и почему хлопает внизу дверь, заглушая крик «собственного ребеночка» гостиничной прислуги? А между тем вся эта прозаическая изнанка жизни непроизвольно раскрывалась перед Успенским, со всем, что в ней было нехорошего и тяжелого, и мучила его чужой усталостью и чужой болью...

Вл. Короленко

... Не знаю, куда мне ехать: за границу или в Сибирь к переселенцам, или с переселенцами? А так «отдыхать» зря — не могу, тоска смертная. В Сибирь любопытно, но мрачно, чертова яма, холод, и вообще я поустал от мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голодного и холодного. Больно смотреть, и голова отказывается мучиться об этом просто утомилась. А за границу — тоже не знаю, будет ли толк... Грубо как-то я стал писать — обалдел и устал...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому 17 мая 1888 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 234.

Друг ты мой любезный Бяшечка! Вместо Рыбинска попал я в Нижний, потому что мне не хотелось два раза [разъезжать?] по одному и тому же месту. Волга мне ужасно нравится, но потому именно, что тоска, которую испытываешь на ней, — глубокая. Какие дивные, характерные города, когда-то тут кипела жизнь, и теперь — нет ничего; по громадным площадям кое-где двигаются люди, как мухи, солдат-калека плетется с книгой подмышкой, едет водовоз... вихрем несется частный пристав, точь-в-точь такой же, как в Петербурге. Все эти кремли, крепости перегажены казенными домами и безжизненными, в нитку вытянутыми окнами, и надписями «присутственные места»; именно антихристова печать. И какая мертвая тишина! Часы на какой-то колокольне бьют медленно, грустно. У меня смертельное желание спуститься до Саратова... а теперь, т[о] е[есть] завтра, поеду я на пароходе по Оке, до Павлова села, посмотрю, что там делается...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Нижний, Троица 16 (1888 г., май). (С рукописи Государственного литературного музея в Москве, папка 1256).

Дорогой Виктор Александрович! Едва доплелся по Оке до Нижнего и тотчас еду дальше в проклятую Сибирь, чорт бы ее драл. Настроение такое гнетущее, что я боюсь его осложнять еще личным беспокойством, и поэтому прошу вас, в виду того, что завтра, когда вы получите это письмо, будет воскресенье, т[о] е[сть] контора Юнкера будет закрыта — не откладывайте высылку 350 рублей моей жене далее понедельника. Ведь и так она может получить только 7-го, а мальчишка [36] окончил экзамены 3-го, и сами знаете, как он должен рваться в деревню. Вы пошлете Юнкера вексель в Петербург, Вас[ильевский] остр[ов] 11 [линия], д. 30, кв 8.

Душевно вас благодарю за это. Очень-очень жалею, что вы мало поговорили со мной о моей деятельности вообще (в «Мавритании») и у меня звучит только одно: «пропадете!» А я уж и так пропадаю окончательно. Будьте добры, в пяти-шести строках скажите, в чем мой грех против общества? Это легко сделать, а главное необходимо. У меня теперь два месяца, в которые я могу освежить свою голову. Будьте же добры, укажите прямо на ясный для вас изъян в моем и вообще в современном литературном деле. Я буду ждать вашего письма в Тюмени, туда вы его пошлите до востребования. До свидания! Пожалуйста напишите. Я все обдумаю основательно. Лучше же поправить, чем продолжать старую канитель. Ваш Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву (конец мая 1888 г.). «Г. И. Успенский. Сочинения письма в одном томе», Госиздат 1929, стр. 607—609.

В следующий приезд в Нижний зловещие признаки выступали уже заметнее. Выражение лица было более страдальческое; он жаловался на галлюцинации обоняния и потерю вкуса.

— Ничего не ощущаю... точно шапку солдатскую жуешь, — по-своему причудливо выражал он это ощущение. Его особенный юмор, которым природа наделила его в таком изобилии и который, быть может, один долго служил противоядием печали, разъедавшей эту чуткую душу, вспыхивал все реже, а печаль выступала все острее и ощутительнее. Впечатлительность как будто еще обострялась, или сила сопротивления слабела...

Из этого периода мне вспоминается один небольшой эпизод. Войдя в мой кабинет, он увидел над столом большой литографированный портрет Л[ьва] Н[иколаевича] Толстого.

— Что это значит? — спросил он, указывая глазами на портрет.

Это был период, когда великий писатель находился в полемическом фазисе «непротивления», когда из-под его пера появилась сказка об Иване-дураке и другие рассказы той же серии, из-за которых еще не развернулась новая эволюция этого беспокойного и могучего духа.

Я ответил Глебу Ивановичу — перед чем именно я преклоняюсь в этом человеке. Он долго и задумчиво смотрел своими печальными глазами в суровые черты портрета и потом сказал:

— Да! Я вот давно собираюсь к нему... Поговорить... о многом...

И потом, улыбнувшись, прибавил:

— Боюсь все. Огромный он... А все-таки соберусь, непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом.

Сколько мне известно, он так и не собрался.

Вл. Короленко.

...Какое бы мне это было дело превосходное, если б я так не был измучен чорт знает чем, — бессмыслицей, и не поставлен в необходимость куда-то постоянно ехать. Не знаю, какая это будет поездка. Теперь мне невыносимо скучно. *Все номера да трактирные половые всю жизнь.* Если мне будет еще хуже на душе, то я возвращусь и возьму место в новом крест[ьянском] банке.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Нижний Новгород 4 июня (1888 г.). «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 11.

Сейчас уезжаю в чортово место — в Сибирь и не знаю, доеду ли туда. Не откажите в моей небольшой просьбе. Когда выйдет июньская книжка и если там будет мой рассказ *«Взбрело в башку»,* то пожалуйста *не высылайте этого рассказа, а то и другое перешлите в Пермь до востребования.*

Видите в чем дело. В этом рассказе под именем Олимпиады изображена супруга N, которая у нас в Чудове живет. Она бы и не прочитала этого никогда, да наши знакомые ей прочтут, и выйдет чорт знает что. А кроме моего экземпляра в Чудове нет. От этого-то и рассказ бледен, что нельзя было разойтись, а то бы он мог быть любопытным...

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву. Казань 8 июня 1888 г. «Архив В. А. Гольцева», стр. 51—52.

Друг любезный! Мне до того нестерпимо сразу ехать в Сибирь, и я так расстроен вообще, что думаю, прежде чем отправиться туда, поехать по Волге, во 1-х, в Саратовскую колонию, во 2-х, в одно раскольничье село, где 22 июня праздник чрезв[ычайно] интересный. После же 22 поеду уж в Сибирь, но дальше Тюменя не поеду, и к концу июля буду дома. Пожалуйста, извести меня в Саратов телеграммой до

востребования все ли у вас хорошо?.. Хотел бы и очень хотел написать вам что-нибудь хорошее, но решительно не могу, и ничего хорошего не чувствую и не вижу. Из Саратова буду писать опять.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Казань 8 июня 1888 г. (С рукописи Государственного литературного музея, в Москве, папка 1256.)

... Главное, что я необыкновенно утомлен духом моим. Видите, как плетусь? Только в Казани... Но это потому, что устаю ужасно; в Нижнем два дня не мог встать с постели. Может быть, и хорошо это. Теперь в Казани я уже мог сесть за работу, а завтра, 9-го, еду в Пермь. Меня пока берет раздумье, — ехать ли туда? Соблазнительнейшие вещи прочитал я сегодня в газетах о Семеновском уезде, и меня туда тянет неумолимо. Эта поездка была бы мне по душе более, чем в чортову Сибирь. До чего-нибудь решительного я должен непременно додуматься в самом скором времени и завтра должен решить, куда я еду? Завтра же поэтому я буду писать вам еще...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Казань 8 июня 1888 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 238—239.

Еду я в Сибирь... Сколько тут интересного кроме Сибири! Тут бы около Казани и Нижнего надобно прожить все лето, — вот это было бы дело. Но так как это невозможно, то я и еду сейчас на пристань. До свидания...

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому. (9 июня 1888 г.) Там же. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 239.

Еду в Бийск, оттуда в Семипалатинск... если только скука меня не заточит... А ужасно скучно. Все как-то противно и вовсе не интересно. Старость пришла...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Казань (1888 г.) на пароходе. «Минувшие годы», 1908, № 4, стр. 11.

Жизнь трактирная дорога, главное — утомительна и действует одуряющим образом.

Прощай, голубчик мой глупенький (умная, милая!).

... до Нижнего Волга гнусна и подла, как самая купеческая река. Ни кожи, ни рожи, одна вода.

...Опять поганая музыка, стук, гомон, громкие разговоры каких-то уродов... В этой погани и пыли, где люди задыхаются или ворочаются в грязи... хорошо ехать одному, без знакомых, на палубе, читая лекции (русской) истории и, право, здорово, а главное для души хорошо. Надо как-ниб[удь] пристроиться осенью. Надоело это шатанье на волоске...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Саратов (1888 г.).[37] «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 11.

Я вовсе не скучаю, что Саша не выдержал [экзамен], но Саше-то скучно... Но вы не волнуйтесь, а подумайте спокойно... Мало ли денег ушло за зиму. Ведь их надо заработать.

Будьте же внимательны к этому и не говорите, что «мне ничего не нужно». Вам не нужно (да и это неправда), да Саша остается не по моей вине. *Надо учить хорошо, так же, как мне хорошо и добросовестно писать, а не строчить, очертя голову.*

...Пожалуйста, давайте устроим нынче осенью жизнь нашу поумнее, а пока не сердитесь и подумайте обо всем хладнокровно... и выкиньте из головы несуществующие обиды. Помогите — чтоб с осени жизнь наша стала поумнее и помягче...

... И тебе надо непременно поехать куда-нибудь надолго пожить одной и посмотреть, как живут люди, кто такие есть настоящие обманщики и обманщицы, а кто хороши и совестливы. *Сидеть на одном месте — чистая беда: можно съесть друг друга.*

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Пермь, на вокзале (июнь 1888 г.). «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 12.

Вопреки уверению Глеба Ивановича, что теперь ему «поздно уже толкаться между людьми», он все-таки заглянул в Сибирь летом 1888 года. В то время я жил в Томске и вместе с Ф[еликсом] В[адимовичем] Волховским, П[етром] А[лександровичем] Голубевым и Г[еоргием] Ф[еликсовичем] Здановичем принимал участие в «Сибирской газете». Глеб Иванович попал к нам как раз в тот момент, когда мы были заняты составлением номера газеты, целиком посвященного открытию первого университета в Сибири 22 июля 1888 года. Он быстро вошел в курс дела и, узнав, что в номере проектируется отдел «Замечательные сиби-

ряки», предложил нам написать биографию историка А[фанасия] П[рокофьевича] Щапова.[38]

Кроме нас, сотрудников «Сибирской газеты», в Томске были еще ссыльные, и, между прочим, целая колония их жила на дачном положении в деревне Басандайке. Глеб Иванович хотел видеть всех «изгнанников», и он собирался непременно заглянуть в эту Басандайку, почему-то прозванную им Бахчисараем, но вышло так, что в приглашении одного из ссыльных Ш. приехать туда он заподозрил коварный умысел: видеть его в колонии не простым гостем, а писателем, способным осветить какие-то вопросы спорного характера. Всегда далекий от мысли «поучить» кого-либо, он не поехал в Басандайку и все время проводил в нашем обществе, случайно увеличившемся приездом в Томск большой приятельницы Глеба Ивановича, О[льги] Н[иколаевны] Фигнер. Время его пребывания с нами летело незаметно, и день его отъезда сжимал сердца предчувствием, что без него опять начнутся скучные, серые будни. Оторванные от России, мы с жадностью воспринимали его живые, полные юмора характеристики разных явлений жизни, общих друзей и знакомых и сознавали, что общение с ним дополнит и расширит сферу наших представлений о русских делах, естественно сократившуюся благодаря подневольной жизни на чужбине. Между тем, самому Глебу Ивановичу все время казалось, что он не привез нам ничего утешительного, а еще больше сгустил мрак нашей неволи своей личной персоной, недовольной условиями своего существования и неудачами, преследующими его из года в год.

28 июля Глеб Иванович уехал из Томска. Чтобы не возвращаться на пароходе по унылым сибирским рекам, он предпочел проехать путь от Томска до Тюмени на лошадях. Такой способ передвижения оказался рискованным. Дорогой он чуть не сделался жертвой быстрой сибирской езды, или, как он писал, «едва не был убит, и решительно не понимаю, как только не переломил ногу». Все свои дорожные приключения он описал в письме ко мне из Омска, 30 июля, даже графически изобразил, как лошади тащили тарантас, опрокинувшийся на него, и где именно он получил очень большие удары. «Извозчик, весь избитый, стоял надо мной, когда я выполз из-под чемодана и сена, бледный от изумления», — так кончается описание пережитых им волнений. — «У него кровь была на носу, и он понять не мог, как я спасся, и говорил одно: «Бог спас!» Да и я, признаться, в небесах увидел бога, когда меня стукануло об угол до того, что искры посыпались. . .»

«Дружки» и «почтовые недруги» показались Глебу Ивановичу такими ужасными, что он отказался ехать дальше на лошадях и решил ждать в Омске парохода...

А. И. Иванчин-Писарев.

Приходит из Перми от Глеба Ивановича телеграмма: «Еду, пришлите 150 рублей». Послали. Потом телеграмма из Тобольска: «Встречайте с деньгами». Ну, обыкновенное дело: как сущий младенец, Г. И. в дороге поистратился, наверно на пароходе задолжался, и приходится его «выкупать».

В день прихода игнатовского парохода отправляется кто-то из нас на пристань (помнится, Волховской). На пришедшем уже пароходе Глеба Ивановича не оказалось. «Да ехал ли такой-то писатель?» — «Как же, как же!» — «Так где его вещи? Он к нам!» Приходят в каюту: она завалена какими-то коврами! — «Что это?» — «Да это они в Тюмени накупили!» — «Ну, надо вынести на извозчика. Г. И. к нам приехал». Прислуга мнется: «Да они задолжали буфетчику!» — «Сколько? Получите». — «Да они еще и у капитана денег взяли!» — «Сколько? Возьмите». Так Глеба Ивановича с вещами и загадочными коврами выкупили.

Между тем он сам отыскал помещение «Сибирской газеты» и явился к нам. Редакционная квартира была прямо ужасна — отвратительный ход под какими-то навесами, так что приходилось, чтоб пройти в редакцию, согнуться в три погибели, — комнатушки маленькие, грязненькие. «Ах, да как же у вас хорошо! Какая славная редакция!» — говорит Г. И. после первых минут знакомства. «Иронизирует?» — подумал я, признаться, но ему и вправду у нас понравилось, или мы ему понравились, но какой уже это был человек, всем искренно довольный, куда ни попадет, были бы ему симпатичные люди. «Да я тут у вас и останусь!» — «Помилуйте, Г. И., для вас уже и номер приготовлен в такой-то гостинице». — «Ну, вот, что я там буду один делать! Лучше я буду здесь проводить время, можно?» — «Ну, очень рады». Он и действительно большую часть пребывания в Томске проводил в редакции.

Здесь выяснилась целая история с коврами. В Тюмени на пароход, по обычаю, явились торговки продавать эти ковры, местное изделие. Ковры, как ковры, ничего особенного не представляют, стоят рублей 6—7. Глеб Иванович увидал: «Ах, ковер, какой славный! Сколько стоит?» Торговка запросила десять рублей, которые Г. И., очень довольный, не торгуясь, и уплатил. Немедленно его обступили и

другие бабы и стали навязывать свой товар. «Как же ты у такой взял, а у меня не хочешь, у меня еще лучше ковер!» — «А у меня-то какой, ты и у меня возьми!» Г. И. покорно покупал ковер за ковром, пока не роздал всего, что было при нем. Наконец — «отстаньте, денег больше нет!» — «Как же, чтобы у барина да денег не было!» Г. И. занял, наконец, денег у капитана, чтобы отвязаться этим способом от назойливых баб, и завалил свою каюту совсем ненужными ему коврами. Уже не знаю, куда они делись в Томске...

В пребывание Г. И. закрылась и наша «Сибирская газета». Дело было так. Официальным редактором значился некто Гусев, так — несообразный человек, вятич, я же его и рекомендовал нашему кружку. Газету вели, конечно, целиком мы сами, а Гусев давал только свою подпись, большею частью не видав номера газеты до ее выхода, за что и получал по 60 рублей в месяц... Так вот, приближается открытие Томского университета. Мы готовимся, составляем обширный специальный номер газеты, пишет для этого случая нам статью и Глеб Иванович — о Щапове. Стороной узнаем, что редакции «Сибирского вестника» послано приглашение на торжество, а нам не посылают: хотят обойти, радикалы и крамольники все там сидят. Получает наконец приглашение и наш издатель, но не в качестве представителя газеты, а в качестве жертвователя на университет. Понятно, мы возмущены. Волховский составляет тогда ядовитое письмо попечителю, а тот был заведомым врагом нашей газеты. И надо же быть такому случаю! Волховский отправил Гусеву черновик письма попечителю от имени редактора и пояснительное свое письмо, что, мол, надо переписать, подписать и отправить попечителю. А Гусев — этакое чучело! — вместе с чистовым письмом попечителю в один конверт сунул и все остальное. Можно себе представить, как попечитель обрадован был получением такого «поличного»: явно доказано руководительство газетою со стороны политических ссыльных. Приглашение на торжество редактор наш получил, представительствовал газету, вышел торжественный наш номер со статьями о значении университета для всей Сибири, но дня через три из Петербурга пришла телеграмма о приостановке «Сибирской газеты».

Глеб Ив., принявший участие в составлении торжественного номера «Сибирской газеты», с нами ее обсуждавший, был сражен приостановкою ее чуть ли не больше нашего. «Как же, как же вы теперь будете?» — твердил он нашему кружку. «Да так же, как прежде. Г. И., вернемся в перво-

бытное состояние»... Но он долго не мог успокоиться и волновался из-за нас.

С дороги из Томска он прислал нам письмо, в котором забавно писал: «Того и того-то очень люблю, а Волховского — подлюбливаю...»

Сообщение *П. А. Голубева* В. Е. Чешихину.
«Голос минувшего» 1915, № 10.

... Я рад, что видел вас, Ольгу [Фигнер], Здановича, Петра Александровича [Голубева], Волховского, но я не рад, что привез себя к вам в таком гнусном виде: скучней вам, милый А. И., стало от моего визита, не ободрил я вас ничем, ничем — вот что мне горько. Я приехал совершенно в мочальном виде. Что делать! Надо бы мне пожить у вас побольше, и я бы поправился и мысли бы мои посвежели. Мне и теперь во сто раз лучше, чем тогда, когда я приехал, и теперь я благодарю вас до глубины души, говорю вам от чистого сердца: спасибо вам, слава богу, что вы живы и такие славные люди.

Я ужасно жалею, что не был в Бахчисарае. Я должен был там быть, а главное сам *хотел* душевно.

Довольно я нажился в пустопорожнем обществе, мне нужно ваше и ихнее. Но Ш. как-то глупо перековеркал мое положение относительно их, что оказалось невозможным поехать просто так, как мы ездили к этим братьям-охотникам. Нельзя было *просто* поехать, потому что Ш. так сделал, что, неизвестно почему, стал приходить ко мне, точно к попу звать к родительнице. Родительница помирает, а поп не идет.

— Так мне можно уехать в Барнаул? Жена больна. — Вот с какими речами он ко мне приходил. Выходило так, что если я не поеду в Бахчисарай, то у него жена умрет, и вообще я его задерживаю. Он в чем-то там *обещался*, и не то я, не то они его *«не пущают»* ехать из-за меня, пока *не привезет*. (Вот ведь какое недомыслие!) Зачем меня привозить «силою», когда я сам хочу их видеть и быть у них. Вероятно, он им обещал, что я буду давать какие-то ответы, как Иоанн Кронштадтский; они будут спрашивать, а я прорицать. Вот от этого-то я и не поехал, так как просто хотел повидаться с людьми хорошими, а к допросу итти не пожелал.

— Извозчик готов сейчас...

Чисто как к попу.

— Батюшка! помирает, родит!..

Ш. — очень добрый парень, но самовольно произвел меня в неподобающий чин: учителя и указателя путей — раз, а

другое: обещал этого попа *привезти*. «Привезу!» Я ужасно жалею, просто скорблю, скорблю душевно. Вот дуралеюшка какой! Сделал то, что я не видал самого для меня важного. Даже упорство «не ехать» возбудил во мне болванушко!..

Поцелуйте первого — Здановича. Я его люблю, и П. А. люблю. Подлюбливаю и Волховского, Феликса Вадимовича, и если не вполне, то потому, что он хочет жениться; я против брака. Впрочем, не мое дело!

Из письма *Г. И. Успенского* А. И. Иванчину-Писареву (Омск 30 июля 1888 г.). «Былое» 1907, X.

Дорогой Глеб Иванович. Большое спасибо вам за ваше дружеское письмо. Всем нам теперь очень тяжело: девочка у сестры умирает и мучится вот уже очень долго (воспаление легких); ваше письмо, хотя и случайно совпавшее с этими тяжелыми минутами, мне очень дорого. Я никогда вам не говорил о том, как я вас люблю, потому что говорить об этом трудно, а писать все-таки легче. — Когда-то, еще в Якутской области, я тоже, еще не зная вас лично, получил от вас (хотя и не непосредственно) несколько слов, которые меня очень ободрили. Это был ваш отзыв о моем рассказике «Чудная», который как-то попал вам в руки. Я тогда как раз решил, что из моих попыток ничего не выйдет, и хотя писал по временам, повинуясь внутреннему побуждению, но сам не придавал своей работе значения и смотрел на нее, как на дилетантские шалости. В это время через третьи руки мне пишут, что Г. И. Успенский читал где-то в кружке мою «Чудную» и просит передать автору, чтобы он продолжал. Я по нескольку раз снимал с полки в своей юрте это письмо и перечитывал эти строки, и мое воображение оживлялось. Когда я надумал и писал «Сон Макара», то ваш хороший отзыв все мелькал у меня в уме.

Письмо *В. Г. Короленко* Г. И. Успенскому 16 сентября 1888 г. «Голос минувшего» 1915, № 10, стр. 21.

Что это вы не сделаете извлечения из *письма Карла Маркса,* напечатанного в «Юрид[ическом] вестн[ике]» в октябре? Это письмо к Михайловскому.[39] Маркс выра[жа]ет обиду, что Михайловский *позволил* себе заподозрить его в том, что он, Маркс, считает «железные законы развития капитализма» неизбежными для наций, не имеющих ничего похожего в истории экономических порядков с европейскими. Вот что он пишет про себя:

«Чтобы судить со знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. *Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать итти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя»* (271 стр., октябрь).

Ведь это смертный приговор! Положительно необходимо вам перепечатать это в сокращении. Вот тут-то и *было* наше *дело* — да сплыло. Теперь одни — *самохвалы,* из статистических данных извлекают одни прелести жизни народа, великое будущее (В. Пругавин, В. В.),[40] выбрасывая всю мерзость запустения, а другие — Марксы *Карлики* — выбрасывают из этих же данных все, что еще живо оригинальностью, конечно, случайно, и повелевают покориться всем «перипетиям». А таких слов, великих и простых, ко[торые] говорит Маркс и какие требуют огромного дела, мы не говорим, — и поэтому дела не делаем никакого. Как это письмо меня тронуло! Ведь это Маркс! Не Лев Толстой, не Вышнеградский, не Катков.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Чудово. 3 ноября (1888 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913. Добавления с подлинника.

Получил ваше письмо. Не имею никакой претензии на то, во 1-х, что «Грехи тяжкие» печ[атаются] в декабре, и, во 2-х, на то, что и «без каламбура» они все-таки — мои грехи и весьма тяжкие. Я их писал в неожиданном расстройстве и утомлении, не имея времени хорошенько обработать; вот почему атихрист-то[41] и не вышел, как должно, и почему все скучно и тяжеловесно. Расстройство у меня и происходило от того, что такие новые явления приходилось писать кое-как, а это всего меня изорвало. И кроме того я застал жену нездоровой, — она еще в мае огорчилась тем, что мальчик остался на второй год, не выдержав только одного экзамена, и вот это наше общее расстройство кончилось просто ужаснейшим положением, — и я едва жив, а Алекс[андра] Вас[ильевна] просто слегла, не может встать, ходить и находится в серьезной опасности. Заболел кроме того мальчик скарлатиной, и надо было отделить детей: девочки живут в одном семействе, а Саша в Чудове. Я мыкаюсь туда и сюда; должен еще писать в таком аду. Впрочем вчера я приехал ночью немного спокойней.

Алекс[андра] Вас[ильевна] могла есть хоть чуть-чуть и коечто говорила в здравом уме, а то у нее были минуты полного истощения сил. Вот какое положение мое. Сегодня я опять поеду ночью в Петербург и буду работать уже там...

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, Чудово 14 декабря 1888 г. «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 55—56.

... На этих рассказах [42] я закончу мои работы до осени и больше не буду браться за перо. Я утомлен. 25 лет эти никак не прошли для меня даром, и я так писать больше не могу...... Нельзя так без отдыха писать, тем более, что материалы в нынешнем году совершенно у меня разлетелись прахом. Виноват в этом я и мои личные обстоятельства. Но об этом нечего разговаривать... Пусть теперь пишут побольше молодые писатели. Их много, и у них большие дарования. Я не хочу срамиться такой лихорадочной работой, на которую вынужден теперь.

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву (декабрь 1888 г.). «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 56—58.

Посылаю вам начало рассказа, [43] который окончу числа 22—24. Он вполне беллетристический, и я думаю, что не очень слаб, даже право я сам рад, что так стал писать. Будет в нем листа полтора. Просмотрите начало. Будьте уверены, что я его кончу не хуже, и *не откажите* бога ради теперь же похлопотать, *чтобы Вук[ол] Мих[айлович] выслал мне 200 рублей по телеграфу*. Жене все хуже и хуже, а мне все трудней и трудней и не знаю, как быть. Теперь идут переговоры с Сибир[яковым] об изменении контракта и о том, чтобы часть моих денег можно было взять и при жизни. Надеюсь, что он смилуется и даст мне возможность лечить А[лександру] Вас[ильевну] хотя целый год, то есть уделит на это из моих же денег тысячи 3...

Болезнь жены продлится долго-долго. И сейчас уже надо опасаться пролежней, — так она неподвижна. Спасает меня брат и дает возможность иногда хорошо выспаться и просидеть ночь за работой, как сейчас, а то бы пропал я. Настоятельно прошу вас, Виктор Александрович, не откажите мне в этой просьбе. Я положительно без копейки, кроме нескольких рублей исключ[ительно] на лекарство. Не могу больше писать. Сделайте одолжение не отказать.

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, (декабрь 1888 г.). «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 58.

и прошу [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
дух. Что [illegible] [illegible] за доклад, что
книги могут и выдержать цензуру. И
не только я [illegible] в них напеча-
танные [illegible] цензурованных сокращениях, кото-
рые было [illegible], — то [illegible]
[illegible] оборвали и урезали.
Сколько все идет на худу!
Как Вы живете дорогой Николай Ми-
хайлович? Александр Сергеевич? Переехал
ли он в Москву? [illegible] он
Я думаю поправиться хоть бы
более не более

Что это Вы не [illegible] публикуете
ли Письма Карла Маркса, напе-
чатанные в Юрид. Вѣстн. в Октябрѣ

ГЛАВА XI

Последние годы перед помещением в психиатрическую лечебницу (1889—1891).

В конце восьмидесятых годов мне пришлось поселиться на Васильевском острове, неподалеку от Успенских, и мы опять начали видеться, — с каждым годом все чаще и чаще, все ближе и дружественнее.

Жилось им тогда, повидимому, не плохо. Дела понемногу наладились, и ни о каких «процессах» и «уголовщине»[1] не было больше и речи. Глеб Иванович, повидимому, оправился от пережитого потрясения и пользовался уже громкой известностью. Его чествовали юбилеями, ему подносили адреса. Всякий раз, когда я заходила к ним зимой (на 7-й линии, дом, где помещался частный ломбард), у Глеба Иваныча сидел кто-нибудь из сотрудников, издателей и редакторов. Михайловский, игравший роль третейского судьи и свидетеля в распре его с издателями, был с ним теперь неразлучен: я нередко встречала их вместе на улице. Помню также, как перед Глебом Ивановичем раскланивался Вукол Лавров, упрашивая его «дать им» свою статью... Но в разговорах Александры Васильевны иногда проскальзывала не совсем понятная мне тогда еще фраза:

— Я так рада, что у нас теперь в Сябринцах дом. Все-таки можно будет жить, когда Глеб Иваныч не в состоянии будет больше работать...

И эта фраза повторялась все чаще и чаще.

— Но ведь вы попрежнему счастливы и дружно живете с Глебом Иванычем? — спросила я однажды ее.

Она не сразу ответила.

— Мы теперь как-то ссоримся больше, — призналась она наконец. — Глеб Иванович как будто не хочет понять... Я говорю: нельзя же мне все одной да одной... А Глеб Иваныч меня упрекает: «Что же это вы, Александра Васильевна, хотите, чтобы я с вами под-ручку ходил?!.»

Совсем не того я хочу. Но ведь не одна же я заводила семью... Оба мы заводили ее. И у нас теперь пять человек детей. Надо же подумать о детях. И обо мне тоже надо немного подумать...

Ничего подобного прежде я от нее не слыхала. Это был взрыв какого-то еще непонятного мне отчаяния, это был не упрек и не обвинение, — это было только горькое и безотрадное напоминание себе и другим, что ведь и она — *живая,* и ей надо жизни и хоть немного внимания и участия... Она целыми годами сидела в глуши, одна, в деревне и в городе, в отсутствие Глеба Иваныча ходила в старых его фуфайках, платила долги, приготовляла к ученью детей и, оставаясь одна в глухую осень с больными скарлатиной детьми, посылала Глебу Иванычу успокоительные телеграммы: «Будь покоен. Все хорошо». — «Все здоровы». — «Прошу Глеба Ивановича не беспокоиться — все хорошо»... И здесь, мне думается, можно найти пояснение тех «ссор» и «неладов», о которых не раз упоминает в письмах к ней Глеб Иванович. Здесь же кроется и причина мучительных поисков «правды» в разрешении вопроса о *женщине и семье* — в статьях его и письмах к близким друзьям и знакомым. Семья начинала тяготить писателя, как эгоистическое начало, призывающее к узкому *своему*... [2] Его тянуло на простор общечеловеческой мысли и деятельности, в высь и глубь беспредельного идеала, где не было ни тягостных сделок с совестью, ни еще более тягостных непримиримых внутренних противоречий. Его горячее сердце не в силах было оторваться от дорогих ему, милых образов друга-жены и детей... Он бы желал *уверить, убедить* жену, что она *может* обойтись без него, что он ей вовсе не нужен, как не нужны мужья в статье его «женщины-крестьянки», [3] но, видя ее страдания, он только мучился сам вместе с нею и обвинял во всем самого себя...

Бывая у них в эти годы, я редко видела его или видела только мельком. «Глеб Иванович работает»... «Глеб уехал», — скажет, бывало, Александра Васильевна, когда спросишь о нем. «У Глеба Ивановича теперь Гольцев и Михайловский... Им не надо мешать...

Однажды вечером мы сидели с Александрой Васильевной в ее комнате, разговаривая о разных статьях в журналах, когда за плотно прикрытой дверью раздались мужские шаги.

— Это Глеб Иванович к нам идет, — заметила Александра Васильевна и, взяв из ящика пузырек с духами, торопливо вытерла себе руки.

— У Глеба Ивановича галлюцинация обоняния! — шопотом пояснила она: — ему кажется, что везде дурно пахнет...

Глеб Иванович вошел, мы поздоровались, я сказала ему:

— Что это, вы как будто похудели, Глеб Иванович?

— Да ведь всегда так бывает: то худеешь, то полнеешь, — с улыбкой ответил он и сейчас же куда-то опять ушел. В другой раз Александра Васильевна почему-то сама послала меня к нему.[4]

— Подите, поговорите с Глебом Ивановичем. Он один. Он скоро уедет надолго... (кажется, она сказала — «к переселенцам», — не помню хорошо).

Я вошла к нему в кабинет. Он читал газету, но, повидимому, более по привычке, так как в то же время внимательно занимался чисткой своих ногтей перочинным ножиком. И я невольно при этом заметила, что ногти у него на мизинцах необычайной длины, — не менее как в *вершок.* А говорил он со мной так рассеянно, что мне стало неловко, и я поспешила уйти...

... И оттого ли, что я отвыкла от них, и духовно мы разошлись, шли разными путями,[5] — меня как-то и не тянуло тогда к сближению. При всей дружественности наших отношений, чувствовалось взаимное непонимание и взаимная рознь. Сближало и заставляло дорожить этими отношениями только общее наше прошлое, все пережитое вместе, воспоминания прежних лет, обвеянных чарами молодости. Дети их, эта выраставшая новая семья, жужжавшая как веселый улей, была мне милее и ближе...

Но несмотря на эту рознь иноверия, или, вернее, именно потому, что сознавалась рознь и хотелось объединения по душе и по совести, я решила обратиться опять к Глебу Ивановичу за литературным советом по поводу моей новой работы. И вот что я получила в ответ на мое письмо (привожу отрывок):

15 февр. 89 г.

«Я сейчас только вернулся из Москвы и прочитал ваше письмо... Если вы думаете, что мое мнение о вашем новом романе (я очень этому рад) будет для вас что-нибудь значить — я с удовольствием его прочитаю. Как у нас в доме ни тяжело и мучительно,[6] *я даже и права не имею бросать или хоть отстать от литературного дела.* Часов до 11 утра и часов до 7 вечера я всегда дома».

На следующее утро я пошла к Глебу Ивановичу с моей рукописью. Он сам открыл мне дверь и, поздоровавшись с обычной теплотой, как добрый старый знакомый, повел

к себе в комнату, маленькую и темную, с окнами в слепую стену, или, как он тут же выразился тогда, «чорт знает куда». Усадив меня рядом с собою у письменного стола, он заговорил как будто попрежнему, как будто мы виделись только вчера и никакой «розни» не было никогда... Но что-то в нем было уже для меня туманное. Как выцветшая фотография сохраняет бледные очертания снимка, но лишена уже былых следов минутно-схваченной жизни, так и во всей наружности его было теперь что-то обесцвеченное, говорившее о невозвратно канувшем в вечность... Трудно сказать, что это было, — и было ли это в нем, или во мне самой, — но я сейчас же почувствовала, что *не туда* пришла, куда думала, и знала уже наперед, что никакого «объединения» между нами не будет.

Я знала, что он мысленно всю жизнь писал *про себя*, и потому, когда с ним заговаривали нежданно для него, имел вид человека, которого будят. И ответы его часто походили на ответы в полусне — замедленные, отрывочные, неясные. Чем дальше был вопрос от того, о чем он думал, тем несвязнее и туманнее был ответ. Иногда он отделывался односложными звуками... Все это я знала давно и все это составляло его оригинальную психологию. Но теперь рассеянность его производила совсем не то впечатление.

У меня записан *последний* (в буквальном смысле) разговор мой с Глебом Ивановичем, и я передаю его здесь почти без изменений, как он записан у меня под свежим впечатлением.

Разговор велся полушопотом, чтобы не потревожить только-что начинавшую оправляться больную. Он сидел тут — в полутьме — совершенно один (дети были увезены к знакомым), окруженный ворохами газет, от одного вида которых у него «душу воротит», и как-то пассивно, без былого одушевления соглашался со всем, что я ему говорила.

— Смысл жизни потерян, — сказала я в пояснение моих жизненных выводов.

— Никакого нет смысла! — повторил он за мной. — Какой тут может быть смысл, когда ежеминутно приходится ожидать — вот-вот, сию минуту, ни с того, ни с сего, придут и начнут шарить в столе... А это жизнь теперь каждого русского литератора...

— Но, Глеб Иванович, недавно праздновался ваш юбилей. Значит, вас ценят и понимают...

— И теперь в Москве, когда все перепьются, — сейчас мне адрес пришлют! — с добродушной улыбкой вставил он.

Я спрашивала его о журналах, интересующихся *идеями* общечеловеческого значения, а он уверял, что таких журналов не существует совсем!

— Неужели везде только коммерция? Купцы и лавки?

— Везде то же самое, уверяю вас!

— Но ведь это ужасно, Г. И.! Ведь тогда зачем же и писать!

— Вот именно и я про то же вам говорю! Невозможно писать! — Но вслед затем сейчас же начал советовать мне писать очерки о пошехонских девицах и дамах и приводил при этом в пример одну свою знакомую писательницу, которая «отлично написала (он загибал пальцы, считая): 1) мои три маленькие воришки; 2) мои две нищенки; 3) мои шалуны... и еще что-то в этом же роде...»

Я заговорила о статьях одного писателя-публициста и заметила, что «либералам» тоже верить нельзя:

— И у них только одни пустые слова... ратуют и защищают они...

— На пустопорожнем месте, — подхватил он, точно обрадовался. — Какие же у нас теперь либералы, помилуйте. Вот Герцен, Тургенев — вот это были либералы... Ну, да вот подождите немного: скоро в Европе кое-что случится — тогда и наш гипнотизм пропадет.

И вместо заключения он дал мне на прощанье прочитать фельетон московского критика о чеховской пьесе «Иванов».[7]

— Вот, возьмите, прочитайте, пожалуйста... Посмотрите, какую тут чепуху напорол...

Но, прочитав потом, я не могла не согласиться с автором «чепухи»: мои впечатления были те же самые.

С тяжелым чувством ушла я тогда от Глеба Ивановича...

В. В. Тимофеева.

Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

В 1866 году в мае месяце вы были так добры, что дали мне в долг 25 рублей. Дело было так. Я приехал в Петербург как раз в то время, когда «Современник» был закрыт и майская книжка не выпущена. В редакции «Современника» были мои работы — продолжение «Очерков Растеряевой улицы», почему я и зашел узнать о ней в ред[акции] «Современника» (на Литейной). Там были вы и посоветовали мне отнести очерки в «С.-Петербургские ведомости» к Суворину; Суворин их не принял, и я пришел к вам на квартиру сказать об этом. Тогда-то вы и дали мне 25 рублей, так как я очень нуждался.

Идет 23 год с тех пор, как я состою вам должен эти 25 рублей. Почему я не возвратил их на протяжении такого огромного пространства времени? «Не мог!». Вот что единственно могу сказать вам по чистой совести. Сколько бы я ни зарабатывал, никогда я не имел возможности не увеличивать долгов, не только платить их, и только сначала издания Павленкова (в 8 т[омов]) и затем покупка Сибиряковым всех моих писаний до 86 года дали мне понемногу возможность выбраться из непрестанных, в течение многих лет, долгов.

Не было дня, в который бы я забыл эти 25 рублей, и только явилась малейшая возможность возвратить их, я не откладываю это ни на одну минуту.

Будьте уверены, глубокоуважаемый Александр Николаевич, что все это так, и не откажите взять эти 25 рублей. Я бы сам принес вам их, если бы тяжелая болезнь моей жены не держала меня дома. Примите от меня также и мои книги, которым, будьте уверены, я знаю настоящую цену и никогда не терял здорового на них взгляда от чьих бы то ни было незаслуженных похвал. Они расходятся среди людей среднего образования и круга, и если не затуманят они у таких людей «мозгов», — так и этого для меня будет совершенно достаточно.

Верьте, глубокоуважаемый Александр Николаевич, моему искреннему всегдашнему к вам уважению за всю вашу неустанную, благородную, поучительную литературную деятельность. Искренне преданный Глеб Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* А. Н. Пыпину 8 февраля 1889 г. «Северные зори» 1909, № 1.

В конце 1887 года, вновь прибыв в Петербург, я встретился и возобновил знакомство с Г. И. Он попрекнул меня за то, что я столько лет ничего не давал знать ему из «столь отдаленных мест» — севера России. Я отговаривался тем, что не знал его адреса, потому и не писал к нему, добавляя, что и нечего было писать, так как у меня жизнь была однообразная и невеселая.

— Да адрес — пустяки. Послали бы письмо в «Рус[ские] В[едомости]», оттуда мне всегда пересылают письма туда, где я нахожусь. А жизнь в новых местах, где вы были, должна быть интересной...

С этого времени, к концу 1887 года и до весны 1889 года, я, как и в прежние времена часто навещал Г. И., обитавшего на Васильевском острове. Он изменился против Успен-

ского 70-х годов: стал еще болезненно-нервнее, чаще волновался, да и самое лицо стало старообразнее, а на лбу прибавилось морщин. В материальном отношении в 1889 году он стал несколько обеспеченнее: Павленков издал его «Сочинения», быстро разошедшиеся и потребовавшие нового издания. По этому случаю Г. И. с гордостью говорил мне, что, пройдя долгие годы бедствий и никогда не состоя на службе, а отдав всего себя литературе, добился того, что обеспечил свою семью. «А ведь всех надо обуть, одеть — сапожки, платьица, шапочки и миллион других мелочей!» — заметил он. С 1889 года я не видался уже с ним, так как в этом году судьба снова выбросила меня из Петербурга...

Д. П. Сильчевский, «Из воспоминаний о Г. И. Успенском». «Биржевые ведомости» 1902, № 84 от 26 марта.

...Я получил из Москвы превосходное письмо от неизвестного лица о Салтыкове и его смерти, подписанное «Гимназист», но писал его не гимназист, а какой-то преумнейший человек, повидимому, пожилой. Почему он прислал свое письмо мне? Он прямо говорит, — кому послать? Успенскому! Видите, как надо быть строгим к себе, постоянно чуять «публику». Смерть М[ихаила] Е[графовича] напомнила мне о «настоящем» писателе и возбудила желание опомниться, не интересоваться мелкими литературными дрязгами и временной литературной суетой сует. Може. быть, я и опомнюсь.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому (3 мая 1889 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1918, стр. 249.

... Оказывается, мне нет возможности никуда ехать. Писать я положительно не в состоянии. Ведь нынешний год истиранил меня необыкновенно, истиранил на много лет. Уехать надобно, чтобы не вспоминать того, что было с женой, не видеть ее со всеми следами ее болезни и нашего давнишнего несчастья. Да надо и работать. Сидеть в этом смертельно надоевшем Чудове или в литературн[ом] петерб[ургском] кружке, занимающ[емся] сплетнями, положительно мне не в моготу. Мне надо вновь внимательно видеть жизнь, от которой меня понемногу отбивали семейные горести и от которой окончательно отбила 6-тимесячн[ая] болезнь жены. Я пропаду без свежего воздуха и без возможности одуматься, сообразиться — что делать? О чем писать?

Посмотрите, как стали набрасываться на меня всякие газетные собаки, увидав, что я ослаб, что пишу невоодушевленный каким-нибудь искренним побуждением. Чем я исцелюсь от этого расслабления как поездкой, но такой, чтобы *не работать* в это время, не сидеть за столом. Не можете ли вы выручить меня из великой беды? Ведь у меня есть мои деньги, и пока не мало, но вот я не могу иметь возможности истратить на себя собств[енно] рублей 300, чтобы восстановить свою потребность быть внимательным к жизни, а не подыхать от беспрерывного внимания к несчастьям моей личной жизни. А я обречен подыхать... Я христом богом прошу вас, если можно, не дать мне пропасть. 300 рублей ведь обеспечены не поддающей сомнению уплатой. Михайловский на-днях будет в Москве, Кривенко уехал в Сибирь, Ярошенко в Париже, я только обречен иссыхать в обстановке, которая только меня пугает, и сам должен на всех производить тяжелое впечатление. Ведь есть же у меня деньги, — зачем же мне подыхать? А я пропаду, дорогой Василий Михайлович, пропадаю, пропаду!

Если бы можно было числа до 10-го (и то ужасно долго) получить 300 рублей, я бы немедленно уехал в Череповец, где меня ждут, чтобы рассказать историю закрытия земства... Оттуда я имею много приглашений, и наверное съездил бы туда не без пользы для себя и для работы. Путь туда новый: по каналам мимо Белоозера, по Шексне, по Волге до Рыбинска или Ярославля. Тут все ново для меня, и я бы очнулся, почувствовал бы интерес к жизни, чего теперь во мне нет, исключительно под непрестанным гнетом личных несчастий всей зимы и весны (я это предчувствовал давным-давно), а ребята смотрят на меня скучного и сами скучают.

Если бы это можно было сделать, надо бы послать деньги по петербургскому адресу, а меня в Чудово известят по телеграфу только о том, что послано... ...Но если этого сделать нельзя, то я положительно не знаю, что мне делать и как быть. Слишком долго я жил уединенной жизнью, покоряясь необходимости не раздражать Алекс[андру] Вас[ильевну] моими личными знаком[ыми], которые ей были не нужны. Слишком долго я кис в литературных петербургских кружках. Н[иколая] К[онстантиновича] спасала его воля. Я не могу не чувствовать омерзения и желал бы исцелиться хоть от его части. Два месяца не поездки, а более или менее близких отношений с людьми всякого звания (как было бы в Череповце), как голодного волка, насытили бы меня живыми впечатлениями. И если это будет невоз-

можно, — пропаду я, дорогой Василий Михайлович, пропаду. Но вас в этом не обвиню: нельзя — нельзя. Я ценю вас как дорогого мне человека и так, и без денег каких-то. Нельзя — так нельзя. Буду сидеть теперь в Чудове.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Чудово (1889 г. начало мая).[8] С подлинника.

Друг мой любезный! Нельзя мне приехать раньше завт[рашнего] дня почтовым. Накопилось пропасть дел, котор[ые] необходимо окончить, а главное Ярошенко только завтра, в пятницу, может снять с меня портрет, о котором давным-давно просил Павленков...

...Хоть бы с осени наша жизнь пришла в порядок и было бы возможно жить спокойно. Я и сам уж начинаю бояться расстройства, и оно непременно будет, если жизнь наша будет итти в слезах да в ссорах. Неужели эта мука никогда не кончится? Ведь и мне надо поправиться и поздороветь. Посоветуйся с Ел[изаветой] Марковной [Вольфсон], и я решительно все исполню, что она скажет. Если надо поехать из Сябр[инц], — все можно сделать сейчас. Мне надо быть летом в Череповце — он стоит на Шексне, а по Шексне идут с Волги от Рыб[инска] пароходы. Может быть, три месяца на новом месте и среди других людей и отвлекут обоих от безысходных мучений. И не писал бы этого, но не могу, — не знаю как сделать тебе лучше, у самого у меня путаница какая-то в голове. Я думаю, что оставить Сябринцы необходимо. Мы поговорим об этом. Поправляйся пожалуйста!

Из письма *Г. И. Успенского* жене (1889 г. май) (С рукописи Государственного литературного музея в Москве, папка 1256.)

Сегодня ночью я получил вашу телеграмму и уже не мог заснуть. Может быть, я очнусь во время поездки и *начну понимать мое будущее положение?* Я положительно в отчаянии от пережитого в прошлом году: *я просто потерял самого себя.* Всего не расскажешь...

...Вовек не забуду вашей телеграммы. Нищ я духом до невозможности. Всем сердцем ваш.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Чудово, понедельник (1889 г. Начало мая).[9] С подлинника.

Дорогой Михаил Ильич! Сегодня ночью я приехал в Тверь, и надеялся, что у меня будет время повидаться с вами, что я давно-давно непременно желаю, но оказалось, что пароход отходит в 9 часов утра, т[о] е[сть] в такое время, когда весь белый свет спит. Остаться до следующего дня я не решился, не зная, в Твери ли вы? Но мне крепко желательно видеть вас. Во-первых, за последние годы я совсем пропал во всех отношениях, объюродил, отстал от человеческого общества и вообще глубоко ослабел и умом и душой. С осени, с октября прошлого года нагрянула на нас новая беда — болезнь А[лександры] В[асильевны], болезнь ужасная и тем более удручающая, что я ее предчувствовал давным-давно. С октября до марта, когда она начала ходить по комнате (конечно, поддерживаемая) и когда у нее начала двигаться рука (левая рука была парализована), ни дня, ни ночи не было таких, чтобы не пожелать себе смерти. Убит я этой болезнью до невозможности. Что я в это время писал — не помню, но необходима была тьма денег. Теперь А[лександра] В[асильевна] поправляется, живет, как жила, но все это уж не то, и, чтоб она как следует поправилась, надобно, чтобы и я не производил на нее удручающего впечатления. А я так измучен и так отстал от людей, так забит этими домашними несчастиями, что и при усилии не нахожу возможности не ощущать постоянно глубочайшей тоски. Надобно мне хоть немного побыть «с людьми», — и вот о чем я прошу вас, милый Михаил Ильич: у вас в Твери, несомненно, много таких знакомых чинов и «членов», которые обязаны разъезжать по губернии: судебные следователи, статистики, податные инспектора, чиновники крестьянского банка. Не согласится ли кто-нибудь взять меня в какую хоть на 3—4 дня нибудь поездку? Писать я ничего не буду, но, во-первых, буду с людьми, — это мне и нужно, — а во-вторых, у меня лично нет причин и оснований забраться в деревню. Кого я там увижу и как отвечу, зачем приехал? Теперь я еду в Череповец с археологическою целью «раскопки» того кургана, под которым схоронен труп череповецкого земства с боевыми доспехами.[10] Туда меня зовут, расскажут и дадут документы по этому делу, но я долго там быть не могу, потому что поймут цель моего приезда. И, таким образом, к числу 1-му или даже двумя-тремя днями раньше я буду оттуда уже в Рыбинске. В моем распоряжении еще весь июль — и вот этот-то месяц я бы желал *пошляться* с кем-нибудь и при ком-нибудь. Я положительно утратил всякие живые побуждения и едва держусь на ногах. Вот и прошу вас, если только воз-

можно, поехать с кем-нибудь, по каким-нибудь делам, поехать в какие-нибудь места Тверской губ. (решительно все равно, хотя с судебным следователем, я бы поехал с особенным удовольствием). Известите меня коротенькой записочкой *в Рыбинск до востребования,* так, чтобы, приехав из Череповца, я знал свою участь. Ни малейшего от меня беспокойства тому, кто будет не прочь взять меня в свою телегу, не будет; я охотно приму обязанности писаря. Пишу вам так скучно потому, что — пропадаю, пропадаю, дорогой М[ихаил] И[льич]! Пропадаю я! А мне нельзя этого. Ни с кем такого горя не бывало, как со мной. Я все вам расскажу. Я не писал вам и не видался с вами долго, потому что все последние 5—6 лет Ал[ександра] Вас[ильевна] с каждым днем все более и более угнетает меня медленно приближающимся душевным расстройством. Никого я не видел и потерял всякую связь с общей жизнью. Теперь мне надобно хоть немного восстановить ее, но без той посторонней помощи, о которой я прошу, я везде, куда бы ни поехал, буду один — на пароходе, в гостинице. Я и так уже совсем измучился такими поездками. Простите, дорогой Михаил Ильич! Все-таки буду ждать вашего письма *в Рыбинске,* и во всяком случае в Твери буду на обратном пути. Крепко любящий вас Г. Успенский.

Письмо *Успенского* М. И. Петрункевичу, 1889 г. (летом). «Голос минувшего», 1915, № 10, стр. 233—235.

Мне было бы слишком жутко видеть Глеба Ивановича в разгар его недуга, во время его сидения в лечебнице.

Не скажу, чтобы я подметил еще до начала его расстройства что-нибудь слишком уже подозрительное. Но два свидания, — кажется, они были и последними, — сохранившиеся в моей памяти, могли бы навести на мысль, что в нем что-то такое происходит.

Первое было в Петербурге, в его квартире, в низких комнатах, куда надо было еще спускаться. У Глеба Ивановича я нашел гостей и на столе закуску... Может, тут сидели и его домашние. Сам он показался мне особенно возбужденным, с блеском в глазах и с разговором все на одну и ту же тему — о полном распаде крестьянской души с тех пор как пошатнулась власть земли, и «купон» пришел в деревню.

Вторая (и, наверно, уже последняя) встреча произошла совершенно случайно на пароходе на Волге, когда я ездил за бытовым материалом для первой части моего романа «Василий Теркин». [11]

Этой встречей я воспользовался как романист. У меня, на пароходе, есть писатель с большой известностью, в котором не трудно было бы узнать лицо, похожее на Глеба Ивановича.

Он только-что побывал в степных краях, где богатые мужики превратились давно в бездушных скопидомов и кулаков.

Глеб Иванович заговорил обо всем этом нервно, страстно, образно, со множеством ярких подробностей. Но я почувствовал тогда впервые, что его мозг начинает действовать под влиянием *аффекта*, то есть его усиленных нравственных протестов. О чем бы он ни заговорил, речь его была уже в одной и той же тональности, заставляя его бередить в душе все те же тяжелые чувства, напоминала ему — как происходит и на облюбованной им «земле», с ее крестьянским населением, *распад* всего того, что могло бы возродить всю страну, как он когда-то верил!..

Лицо его, еще молодое и в общем приятное, по выражению получило вдруг оттенок горечи, усиливались морщинки между бровями и приподнимание одной из них, и жалостно очерченная улыбка блуждала на губах. Все это выдавало если не душевнобольного, то уже несомненно неврастеника.

В нем трепетала чистая, «болезная» (как говорят наши крестьяне), высоко-одаренная, но неуравновешенная душа...

П. Боборыкин, «Милая тень (Из воспоминаний о Г. И. Успенском)», «Русское слово» 1908, № 129, от 5 июня.

Сию минуту приехал в Нижний и думал возвратиться домой, но заела меня тоска, и я еще хочу побыть на воле. Поеду в Череповец и каналами в Питер...

...Если Варв[ара] Алек[сеевна] Морозова *вообще* согласна не дать мне пропасть, то сто ли или двести рублей, это — безразлично, и во всяком случае долг этот вполне обеспечен, и мне он нужен для передышки, и для того, чтобы опомниться. Вар[вара] Ал[ексеевна], я уверен, не даст мне пропасть и не захочет смерти грешника. 200 рублей, Вас[илий] Мих[айлович], надобно мне получить непременно *к 1 августа в Чудове*. Ради бога похлопочите!..

... Если только на душе будет спокойная минута, я напишу... не о делах, а о разных приключениях, конечно не любовных.

Например.

Капитан на пароходе (между Тверью и Рыб[инском]) стоит на верхушке, рассматривает что-то впереди и сурово (он толстый, грубоватый) говорит матросу отрывисто:

— Михайло! Принеси бараньи м...!

Михайло соскользнул вниз и выскочил оттуда с большим *биноклем.*

Вот, как бинокль-то называется на Волге.

... Шутки-шутки, но ради самого господа не покиньте меня в эти несчастные времена. Мои просьбы никому не вредны.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Нижний 9 июня (1889 г.).[12] Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 250—251.

Поездка была бы превосходна, если бы у меня были деньги и время, но надо возвращаться домой...

... Простите, что, кроме деловых просьб, нет в письме живого слова. Пропадаю я, дорогой мой! Никакие поездки меня не спасут. Конечно мое дело. Плакал бы, если бы мог, да не могу...

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову Нижний 9 июня 1889. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 г.г.», стр. 251.

... Не шутя говорю, дорогой Алекс[андр] Сергеевич, — гибель мне предстоит неминучая. Знаю я, что говорю и пишу.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову, 4 сентября 1889 г. (С рукописи Государственного литературного музея в Москве, папка 12[illegible]/8).

Дорогой мой Александр Сергеевич! Теперь я вас уже не выпущу добром, найду на дне синего моря!

Не смущайтесь размерами прилагаемой при сем охапки бумаг, именуемой фельетоном. Здесь больше клею, чем здоровых идей и вообще.

Так осенью (когда приходится подыхать) бурливее река,
Но *холодней* бушующие волны. [13]

Уж как холодно мне, дорогой Александр Сергеевич, вы и представить не можете! Распродан я построчно и полистно, получив за все мое нутро полный расчет, и теперь обращаюсь в вешалку для собственного своего платья. С каждым днем слабею головой, уничтожаюсь в размерах мысли, деревенею. Словом, теперь я прошу только снисхождения, —

ничего путного я уже не напишу, нет источника, а если [бы] я как-нибудь и начал оживать, то жена опять свалилась бы с ног, потому что увидела бы, что *я опять не весь* ее. В прошлом году после поездки в Сибирь я точно чуточку ожил, но это ее окончательно свалило с ног, она всю жизнь не спускает с меня глаз и сваливается с ног, раз только почует, что во мне есть что-то, что не принадлежит ей и чего она не может понять. Нет, мне никакого выхода уже нет. Она, напротив, начинает поправляться, когда я сам сваливаюсь: тут ей есть полная возможность для бесконечного количества забот обо мне, конечно пустяшных, но наполняющих, однако, целые дни ее без малейших промежутков. Искренно все это до невозможности, но для меня это просто тюрьма, и беда в том, что, кажется, я теряю способность не покоряться этой тюрьме, — это значит, что во мне угасает способность и потребность интереса к людям вообще.

Дорогой Алекс[андр] Серг[еевич]! Если напечатаете это последнее письмо, скажите в конторе, *чтобы выслали корректуру на несколько часов*. Пожалуйста. Возвратите мне последний очерк *Концов*[14] (На всей своей воле) — он скверный, и его нельзя печатать. А это последнее письмо хорошо бы скорей пропечатать. Вслед за ним постараюсь одолеть рассказик. Уж не взыщите, но все лучше «Концов». Крепко вас люблю и обнимаю. Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* А. С. Посникову 11 сентября 1889 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.». (С дополнениями[15] по подлиннику Государственного литературного музея в Москве, папка 1269.)

С Гл. Ив. Успенским я познакомился осенью 1889 года на одном из журфиксов у Михайловского. . .[16]

Гл. Успенский, познакомившись со мной, вспомнил Кавказ, восторгался его населением, затем перешел от общих тем к нашим общим знакомым, и беседа наша закончилась тем, что он взял с меня слово побывать у него.

Беседа наша возобновилась в тот же вечер, за ужином, и я в пылу откровенности сознался ему, что, несмотря на все его сетования на Петербург и вообще города, я с особенным удовольствием остаюсь в столице и никогда б ее не променял на деревню. Петербург — интеллигенция, можно здесь жить и набираться сил для работы, заключил я, а в деревне очень легко пропасть, не сделав никому добра.

Эти слова припомнил мне Гл. Успенский, когда я побывал у него на Васильевском острове.

— Деревня, — заметил он, — спасет нас. Я ее люблю, потому что на ней зиждется в России все государство. Крестьянин пока не проснется, наша жизнь, жизнь интеллигента не изменится. А крестьянин проснется, потому что его экономическое положение дошло до крайнего состояния. Ему уже нечем пропитать себя; утешаться ему, что авось бог даст — уж нельзя. Он перестал верить в высокопарные слова, он стал скептиком и его уже не надуешь, не проведешь. Пробуждение крестьянина даст нам такую же новую жизнь, какую дала нам крымская кампания.

Немного помолчав, Успенский продолжал:

— Правительство прекрасно поняло силу народа и очень ухаживает за казаками. Когда я был в Донской обл[асти], то я обратил внимание на подарки начальства: многие казаки имеют серебряный прибор. Их всячески задаривают. Это начальству пригодится.

На эту тему Успенский говорил еще долго. Повидимому, это его очень занимало. Видно было, что ему сильно желалось верить в силу народа, но видно было и то, что червь сомнения вместе с тем грызет его.

Переходя же к интеллигенции, он вспоминал очень неутешительные факты.

— Литература, — говорил он, — исчезла в столицах и перенеслась в провинцию. Петербург заменила Москва. Но она не может похвалиться своими изданиями.

Гл. Успенский рассказал при этом о нескольких случаях, сильно компрометирующих московские издательские нравы. Одного издателя прогрессивного журнала он прямо назвал шулером.

Успенский был экзальтирован, говорил очень много, сыпал остроумными анекдотами на разные злобы дня и меткими характеристиками разных общественных деятелей. Но, несмотря на оживленную речь, на необыкновенную любезность, он все же производил впечатление человека с болезненно-напряженными нервами. Я вышел от него совершенно расстроенным, и мне приходила в голову зловещая мысль: «Нет, столько волнений, столько горечи не выдержать хрупкому человеческому организму...»

Г. М. Туманов, «Характеристики и воспоминания», книга III, Тифлис 1908, «Гл. Ив. Успенский», стр. 160—164.

Виктор Александрович! Ужасная смерть Н[иколая] В[асильевича] Усп[енского] омрачила меня и омрачает ужаснейшим образом, и вот почему рукопись, оконченная

дней 5 тому назад, залежалась до сего времени, т[о] е[сть] до получения вашего письма, которое мне о ней напомнило.

О духовенстве положительно необходимо писать в настоящее время: во имя совершенно неопределенных затей Св. синода разрушают самые прекрасные зем[ские] учреждения, напр[имер] учительские семинарии, где в настоящее время приготовляются в народные учителя почти исключительно молодые люди из крестьянского сословия, т[о] е[сть] появляется учитель, имеющий неразрывные связи с его народом, так как семья его в деревне, отец пашет, а сестры замужем за крестьянином. Прекрасные личности — такого рода воистину народные учителя, сколько я их ни видел. Но едва только дожили до такого прекраснейшего результата земского дела, как начинают закрываться эти семинарии, так как широта программы не соответствует узости и бессмысленности учитель[ских] кур[сов] духовного вед[омства], и, след[овательно], причетчикам там делать нечего, а воспитанникам уч[ительских] семин[арий] нечего делать в глупых церковных школах...

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву 26 октября 1889 г. «Архив В. А. Гольцева», М. 1913, стр. 73—74.

Презосходнейший ангел мой, Александр Сергеевич! Вчера пришел Максимов, говорит: «Сердит на вас А[лександр] С[ергеевич]. Он вам писал, а вы ничего не пишете». — «Нет! — ответил я безумному Максимову, — не сердит на меня А[лександр] С[ергеевич]. Он должен чувствовать, что я и затих-то от его сердечного письма, именно затих, т[о] е[сть] вот уже с месяц, как я чувствую себя тихо. Хоть мне и невозможно даже думать, чтобы впереди для меня было лучше, но утих, не мучаюсь жизнью и, пожалуй, даже мало думаю о ней, но во всяком случае не мучаюсь... Пишу трудно, язык у меня стал такой, каким пишут в Святейшем синоде, но и это ничего. Это-то, может быть, пройдет. Только ужаса никакого не чувствую, стараюсь не чувствовать и иной раз тихим манером пролежу часиков пять...

... На-днях я, может быть, вас увижу, — думаю на два дня приехать в Москву. Смерть Н[иколая] Усп[енского] омрачила меня ужасным образом. Я-то ведь знаю сущность поведения, которое привело его к такой погибели. Но нельзя, да и не надо говорить о растлении его души с детских лет в... среде, где он родился и жил, и которую — увы! — *любил все время,* любил ее безбожество и все то,

что известно под наименованием «жеребячья порода»; издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий... толпы, но все-таки любил быть здесь *из удовольствия* издеваться над ней, любоваться распутством. Священник села, где нет барского дома волостного писаря и кабака, может спиться и стать на ряду с мужиком простым пахарем, но не растлит своей души развратом героев пошехонской старины, проживающих в барском доме, окруженных дворней. Дворня — именно то культурное общество для деревенской аристократии, кулаков, лавочников, кабатчиков и кутейников, с которым причт был в дружеских связях. Я не могу изобразить именно безбожия, которое здесь царило в юные годы Ник[олая] Вас[ильевича] и где у него развилось удовольствие издеваться над человеком, — желать довести, если можно, всякого знакомого, особенно женщину, до пробуждения в них распутных побуждений и вообще *удовольствия* ощущать в людях дураков, и подлецов, и мошенников. Ведь вот — Тургенев, Толстой, Григорович, Некрасов, Помяловский, Лев[итов] — словом, все, о ком написаны его литературные воспоминания, — все — плуты, дураки, мошенники, пьяницы. Человек прожил 52 года и помнит, считает нужным помнить почему-то одни только гадости, и всегда сочиняет их, врет! И что важно — в этом оплевании нет злобы, но какое-то неисцелимое, в крови таящееся, желание оправдать свою растленную мысль и поистине преступные, растленные желания, — подлостями или, по его, б...вством и плутовством всего общества, даже Тургенева, Некрасова и т. д. Если мерзко то, что он написал и наклеветал на писателей, то говорил он на словах во много раз хуже, и когда живописал с своей точки зрения, т[о] е[сть] своей растленной мыслью, чужие свинства и скотства (иного он не понимал), то чем подлее играла его мысль и чем гнуснее созидались его позорящие людей якобы доказательства подлости, тем ему становилось легче на душе, — лицо его оживлялось с каждой подлостью, по мере возрастания ее омерзения. Тут он был молодцом, юмор блистал у него, он хохотал на всю комнату и чувствовал себя вполне ободренным для собственного распутства.

Я знаю, что вы, да и никто не может приблизительно понять этого растления и среды, в которой единственно оно было существенным свойством взаимных отношений, сущностью жизни. И я знаю, что то, что я написал, не говорит о растлении, как бы следовало, — но ведь этой черты никто бы не мог должным образом изобразить, даже Мих[аил] Евг[рафович] не постиг бы. Я ж руководствуюсь только

ужасом. Кстати сказать, с Ник[олаем] Усп[енским] я виделся в течение всей его жизни много днями, а скорее часами, да в промежутке двух-трех лет, и то с пятого слова чувствовал уже страх перед растленными мыслями, которые вот-вот пойдут из него, и он выразит их самым ласковым, любовным тоном, с очевидным ощущением удовольствия и понемногу, как гипнотизер, отуманит всякого, которого ему любо будет видеть в подлом виде. Вот какая это ужаснейшая личность!..

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову 26 октября 1889 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 253—255.

Опять на меня обрушилась нежданная беда! Алек[сандра] Вас[ильевна], еще не оправившись от прошлогодней болезни,[17] в воскресенье вечером, возвращаясь с маленькой дочерью и одной барышней от знакомых, были все трое выброшены на мостовую из опрокинутых дрожек. Опрокинули их какие-то пьяные саврасы, мчавшиеся с пьяным кучером и зацепившие колесом за колесо дрожек, на которых ехали наши. Девочка и барышня остались невредимы, а А[лександра] В[асильевна] расшиблась до потери сознания. Случайно очутившийся в толпе сын С[ергея] П[етровича] Боткина, окончивший кур[с] мед[ицинский] студент, которого мы не знали, горячо взялся за дело, собрал шесть человек народу, перенес А[лександру] В[асильевну] в квартиру и положительно спас ее, оставался до 4 часов ночи, пока не приехал специалист-хирург. Да! хирург понадобился, — на задней стороне головы оказалась рана, просеченная до кости. Утверждают, что опасности нет, но что месяц она должна пролежать недвижимо: малейший подъем головы сопровождается головокружением и рвотой. Она в полном сознании теперь, но что это такое за сознание после прошлогоднего потрясения... Дело необычайное и пришибло меня окончательно.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову 7 ноября 1889 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 255.

Опять у меня неожиданная беда. А[лександра] В[асильевна] возвращаясь вечером 5 н[оября] домой от одних знакомых (она ехала с девочкой и одной барышней), была опрокинута на мостовую, на Никол[аевском] мосту. Мчались какие-то пьяницы, рванули колесом около дрожек и опрокинули их. Дев[очка] и бар[ышня] остались невредимы, а А[лександра] В[асильевна] разбилась, до дому ее донесли

на руках, и вот теперь она опять лежит с обритой головой, так как именно головой-то и ударилась и поранила в нескольких местах затылок. Потребовалась помощь не просто врача, а хирурга. Обещают, что опасности не будет, но все это положительно пришибет всех нас, и вот уж целый год с А[лександрой] В[асильевной] совершаются какие-то ужаснейшие несчастия. Расходы на лечение опять потребовались постоянные, ежедневные и не малые.

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву 10 ноября 1889 г.». «Архив В. А. Гольцева» 1913, стр. 77—78.

...Дорогой мой. Шутки-шутки, а мое нервное расстройство разрешилось-таки ужаснейшим недугом: *галлюцинации обоняния,* то есть я ощущаю удушающий запах в комнате, которого в действительности нет... По приезде из Москвы я уже чувствовал запах по временам, но когда со мной случился грипп, запах стал чаще; теперь, последние 5—6 дней положительно ни дня, ни ночи покоя. Ни писать, ни читать ничего не могу. Лечит психиатр Чечот и прописал лекарство, не надеясь на скорое выздоровление мое. В понедельник, в 1 час я поеду к нему — начнется лечение электричеством...

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову (конец 1889 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг,», стр. 256.

Дорогой Виктор Александрович! Я неожиданно жестоко захворал лихорадкой; целую неделю я буквально не мог встать с постели и пишу эту статью скрепя сердце и еле-еле держу в руках перо. Вот почему я запоздал. Влад[имир] Галактионович [Короленко] скажет вам, как я расстроен и как мне легко писать. Пожалуйста не допустите, чтобы В[укол] Мих[айлович Лавров] опять на меня рассердился. Я впредь ни в коем случае не буду назначать сроков. Это заставляет меня портить мои планы, и вот теперь вместо хорошей статьи в 3 листа я даю очерк. В прошлом времени неприятность с Лав[ровым] вышла из-за срока, а я не машина и никогда не возьму на себя такой ненужной ответственности. Журналу и его успеху не нужны сроки, а нужны только хорошие работы. Последнее я предпочитаю. Пожалуйста же позащитите меня. Искренно вас уважающий Г. Успенский.

Письмо *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву (Конец 1889 г.) «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 80.

Главное, дорогой мой, — мне нельзя работать, т[о] е[сть] если я задумаю что-нибудь написать и пропишу часа два, то положительно расслабеваю до невозможности, и надвигаются болезненные ощущения вновь. Все, — начиная с Манасеина и Чечота, — говорят, что мне необходим полнейший отдых хоть на месяц.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову, (конец 1889 г.). Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 257.

За последние дни, Елизавета Марковна, произошли некоторые перемены: спина вообще значительно меньше раздражена и грудь стеснена меньше, но неожиданно сильное раздражение ощутилось у самого плеча в верхней части груди и на незначительном пространстве. Если бы не было смешно, я бы сказал, — просто «подмышкой» и с обеих сторон. Очевидно, бродит эта нечисть, как баба пьяная, шатается из одного места в другое. Пилюли принимаю аккуратно, — утром в 7 ч[асов], потом в 1 ч[ас] и в 6 ч[асов] вечера. Микстуру — только на ночь. Хлопоты с книгой окончатся, кажется, завтра и много-много в среду, и тогда я начну лечиться как следует. Буду вам повиноваться беспрекословно. Преданный вам Г. Успенский.

Елизавета Марковна! Если только возможно, помогите мне бога ради. Вот что со мной творится: *я ощущаю какой-то удушающий запах, прямо смрад, невыносимый.* Манасеин, который лечит меня от гриппа, не удивился этому и дал записку к д-ру Шершевскому по нервным болезням. Манасеин и сам видит, что с моими нервами не добро, и говорит, — немедленно уезжать. Но это невозможно. Я сейчас был у Шершевского в назначенный час, а он захворал сам, так что не принял.

Между тем, вот сию минуту я едва держу перо: какой-то смердящий запах лезет в нос (так кажется) и с каждым днем сильней, а сегодня так положительно я сойду с ума. Нельзя ли чем умертвить это нервное расстройство обоняния, втирать снаружи или кистью мазать в ноздрях? Я положительно не знаю, что мне делать. Манасеин утверждает, что это — нервное расстройство. Я ему пишу, — но ведь это завтра. А я сейчас измучен. Г. Успенский.

Две записки *Г. И. Успенского* врачу Е. М. Вольфсон. *В. Е. Чешихин*, «Г. И. Успенский. (Биографический очерк)», стр. 338—339.

Надеюсь, Виктор Александрович, что мое огорчение, высказанное при встрече с вами у Н[иколая] К[онстантиновича] М[ихайловского] о безжалостном поступке со мной ред[акции] «Русск[ой] мысли», не принято и не понято вами как упрек, относящийся лично к вам. Нет, я от вас видел всегда только добро, только искреннее внимание к моим просьбам, довольно часто весьма затруднительным. Но тем не менее «Русская мысль» не раз поступала со мной без малейшей церемонии, раз только в ней в отношениях к писателям начинал по практическим причинам преобладать практический элемент. Иметь *имя* писателя и изуродовать содержание его произведения,[18] и делать это [в]виду *подписки,* — это испытано мною в весьма достаточной степени. Вы сами знаете, что практические соображения решительно вас не касаются, но что они касаются других деятелей «Русской мысли» — это несомненно. В видах того, чтобы мирно и тихо покончить неприятные отношения, возникшие между мною и «Русской мыслью» в настоящее время, а также и для того, чтобы снять с редакции журнала упрек читателей в помещении бессмысленнейших страниц только потому, что под ними подписано «известное» имя, я прошу вас обсудить след[ующее] мое предложение.[19]

Г. И. Успенский В. А. Гольцеву 22 января 1890 г., Петровские линии, гостиница «Россия», 12. «Архив В. А. Гольцева», стр. 91.

...И чего прежде никогда не бывало — поездка по жел. дор. в одни сутки утомляет меня до невозможности.

...Однако я скоро ворочусь и прямо в Чудово — *о чем никому не следует говорить. Сибиряков тогда не будет давать денег помесячно; если я возвратился — стало быть, выздоровел...*

...И рад бы написать что-нибудь хорошее, да не могу — поездка скучная, да и нездоров я... Хорошо только одно, что я не вынужден работать. *Если бы мне теперь писать — я бы пропал совершенно.* От одних лекарств голова у меня ослабела и постоянно тяжела.

Я выехал из Петерб[урга] под впечатлением подлого поступка «Р[усской] мысли»,[20] которая меня расшибла, и не очувствовался долго... Оттого и поездка моя какая-то бесцельная...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Воронеж (1890 г.). «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 13.

...Я поправился от тех болезней, от которых *лечился*, но боюсь, что суета-сует петербургской жизни (и главное

смердящий воздух — признак ранней петербургской весны) не дадут мне возможности продолжать выздоравливать; я несомненно ощущаю на самом себе: какой-то ужаснейший кошмар миновал, — надо по возможности уйти от условий, которые напоминают его происхождение. После 20 мая, когда окончатся экзамены, все мы переедем куда-нибудь в другое место, а не в Чудово, а пока я пробуду в Чудове, по временам возвращаясь в Петербург, чтобы заменить Ал[ександру] Вас[ильевну] и дать и ей возможность отдохнуть в деревне...

Из письма *Г. И. Успенского* Гольцеву 12 марта 1890 г. «Архив В. А. Гольцева» М. 1914 стр. 95.

«Дорогой, милый Александр Сергеевич, живая душа! Пропадаю окончательно! Просто ужас что со мной творится! Теперь вся стрельба и нервные жестокие щипки сосредоточились в правой стороне живота, между ребром и бедром. В этом-то месте у Шелгунова и были такие же самые боли от рака. Может, и у меня то же, но просто невыносимо. Хотел что-то работать, но щипки, как пули, простреливают голову. Чорт его знает, за что мне такая напасть?.. А весной я стал быстро поправляться. Теперь же мне хуже во сто раз, чем было в марте и апреле. Ну, не буду выть, мучить вас, живая душа. И целовать-то не решаюсь, — скрюченный я калека!

Теперь я уж *не Г. Успенский,* а как подписаться — не знаю.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову. 10 августа (1890 г.) Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 261.

...И прикоснуться к этому вопросу трудно — это к твоей работе. Не скучай ты, милый мой, будешь здоров и будешь работать, ведь ты работал беспрерывно...

Из письма *А. В. Успенской* Глебу Ивановичу 20 августа 1890 г. *В. В. Буш,* «Жена писателя», Л. 1924

Вчера я прочитал рецензию В. Н. С. о 3-ем томе. [21] Решительно не ожидал ничего подобного. Я на этот том смотрел, как на «надгробный памятник», и когда хотел делать надписи, то рука моя писала: «Под сим камнем...» Теперь я вижу, что я еще пока не под сим камнем...

Нет, слава богу, пока еще не под сим камнем, а книги-то пришлю все-таки без надписей: половина написана в самые

мрачные минуты юности, а другая — в самые мрачнейшие минуты старости. Рука не поднимается, чтобы поднести эту мрачную книгу наилучшим друзьям. Пусть она пройдет без надписи.

Из письма *Г. И. Успенского* А. С. Посникову 18 января 1891 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», стр. 263—264.

Дорогой Виктор Александрович! Меня часто стали поругивать мои близкие знакомые за то, что я, посылая третий том, не делая поименных надписей, и не выражаю вообще уважения, посылая этот том. Есть и такие, что говорят — «бросил полтора рубля и ни слова не сказал». И то и другое несправедливо. Люди пишут об уважении, когда *и сами уважают* книгу, а я третий том *не уважаю,* для меня он — надгробная плита, издание, *вынужденное* нуждой, крайней необходимостью не поколеть с голода и вообще от первой до последней строки напоминающее мне «бедствия» юных лет и бедствия преклонных лет; все, что писалось с 88 г., писалось в ужаснейших условиях, в душевном расстройстве, не предвещающем ничего, кроме гибели. Так вы можете судить, — поднимется ли у меня рука преподнести надгробный камень «в знак уважения». Не поднимется, и книга посылается единственно для того, чтобы было три тома у имеющих 2 первых. На первом томе — искренние надписи, а на третьем рука пишет: «под сим камнем погребено... пока еще не тело, а сердце, седое...»

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву 19 февраля 1891 г. Сочинения и письма Успенского в одном томе, 1929, стр. 629.

Вспоминается мне, как живое, лицо покойника, нервное, доброе, полное внутренней мысли... Вижу его окруженного молодежью, но никогда не раздраженного на эту молодежь. Г. И. знал, что эта подчас надоедливая молодежь любит его искренно, горячо, свято верит ему и знает, что пишет он кровью сердца своего. Но он знал также, что эта льнущая к нему молодежь также кровью сердца своего переживает то, что он творит; знал Г. И., что любят они одинаково и одинаково страдают. Я помню, когда я первый раз должна была итти к нему. Как билось мое сердце! Я не спала всю ночь! Я шла со страхом, смущенная, а расстались мы с ним так просто, как будто были давно знакомы.

Свое превосходство над другим человеком Г. И. так хорошо умел скрыть, что пред ним юноша изливал всю

свою душу спокойно, не опасаясь за неосторожные и неверные выражения; истину он угадывал тотчас же, а потому к нему шли с открытой душой.

Помню я поехала на голод[22] и пошла проститься с Г. И.

Много говорил он о том, что ждет меня в деревне...

Прощаясь со мной, Г. И. говорил мне:

— Не пишите мне, что там делается, я все знаю, что там делается, все знаю и вижу.

Я взглянула на его лицо, и действительно лицо его выражало страдание, как будто он видел то горе, о котором мы говорили...

Перед Г. И. молодежь не делилась на группы, все одинаково с любовью и уважением относились к этому великому, чуткому сердцем и душою русскому писателю народной жизни, забывая о своих теоретических разногласиях...

«Памяти Г. И. Успенского». «Самарская газета» 1902, № 75, от 3 апреля.

Последняя моя встреча с Г. И. была уж с полубольным. Он говорил много, бормотал, точно с самим собой, одно было ясно в его речи: «Где мой читатель? Не вижу! стена... В стену бросаю слова, мысли, душу... Не слышу отзвука... Нужно ли *ему* это?.. А кто он? Кто он?..»

Ек. Леткова, «Из воспоминаний и переписки». «Речь» 1912, № 82, от 24 марта (6 апреля).

...Там [в Сябринцах] именно, в *голодный* год,— фатальный год для писателя, так как именно с этого года начинаются его «ненормальности», — этот добрый и деликатнейший человек, раздававший все, что имел, первому встречному, на свой счет воспитывавший детей швейцара, когда его собственных детей исключали за неплатеж из гимназии, — там он однажды закричал на студента-учителя, положившего себе на тарелку больше, чем следует:

— Зачем это вы себе столько кладете? Ведь вы всего не съедите! Как вам не стыдно: народ теперь с голоду мрет, а вы за троих есть хотите!

Там он раздел себя раз донага, чтобы одеть замерзающего прохожего...

Слухи об этих «странностях» проникали иногда и в печать, но никто еще не придавал им клинического значения. Все близко знавшие Глеба Ивановича приписывали все это

чрезмерной впечатлительности своеобразного и чуткого таланта и называли его «чудаком»...

В. В. Тимофеева.

Однажды Александра Васильевна услыхала у себя наверху голос Глеба Ивановича: «Дайте мне что-нибудь надеть! Я все ему отдал...»

Снял с себя все до нитки и отдал замерзающему бродяге, вместе с последним рублем, который был у него в кармане.

В. В. Тимофеева.

ГЛАВА XII

В больнице — У д-ра Фрея в Петербурге. — В Колмове. — В Новознаменской больнице. — Смерть и похороны (1892—1902 гг.)

Когда Успенский заболел, Литературный фонд, не раз и прежде выручавший его из трудного положения, стал высылать на его надобности в больницу, где он находился, известную сумму ежемесячно. Сумма эта была очень невелика, но она шла исключительно на некоторые мелкие личные нужды покойного, на табак и т. п. Материальных забот не он главным образом требовал, а его семья (жена и шестеро малолетних детей), оставшаяся с его болезнью без всяких средств. Честь поддержки этой семьи до того момента, когда дети станут на ноги, взял на себя кружок друзей. С этой целью собран был из единовременных и периодических взносов особый «капитал семьи Успенского», хранившийся в Литературном фонде, но совершенно от него независимый, при помощи которого задача и была благополучно выполнена. Первоначально план поддержки был рассчитан на шесть лет, но прилив данников любви и уважения к Успенскому оказался достаточным, чтобы расширить задачу еще на два года; и трогательно было видеть в списке этих добровольных данников, рядом с тысячными вкладчиками, вкладчиков грошовых.

Любопытно также отношение к Успенскому врачей, которым он естественно доставлял много беспокойства и неприятностей. Он был в трех больницах: очень недолго у д-ра Фрея, в Петербурге, потом в новгородской Колмовской больнице, которой заведывал д-р Синани, и наконец в Новознаменской, находившейся под управлением д-ра Реформатского... Бережно и любовно относился к нему Б[орис] Н[аумович] Синани... А д-р Реформатский, перешедший из Новознаменской больницы на другое место незадолго до смерти Успенского, говорил мне, что ему особенно тяжело было расставаться с Глебом Ивановичем, хотя и трудно приходилось иной раз с ним ладить.

Н. К. Михайловский.

Вот еще что, ради бога: ты знаешь в каком положении Успенский. Пошлите пожалуйста, если можно, 100 рублей Павленкову, с письмецом, что это от меня для Глеба Ивановича и запишите на меня. Сейчас у меня — ничего, а это очень нужно.

P. S. письма *В. Г. Короленко* В. А. Гольцеву, Н-Новгород 3 сентября 1892 г. «Архив В. А. Гольцева», М. 1914 г. стр. 176.

Глеб Иванович — конченный человек. Для меня по крайней мере в этом нет сомнения, да и для большинства врачей, но есть и такие, которые не решаются признать прогрессивный паралич и стоят (очень, впрочем, слабо) за сильнейшую неврастению.

Н. К. Михайловский В. А. Гольцеву (1892 г.) «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 205.

Я уже раньше видел в «Новостях» перепечатку одного из присланных вами безобразий «Новостей дня». Воистину, безобразие. Петербургская мелкая пресса стеснялась печатать известия о болезни Успенского и пошла писать только тогда, когда разрешилась московская. Безобразие в том, что Успенский не в бессознательном состоянии, читает и газеты (пока, впрочем, известия о его болезни не попадались ему на глаза). Наконец ведь семья есть. Что вам сказать о положении Успенского определенного — не знаю. Некоторые, в том числе один врач-психиатр, надеются, что дело поправимо, хотя все признают, что как писатель он кончился. Вопрос в прогрессивном параличе, который утверждают большинство врачей, или по крайней мере говорят, что расстройство не функциональное, а органическое, и, следовательно, неизлечимое, и мне сдается, что это верно. А так, на взгляд, ему то лучше, то хуже. Физически-то совсем здоров, но бывает очень удручен, все говорит, что разорил семью, нечем жить, дети с голоду помрут. Положение семьи, действительно, плохо. Пока кое-что сделал Литературный фонд, да есть еще получить с 3-го тома сочинений. Мы устраиваем подписку. Я говорил с Соболевским в проезд его через Петербург, и затем послал ему циркуляр, с которым мы обратились кое к кому. Спросите у него...

Из письма *Н. К. Михайловского* В. А. Гольцеву. (1892 г.) «Памяти В. А. Гольцева», стр. 205—206.

Вы просите меня сообщать вам время от времени о болезни Глеба Ивановича. Ему за последнее время стало очень худо и в виду особого и постоянного надзора, которого требует его состояние (он бился головой об стену, колотил себя подсвечником по голове, возобновился острый бред), его пришлось взять от Фрея и перевести в Новгородскую (Колмовскую) психиатрическую больницу... Тамошний врач Синани — его хороший знакомый и принимает в нем большое участие. Теперь жду известий от Синани, как он себя чувствует в новом месте. Синани все-таки не считает его вполне безнадежным. А я попрежнему считаю. Плохо, очень плохо. Не дай бог никому.

Из письма *Н. К. Михайловского* В. А. Гольцеву 29 апреля (1892 г.), «Памяти В. А. Гольцева», стр. 207.

...Успенский, я вам писал, перевезен в Новгород. Сначала оттуда были успокоительные известия, потом печальные, потом опять лучше. На-днях собираюсь сам съездить в Новгород.

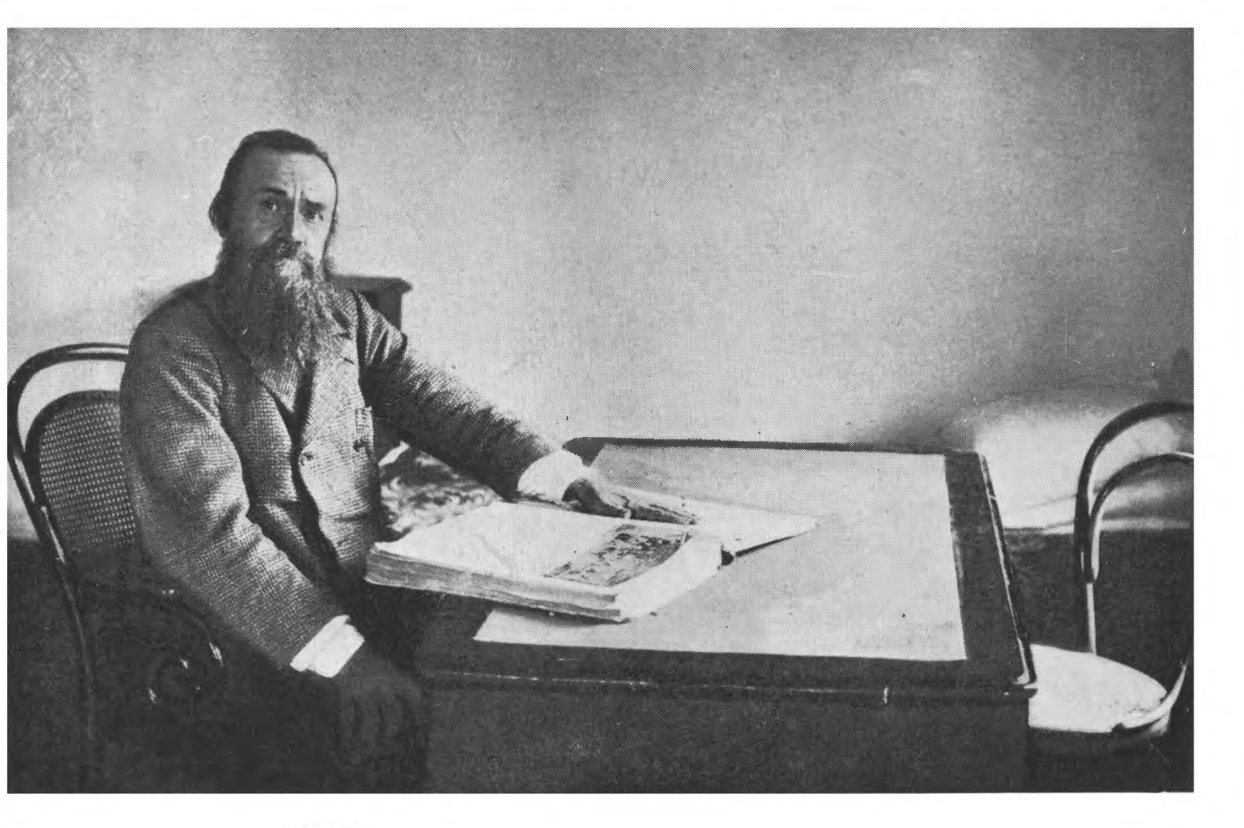
Из письма *Н. К. Михайловского* В. А. Гольцеву (октябрь 1892 г.). «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 213.

У Глеба Ивановича был. Ему лучше в том смысле, что сейчас никаких бредовых идей нет. Но все-таки нехорош. Синани, впрочем, надеется. Уход за Глебом Ивановичем идеальный.

Из письма *Н. К. Михайловского* В. А. Гольцеву (октябрь 1892 г.) «Архив В. А. Гольцева», стр. 214.

Николай Константинович очень любил Успенского и страшно огорчился, когда определилась безнадежность его [Успенского] психического заболевания. Я была в то время в Италии, и в Неаполе получила от Николая Константиновича крайне огорченное письмо, в котором он писал мне о болезни Глеба Ивановича и о помещении в психиатрическую больницу доктора Фрея на Васильевском острове. В Новгородскую Колмовскую лечебницу, которой заведывал доктор Синани, очень любивший Глеба Ивановича, он был помещен потом.

«Возвращайтесь, милый друг, — писал мне Николай Константинович, — мы с вами поедем навестить Глеба Ивановича. Можно даже повести его кататься на острова. Я говорил об этом с доктором, он разрешает. А вас Глеб



Г. И. Успенский, в Ново-Знаменской больнице
С фотографии
Литературный музей в Москве

Иванович будет рад видеть. Я говорил ему, что пишу вам...»

Николай Константинович исполнил свою программу, когда я приехала. В болезни Глеба Ивановича бывали светлые промежутки, и тогда как раз наступало некоторое улучшение, так что он не произвел на меня такого безотрадного впечатления, как я ожидала. Наоборот, он оказался таким же обаятельным собеседником, каким был всегда с людьми, к которым был расположен, и только в толпе чужих людей, которые на него «пялили глаза», как он выражался, он как-то стихал и готов был «улизнуть», спрятаться подальше.

Когда мы заехали за ним в больницу, и он вышел к нам, то сказал, смеясь, Николаю Константиновичу:

— Обратите внимание на мой хорошенький светлый галстук. Это мне дал доктор. Он сказал, что я еду с дамой и потому должен прифрантиться.

Мы проехались с ним по островам и даже пообедали с ним в ресторане. Он был очень весел и разговорчив и нельзя было даже подумать, что это душевнобольной, которого врачи признали неизлечимым. Ах, как не хотелось этому верить! В такие светлые минуты он производил отрадное впечатление. Но все же, когда мы расстались с ним, отвезя его обратно в лечебницу, нам обоим стало необыкновенно грустно. Мне думалось, что это только временное просветление, да это так и было. Потом, когда он был в Колмовской больнице, временами ему становилось настолько лучше, что он ездил, конечно, с провожатым, и в Чудово, где у него был дом, и в Петербург, где иногда оставался дольше. Когда он бывал в Петербурге, то почти каждый день приходил к Николаю Константиновичу. Я раза два видела его там, да и то мельком. Николай Константинович больше не приводил его ко мне. Мне кажется, он замечал, что болезнь Глеба Ивановича прогрессирует, и никакой надежды на исцеление не остается, поэтому не хотел говорить о нем и видеть его в такой обстановке, в которой он видел его раньше, когда он еще не находился во власти бредовых идей, доводивших его до отчаянья. Я была благодарна Николаю Константиновичу за это, потому что было бы так тяжело наблюдать разрушение, которое производила в нем жестокая болезнь, и в моей памяти сохранился все тот же чудный образ человека с прекрасными страдальческими глазами, каким я видела его раньше.

Э. К. Пименова. «Дни минувшие. (Воспоминания)», Л.—М. 1929, стр. 180—181.

«Изложить его [Успенского] слова в том же порядке и в том бессвязном виде, как он проговорил, я не могу. Я позволю себе систематизировать их. Нужно еще отметить то обстоятельство, что его нужно считать личностью совершенно отличною от людей нашего типа, привыкших думать мыслями. Он производит впечатление человека, который только и может мыслить (если можно так выразиться) образами. Эта особенность развита у него в такой степени, что для нас она может казаться почти непонятною и в нормальном его состоянии. Тем более, она кажется таковою в теперешнем его состоянии. Итак, его язык образов я должен буду излагать языком понятий.

С самого его заболевания и до сих пор в его сознании идет борьба между двумя началами: началом справедливости и началом неясно выражаемым, но противоположным первому. Ему кажется, что его *я* раздвоенное, состоящее из двух личностей, борющихся друг с другом. Первая личность есть *Глеб* (Успенский»), вторая личность есть Глеб *Иванович* Успенский, и даже проще и выразительнее *Иванович* (NB. Отец матери назывался Глебом, Иванович — от Ивана, значит отца его). Как ни борется Глеб, но ему очень трудно не только уничтожить, убить Ивановича, но даже устоять против власти его. Со времени его болезни борьба между ними идет ожесточенная. Случалось, что Глеб как бы отвоевывал свое существование, приобретал свою половину, но это оставалось недолго. Иванович снова вторгался в его область, пренебрегая всякими уговорами, всякими условными компромиссами, часто разрушал их и заполнял Глеба. При полном его торжестве больной не только казался себе, но и в действительности являлся в самых несимпатичных, безобразных, отвратительных видах, до буквального вида свиньи включительно с ее и черепом, и мордою, и хребтом, и ребрами и даже перестановкой верхних конечностей снаружи внутрь. Так как превращение в свинью является наиболее крайнею формою выражения победы Ивановича, то я об этом и буду говорить главным образом. Повидимому, всякий раз, как настроение его ухудшалось и соответственно с этим в сознании его начинали преобладать представления мрачного характера, в его самосознании и самоопределении все более и более преобладала личность Ивановича. Однажды ночью он наконец отрекся от самого себя, от Глеба, в пользу Ивановича. Как только он подписал это отречение «от самого себя в свою же пользу», с ним началось превращение в отрицательном направлении. Утром следующего дня он ощущал, как хребет его и ребра стали

твердые, крепкие, окостеневшие (оскотинился?) и т. д. Как он ни боролся, но руки его так и тянулись к тому, чтобы срастись с грудью и направиться вперед. Он употреблял неимоверные усилия вернуть их в нормальное положение, хоть сколько-нибудь перетянуть их назад, но когда это ему не удавалось, он тогда-то, повидимому, и совершал свои насилия над самим собою: старался разбить себе голову, перерезывал себя пополам вдоль всего тела, перерезывал себе горло, огнем жег себя, чувствовал, как он горит. Иногда ему казалось, что он в большей или меньшей степени достигает цели, что если не внутри, то хотя снаружи слезает с него его отрицательное *я*. Бывали случаи, когда, сквозь мрак заполняющей и заполнившей его отрицательной его личности, пробивался светлый луч в образе то действительных лиц, как Короленко, Вольфсон, то фантастических образов, как ангел, как монахиня Маргарита. Бывало, они отстоят Глеба, но потом опять все это рухнет, и Иванович вступает в полное владение. Торжество Ивановича не ограничивалось одним отрицательным превращением его личности в смысле его самооценки, самопонимания, самоопределения. Он совершал чудовищные преступления. Он, например, убил своих детей, свою семью, перетравил их всех до единого стрихнином. Больной прибавляет, что потом каждый раз удивлялся, каким образом он все еще оказывается в живых. При этом припоминает случай, как он у Фрея, при мне (кажется, 1 июля), отнесся к своему сыну, явившемуся к нему на свидание для опровержения его бреда о том, что вся его семья отравлена стрихнином. Он помнит, что он встретил его угрюмо и с неудовольствием по поводу того, что он жив. Вообще замечательно, что в памяти его сохранились все, даже малейшие впечатления из внешнего мира, дошедшие тогда до его сознания. Мало этого, он довольно хорошо помнит свое поведение и даже слова во время самых острых периодов своей болезни. Не совсем ясно припоминает он только детали бредов, отличавшиеся крайнею сложностью и быстрою сменою представлений, хотя в то время представления эти отличались такой яркой образностью, что при его рассказе они кажутся похожими на сложные галлюцинации, то есть образы эти им объективировались во вне его. Повидимому, каждое представление у него имеет склонность сопровождаться галлюцинациями (или псевдогаллюцинациями) тех органов чувств, которые играют роль в образовании этих представлений. Этим должно, я думаю, объяснить одновременное существование

в его бредах галлюцинаций и зрения, и слуха, и чувствительности, и общего чувства. Он воочию видит какую-нибудь личность, слышит ее слова и в то же время получает и ощущения осязательные и мышечные, как, например, в следующем случае: стоит перед ним кто-то (кажется, монахиня Маргарита), приказывает ему вытянуть руки ладонями вверх и дать их оплевать. Больной и видит и чувствует, как ладони его сплошь покрыты толстым слоем плевков. Ему приказывают поднести руки к лицу и обмазать его этой гадостью. Он это исполняет. Подобными путями ему случалось на время воскресить в себе Глеба или совесть, но ненадолго. Вскоре опять вступал в свои права Иванович».

Позже, когда бред Глеба Ивановича принял мистический характер, у д-ра Синани находим такую запись:

«Бред его относительно людей, если его осмыслить, можно изложить следующим образом. Когда говорят: Глеб Иванович Успенский, Александра Васильевна Успенская, Александр Глебович Успенский и т. п., то эти лица являются самыми ординарными субъектами; лицами, ничего не знающими, ничего почти не стоящими, обладающими всевозможными несовершенствами. Назвавши их обычными их именами, отчествами и фамилиями, их лишают всяких высших духовных качеств. Если же их называть только их именами, то они освобождаются от всяких качеств, присущих отдельным индивидуумам, свойственным обыкновенным человеческим существам; тогда они являются носителями высоких духовных качеств, характеризующих тех святых, которые носят эти имена, и не только одного какого-нибудь святого, но и всех вообще великих людей под теми же именами».

Из записей в дневнике д-ра Синани от 22 сентября 1892 г. на другой день после поступления туда Успенского. Напечатано в статье Н. К. Михайловского. Собр. соч. Успенского т. I, стр. XCI — XCIII.

Это было зимою 1892 года, или в начале 1893 года, не помню. В это время Гл. Ив., уже будучи болен, но слегка оправившись, почувствовал себя лучше, приехал из Колмова в Петербург и жил с своей семьей на Васильевском острове. Я не раз встречал его тогда — все больше задумчивым и молчаливым. В последний же раз я встретился с Успенским на студенческом вечере в зале дворянского собрания.

После концерта студенты-распорядители попросили нас в «артистическую комнату». Учащаяся молодежь быстро

наполнила «артистическую» и столпилась около Глеба Ивановича. Студенты, очевидно, воображали, что он уже совсем оправился, поборов свой душевный недуг. Они так желали видеть выздоровевшим своего любимца...

Стали предлагать тосты за его здоровье, смотрели на него так восторженно, так любовно и, повидимому, все ожидали от него слова. Желание и ожидание услышать что-нибудь от любимого и уважаемого писателя ясно выражалось на молодых, разгоревшихся, воодушевленных лицах и в сотнях блестящих глаз, устремленных на Глеба Ивановича.

После тихой уединенной жизни в Колмове, вдруг очутившись в бальной атмосфере, в большом обществе, среди шума и толкотни, взволнованный и музыкой, и пением, и встречами со старыми знакомыми, Гл. Ив. пришел в сильно возбужденное состояние. Я стоял рядом с ним у стола и видел, что он был взволнован до глубины души, в забывчивости поминутно подносил ко рту погасшую папиросу, смачивал языком свои сухие губы и тяжело, прерывисто дышал. Он видел, понял, что от него ждут речи, ждут слова... Вдруг он подвинулся к столу, оперся на него рукой и сделал вид, что хочет говорить.

Вокруг нас все смолкло. Где-то стукнули дверью, — послышалось: «шш»... Кто-то подал Успенскому рюмку вина. Но он не пил... руки его сильно дрожали. Вино расплескалось из рюмки.

Наконец тихим, неуверенным голосом, запинаясь, Глеб Иванович начал:

— Теперь, господа, я буду писать... Я еще буду писать... Да! Я давно не пишу, но... я, господа, я буду писать... я буду...

Тем и кончил.

Молодежь поняла свою ошибку.

И что-то тяжелое, невыразимо грустное, больное до слез было в молчании, наступившем за этими отрывочными фразами.

Я опасался, чтобы волнения, переживаемые Успенским, не повредили ему: ведь вся обстановка должна была сильно ударить по его больным нервам.

— Как вы себя чувствуете, Глеб Иванович? — спросил я его.

— Отлично! — как [то] торопливо и рассеянно ответил он мне, по привычке слегка тряхнув головой. — Теперь мне хорошо, очень хорошо!

Мы отошли от стола и сели в сторону у стены.

Успенский сидел, перекинув ногу на ногу, немного сгорбившись, склонив голову, и усиленно курил папиросу, окружив себя облаком табачного дыма. Лицо его, за минуту перед тем возбужденное, теперь было спокойно, холодно и неподвижно. На него словно пала темная тень. Мне так и чувствовалось, что вот тут со мной рядом — не Глеб Иванович, но только его тело, одно бездушное тело, а его думы, его чувства — где они были тогда? О только-что пережитом им волнении можно было догадываться лишь по тому, что в глазах его — задумчивых и скорбных — еще стояли слезы.

П. В. Засодимский, «27 марта 1902 г.» «Народное благо». 1902, № 11—12, стр. 10—11.

В общем я была дружески близка с Гл. Ив. с 1880 по 1892 год; последний раз навестила его в 1893 году, когда Синани отпустил его домой. Он сразу узнал меня, чрезвычайно обрадовался, оживился. На него нахлынули воспоминания о близких и дорогих нам обоим людях; но не более, чем через полчаса он устремил неподвижный, безжизненный взгляд в одну точку на стене, замолчал и перестал замечать всех нас, то есть жену, детей и меня. В течение 12 лет, хотя и с промежутками, я имела возможность видеть, слышать, наблюдать этого, во многих отношениях необыкновенного человека. Глубокий трагизм его судьбы, по-моему, заключался в том, что подвижник и аскет по натуре, он волею судьбы был обречен проводить жизнь в тусклой, будничной и буржуазной обстановке, которая претила его душе. Он вечно чувствовал себя неоплатным должником перед обществом, так как природа наградила его немалыми дарами, а обществу он уделил от них меньше, чем при других условиях мог бы, и, во всяком случае, гораздо меньше, чем хотел бы. По отношению к покойной Ал[ександре] Ва-с[ильевне] он, действительно, был неизменным, верным вековечным Глебом («Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 14); но счастья в той форме, в какой она его понимала, — не дал и опять чувствовал себя *без вины виноватым* перед ней. Детей любил со всей нежностью своей чуткой души, но это не была *отцовская* любовь, как ее принято понимать; дети, как мне кажется, тоже относились к нему, как к старшему товарищу, другу и называли его: «Глеб», «Глебушка». Был ли он сам когда-нибудь счастлив. По его собственному

признанию, — «раз в жизни», в ранней молодости. Маловато, не правда ли?

«Воспоминания о Глебе Успенском г. *А. С.*». «Голос минувшего», 1915, № 7.

Кажется, в 1893 году Глеб Иванович приехал в последний раз в Нижний-Новгород. На вокзале мы встретили его той же компанией, с которой когда-то он бродил по «откосу», большинство членов которой он уже знал и любил. Но сам Успенский был уже не тот. Не было того оживления, той улыбки, которая так часто сверкала тогда сквозь привычную печаль его глаз. На лице его лежала беспросветная грусть.

Когда мы переехали через Оку и стали на извозчике подыматься по въезду, я в первый раз увидел, как он закрыл всей ладонью лицо, начиная от лба до подбородка; глаза тоже были закрыты, и под этим прикрытием он шептал что-то тихо и умиленно, как будто говорил с кем-то невидимым и молился...

Это уже начиналась другая таинственная жизнь омраченного духа, другое, параллельное существование... Через минуту он очнулся, оглянулся на светлый день, на Оку, на уступы гор, и взгляд его упал на ехавшего впереди, на извозчике, сына.

— Вы... — сказал он, — и Сашечка... Хорошо...

Около двух недель прожил он тогда в Нижнем-Новгороде, то у С[ергея] Я[ковлевича] Елпатьевского, то у меня... Часто среди разговора, даже в многочисленном обществе, он вдруг закрывал лицо ладонью исхудавшей тонкой руки и начинал шептать. Мне он говорил несколько раз, просто и задушевно, о том, что он беседует в эти минуты с «инокиней Маргаритой», чистейшим существом («женщина — чистейшее существо»), в котором странным образом сливаются несколько лиц, в том числе — боровшиеся и пострадавшие в борьбе. И она говорит ему хорошие речи, иногда горько упрекает его, а иногда и ободряет, и что он делается легкий... и скоро полетит... А затем он совершенно просто переходил к житейским темам и несколько раз, помню, повторил:

— Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика...

После этого он уехал, и уже навсегда ушел от нас — внешним образом в Колмово, внутренним — в свои видения...

Все, что могла сделать наука, согретая личной привязанностью и любовью, — все, кажется, было сделано.

Вл. Короленко.

Потом я видел его в 1893 году.[1] Изредка встречался я с ним в доме В[ладимира] Г[алактионовича] Короленко в короткие приезды Г. И. в Нижний-Новгород; но по-настоящему, *долго*, увидел его в 1893—1894 году, когда он жил в моей семье. Это «долго» было всего две-три недели, но это были долгие, очень долгие две недели, которые и сейчас, как вчерашний день, стоят предо мной. Он ехал к В[ладимиру] Г[алактионовичу] Короленко, но в семье В[ладимира] Г[алактионовича] были болезни и горе, и он остановился у меня. Г. И. Успенский приехал в Нижний-Новгород уже психически больным, в светлый промежуток, когда лечивший его психиатр признал возможным отпустить его в Нижний-Новгород, к людям, которые горячо любили его. Он приехал уже с глубокими морщинами печального, состарившегося лица и с теми удивительно переданными на портрете Ярошенко жуткими, напряженными глазами, в которые нельзя было смотреть без боли и жалости людям, любившим его...

Долгие три недели... Моя семья засыпает — я старался раньше окончить день, и мы оставались одни с Глебом Ивановичем в моем кабинете. Тогда приходила *Она*. *Она* приходила всякий вечер и останавливалась в окне и смотрела на Глеба Ивановича.

— Видите, Сергей Яковлевич, видите... Она опять пришла... — тревожным шопотом и жутким взглядом напряженных глаз говорил мне Глеб Иванович. — Видите, вот она бьется крыльями... в белой одежде!..

Он указывает мне рукой на закрытое занавеской окно моего кабинета, выходившее на пустынную площадь, и бросает мне короткие, несвязные фразы, из которых я понимаю, что *она* приходила не одна и та же. Иногда она была светлая, в белой одежде и билась в окно белоснежными крыльями, иногда она была темной монахиней, приникшей к стеклу, с строгим и печальным лицом. Один раз он бросил: «Святая Ефросинья»; другой раз полным горя шопотом тихо выговорил: «Вся Россия, вся Россия...» Я пробовал уверять его, что это деревья, окутанные белым инеем, узорами ложатся на морозные стекла, я раздвигал занавесы и показывал ему безлюдную, пустынную, светившуюся белым снегом, огромную площадь, но он удивлялся, как я

не вижу глаз ее, как я не слышу, что *она* говорит ему. И каждый вечер в рдеющем белом сумраке декабрьской ночи она приходила к нему и, приникши к морозным стеклам, смотрела ему в глаза и говорила те слова, которые он тем же горестным шопотом коротко и несвязно передавал мне...

...Я устроил так, что мы спали голова к голове, и нас разделяла только дверь. Я не спал по ночам эти две-три недели и слышал, как всю ночь напряженным шопотом-свистом говорил он свои неслышимые слова и поминутно чиркал спичкой и затягивался короткими затяжками.

А потом начиналось утро. Часов в шесть подавался самовар, я приготовлял чай и ждал Глеба Ивановича, и мы снова сидели вдвоем за чайным столом и разговаривали. Час-два ночного забытья освежали Глеба Ивановича, и он говорил совершенно связно и спокойно, только с той же печалью в голосе и с теми же жуткими, напряженными глазами. Он говорил, что дело его кончено и что у него теперь только одна задача, к которой он приступит, как только еще немного поправится, — он примется за пересмотр всех своих сочинений, исключит все лишнее, случайное, несправедливое, свяжет все несвязанное, что он писал впопыхах, а главное — скажет то самое важнейшее, самое нужнейшее, то чистое и светлое, что он не успел сказать и без чего неверно будет понято то, что он думал, теми многими, ужасно многими читающими книги русскими людьми. Я соглашался с ним, и мы мирно беседовали, как хорошо после долгой литературной жизни пересмотреть все и связать и исправить, и мне невольно думалось, что, быть может, врачи ошибаются, что, быть может, Г. И. вернется к литературной деятельности, которой так ждут и желают многие, многие...

Потом Г. И. начинал читать газету. Он чиркает спичкой и выкуривает не выходящую из пальцев и все потухающую папироску — значит что-нибудь нашел. Он читает мне «внутренние известия». Я слушаю и изумляюсь, так как до прихода Г. И. успел пробежать газету и такого известия не заметил. Оказывается, известие было, но те пять-шесть слов, которыми иллюстрирует Г. И., изменяют все дело, и то, мимо чего я прошел, именно пробежал, стало большим, значительным и осветилось для меня совсем с неожиданной стороны. Снова чиркает спичка, и короткими вспышками дымится папироска, и Г. И. читает мне другое внутреннее известие и тоже совсем не то, которое я читал. Я беру из его рук газету, прочитываю снова и опять-таки благодаря нескольким словам и двум-трем строчкам, на которые обратил

мое внимание Г. И., то, что казалось мне обыкновенной деревенской историей, той же нелепой бестолочью деревенской жизни, оказалось не таким нелепым и бестолковым, и маленькая ничтожная подробность осветила все дело с совершенно неожиданной для меня стороны.

Всегда с неожиданной стороны...

С. Елпатьевский, «Близкие тени (воспоминания)», П. 1908. «Глеб Иванович Успенский», стр. 3—25.

...А потом просыпались и все наши домашние, жена моя, дети, сопровождавший Глеба Ивановича старший сын его, Саша, и в комнатах становилось шумно и людно.

Молодежь уводила Глеба Ивановича гулять с собой на «откос», за которым открывались широкие снежные дали. Дни стояли солнечные, морозные, Глеб Иванович возвращался к обеду оживленный, посвежевший.

А вечером приходили друзья — Анненский, Короленко. Мы сходились у камина в кружок и время проходило тихо и ласково. И Глеб Иванович был как будто прежний, здоровый Глеб Иванович, и просыпался в нем его необыкновенный юмор, срывались реплики яркие, поражавшие своею неожиданностью. И не у одного меня являлась в такие вечера мысль, что, может быть, психиатры ошибаются, что Гл. Ив. выздоровеет.

Помню, жена моя спросила Глеба Ивановича, кто ведет знакомство с Алексеем Сувориным, в каких кругах он вращается.

Глеб Иванович коротко ответил:

— А в трущобах высшего света.

Кто-то спросил его мнение о религиозной эволюции Льва Николаевича Толстого. Он как-то быстро ответил:

— Это восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя.

И на чей-то вопрос, знаком ли он с Толстым, улыбаясь, ответил:

— Вот все мне говорили: сходи к Толстому, сходи к Толстому. — Пошел. Звоню. Выходит лакей и говорит: «Граф молятся». Я бегом, я бегом... Больше не ходил.

Я решил пригласить на обед знакомых, горячо любивших Глеба Ивановича. Обеденного стола на всех не хватило, был приставлен сбоку маленький столик, за которым уселись молодые присяжные поверенные — Н. Н. Фрелих, Килевейн и, помнится, А. Ю. Фейт. Глеб Иванович гулял и немного запоздал. Место ему за столом, конечно, было

оставлено, но Глеб Иванович, быстро оглядевшись и наскоро поздоровавшись, сказал:

— Нет, уж я здесь, с духовенством...

«Духовенство» было веселое, и Глеб Иванович был совершенно доволен.

Уходили гости, ложились спать домашние, опять мы оставались вдвоем, и опять приходила к стеклам святая и смотрела на Глеба Ивановича строгими, укоризненными глазами.

И опять разговоры, что не то и не так писал, что и как нужно было писать, и опять жуткий и напряженный шопот ночью.

Больше я не видал Глеба Ивановича, но знал, что с ним происходило, как развивалась его болезнь...

С. Елпатьевский, Глеб Иванович Успенский (Воспоминания к 25-летию со дня смерти)» «Красная нива» 1927, № 16

Простите меня, что я проездом в Нижний и обратно не побывал у вас. На обратном пути из Нижнего я думал остаться в Москве на все время съезда, но захворал и возвратился в Петербург, не останавливаясь в Москве. Глубоко виноват, что до сих пор ничего не прислал для «Русской мысли». Во время болезни я пережил поистине целые столетия, и величайшие события моей жизни во время болезни и полного выздоровления будут описаны. В настоящее время, со дня возвращения домой, я привожу в порядок огромнейшую переписку за все время моей жизни; почти каждое письмо — история жизни большей частью девушек и женщин, и множество писем от лиц всех сословий. Работы предстоит много и к апрелю месяцу я постараюсь (а может быть и раньше) одновременно поместить мои работы в *«Русской мысли»,* в «Русском богатстве» и в «Русских ведомостях».

Из письма *Г. И. Успенского* В. А. Гольцеву, Петербург 26 января 1893 г. «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 114—115.

24/IV (1893 г.). Глеб Иванович сегодня отправился пешком в Чудово в сопровождении Степанова.

29/IV. Вернулся со мной обратно.

5/V. Выписался в Чудово. Сопровождает его Степанов.

9/VI. Сегодня пришлось привезти его обратно в Колмово. Жизнь в семье оказалась для него крайне неблагоприятною. С первых же дней совместной жизни с женою он разочаровался в одном из сильно занимавших его желаний... Под

влиянием отчаяния он 11 мая сильно размозжил себе мягкие части темени камнем. Когда я приехал к нему, он сожалел, что он так поступил, объяснил свой поступок кратковременным сумасшествием и при этом, как бы в объяснение мотивов, приведших его в это состояние, проговорил следующую фразу: «Что же! Писатель я не писатель, отец я не отец — семью мою содержат другие, а не я, муж я не муж, никому я не нужен, а только в тягость». Чем дальше, тем больше было поводов для разочарования. Появилась угрюмость, молчаливость, неудовлетворенность, досада на себя и на окружающих, раздражительность. Появились дерганье себя за бороду, бормотанье про себя фраз в роде: «3000 в год», «Сашечка приедет», «пошел вон» и т. п., шушуканье, выдыхание в роде свиста, встряхивание головой и т. п. насильственные движения, царапанье раны. Наконец стал себе наносить сильные удары по голове, по вискам, стремление размозжить себе голову палкою. Несколько дней тому назад еще можно было слышать такие фразы в его бормотаньи: «Сашечка приедет», «надо жить», рядом со словами «пошел вон». Раздражительность дошла до того, что он стал покрикивать на окружающих, гнать вон жену и детей. Аффекты гнева все усиливались, бил себя, угрожал убить себя, убить наиболее близких ему членов семьи, раз они чем-нибудь ему противоречили. Сон стал плох, все требовал Sülfonal'а, который, однако, мало ему помогал. То-и-дело угощал себя пощечинами. Уже он не слушался и меня. При мне сделал страшную сцену своей семье, гнал жену вон за то, что она вызвала меня, нагнал ужас на домашних; когда я объявил ему, что я его возьму обратно в Колмово, то он закричал и на меня и наконец стал гнать вон и меня, угрожая убить и меня, и детей, и себя. Само собой разумеется, что себе он наносил при этом отчаянные пощечины. Состояние его дома можно характеризовать в кратких словах таким образом: сознание ясное, бредовых идей незаметно, насильственные представления, насильственные действия, крайняя раздражительность, наклонность к аффектам гнева, переходящим сейчас же в нежность, ласку, самообвинение, но на очень короткое время; стремление к самоувечению, самобичеванию, недовольство собою, не исключающее досады на других, не исключающее протеста против других за неисполнение его желаний, угрозы им и даже готовность оскорбить их не только словами, но и действием. Замечательная память!

Записи в дневнике д-ра *Б. Н. Синани*. Собр. соч. Успенского, т. I, стр. CIII—CIV.

1893 г. Августа 22 го

Первая тетрадь

Мои дети

[illegible]

Рукопись отрывка Г. И. Успенского „Мои дети“.

Гос. литературный музей в Москве.

...Глеб Иванович совсем плох. Его уже кладут спать не в обыкновенной комнате, а в особой, под особым надзором. Недавно он ударил себя подсвечником по голове и вообще крайне беспокоен. Говорит о самоубийстве.

Н. К. Михайловский В. А. Гольцеву (1893 г.), «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 205.

Дорогая моя Александра Васильевна.

Давно я ничего не писал. Каюсь, мне было скучно, что я скоро не возвратился домой поклониться тебе в ноги и просить прощения...

Твой Глеб Успенский
твой Глеб, верный и неизменный
твой Глеб вековечный...

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Колмово (июнь 1893 г.).[2] «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 14.

Дорогая моя Александра Васильевна.

Глубоко виноват перед тобой и перед детьми, что до сих пор не возвратился домой: каждый божий день ожидаю возможности выйти из Колмова; святая обязанность быть в семье и делать дело, заботиться и видеть далекую будущность наших детей — вот что лежит на моей душе. Скоро-скоро я возвращусь домой совершенно здоровым и начнем с тобой, дорогая моя Александра Васильевна, новую, радостную жизнь. К именинам я надеюсь приехать и навсегда остаться дома.

Письмо *Г. И. Успенского* жене, Колмово 13 июля 1893 г. «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 14.

...Чувствую крайнюю необходимость как можно скорее возвратиться в Чудово. Давно-давно, с первых дней приезда, я опомнился и почувствовал крайнюю необходимость писать. — В Чудово думаю пешком ходить по Тихвинскому тракту и поблизости. Надейся на меня, дорогая моя Александра Васильевна, — все надежды на меня оправдаю.

(Приписка доктора Синани):

Если бы я считал Глеба Ивановича выздоровевшим настолько, чтобы выписать его из Колмово в Чудово, я, само собою, написал бы вам об этом. После предыдущего опыта надо быть крайне осторожным в его выписке. Если он

считает себя здоровым, то только на основании кратковременных моментов, когда он чувствует себя веселым. Это он сам говорит. Следовательно, в остальное время он сам чувствует себя не вполне нормальным.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Колмово 15 июля (1893 г.), (с припиской д-ра Синани). «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 14.

Дорогая моя Александра Васильевна.

С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Каждый божий день я думаю — как бы мне поскорее возвратиться домой и здоровым, и радостным, и веселым, и *писать, писать, писать*. Слава тебе, господи. Глубокая любовь к тебе, дорогая, ко всем нашим детям и *любовь ко всему белому свету — вот начало моей новой жизни в семье и в обществе*. Радость и счастье жить и жить долго зреет во мне с каждым днем и часом. Скоро-скоро веселым и счастливым возвращусь я домой.

Твой *Глеб*.

...Вижу впереди много счастливых лет — глубокая любовь уравновешивается во мне, дает мне возможность много писать и понимать жизнь глубже, чем я понимал... Я знаю, мне необходимо поправиться так, чтобы оправдать все надежды моих детей и твои, дорогая, *оправдать надежды на меня, как писателя*. Я ни на минуту не забываю этой священной обязанности... я проживу долго... а работать я буду много.

Из письма *Г. И. Успенского* жене, Колмово 29 июля 1893 г., «Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 15.

...Со дня моих и Боринькиных [3] именин я много пережил (пережил все 25 лет моей жизни с тобой), и во мне начался перелом к глубокой любви: *я весь глубокая любовь*. Не могу выразить... того глубочайшего счастия, глубочайшей любви, которые зреют во мне с каждой минутой, с каждым днем и сулят радость жизни в счастии и любви на долгие годы. В этом глубоком счастии любви воскресает твой муж и писатель. Приеду домой — скоро-скоро — неузнаваемый, — глубокая любовь ведет меня домой и «в люди». Верь мне, дорогая моя. Верьте моей любви, все дорогие мои дети.

Из письма *Г. И. Успенского* жене 7 августа 1893 г. Минувшие годы» 1908, № 4 стр. 15.

Дорогой Флорентий Федорович! Глубоко-глубоко виноват перед вами, что до сих пор, гораздо больше года, не писал вам. В последний раз мы виделись, кажется, в сентябре месяце прошлого года в лечебнице Фрея. Вы и Анна Михайловна были удивлены переменой в моем здоровьи «от света к мраку» и в таком-то мрачном настроении выехал я в Колмово, где и живу поднесь. Слава тебе, господи, мрак этот давно уже осветился многими счастливейшими событиями в моей жизни, в моем уме, в моей душе. Из пережитого с 1 июня пр[ошлого] года, до сентября — много-много следует «поведать миру», много-много следует написать.

Не все время жил я в Колмове. В прошлом году в ноябре был в Петербурге, и глубоко жалею, что не примчался к вам. В апреле месяце, в ясные весенние дни я пешком прошел от Колмова до Чудова — не забыть мне этих счастливейших дней. А с 5 мая по 9 июля прожил в Чудове с семьей. Захворав, опять приехал в Чудово, был 24 на именинах, а 29 и 30 провел в семье такие счастливейшие дни в моей жизни, каких не бывало со дня моей болезни.

Глубоко жалею, Флорентий Федорович, что я до сих пор ничего не поместил в «Русс[ком] богатстве», но скоро-скоро начну высылать Н[иколаю] Конст[антиновичу] частями начатый мной дневник. Пожалуй, что выйдет много нецензурного — Г[ерман] А[лександрович] Лопатин, В[ера] Н[иколаевна] Фигнер и другие великие люди Р. З. [4] Но я уверен, что сумею приноровиться к условиям цензуры, а писать буду сущую правду.

Непосланное письмо *Г. И. Успенского* Ф. Ф. Павленкову, Колмово 8 сентября 1893 г. (с рукописи Государственного литературного музея, в Москве папка 1055/1).

Дорогой Василий Михайлович! Не знаю, как мне искупить свою вину, — больше года не давал знать о себе, не писал писем, как идет мое лечение, и ничего не писал в «Русск[ие] вед[омости]». Не в этом главное дело, а в том, что в этот год много пережил, и, что лежало на душе, необходимо было писать именно вам, Александру Сергеевичу. Всю жизнь, лет двадцать, вы, дорогой Василий Михайлович, Александр Сергеевич да и вся редакция «Русск[их] ведомостей» непрерывно связаны с моей жизнью, и моя жизнь непрерывно связана с вашей жизнью, жизнью Александра Сергеевича. Сколько я познал «жизни» в поездках моих по России, — и все это благодаря вам, благодаря задушевным отношениям и взаимной глубокой любви.

В последние дни сентября я начал писать мои воспоминания,[5] и конца не вижу им — так много я пережил и так много видел на своем веку. Об Ив[ане] С[ергеевиче] Тургеневе, об М[ихаиле] Ев[графовиче] Салтыкове, о Вере Н[иколаевне] Фигнер, и многом множестве радетелей о русской земле, — первое, что будет приведено в порядок, непременно вышлю вам. Каждую минуту жизни моей в Москве помню, и ред. «Русских ведомостей» — моя родина. Глубоко любящий вас. Г. Успенский.

Из письма *Г. И. Успенского* В. М. Соболевскому, Колмово 12 сентября 1893 г. Сб. «Русские ведомости 1863—1813 г.г.», стр. 268.

...Наше знакомство не прерывалось вплоть до начала 90-х годов, то есть до его болезни. Впрочем, он был и на моем юбилее в 1894 году, так как в это время как раз было некоторое просветление в его болезни, хотя просветление это ограничилось тем, что он мог пребывать на свободе и в своей семье, мог сознательно прийти на мой юбилей, но в то же время в голове его все-таки был порядочный сумбур. По крайней мере, когда я подошел к нему на юбилее, он все время толковал мне о каких-то ангелах, летавших якобы над нашей головою.

А. М. Скабичевский.

Это было в один из его приездов из Колмова в Петербург. Он заезжал ко мне почти каждый день, а кроме того я в этот же приезд видел его дважды в больших собраниях, где он непременно хотел быть, несмотря на убеждения не ездить, на одном студенческом вечере в дворянском собрании и на большом обеде в ресторане (боюсь ошибиться, но, помнится, это был юбилей А[лександра] М[ихайловича] Скабичевского). На вечере молодежь, давно не видавшая своего любимца или даже только по писаниям знавшая его, окружила его густой стеной. Всегда застенчивый, тут он был особенно смущен, но вместе с тем приятно взволнован, взволнован так сильно, что его пришлось скоро увести. На обеде, или, точнее, после обеда, когда встали из-за стола и разбились по кучкам, волнение его достигло высшей степени, сначала он что-то шептал, а потом стал громко и возбужденно говорить о том, что все присутствующие — ангелы, и опять пришлось увести его. Ко мне он приезжал обыкновенно вечером и долго рассказывал о том, что с ним происходит и что еще будет происходить. Говорил, например, что видит на потолке или сквозь потолок

8 Сентября 93 г.

Колмово

Дорогой Флорентий Федорович! Глубоко-глубоко виноват перед Вами, что до сих пор, гораздо более года, не писал Вам. В последний раз мы виделись, кажется, в сентябре месяце прошлого года в лечебнице [illegible]. Вы и Анна Михайловна были удивлены переменами в моем здоровье, и от [illegible] «[illegible]» и в таком-то мрачном положении выехал в Колмово, где и живу по днесь. Слава тебе господи, мрак этот давно уже осветился многими счастливейшими событиями в моей жизни, в моем уме, в моей душе. Из переписки с 1-го Июня пр. года до сегодня — много много сведений «[illegible] миру», много [illegible] ~~написано~~

Не все время живу я в Колмове. В прошлом году в [illegible] был в Петербурге и глубоко [illegible], что [illegible] [illegible] Вам Вы [illegible] [illegible], в ясные весенние дни я [illegible] [illegible] от Колмова до Чудова — [illegible] [illegible] счастливейшие дни. А с 5 Мая по 9 Июля [illegible] в Чудове [illegible]. [illegible] 24

Ф. (он уже приехал в Колмово)

Начало письма Г. И. Успенского к Ф. Ф. Павленкову от 8 сентября 1893 г.
Гос. литературный музей в Москве.

звезды, и когда я спрашивал, отчего же я то их не вижу, да и никто, кроме него, не видит, он отвечал: «Мне это дано». — «Почему же, Глеб Иванович, вам дано, а мне не дано, и такому-то, и такому-то не дано?» — «Потому что я много пережил, чего никто не переживал, ведь вы знаете, я сумасшедшим был». И затем шел художественный рассказ о монахине Маргарите, которая являлась к нему с утешением и поддержкой. Иногда разговор начинался с какой-нибудь текущей житейской темы или с воспоминания о ком-нибудь или о чем-нибудь, но быстро переходил к тем же звездам, видимым сквозь потолок, или к другим предметам, которые ему «дано» видеть или ощущать. Так, он много раз возвращался к своей способности летать. Он утверждал, что ему «дано» дышать не так, как дышим все мы; он дышит всем телом, у него и ноги наполнены воздухом, и ему ничего не стоит подняться за облака и «быстро-быстро» долететь до любой звезды. На выражение сомнения он отвечал все тем же: «мне дано», и дано именно за пережитые им страдания. Свою способность летать он намерен был пустить в ход на благо всего человечества, и, говоря об этом, он рисовал грандиозную картину; когда настанет время, он видимо для всех поднимется на воздух и облетит вокруг земного шара, и этот подвиг так поразит людей, что все насильники и злодеи устыдятся, а все униженные и оскорбленные воспрянут духом, и на земле наступит царствие божие... В промежутках разговора он что-то шептал, но я не мог разобрать ни одного слова. Прощаясь, он всегда обещал скоро опять приехать, потому что ему еще много надо мне рассказать, но рассказывал опять то же самое с легкими вариациями. У него я избегал бывать, чтобы не попасть как-нибудь не во-время, а когда случалось, то слышал те же речи или, например, такие: возьмет, бывало, на руки своего младшего сына и предлагает мне убедиться что в нем нет веса, потому что он — ангел...

Н. К. Михайловский.

Первое время Глеб Иванович жил в семье д-ра Синани, старинного друга и большого почитателя его таланта. Но по мере того как болезнь стала ухудшаться, дальнейшее пребывание Глеба Ивановича в семейной обстановке становилось невозможным. В какое отделение поместить его? Глеб Иванович временами был очень беспокоен под влиянием бреда и живых, ярких галлюцинаций, он бывал даже аггресивен — как по отношению к себе, так и к окружающим. За ним, стало быть, нужен был неукоснительный

надзор и вместе с тем важно было избавить его от «бедлама» — беспокойного отделения, где его собственное беспокойство и бред нашли бы еще большую пищу. Задача была не из легких, но опытный психиатр, Б[орис] Н[аумович] Синани, разрешил ее как нельзя лучше. В Колмовской больнице было одно отделение, весьма симпатичное по своему назначению: «слабое» отделение. Оно было предназначено преимущественно для психически выздоравливающих больных... В это-то отделение и был помещен Успенский. Чтобы еще больше обособить его от больных, ему отвели особо две комнаты, отделенные от общего коридора полусветлой передней. Получилось нечто в роде отдельного аппартамента. Комната, в которой помещался Глеб Иванович, была достаточно просторная, светлая, с окном на р. Волхов. Летом из окна открывался мягкий, ласкающий вид на реку. На противоположном берегу Волхова красовался Деревеницкий монастырь, сверкали на солнце золотые купола его. Летом по Волхову то-и-дело ходили пароходы, плавали баржи, сновали туда и сюда лодки. А перед самым окном — чудная зеленая лужайка и клумбы цветов. Тут же, за окном, журча протекал ручей, омывавший «слабое» отделение, дом директора и далеко за домом, пробиваясь через сад, образовавший озерко, прозванное «соленым». Летом... Успенский целыми часами выстаивал у окна, прильнув к нему лицом и впиваясь вдаль своими грустными-грустными глазами. Волхов медленно катил свои воды, вдали мелькали силуэты движущихся пароходов, слышны были свистки, шум вертящихся пароходных колес. И Гл. Ив. нередко судорожно цеплялся за железные рамы, кричал, звал кого-то, порывался куда-то.

Комната была убрана просто, но уютно. Кровать у стены справа, мягкий диван, столик и несколько стульев. На столе две фотографические карточки: Александра Глебовича Успенского, старшего сына Глеба Ивановича, в форме института гражданских инженеров, и одной из дочерей, — кажется, Веры Глебовны.[6] Карточки эти доставляли огромную радость больному. Особенно карточка Александра Глебовича. Бывало, в сравнительно светлые промежутки, Глеб Иванович подолгу любовно смотрел на своего «Сашу», «великого князя, св. Александра Борисоглебского»; смотрит и не насмотрится, шепчет ему какие-то лишь Глебу Ивановичу ведомые слова... А то, случалось, позовет своего «дядьку» Андрея и начинает ему трогательно рассказывать, какой хороший, красивый, умный и талантливый его «великий князь, св. Александр». Будущее его блестяще,

ему суждено осчастливить родину... Из предметов роскоши надо еще назвать серебряный (или мельхиоровый) портсигар, на внутренней стороне которого были автографы ближайших друзей Глеба Ивановича: Н[иколая] К[онстантиновича] Михайловского, С[ергея] Н[иколаевича] Кривенко, А[лександра] И[вановича] Иванчина-Писарева и проч. Для ухода и присмотра за Глебом Ивановичем к нему была приставлена особая прислуга — крестьянин той деревни, где жил Успенский, по имени Андрей. Лучшего выбора не мог сделать д-р Синани. Это был идеальный служитель. Спокойный, ровный, выдержанный и сердечно-привязанный к Глебу Ивановичу, Андрей глаз не спускал с него, буквально няньчился с ним, спокойно выносил его капризы, нередко бурные вспышки его гнева. Одним словом, Андрей был «дядькой» Глеба Ивановича в полном смысле этого слова. И доставалось же порою этому «дядьке»! Как-то раз Глеб Иванович уже чересчур напал на своего Андрея, обругал его и полез было в драку. Вмешался д-р Синани: «Как это вы, Глеб Иванович, так обижаете Андрея? Ведь он так сердечно к вам привязан!» Глеб Иванович в первый момент совершенно растерялся, сконфузился, съежился, но вдруг выпрямился, добродушно-лукавая улыбка заиграла на его лице, и он воскликнул: «Обижаю! обижаю! так зачем же св[ятой] Андрей живет здесь? Зачем? Ему надо, непременно надо быть в деревне, пахать бесконечные пашни, а он (пренебрежительно брезгливый жест по направлению к кровати) чем занимается? Выносит... у...... к!». Выходило, что Андрей же виноват.

Все, что могло раздражать, возбуждать Успенского, питать его бред, — все это, по мере возможности, было устранено. Все же, что, наоборот, могло служить *нормальным* для него возбудителем, пускалось в достаточной мере в ход. Душа и тело одновременно укреплялись. Пищевой режим был вполне питательный и достаточный. Для Глеба Ивановича готовили особо. Дело в том, что Глеб Иванович не принимал совсем мясной пищи. Причина этого решительного отказа... лежала, с одной стороны, в болезненных ощущениях органов вкуса и обоняния, а с другой — в бреде его, очень стойком и систематичном. Вместо мясной пищи Успенский получал в изобилии молоко, яйца и растительные продукты (овощи, фрукты) в разнообразной форме. Такой пищевой режим, с преобладанием растительных веществ, действовал прекрасно, и за те годы, которые я пробыл в Колмове, не могу припомнить ни одного серьезного заболевания, не

считая временных обострений его застарелого геморроя. В хорошую погоду Успенский совершал продолжительные прогулки на вольном воздухе в окрестностях колонии...

Свидания Успенский имел только с своим сыном Александром Глебовичем. Помню, что за время пребывания моего в Колмове Александр Глебович посетил больного отца только два раза — в день его, Глеба Ивановича, именин. Да и эти два свидания не обходились без сильного возбуждения и бурных со стороны Глеба Ивановича вспышек и настойчивых требований взять его домой. Свидания эти были крайне мучительны для обеих сторон — и для отца и для сына, а потому, понятно, что они были сведены до необходимого минимума.

Помню хорошо тот день, когда я впервые встретился с Глебом Ивановичем. То было раннею весною 1895 года в Колмовской психиатрической колонии новгородского земства, куда я поступил ординатором. Здесь, в этой колонии, около двух лет уже находился безвыходно Глеб Иванович, постепенно угасая духовно. Наступил первый день моей визитации. Читатель легко может себе представить, с каким тяжелым чувством я готовился к ней. Помимо совершенно понятного и естественного чувства робости, неуверенности и тревоги, испытываемого всяким новичком в психиатрии, переступающим первый раз через порог больницы для душевнобольных, я еще испытывал и переживал в то время нечто большее — острую душевную боль семидесятника, готовящегося увидать духовную смерть самого дорогого, самого любимого «писателя-друга»...

Час визитации настал. Директор колонии, Б[орис] Н[аумович] Синани, а с ним и мы, ординаторы, пошли в обход. Зашли в «слабое» отделение и. не задерживаясь в нем, прямо направились в комнату Глеба Ивановича Успенского. Не успели мы перешагнуть порог, не успел д-р Синани назвать мою фамилию, как навстречу мне порывисто бросился Глеб Иванович и, судорожно сжав своими руками мою руку, взволнованно воскликнул: «Вы принесли с собой свет и тепло юга!» Я застыл на месте. А Глеб Иванович между тем насильно потащил д-ра Синани к столу и, взяв со стола длинный лоскуток печатной бумаги, весь испещренный столбцами каких-то цифр, — как потом оказалось, отрезок из календаря Гатцука, — стал ему «упорствуя, волнуясь и спеша», что-то объяснять... Беседа продолжалась минут 15—20. О чем говорил Глеб Иванович так горячо и так

горько? Как я ни напрягал своего внимания, как я ни впивался в каждое его слово, я ровно ничего не понял. Что-то тяжелое, спутанное в клубок, и большое, и важное, и мелкое, высокие порывы и почти наивно-детские желания, свет и мрак... Волнуется, бьет и трепещет больной, изнемогая от собственного бессилия. Отдельные слова, даже целые фразы были понятны, но в целом — сплошная загадка... Хорошо запомнил такие фразы: «Кто дал право Борису Наумовичу (это д-р Синани — О. А.) держать св[ятого] Глеба в бесконечном гробу? Как смел Б[орис] Н[аумович] задержать миллионы св[ятого] Глеба, предназначенные для бесконечных народных банков?» Помню еще, как Глеб Иванович с неистовством рвал бумажку в руках и как тыкал пальцем в цифры, поднося их почти под самый нос д-ра Синани.

Беседа кончилась. Глеб Иванович остановился посреди комнаты, словно в ожидании чего-то... Стоит, гордый, вызывающий, и одновременно робкий, жалкий и просящий.

Мы оставили Глеба Ивановича и пошли в другое отделение.

Хотя Успенский, как *исключительный* пациент, числился, так сказать, за директором колонии д-ром Б[орисом] Н[аумовичем] Синани, но... мне была предоставлена свобода входа к Глебу Ивановичу во всякое время. И я, конечно, воспользовался этой льготой в полной мере. Вскоре между мной и Глебом Ивановичем установились простые, хорошие, сердечные отношения, словно мы были давно знакомы, и нас связывало что-то прочное и глубокое. Он отлично знал, что я в Колмове не авторитетное, власть имеющее лицо, что существенной пользы, как *врач,* я ему принести не могу и, тем не менее, он меня буквально забрал в плен. Он не только с поразительной чуткостью и ловкостью перехватывал меня, так сказать, в отделении, когда я буквально прятался от него, чтобы вести свою текущую работу, но нередко бывал у меня на дому. Кроме того он завел со мною поистине колоссальную переписку.

За 1895 год у меня накопилось около сотни его писем, из которых преобладающее число адресовано мне («св. Иосифу» просто и св. Иосифу Аримафейскому). Письма эти помечены мною датами, когда они были написаны Успенским. Каждое письмо в отдельности, если и имеет значение, то только для специалиста-психиатра. Но все письма, вместе взятые, представляют интерес и для непосвященных, притом не только специальный, но и общественный: не только бред

Успенского выступает в этих письмах ярко, выразительно и довольно последовательно, но и генезис, исторический генезис этого бреда, составные его *элементы,* строительный материал его, как *рудименты бывшего здорового миросозерцания* Глеба Ивановича, так прямо и бросаются в глаза...

...Глеб Иванович забрал меня в руки. И должен еще сказать: забрал, так сказать, с слепым эгоизмом маленьких детей: только мне, дескать, принадлежи, мне, а не другим.

Может быть, у Глеба Ивановича это и не было эгоизмом, а, наоборот, разговоры со мной, его беседы представлялись ему большим, не личного характера делом («у св. Глеба царство огромное», «силы Глеба несокрушимые» и т. д.), а это, само собою, оправдывало его претензии на меня. И, действительно, Глеб Иванович не только о себе говорит, — нет. Он был постоянно ходатаем, заступником за других больных («Кто дал право Борису Наумовичу держать всех угодников божиих здесь, в этом бесконечном гробу» и т. д.). Да и в письмах он других не забывает. И это характерно — везде и всегда и даже в своем безумии Глеб Иванович оставался верен самому себе. Semper in motu: всегда в исканиях, тревогах, мятущийся и скорбящий о других... О чем мы говорили? О чем порою так горячо и долго спорили? Если бы посторонний человек находился за стеной и слышал наш разговор, то, я уверен, он принял бы нас за двух ревностных спорщиков, ведущих теоретический спор о вопросах философии, морали, социологии и политики. Где «пациент», душевнобольной», и где врач — он не разобрался бы. Глеб Иванович, душевнобольной, с распадающимся уже интеллектом, с опустошенной уже в значительной степени душой, — этот Глеб Иванович Успенский прямо поражал меня порою теми остатками своего мощного ума, той еще не поблекшей душевной красотой, которые, словно яркая молния, прорезывали его помраченное сознание...

Передать содержание наших многочисленных бесед, конечно, нет возможности, и я ограничусь лишь теми немногими, которые особенно сильно врезались в моей памяти и запечатлелись в моем сознании.

Я тихо вошел в комнату Глеба Ивановича. Он стоял у открытого окна, прильнув к переплету оконной рамы, и, видимо, с жадностью глотал свежий, ароматный воздух майского утра. Почуяв мое присутствие, Глеб Иванович быстро повернулся ко мне и, сжав до боли мою руку, взволнованно проговорил:

— Св[ятой] Иосиф, едем. Сейчас, сию минуту едем. Возьмите из банка 200 рублей.

Я взглянул на Глеба Ивановича. Перекошенное лицо, усиленные жевательные движения (это «насильственное» движение челюстями наблюдалось мною все время, пока я был в Колмове), тревога, тоска в напряженных глазах.

— Куда ехать, Глеб Иванович? — спросил я.

— В Чудово, св[ятой] Иосиф, а оттуда в Бологое. Там нас компания путешественников встретит, мы поздороваемся, обнимемся и разъедемся в разные стороны: мы — на юг, а те на север — отлично!

Я снова взглянул на Глеба Ивановича, и острая жалость обожгла меня. «Все тот же!» — подумал я. И вспомнился мне почему-то прелестный очерк Успенского «На травке», где рассказ ведется от имени Лиссабонского, которого тоже неудержимо тянуло в деревню, за тем, чтобы лечь на зеленую траву и забыться. И мне самому страстно захотелось «лечь и закрыть глаза». Я вдруг почувствовал страшную усталость и бессильно опустился на стул. А из окна, ликуя, глядело на нас чудесное майское утро. Природа пела победную песню жизни. От чуткой, трепетной души Глеба Ивановича не ускользнула эта песня природы, эта полнота жизни, это богатство звуков и красок.

Возбужденный, он стоял передо мной, теребя меня. Надо, непременно надо, отсюда... Из этого гроба бесконечного, куда загнали его враги его таланта. Где его силы могучие? Где его талант?

— Пропал талант, погубили, зарезали меня! — стонал Глеб Иванович.

Я не вытерпел и горячо сказал:

— Что вы, Глеб Иванович. Разве вы не сотворили себе памятника нерукотворного?

Горячий, убежденный тон моих слов произвел впечатление. Глеб Иванович встрепенулся и спросил:

— Какой памятник, св[ятой] Иосиф?

Я указал на его сочинения, как на громадную ценность, идейную и художественную, которою гордится мыслящая Россия, которою жила лучшая, боевая часть русской интеллигенции, осуществляя те высокие, благородные идеалы, которыми пропитаны его сочинения. Глеб Иванович заглянул мне прямо в глаза, точно он хотел проникнуть в мою душу. Лицо его на мгновение озарилось, просветлело, словно луч света проник в помраченное сознание, что-то неотразимо милое, хорошее, обаятельное засветилось в его глазах... Казалось, что он что-то припоминает, припомнил и... понял.

— Не то, не то, св[ятой] Иосиф, — спотыкаясь и с трудом произнося слова, заговорил Глеб Иванович, — не то! Не такая книга нужна, — другая, другая есть... должно быть, она при каждом новорожденном есть.

Я насторожился и, совершенно забыв, что предо мной душевнобольной, стал слушать его с захватывающим интересом. Он говорил много, туманно, крайне запутанно, то-и-дело соскакивал с рельсов и прибегал к совершенно неожиданным ассоциациям, порою образным и ярким, часто почти стереотипным. И тем не менее этот лабиринт суждений прорезывала какая-то светлая нить, по которой можно было из нее выбраться. Он говорил, что где-то есть, где-то скрыта «такая» книга — «великая», «святая» книга. Он знает, доподлинно знает это: ему это «дано». Он найдет эту книгу, непременно найдет, когда великие силы, мощь его бесконечная, будут развязаны... В «гробу» он теперь, «в бесконечном гробу». Иуда предатель держит его в этом гробу... А книгу эту он добудет и непременно добудет, и «будет свет и правда в людях»... И будет она, эта книга, при каждом младенце новорожденном, указывая ему жизнь бесконечную и правду бесконечную.

В саду поспели яблоки. Жена моя срезала несколько штук и послала их при записке Успенскому. Спустя некоторое время, на квартиру ко мне явился Андрей с запиской от Глеба Ивановича.

— Не хотят кушать, — добродушно смеясь, заявил Андрей, — и записочку вам, барыня, обратно прислали Глеб Иванович!

Что за оказия? Посмотрел на записку — записка жены, но с двумя характерными для Глеба Ивановича поправками: приставлена неотъемлемая частица «св.» (святой — ая) к словам «Глеб Иванович» и к подписи жены — «Евгения». Во время обхода я осведомился у Глеба Ивановича, почему он не ест яблок, присланных моей женой, на что получил спокойный ответ:

— Не ем, св[ятой] Иосиф, фруктов, *сорванных* или *срезанных* с дерева, ем только *палые*, которые *сами* пали.

Меня заинтересовали мотивы этого поведения, и я обратился к Глебу Ивановичу за объяснениями, и опять долго и много говорил Глеб Иванович, бессвязно, скачками и извивами.

...Он категорически и решительно отказался раз навсегда от мясной пищи, так как это обязательно связано

с пролитием крови, с насильственною смертью, с «скотобоем» и «душегубством» вообще. Не принимал он также, как мы уже знаем, и фруктов, сорванных или срезанных с дерева. Это тоже «душегубство». Протестовал всеми силами своей души против сенокоса и жатвы. Как-то раз Гл. Ив. увидел в окно, что косят траву. Боже! Что с ним сделалось! Он кричал, ругался, плакал, проклинал и довел себя до такого состояния возбуждения, что д-р Синани приказал немедленно приостановить косьбу, и она была окончена рано утром, пока Глеб Иванович еще спал. Глеб Иванович даже не мог видеть грубого, жестокого обращения с животными. Стоило только посмотреть на него в это время, чтобы убедиться, какую душевную боль он испытывал при этом. Он не позволял (себе и другим) ездить на лошадях, подымая по этому поводу прямо скандал...

Как-то раз я спросил:

— Если «грех» и «великий грех» косить траву, то как же быть мужикам без сена? Ведь без сена околеет скотина и мужик по миру пойдет?

Глеб Иванович посмотрел на меня серьезно и просто возразил:

— Нет, св[ятой] Иосиф! Ничего этого не будет. Когда трава погниет под корень, тогда и можно ее руками брать в охапки, сколько влезет. Отлично! Трава уже не живая, мертвая, — вот вам и корм для скота, — чего лучше!

...Я как-то был в пессимистическом настроении, совершенно упустив из виду, что имею дело с душевнобольным, особенно горячо и желчно стал спорить с Глебом Ивановичем. Я стал доказывать, что не любовь правит миром, а жестокая борьба, что без борьбы ничего добыть нельзя, ни самого элементарного права на сносное существование. Борьба, сила — говорил я, — является верховным принципом не только биологического, но и социологического существования.

— Наконец, что вы сделаете, Глеб Иванович, — закончил я в азарте, — когда в лесу или на поляне встретите волка с разинутой пастью и с горящими, как уголь, глазами? Волк голоден, свиреп, — что же вы добровольно в пасть к нему полезете?

Глеб Иванович на меня посмотрел. Не могу я забыть этого кроткого, глубоко жалостливого взгляда, брошенного на меня. Пауза. Я ждал, что возразит Глеб Иванович. Наконец он проговорил серьезно:

— Св[ятой] Иосиф, а кто же, кто именно сделал волка волком? Вы же это сделали!..

И замолчал.

Пришла пасха... Пришла весна, теплая, чудная, с теплом и лаской «играющего солнца»... Глеб Иванович тоже поддается общему настроению. Лицо его спокойное, мягкое, только в глазах та же вечная, никогда не умирающая скорбь. Сегодня эта скорбь не так сильна,— это скорей нежная грусть. Встретил нас всех приветливо. Не успели мы поздороваться, как обратился к Б[орису] Н[аумовичу] Синани с просьбой:

— Борис Наумович! Позвольте мне сегодня пойти во флигелечек к св. Иосифу, я давно уже не был там.

По обычно суровому лицу д-ра Синани пробежала тень, мягкая, нежная, в черных сверкающих глазах его засветилось что-то глубокое — смесь любви и жалости, горести и сострадания. Конечно, разрешение дано. Когда мы вышли из отделения, Б[орис] Н[аумович] Синани, обратившись ко мне, воскликнул:

— Глеб Иванович просит *позволения!* Как это тяжело!

Обход окончен. Не успел я притти домой, вижу Глеб Иванович бежит ко мне. Открыл дверь в переднюю — и остановился, словно пораженный. Как раз против входа виден был мой скромный кабинет с письменным столом и книгами на полках.

— У св[ятого] Иосифа библиотека, а у св[ятого] Глеба нету, — прошептал Глеб Иванович.

Жена моя ждала его на пороге гостиной. Глеб Иванович подошел к ней, обнял и много раз поцеловал. И опять сказал, обводя грустными глазами гостиную:

— У св[ятого] Иосифа есть богородица, а у св[ятого] Глеба нету!

Спустя минуту:

— И рояль есть и цветы, а у св[ятого] Глеба нет!

Я взглянул мельком на жену — на глазах слезы. А Глеб Иванович попрежнему стоял грустный, примиренный. Он все сознавал, сознавал свою окончательную гибель, свою отчужденность от людей — и примирился!.. Это тяжелое, мертвое чувство резиньяции я в первый раз увидел в тот день у Глеба Ивановича. И мне сделалось несказанно больно. Я поспешил его усадить и предложил ему что-нибудь поесть. Стол был убран у нас по-пасхальному. Быстро окинув все взором, Глеб Иванович отказался от еды и выпил лишь рюмку вина и чашку кофе. На столе, в стороне Глеб Ивано-

вич увидел «Русское богатство», — не помню, какую книжку. Он быстро схватил ее руками, пробежал оглавление, перелистал ее бегло и вяло положил обратно на старое место. Лицо осталось равнодушным. Не то, не то! — думал я, — не это нужно Глебу Ивановичу, а другая «книга», его книга. Над столом, на стене висели большие фотографические карточки — группа земских врачей, земских товарищей — сослуживцев в Саратовском уезде. На карточке изображена была земская амбулатория и эмблемы врачебной науки: чаша с обвивающейся вокруг нее змеей с высунутым жалом. Глеб Иванович и раньше, когда бывал у нас, видел эту карточку, но она не привлекала прежде его внимания, а в этот день он особенно был как-то наблюдателен, и эмблема передернула его всего; он брезгливо, почти с отвращением, быстро отвел от нее глаза и воскликнул:

— Змея, змея!

— Ведь это эмблема мудрости, Глеб Иванович.

— Эмблема мудрости, св[ятой] Иосиф?! Змея! Разве акушерской мудрости, св[ятой] Иосиф!

Мы рассмеялись и снова дружно уселись за стол. Жена села рядом с Глебом Ивановичем, и между ними завязался живой разговор. Он долго оставался у нас и был он все таким же, каким пришел к нам: тихим, любовным, грустным, сознательным и примиренным...

Со второй половины 1896 года Глеб Иванович стал заметно опускаться. Он сделался апатичным, вялым и безразличным. Все лежал в постели и что-то бормотал бессвязно — то тихо, шопотом, то вполголоса. От лежанья волосы на затылке совсем свалялись. При входе он почти не вставал, не вступал в разговор, не жаловался, не протестовал. Письма совершенно перестал писать, и мне тоже ничего не писал. Болезненный процесс совершил-таки свое разрушительное дело. Яд постепенного душевного оскудения разлился по его душе и разъел ее, опустошил, вытравил. Душевный мрак настал, полный, бесповоротный, страшный. Погасло солнце.

О. Аптекман, «Глеб Иванович Успенский», «Задруга», М. 1922. «Страничка из «Скорбного листа» Г. И. Успенского (по личным наблюдениям и воспоминаниям)». [7]

Несколько лет тому назад судьба свела меня с г. X, известным врачом-психиатром, долгое время стоявшим во

главе Новгородской земской психиатрической больницы, где находился Глеб Иванович Успенский.

Доктор Х, хорошо известный в литературных кружках, обставил существование Глеба Ивановича возможно лучше и покойнее. Больного часто навещали члены его семьи, и только «посторонние» и «любопытствующие» к Глебу Ивановичу не допускались.

Находили на Глеба Ивановича светлые минуты успокоения, и в это время он с грустью говорил о прошлых днях, о судьбе русского писателя и много говорил о судьбе русской деревни. В его отрывочных, часто бессвязных словах всегда слышалась грустная нотка и всегда чувствовалось любовное отношение к народу, которому покойный отдал всю свою жизнь и посвятил свое прекрасное дарование.

Когда в минуты сознания больному говорили, что наступит время, когда он оправится и снова примется за работу, болезненно горевшие и полные грусти глаза Глеба Ивановича орошались слезами и он говорил:

— Глеба Ивановича нет, Глеба Ивановича нет, отлетела душа, нет разума, только тело одно...

И снова он впадал в забытье, забивался в угол, складывал на груди руки, — его любимая поза, — и в его больном, но все еще прекрасном взоре чувствовалась тяжелая, подавляющая тоска.

Глеба Ивановича всегда сокрушала тоска.

— Мне кажется, — говорил мне врач, лечивший Г. И., — что в его ненормальном взоре и резких движениях скрывалось что-то возвышенное и благоразумное, которое он не в силах был передать...

Потом врач Х, покинул земскую больницу.

— Я пришел к Глебу Ивановичу проститься. Тяжела для меня была эта разлука, я привязался к нему, так как и в его болезненном состоянии все же чувствовал его прекрасную душу.

— Прощайте, Глеб Иванович.

— Как прощайте? Уезжаешь? Зачем? куда? совсем?.. — забросал меня вопросами Г. И. — Возьмите меня с собой, возьмите.

Глеб Иванович точно чувствовал, что с отъездом прекрасного, гуманного врача его положение ухудшится, и «предчувствие» его оправдалось.

Уехал врач Х. В больнице появились новые лица, пошли новые порядки.

Без всякого повода и основания стало развиваться «паломничество» в больницу, где находился Гл. Ив., его стали

выводить на показ, «любители»-фотографы даже фотографировали его.

Был случай, когда в больничной конторе собралось несколько «любопытных», ради которых было отдано приказание:

— Привести сюда больного Успенского...

Больного, с измученным лицом, привели Глеба Ивановича, а один из досужих репортеров интервьюировал... Потом в одной из петербургских газет появился странный фельетон о том, что Глеба Ивановича стали забывать не только его друзья, а также семья.

Это был возмутительный, ни на чем не основанный упрек по адресу жены, детей и друзей Глеба Ивановича.

Незаслуженный — потому, что жена и дети Глеба Ивановича боготворили его, и вся их жизнь, все их существование были надорваны и отравлены болезнью их знаменитого мужа и отца.

Положение Глеба Ивановича стало совсем невыносимо, и семья решила перевести его из Новгородской больницы в Новознаменскую. Г. И. перевезли через Петербург.

Приехал он поздно вечером. Согбенный, с печально устремленным вдаль взором, с тяжело поднимающейся грудью он нервно вышел из вагона, в сопровождении членов своей семьи. К нему подошел С[ергей] Н[иколаевич] Кривенко, много лет работавший с Г. И. и боготворивший его.

— Глеб Иванович, узнаете меня?

Г. И. пристально стал смотреть на С[ергея] Н[иколаевича], и потом, как бы вспомнив его, сказал:

— Как же, как же, это вы, Сергей Николаевич! Пропал я, погиб, совсем погиб.

Все встречавшие Г. И. плакали.

М. Городецкий, «Памяти Г. И. Успенского». «Новости и биржевая газета» 1902, № 84, от 26 марта.

Состояние здоровья Гл. Ив. Успенского. (Письмо в редакцию!)

В виду неверных сведений о здоровье Г. И. Успенского, время от времени сообщаемых в газетах, семья больного просит нас напечатать следующее письмо главного врача Спб. городской больницы-колонии на Новознаменской даче:

Глеб Иванович Успенский 18 марта 1900 года переведен из Колмовской лечебницы новгородского земства в

С.-Петербургскую городскую Новознаменскую больницу (на 16—17 версте по Петергофскому шоссе, между ст. Лигово и Сергиево), где и сейчас находится.

Сопровождали его из Колмовской больницы близкие родные и его старый служитель Андрей, который оставался при больном еще в течение нескольких недель, после чего, сославшись на свой преклонный возраст и усталость, пожелал уехать к себе на родину.

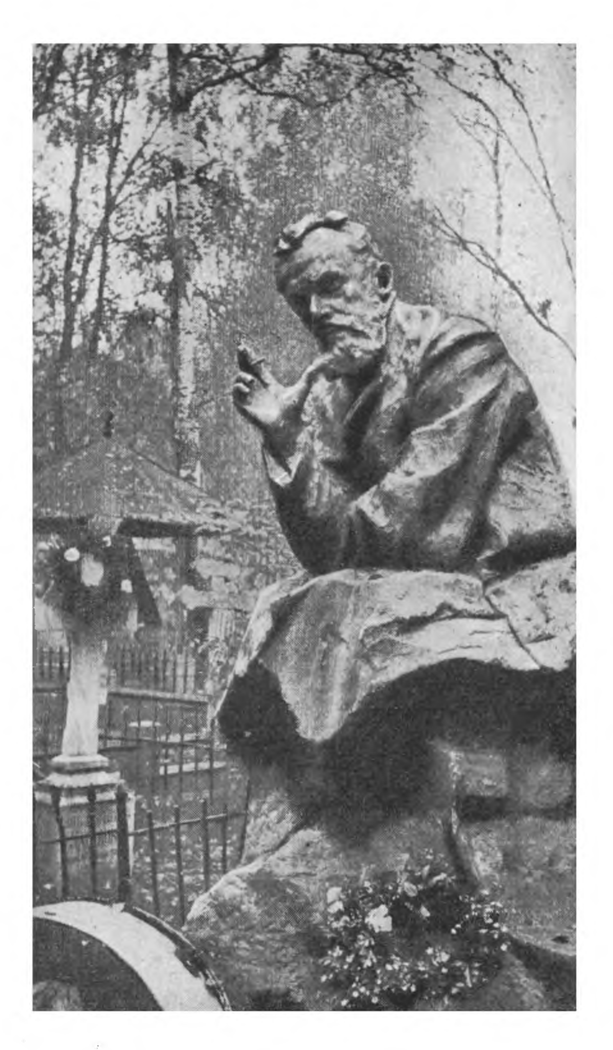
Помещение Глеба Ивановича состоит из двух светлых, просторных комнат, обставленных по-домашнему, с возможным для больного удобством. Комнаты Глеба Ивановича имеют отдельный выход на лестницу. При больном и днем, и ночью установлено отдельное сменное дежурство из 3 человек служителей, которые, в свою очередь, контролируются надзирателями. Благодаря такому выделению дежурств Глеб Иванович имеет возможность, не стесняясь больничным режимом, располагать своим временем сообразно своим привычкам. Эти отдельно поставленные служители обязаны сопровождать его и на прогулки в любое время, как в пределах больничной усадьбы, так и вне ее, хотя в последнем нет особой надобности, потому что Новознаменская больница владеет 182 десятинами земли и представляет из себя старый парк, сливающийся с сосновым лесом. Особенно много больной был на воздухе прошлым летом. Кроме прогулок на воздухе Глеб Иванович посещает, по предложению врачей, разные развлечения, устраиваемые для больных.

О состоянии его душевного здоровья, к сожалению, мало можно сказать утешительного: его болезнь признана неизлечимою и хотя медленно, с временными улучшениями и ухудшениями, но прогрессирует.

Физическое здоровье в общем удовлетворительно, но уже с конца 1899 года, еще во время нахождения больного в Колмове, появились некоторые угрожающие симптомы, заставляющие всегда быть готовым к неприятностям и опасным осложнениям.

В дополнение — маленькая подробность: с 7 декабря 1900 года Глеб Иванович, будучи сильным курильщиком табаку, сразу прекратил курение и до сих пор ни разу не заявил о своем желании получить папиросы. Между тем, такое лишение привычного яда ничуть не отозвалось вредно на его организме, напротив — замечены были некоторые благоприятные симптомы в его здоровьи.

Н. Реформатский, «Русское богатство» 1901, № 4, стр. 204—205.



Памятник на могиле Г. И. Успенского
на Волковом кладбище, работы Шервуда

...Я еще раз увидала его... в гробу, в церкви Волкова кладбища.[8] И чудное дело: лицо его опять преобразилось. Когда сняли крышку с гроба, как снимают футляр с драгоценного инструмента, он лежал как будто нетленный, — попрежнему гармоничный и ясный, но уже холодный, немой, без жаркого трепета своих чутких, теперь навсегда неподвижных струн...

...Церковь, улица, кладбище — все было полно. И какая странная, как будто на подбор стекавшаяся толпа!.. Нервные, одухотворенные, но болезненно-усталые или угрюмо-ожесточенные лица, изможденные, бледные... и как-то царственно-горделивые... Фигуры надломленные... Мужчины и женщины без цвета лица и без возраста, но без робких движений... Одеты все одинаково, в черном и темном, простом, без притязаний на моду и без заботы о том, как и во что одеты. Разговоры тоже как будто бы странные: воспоминания о Сибири, тайге и тюрьме... Толпа каких-то разночинцев — из «благородно-голодных», как тот, которого хоронили без чинов и без титулов, но с отметкой полиции: «неблагонадежный», «административно-сосланный», «помилованный»... преступник в прошедшем и, может быть, снова в будущем... не узнанный беглый, бесстрашно явившийся отдать последний долг «печальнику горя народного», под угрозой поимки и задержания, — вот из кого главным образом состояла эта многотысячная толпа! Точно особая какая-то н а ц и я, — с своим культом, с своими заветами и преданиями, с своим таинственным языком, непонятным для непосвященных в их тайны...

В. В. Тимофеева.

ПРИМЕЧАНИЯ

К главе первой

[1] Автор воспоминаний, Соколов, Дмитрий Глебович (литературный псевдоним — Дм. Васин) — дядя Глеба Успенского со стороны матери и, как один из младших в большой семье Соколовых, почти сверстник Глеба Успенского, товарищ его детства. «Я рос с Гл. Ив—чем, — говорит в своих воспоминаниях о нем Д. Г. Соколов, — при одинаковых почти условиях, жил чуть не под одною кровлею и учился некоторое время в одной и той же гимназии» («Глеб Иванович Успенский, биографическая заметка», «Русское богатство» 1894, № 6, стр. 46). Кроме указанной биографической заметки, написанной еще при жизни Успенского, когда он находился в психиатрической лечебнице, Д. Г. Соколовым напечатан после смерти Г. И. очерк «Детство Глеба Ивановича Успенского», «Новости и Биржевая газета» 1902, № 109, 22 апреля ст. ст. Сообщения Д. Г. Соколова являются, на ряду с немногими документальными данными, сохранившимися в семейном архиве Успенских, важнейшим источником сведений о детстве Г. И. Успенского и о семейном окружении ранних лет его жизни. При незатейливой простоте бесхитростного рассказа о происхождении Г. И. Успенского и отдельных моментах его детских лет записки Д. Г. Соколова в ряде отдельных случаев устанавливают генетическую связь между впечатлениями той поры и позднейшими художественными образами писателя. Пользуясь в биографических заметках некоторыми произведениями Успенского, поскольку в них отражены впечатления раннего детства писателя, Д. Г. Соколов, однако, оговаривает, что на ряду с подлинными семейными воспоминаниями здесь введено много не имеющего с ним ничего общего. Сообщениями Д. Г. Соколова, как заслуживающими доверия, пользовался в посмертных статьях об Успенском Н. К. Михайловский, на них опирались и позднейшие биографы Успенского — Н. А. Рубакин, В. Е. Чешихин и другие.

[2] По словам Д. Г. Соколова, именно Семен и обрисован Г. И. под фамилией Толокончикова в главах X, XI, XII и XIII «Нравов Растеряевой улицы».

[3] Здесь автор (Д. Г. Соколов) говорит в третьем лице о себе самом.

[4] Эти показания, записанные д-ром Синани, представляют собой отдаленную реминисценцию больного уже Успенского его ранних, детских впечатлениях от семейного окружения. Как справедливо отмечено Н. А. Рубакиным в его «Материалах к биографии» Г. И. Успенского (Собр. соч., изд. А. Маркса, т. II), к этим показаниям уже безнадежно больного Г. И. надо «отнестись с большой осторожностью». Архимандрит, умерший сумасшедшим, — это Н. Успенский (в монашестве Амвросий). О самоубийствах среди братьев отца Г. И. Успенского Д. Г. Соколов, давший подробные сообщения о них, не говорит. Утверждение д-ра Синани, что симпатии Г. И. «лежат всецело на стороне материнской линии», находит себе некоторое подтверждение

в других записях. Так, в «Отрывке из автобиографических записок» («Былое» 1907, № 10, и «Минувшие годы» 1915, № 2), о времени написания которых можно только догадываться (скорее всего это время уже начала болезни; см. ниже примечание 10 к главе первой). Успенский тепло отзывается обо всех Соколовых (братьях матери): «Был художник, артист, Михаил Глебович, удивительный скрипач, Дмитрий Глебович, впоследствии виолончелист, учился у Давыдова. Все решительно писали в «Современнике» и «Искре». Еще раньше, в неотосланном письме к Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г. (Русская мысль» 1911, № 7, стр. 10—22), Г. И. Успенский с некоторой фамильной гордостью писал: «Из нашей семьи четверо человек печатались в «Современнике» времени Добролюбова». Кроме Н. В. Успенского и самого Глеба Ивановича в «Современнике» печатались, по справке В. Е. Чешихина («Г. И. Успенский. Биографический очерк», стр. 17), Д. Г. Соколов (1865, № 3 — «Сарыч») и В. Ф. Соколов (1853, т. 37, стр. 225—328 «Рыженькая» и 1863, т. 98, стр. 509—519, — «Голубятники. Очерк из жизни тульских оружейников»).

[5] Эти сообщения Н. В. Успенского об И. Я. Успенском энергично оспаривались глубоко возмущенным ими Д. Г. Соколовым (Васиным). Между тем сам Д. Г. Соколов в приведенном в тексте нашей книги отрывке из его «биографической заметки» допускает, что в отношении так называемых «доброхотных даяний» И. Я. Успенский силою времени вынужден был плыть по течению. Настаивая, далее, на «альтруистических качествах отца Г. И.», Д. Г. Соколов отмечает, что указание на них «можно встретить даже в этих воспоминаниях Н[иколая] В[асильевича] У[спен]ского, где он, называя Ив[ана] Я[ковлеви]ча «богатым Лазарем», говорит, что Ив[ан] Я[ковлевич] «благодетельствовал своим присным (а их легион)». Поэтому несмотря на то, что вообще в воспоминаниях Н. В. Успенского имеются в некоторых случаях определенные искажения действительности и прямо фактическая неправда, рассказы Н. В. Успенского об отце Г. И. в отрывке, приведенном в тексте, не могут быть целиком исключены как недостоверные. Все дело здесь в тоне и характере передачи.

[6] Сам Успенский в автобиографических сообщениях указывал год рождения 1840, 14 ноября (Собр. соч., изд. Маркса, т. I, стр. VIII — «Автобиография»). Время написания автобиографии в точности не установлено. Составлена она, по словам Михайловского, для Ф. Ф. Павленкова, думавшего издавать биографию Успенского» (изд. Маркса, т. I, стр. LXV). Эта дата принималась в «Истории новейшей русской литературы» А. М. Скабичевским и другими. Оттуда вошла в справочные издания. В заметке Д. Г. Соколова дата рождения Г. И. твердо заявлена 13 октября 1843 г. Д-р Синани, лечивший Г. И. Успенского в Колмовской больнице, в 1894 г. записал в своем дневнике о больном: «Относительно дня его рождения, которое, по словам его двоюродного брата, автора заметки, неверно показано у Скабичевского, Г. И. дал следующие объяснения. Родился он действительно не 14 ноября, а 13 октября. Скабичевский введен в ошибку тем, что Г. И. празднует день своего рождения 14 ноября Стал он это делать в виду того, что 15 ноября — день рождения Михайловского. Он выбрал для себя 14 ноября, чтобы праздновать его вместе с Михайловским, чтобы празднество шло два дня под ряд, как бы без перерыва, слитно. Год рождения 1840, а не 1843». Уже Михайловский высказывал сомнение, что год рождения Г. И. Успенского 1840, склоняясь к данным Д. Г. Соколова: «родился, кажется, в 1843 г.». Архивная справка Парадиева окончательно утверждает правильность сообщения Д. Г. Соколова.

[7] По сообщению Д. Г. Соколова, приведенному в тексте, отец Г. Ф. Соколова, Фома Львович, был священником Тверской губернии.

[8] В «Русском вестнике» за 1865 г., т. 58 (август) напечатаны «Рассказы очевидца о происшествиях в Новгородской губернии во время холеры» Г. Ф. Соколова.

[9] При печатании текста отрывка сделана сноска: «Т. е. в Калугу, где Гл[еб] Фомич служил в палате государственных имуществ». См. об этом в рассказе Д. Г. Соколова о детстве Г. И. Успенского («Новости» 1902, № 109).

[10] В журнале «Былое» [1907, № 10] был напечатан «Отрывок из автобиографии Глеба Успенского», переданный в редакцию сыном писателя Б. Г. Успенским. Этот автобиографический отрывок напечатан здесь с пропусками слов, оставшихся неразобранными. Он представляет собой лишь черновой набросок схемы автобиографии, без даты. Изложение ведется в третьем лице. Кроме того бросается в глаза обрывистость, бесформенность, подчас просто бессвязность изложения. В. Е. Чешихин высказал подозрение, что отрывок этот написан Успенским уже в состоянии душевной болезни («Г. И. Успенский, Биографический очерк», М. 1929). При датировке текстов Г. И. Успенского, тщательно проработанной Р. П. Маториной (см. указатель в изд. «Сочинения и письма Глеба Успенского в одном томе», Госиздат 1929—1930 г.), этот текст помещен среди сочинений, время написания которых не поддается определению даже с приблизительной точностью. Тем не менее этот документ имеет значительную ценность для изучения биографии Г. И. Успенского, особенно при чрезвычайной скупости собственных показаний Г. И. о своей жизни. Эти автобиографические отрывки несколько дополняют данные автобиографической заметки Успенского, написанной им для полного собрания сочинений, изд. Ф. Ф. Павленкова и напечатанной лишь в 1902 г. Н. К. Михайловским («Русское богатство» 1902, № 4 и при Собр. соч., изд. А. Маркса, 1908, т. I).

Кроме этого автобиографического отрывка в семейном архиве Успенских сохранились еще отрывки воспоминаний Г. И., опубликованные В. Е. Чешихиным в «Голосе минувшего» 1915, № 3 (статья «Гл. Успенский в его переписке»). Этот небольшой мемуарный отрывок — менее одной печатной страницы — также без даты, по мнению В. Е. Чешихина, «относится ко времени назревшей уже душевной болезни и носит обычные черты почерка больных прогрессивным параличом: таковы ошибки и пропуски букв и целых слогов. Пользование этим документом возможно лишь с крайней осторожностью». Есть основание предполагать, что этот автобиографический отрывок представляет собой схематический набросок воспоминаний, начатых в период болезни. В письме к В. М. Соболевскому от 12 сентября 1893 г., когда Г. И. был уже в Колмовской больнице и оттуда, летом этого же года, ездил с сыном А. Г. в Нижний-Новгород, он, между прочим, писал: «В последние дни сентября я начал писать мои воспоминания — и конца не вижу им — так много я пережил и так много видел на своем веку, — об Ив[ане] С[ергеевиче] Тургеневе, об М[ихаиле] Ев[графовиче] Салтыкове, о Вере Н[иколаевне] Фигнер, и многом множестве радетелей о русской земле...» (сб. «Русские ведомости» 1863—1913 гг.», М. 1913; В. А. Розенберг, «Г. И. Успенский в годы безвременья (из переписки восьмидесятых годов)», стр. 265—266. Почти совершенно то же писал Успенский и в письме от 8 сентября 1893 г. к Ф. Ф. Павленкову (не посланном), которое находится

в архиве Государственного литературного музея в Москве среди других материалов, принятых из семейного архива Успенских. Среди «радетелей о русской земле» здесь названы: Г. А. Лопатин и В. Н. Фигнер. Некоторые из этих лиц упоминаются и в отрывке. Характерно в нем не только отсутствие четкости и точности, но сбивчивость, расплывчатость и тусклость реминисценций (встречаются прямые фактические ошибки памяти в именах и лицах). Все это укрепляет предположение о написании отрывка в период наступления болезни. Год рождения Г. И., в противоположность автобиографической записке для Павленкова, поставлен здесь 1843, однако — 14 ноября, а не 13 октября, как в копии метрики и у Д. Г. Соколова, а также в сообщениях самого Успенского д-ру Синани в Колмовской больнице (см. выше прим. 6). Несмотря на некоторые фактически неточные сообщения в записях здесь Успенского, этот документ ценен для его биографии припоминаниями самим Успенским наиболее значительных для него впечатлений жизни, сохранившихся в ослабленном болезнью сознании. Использован документ этот может быть только в отдельных частях. Много мест не разобрано. многое остается темным.

Кроме указанных выше автобиографических текстов Успенского, уже опубликованных, имеется еще отрывок воспоминаний в архиве Государственного литературного музея (папка 1256/1). Датирован он «1893 г. августа 22», с пометкой в углу страницы — «Первая тетрадь»; имеет заголовок «Мои дети» и касается главным образом впечатлений жизни в Париже, встреч с И. С. Тургеневым и Г. А. Лопатиным. (Приведен далее в тексте, в начале главы VI-ой).

[11] «Из памятной книжки. Парамон Юродивый», за подписью Г. Иванов, напечатано в «Отечественных записках» 1877, № 4. У Д. Г. Соколова среди его «Рассказов и очерков» (Спб. 1877) имеется очерк «Юродивый», прототипом которого явился, повидимому, тот же Еремей. Но в противоположность «Парамону», опоэтизированному Успенским в образе страстотерпца-праведника, спасающегося своим пассивным протестом (подвигом юродства) от неправды окружающей обывательщины, у Соколова юродивый обрисован хитрым тунеядцем, обманщиком и ловким ханжой.

[12] «Зимний вечер» был напечатан за подписью Успенского в «Библиотеке для чтения» 1865, № 1. Автором помечен 9 декабря 1864 г. Здесь, между прочим, фигурирует и Баранова улица, на которой (в Туле) был дом отца И. Я. Успенского, и Хлебная площадь, на которой помещалась Тульская гимназия, где учился Г. И., и многие другие аксессуары биографии Успенского вместе с богомолкой «Гавриловной».

[13] Буквально то же, как увидим далее, сообщает и другая сестра Г. И., Александра Ивановна Бугославская, о времени пребывания Г. И. Успенского в черниговской гимназии, куда он был переведен в 1856 г. От этих беспрестанных и горьких слез детства Успенского творческий резонанс слышится во многих местах его очерков и рассказов. Об этом встречаем в «Наблюдениях Михаила Ивановича», в рассказе Черемухина: «Что значат эти бесконечные слезы, которые я проливал среди мертвой тишины всеобщего сна и которых не могли унять никакие просьбы, обещания, угрозы, на помощь которым так охотно приходили наши зимние вьюги, стучавшие неприязненной ставней и гудевшие в трубе?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человеческая природа моя протестовала против этой нечеловеческой жизни, которая была кругом меня». Также в рассказе «На старом

пепелище» автор упоминает об этом детском плаче «от бессознательной тоски».

[14] «Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный; я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там уже позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо ставят мне отличные отметки». Д. Г. Соколов, отмечая автобиографический характер этого места очерка Успенского «На старом пепелище», все же считал необходимым оспаривать его подлинный смысл. Утверждение Г. И. Успенского, что «явно несправедливо ставили ему отличные отметки», «верно — пишет Д. Г. Соколов, — разве только отчасти, так как отец Гл[еба] И[ванови]ча, сам превосходно учившийся когда-то, желал, чтобы и сын его не ударил лицом в грязь, а потому, несмотря на свой тяжкий канцелярский труд, находил еще время заниматься с сыном; всегда следил за его уроками, и когда совсем уже не стало хватать у него времени на эти занятия, нанимал репетиторов. Так что хорошие баллы Гл. И—ч получал просто-таки потому, что хорошо учился, подачки же гимназическому начальству давались единственно для того, чтобы к ученику относились справедливо, чего могло и не быть... Правда, подачки эти спасали от розги, процветавшей еще в наше время, но только в известных случаях, как, например, за леность, за небрежность и т. п. За единицы обыкновенно пороли по субботам розгами, но нам, давальщикам приношений, ставили вместо единицы два с минусом и оставляли без обеда до 6 часов («Русское богатство» 1894, № 6, стр. 54). Сестра Г. И. Успенского, Е. И. Марченко, дала, с своей стороны, такое объяснение по вопросу об избавлении мальчика Глеба Успенского от телесных наказаний в гимназии: «Глеб был мальчик ужасно впечатлительный, — рассказывает она о гимназическом времени в жизни брата, — в высшей степени деликатный; всякая грубость, несправедливость отражались плохо на его здоровьи. В то время в гимназии и в других школах секли детей за неуспехи, и это ужасно действовало на Глеба; он и так-то не был крепкого здоровья, поэтому часто бывал болен, но все-таки учился хорошо... Если бы не Митя, плохо было бы Глебу с маршировкой (военной гимнастикой). Глеб любил больше читать, рисовать, а Митя, наоборот, любил и маршировку и военные упражнения. И вот у нас каждый день после уроков происходили такие упражнения, и мы добросовестно шагали с палками на плече, разумеется, и Глеб должен был принимать участие — вот, может быть, поэтому ему и не доставалось на «учении» (сообщено В. Е. Чешихиным в «Биографическом очерке», стр. 28).

[15] Отзвуки, несомненно, этих «острожных» впечатлений художественно претворены Успенским в очерке «Волей-неволей» — в рассказах Тяпушкина о своем детстве: это «рябая, нештукатуренная стена острога», «из незагороженного стенного окошка виден был такой же рябой и такой же страшный своею плоскою невыразительностью фасад острога, страшный, как страшно рябое лицо человека, на котором оспа изгладила выражение», далее вызовы к «сквозь строю», жуткие картины экзекуций и т. д.

[16] Volens-nolens (лат.) — волей-неволей, хочешь-не хочешь — излюбленные словечки Г. И. Успенского.

[17] 29 июля и 25 августа 1903 г. в Архивной комиссии г. Чернигова П. М. Добровольским был сделан доклад: «К биографии Г. И. Успенского» — архивная справка по материалам архива черниговской гимназии и воспоминаниям сестры Глеба Успенского, Александры Ивановны

Бугославской, проживавшей в г. Чернигове и сообщившей Добровольскому свои воспоминания об этом периоде жизни ее брата. Все это вошло в брошюру П. М. Добровольского. «Материалы для биографии Глеба Ивановича Успенского» (Чернигов 1905, изд. черниговской губернской архивной комиссии). За утратою экземпляра этого издания в Публичной библиотеке СССР им. Ленина, документы и сообщения брошюры П. М. Добровольского включены в нашу книгу не с первоисточника, а с перепечаток их у Н. Бирского («Русские ведомости» 1907, № 217) и М. Могилянского («Глеб Иванович Успенский в черниговской гимназии», «Всемирный вестник» 1904, № 4).

[18] В черниговскую гимназию Г. И. Успенский перешел в четвертый класс, где и остался на второй год.

[19] Бугославской.

[20] «Не начало ли перемены» — в «Современнике» 1861, № 11.

[21] Это сообщение приводится лишь как слух, не проверенный и не поддающийся проверке при данном состоянии литературного архива Глеба Успенского.

К главе второй

[1] «Зритель общественной жизни, литературы и спорта»», (Москва) выходил еженедельно, редактор С. П. Калошин. Г. И. Успенский начал печататься здесь в 1862 г., № 46 («Идиллия. Отцы и дети»; ценз. разрешение 9/X 1862 г.) Этот рассказ напечатан почти одновременно с первым (как и он сам считал) написанным Успенским рассказом «Михалыч» (ценз. разрешение 26/X 1862 г.). Далее, в «Зрителе» Успенский печатался в 1863 г., №№ 14, 15 — «Под праздник и в праздник», в № 21 — «Народное гулянье в Всесвятском», в № 24 — «Гость» и в № 26 — «На бегу», последний рассказ — за подписью «Братья Гипподромовы» (по сообщению М. И. Петрункевича В. Е. Чешихину, это совместный псевдоним Г. И. Успенского и его товарища Н. П. Солонины).

[2] Автор употребляет здесь названия произведений Успенского для обозначения мест и периодов его жизни. Очерк «На старом пепелище» («Отечественные записки» 1876, № 10, за подписью «Г. Иванов») действительно сильно насыщен автобиографическими моментами. «Разорение» («Отечественные записки» 1869, №№ 2, 3, 4) в собрание сочинений включено с некоторыми изменениями в общую серию того же названия с подзаголовком «Очерки провинциальной жизни», где собственно «Разорение» составляет часть первую «Наблюдений Михаила Ивановича» (гл. I — XII), часть вторую — «Тише воды, ниже травы» и третью — «Наблюдения одного лентяя». «По первоначальному плану «Разорение», — как пояснил сам автор, — должно было составить одну общую работу, в которую должен был войти весь материал, распавшийся потом на три части. Обстоятельства чисто личного характера заставляли меня часто на долгое время прерывать работу и, когда она потом началась после значительного перерыва, — придать ей форму работы самостоятельной, как будто бы она не имела никакой связи с рядом предшествовавших очерков».

[3] Михаил Глебович Соколов, как указывалось, отображен Успенским в образе Вани Птицына в «Наблюдениях Михаила Ивановича». Как сообщил Д. Г. Соколов, самое умирание М. Г. Соколова происходило «на глазах» Г. И. Успенского, который «в то время был в Туле».

[4] Д. Г. Соколов, спутник детских лет Успенского, в последующие годы (с переездом семьи Успенских из Тулы в Чернигов) наблюдал жизнь Г. И. издали, по слухам. Поэтому о перипетиях юности Успенского Д. Г. Соколов сообщил здесь слишком обще и неполно. Вообще в биографических материалах этот период жизни Успенского, особенно первые годы после окончания гимназии (1861—64 г.) освещены недостаточно, с значительными пробелами в самых фактических данных. В силу этого и в разных свидетельствах о жизни Успенского этого периода, в отрывках воспоминаний и писем, приведенных далее в настоящей главе текста, отсутствуют достаточная увязанность во времени различных этапов биографии. Последовательность фактов внешней биографии Успенского этих лет устанавливается, до некоторой степени, помещаемой далее частью отрывка из автобиографии Глеба Ивановича, относящейся к этому периоду его жизни.

[5] «Отрывок из автобиографии» Глеба Успенского, несмотря на то, что он, по всей видимости, написан в пору наступившей болезни (см. прим. 10 к главе I), все же дает хотя бы краткую автобиографическую канву 1861—1866 гг. (по годам) с некоторыми неточностями и неясностями. Отрывок напечатан здесь с исключением мест оборванных, недописанных и (в связи с неразобранными при публикации документа словами) совершенно темных, а также с исключением незначительных вводных мест.

[6] 19 февраля 1861 г. — дата подписания Александром II положения об освобождении крестьян от крепостной зависимости. У Г. И. Успенского «19 февраля» — условное обозначение очень сложного социально-исторического комплекса (то же в «Автобиографии», написанной для изд. Ф. Ф. Павленкова, — «настал 61 г.»).

[7] В Петербургский университет (на юридический факультет) Успенский поступил в 1861 г. и уже в декабре, вследствие закрытия университета во время студенческих волнений, был уволен. В Москву он переселился уже в 1862 г. (осенью), подав прошение о приеме в университет на второй курс, но денег не мог внести. В конце этого же (1862) года Успенским напечатаны его первые рассказы («Михалыч», «Идиллия. Отцы и дети»).

[8] 25 рублей — заработок от корректуры. Эту цифру указывает Г. И. в письме к родителям как оплату труда корректора в университетской типографии «Московских ведомостей» Каткова, где Г. И. работал уже после возвращения из поездки домой в Чернигов летом 1862 г. Корректорская работа относится к началу 1863 г. («Московские ведомости», обращенные из официального издания в частное и полученные Катковым в аренду, стали выходить в январе 1863 г.)

[9] «День» — еженедельная газета, издавалась в Москве (редактор-издатель И. С. Аксаков) с 15 октября 1861 г. до 1865 г., с перерывом в 1862 г., вследствие запрещения.

[10] Весь 1863 год Г .И. Успенский печатался в еженедельнике «Зритель» (см. выше примеч. 1 к главе II). «Старьевщик» (очерк из московской жизни)» напечатан в 1864 г. (ценз. разрешение 12/I 1864 г.) за полной подписью Успенского в XII кн. «Библиотеки для чтения» за 1863 г., принадлежавшей в то время Боборыкину. П. Д. Боборыкин называет в своих воспоминаниях этот рассказ «первой вещью Г[леба] И[ванови]ча, появившейся в *Петербурге*». Почти в то же время был напечатан в «Русском слове» (в № 1 за 1864 г., ценз. разрешение 13/I)

рассказ Г. И. Успенского «Ночью (мирные картинки московской жизни)». До этого Успенский печатался в московских журналах (см. прим. 1 к главе II).

[11] Н. В. — Николай Васильевич Успенский, двоюродный брат Г. И., писатель, М. В. — повидимому, сестра его — Марья Васильевна.

[12] В другом месте (набросок письма к Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г. — «Русская мысль» 1911, № 7) Успенский говорит о назначении 400 руб. *на семь лет.*

[13] Овруч — город, принадлежавший прежде Польше и Литве, присоединенный к России в 1772 г., в 1860-е годы — уездный город Волынской губернии.

[14] Г. И. Успенский в 1864 г. печатался по преимуществу в «Русском слове». Кроме упомянутого рассказа «Ночью» им здесь за 1864 г. напечатано: «Эскизы чиновничьего быта»: I. «Будни», II. «Семениха» (№ 3), «В деревне» (№ 8), «Бесприютные»:I. «Птичка», II. «Темный труд» (№ 9) и «Эскизы чиновничьего быта»: «Учителя», «Другая пара» (№ 12). Все эти рассказы — за полной подписью Г. Успенского. Кроме «Русского слова» Успенский в 1864 г. печатался еще в ежемесячном альманахе «Северное сияние», в сущности — это наброски к картинам художников альманаха «Северное сияние» («Воскресенье в деревне — летние сцены», «Сельские сцены», «Побирушки»).

[15] Явственно описка, следует читать: в «Русское слово». В «Русской мысли» Г. И. Успенский первый раз печатался в 1881 г. в XI книге.

[16] Выросших сестер у Г. И. было четыре: Анна (р. 27 декабря 1844 г.), Александра (р. 22 февраля 1846 г.), Елизавета (р. 7 апреля 1848 г.) и Варвара (р. 3 октября 1852 г.). Братьев нам известных трое: Александр Иванович (р. 20 декабря 1853 г.), Яков Иванович (р. 9 октября 1856 г.) и ныне здравствующий Иван Иванович (р. 7 марта 1862 г.). Всех рождений в семье отца Г. И., по сообщению И. И. Успенского, было семнадцать. Даже имена всех их не смог назвать И. И. Успенский, любезно сообщивший нам ряд интересных данных.

[17] У деда Г. И. не было сына Михаила. Здесь опять какая-то ошибка памяти Успенского. Имя Михаила Яковлевича принадлежит Бугославскому, мужу Александры Ивановны, сестры Г. И. Об этом Михаиле Яковлевиче Бугославском Г. И. Успенский говорит в письме от 28 декабря (к матери), которое относят к этому же 1864 году. Самый переезд матери Г. И. в Тулу относится к 1865 г. (летом); для этого Г. И. приезжал из Петербурга.

[18] Под этой датой — 65 (1865) года — Г. И. Успенский, отмечая, что этот год «*прошел в писании*», где и у кого придется, называет только некоторые издания, в которых он за этот год печатался. За этот год произведения Г. И. Успенского были напечатаны в 17 номерах различных изданий; «у Генкеля» — разумеется ежемесячный альманах «Северное сияние», издаваемый сначала В. Е. Генкелем, а с № 8 1864 г. — В. Головиным. За 1865 г. произведения Успенского печатались здесь в трех номерах. В «Неделе», издаваемой Генкелем, Успенский печатался лишь в 1868 г. (№№ 38 и 39). В «Новом русском базаре» (иллюстрированный дамский еженедельный журнал), издателем которого был также В. Е. Генкель, Успенский печатался уже в 1867 г. (№№ 5 и 8). В 1865 г., кроме упомянутых номеров «Северного сияния», Успенский напечатал свои рассказы и очерки в «Библиотеке для чте-

ния», № 1 («Зимний вечер»), в «Русском слове», №№ 2 и 10, особенно много в «Искре» В. С. Курочкина (№№ 7, 11, 36, 37, 38), а также в «Будильнике», где за 1865 г. Успенский печатался в №№ 80, 84, 85, 88 и 90, и наконец в «Современнике» в № 10 («Деревенские встречи: I. «Гости», II. «Никитич», III. «День»).

[19] Неразъяснимым остается, на что Некрасов «рассердился» при передаче ему Успенским «Деревенского дневника» (повидимому, указанного выше очерка). Далее выпущена фраза, в силу пропуска неразобранных слов, потерявшая смысл. В 1866 г. в «Современнике» (№№ 2 и 3) печатаются «Нравы Растеряевой улицы», оборвавшиеся с закрытием этого журнала.

[20] Под 66 годом — «покушение на государя» — разумеется выстрел Каракозова 4 апреля 1866 г. в Александра II. Последовавшие вслед за этим казнь Каракозова, сыск и террор вызвали панику в кругах демократической интеллигенции, захватившую и Некрасова, ожидавшего закрытия «Современника».

[21] «Дело» — ежемесячный петербургский журнал. Со второй половины 60-х годов журнал издавался и редактировался Благосветловым, являясь одним из органов демократической печати. В № 1 этого журнала за 1866 г. напечатан рассказ Г. И. Успенского «Нужда песенки поет (из провинциальных заметок)», в Собр. соч. включенный в серию «Растеряевские типы и сцены».

[22] Н. В. У. — возможно — Н. В. Успенский, но связь не ясна.

[23] Продолжение «Нравов Растеряевой улицы», вследствие закрытия «Современника», было напечатано не в журнале «Дело», а в «Женском вестнике» (1866).

[24] Н. Г. Чернышевского, арестованного 7 июля ст. ст. 1862 г., «увезли в Сибирь» в 1864 г. 20 мая ст. ст., на другой день после совершения над ним обряда гражданской казни. Отзвуки пережитого тогда сказались позже в рассказе Успенского «Без покаяния и причастия», из серии «Вокруг да около» («Отечественные записки» 1879, № 9). В Собр. соч. рассказ включен под названием «Умерла за направление». Рассказчик припоминает, между прочим, как он устремился на Мытнинскую площадь. Именно здесь 19 мая 1864 г. Чернышевский был выставлен у позорного столба. «Была — уже давно, впрочем, — в Петербурге одна личность и притом личность такая, что положительно на всю Россию одна... На мое несчастье, мне именно случилось быть свидетелем, как эта личность вдруг стушевалась. Самый то есть момент этого события перечувствовать... Однажды, часов этак до трех ночи, засиделся у меня в гостях один молодой человек. Сидели мы, и почти только и разговору у нас с ним было, что об этой личности. Вдруг звонок на всю квартиру, и впопыхах влетает молодой человек. Бледен, как полотно, дрожит, как осиновый лист, и, вообще, видимо, потрясен. «Где ты пропадаешь (это к моему гостю)? Я тебя ищу три часа. Нельзя, говорит, терять ни минуты... ни мгновенья...» Каким манером и я увязался с моим гостем — уже не помню хорошенько .. ехать надо было в Фурштадтскую». («Отечественные записки» 1879, № 9, стр. 12). Однако из-за извозчика, который потерял дорогой кнут и упорно искал его, не понимая спешности поездки своих седоков, — приятели опоздали. «Личность же такая, что положительно на всю Россию одна» — это затушеванное по цензурным условиям того времени упоминание о Чернышевском, которого Успенский лично видел лишь раз — на похоронах Добролюбова.

Высказывания же Чернышевского об Успенском сохранились лишь в письме Н. Г. к Ю. П. Пыпиной, 29 марта 1884 г. Астрахань (Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. III. Письма, Гиз 1930), а также в передаче третьих лиц (см. «Каторга и ссылка», кн. 59, М. 1929, рецензия Ю. Г. Оксмана о Собр. соч. Марко Вовчка и В. Г. Короленко, «Отошедшие», 1908, стр. 80).

[25] Выражение Успенского о Д. И. Писареве — «был невидим» — относится к аресту Писарева в 1862 г.

[26] Темой письма, из которого взят приведенный в тексте книги мемуарный отрывок, было предложение Успенского В. А. Гольцеву переработать для «Русской мысли» мелкие очерки начального периода его литературного пути («Забытые страницы»). Успенский писал: «Какие же это страницы? Вот какие: во все *десять* томов моих сочинений (которые на-днях выйдут с большой статьей Н[иколая] Конст[антиновича]) *не вошло* около *шестидесяти* мелких очерков, начатых и не оконченных, набросанных кое-как вследствие крайней нужды за 3, за 5 рублей под всевозможными псевдонимами. Эти лихорадочно написанные, буквально с голоду, в промежуток 62—68 гг., *никогда ни в одно издание не входили*, но когда я пересматривал все, что мною написано, приготовляясь к изданию 10 томов, то я нашел *около пятнадцати таких* отрывков, темы которых ни капли не утратили своего интереса и сейчас и которые решительно желательно переработать наново... Такие наброски у писателей 40-х годов могли по 20 лет лежать в «портфелях», как у Гончарова, например, который в «Ниве» печатал свои *лоскутки* в переработанном виде. У нашего поколения не было портфелей, но наброски были, только лежать в письменном столе они не могли, а тотчас же по напечатании сохранялись на прилавке в овощной лавке. Обо всем этом времени будет написана целая глава литературных воспоминаний о нашей бесприютности, об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей... Из всего этого я выбрал пятнадцать тем, из которых благодаря совпадениям (все обрывки) может выйти 10 маленьких рассказов по полулисту... Но все это будет переработано совершенно наново и напишется легко, потому что темы готовые. Общее название этих очерков будет «Забытые страницы». Затем 1) объяснение о происхождении их, т. е. литературные воспоминания (1 лист) и затем 5 листов рассказа...» Этот предложенный Успенским редакции «Русской мысли» проект переработки своих ранее напечатанных очерков полной реализации не получил.

[27] Двухнедельное периодическое издание «Модный магазин» (моды, литература, хозяйство и работы. Издательница-редактор С. Г. Мей) выходило в Петербурге (с 1862 по 1883 г.). Успенский напечатал здесь в 1868 г. в № 10 рассказ «Звонарь (провинциальный рассказ)» за подписью Г. У.

[28] «Петербургский комиссионер» — еженедельная петербургская газета. Издатель-редактор А. Петров. Здесь в 1866 г., за подписью Г. У., появилась в №№ 152—155 и 159 «Первая квартира (из московской жизни)».

[29] «Народное чтение» выходило в 1859 — 1862 гг. в Петербурге по 6 книг в год, в 1862 г. вышло лишь 3 книги. Повидимому, память изменила здесь Успенскому. Произведений его здесь не обнаружено. Кушнарев же, которого с таким ужасом поминает здесь Успенский, издавал в годы юности Г. И. «Грамотей. Народный журнал», выходивший с 1862 по 1869 г. в Петербурге, с 1869 г. — в Мо-

скве, шесть раз в год. Здесь Успенский печатался в 1867 г., в № 4 — «Пятница (народный рассказ)» за подписью Макаров (Собр. соч., изд. А. Маркса, т. VI, стр. 347—357), в 1871 г. в № 11 — переработанный рассказ «Зарок не пить (деревенские сцены)» и в 1872 г. в № 7 вновь напечатан «Старьевщик».

[30] В еженедельном журнале «Пчела» (Петербург 1875—1878), издателем-редактором которого вначале был А. Ф. Базунов, а с 1876 г. — М. О. Микешин, Г. И. Успенский напечатал ряд своих вещей уже в 1877 г. (№№ 4, 15, 16 и 17) и в 1878 г. (№№ 1 и 2).

[31] В «Иллюстрированной неделе» А. О. Баумана, выходившей в Петербурге в 1873—1875 гг., Успенский напечатал в 1873 г. в № 1 «Бес вселился. Рассказ богомолки» и в № 2 «Из путевых заметок по Оке».

[32] «Будильник московский» — издание под таким наименованием не выходило, а журнал «Будильник», издававшийся раньше в Петербурге, выходил в Москве с 1873 г. (по 1892), при разных сменяющихся издателях. Лишь в 1879 г. Успенский напечатал здесь в № 20 «На крестинах (эскиз)», не вошедший в собрание его сочинений.

[33] При печатании текста письма оговорка «неразборчиво». «Луч», учено-литературный сборник, т. I, Спб. 1866 г. Здесь напечатано «Перепутье (летние сцены)» Глеба Успенского.

[34] Письмо первоначально было напечатано в сб. «Архив В. А. Гольцева», М. 1913. При публикации в сб. «Г. Успенский. Сочинения и письма в одном томе» письмо проверено по оригиналу и устранены вкравшиеся при первоначальной публикации искажения.

[35] Г. Ф. Соколов пишет о Г. И., который жил в Москве с осени 1862 г.

[36] Впечатления деда Г. И. Успенского, Г. Ф. Соколова, от литературных выступлений внука получены скорее всего лишь на основе первых двух вещей Успенского («Михалыч» и «Идиллия. Отцы и дети»). Из напечатанных уже в 1863 г. произведений Г Ф. Соколов мог прочесть разве лишь «Под праздник и в праздник» («Зритель», 1863 г., ценз. разрешения 12 и 19 апреля). В. Е. Чешихин, комментируя это письмо деда Успенского, ссылался на произведение, напечатанное Успенским в «Зрителе» позже даты написания Г. Ф. Соколовым этого письма.

[37] «Библиотека для чтения» — старый петербургский журнал, издававшийся в 1822—1823 гг. и снова — в 1834—1865 гг. Купивший этот журнал П. Д. Боборыкин издавал его с февраля 1863 г.

[38] Ранее этих воспоминаний П. Д. Боборыкин напечатал о Г. И. Успенском мемуарный очерк «Милая тень» («Русское слово» 1908, № 129, от 5 июня).

[39] П. Д. Боборыкин забыл, что в 1865 г. в № 1 «Библиотеки для чтения» был напечатан очерк Г. И. Успенского «Зимний вечер».

[40] Здесь автор имеет в виду показание Г. И. Успенского в известной «Автобиографии» («Русское богатство» 1902, № 3—4 или Собр. соч., изд. 1908 г., т. I) о его душевном состоянии этих лет (встреча с П. Д. Боборыкиным падает на это время). В «Автобиографии» все прошлое его жизни (примерно, до 1871 г.) представлялось Успенскому подлежащим полному забвению.

[41] В. Глебыч — Владимир Глебович Соколов.

[42] Григорий Яковлевич — Успенский.

[43] Нюня — старшая сестра Г. И., Анна Ивановна Успенская-Кулакова.

[44] При публикации этого письма В. Е. Чешихин датировал его «самым концом 1863 г. или началом 1864». Р. П. Маторина относит это письмо определенно к *январю* 1864 г. («Сочинения и письма Г. И. Успенского в одном томе»; см хронология писем.) Поскольку оно написано уже после выхода «Старьевщика», а цензурное разрешение № XII «Библиотеки для чтения» за 1863 г., где он напечатан, датировано 13 января 1864 г., нельзя принять время написания этого письма ранее января 1864 г. Но утверждать, что это именно январь — твердых оснований не имеется, поэтому осторожнее отнести его *к началу 1864 г.*

[45] Этот анекдот о сыре, неоднократно рассказанный в разных воспоминаниях об Успенском (Н. С. Русанов, А. М. Скабичевский и др.), относится их авторами к позднейшему периоду его жизни, ко времени работы уже в «Отечественных записках».

[46] «Московские ведомости» с 1850 г. по 1855 г. редактировал М. Н. Катков; в 1856 г. — В. Ф. Корш, с половины 1862 г. — М. Щепкин, а с 1 января 1863 г. М. Н. Катков опять становится редактором вместе с П. М. Леонтьевым, получив газету в аренду. Г. И. Успенский же был корректором «Московских ведомостей» уже в 1863 г. (ред. М. Н. Каткова, а не В. Ф. Корша), что подтверждается собственными его сообщениями, а также сведениями из других источников. Д. П. Сильчевский здесь в передаче слов Успенского впал в ошибку.

[47] В начале 1864 г. (9 января) умер отец Г. И., И. Я. Успенский, служивший, как указывалось, секретарем палаты государственных имуществ в Чернигове. Г. И., как старший из детей, принял на себя хлопоты по делу о пенсии отца, которое велось через чиновника министерства государственных имуществ Владимирова, мать которого жила в Чернигове и была знакома семье Успенских.

[48] Михаил Яковлевич — зять Успенского, Бугославский. По сообщению В. Е. Чешихина, получавшего при составлении биографического очерка о Г. И. Успенском некоторые разъяснения от его сестер и других родственников, в этом месте письма к матери нашли себе отражение толки и пересуды родни Г. И. о необходимости для него скорейшего подыскания «места».

[49] В результате хлопот Г. И. о пенсии для семьи отца министерством государственных имуществ было назначено на воспитание детей И. Я. Успенского по 400 руб. в год на четыре года. Летом 1865 г. Г. И. перевез свою мать из Чернигова «на старое пепелище» в Тулу. Одно время она жила с дочерью, Елизаветой Ивановной, в Крапивне, где Е. И. была учительницей.

[50] Речь идет о подготовке к экзаменам на звание учителя русского языка в уездных училищах. Экзамены Успенский держал в конце мая 1867 г., и диплом на звание уездного учителя был выдан ему 31 мая того же года. 22 августа 1867 г. Успенский был допущен к преподаванию русского языка в уездном училище в г. Епифани Тульской губернии. Ближайшей зимой того же, 1867, года, в конце декабря Успенский уже покончил с учительством в Епифани.

[51] «Настсящее бедственное положение литературы» — прекращение выхода в 1866 г. журналов «Современник» и «Русское слово».

[52] Речь идет, повидимому, о том же письме Некрасова к Успенскому, о котором сообщал М. И Петрункевич В Е. Чешихину (см. «Г. И. Успенский. Библиографический очерк», стр. 54). Письмо это отсутствует в материалах переписки Успенского и Некрасова, собранных В. Евгеньевым («К характеристике Г. И. Успенского», «Русские записки», 1915, № 11).

[53] Е. С. Некрасова неправильно называет журнал «Слово». Успенский несомненно, говорил о «Русском слове», где он работал в те годы.

[54] Воспоминания Е. С. Некрасовой об Успенском по их характеру и стилю относятся к тому же типу живописных мемуаров, какие писались В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевским и др. Но многие страницы мемуаров Е. С. Некрасовой документированы письмами к ней Г. И., в большинстве — в отрывках. Позже В. Е. Чешихиным некоторые из них опубликованы полностью и добавлены другие, не включенные в воспоминания Е. С. Некрасовой (см. «Глеб Успенский в его переписке», «Голос Минувшего» 1915, № 4, гл. V — «Из писем к Е. С. Некрасовой»)

[55] Сообщенные здесь Пархоменко сведения о пребывании Г. И Успенского в Епифани собраны автором заметки в 1903 г. у старожилов, отдаленно знавших Г. И. во времена его учительства. При передаче не исключена возможность примеси вымысла со стороны священника Мерцалова, городского головы Оводова и, наконец, автора, в силу расстояния их рассказов (35—36 лет) от времени учительства Г. И. Успенского в Епифани. Впечатления недолгого учительствования в Епифани нашли себе некоторое художественное отображение в произведениях Успенского ближайших лет: в очерках «Спустя рукава» («Дело» 1868, кн. V), а также «Тише воды, ниже травы» («Отечественные записки» 1870, №№ 1 и 3). Певцов в очерке «Спустя рукава» — «выкуривал тысячи папирос, думал, тосковал и наконец очутился в уездном городе учителем»; среди местных учителей («вечно пьяных фигур») «появление нового лица родило относительно его какое-то враждебное чувство — они сторонились Певцова, старались отнекиваться» и т. д.

[56] Младший брат Г. И. — Александр, начинавший учиться.

[57] Г. И. Успенский, поступая в начале 1868 г. письмоводителем к товарищу прокурора, кн. А. И. Урусову, пытался утешить этим свою мать, огорченную внезапным отъездом сына из Епифани и оставлением им учительской должности.

[58] Вскоре Успенский оставил и это место и уехал в Петербург.

[59] Брат Г. И. (Саша) поступил в это время в техническое училище в г. Липецке.

[60] По всей видимости, речь идет об очерках «Тише воды, ниже травы» («Отечественные записки» 1870, № 1). В письме А. В. Успенской из Крапивны, датированном 29 июня 1870 г., Г. И. писал: «Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, — все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы, в самом деле, не сорвали зла на сестре и матушке. Но обе уверяют, что все пустяки и вздор. И, может быть, их правда. Глупую эту штуку удрал я! Вот что значит писать для денег, из под-палки» (ненапечатанное письмо, хранится в Государственном литературном музее, папка 1256/18).

[61] «Якорь. Вестник общественной жизни, литературы, музыки и художеств», выходил еженедельно в 1863 г. (1—42 №№), издатель Стелловский, редактор — Ап. Григорьев. В 1864 — 1865 гг. выходила газета «Якорь», редактором которой с № 37 был Н. И. Шульгин.

[62] Произведений Г. И. Успенского напечатанных в «Якоре» под псевдонимами, до сих пор выявлено не было.

[63] «Развлечение» — литературный и юмористический журнал, издавался в 1859—1894 гг., с перерывами.

[64] Рассказ Г. И. Успенского «Гость» был напечатан в № 24 журнала «Зритель» за 1863 г.

[65] Встреча и знакомство Г. И. Успенского с Н. К. Михайловским относятся к позднейшему времени (1868 г. и далее). Автор воспоминаний, П. В. Быков, имел с Михайловским личные счеты, относящиеся к периоду, когда П. В. Быков был официальным редактором «Русского богатства». В силу этого его показания не могут быть вполне беспристрастными. Он после утверждал, что «под давлением известного философа социолога и публициста [т. е. Михайловского], этот художник до мозга костей мало-по-малу превратился в публициста-художника, запутавшегося в своих теориях и чисто художественные задачи ставившего на задний план» («Силуэты далекого прошлого», М., 1930 г. стр. 177). В «Биржевых ведомостях» за 1902 г., № 83, П. В. Быков утверждал, что Успенскому часто приходилось насиловать свое дарование «благодаря нелепым требованиям гг. редакторов, преследовавших свои узкие цели, желавших устами этого огромного художника выразить свои узкие тенденции и утопии».

[66] Имя Григорьева *не* Павел Васильевич, а Прокофий Васильевич.

[67] «Организовать крестьян «Константином» — мысль об использовании царского имени в революционных целях. По смерти императора Александра I наследовать престол должен был его старший брат Константин Павлович, который, однако, отрекся от престола. Отречение не было своевременно оглашено, в силу чего после смерти Александра I население и войска приводились к присяге Константину, который, однако, не вступил на престол. 24 декабря 1825 г. была назначена новая присяга — Николаю. В населении и войсках эта «переприсяга» вызвала подозрения и создала настроения благоприятствовавшее выступлению декабристов.

[68] При напечатании этих воспоминаний Иванчина-Писарева в 1907 г. («Былое», № 10) фамилия Григорьева была обозначена лишь буквой Г, при перепечатках восстановлена фамилия Григорьева полностью (см. Григорьев, Прокофий Васильевич).

[69] Эта известная «Автобиография» Г. И. Успенского, адресованная Ф. Ф. Павленкову, была написана для первого Собр. соч. Глеба Успенского, изданного Ф. Ф. Павленковым в 1883—1886 гг. (восьмитомное), но напечатана не была. Впервые напечатана полностью в статье Н. К. Михайловского «Литература и жизнь» («Русское богатство» 1902, № 4). Время ее написания точно не установлено, предположительно относится к 1883 г. Не считая целесообразным этот документ самопоказаний Успенского, в виду цельности проведенной в нем центральной мысли, дробить на части, относящиеся к отдельным этапам его жизни, приводим в заключение настоящей главы полностью первую половину «Автобиографии», с тем, чтобы следующую главу нашей книги, отно-

сящуюся к периоду жизни Успенского, связанному с работой его в «Отечественных записках», начать с второй половины этой «Автобиографии», сделав из нее, таким образом, как бы прелюдию к повествовательным документам всей последующей жизни Успенского.

К главе третьей

[1] Очерк Г. И. Успенского «Будка» был напечатан в 1868 г. в «Отечественных записках» в IV кн., «Остановка (рассказ проезжего)» — в VII кн. Последний рассказ в Собр. соч. Успенского подвергнут значительной переделке и назван «Остановка в дороге».

[2] «По понятным причинам» — статья Михайловского, написана в апреле 1891 г., когда Успенский был еще жив и работал (за год до помещения Г. И. в лечебницу).

[3] Записка эта (по разъяснению В. В. Тимофеевой, опубликовавшей ее вместе с другими отрывками писем Успенского к его жене) была Г. И. «передана из рук в руки А[лександре] В[асильевне] у нее в доме в Петербурге зимой 1867 г. («Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 1). Датировка этой записки Тимофеевой вызвала сомнение при составлении Р. П. Маториной хронологического указателя писем Г. И. Успенского («Сочинения и письма в одном томе», Госиздат, М. — Л. 1929—1930 гг.). Поскольку ряд последующих эпистолярных отрывков вместо 1868 г. (?), как под вопросом поставлены они у В. В. Тимофеевой, — имеется некоторое основание отнести к следующему, 1869, году (лечение Г. И. в Липецке), постольку и дату этой записки правильнее передвинуть с 1867 на 1868 г. Все же окончательно твердо установленной дату этого письма считать нельзя. Однако последующие письма следует твердо датировать 1869 годом. Основание для этого — не только утверждение В. Е. Чешихина, что Г. И. Успенский в Липецке лечился летом 1869 г. («Русская мысль» 1911, № 7), но также и время окончания «Разорения», о чем Успенский говорит в письме от 18 марта. В. В. Тимофеева в датировке писем и фактов жизни Успенского многократно ошибалась и сама не доверяла своей памяти в этом отношении. Мне лично приходилось встречаться с В. В. Тимофеевой в более раннее время, сравнительно с временем написания ею мемуаров об Успенском, и много обращаться к ее памяти по поводу жизнеописания Ф. М. Достоевского, с которым она также была знакома. Уже тогда (в 1904—1906 гг.) В. В. Тимофеева сама жаловалась на недочеты своей памяти в области внешних событий.

[4] В. Евгеньев-Максимов, опубликовавший письма Успенского к Некрасову, указывает на рассказ «Будка» («Отечественные записки» 1868, № 4). Это — первая вещь, напечатанная Успенским в «Отечественных записках». Следующее, появившееся в «Отечественных записках», произведение Г. И. Успенского — «Остановка (рассказ проезжего)» (1868 г., № VII). Больше в этом (1868) году Успенским в «Отечественных записках» ничего напечатано не было

[5] В «Женском вестнике», кроме напечатанного в 1866 г. окончания «Растеряевой улицы», Успенский печатал в 1867 г. в № 3 (I. «Несчастья семейства Уполовниковых», II. «Малинин») и в № 7 («По черной лестнице»). В 1868 г. в «Женском вестнике» произведений Успенского напечатано не было.

[6] Кроме «Отечественных записок» в 1868 г. Успенский печатался в журнале «Дело», кн. V («Спустя рукава»), в «Модном магазине»,

№ 10 («Звонарь», ценз. разрешение 18 мая) и в «Неделе», №№ 38 и 39 («Шиньон» и «Тяжкое обязательство»).

[7] Здесь идет речь об очерке «Разорение» («Наблюдения Михаила Ивановича»), напечатанном в «Отечественных записках», №№ 2, 3 и 4 за 1869 г. Ничего другого за это время в «Отечественных записках» не появлялось.

[8] По словам жены Г. И., А. В. Успенской, переданным В. В. Тимофеевой («Минувшие годы» 1908, № 1, стр. 119), «повесть Глеба Успенского «Разорение» во многом заимствована из жизни его семьи, а героиня повести, Надя, едва ли не списана с самой А. В.».

[9] Г. И. уезжал тогда лечиться в Липецк — на воды.

[10] Анна Васильевна Бараева — сестра Александры Васильевны, жены Г. И.

[11] В. В. Буш отметил, что при публикации этих писем Успенского В. В. Тимофеевой были слиты два письма в одно. Упоминание о пачули представляет собой P. S. к следующему письму.

[12] В. В. Тимофеева в примечании говорит, что М. Е. Салтыков «вычитал 1 рубль за почтовые расходы из 50 руб. ежемесячных от редакции «Отечественных записок» («Минувшие годы» 1908, № IV, стр. 3). М. И. Петрункевич, знавший близко Успенского и его дела этих лет, сообщил В. Е. Чешихину, что Некрасов советовал «Г. И—чу не исписываться, отдохнуть», уговаривая «его уехать из Петербурга» и предлагая «похерить все счета и авансы и назначить ему рублей 50 в месяц (помимо гонорара)» («Г. И. Успенский. Биографический очерк», стр. 54). Однако эта выплата хотя бы пятидесятирублевой ежемесячной суммы (помимо гонорара) вызывает сомнение в виду данных письма уже 1880 г. к тому же М. И. Петрункевичу от 14 июля, где Г. И., сообщая, что ему М. Е. Салтыков и Г. З. Елисеев отводят в «Отечественных записках» надел (постоянный отдел в журнале), говорит, между прочим: «жалованья они мне не дают, но оставляют ту же плату, что и за беллетристику — 200 руб. за лист». В воспоминаниях Е. С. Некрасовой также упоминается об отсутствии постоянного «жалования» от «Отечественных записок». Кроме того, Успенский одно время поступал на службу из-за 100 руб. ежемесячных. Все это не говорит за то, что уже в начальном периоде его работы в «Отечественных записках» ему платили этот постоянный оклад.

[13] По разъяснениям В. В. Тимофеевой, так называл Г. И. дом помещицы Херадиновой, Адели Соломоновны, у которой жила тогда А. В. Бараева, занимаясь в школе и давая уроки ее сыну («Минувшие годы» 1908, № 4, стр. 3).

[14] «Голос» — умеренно-либеральная газета, издававшаяся с 1863 по 1884 г. в Петербурге А. А. Краевским.

[15] А. В. Бараева, как сообщает Тимофеева, с «г-жей Херадиновой приезжала в Липецк брать ванны».

[16] Лиза — Елизавета Ивановна Успенская (позже, замужем, Марченко), младшая сестра Г. И. Тогда жила с матерью в Крапивне, где учительствовала.

[17] Как указывает В. Е. Чешихин, здесь имеется в виду крапивенский обыватель, узнавший себя в очерках «Тише воды, ниже травы» («Отечественные записки» 1870, 1 и 3).

[18] Кулаковы — Александр Павлович и Анна Ивановна (урожд. Успенская).

[19] Наталия Глебовна — Соколова, тетка Успенского по материнской линии.

[20] Шура — Александра Ивановна Успенская-Бугославская.

[21] Константин Николаевич Кузьмин. Автор мемуарной заметки — П. К. Кузьмин — его сын.

[22] Коля — Н. А. Долганов.

[23] «Аркадия» и «Фелисьен» — рестораны в Петербурге.

[24] Тунька — собачонка. По сообщению В. В. Тимофеевой, Успенский «вспоминает об этой Туньке в одном письме из Парижа. Это была маленькая шарообразная, лохматая собачонка, которую он подобрал где-то на улице с переломленной ногой и целый месяц лечил потом холодными компрессами и вылечил» («Минувшие годы» 1908, № 1, стр. 117).

[25] Афанасий Иваныч и Пульхерия Ивановна — герой и героиня повести Гоголя («Старосветские помещики»).

[26] Автор воспоминаний ошибается: Успенский был учителем не в Крапивне, а в Епифани, в Крапивне была учительницей сестра Г. И.

[27] Жена Н. К. Михайловского, Мария Евграфовна, в девичестве Павловская, с которой он позднее разошелся.

[28] «Бобоша» — прозвище некоего З—ского, сослуживца В. В. Тимофеевой по корректорской работе в типографии Траншеля, где печатался «Гражданин», товарища Михайловского по Горному институту, сохранившего с ним связь в период издания «Отечественных записок» и в силу этого близкого к литературным кругам этого журнала.

[29] «Не быль, да и не сказка» — из серии очерков «Кой про что (отрывки из памятной книжки)», «Северный вестник» 1887, № 2.

[30] И. И. Ясинский, тогда еще молодой писатель, был неожиданно для него приглашен В. С. Курочкиным в секретари редакции затеваемого в 1871 г. журнала «Азиатский вестник», издателем-редактором которого был Пашино, фактически же Курочкин, который пригласил к участию в журнале Шелгунова, Михайловского, Успенского и др.

[31] Автор шел за справкой о судьбе своего романа «Последние язычники».

[32] Успенский поместил в журнале «Библиотека дешевая и общедоступная (1871 г. № 6) рассказ «Прогулка».

[33] Отрывок этот отнесен В. В. Тимофеевой к 1869 г., с прибавкой: «В год смерти Решетникова». Поскольку Ф. М. Решетников умер в 1871 г. есть основания относить это письмо к 1871 г.

К главе четвертой

[1] Н. Е. Павловский ездил с Успенским в 1872 г. за границу.

[2] При публикации 5 писем (без дат) Успенского к жене («Русское богатство» 1912, № 1) первые 4 были датированы 1871 г. по содержа-

нию их (время первой поездки Успенского за границу). Поскольку установлено бесспорно, что первая поездка за границу относится к весне 1872 г. — четыре письма к жене, выдержки из которых приводятся в тексте, должны быть отнесены к 1872 г. 5-е — из Мюнхена 1876 г.

[3] Нельзя с уверенностью утверждать, что в письме Успенского к жене из Парижа он упоминает об А. П. Сусловой, а не о ее сестре, женщине-враче. Тем более, что в 1872 г. А. П. Суслова слушала только-что открывшиеся в Москве курсы проф. В. И. Герье (сообщение бывшей также одной из первых слушательниц этих курсов Е. Н. Щепкиной комментатору дневников А. П. Сусловой — А. С. Долинину; «Годы близости с Достоевским», стр. 40).

[4] «Маляр» — художественный журнал с карикатурами, издавался в 1871—1878 гг. в Петербурге. Редактор-издатель (с 1 апреля) — А. М. Волков, издательница — А. А. Волкова, редактор — М. О. Микешин. В 1873 г. (с № 14) — С. Любовников.

[5] «Гражданин» — реакционная газета, издававшаяся В. П. Мещерским в Петербурге в 1872—1879 гг. и далее в 1882—1895 гг.

[6] Павловский — Николай Евграфович. В. В. Тимофеева ошибочно называет его Михаилом. У Марии Евграфовны был еще другой брат — Михаил Евграфович Павловский, артист.

[7] В подлиннике здесь рисунок. Успенский зарисовал эти «звезды».

[8] Сатори (Satory) — маленькое местечко в 3 километрах от Версаля, где производились военные маневры и скачки. Местечко приобрело известность как место казни коммунаров.

[9] Коля — Долганов.

[10] Адель Соломоновна — Херадинова.

[11] Далее Г. И. Успенский развивает конкретный план жизнеустройства в Париже, приводит расценки, цифры расходов, с указанием источников их предполагаемого покрытия. Он проектирует нанять квартиру в доме кормилицы будущего их ребенка, под Парижем (5—10 минут по железной дороге).

[12] Собр. соч. в эти годы Успенский еще не имел. Четвертым томом он здесь, повидимому, называет четвертый сборник своих произведений, выпущенных отдельным изданием.

[13] Роман написан не был, да и вообще Успенскому в этом году не работалось.

[14] «При твоем знании языка, — поясняет Г. И. здесь жене, — я бы писал отличные и интересные корреспонденции».

[15] План семейной жизни в Париже в этом году не осуществился, его удалось осуществить лишь в 1875 г.

[16] Клозри (Closerie) — места народных гуляний в Париже (обыкновенно загороженное место в саду) или литературное кафе «Closerie de Silas».

К главе пятой

[1] В. В. Тимофеева указала, что этот роман — «Ventre de Paris» («Брюхо Парижа») Эм. Золя. Г. И. привез его для жены и давал

всем, кого ни увидит. «Он считал этот роман самой жесткой и верной сатирой на буржуазную Францию» («Минувшие годы» 1908, № 1, стр. 101). Однако этот роман вышел в 1873 г.

[2] «Давид Копперфильд» — повесть Чарльза Диккенса.

[3] В. Е. Чешихин в биографии Успенского усматривал последствие этих впечатлений Салтыкова в том, что «Больная совесть» Успенского, первая его вещь в «Отечественных записках» по возвращении из-за границы, появилась лишь в №№ 2 и 4 за 1873 г. При этом В. Е. Чешихин относил время возвращения Г. И. из первой заграничной поездки к лету 1871 г. П. Н. Сакулин, редактировавший вышедший после смерти В. Е. Чешихина его биографический очерк об Успенском, отметил, что, поскольку эта поездка Успенского относится к 1872 г., напечатание «Больной совести» нельзя считать поздним. Тем не менее, заслуживает внимания тот факт, что в течение всего 1872 г. Г. И. Успенский ничего не напечатал в «Отечественных записках».

[4] Концовка лирического стихотворения Некрасова «Я не люблю иронии твоей» (1850). Эти строки лирической пьесы Некрасова Успенский неоднократно цитировал в письмах.

[5] Очерк «Злые новости» был напечатан в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1875 г. Он остался недописанным и в Собр. соч. Успенского не вошел.

[6] «Библиотеку дешевую-общедоступную» издавал в Петербурге с 1871 г. (с перерывами) С. С. Окрейц, воспоминания которого напечатаны выше в тексте. В 1872 г. журнал называется «Библиотека дешевая и общедоступная»; с № 2 за 1874 г. издателем ее подписывается П. П. Меркульев, фактическим же редактором вскоре становится Каменский, Андрей Васильевич, приятель Успенского (письма Г. И. к нему — «Русское богатство» 1912, № 3). В 1875 г. с № 10 А. В. Каменский подписывается издателем журнала. В это время в журнале сотрудничает А. В. Успенская переводами с французского по рекомендациям и выбору Тургенева. Г. И. в своих письмах А. В. Каменскому из Парижа дает свои советы и указания по организации и ведению журнала.

[7] Произведения Ф. М. Решетникова «Подлиповцы (этнографический очерк из жизни бурлаков)», в 2 ч., Спб. 1867, и «Где лучше (роман в двух частях)». («Отечественные записки» 1868, №№ 6—10).

[8] Последующее сообщение автора воспоминаний относится уже к более позднему времени, но, чтобы не расчленять цельного рассказа о «девице» (представляющего собой вариант вышеприведенного сообщения Тимофеевой) и вообще о такого рода «покушениях» на Г. И., мы приводим здесь сообщение Иванчина-Писарева об этом полностью, отступая тем самым от календарных рамок. Дальнейшие отрывки опять возвратят нас к 1873—1875 гг. в жизни Успенского.

[9] Воспоминания А. И. Иванчина-Писарева о Глебе Ивановиче, крупнейшие по своим размерам в мемуарной литературе по Успенскому, заняли здесь видное место. Однако по своему характеру и особенностям письма записки эти не встретили полного признания и доверия среди исследователей биографии Успенского, а также в его семье. Появившиеся сравнительно поздно (частично в 1907 г. и главным образом в 1914 и 1915 гг.), много позже других значительнейших по своему содержанию воспоминаний об Успенском (Н. К. Михайлов-

ского, В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевского — 1902 г.), мемуары А. И. Иванчина-Писарева не свободны от воздействия специфической традиции, создавшейся в этой основной мемуарной литературе об Успенском. В общих зарисовках облика Успенского они часто повторяют черты, уже отмеченные здесь. Записи А. И. Иванчина-Писарева представляют собой попытку передать самый строй подлинной речи Успенского, ее тон, позы и характерные движения писателя. Один из современников Г. И., Н. С. Русанов, даже находил, что Иванчин-Писарев «лучше других передавал характер живой речи Г. И. Успенского». Несомненно, однако, что зарисовки А. И. Иванчина-Писарева отличаются иногда грубостью, переходящей в аляповатость. Увлекаясь он впадал порою в явный шарж. В частности, приведенные в тексте рассказы о ревности А. В. Успенской находятся в решительном противоречии с сообщениями о том же В. В. Тимофеевой. В. В. Буш, в брошюре «Жена писателя — А. В. Успенская» (Л. 1924), также отнесся подозрительно к сообщениям Иванчина-Писарева о ревности А. В. Неправдоподобие некоторых сообщений Иванчина-Писарева о жизни Успенского отмечали и другие биографы. Так, В. Е. Чешихин подчеркнул «анекдотичность» рассказа о деле по обвинению Г. И. Успенского в преступной пропаганде, «невольную обработку» в пересказах и пр.

Отмеченные недостатки не лишают, однако, мемуары А. И. Иванчина-Писарева их значения для биографии Успенского как ценного и, в отношении отдельных фактов жизни Успенского, нередко единственного источника.

[10] Отрывок чернового наброска письма, написанного Успенским 8 марта 1885 г. своему издателю Ф. Ф. Павленкову. Письмо не закончено и, повидимому, не было послано по назначению. Сохранившийся отрывок был опубликован Чешихиным в «Русской мысли» за 1911 г., № 7. Здесь Успенским подробно, с обидой и болью, очерчены запутаннейшие обстоятельства его безысходного материального положения на начало 1875 г., последствия которого не были изжиты им в последующие десять лет его жизни. Содержание письма имеет ближайшее отношение ко времени перед второй заграничной поездкой Г. И. (1875), поэтому письмо помещается в этом месте книги.

[11] Брату — Ивану, учившемуся в то время в сельскохозяйственной школе, другому брату — Александру, учившемуся в то время в техническом училище. Третьему брату, — повидимому, Якову.

[12] Слова, поставленные в скобках, в тексте письма зачеркнуты.

[13] При перепечатке отрывков этого письма в биографическом очерке об Успенском В. Е. Чешихин на месте NN ставит *Надеин*, не давая никаких сведений об этом Надеине. С другой стороны, при перепечатке этого письма в сборнике «Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе» под ред. В. В. Буша, Н. К. Пиксанова и Б. Г. Успенского, 1929 г., этот NN комментируется как «Долганов Николай» («с ним Успенский знаком с 60-х годов») — см. стр. 638. Между тем в этом же отрывке Успенский пишет, что познакомился с ним «в это время» — т. е. в 1873 — 1874 гг. (о Долганове см. именной указатель). В письме к А. В. Каменскому 8 апреля 1875 г. это лицо Успенский называет Надеиным.

[14] При перепечатке письма в «Биографическом очерке» (М. 1929) В. Е. Чешихин поставил здесь — в *Псковском банке*.

[15] В. Е. Чешихин при публикации письма сделал фактическое разъяснение: «Через посредство Надеина Успенский, действительно, полу-

чил из банка 1700 руб., начал расплату с долгами, отправил осенью 1874 г. жену и сам собирался за границу, но тот же Надеин выпросил у Успенского из этих денег, немедленно по их получения, тысячу себе на свои коммерческие операции «дней на десять» («Биографический очерк», стр. 99).

[16] Четверо человек — см. примечание 4 к главе первой.

[17] Имеется в виду восьмитомное Собр. соч. в издании Ф. Ф. Павленкова 1883—1886 гг.

[18] Саша — брат Г. И., Александр Иванович Успенский.

[19] Отдаленность отношений автора воспоминаний (Тырковой А. В.) от Успенского (она лишь однажды видела Г. И.) ослабляет значение этого сообщения, сводя его лишь к беглой записи случайного впечатления от беседы автора с А. В. Успенской в вагоне.

К главе шестой

[1] Автобиографический отрывок, датированный Успенским 22 августа 1893 г. и озаглавленный «Мои дети», написан им на втором году пребывания в психиатрической лечебнице в Колмове, в период улучшения состояния его здоровья. Отрывок этот стоит первым в тетради, помеченной рукой Успенского — «первая тетрадь». В той же тетради имеется еще ряд едва начатых отрывков (менее страницы, часто в 1—2 строки) с попытками описаний Колмовской больницы (пейзаж). Отрывок, приведенный в тексте почти полностью (последние несколько строк о мотивах выезда из Калуги отнесены в самостоятельный отрывок, далее), обнимает период от рождения первого сына (12 декабря 1873 г.) до «бегства из Калуги» опять в Париж (декабрь 1875 г.). Неразобранными в рукописи словами остались — название гостиницы (Серапинская?), куда переехали в 1875 г. перед заграницей Успенские, фамилия лица, проживавшего в Париже в 1876 г. с Г. А. Лопатиным, а также фамилия одного лица, бывшего в числе других знакомых Успенского у Виардо 27 февраля 1875 г. Упомянутая здесь среди других лиц Марья Павловна — повидимому, Герцфельд — участница революционных организаций (см. воспоминания А. И. Иванчина-Писарева). «Афиша» — это входной билет на литературное утро в салоне Виардо 27 февраля. Он сохранился в архиве Г. И. Успенского и был напечатан в «Биографическом очерке» В. Е. Чешихиным:

Matinée littéraire et musicale pour fonder un cercle de lecture au profit des etudiants russes à Paris, avec le concours de m-mes Viardot et Essipoff, m.m. Davidoff, Ouspensky, Kourotchkine et Jean Tourgueneff. Samedi, 27 février, à deux heures, 50, rue de Douai, 50. № Prix 15 francs. Paris. Typ. Georges Chamerot. *

[2] В. Е. Чешихин относил этот эпизод поездки Г. И. Успенского в Саратовскую губернию, «повидимому, к самому концу шестидесятых годов» («Г. И. Успенский. Биографический очерк», М. 1929, стр. 53). Среди материалов Департамента полиции по негласному надзору за

* Литературно-музыкальное утро, с целью устройства ряда лекций для русских студентов в Париже, с участием мадам Виардо, Есиповой и гг. Давыдова, Успенского, Курочкина и Ив. Тургенева. Суббота 27 февраля в 2 часа, 50, улица Дуэ, 50. Цена № 15 франков. Париж. Типография Жоржа Шамеро.

Г. И. Успенским, хранящихся в Музее революции, под «1873 годом СПБ» записано: «карточка поднадзорного. В графе полученные надзором сведения сообщено: «Заподозрен в политической неблагонадежности, в виду стремления к сближению с крестьянами Саратовской губ.»...» (Департ. полиции. III, Делопроизводство Д № 1565/1883 г.)

[3] Характер отношений Успенского к Тургеневу здесь передан фактически неверно. Г. И. с Тургеневым в Париже имел общение непосредственно и через Александру Васильевну, которой Тургенев оказывал покровительство в ее переводческой работе. На литературно-музыкальном утре у Виардо, устроенном в пользу русской библиотеки в Париже, Тургенев читал отрывок из произведения Успенского. Наконец Г. И. занимал у него деньги (см. письмо к жене). Однако при всей высокой оценке Тургенева как великого художника, Успенский не мог не чувствовать и определенного отчуждения от него как представителя чуждой социальной группы (см. выше в тексте письмо к Н. К. Михайловскому из Парижа о литературно-музыкальном утре у Виардо. Собр. соч., 1908, т. I). В автобиографическом отрывке от 22 августа 1893 г. («Мои дети») Успенский называет, однако, день встречи с Тургеневым в Париже «светлым» для себя днем (Государственный литературный музей, папка 1256/1).

[4] Под названием «Ходоки» произведений Успенского напечатано не было. В. Е. Чешихин предполагал, что здесь отрывок из «Лентяя» или из «Книжки чеков», которую Тургенев рекомендовал для «Вестника Европы». «Лентяй, его наблюдения и заметки», — под этим названием вышли в 1873 г. в изд. «Библиотека современных писателей» А. Ф. Базунова напечатанные ранее очерки Успенского «Наблюдения одного лентяя» («Отечественные записки» 1871, №№ 8, 10 и 12), в Собр. соч. это составили 3-ю часть «Разорения». Здесь (в гл. II — «Воспоминания по случаю странной встречи») Успенским зарисована фигура одного деревенского ходока. В рассказе «Книжка чеков» также рассказана история с ходоками от распоясовских крестьян («Парамон», «Дьячков сын» и пр.). Однако Тургенев проявил особое внимание к еще ненапечатанному тогда рассказу «Книжка чеков» который он пытался устраивать в «Вестнике Европы». Поэтому больше оснований принять, что «Ходоки», прочитанные на вечере у Виардо, были отрывком из «Книжки чеков». За это же говорит и упоминание в отрывке о ходоках в «Книжке чеков» о мерине (Иван Кузьмич появляется в тележке, «запряженной добрым мерином», «меринок шел свободно и весело по дороге»). Не тот ли это «мерин», которого Тургенев «разрешил» оставить в рассказе? В отрывке из «Лентяя» мерина нет.

[5] Н. К. Михайловский, опубликовавший это письмо, не датировал его никак, как и большинство опубликованных им отрывков писем Г. И. Успенского. В. Е. Чешихин в своих биографических заметках «Г. И. Успенский в 70-е и 80-е годы» («Русская мысль» 1913, № 8, стр. 105) относил вечер у Виардо, о котором рассказывается в письме, к 27 (н. ст.) февраля *1876 года.* Сохранился пригласительный билет на этот вечер от 27 февраля, но без указания года. Позже, в биографическом очерке, вышедшем в 1929 г., В. Е. Чешихин изменил дату на 27 февраля 1875 года, не указывая мотивов изменения датировки. В хронологическом указателе писем Успенского («Сочинения и письма в одном томе», 1929—1930 гг.) Р. П. Маторина это письмо относит в соответствии с первоначальной датировкой В. Е. Чешихина опять к марту 1876 г., тоже никак не мотивируя такой датировки (также в биографической канве, данной при однотомнике, ред. Н. К.

Пиксанова, В. В. Буша и Б. Г. Успенского, вечер в салоне Виардо поставлен под 27 февраля 1876 г.). Однако были все основания считать совершенно установленной дату письма Успенского к Михайловскому об утре в салоне Виардо. Оно, несомненно, должно быть отнесено к 1875 г. (год основания так называемой тургеневской библиотеки в Париже). В письме от 17 февраля 1875 г. Тургенев, приглашая Г. Н. Вырубова именно на это утро в салоне Виардо, писал ему (51 Rue de Douai, 17 февраля 1875 г.): Любезнейший Григорий Николаевич! В будущую субботу 27 февраля, в доме г-жи Виардо дается литературно-музыкальное утро (в 2 часа ровно) с участием г-жи Виардо, г-жи Есиповой и Давыдова, Глеба Успенского, Курочкина и вашего покорнейшего слуги. Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для неимущих студентов. Хотите вы взять билет? Цена ему 15 франков. Дайте мне знать, и он будет вам доставлен. Не хочет ли также кто-нибудь из ваших знакомых? Дружески жму вашу руку. Преданный вам Иван Тургенев» («Вестник Европы» 1914, № 3, стр. 228). Таким образом, Тургенев, оказывая свое внимание молодому писателю, одновременно, в начале 1875 г., читает его рассказ в салоне Виардо и устраивает, скорее всего тот же рассказ, в «Вестнике Европы», где он, однако, принят не был. В письме из Парижа в редакцию «Вестника Европы» от 22 февраля 1875 г. Успенский просит выдать своей знакомой (Н. А. Шульгиной) рассказ его «Книжку чеков», доставленный в «Вестник Европы» через Тургенева (письмо с означенной датировкой напечатано в сб «М. М. Стасюлевич и его современники», т. V, стр. 239).

[6] Повесть, о которой здесь идеть речь, в «Библиотеку дешевую и общедоступную» не попала. Журнал усилиями начальника Главного управления по делам печати М. Н. Логинова закрылся на № 10 в 1875 г., и произведение Успенского в нем уже не было напечатано. Ближайшая напечатанная работа Успенского появилась в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за подписью «Г. Иванов»: «Из записной книжки». 1 — «Глухой городок», 2 — «Рассказ», 3 — «Вечерком в глухом городке», 4 — «Учительница», 5 — «Болезнь. В Собр. соч. названо — «Неизлечимый». В декабре в «Русских ведомостях» появилось два фельетона за подписью «Глеб Успенский»: «Из памятной книжки» (№№ 276 и 277). В собр. соч. Успенского эти последние *не* вошли.

[7] Это упоминание о романе, который Успенский *мечтал* написать, мелькает кое-где в его письмах ранних лет. В письме жене из Парижа в первую поездку в 1872 г. Успенский говорит о романе, как о реальном источнике для покрытия займа в 500 руб. у «Коли Долганова»: «Мой роман, который будет готов к январю».

[8] О Золя Успенский статьи *не* напечатал.

[9] Григорьев не выполнил каких-то денежных обязательств перед Г. И., осложнив еще более то тяжелое материальное положение Успенского, которое создалось у него перед этой второй поездкой за границу. В том же письме А. В. Каменскому Г. И. писал: «А знаете, кажется, Григорьев не терял денег в Вильне, — я имею данные. Что это значит? Дело г.....е, но я его разузнаю в подробности...». В дальнейших письмах Успенского к Каменскому история с Григорьевым поминается, но не проясняется: обязательства Григорьева перед Г. И. остаются невыполненными за время этих писем (1875—1876 гг.).

[10] Последний роман Эмиля Золя — это роман, вышедший в 1875 г.: «Ошибка аббата Мурэ» («La faute de l'abbé Mouret»).

[11] См. примечание 6 к предыдущей главе.

[12] Обстоятельства эти рассказаны Г. И. Успенским в позднейшем (черновом) письме к Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г. (см. выше в тексте).

[13] Стремясь возвратиться из Парижа уже в июне, Успенский добился возвращения лишь в конце лета, но уже для поступления в Калуге на службу в управление железной дороги.

[14] Повидимому, это тот же «Неизлечимый» (см. выше, примечание 6.)

[15] В № 3 «Дела» за 1875 г. П. Н. Ткачев, под псевдонимом П. Никитин, в статье «Беллетристы-эмпирики и беллетристы-метафизики», писал об Успенском: «Никакой перемены ни в чем, точно будто и «Разорение», и «Глушь», и рассказы, вошедшие в новое базуновское издание [«Библиотека современных писателей» А. Ф. Базунова 1872—1873 гг.], написаны им в одно и тоже время. А между тем между ними лежит промежуток в несколько лет... г. Успенский решительно не следит за течением жизни; он прирос к одной точке»...

[16] В 1875 г. в Петербурге выпущен сборник Г. И. Успенского «Глушь (Провинциальные и столичные очерки)».

[17] Антонова — та ростовщица, которую с ужасом вспоминает Успенский в наброске письма Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г. из Чудова (см. выше в тексте).

[18] Издателем журнала «Библиотека дешевая и общедоступная» в 1874—1875 гг. был П. П. Меркульев, а не Меркурьев, как ошибочно Успенский называет его здесь.

[19] Юлия — кормилица старшего сына Успенских, Александра.

[20] Редакция «Библиотеки дешевой и общедоступной», которую в то время Каменский обновлял.

[21] По объяснению А. И. Иванчина-Писарева, «Бульдожка» — прозвище Д. А. Клеменца.

[22] Здесь разумеется Анна Михайловна Эпштейн. В начале 70-х годов она по поручению русских революционных организаций ведала перевозкой в Россию заграничных изданий.

[23] «Мудрица Наумовна» — сказка С. М. Кравчинского-Степняка, данная им за 3—4 дня перед этой встречей Успенскому на прочтение: «с непременным условием при первом свидании высказать свой «откровенный» взгляд, удалась ли (автору) эта форма популяризации «Капитала» Маркса». Сказка, однако, не восхитила Успенского: «Из Сергея Михайловича выработается крупный писатель... Теперь только он форсит: «Карла Маркса в сказку вздумал переделывать...» (из воспоминаний А. И. Иванчина-Писарева).

[24] Александр Иванович — Иванчин-Писарев.

[25] Это равнодушное отношение Н. К. Михайловского к датировке писем Г. И. Успенского, писавшего чаще всего без обозначения года, создало потом для исследователей биографии Успенского большие затруднения. Дело осложнилось еще тем, что письма Успенского к Михайловскому, по словам В. Е. Чешихина, «куда-то исчезли, ни семье Г. И., ни нам не удалось найти их следов» («Биографический очерк», 1929). Предположение В. Е. Чешихина о том, что они в

«архиве Иванчина-Писарева», насколько можно видеть по напечатанным работам об Успенском, все еще не проверено. Долго под вопросом стоял самый год службы Успенского в Калуге, тем более, что служба эта длилась менее года. Письмо от 1 февраля, которое цитировал Михайловский, написано уже не из Калуги, а из Парижа. За это говорит имеющееся в печати («Русское богатство» 1912, № 3) письмо Г. И к А. В. Каменскому из Парижа, датированное Успенским 9 января 1876 г. Выходит, что Г. И. уже с начала января 1876 г. опять в Париже.

[26] Курсив здесь и далее в письме, повидимому, принадлежит В. В. Тимофеевой.

[27] По смыслу можно догадываться, что здесь В. В. Тимофеева соединила выдержки из двух писем в одно. В. Е. Чешихин в биографическом очерке об Успенском разделял их на два письма (стр. 124—125).

[28] Датировано нами 15 октября 1875 г. В рукописи ошибочно помечено, повидимому А. В. Успенской, — «Калуга 1876 г.»; относится, как и другие письма из Калуги, к 1875 г. Написано, как видно из его содержания, 15 октября, из Калуги в Париж.

[29] В декабре 1875 г. Г. И. Успенским были напечатаны в «Русских ведомостях» в №№ 276 и 277 (18 и 19 декабря) — очерки «Из памятной книжки».

[30] Письмо от 1 декабря (без года) было ошибочно отнесено к к 1874 г. в указателе писем Г. И. Успенского («Гл. Успенский. Сочинения и письма в одном томе», Госиздат, 1929 — 1930). Здесь повторена ошибка Чешихина, который при публикации письма в «Голосе минувшего» 1915, № 3, датировал его 1874 г. и исправил ошибку лишь в подготовленном им для отдельного издания биографическом очерке, выпущенном в 1929 г.

[31] «Библиотека дешевая и общедоступная» (см. выше примечание 6 к главе V). А. В. Успенская переводила для этого издания французские литературные новинки, получая 200 франков с листа.

[32] В 1877 г. в Петербурге вышел сборник рассказов Леона Кладеля «Очерки и рассказы из жизни простого народа», перевод с французского А. В. Успенской, с предисловием И. С. Тургенева.

[33] В. В. Буш относит это письмо без даты к 1876 г. Точнее следует отнести к концу 1875 г., поскольку здесь говорится, что „«Библиотека» лопнула“ (на № 10 1875 г.).

[34] Очерк был напечатан за подписью Г. У. в «Отечественных записках» за 1876 г. № 4: «Люди и нравы». I. «Книжка чеков», II. «Неплательщики». А. И. Иванчин-Писарев справедливо говорит, что рассказ этот «не имеет даже отдаленного отношения к железной дороге, и только отдельные штрихи в нем позволяют догадываться, что Г. И. коснулся того «пустого места», где «с великим трудом пробыл около пяти месяцев». Однако А. И. Иванчин-Писарев замечает, что «достаточно этих штрихов», чтобы в фигуре (должно быть «Обиняка») узнать начальника движения Рязанско-вяземской железной дороги А. М. Верховского. И он узнал себя. «Такой благодарности не ожидал от Успенского, — говорил Иванчину-Писареву Верховский, пожимая плечами».

[35] Н. А. Ш. — Шульгина, знакомая Успенских.

[36] Ульяна — кухарка Успенских в Петербурге.

[37] При публикации этого отрывка письма жены Г. И. Успенского В. В. Тимофеева ошибочно датировала его 1875 г. Поскольку здесь говорится как о факте ближайшего прошлого о напечатании в апрельской книжке «Отечественных записок» названных здесь очерков Успенского, письмо следует отнести к 1876 г. (весна).

[38] «Пишу для лавочки» — так пренебрежительно, по словам Иванчина, отзывался Успенский о своей литературной работе, противопоставляя ее революционному делу (см. дальше в тексте отрывок из воспоминаний «Г. Успенский и революционеры 70-х годов», «Былое» 1907, № 10, стр. 44).

[39] Г. И. Успенский, как он сам говорит об этом в «Автобиографии» (написанной для изд. Ф. Ф. Павленкова), «прямо из Парижа поехал в Сербию» (осень 1876 г.). Однако в ряде мемуарных записей (В. В. Тимофеева, С. И. Васюков и др.) сообщается о встречах с Г. И. Успенским на пути в Сербию в Москве. Возможно, что, выражение Успенского «прямо из Парижа» не должно пониматься слишком буквально. Однако, письмо Г. И. к жене из Мюнхена подтверждает, что в Сербию он поехал «прямо из Парижа».

[40] Указание на весну (май — июнь) не отвечает времени поездки Успенского в Сербию. Война Турцией была объявлена Сербии лишь 18 июня 1876 г. Поездку же Успенского в Сербию относят к осени 1876 г. Кроме того, В. В. Тимофеева многократно вместо «в Сербию» ставит «в Болгарию». Успенский ездил в Болгарию в мае 1887 г., во время известного государственного переворота там. Не увязано с моментом действия и упоминание далее в тексте о В. М. Гаршине. Гаршин не мог быть спутником Успенского в его поездке в Сербию (осень 1876 г.). На войну (уже русско-турецкую) Гаршин отправился лишь весной 1877 г. Успенский же тогда уже возвратился в Петербург. Кроме того, Гаршин как писатель не мог быть тогда известен автору воспоминаний, поскольку первый рассказ Гаршина — «Четыре дня» — появился в № 10 «Отечественных записок» за 1877 г.

[41] Указание на весну вызывает те же недоумения, что и в рассказе В. В. Тимофеевой (см. выше, прим. 40).

[42] Рассказ С. И. Васюкова, являясь записью типичного обывателя, служит лишь подтверждением популярности Успенского в то время среди молодежи.

[43] Годы 1874—1875 поставлены автором воспоминаний ошибочно. В новом, корректированном варианте воспоминаний Елпатьевский время первой своей встречи с Успенским обозначает 1876 г. («Красная нива» 1927, № 16). В отрывке упоминается о том, что в эту зиму А. И. Левитов умирал в Захарьинской клинике. Левитов умер 4 января 1877 г. Однако поздней осенью 1876 г. Успенский совершал свой путь «прямо из Парижа в Сербию». Таким образом, весной 1876 г. он был в Париже, и поэтому дату рассказанной Елпатьевским встречи установить точно не представляется возможности.

[44] Д. А. Клеменц рассказывает здесь о своем приезде в Белград в дни «добровольческого движения» в Сербию (1876).

[45] Мередиты — один из родов горных племен южной Сербии.

[46] В статье И. И. Попова, вступительной к воспоминаниям Д. А. Клеменца («Из прошлого», Л. 1925), сообщаются некоторые записи

об Успенском из архива Клеменца: «Блестящая гнилушка» — так Г. И. определял тогдашний Париж. «Народник, но без народнических предрассудков и сентиментальностей, — пишет Д. А. про Успенского в какой-то статье или наброске ее, который я нашел в его архиве, — он думал и ждал чего-нибудь существенного только от тех слоев общества, которые рисовались ему то в образе черного Монмартра, то в виде двух подростков рабочих. Шумевшие, суетившиеся, обделывающие свои делишки представители Франции с их кафе-шантанами казались ему чем-то изжившим, что надобно изучать среди выродков, которых поят на бойне свежей бычачьей кровью, так как своя кровь уже вся превратилась в гнойную сыворотку».

[47] Г. И. Успенским в результате поездки в Сербию были напечатаны в 1876 г. «Очерки о наших добровольцах» — в «Петербургских ведомостях», №№ 285, 291, 313, 320, 343, «Из Белграда (письмо невоенного человека)» в «Отечественных записках» № 12 за 1876 г. и очерк «Не воскрес (из разговоров про войну)» — в «Отечественных записках», 1877, кн. XI, за подписью «Г. Иванов».

[48] Вместо «в Болгарию» следует читать: «в Сербию».

[49] Упоминаемая выше «Библиотека дешевая и общедоступная».

[50] Место, на которое поступил Г. И. Успенский, и притом позже (весна 1877 г.) — место делопроизводителя крестьянского ссудо-сберегательного товарищества в д. Сколкове Самарской губернии. В том же селе А. В. Успенская была учительницей.

[51] В. В. Тимофеева здесь в сноске сообщила, что в письмах Г. И. к жене, относящихся приблизительно к этому времени, есть такая фраза: «Встретил сегодня на улице Михайловского и не поклонился ему. Это его, очевидно, поразило. Так и надо». Это письмо Успенского к жене в настоящее время находится в архиве Государствен. литературного музея (папка 1256/18). Письмо от 22 июня, без года, относится *не* к 1876 г., а к позднейшему времени. На подлиннике карандашом чьей-то рукой (быть может А. В. Успенской) помечено: «1877 г.», что также вызывает сомнение. По содержанию письмо относится ко времени работы А. В. Успенской учительницей в Сколкове Самарской губернии после отъезда оттуда Г. И., вернее — к моменту ликвидации отношений Г. И. и А. В. к Сколкову. Г. И. усиленно уговаривает жену и ее подругу (А. С. Степанову) оставить место в Сколкове, намеревается приехать к 15 июля для сдачи дел (повидимому, по ссудо-сберегательному товариществу) и обещает устроить обеим (А. В. и ее помощнице) «по школе в Новгородской губернии или Псковской»: «Даю вам слово *обоим,* что вы будете иметь по школе недалеко от Петербурга и в близком соседстве». В письме также идет речь о заботах Г. И. по устранению каких-то подозрений А. В. Успенской в неблагонадежности. «Я подаю жалобу Дрентельну», пишет здесь Г. И. (А. Р. Дрентельн — с 1878 по 1880 г. шеф жандармов и главный начальник III Отделения). «Уверяю тебя, что все подозрения будут сняты. В случае крайности я имею случай доставить записку е. в. наследнику цесаревичу». «Теперь же объявите, — пишет Г. И. дальше, — самое лучшее, обе, что вы уходите, и чтобы искали других учителей. Это необходимо... Скажи всем должникам, что к 15 июля все будет им уплачено... Отказывайтесь вместе, и все сразу выедем из Сколкова. Будет. Довольно помучились и скука дьявольская». Биографы полагают, что к осени 1879 г. Успенские уже жили у А. В. Каменского в именьи Новгородской

губернии. Ликвидация учительства А. В. Успенской в Сколкове, задержавшейся там дольше, чем сам Г. И., непосредственно предшествовала этому. Таким образом в приведенном рассказе В. В. Тимофеевой соединены вместе моменты из жизни Успенского, относящиеся к 1876 и 1879 годам. Есть еще и документальное указание на то, что А. В. Успенская в конце лета 1879 г. еще была учительницей в Сколкове: от 31 августа 1879 г. за № 122 ей было выдано удостоверение от совета самарского уездного училища, позднее предъявленное ею (в 1882 г.) при совершении купчей на усадебное место («Выпись из крепостной Новгородского архива книги по Новгородскому уезду на 1882 г. № 4, ст. 276а»; Госуд. литературный музей, папка 1443/26).

[52] «Клара Милич» — повесть Тургенева, появившаяся много позже («Вестник Европы» 1883, № 1). У В. В. Тимофеевой здесь что-то спутано.

[53] А. И. Иванчин-Писарев так авторитетно давал свои разъяснения, словно он был осведомлен во всех деталях о всех моментах в жизни Михайловского и Успенского. Между тем, ссора их в 1876 г. не исключала возможности ссоры «по другой причине» в 80-х годах, к которым, повидимому, относится рассказ А. И. Иванчина-Писарева. Столкновение же, о котором сообщила В. В. Тимофеева со слов А. В. Успенской, относится к тому времени (1879 г.), когда А. И. Иванчин-Писарев занимался революционной работой «в народе» в Воронежской и Саратовской губерниях или был «в волостных писарях» и во всяком случае лишен был возможности детально знать все происходящее в Петербурге между Успенским и Михайловским.

[54] Лицо это — Надеин, о котором Успенский писал в черновом письме Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г. Сумма не несколько тысяч, а 1700 руб.

К главе седьмой

[1] П. Д. Боборыкину здесь память изменила. Успенский в земстве не служил. Опыты «службы» его выразились, во-первых, в недолгой работе письмоводителем у прокурора (в 1868), во-вторых, в железнодорожном управлении в Калуге (1875) и, наконец, письмоводителем в крестьянском ссудо-сберегательном товариществе в д. Сколкове Самарской губернии (1878—1879). Больше Успенский нигде не служил, если не считать учительства и работы корректора.

[2] Комментатор «Литературных воспоминаний» А. М. Скабичевского Б. П. Козьмин указывает, что коммунар этот — Жаклар, который после разгрома Парижской коммуны жил в России, был женат на русской и вращался в петербургских литературных кругах.

[3] См. выше отрывок из воспоминаний Васюкова об оказании, при его посредстве, материальной помощи Г. И.

[4] Статья Успенского «Николай Александрович Демерт» была напечатана в журнале «Пчела», № 15, от 15 апреля 1877 г.

[5] Издателем журнала «Пчела» с 1876 по 1878 г. был М. О. Микешин.

[6] Кроме старшего сына Александра (р. 1873 г. 12 декабря) у Успенских в то время было еще двое детей: Вера, родившаяся 26 марта 1877 г., и Мария, родившаяся в 1879 г. 25 февраля. Позже родились Ольга (25 марта 1881 г.) и Борис (10 июля 1886 г.)

[7] «Три деревни» — из серии очерков «Из деревенского дневника», печатавшихся в «Отечественных записках» в 1877—1880 гг. за подписью «Г. Иванов» под разными названиями. В частности, зарисовка «трех деревень» дана в очерке «Черная работа», «Отечественные записки», 1879 г., № 5.

[8] Рассказ А. С. Степановой можно пополнить записью самого Г. И., сохранившейся в отрывке воспоминаний («Голос минувшего», 1915, № 3). О нем см. прим. 10 к главе первой. Здесь есть место, относящееся к Сколкову: «*Кв. ж. р. маш. Кретны в Сколкове — веч. под окнами все в волнении — вы первый писатель в России*». В расшифровке Чешихина: «квартира железнодорожного машиниста. Крестины в Сколкове — вечерами под окнами все в волнении — вы первый писатель в России».

[9] К. Д. — Дергунов, Константин Осипович, журналист, работал в 1900—1905 гг. в поволжских газетах и долго жил в Самаре.

[10] Воспоминания Н. С. Русанова написаны в большей своей части в Берлине в 1922—1923 гг. Только частично его воспоминания об Успенском появились в 1906 г. в «Былом», №№ 13 и 12. Рассказы С. Н. Русанова, знавшего Г. И. в период 1879—1882 гг., носят характер некоторой стилизации, а местами, в связи с увлечением автора беллетристической формой мемуарной записи, страдают эффектированностью, анекдотизмом и перерисовками (см. далее ряд приведенных эпизодов в отдельных отрывках, особенно семейная история с дешевой закупкой мяса, знаменитый фунт сыра и пр.).

[11] Датировка А. И. Иванчина-Писарева противоречит другим сведениям о жизни Успенского в Сколкове Самарской губернии с весны 1878 г. до конца лета 1879 г. Однако, время приезда Успенского в Сколково с документальною точностью пока не установлено.

[12] В образе Андрея Васильевича в очерке «Черная работа» («Отечественные записки» 1879, № 5) — подпись: «Г. Иванов». В собр. соч. вошло в серию «Из деревенского дневника».

[13] В. Е. Чешихин отмечал в этом рассказе «явную анекдотичность подробностей, в пересказах, очевидно, подвергшихся невольной «обработке» («Биографический очерк», стр. 147). Однако нет оснований отрицать самый факт дознания, хотя оно и разрисовано в мемуарах А. И. Иванчина-Писарева узорами, подчас мало правдоподобными (чтение деревенским кулаком «Отечественных записок», добродетельный жандарм Смольков и т. п.). Фельетонов же принадлежащих Успенскому в газете «Русский курьер» за 1879 г. не выявлено. Неясно также, где в произведениях Успенского нашел себе отражения упоминаемый Иванчиным-Писаревым кулак с. Богдановки.

[14] Здесь, повидимому, как и раньше, в других местах своего рассказа, автор Болгарию называет вместо Сербии. (Поездка в Болгарию относится к 1887 г.) Обыск на границе у Г. И. Успенского был произведен при возвращении в 1876 г. в Россию. О последствиях этого у В. В. Тимофеевой рассказано далее в настоящем же отрывке.

[15] Здесь опять спутано. Служба Успенского в Калуге относится к 1875 г., покупка же дома и небольшого участка земли в Новгородской губернии в д. Сябринцах — к 1881 г. Здесь же идет речь о «проектах и планах», которые относятся к 1879 — 1880 гг.

[16] Здесь у В. В. Тимофеевой также смешаны различные моменты жизни Успенских. Продажа издания И. М. Сибирякову относится к значительно позднейшим годам. Договор с И. М. Сибиряковым на полное собрание подписан Успенским лишь в 1886 г., предварительное условие — 2 августа, окончательное — 13 ноября.

[17] Повесть В. В. Тимофеевой «Идеалистка» под всевдонимом Анны Стацевич была напечатана в журнале «Слово» за 1878 г. (апрель — май). Герой — Крамской.

[18] Г. И. Успенский по рассказу Н. С. Русанова, обнаружил полное незнакомство с элементарными сведениями по теории трудовой стоимости. Между тем, по имеющимся данным, Успенский несомненно читал «Капитал».

[19] Шутка Успенского относится к «Вестнику Европы», журналу либерального направления, издававшемуся с 1868 г. М. М. Стасюлевичем.

[20] Именье автора воспоминаний в Новгородской губернии.

[21] «Люди и нравы (из деревенского дневника)» («Отечественные записки» 1878, № 1; за подписью «Г. Иванов»).

[22] Письма Успенского к де-Воллану (11 писем — «Голос минувшего» 1914, № 4, стр. 127—133) значительного биографического интереса не имеют. В них Успенский уделяет много внимания автору статей и романов. Наиболее характерно для состояния Г. И. из этих 11 писем следующее письмо (без даты) (1879 г.): «Григорий Александрович, пожалуйста не примите на свой счет того нервного раздражения, которого вы не могли не заметить во мне сегодня. Ничего иного, кроме самого искреннего уважения я к вам не питаю. Но я, действительно, ужасно болен, а сегодня целый день буквально я не имел свободной минуты от людей, которые, зная, что мне надобно работать, читать корректуру, иначе Салтыков будет взбешен; и о чем же с ними говорить, — целый день болтают бог знает о чем. Вот причина того состояния, в котором я находился. Завтра в 9 часов вы будете иметь совершенно окончательный ответ». Повидимому, речь идет опять о произведениях Воллана.

[23] В этих литературных воспоминаниях С. Н. К. (Сергей Николаевич Кривенко) рассказывает, между прочим, о том, как компания писателей (С. Н. Кривенко, А. И. Иванчин-Писарев, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. Ф. Бажин и др.) приобрела «маленький подцензурный журнальчик «Русское богатство». Перед этим он несколько раз переходил из рук в руки». В этом журнальном «предприятии» принимал участие и Г. И. Успенский. «Русское богатство», ежемесячный литературный и научный журнал первоначально выходил с 1880 по 1882 г. Редактор сначала Н. Н. Златовратский. С № 4 1881 г. — П. В. Быков. Позже журнал перешел к Л. Е. Оболенскому (1883), а в 1890 г. — к группе Н. К. Михайловского.

[24] Здесь разумеется Н. Н. Златовратский.

[25] Впечатления этих встреч с Тургеневым Успенский записал в сохранившемся отрывке воспоминаний, написанном уже в болезненном состоянии. Здесь об этом записано: «У меня. У Сибирякова. Знают ли там какая суматоха про... [не разобрано слово]: комнаты пере-

полнены молчаливыми слушателя(ми), Тургенев говорил один, один, один — еле-еле кто скажет слово. Разговор наш с Гаршиным, он тогда был очень расстроен [вскоре последовала душевная болезнь Гаршина]. Вечер же кончился так: Тургенев встал, пос[м]отрел на часы, был сконфужен и вышел думая, что пойдут провожать, но никто не тронул(ся), а когда я спустился, то он сердито посмотрел на ме[ня] и наде(л) шубу. На следующий день я был у него, изви(ни)лся, и он сказал: «Да, хорош ваш Сибиряков!» «На свидании с Сибиряковым, как говорят, вышла большая неловкость со стороны хозяина: в то время как в одной комнате собрались Тургенев и литературная молодежь, в других гости миллионера резались в стуколку (В. Е. Чешихин «Биографический очерк», стр. 152).

[26] Речь Ф. М. Достоевского о Пушкине была прочитана 8 июня 1880 г. в торжественном заседании Общества любителей российской словесности и произвела исключительное впечатление на аудиторию; Достоевскому была устроена шумная овация. Успенский сначала поддался обаянию сильной речи Достоевского, однако скоро преодолел силу непосредственного ее впечатления (см. письмо Успенского из Москвы, июнь 1880 г., № 6 «Отечественных записок» за тот же год — «Праздник Пушкина», а также статью в № 7 «Отечественных записок» «На родной ниве»; обе статьи — за подписью Г. У.). В первой части своего письма Успенский, ярко обрисовывая пушкинское торжество, писал о речи Достоевского: «Когда пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании». И вслед за изложением своего понимания пушкинской речи оговорил: «Не ручаясь за подлинность того, что хотел сказать г. Достоевский, мы... за сущность произведенного им впечатления можем вполне поручиться». «Дело в том, — писал Успенский во второй части письма, с подзаголовком «На другой день», написанной после прочтения речи Достоевского в печати, — что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальничества ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства». И во второй статье («Секрет») уже определенно заявил, что «Достоевский соединил в своей речи вещи совершенно несоединимые».

[27] Здесь пропущен рассказ А. И. Иванчина-Писарева, относящийся к его личной жизни.

[28] Повидимому, название было придумано — «На родной ниве». Под этим заголовком напечатаны очерки-статьи Успенского (за подписью Г. У.) в №№ 7, 8, 10, 11 и 12 «Отечественных записок» за 1880 г. Далее этот заголовок больше не появлялся.

[29] Сассаниды — персидская династия III—VII веков.

[30] В «Отечественных записках» за 1880 г., № 11 «На родной ниве», в Собр. соч. — в серии «Крестьянин и крестьянский труд», гл. IV — «Не суйся».

К главе восьмой

[1] Некоторые письма Успенского к Я. В. Абрамову были напечатаны В. Е. Чешихиным в 1915 г. в «Голосе минувшего», № 7—8 (стр. 216—217) и № 10 (стр. 220—226).

[2] «П а л к и н» — большой петербургский ресторан, находившийся на Невском проспекте.

[3] В 1867 г. Г. А. Лопатин после освобождения от ареста по делу Каракозова уехал в Италию, чтобы примкнуть к отряду Гарибальди. Битва при Ментоне, где Гарибальди был разбит, помешала осуществлению его намерений.

[4] Слова, как и выше цитируемые автором, принадлежат Михайловскому (см. последние сочинения, т. II, стр. 218). «Монахиня Маргарита» — лицо не существующее — из области бредовых образов Г. И. Успенского периода развившейся болезни (1892 г. и далее).

[5] Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч — Шелгунов.

[6] В. Е. Чешихин, опубликовавший в своих статьях («Глеб Успенский в его переписке», «Голос минувшего» 1915, № 5) воспоминания А. С., полагал, что «настоящий человек» — это Г. А. Лопатин. Действительно, в таком тоне Успенский говорит о нем в письмах к Михайловскому, Е. С. Некрасовой (апрель 1884 г.), Л. Ф. Ломовской-Маклаковой (1885 г., письмо написано после ареста Лопатина — 5 октября 1884 г.) и в ненапечатанном автобиографическом отрывке от 22 августа 1893 г. («Мои дети»).

[7] А. С., автор этих опубликованных В. Е. Чешихиным воспоминаний («Голос минувшего» 1915, № 5), «не пожелал, чтобы имя его было известно». Девушка А. и автор воспоминаний, несомненно, одно и то же лицо. Мемуары А. С., как определил их характер при публикации В. Е. Чешихин, — «примыкают к серии тех воспоминаний об Успенском, которые придают особо важное значение тому факту, что Г. И. был лично весьма увлечен некоторыми из народовольцев. Это объясняет несколько полемический тон настоящих воспоминаний в отношении фактов, конечно, весьма ценных» (стр. 220—221). Полемическая же страстность в тоне автора мемуаров объясняется еще и тем, что они частично написаны в форме возражения на статью Чешихина («Г. И. Успенский в 70-е и 80-е гг.», «Русская мысль» 1913, № 9). Здесь он, оспаривая соображения А. С. о полной идейной близости Г. И. к народовольцам, привел некоторые данные в подтверждение своего также не бесспорного мнения, что Успенский «был чужд идейной близости к какой бы то ни было законченной общественно-политической программе», и в частности к народовольчеству. Этот своеобразный характер записки А. С. делает ее не только мемуарной записью, но и статьей, свободно развивающей свои утверждения на основе общих соображений и фактов, весьма субъективно окрашенных.

[8] Р е б е н о к — младшая дочь Успенских, Ольга (см. прим. 6 к главе седьмой.

[9] «С л о в о» — научно-литературный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1878—1881 гг. Произведений Успенского здесь напечатано не было, но он был близок к редакции.

[10] Первое собрание сочинений Глеба Успенского в издании Ф. Павленкова вышло в 1883—1886 гг. в восьми томах.

[11] «Н о в о с т и и Б и р ж е в а я г а з е т а» выходили с июля 1880 г., издатель О. К. Нотович.

[12] В июньской книжке «Отечественных записок» за 1881 г. был напечатан очерк Успенского «На травке», пятый из серии «Очерков,

заметок и наблюдений», печатавшихся в 1881 г. под общим названием «Без определенных занятий», в №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 8.

[13] Речь идет об очерках: «Своекорыстный поступок. Глубокая несправедливость. Окончание записок Лисобонского», VI, VII из серии «Без определенных занятий», напечатан в «Отечественных записках» 1881 г., № 8.

[14] Речь здесь идет о самарском голоде в зиму 1880—1881 г.

[15] «Русское богатство» в то время было в руках группы писателей (см. примечание 23 к главе VII-ой), работавших одновременно в «Отечественных записках», «Деле» и других изданиях.

[16] Рассказ Успенского «Старики» (Из памятной книжки) был первым его рассказом, напечатанным в «Русской мысли» (1881, № 11). Позже при составлении III т. 2-го павленковского издания в 1891 г., вместе с очерком «Равнение под одно» («Русская мысль» 1882, № 1), «Старики» включены автором в рассказ «Старый бурмистр».

[17] Ив. Серг. — Тургенев.

[18] «Анекдот о розах», по разъяснению комментатора к письмам Гаршина Ю. Г. Оксмана, относится к манифестации, устроенной в честь Тургенева на вечере в пользу Литературного фонда в Петербурге 16 марта 1879 г. По рассказу М. Г. Савиной, лавры, которыми забросали на этом вечере Тургенева, и шумные приветствия его вызвали со стороны поклонников Достоевского, также участвовавшего на этом вечере, некоторое противодействие, выражением которого было поднесение букета с розами Ф. М. Достоевскому. «Известная дама Ф. [А. П. Философова], — как рассказала об этом Савина, — подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична, и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнять овации. Вышло бестактно по отношению к «гостю», для чествования которого все собрались («Тургенев и Савина», II, 1918, стр. 69).

[19] Несколько позже (от 2 февраля 1882 г.), в письме к своему брату В. М., Гаршин писал по тому же поводу: «Относительно того, что мама действительно немного пристрастна к тенденциозной беллетристике, — что же делать? Да, я за Л. К[ривенко] и не заступаюсь особенно. Кто ее знает? А о Гл. Ив. [Успенском] мне, конечно, досадно было слышать дурное, да еще и ни на чем не основанное» (Собр. соч. Гаршина, изд. «Academia», т. III, стр. 242).

[20] Николай Степанович — Акимов, дядя Гаршина со стороны матери.

[21] Поскольку С. Н. Русанов в этом отрывке говорит о близости с Успенским «в течение более двух лет» перед его, Русанова, отъездом, рассказ охватывает время с 1880 по 1882 г. (когда Русанов уехал за границу). В семье Успенских за эти годы не было рождения сына, 25 марта 1881 г. родилась дочь Ольга.

[22] Г. Иванов — псевдоним Г. И. Успенского.

[23] Именье приятеля Успенского А. В. Каменского

[24] Произведение Успенского «Власть земли» было напечатано

в 1882 г. в «Отечественных записках», №№ 1, 2 и 4. Отдельно издано В. М. Лавровым в том же 1882 г.

[25] Антонович, Максим Алексеевич, ошибочно названный здесь автором Михаилом.

[26] В. Е. Чешихин в своих работах над биографией Успенского («Русская мысль» 1913, № 9, стр. 34 и в «Биографическом очерке», М. 1929, стр. 255), безоговорочно принимая сообщение Н. Я. Николадзе, усматривал в нем еще одно доказательство отсутствия у Успенского «идейной близости к какой бы то ни было законченной общественно-политической программе». В. Е. Чешихин дополняет это еще данными, полученными им от А. С. Пругавина. «А. С. Пругавин, — сообщил здесь Чешихин, — вспоминает также, как Успенский одобрял помещение в «Северном вестнике» в статье «Vox populi» извлечений из одного письма крестьянина, в духе чистейшего демагогического, да еще антисемитического, цезаризма: к чему скрывать и прятать те надежды, которые мужик возлагает лично на царя! В письме А. С. Пругавину об этой (не оконченной по цензурным условиям) статье Успенский говорит: «Она удивительно была богата материалом о современной народной мысли. Редко, да и прямо сказать ничего такого ценного и достоверного не встречалось у нас за последние пятнадцать лет» (неизданное письмо). Однако, если в случае, переданном А. С. Пругавиным, интерес Успенского к письму этого крестьянина объясняется позицией Успенского, как исследователя современной ему народной жизни и мысли, то в сообщении Николадзе сам Г. И. зарисован в стиле наивно-сентиментального простачка, соблазненного мыслью разжалобить царя. Многие авторы мемуаров об Успенском усиленно подчеркивают своеобразие высказываний Г. И. и чрезвычайную трудность передачи развиваемых им в своих беседах мыслей и образов. Несомненно, для выявления своего особенного подхода к теме, Успенский нередко прибегал к прямо парадоксальным ситуациям, но отрывочная передача таких утверждений, без учета их условности и вне живой связи со всей сложностью художественно-психологической ткани разговора, теряет смысл подлинности, приводит к огрубениям и искажениям действительно высказанного, хотя бы и в присутствии рассказчика, и сообщенного им почти текстуально. Совершенно несомненно, что Н. Я. Николадзе во всяком случае недопонял чего-то существенного, определяющего действительный смысл слов, высказанных Г. И. Успенским.

[27] «Мысль» — ежемесячный литературно-научный журнал, издававшийся в 1880—1882 гг. сначала Н. П. Вагнером, а со второй половины 1882 г. — Л. Е. Оболенским.

[28] В журнале «Мысль» никаких произведений Успенского не было напечатано. Оболенский (в сноске) говорит: «Оба письма хранятся у меня и до сих пор». В печати они пока не появлялись.

[29] Лео — герой романа Шпильгагена «In Reihund Glied», вышедшего в Германии в 1866 г. В русском переводе роман получил название «Один в поле не воин».

[30] Записки Г. А. де Воллана относятся к 1883 г.

[31] Этот действительный факт передан здесь автором воспоминаний в искаженном виде. «Какой-то рабочий» — это Бачин И. А., который был одним из основателей Северо-русского рабочего союза. Женатый

на Елизавете Николаевне Южаковой (сестре писателя), он 5 января 1883 г. по мотивам личного характера убил свою жену, а затем покончил с собой (см. т. 13 «Каторги и ссылки», 1924 г. — «Бачин и его драма. К биографии одного из основателей Северо-русского рабочего союза)».

[32] Как видно из письма В. М. Гаршина к брату Е. М. от 2 июля 1883 г., Г. И. Успенский не принял участия в этой поездке. «Третьего дня, — писал в этом письме Гаршин, — вернулись мы с Мишей (Г. И., за которым мы заезжали, не мог ехать) из Тихвина. Путешествием я остался очень доволен...» (Собр. соч. В. М. Гаршина, изд. Academia, т. III — Письмо, стр. 296). Однако в сохранившемся «Отрывке из автобиографии» («Былое» 1907, № 10), Успенский кратко записал о какой-то поездке в Тихвин: «Знакомство с Гаршиным. В Чудове. При поездке в Тихвин». Начало знакомства Успенского с Гаршиным относится ко времени до 1880 г., что указывает на то, что в автобиографическом отрывке речь идет о другой поездке в Тихвин.

[33] Место из рассказа, упоминаемое в письме Гаршина, относится к очерку Успенского «Из путевых заметок. Мелочи путевых впечатлений», «Отечественные записки» 1883, № 5.

[34] Книгопродавец Карбасников в начале 70-х годов купил у Успенского за 300 руб. право изданий его произведений, которое потом Успенский выкупил у него за 1100 руб. (черновое письмо Успенского к Ф. Ф. Павленкову от 8 марта 1885 г.).

[35] В результате посредничества Гаршина и прямых сношений Успенского с Ф. Ф. Павленковым состоялось первое издание Собр. соч. Глеба Успенского, вышедшее в 1883—1886 гг. в восьми томах. Первые три тома вышли в 1883 г.

[36] Письмо было получено Е. С. Некрасовой в Москве 22 ноября 1881 г.

[37] В подлиннике письма еще было прибавлено после запятой: «швыряние детей в отхожее место» (В. Е. Чешихин, «Глеб Успенский в его переписке», V, «Из писем Е. С. Некрасовой», «Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 234). Также вместо *«не пишут»* в тексте воспоминаний Некрасовой стоит: *«не пикнут»*.

[38] Газету эту проектировал в то время издавать в Петербурге Н. Я. Николадзе; предприятие не осуществилось.

[39] В подлиннике письма вслед за этими словами еще прибавлено: «Претерпел я, и умолчать не могу» («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 234).

[40] Анна Степановна — сестра Е. С. Некрасовой.

[41] Результатом таких жизненных впечатлений Успенского явился очерк «Подозреваемые» в серии «Бог грехам терпит», напечатанный в № 9 «Отечественных записок» за 1882 г.

[42] Случай, о котором рассказал Успенский в этом письме к Некрасовой, расстроил, между прочим, и их поездку в Астрахань, о которой они условливались весной этого, 1882, года. В приписке к письму (P. S.), как видно из полного его текста, опубликованного В. Е. Чешихиным («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 235), Е. С. Некрасовой здесь опущены следующие начальные слова: «за что на меня сердит В[иктор] Ал[ександрович] Гольцев? и когда он будет бранить меня в «Русских ведомостях»?»

[43] При публикации это письмо Успенского к В. М. Соболевскому было отнесено В. А. Розенбергом к 1884 г. (Сборник «Русские ведомости» 1863—1913», М. 1913). Также и в хронологическом указателе писем Успенского, составленном Р. П. Маториной («Гл. Успенский, Сочинения и письма в одном томе», 1929—1930 гг.), была повторена та же дата (май 1884 г.). Между тем, Успенским в тексте письма рассказывается о том же самом происшествии (и почти дословно), о котором им рассказано в письме к Е. С. Некрасовой, датированном в ее воспоминаниях 12 июня 1882 г. «Накануне моего приезда» — говорится о событии в письме к Е. С. Некрасовой, «за день до моего приезда» — в письме к Соболевскому. Дата письма к Е. С. Некрасовой (хранится в рукописном отделе Ленинской библиотеки) в подлиннике поставлена, как сообщила мне Р. П. Маторина, «не рукою Успенского, а, повидимому, рукою Некрасовой в конце письма другими чернилами. Обычно Некрасова отмечала дату получения писем». В настоящее время, получив возможность ознакомления с указанным письмом Успенского к В. М. Соболевскому полностью в подлиннике (в публикации В. А. Розенберга оно было дано в отрывке), мы должны отнести его к 1882 г. (июнь). Успенский просит здесь В. М. Соболевского о помощи журналу «Устои» («...не откажите пособить, чем можете. «Устои» — издание артельное, ни хозяина, ни работника нет, и надо же в самом деле, чтобы когда-нибудь были такие издания»). «Устои» — ежемесячный литературно-политический журнал (редактор-издатель С. А. Венгеров), выходил лишь в 1881—1882 г.; за 1881 г. вышла только декабрьская книжка, за 1882 г. — №№ 1—12. Несомненно, что Соболевский при датировке писем к нему Успенского допустил ошибку, поставив 1884 г. вместо 1882. В пачке 107 писем Успенского к Соболевскому, любезно предоставленной мне для ознакомления Н. В. Поповой, занумерованных рукой, повидимому, В. М. Соболевского, интересующее нас здесь письмо стоит под № 2. Письма обнимают период (по датировкам большей частью В. М. Соболевского, а не самого Успенского) с 1884 по 1891 г. Между тем, переписка их фактически должна была захватывать больший период, по крайней мере со времени начала редакторства В. М. Соболевского (Смерть Скворцова 1882 г.).

[44] Приведенный выше отрывок письма к В. М. Соболевскому, где случай этот рассказан самим Успенским, свидетельствует, что происшествие имело место не «в дни юности» Г. И., а позже (в 1882 г.).

[45] «Заграничный вестник» — ежемесячный учено-литературный журнал, издававшийся с октября 1881 по март 1883 г. Редактор-издатель В. Корш.

[46] Произведение В. М. Гаршина названо здесь Е. С. Некрасовой неправильно; оно носило название «Четыре дня». Рассказ напечатан в «Отечественных записках» в 1877 г., № 10.

[47] Произведения под этим заголовком среди напечатанных текстов Успенского нет.

[48] «Не случись. (Из деревенского дневника)» — появилось в «Русской мысли» 1882, № 9.

[49] «Устои» — крупнейшее по размерам и литературному значению произведение Н. Н. Златовратского, печаталось в «Отечественных записках» в 1878—1882 гг.

[50] «Книжка чеков», «Отечественные записки» 1876, № 4.

[51] Это «*веселое*» письмо было написано Успенским из Чудова, получено Е. С. Некрасовой 24 апреля 1883 г. Вернувшись с Кавказа, куда Успенский совершил поездку в начале 1883 г., он писал Е. С. Некрасовой в этом письме: «Дорогая Екатерина Степановна! Получил я ваше письмо: все в нем то же, что и всегда — и чернила, и бумага, и почерк, и слова как будто те же самые, а что-то *не то!* Честное слово, сам не знаю почему, *решительно без малейшего основания,* а просто только по одному письму последнему, — *чувствую,* что что-то в вашей жизни произошло. Что такое? Я еще думал об этом, когда получил от вас 40 руб. (в ножки кланяюсь!) и великолепную бумагу с надписью *Екатерина.* Императрица Е[катерина] 2-я точно так же подписывалась: Екатерина, но у нее всегда, кроме подписи, было еще написано что-нибудь на бумаге, а таких манифестов, на которых ничего кроме Екатерины нет, сколько помню, она в свет не выпускала. А Москва, Москва! И доброе дело сделает и в рыло ткнет! Когда я получил эти 40 р[ублей] и пустую бумагу, — точно в рыло кто мне деньги бросил! Отчего это и зачем это было сделано? Напишите мне пожалуйста и все подробно, *обо всем,* помните: и несть тайны, которая бы не открылась.

Так уж лучше покайтесь чистосердечно. Вот что милая Екатерина Степановна! Что делается с моими книгами? Я думаю ничего, но попытайтесь еще раз передать г. издателю такие условия. . .»

(Далее идут деловые соображения, которые в напечатанный текст письма В. Е. Чешихиным не включены.)

Возвращаясь к самой Е. С. Некрасовой, Успенский далее писал: «Я скоро опять поеду на Кавказ и *разыщу* вас в преисподней и разоблачу все ваши шашни и плутни, обличу, выведу на чистую воду и т. д. Тогда-то я и буду в ножки вам кланяться.

Ох, что-то мне кажется, нет ли там в Протопоповском переулке в приходе Никиты мученика каких-нибудь амуров! Я теперь отлично отдохнул, нос у меня стал чуткий, кой-что воротилось по части впечатлительности — так вот мне и кажется, что нет ли тут чего-нибудь двухспального? Нет? Ну, виноват!

Ох есть, есть, есть. . ., а впрочем, молчание, молчание. Однакож позвольте спросить, не выходите ли вы замуж за кого-нибудь?

А?

Если да, то это просто превосходно, отлично, — говорю это по чистой совести. Вот тогда, годика через два, если вы пришлете мне пустую бумагу с подписью «Екатерина», — так уж я буду понимать, что вы слава богу живы, здоровы и что разговаривать об этом много нечего. А этого мне, разумеется, и довольно — по горло! Само собой. Г. Усп.»

Некрасова, получив это письмо, обиделась на Глеба Ивановича и высказала свою обиду в ответном письме, которое, как и все другие ее письма к Успенскому, не сохранились и о содержании их можно только догадываться. Чешихин приводит следующую отметку Некрасовой на письме Успенского: «Видимо, писано в пьяном виде» («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 236).

На основании этих писем Успенского, а также ряда мест других в других письмах, В. Е. Чешихин в своей биографии Успенского был склонен усматривать со стороны Е. С. Некрасовой влюбленность в Глеба Ивановича. В письме Успенского от 10 июня 1883 г., между прочим, было брошено несколько, казалось бы, не вызывавших перетолкования слов: «. . . вы меня простите, что я так долго не отвечал. Я вас очень люблю, но меня все гнетет и гнетет, и работа и масса глупых забот». По поводу этих слов В. Е. Чешихин писал: «Едва ли

не это письмо с фразой «я вас люблю» было поводом недоразумения между Г[лебом] И[вановичем] и Е[катериной] С[тепановной]. По некоторым глухим фразам в следующих письмах, намекам и недомолвкам можно догадываться, что Е[катерина] С[тепановна] в слишком интимном смысле поняла эту фразу, что в дальнейшем и изменило их дружеские отношения...» («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 239). Однако эти догадки биографа недостаточно подтверждены анализом «намеков и недомолвок». В 1884 г. Успенский бросает Е. С. Некрасовой в одном из своих писем: «Убедительно прошу вас не давать моему поведению никаких произвольных объяснений, — вы меня, право, не знаете. Проездом через Москву я расскажу вам, я тогда буду покоен, покончив с целым периодом моей жизни навсегда» («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 241). В начале 1885 г. Успенский увидел, что Е. С. Некрасова не хочет отвечать на два его письма. (По сообщению Чешихина, полученные Е. С. Некрасовой от Успенского два письма в январе 1885 г. оставлены были ею без ответа с пометкой на втором рукой Е. С. Некрасовой: «Не отвечала и на то письмо, не буду отвечать и на это... Будет, довольно!»). Тогда Г. И. написал ей: «Екатерина Степановна! пожалуйста не думайте, что я молчу по тем же причинам, по каким вы не удостоили два моих письма ответом, — нет! я вашему письму рад, но крючкотворству, которое в нем извивается змеей, не рад, и это вы напрасно. Я вам всегда и писал и говорил просто, и поступал так, как мне можно, без ехидства, а вы ехидничаете. Ну, да ладно, я буду вам писать: теперь пишу в первый раз по выздоровл[ении] сына, который едва не умер брюш[ным] тифом. Я устал, и все устали, и все, и в особ[енности] я, хотим выспаться за все время, а там работа в «Русской мысли»; а там и письмо вам подробное и местами неласковое, но обиды не будет — не печальтесь! Все хорошо на этом свете. В «Новостях»... Впрочем, не могу теперь ничего писать. Ей-богу устал...» («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 243). Подпись — «Ваш по-старому Г. Успенский».

[52] Это письмо, написанное рукой А. И. Эртеля от имени Успенского, не было послано по назначению. Оно вызвано статьей Буренина в газете «Новое время» 1884 от 24 февраля.

К главе девятой

[1] Здесь Успенский говорит о Германе Александровиче Лопатине.

[2] В подлиннике письма вырезана строка («Голос минувшего» 1915, № 4, стр. 242).

[3] Письмо (без даты) написано через пять месяцев после закрытия «Отечественных записок» (т. е. в сентябре 1884 г.); в отрывке было напечатано В. А. Розенбергом в сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, стр. 217. С добавлением пропущенных мест отрывок печатается нами с подлинника (№ 1 в серии писем Г. И. Успенского, сохранившихся у Н. В. Поповой).

[4] По сообщению В. Е. Чешихина, здесь речь шла об обыске у Н. П. Орлова, Е. С Некрасовой, Л. Ф. Ломовской-Маклаковой и др.

[5] «Венера Милосская» — это замысел, реализованный Успенским в очерке «Выпрямила» (Отрывки из записок Тяпушкина). «Русская мысль» 1885, № 5. В «Вестнике Европы» Успенский так ничего и не напечатал.

[6] Вскоре после закрытия «Отечественных записок» Н. К. Михайловский получил административное запрещение проживать в Петербурге, вследствие чего и поселился в Любани.

[7] «Рыцарь на час» — поэма Н. А. Некрасова, напечатана в 1860 г.

[8] Письмо написано на атласной розовой бумаге, сложенной в конвертик.

[9] В февральской и мартовской книгах «Русской мысли» были напечатаны II и III очерки «Через пень колоду» («Куда девался один хороший русский тип», «Пиджак и Чорт»).

[10] В противность этому утверждению Успенским напечатано было в этом, 1885 году, очень много очерков и рассказов: в «Русской мысли» (кроме указанных в №№ 2 и 3) также в № 5 окончание серии «Через пень колоду» (куда между прочим входило очерком V — «Выпрямила»), в №№ 8 и 9 — «Очерки русской жизни»: I — «Дохнуть некогда», II — «Якобы «дела»», в № 10 — «Буржуй», в № 11 — «Очерки русской жизни», III. — «Скучненько», в № 12 — «Перестала (из деревенских заметок)». Кроме того в «Русских ведомостях» печатались «Несбыточные мечтания», №№ 107, 121, 131, 163, «Безвременье (путевые заметки»), №№ 247, 272, в «Книжках Недели», № 4 — «Простое сердце» и № 10 — «Заячье направление».

[11] В. Е. Чешихин полагал, что здесь идет речь о Г. А. Лопатине. Вернувшись из-за границы, после разгрома «Народной воли», он употреблял все усилия для ее восстановления, но 5 октября 1884 г. был арестован на улице

[12] В Сябринцах, где жила семья Успенских.

[13] Успенский печатался в эти годы в журналах: «Русская мысль», «Книжки Недели» и — с января 1886 г. — в «Северном вестнике», где делались попытки собрать «обломки» «Отечественных записок». Кроме того много работал в газете «Русские ведомости».

[14] Планы путешествий при напечатании отрывка выпущены.

[15] В № 1 «Северного вестника» за 1886 г. были напечатаны «Мечтания о трудовой жизни. Очерки и заметки, (цензурное разрешение № 1 — 16 января). Возможно, что здесь речь идет о начале очерков «Кой про что» («Северный вестник», № 3).

[16] В сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.» (стр. 221—222) отрывок этого письма Успенского был напечатан с пропусками. Письмо без даты, как и большинство писем Г. И. к В. М. Соболевскому. Карандашная пометка — «в средине февраля 1886 г.» — сделана, повидимому, рукою В. М. Соболевского.

[17] Поехал Г. И. Успенский снова на Кавказ с намерением проехать в Болгарию, однако не осуществившимся. В Болгарию он фактически отправился лишь в мае следующего (1887) года. На этот раз Г. И. ограничился поездкой в Новороссийск, через Крым в Одессу и в Константинополь.

[18] Письмо датировано Успенским 11 мая, почтовый штемпель на сохранившемся конверте: Москва 14 мая 1886 г. В конверте сохранились и засохшие лепесточки цветов, посланных Г. И. В сб. «Русские ведомости» это письмо было напечатано полностью (в серии подлинных писем — № 27).

[19] «Письма с дороги» Глеба Успенского (очерк IX с подзаголовком «С дороги в сторону») были напечатаны в 1886 г. в «Русских ведомостях» № 110, 113, 122, 127, 134, 147, 153, 163, 177, 182, 187 и 196. Частично Успенским они были переработаны для «Русской мысли» 1888 г. № 4 и 5 («Письма с дороги»). В собр. соч. включены лишь в сильно сокращенном и измененном виде.

[20] Четвертое письмо напечатано в № 127 от 11 мая 1886 г. Соболевский 17 мая 1886 г., между прочим, писал Успенскому: «Очень-очень хороши ваши письма. Сегодня помещается пятое, полученное вчера. Никаких пропусков и почти никаких поправок не потребовалось—они у вас вылились, очевидно, в недурные минуты. «Три акра и коровы» понравилось до того, что сделалось «mot», переселенческая партия — также. . .» («Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 195).

[21] Здесь пропущено нами место, где Успенский говорит о своих мрачных впечатлениях от представителей одесской прессы («Одесский вестник» и «Одесский листок»).

[22] Одно из «Писем с дороги».

[23] Как пояснил В. А. Розенберг, печатавший письма Успенского к Соболевскому (см. статью В. А. Розенберга в сб. «Русские ведомости 1863—1913 гг.», М. 1913, «Гл. Успенский в годы безвременья»): «Успенский в Москву не попал на этот раз, а вскоре по возвращении в Севастополь уехал в Константинополь, который он посетил летом 1886 г. даже два раза».

[24] Николай Иванович — Ашинов.

[25] По сообщению В. А. Розенберга, первую поездку в Константинополь с Н. В. Максимовым Успенский совершил «в начале июня» (1886 г.). В письме от 12 июня этого года он писал Соболевскому, что «со вчерашнего дня *опять* в Константинополе». Следовательно письмо, отрывок которого напечатан у нас в тексте, написано в июне, за несколько дней до 12-го числа

[26]. Написано на бланке письма с печатным оттиском вида и адреса «Подворья Св. Пантелеймона в Константинополе». Датировано Успенским 12-го без указания месяца и года. По связи с предшествующими письмами, несомненно, — июнь 1886 года.

[27] В. М. Соболевский, как видно из его писем к Успенскому («Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 195), уговаривал Г. И. ехать в Болгарию: «Очень бы мне хотелось, чтобы вы поехали, да и зачем же только в Болгарию?» (от 17 мая 1886 г.). В. М. Соболевский уговаривал его посетить и другие страны и мечтал при этом: «как бы это было хорошо — вдвоем-то, да в Болгарию, да в Англию, да и бог весть куда мы с вами залетели бы, если бы крылья у нас были свободны-то» (там же). И в следующем письме от 1/VI опять писал: «. . .вы сами не замечаете, как ожили и в какой порядок пришли. Поезжайте непременно в Болгарию».

[28] В. А. Розенберг датировал это письмо при публикации: «через день после предыдущего письма». Предыдущее письмо датировано — 12 (июня 1886 г.)

[29] Без даты. По содержанию письма видно, что оно написано из д. Сябринцы. По сведениям Департамента полиции, сохранившимся в материалах «Архива революции» в Москве (Д. П. III 1567/1883) Успенский прибыл в Сябринцы 23 июля 1886 г. Письмо написано через

несколько дней по возвращении домой, в Сябринцы, — *в пятницу*. Поэтому его следует датировать — 25 июля.

[30] «Северный вестник» с сентября 1885 г. редактировался А. М. Евреиновой до 1890 г. Михайловский пытался там некоторое время работать, но не мог ужиться с Евреиновой. Успенский со своей стороны пытался смягчить эти конфликты Михайловского с издательницей, но мало успел в этом.

[31] Рукопись эта относилась к серии очерков Успенского «Мы на словах, в мечтаньях и на деле», которые начали печататься в «Русских ведомостях» в конце 1886 г. (№№ 350 и 356) и продолжались в 1887 г. (№№ 19, 22, 50, 86) и далее просто «Мы (Под впечатлением поездки по Дунаю)» — в №№ 161, 182, 196 и 219.

[32] «Современные известия, политические, общественные, ученые, литературные и художественные» — ежедневное издание, выходило в Москве с 1868 по 1887 г. В 1886 г. издателем-редактором их был Н. П. Гиляров-Платонов.

[33] Здесь автор письма сочетал имена этих трех, не очень близких между собой, писателей для широкого обозначения чуждого ему комплекса идей.

[34] В 1886 г. в «Северном вестнике» были напечатаны очерки Г. И. Успенского в пяти номерах. В № 1 — «Мечтания о трудовой жизни» и в №№ 3, 9, 11, 12 — из серии «Кой про что». Продолжались они в этом журнале и в следующем году.

[35] Имеется в виду ссора Михайловского с издательницей «Северного вестника» А. М. Евреиновой.

[36] Письмо это напечатал В. В. Буш в брошюре «Литературная деятельность Гл. Успенского (очерки)», 1927 г., стр. 181—182, с ссылкой на архив Успенских. Письмо, как пояснил Буш, без даты: «Судя по тому, что сохранилось в архиве Успенских, не было послано по назначению». Письмо отнесено к 1886 г. Скорее всего самый конец этого года, а быть может, и начало следующего: ссылки на готовность к отъезду в декабре и выход VIII тома первого Собр. соч. Успенского (1886). Нет оснований считать, как считал Буш, что оно непосредственно связано с письмом Соболевского к Г. И. от 28 декабря (1886).

[37] Нотариальный договор на продажу И. М. Сибирякову права на издание всех сочинений Г. И. Успенским был заключен 13 ноября 1886 г. Копия этого договора находится в ИРЛИ. Успенский передал И. М. Сибирякову право на все им напечатанное и написанное ко времени заключения договора (с правом Успенского напечатанное провести через периодическую печать) за сумму в размере 19 155 руб. Остальные условия этого договора остались в основном теми же, что и в первоначальном соглашении. В дальнейшем между И. М. Сибиряковым и Ф. Ф. Павленковым состоялось особое соглашение, в силу которого сочинения Успенского выходили под фирмой Ф. Ф. Павленкова. В позднейших письмах Успенского (к В. М. Соболевскому, В. А. Гольцеву) не раз слышатся тяжелые вздохи, как прямое следствие договора (в периоды болезни жены в 1889 г. и далее — в период заболевания и переутомления, когда Г. И. Успенскому приходилось выпрашивать «свои деньги» у И. М. Сибирякова).

К главе десятой

[1] Из серии «Люди и нравы. Очерки». I — «Хочешь не хочешь», II — «Без подмеси», — за подписью «Г. Иванов» («Отечественные записки» 1876, № 9). В собр. соч. Успенским включены в серию «Новые времена, новые заботы».

[2] «Нужда песенки поет» — рассказ впервые напечатан в журнале «Дело» 1866, № 1. В собр. соч. включен в серию «Растеряевские типы и сцены».

[3] «Волей — неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)», гл. II — «Наконец нашли виноватого!», «Отечественные записки» 1884, № 2.

[4] Факт ренегатства Льва Тихомирова относится к 1888 г., когда вышла его книга «Почему я перестал быть революционером», и он подал царю покаянное прошение. Здесь же речь идет о книге Тихомирова «Russie politique et sociale», в которой автор формально стоит еще на революционной почве, хотя в ней явно заметны уже задатки тех настроений, которые привели его к ренегатству.

[5] Письмо это, (без даты), не посланное по адресу (сохранилось в семейном архиве), было написано, повидимому, весной 1887 г. (март — апрель). В Болгарии к этому времени произошла смена правительства. Князь болгарский Александр Баттенберг, ставленник русского правительства, потерял всякую поддержку в стране. На его место, при содействии народно-либеральной партии (стамбулистов), отражавшей интересы торгово-промышленных кругов Болгарии, водворился Фердинанд, принц Кобургский, ставленник Австро-Венгрии и Германии. Стефан Стамбулов (1854—1895), участник национальной освободительной борьбы болгар против турок, с вступлением на престол Фердинанда, стал министром-президентом, фактически же диктатором. Враждебная русскому правительству партия Стамбулова в лице некоторых представителей своих (так же как и сам Стамбулов) испытала влияние русской радикальной интеллигенции и литературы и, повидимому, не прочь была использовать авторитет Успенского как писателя в своих целях. Успенский сознавал сложность своего положения, мучился от этого и терялся, результатом чего и явился этот черновой набросок письма к В. М. Соболевскому.

[6] Серия из четырех очерков «Мы (Под впечатлением поездки по Дунаю)», «Русские ведомости» 1887, №№ 161, 182, 196, 219. В собр. соч. Успенским не были включены.

[7] Отрывок взят из текста, напечатанного в сб. «Сочинения и письма Гл. Успенского в одном томе», Госизд. 1929—1930 г., где это письмо сверено с подлинником и устранены ошибки и пропуски.

[8] Имеется в виду смерть М. Н. Каткова, который умер в июле 1887 г.

[9] Речь идет о приветствиях и адресах, полученных Успенским к его именинам в 1887 г. по случаю двадцатипятилетия его литературной деятельности.

[10] «Непривычное положение (Из впечатлений поездки по Дунаю)», «Русская мысль» 1888, № 1. В собр. соч. вошло в «Очерках переходного времени» (III т., изд. 1891 г.) с большими сокращениями.

[11] Время года определено очень неточно: «конец июня или начало августа» и «дни ранней осени».

[12] Этой личной встрече Х. Д. Алчевской с Успенским предшествовала их переписка. Выпустив свою книгу: «Что читать народу» и узнав лестный отзыв о ней Успенского, Х. Д. Алчевская написала ему. Большим письмом (4 марта 1888 г. из Чудова) Г. И. ответил ей, развивая мысль о необходимости обратить «Что читать народу» в периодическое издание. Завязалась переписка, но встретиться не удавалось. (В письме от 14 января 1887 г. Успенский выражает по этому поводу свои сожаления.) Встреча состоялась лишь незадолго до его юбилея, к которому Х. Д. Алчевская организовала поднесение Успенскому адреса от Харькова.

[13] Юбилей Успенского был приурочен к 14 ноября (см. прим. 6 к главе I).

[14] Избрание Успенского почетным членом Общества любителей российской словесности состоялось 16 ноября 1887 г. Письмо Успенского в Общество любителей российской словесности было прочитано на заседании Общества 18 февраля и напечатано в «Русских ведомостях» и «Русской мысли».

[15] Полный текст этого приветствия не сохранился.

[16] Михаил Иванович — главное действующее лицо в 1-й части повести Успенского «Разорение». — «Наблюдения Михаила Ивановича».

[17] Приведенный отрывок воспоминаний М. К. Цебриковой был вычеркнут цензурой при печатании этих воспоминаний в «Смоленском вестнике» (1902 4 мая, № 99). Запрещенный цензурой отрывок автор переслал в «Самарскую газету», но и здесь, как сообщил об этом В. Е. Чешихин (редактировавший в 1902 г. «Самарскую газету»), «оказалось совершенно нецензурным упоминание о сознательном отношении рабочих к литературе и уважении их в частности к Успенскому» («Биографический очерк», стр. 306).

[18] При напечатании письма одно слово осталось неразобранным, повидимому: «*читать*» (Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе. Гос. изд. М. — Л. 1923 г., стр. 597.

[19] В декабре 1887 г. фельетонов Успенского в «Русских ведомостях» не было напечатано.

[20] Напечатаны в сентябре 1887 г. в «Русских ведомостях» два фельетона Успенского: «Мелкие агенты крупных предприятий» (вторник 15 сентября, № 254) и «Мы. Рабочие руки» (воскресенье 20 сентября № 259).

[21] Очерков Успенского под этим названием не появилось, но на эти темы под различными заголовками, были напечатаны: «Живые цифры», «Северный вестник» 1888, №№ 1, 2, 3, а также «Грехи тяжкие (очерки)», «Русская мысль» 1888, № 12.

[22] Об этом свидании А. П. Чехов писал (3 декабря 1887 г.) своему брату М. П. из Петербурга: «...Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10½ часов утра до трех я сидел у Михайловского (критиковавшего меня в «Северном вестнике») в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали».

[23] «Пестрые рассказы» А. П. Чехова вышли в 1886 г.

[24] В 1887 г. в № 11 «Северного вестника» Н К. Михайловский напал на редакцию «Русской мысли» за то, что она уделяет много места

романам Генрика Сенкевича (в переводах В. М. Лаврова) и в то же время в области критики исповедует принципы, с точки зрения которых эти романы и в чисто художественном отношении несостоятельны. «Зачем же они печатаются? — спрашивал Михайловский. — Неужели только потому, что и на них найдется читатель? Но ведь журнал не лавочка. . .» В ответ на это В. А. Гольцев в № 12 «Русской мысли» за тот же год направил удар непосредственно в Михайловского, заявляя, что факты несогласованности внутри журнала имеются и в «Северном вестнике», «в редактировании которого принимает участие такой опытный литератор как Михайловский». При этом В. А. Гольцев указал на печатание в «Северном вестнике» сочинений Иеронима Ясинского, роман которого «Старый друг» Н. К. Михайловский назвал «пасквилем» и пр. Под впечатлением этой полемической стычки дружественных журналов и писателей Успенский и написал свое письмо к В. А. Гольцеву от 30 декабря 1887 г. из Петербурга. Однако просьба его о том, чтобы отложить до февральской книги «Русской мысли» его статью (имелась в виду статья «Непривычное положение») уважена не была. Статья была напечатана в № 1 этого журнала за 1888 г.

[25] «Паровой цыпленок (рассказ, пригодный для напечатания только на святках)», был напечатан в 1888 г. в «Русских ведомостях» в № 9 от 10 января. О знакомстве с П. И. Бирюковым Успенский оставил запись в отрывке автобиографии («Былое» 1907, № 10). «В Чудове знаком Бирюков. Знакомство произошло. Знал я его, когда он поселился в том доме, где жил Генкель. Потом на том месте, где был кабак, кухня и. . ., сам он в тулупе читает отчет о толстовских заседаниях. Знал, что толстовки приходят мыть полы. Письмо от Бирюкова о Паровом цыпленке. . .» Кроме отзыва Л. Н. Толстого о Глебе Успенском, переданного здесь П. И. Бирюковым, а также записанного в дневнике А. И. Эртеля (см. выше в тексте), имеется еще несколько других, боле поздних. Как бывало у Л. Н. Толстого и в других случаях, высказанные им в разное время суждения об Успенском — не тождественны.

[26] На подлиннике писем Успенского год помечен В. М. Соболевским под вопросом 1887. Скорее, это письмо, как и следующее, относится уже к началу 1888 г. (письмо П. И. Бирюкова). На обоих этих письмах в подлиннике рукой, повидимому, В. М. Соболевского сделана пометка синим карандашом: «Сборы к Л. Н. Толстому».

[27] Окончание письма, в котором Успенский, ссылаясь на прецедент перепечатки в журнале «Русская мысль» рассказа Короленко «Слепой музыкант», который первоначально напечатан был в газете «Русские ведомости», предлагает В. М. Гольцеву из 35 своих корреспонденций в «Русские ведомости», составляющих, по его расчету, 22 печатных листа, сделать очерки для «Русской мысли» размером на 5 листов. Предложение было принято, и в результате в №№ 4, 5 и 9 «Русской мысли» за 1888 г. были напечатаны «Письма с дороги» Успенского, представляющие собой переработку фельетонов, печатавшихся под тем же названием в апреле — марте 1886 г. в «Русских ведомостях».

[28] С Л. Н. Толстым Успенский так и не повидался, хотя многократно собирался это сделать.

[29] В хронологическом указателе писем Успенского, составленном Р. П. Маториной («Сочинения и письма Гл. Успенского в одном томе», Госизд. 1929—1930 гг.), эта дата изменена на 21 февраля, по сличению с письмом от 15 февраля.

[30] Томы собр. соч. Успенского, изд. Ф. Ф. Павленкова, 1883—1886 гг. (1-го изд.).

[31] Юбилейный адрес Успенскому из Харькова.

[32] Повидимому, здесь следовало сказать, как верно указывал В. Е. Чешихин, «явный», а не «гласный» надзор. Гласный надзор полиции был формой ограничения прав при административной высылке, связанной с лишением свободы передвижения из одного города в другой и т. п. Таким ограничениям Успенский не подвергался.

[33] Первоначально, 2-е издание собр. соч. Успенского, которое он в то время подготовлял к печати, было запланировано в 10 томах. Фактически же оно было выпущено в 3-х компактных томах.

[34] Статья Успенского «Смерть Гаршина» была напечатана в № 101 «Русских ведомостей» за 1888 г. Затем была переработана для особого сборника («Памяти В. М. Гаршина»), вышедшего в том же, 1888, году «Один момент замечательный», о котором поминает здесь Успенский, это впечатление от Гаршина (во время собрания писателей весной 1880 г. по вопросу о возобновлении «Русского богатства») на другой день после того, как он сделал попытку спасти жизнь террориста Млодецкого, явившись ночью к начальнику верховной распорядительной комиссии по борьбе с революцией М. Т. Лорис-Меликову с целью «умолить» его отменить казнь.

[35] «Взбрело в башку. Из записок деревенского обывателя» «Русская мысль» 1888, № 6. «Герасим» из Чудова обрисован здесь под именем Ивана Алифанова.

[36] «Мальчишка» — старший сын Успенских, Александр.

[37] Этот отрывок письма Г. И. к жене опубликован В. В. Тимофеевой с обозначением: «Саратов, 25 (кажется)». Год поставлен Тимофеевой также под вопросом (1888?). Однако письмо Успенского к жене, датированное им самим «Казань 8 июня 1888 г.», дает некоторые основания допустить, что и это письмо относится к той же поездке, быть может и до Саратова. По поводу чтения на палубе лекций по русской истории В. В. Тимофеева сообщила: «Гл. Ив. думал держать экзамен на кандидата университета для учительской профессии». Других сообщений об этом нет. Этот отрывок, не поддающийся более определенной датировке, помещается нами в данном месте условно.

[38] Статья Успенского «А. П. Щапов» напечатана в № 55 «Сибирской газеты» за 1888 г. Томск 20 июля.

[39] Это письмо Карла Маркса, найденное после смерти в его бумагах, было написано в конце 1877 г. (по-французски) не к Михайловскому, а к редактору «Отечественных записок», но послано не было. Здесь Маркс опровергает критические замечания, высказанные Михайловским в его статье, напечатанной в № 10 «Отечественных записок» за 1877 г. — «Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского» и подписанной буквами Н. М. (статья Жуковского — «Карл Маркс и его книга о капитале» — появилась в «Вестнике Европы» в 1877 г., № 9). Михайловский в своей статье, нападая на Ю. Г. Жуковского, сам допустил искажение взглядов автора «Капитала», на что и указал Маркс в своем письме. Письмо это в русском переводе появилось сначала в «Вестнике народной воли» (1886, № 5) а затем — в «Юридическом вестнике» (1888, № 10). На Успенского письмо произвело сильное впечатление, и он старался привлечь к нему внимание своих корреспондентов. Он с волнением писал о появлении его Н. К. Михайловскому, О. Ф. Мил-

леру, В. М. Соболевскому. Наконец написал в декабре 1888 г. статью «Горький упрек» и посылал ее в «Русские ведомости», в казанскую газету «Волжский вестник» и наконец — в литературный сборник в Воронеже. Статья Успенского в свое время нигде не увидела света по цензурным условиям и была напечатана (небрежно и с пропусками) в «Саратовском листке» лишь в 1902 г. (№ 74) уже после смерти Успенского. Полный и точный текст этой статьи воспроизведен Н. К. Пиксановым в его статье «Глеб Успенский о Карле Марксе», «Новый мир» 1933, № 3.

[40] Две фамилии, поставленные Успенским в скобки, были выпущены при публикации этого отрывка письма Успенского В. А. Розенбергом в сборнике «Русские ведомости 1863 — 1913 гг.». При написании первой из этих фамилий *(В. Пругагавин)* Успенским допущена описка, следует читать *В. Пругавин.*

[41] В № 12 «Русской мысли» за 1888 г.: «Грехи тяжкие (очерки)»: III — «Подробности неожиданной путаницы», «Пришествие господина Купона», «Следы темной старины», IV — «Радетели о народной совести».

[42] Кроме напечатанного в № 12 за 1888 г. Успенский печатался в «Русской мысли» и в 1889 г. №№ 1, 2, 4, 8 и 11.

[43] Редакцией «Архива В. А. Гольцева» здесь, как и в предыдущем письме, где Успенский говорит о своих рассказах, сделана ссылка на напечатанный в № 1 за 1889 г. в «Русской мысли» рассказ «На минутку. (Из путевых заметок деревенского обывателя)».

К главе одиннадцатой

[1] Речь идет об опасении, в связи с контрактом с И. М. Сибиряковым, который Успенский якобы нарушил тем, что у Карбасникова осталась часть изданных раньше книг нераспроданными. (См. последний отрывок IX главы). История отношений между издателями и Успенским достаточного освещения еще не получила. Во всяком случае «благотворительный» характер в отношениях издателей к писателю, наличие опеки с их стороны немало тяготили Успенского. Лишь после освобождения сочинений Успенского, уже после его смерти, от кабалы этого договора семья писателя получила возможность нового издания собрания его сочинений, сначала в издании В. К. Фукса (1903—1904 гг.), а затем — А. Ф. Маркса (1908).

[2] Отношения Г. И. к вопросу о женщине и семье нашли себе творческое выражение в его рассказе «Не быль да и не сказка», в серии «Кой про что (отрывки из памятной книжки)». «Северный вестник» 1887, № 2.

[3] Точное название — «Крестьянские женщины (Из текущей народной жизни)», «Русская мысль» 1890, № 4.

[4] Здесь автор воспоминаний дает пояснение: «Это было вскоре после лечения у Фрея, где ему делали операцию».

[5] В. В. Тимофеева в эти годы уже отошла от позиций революционно-демократической интеллигенции. Работа корректором в «Гражданине», когда там писал Достоевский, сблизила ее с автором «Дневника писателя» и под его влиянием она ушла в сферу интересов, чуждых Успенскому.

[6] В. В. Тимофеева сообщает, что здесь Успенский имел в виду несчастный случай с женой, когда Александра Васильевна была выброшена из экипажа и попала под лошадь. Однако Г. И. рассказывал об этом в письмах А. С. Посникову от 7 ноября 1889 г. и В. А. Гольцеву — от 10 ноября этого же года (см. дальше в тексте отрывки этих писем). Скорее здесь имеется в виду более раннее заболевание Александры Васильевны (в связи с неудачами сына на экзамене).

[7] Поскольку эта встреча с Успенским автором воспоминаний датируется 16 февраля 1889 г. (на следующий день получения записки Г. И. от 15 февраля), здесь речь идет о постановке «Иванова» в Петербурге на сцене Александринского театра, где пьеса в феврале того года имела шумный успех. Кого разумела В. В. Тимофеева под московским критиком чеховской пьесы, — установить не удалось. Несомненно, Успенский не разделял сострадательного участия некоторых критиков и автора воспоминаний к переживаниям чеховского «Иванова». См. очерк Успенского «Грехи тяжкие», «Русская мысль» 1889, № 4, «О том, что натворила акушерка Анна Петровна».

[8] Письмо, из которого взят этот отрывок, относится ко времени перед поездкой в Череповец. В пачке писем к В. М. Соболевскому помечено 1889 г.

[9] Письмо без даты. По содержанию и связи с предыдущим письмом к Соболевскому (начало мая) должно быть отнесено тоже к началу мая 1889 г.

[10] Череповецкое уездное земство навлекло на себя подозрение в политической неблагонадежности и было в 1889 г. административно упразднено. В статье «По Шексне. Впечатление двух дней поездки» («Русские ведомости», 1889, № 215 от 6 августа) Успенский описал поездку в Череповец, но истории земства ему коснуться не пришлось.

[11] «Василий Теркин», роман П. Д. Боборыкина, был напечатан в «Вестнике Европы» в 1892 г., №№ 1 — 6. Когда автор начал работать над этим романом и собирать материалы, — нам не известно, но едва ли это могло быть ранее лета 1890 г. Глеб Успенский зарисован здесь автором в первых главах романа под именем Бориса Петровича.

[12] Из текста письма явствует, что Успенский на следующий день намеревался выехать в Ярославль.

[13] См. примечание 4 к главе пятой.

[14] «Концов не соберешь (Очерки русской жизни)». Под этим общим заглавием был напечатан ряд очерков Успенского в «Русских ведомостях» 1888 г. (№№ 347, 356) и в 1889 г. (№№ 17, 27, 103, 124, 144 и 162).

[15] На полях подлинника написано чьей-то рукой (Посникова?): «Письмо это прошу возвратить мне. Безусловно неудобно для печати».

[16] М. Г. Туманов недостаточно разборчиво относится к сообщаемым в своих воспоминаниях фактам. Так, например, он говорит, что «Успенский был не только единомышленником (Михайловского), но и приходился ему свойственником (жены их были сестры)» (стр. 160). Эта легкость, с которой автор воспоминаний передает совершенно неверные сведения, заставляет осторожно относиться и к самому его рассказу о встречах и разговорах с Успенским. Он пытался передавать слова Успенского прямой речью (в кавычках), совершенно не умея уло-

вить стиль Успенского, его манеру говорить. Повидимому, Г. И. говорил не так, а может быть и не совсем то, что записал за ним М. Г. Туманов. Все это ослабляет цену сообщений автора воспоминаний.

[17] В средине зимы 1888—1889 г. А. В. Успенская в течение нескольких месяцев была тяжело больна.

[18] «Выдался денек (из путевых заметок по Волге)», «Русская мысль» 1890 г., № 1.

[19] Успенский далее делает исчисление своих расчетов с «Русской мыслью» и в результате просит за его счет «отпечатать вновь тот 1 лист, который занимает... рассказ (от 206 ст. до 218) в исправленном и дополненном виде, и приложить его к февральской книжке (как прилагаются объявления)» с примечанием, что «в несколько страниц 13 и 14 листа вкрались весьма значительные корректурные ошибки». «Этим до крайности простым способом, — убеждал Успенский Гольцева, — совершенно прекратится всякая возможность порицания со стороны читателей как меня, так и редакции» («Архив В. А. Гольцева», стр. 92). Однако, как видно из примечания редакции «Архива В. А. Гольцева» к этому письму Успенского, «объявление в февральской книге не появилось», и хозяином журнала, — надо думать, В. М. Лавровым, — волнения автора по поводу искажения его очерка были оставлены без внимания.

[20] «Подлый поступок «Русской мысли» — это, повидимому, происшествие с изуродованным очерком «Выдался денек» (см. предыдущее примечание). Отрывок письма к жене, без даты, опубликован В. В. Тимофеевой (в журнале «Минувшие годы» 1908, № 4) в ряде других эпистолярных отрывков за общей календарной скобкой: «1889—1891 гг.». Поскольку брошенное вскользь замечание Г. И. о поступке «Русской мысли» дает основание подозревать, что здесь имеется в виду очерк «Выдался денек», мы относим этот отрывок письма Успенского к жене к началу 1890 г. Под этим годом он и помещается в тексте книги. Однако подобные поступки со стороны «Русской мысли» за все работы здесь Успенского повторялись неоднократно. Поэтому вполне установленным год написания этого письма считать нельзя.

[21] Третий том собр. соч. Гл. Успенского, изд. Ф. Ф. Павленкова, вышел в Петербурге в 1891 г. Рецензия, о которой упоминает здесь Успенский, была напечатана в «Русских ведомостях» 1891, № 15 от 16 января.

[22] Речь идет о голоде 1891 г. Биограф Глеба Успенского, Н. А. Рубакин, утверждал, что «эта голодовка сыграла самую роковую роль в его жизни... не случайно, что болезнь Глеба Ивановича определилась именно в этот голодный год. Этот год сильно ускорил трагическую развязку...» («Глеб Иванович Успенский, Материалы к его биографии» II т. собр. соч. Успенского, изд. 1908 г., стр. XCIV). «В 1891 г. болезнь Глеба Ивановича определилась с совершенной очевидностью, и решающим моментом в наступлении ее был *голод* в 20 губерниях, великое народное бедствие 1891—1892 гг., которое Глеб Иванович не мог не принять близко к сердцу, и оно конечно не выдержало... Он писал В. А. Гольцеву: «Голодовка затмила все мои темы, определившиеся для будущих очерков». И правда, в 1891—1892 гг. Глеб Иванович работал уже совсем мало...» (там же, стр. XCVII). Он все же написал на «голодные темы» статью «Бесхлебье

(сообщения поволжской печати)», «Русская мысль» 1890, № 11. В 1892 г. им напечатан за весь год лишь один очерк, и то написанный в 1885 г. («Из памятной книжки», 1885 г.): I — «От совести», II — «Курляндец», сб. «Помощь голодающим», М. 1892.

К главе двенадцатой

[1] В другом варианте воспоминаний С. Я. Елпатьевского («Красная нива» 1927, № 16) о времени этой встречи говорится: «Кажется, в 91-м году, когда он ... в светлый промежуток отпущен был в Нижний-Новгород, где жили его друзья — Н. Ф. Анненский и В. Г. Короленко, к «святым местам», как говорил он доктору. В семье Короленко была беда, тяжело болели дети, и Г. И. устроили у меня». У Короленко это посещение больным Успенским Нижнего-Новгорода отнесено к 1893 г. Об этой поездке говорится в письме Успенского к Гольцеву от 26 января 1893 г. Кроме того, в 1891 г. Успенский еще не был помещен в лечебницу. Несомненно, в этом, втором варианте своих воспоминаний С. Я. Елпатьевский просто ошибся в указании года, тем более что указание его сопровождается оговоркой: «кажется». Из текста рассказа С. Я. Елпатьевского явствует, что это посещение Успенским Нижнего относится «к рождеству». Это был конец 1892, начало 1893 г.

[2] По предположению опубликовавшей это письмо В. В. Тимофеевой оно написано, вероятно, вслед за возвращением из дома, где с Г. И. случился нервный припадок гнева при виде доктора, приехавшего за ним.

[3] «Бориныкиных именин» — младшего сына Глеба Ивановича, Бориса, родившегося 10 июля 1885 г.

[4] Р. З. — , повидимому, русской земли.

[5] Возможно, что воспоминания, которые, по словам Г. И., он начал писать, представляют собой те сохранившиеся в семейном архиве отрывки, которые были опубликованы в «Голосе минувшего» за 1915 г., № 3. По мнению В. Е. Чешихина, они являются продолжением «отрывка из автобиографии» («Былое», 1907, № 9). Сюда же относятся записки (тетрадь первая) с датой 22 августа 1893 г., хранящиеся в Государственном литературном музее (см. выше).

[6] Вера Глебовна Успенская, старшая дочь Г. И. Успенского.

[7] Написанные много спустя после смерти Успенского воспоминания О. В. Аптекмана испытали на себе некоторое воздействие ранее вышедших крупнейших мемуаров об Успенском (В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевского и др.). Самая манера его рассказа по своему стилю напоминает эти более ранние ее образцы. Другой особенностью мемуаров О. В. Аптекмана является его стремление уложить бредовые идеи больного писателя в некую стройную систему. Это бессознательно толкало автора воспоминаний к некоторой тенденциозности и искусственности в передаче впечатлений от больного. Попытки О. В. Аптекмана абстрагировать бредовые идеи Успенского в тексте нашего издания исключены или сокращены при возможно полном сохранении фактических данных и конкретного повествования.

[8] Умер Успенский 24 марта 1902 г., похороны происходили 27 марта. Смерть последовала от паралича сердца, явившегося результатом ослабления сердечной деятельности.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

В указатель включены имена, упоминаемые в самом тексте книги; имена же, упоминаемые лишь в примечаниях, в указатель не включены. В отношении имен, встречающихся в тексте книги, указаны также страницы, на которых они упомянуты и в примечаниях. Имена лиц, встречающихся лишь в указании источников, под текстом, отмечены звездочкой вверху (*). Маленькие цифры означают номера примечаний, в которых встречается данное имя.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877). Начало знакомства Некрасова с Успенским относится, несомненно, ко времени сотрудничества последнего в «Современнике», где первая вещь Успенского была напечатана в 1865 г. (№ 10). С той поры Успенского и Некрасова связывала общая работа сначала в «Современнике», затем, с 1868 г., — в «Отечественных записках» (в № 4 за 1868 г. — первый очерк Успенского «Будка»). Однако отношения их, захватывающие длительный период (до смерти Некрасова), не были лично близкими. Успенский высоко ценил и любил Некрасова как поэта, уважал как умного и интересного человека, но зависел от него как редактора, хозяина журнала. В письме Успенского к своей будущей жене, А. В. Бараевой, из Липецка, в июне, повидимому, 1869 г., имеется его жалоба на свою «изувеченность ради барышей Некрасовых и Благосветловых». Позднее, уже в 1881 г. весной, в разговоре с своей приятельницей (Е. С. Некрасовой), Г. И. на ее вопрос о Н. А. Некрасове как издателе дал другое освещение: «Он платил хорошо, но ужасно безобразно, в нем был еще старый помещик: придет фантазия и начнет валить деньги» («Русская мысль» 1902, № 9, стр. 37). По сообщению товарища юношеских лет Успенского, М. И. Петрункевича, Некрасов «настойчиво советовал Г. И. не исписываться, отдохнуть, уговаривал его уехать из Петербурга и предлагал похерить все расчеты и авансы и назначить ему 50 руб. в месяц (помимо гонорара)». Записавший эти показания Петрункевича В. Е. Чешихин («Биографический очерк», М. 1929, стр. 54) склонен был относить это предложение Некрасова ко времени работы Успенского в «Отечественных записках», где он, по свидетельству биографа, действительно «и работал на этих условиях». В противоречии с этим находится рассказ Е. С. Некрасовой о том, как она уже в 1882 г. высказывала Г. И. досаду на то, что ему не дают в «Отечественных записках» кроме гонорара постоянного жалованья («Русская мысль» 1902, № 9, стр. 49). Как бы то ни было, но даже сохранившиеся записки и письма Успенского к Некрасову (см. Е. Евгениев. «К характеристике Гл. Ив. Успенского», «Русские записки» 1915, № 11), частично помещенные в тексте нашей книги, свидетельствуют о весьма внимательном отношении Некрасова к материальному неустройству Успенского. Некрасов предлагал, спасая Г. И. от издательского хищничества, издать его сочинения на свой счет, предоставив автору весь чистый доход. И, как освещает положение дела Михайловский в своих воспоминаниях, этот «план практического, но доброжелательного Некрасова был выгоден для Успенского, но не удался, так как «деньги нужны сию минуту»... и Успенский предпочел остаться в тисках Базунова...» (Собр. соч. Успенского изд. 1908, т. I, стр. LXXXIV). На предложение Некрасова (не покупать, а издать сочинения Успенского) Г. И. ответил большим письмом (без даты), где, подробно обрисовывая свои материальные затруднения, пробует осуществить план Некрасова, дополняя его просьбой о немедленной выплате 250 руб. в счет выручки, вычисляемой на этот предмет «елико возможно меньше». Г. И. пишет здесь, что «рассчитывал прекратить это клянчанье о деньгах», но «испорченная», в силу создавшихся условий, повесть его вынуждает к этому. Все сохранившиеся письма и записки Успенского к Некрасову содержат почти беспрерывные денежные просьбы и жалобы о материальных невзгодах. В письме от 19 октября 1871 г. Успенский через Долганова просил 50 руб., Некрасов дал 75 под расписку Долганова, далее опять через того же Долганова просьба о 75 руб. («прошу не гневаться на меня»), расписка Долганова от 11 ноября 1871 г. в получении уже 50 руб. Из Парижа,

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ОПЕЧАТКИ и ПОПРАВКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует*
35	13 св.	П[етрович]	П[авлович]
37	24 „	закрепилось	закрепилась
39	16 „	45	43
39	21 „	даты	даты 44
69	6 „	1869	1868
130	14 „	Господи!	Господа!
158	2 сн.	К	В
158	1 „	преувеличенным	преувеличение
180	7 „	получение	поучение
225	2—3 св.	Лядово	Лядно
291	22 „	Юрий Богданович Желябов	Юрий Богданович, Желябов
296	3 „	самый	самой
296	7—8 сн.	угнетателями	угнетателям
305	3 св.	страны	страницы
331	6 сн.	Л[идии]	Л[юдмилы]
331	10 „	Л[идию]	Л[юдмилу]
336	3 „	наличным	наличными
337	3 св.	остановились	останавливались
399	4 „	ка	как
441	20—19 сн.	появлением	проявлением
450	18 „	с сердцах	в сердцах
465	15—16 „	представляете	предоставляете
477	15 „	какой	такой
505	10 св.	делая	делаю
553	10 „	отсутствуют	отсутствует
559	6 „	Библиографический	Биографический
567	3 „	получения	получении
575	13 сн.	Смольков	Смальков

Редактор Я. Эльсберг.
Художественн. редакция
М. П. Сокольников.
Техн. редактор Г. Л. Гилес.

*

Сдана в набор 9. I—35 Подписана к печати 26. VI—35. Вышла в свет XII — 35. Тираж 3300 Уполномоченный Главлита Б-7492. Инд А-2 Изд. № 154. Кум. 62×94 1/16. Печ. л. 40,75 + 11 вклеек. Уч. авт. л. 36,25. Бум. л. 20,375 по 110000 зн.

*

Набрано и матрицировано в тип. „Печатный Двор“, Ленинград, Гатчинская, 26. Отпечатано во 2-ой тип. Транжелдориздата имени Лоханкова,—Ленинград, ул. Правды, 15. Заказ № 7789.

Цена Р. 15—

Переплет Р. 3—